



Шолом-
днейхем

Шолом-
днейхем

5



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА
1972

ШОЛОМ- АЛЕЙХЕМ



**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ
ТОМАХ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
М. БАЖАН, М. БЕЛЕНЬКИЙ, Б. ПОЛЕВОЙ,
И. РАБИН, Г. РЕМЕНИК, Р. РУБИНА

ШОЛОМ- АЛЕЙХЕМ



**собрание
сочинений
ТОМ
ТРЕТИЙ**

Перевод с еврейского

С(Евр)1
Ш 78

Иллюстрации художника
Г. Ингера

Оформление художников
Ю. Владимирова
Ф. Терлецкого

7-3-3

Подп. изд.

**ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
РАССКАЗЫ**

Записки коммивояжера



Thurston
A. 14

К ЧИТАТЕЛЯМ

Я — путешественник. Почти одиннадцать месяцев в году я в дороге. Еду большей частью поездом, почти всегда третьим классом и, по обыкновению, посещаю еврейские города и местечки. Где евреям жить запрещено*, мне делать нечего.

О, боже, чего только не насмотришься в пути! Жаль, что я не писатель. Хотя, если хорошенько поразмыслить, чем я не писатель?.. Собственно, что такое писатель? Каждый человек может быть писателем, тем более еврейским. «Жаргон» — тоже мне дело!* Бери перо и пиши!

Но, с другой стороны, не всякий должен браться за перо. Каждый должен держаться своего дела: заработок есть заработок. Так я думаю. Вот когда делать нечего, тогда и это — занятие.

Мне, как путешественнику, частенько приходится в дороге сидеть без дела, — палец о палец не ударишь; хоть головой о стенку бейся. Вот я и надумал: купил себе чистую конторскую книгу и карандаш и все, что вижу и слышу в дороге, заношу туда. Так вот у меня и скопилось, не сглазить бы, порядочно материала. Наверно, хватит на целый год читать. И тогда я стал размышлять: что мне со всем этим делать? Выбросить? Жалко. Почему бы не издать это книгой или не напечатать в газете? Дай мне бог столько счастья, сколько печатают рассказов похуже моих.

И вот я засел, разложил свой товар по образцам, «брак» вышвырнул, оставил только лучшее, — первый сорт, «экстра», — разделил все это на отдельные

рассказы: рассказ № 1, рассказ № 2 и так далее. Каждому рассказу дал свое название, все честь честью, как подобает купцу. Не знаю, то ли заработаю на этом деле, то ли потеряю, шею сверну себе. Дай бог хоть свое выручить!..

Спрашивается: зачем мне вся эта затея? Не знаю. Ничего не могу сказать. Очень может быть, что все это глупости. Но сделано — пропало. От одного я себя оградил — от критиков: скрыл имя своей фирмы. Черта с два они обнаружат, кто я такой. Пусть критикуют, пусть смеются, пусть хоть на стену лезут — боюсь я их, как Аман трещотки *. Я не сочинитель, не меламед *, не батлен * — я купец.

Некий коммивояжер.

РАССКАЗ № 1

«Конкуренты»

Всякий раз в самое горячее время, когда люди мечутся — кто туда, кто сюда, а в вагоне идет жестокая борьба за место, как — не будь рядом помянута! — в синагоге в большие праздники, — как раз в это время они тут как тут: «он» и «она».

«Он» — черный, толстый, взлохмаченный, с бельмом на глазу. «Она» — краснощекая, тощая и рябая. Оба — оборванные, обшарпанные, оба в заплатанной обуви, и оба с одним и тем же товаром: он с корзиной и она с корзиной. У него — витые булки, яйца вкрутую, бутылки с сельтерской водой и апельсины, и у нее — те же булки, яйца, бутылки и апельсины.

Бывает иной раз, что у него в корзине фунтики с вишнями, с черной черешней или с зеленым, кислым, как уксус, виноградом. Тогда и она является с теми же вишнями, черешнями или виноградом.

Оба они являются в одно время, ломаются в одну и ту же вагонную дверь и говорят на одном и том же языке, но выговор у них разный. Он немного картавит, не выговаривает буквы «р», мямлит, словно языком не ворочает, она шепелявит, а язык — будто весь рот занимает.

Вы, может быть, думаете, что они сбивают друг другу цены, конкурируют, соперничают? Упаси бог! Цены у них обоих одни и те же, и конкуренция между ними состоит только в том, что каждый старается вызвать к себе больше сочувствия. Оба умоляют вас сострадать над их пятью детьми-сиротами (у него пятеро

детей-сирот, и у нее пятеро детей-сирот). Оба они заглядывают вам в глаза, суют свой товар прямо в лицо и уговаривают до тех пор, пока вы — нужно вам или не нужно — обязательно что-нибудь купите.

Правда, от этих речей, плача и просьб вы малость дуреете. Не знаете, у кого покупать: у него или у нее? И вы, конечно, решаете никого не обижать, то есть купить у обоих. Но они не согласны.

— Покупайте — покупайте у одного... На двух свадьбах сразу не пляшут.

Вы хотите поступить по справедливости, купить раз у него, а в другой раз у нее, — но за это вас обругают на все корки:

— Милостивый государь! Чем это я вам сегодня не понравилась?

Или так:

— Уважаемый! На прошлой неделе вы покупали у меня и, кажется, не отравились и не подавились?..

Тогда вы впадаете в тон моралиста и начинаете поучать: у того, мол, тоже душа, тому тоже надо жить, как немцы говорят: «Жить и давать жить другому...» На это вы получаете ответ — не по-немецки, а на простом еврейском языке, несколько, правда, иносказательно, но вполне понятно:

— Дяденька! С одной «извините за выражение» на две ярмарки сразу не ездят...

Так-то, друг мой! Всему свету угодить не пытайтесь, это вам никогда не удастся, а вздумаете за справедливость ратовать — боком выйдет. Я знаю это по собственному опыту. Я мог бы рассказать вам интересную историю о том, как я однажды дурака сваял, собрался помирить мужа с женой, а кончилось это тем, что мне крепко попало от моей собственной жены. Однако я боюсь смешать одну историю с другой, чтобы не отвлекаться в сторону, хотя на деле случается и так, что предполагаешь что-нибудь одно, а несешь при этом такую околесицу несусветную... В общем, возвращаюсь к нашей истории.

Было это осенью, в дождливый день. Небо плакало, на земле — мрак и унынье, а на станции полно людей. Пассажиры входят и выходят. Все бегут, толкаются, а наш брат, как водится, больше всех. Торопятся, лезут один через другого с чемоданами, узлами и постелью. Шум, гам, гомон! И в самой гуще — он и она. Оба

нагружены всякой снедью, как обычно; оба лезут в одну дверь, как всегда. И вдруг... Что случилось? Обе корзины на земле, булки, яйца, бутылки с сельтерской и апельсины валяются в грязи, а в воздухе — крики, визг, слезы и проклятия сливаются с хохотом кондукторов и голосами пассажиров. Звонко, свисток, еще минута — и мы едем.

В вагоне — веселье, люди судачат все сразу, как женщины в молельне или как гуси на ярмарке... Трудно уловить, в чем суть разговора. Прорываются лишь отдельные фразы:

— Урожай на плетеные булочки...

— Разгром яиц...

— Чем ему не угодили апельсины?

— Что тут спрашивать? Жандарм!

— Во сколько вы оцениваете убытки?

— Поделом! Пусть не лезут, пусть не надоедают!

— А что же им делать? Люди ищут заработка!

— Ха-ха-ха! — доносится густой басовитый голос. —

Еврейские заработки!

— Вот как? — слышится в ответ визгливый голосок. — Вы можете предложить лучшие? Давайте их сюда!

— Молодой человек! Я не к вам обращаюсь! — гремит бас.

— Не ко мне обращаетесь? А вот я обращаюсь к вам: вы можете предложить лучшие заработки? Ах, вы молчите! Почему же вы молчите?

— Чего от меня хочет этот молодой человек?

— Чего мне хотеть? Вы говорите: «Еврейские заработки», — я и спрашиваю: у вас есть лучшие? Давайте их сюда!

— Вот еще пристал! Скажите на милость!

— Тише! Тише! А вот и она.

— Кто?

— Да вот эта женщина, что с корзиной.

— Где она, эта красавица? Где?

— Да вот же, вот!

Конопатая, раскрасневшаяся, с глазами, опухшими от слез, проталкивается она с пустой корзиной, ищет места, потом садится на опрокинутую корзину, прячет глаза в порванную шаль и потихоньку плачет.

В вагоне воцаряется тишина. Разговоры прекратились. Все словно лишилось языка. И вдруг раздается густой бас:

— Чего же вы молчите, люди добрые?

— А чего нам кричать?

— Надо бы собрать сколько-нибудь.

Интересная история! Знаете, кто это говорит? Тот самый, что смеялся над еврейскими заработками. Странная личность в странном головном уборе — нечто вроде картуза с прямым глянцеви́тым козырьком. К тому же он носит синие очки, так что глаз не видать. Глаз нет, только нос торчит, мясистый, толстый, картошкой.

Не долго думая, он срывает с головы свой картуз, первый бросает в него несколько серебряных монет и переходит от одного к другому, гремя своим басовитым голосом:

— Давайте, сколько кто может. Кто побольше, кто поменьше, — дарованному коню в зубы не смотрят!

Люди полезли в карманы, раскрыли кошельки, и в картуз посыпались монеты — серебряные и медные. Сидел среди пассажиров русский человек в больших сапогах, с серебряной цепочкой на шее. Он зевнул, перекрестился и тоже опустил монету. И только один пассажир отказался, ничего дать не пожелал. Как раз тот, что так яростно выступал в защиту «еврейских заработков», — молодой человек, интеллигент, с пухлыми щечками, рыжей бородкой клинышком и в золотом пенсне. Один из тех молодых людей, которые имеют богатых родителей, богатых тестя и тещу и сами набиты деньгами, но едут в третьем классе, — так им жалко денег.

— Молодой человек, пожертвуйте сколько-нибудь! — обратился к нему тот, что в синих очках.

— Я не жертвую! — ответил интеллигент.

— Почему?

— Так. У меня такой принцип.

— Я так и знал.

— Откуда вы знали?

— Видать по щекам, что по вкусу зубам... Видно пана по халяве...

Интеллигент вспыхнул, даже пенсне уронил и налетел на очкастого с визгом:

— Вы игнорант! Грубиян! Невежа! Нахал! И наглец к тому же!

— Слава богу! Лишь бы не свинья, как некоторые другие! — произнес с самым добродушным видом бас и обратился к плачущей женщине с опухшими глазами: — Тетенька! Может быть, хватит плакать? Ведь

вы же портите ваши прекрасные глазки! Подставляйте-ка пригоршни, получайте вашу мелочь!

Странная женщина! Я думал, что она, увидев столько денег, начнет рассыпаться в благодарностях и пожеланиях. Ничего подобного! Вместо добрых пожеланий посыпались из ее уст проклятья. Прямо-таки источник прорвало и забил фонтан ругани:

— А все он, свернуть бы ему себе шею, разбиться бы ему вдребезги на ровном месте, господи милосердный! Все из-за него, — прибрала бы его мать сыра-земля, отец-вседержитель! Не добрать бы ему живому до дому, погибель на него, холера, огонь, чума! Чтоб он распух! Чтоб он высох! Чтоб его скрючило!..

Господи, откуда у человека берется столько проклятий! Хорошо, что пассажир в синих очках перебил ее:

— Довольно благословений, сударыня! Скажите-ка лучше: за что к вам придрались кондуктора?

Женщина подняла на него свои опухшие глаза.

— Все из-за него, гром его разрази! Побоялся, что я перехвачу у него всех покупателей, полез первым в вагон, я забежала вперед, а он ухватился и держит мою корзину... Я стала кричать, тогда подошел жандарм и мигнул кондукторам, а те взяли да и высыпали обе корзины в грязь, — засыпало бы его косточки песком, бог ты мой! Можете мне поверить, говорить бы мне так с тем, кто мне люб, — с тех пор как я торгую своим товаром и разъезжаю по этой линии, меня никто ни разу не тронул! А почему? Думаете, по доброте? Столько бы болячек ему, сколько пирожков и яиц приходится раздавать на станции! Всем, от самого младшего до самого старшего, надо глотку заткнуть. Наступает день, и начинается раздача: одному хворобу, другому лихоманку, третьему болячку. Старший кондуктор сам берет, что ему вздумается, а остальным надо раздать — кому пирог, кому яйцо, кому апельсин. Чего уж больше, — даже истопник, холера на него, — и тот не прочь закусить, — не то, пугает, он донесет жандарму... Не знает, ломота ему в кости, что и жандарм «подмазан». Тому каждое воскресенье преподношишь порцию апельсинов. Да и то он выбирает какие побольше, покрасивее да получше...

— Тетенька! — перебил ее тот, что в синих очках. — Насколько я понимаю, вы по вашим делам должны бы в золоте ходить.

— Что вы! — отвечает женщина, точно оправдываясь. — С грудом выручаешь то, что затрачено! А иной раз, случается, и докладывать приходится, разоряешься!

— Для чего же вам вся эта торговля?

— А что же мне делать? Воровать? У меня пятеро детей, пять холер ему в живот! И сама я больная, болеть бы ему в больнице от сегодняшнего дня и до будущей осени! Ведь он же все дело угробил, — самого бы его угробить! Такое дело, такое дело, такое выгодное дело!

— Выгодное дело?

— Золотое дело! Прибыльное! Прямо-таки хоть ложкой черпай!

— Позвольте-ка, тетенька, ведь вы же только что сказали, что это разорение!

— А что же это, по-вашему, прибыль, когда раздаешь больше половины бесплатно кондуктору и старшему кондуктору, а по воскресеньям — жандарму? Что у меня — неисчерпаемый источник? Колодец? Или деньги краденые?

Тот, что в синих очках, начинает терять терпение:

— У вас, тетенька, не разберешь: то лето, то зима!..

— А что я могу поделаться? Разве я виновата? Все он, погубитель мой, погибели на него нет! Был всего-навсего портнягой, заплаты ставил, портачил и кое-как зарабатывал, как говорится, на воду к каше. Так нет же, позавидовал мне, увидал, чтоб ему повылазило, что я кормлюсь, червей бы ему кормить, и содержу при помощи этой корзины пятерых сирот... И вот, соль ему в глаза да камни на сердце, — пошел, душа из него вон, купил себе корзину, купить бы мне ему на саван, господи боже мой! Что это такое, спрашиваю? «Корзина», — отвечает. «А что ты, говорю, будешь делать с корзиной?» — «А го же, что и ты!» — «Что значит?» — спрашиваю. «А то и значит! — отвечает. — У меня тоже пятеро детей, которым кушать надо... Ты, говорит, их не прокормишь...»

Ну, что ты будешь делать? И вот так, как видите, он ходит следом за мной с корзиной, перетаскивает всех моих покупателей, таскали бы у него зубы изо рта, вырывает последний кусок, разорвало бы его в клочья, господи милосердный!

Пассажиру в синих очках приходит в голову удачная мысль, которая, собственно, и нам всем приходила на ум:

— Зачем же вам обонм топтаться на одном месте?



Женщина устремляет на него глаза:

— А что же нам делать?

— Поищите себе другое место. Линия велика.

— А он как же?

— Кто?

— Муж мой!

— Какой муж?

— Мой второй муж.

— Какой такой второй муж?

Красное конопатое лицо женщины еще пуще краснеет.

— Что значит, какой второй муж? Ведь он же, проклятый, и есть мой второй муж, — горе мне!

Все вскакивают с мест.

— Он, вот этот ваш конкурент, ваш второй муж?

— А что же вы думали? Первый? Э-хе-хе! Если бы мой первый муж, царство ему небесное, был жив!.. — протяжно и нараспев произносит женщина и, видимо, хочет начать рассказывать, кем и чем был ее первый муж.

Но кто станет слушать? Все говорят, шутят, острят и смеются, смеются, смеются!

Может быть, вы скажете, почему они хохочут?

Конец рассказа № 1.



РАССКАЗ № 2

Самый счастливый человек в Кодне

— Знаете, когда приятней всего путешествовать в поезде? Осенью, примерно после праздника кущей*.

Не холодно и не жарко. Вы не видите ни заплаканного неба, ни лежащей в трауре омраченной земли. Капли дождя стучат в окно и скатываются вниз по запотевшему стеклу, точно слезы. А вы сидите, как барин, в вагоне третьего класса между такими же аристократами, как и вы сами, и время от времени поглядываете в окно. Вы видите, там вдалеке плетется возок, вязнет в грязи. На возке, согнувшись в три погибели и накрывшись мешком, сидит этакое божье создание и вымещает свою злобу на бедной лошадке, тоже божьем создании. И вы славите господа бога за то, что вы сами под крышей и среди живых людей... Не знаю, как вы, но я очень люблю ездить по железной дороге осенью, — примерно после праздника кущей.

Главное для меня — это место. Если я захватил место, к тому же с правой стороны у окна, я чувствую себя королем. Достанешь, это, портсигар, закуришь и, потягивая папиросу за папиросой, смотришь между тем, кто

же едет с тобой, с кем тут можно перекинуться словом о деле. Пассажиров, слава богу, словно сельдей в бочке. Бороды, носы, шапки, животы — все как у людей. А человека нет. Но погодите, вон там в уголке в одиночестве сидит какое-то странное существо. Человек этот не походит на остальных. У меня на этот счет острый глаз. Необычного человека я среди сотни найду.

То есть на первый взгляд это заурядный человек, как у нас говорят: «обыкновенный еврей», — из тех, которых идет двенадцать на дюжину. Но одет он действительно странно: кафтан не кафтан, халат не халат; не то шапка на голове, не то ермолка, а в руках зонтик не зонтик, веник не веник. Странное облачение!

Но дело не в наряде, а в самом человеке. Человеку этому не сидится, — он ерзает, поглядывает по сторонам, а лицо у него сияет, прямо лучится радостью и счастьем.

Не иначе, человек выиграл в лотерее либо дочку в добрый час замуж выдал, а может быть, сына в гимназию определил. Он поминутно вскакивает, смотрит в окно и говорит сам себе: «Станция? Нет еще!» Снова садится и с каждым разом все ближе ко мне, сияющий, веселый, счастливый.

Должен вам сказать, что я по натуре такой человек: не люблю, как иные, другому в душу влезать, выпрашивать — что да как. Я иду своим путем: *если у человека есть что-либо на душе, он сам это выложит.*

И действительно. Проехали мы две станции, и беспкойный человек подсел ко мне поближе, то есть весьма даже близко, — рот его очутился у самого моего носа.

— Куда едем?..

Однако по его вопросу, по почесыванию в голове, по всему его виду я понял, что ему не столь важно знать, куда я еду, сколько хочется рассказать, куда он сам направляется. И я сделал ему одолжение, ничего не ответил на его вопрос, но, в свою очередь, спросил его: «А вы куда?»

И пошло.

— Куда я еду? В Кодню. Слыхали про Кодню? Я тамошний, кодненский. Недалеко отсюда. Третья остановка. Это значит, отсюда еще три станции... Ну да! А там в Кодню надо еще часа полтора на лошадях добираться. Положим, это только говорится так — полтора, на самом деле это целых два, битых два часа с гаком, и то, если дорога хорошая и ехать в фаэтоне.

И уже заказал по телеграфу, послал депешу, чтобы выслали фаэтон на станцию. Для себя, думаете? Не беспокойтесь, я могу и шестым пассажирским на обыкновенной подводе прокатиться. А если нет, беру зонт в руку, узелок в другую и — наилучшим манером прямо в город пешечком. На фаэтоны, видите ли, нам не хватает. По моим замечательным делам мне можно было бы и вообще дома сидеть. А? Что вы сказали?

Тут мой собеседник делает паузу, вздыхает, потом снова заговаривает, но уже потише, прямо в ухо мне, предварительно поглядев по сторонам, не подслушивает ли кто.

— Я не один... С профессором еду... Какое я имею отношение к профессору? А история такова. О Кашеваровке вы когда-нибудь слыхали? Местечко есть такое, Кашеваровкой называется. И вот живет там богатый еврей, выскочка, может, слыхали, Бороденко, Ицик Бороденко. Как вам нравится эта фамилия? Настоящее русское прозвище! Но что из того, русское ли, еврейское ли имя — деньги-то у него! И много денег, очень много. Одним словом, у нас в Кодне этого человека оценивают в полмиллиона. А если вы будете сильно настаивать, я соглашусь, пожалуй, что он владеет и целым миллионом. Если же, извините, судить по его свинству, то он может владеть и двумя миллионами. Вот вам доказательство. Хотя я вижу вас в первый раз, я все же понимаю, что ездите вы чаще моего. Так вот скажите мне по правде: слыхали вы когда-нибудь, чтобы этот Бороденко проявил себя как настоящий хороший еврей, пожертвовал бы крупно или еще что? У нас в Кодне об этом что-то не слыхивали пока. Впрочем, в господних стряпчих я не числюсь, а на чужой карман благодетелей много. Но я не говорю о благотворительности и пожертвованиях, я говорю о человечности. Господь тебе помог, ты так богат, что можешь себе позволить выписать профессора; что же приключится, если благодаря тебе еще кто-нибудь воспользуется этим случаем? Денег у тебя не просят, доброго слова только просят, чего же тебя черт мордует? Так вот послушайте...

Должно же ведь случиться такое! Провели у нас в Кодне (у нас в Кодне все знают), что у кашеваровского богача, у этого самого Ицика Бороденко, о котором я вам рассказываю, заболела дочка. И чем бы, вы думаете, она заболела? Чепуха какая-то —

любовь! Влюбилась она в русского парня, а парень оказался от нее, она и отравилась (у нас в Кодне все знают). Это случилось только вчера. Сейчас же помчались, приставили к ней профессора, самого известного профессора. Такому богачу разве трудно? Вот и мелькнула у меня мысль: ведь профессор-то не навсегда там останется, не сегодня, так завтра поедет обратно. А ехать ему обязательно мимо нашей станции, это значит — мимо Кодни. Почему бы ему не заскочить от поезда до поезда к нам, ко мне, значит? У меня, видите ли, не про вас будь сказано, ребенок слег. Что, вы думаете, у него? Я и сам не знаю. Внутри что-то неладно. Кашлять он, слава богу, не кашляет, сердце тоже не болит. Что же, однако, у него? Ни кровинки в лице, и слаб, слаб, как муха... И все потому, что не ест. Ничего! Так-таки ничего. Ну, куска в рот не берет. Выпьет иногда стакан молока, да и то через силу, приходится упрашивать, чуть не плакать. А больше не ест ничего: ни ложки супу, ни крошки хлеба. О мясе и говорить нечего. Мясо он терпеть не может, прямо не переваривает... Началось у него это с того времени, когда кровь горлом пошла. Нынешним летом. Один раз, правда, но сильно. А больше, слава богу, не показывается. Но как он ослабел, вы и представить не можете, еле-еле на ногах держится. Шутка ли, человека лихорадит, как в огне горит. С самой пятидесятницы * у него — тридцать девять и пять десятых, и ничем не поможешь! Не раз уже у доктора с ним бывал. Но что они знают, наши доктора? Побольше кушать, говорят, да побольше воздуху. Но куда там кушать, когда о еде он и слышать не хочет. А воздух? Откуда у нас воздух? В Кодне воздух! Ха-ха! Славное местечко Кодня, настоящее еврейское местечко. Есть у нас, слава богу, евреи, есть синагога, «молитвенный дом», раввин и все прочее. Только от двух вещей избавил нас бог: от заработков и от воздуха. Ну, о заработках нечего говорить. Зарабатываем мы, слава тебе господи, один у другого... А насчет воздуха... Если нам нужен воздух, мы отправляемся в помещичий «двор». Во «дворе», видите ли, воздуху действительно много. Раньше, когда Кодня принадлежала польским панам, нельзя было и носа сунуть во «двор». Паны и близко не подпускали. Не так паны, как панские псы. Но с тех пор как кодненский «двор» перешел в руки евреев, собаки перевелись, да и сам «двор» стал совсем



другим. Приятно зайти туда. Теперь там тоже паны, помещики, но еврейские помещики... Говорят по-еврейски, как мы с вами. Придерживаются еврейских обычаев и уважают еврея. Одним словом, настоящие евреи. Не скажу, чтоб они были большие праведники. Слава богу, в синагогу к нам они не очень спешат. А в баню к нам — и подавно. Нарушить субботний закон они не особенно боятся. И зажарить цыпленка на коровьем масле — тоже для них грех небольшой. Ну, а стричь бороду, ходить с непокрытой головой* и тому подобное — тут уж и говорить не приходится: это теперь везде привычное дело. Даже у нас в Кодне водятся молодчики, которым шапка на голове тяжела... Да, Кодне нечего плакаться на своих помещиков. Наши еврейские паны хорошо обходятся с местечком, стараются показать себя с наилучшей стороны. К осени они пришлют сотню-другую мешков картофеля для бедных, зимою дадут соломы на топливо, перед пасхою — денег на мацу. Недавно они подарили кирпич для синагоги. А как же! Хорошо, благородно, честь честью, как и полагается. Кабы еще вот этого цыпленка в масле не было! Ох, уж этот цыпленок! Вы не подумайте, я их вовсе не хочу оговорить. Наоборот, я против них ничего не имею. Да и они меня на котелок борща не обменяют. Ведь реб* Алтер (это мое имя, меня зовут Алтер) у них, можно сказать, целая шишка. Как только у них какая нужда в городе — календарь, скажем, нужен к Новому году или маца к пасхе, вербы к празднику кушей и тому подобные вещи, необходимые в обиходе у евреев, так сразу посылают за реб Алтером. И у жены моей в лавочке (моя жена содержит лавочку) они на большие деньги покупают: соль берут, перец, спички, всякую всячину. Это сами помещики! А их дети, студенты, — эти души не чают в моем сыне. Приедут на лето из Петербурга и давай обучать «моего» всему; сидят с ним целые дни над книжками. А «мой» за книжку, надо вам сказать, жизнь отдаст, отца с матерью не пожалеет. Боюсь сказать, но мне кажется, что книжка его и погубила. От книжки-то все несчастье и пошло... Жена, положим, уверяет, что это у него от призыва. Но при чем тут призыв? О призыве мы уже давно и думать забыли. Ну да ладно, как бы там ни было, книги ли, призыв ли, — а сын мой лежит и чахнет, избави бог всякого, тает, бедный, как свечка. Ах, смилостивился бы господь!..

На минуту его сияющее лицо как бы заволокла тучка, но не больше чем на одну минуту. Вскоре выглянуло солнышко, прогнало тучку, и вновь засияло лицо, зажглись глаза, заулыбался рот. И вот он уже снова рассказывает:

— Итак, на чем мы остановились? Да! И вот я поразмыслил — дай-ка слетаю в Кашеваровку, к Ицику Бороденко, к богачу этому. Понятно, я пустился в дорогу не просто так, с пустыми руками, как говорится. Понимаете, письмом я запасаю, письмом. От раввина нашего (кодненский раввин славится далеко!). Письмо замечательное! «Так как господь бог благословил дом ваш достатком, и вы в состоянии выписать себе профессора, и так как у нашего реб Алтера, не приведи господи, сын лежит на смертном одре, то не пробудится ли в сердце вашем искра милосердия, не снизойдете ли вы с высот вашего благополучия и не войдете ли в его положение; может быть, вам удастся добиться у профессора, чтобы он на обратном пути, — ведь он все равно проезжает мимо Кодни, — заехал бы к нам хотя бы на четверть часа, от поезда до поезда, осмотреть больного. За какую милость господь благословит вас...» Ну и так далее. Замечательное письмо!

Внезапно донесся гудок, и мы остановились. Мой спутник сорвался с места:

— Ага! Станция! Я заскочу в первый класс только на минутку. Взгляну лишь на моего профессора и вернусь, тогда уж и кончу свой рассказ.

Возвратился мой спутник еще более сияющий. Я бы сказал, если можно так выразиться, что божья благодать покоилась на нем. Нагнувшись, он тихо прошептал мне на ухо, точно боясь кого разбудить:

— Спит мой профессор. Дай бог, чтобы он хорошо выспался, чтобы со свежей головой приехал к нам... Одним словом, на чем же мы остановились, — на Кашеваровке?

Приезжаю, значит, в Кашеваровку и направляюсь прямо к дому, звоню у двери раз, другой, третий. И вот высовывается какая-то морда, откормленная, скобленая, облизывается, как кот, и спрашивает по-русски: «Что надо?» А я по-еврейски: «Значит, надо. Если бы не «надо», я бы не притащился сюда аж из Кодни». Он слушает меня, жует, облизывается и мотает головой. «Наши сейчас не принимают. У них профессор...» — «Это-то и

хорошо, что у них профессор, говорю, ради этого профессора я сюда и приехал». А он мне говорит: «Какие у вас дела с профессором?..» Поди расскажи ему! Тогда я подаю ему письмо: «Хорошо, говорю, тебе разглагольствовать там, по ту сторону двери, а каково мне здесь, под дождем? Вот этот документ, говорю, передай, будь добр, сейчас же хозяину, в собственные руки». И вот я остаюсь на улице, жду, когда меня позовут. Жду полчаса, час, жду два. Дождь льет как из ведра. Меня не зовут. Мне становится обидно. Не столько за себя, сколько за нашего раввина. Ведь письмо-то не от мальчишки какого-нибудь, как-никак пишет раввин (кодненский раввин славится далеко!)... Я дергаю звонок еще и еще раз. Выскакивает та же самая рожа, рассвирепела, кричит: «Это нахальство так трезвонить!» — «Это нахальство, — говорю я, — заставляя человека стоять два часа под дождем». И подвигаюсь к двери, хочу войти. Куда там! Как хлопнет дверью перед самым моим носом — и делу конец. Что же все-таки предпринять? Невесело как-то. Ехать обратно ни с чем очень уж неприятно. Во-первых, самому за себя стыдно. Ведь я какой-никакой, а все же хозяин в Кодне, не нищий... А потом душа болит: бедное дитя мое...

Но всемогущ бог в небесах. Гляжу — подъезжает карета, запряженная четверкой, и прямо к крыльцу. Я к кучеру: «Что за карета, чьи лошади?» Узнаю, карета Бороденко, и лошади Бороденко. Для профессора. На станцию повезут. «Если так, думаю, значит, хорошо. Замечательно!» Не успеваю оглянуться, как открывается дверь и появляется он сам, профессор, махонький, старенький, с лицом — ну, как бы вам сказать — ангела, небесного ангела. Провожает его сам богач Ицик Бороденко, кстати, без шапки. А совсем позади то самое существо с бритой мордой несет чемоданчик профессора. Посмотрели бы вы на богача, чуть ли не миллионера! Да простит меня господь за эти речи! Пиджак на нем из обыкновенной диагонали, такие и у нас в Кодне носят, руки он держит в карманах и смотрит куда-то в сторону, косит. Я стою и думаю: «Владыка небесный! Вот у этого создания — миллионы!» Но пойдя потолкуй с богом! Увидел меня миллионер и давай шпынать косыми глазами. Затем спрашивает: «Что вам нужно?» — «Так, мол, и так, говорю, это я вам привез письмо от раввина». А он мне: «От какого раввина?!» Как вам это нравится,

он уже не знает, от какого раввина. «От кодненского раввина, говорю. Я и сам тамшний, из Кодни, значит. Я специально приехал к господину профессору — просить, не потрудится ли он заехать к нам в Кодню, от поезда до поезда, и всего-то на четверть часа, к моему сыну? У меня дитя, не приведи господи, при смерти». Вот так прямо и сказал ему. Я ни капельки не преувеличиваю, ни на волос! На что я рассчитывал? Думаю: «Человека постигло несчастье — дочка отравилась. Авось, думаю, смягчится у него сердце, пожалеет бедняка отца...» Ничего подобного! Не сказал и полуслова в ответ. Только взглянул косыми глазами на краснорожего детину, как бы говоря: «Убрал бы ты с дороги этого еврея». А профессор мой тем временем забрался с чемоданчиком в карету. Еще минута — и прощай профессор! Что же делать? Вижу, вся игра к дьяволу, решаюсь: эх, была не была!.. Нужно спасти дитя! Набрался смелости и бух — прямо лошадям под копыта. Чтобы очень хорошо было лежать под копытами — этого сказать не могу. Не помню, долго ли мне пришлось так лежать, и лежал ли я вообще. Может быть, и не лежал. Знаю лишь, что длилось это не дольше мгновенья, в какое я рассказывал вам об этом, а старичок профессор уже стоит надо мной: «Что такое?» Потом: «Голубчик!..» — чтоб я ему, значит, все рассказал, выложил без всякого стеснения и боязни, чего я, собственно, хочу. Богач стоит в стороне и разглядывает меня своими косыми глазами, а я говорю. Вы должны знать, что я далеко не мастер говорить по-русски. Но на этот раз господь помог мне, и я заговорил. Я ему все рассказал, выложил все, что было на душе. «Так и так, господин профессор, может быть, суждено, чтобы вы были посланцем неба и спасли мое дитя, моего сына, единственного из шести, оставшегося у меня на долгие годы... И если, — говорю я, — это должно стоить денег, то, пожалуйста, у меня есть целая четвертная, двадцать пять рублей. Не мои, боже упаси! Откуда у меня такие деньги? Четвертная эта моей жены. Она собиралась съездить в город за товаром. Но бог с ней, с четвертной и со всей лавочкой жениной, только бы дитя спасти!» Говорю вот так и расстегиваю кафтан, хочу достать свои двадцать пять рублей. Но старичок профессор кладет мне руку на плечо: «Ничего!» — и велит мне лезть в карету. Чтоб я так увидел своего сына здоровым, как говорю вам правду! Ну вот я вас спрашиваю: стоит ли

Ицик Бороденко и мизинца моего профессора? Ведь чуть не зарезал меня без ножа этот Бороденко! Хорошо, что все обошлось благополучно. А если бы, не дай бог, наоборот? Что тогда? А?..

В вагоне вдруг засуетились, и мой собеседник кинулся к кондуктору:

— Кодня?

— Кодня.

— Будьте здоровы! Счастливого пути! Прошу вас, никому не говорите, с кем я еду. Я не хочу, чтобы у нас в Кодне знали, что я привез профессора. Все сбегутся.

Так сказал мне по секрету мой спутник и, пожав мне руку, исчез.

Через несколько минут, когда поезд уже тронулся, я увидел в окно: от станции, покачиваясь, отъезжает старый тарантасик, запряженный парой облезлых, угрюмых серых лошадок. В тарантасике сидит маленький, старенький человек в очках, с юношескими красными щечками и седой бородкой. Против него в фаятоне сидит мой знакомец, вернее, висит, точно на ниточке, подпрыгивает на ухабах и заглядывает старичку в глаза, а лицо у него сияет, и глаза вот-вот выпрыгнут от радости.

Жаль, что я не фотограф и не везу с собой фотографического аппарата. Следовало бы запечатлеть моего знакольца в это мгновенье. Пусть все знают, что такое счастливый человек — самый счастливый человек в Кодне.

Конец рассказа № 2.

РАССКАЗ № 3

Станция Барановичи

На этот раз нас было десятка два — не больше, и сидели мы в вагоне третьего класса, можно сказать, довольно просторно. Собственно, сидели только те, кто вовремя захватил место. Остальные стояли, пристроившись в проходах. Но все же и они принимали участие в беседе наравне с сидящими. А беседа шла у нас весьма оживленная. Все говорили. Все разом, по обыкновению.

Было утро. Народ выспался, помолился, перекусил, чем пришлось, накурился досыта, был в прекрасном настроении и расположен к разговорам. О чем? О чем угодно. Каждому хотелось рассказать что-нибудь свеженькое, животрепещущее, такое, чтобы дух захватывало и приковало бы слушателя. Никому, однако, не удавалось задержать внимание пассажиров на чем-либо одном. Каждую минуту перескакивали на другую тему. Вот как будто заговорили об урожае, — пшеница и овес нынче уродились, — а вот уже толкуют о войне (какая связь?). Не задержались на войне и пяти минут и тут же метнулись к революции. От революции к конституции, а от конституции, само собой, перешли к погромам, изуверствам, новым преследованиям евреев, изгнании из деревень, бегству в Америку и всяким иным напастям, которых вдоволь наслышишься в нынешние замечательные времена: банкротства, экспроприации, военное положение, виселицы, голод, холера, Пуришкевич *, Азеф...*

— Азеф!

Один произнес это имя, другой подхватил, и весь вагон всполошился: «Азеф!» Снова «Азеф», еще раз «Азеф», и опять «Азеф»!

— Извините, но вы все, с позволения сказать, ослы. Что творится? Ажеф! Тьфу Какая важность! Что такое Ажеф? Ничто, бездельник, паршивец, доносчик, ноль, ничтожество из ничтожеств. Попросите меня хорошенько, и я расскажу вам об одном доносчике из наших же, каменковских, и, уж не беспокойтесь, вы сами скажете, что Ажеф против него щенок.

Так заговорил один из пассажиров без места, который нависал прямо над нами, держась за полки.

Здрав голову, я вскинул глаза и увидел упитанного человека в шелковой субботней каскетке. У него было красное веснушчатое лицо и смеющиеся глаза, а спереди недоставало зубов, самых передних, отчего буквы «з», «с» и «ц» он произносил с присвистом, а Азеф получался у него как Ажеф.

Мне сразу понравился этот господин. Пришлись по душе его развязность, его язычок и даже то, что он назвал нас ослами. Люблю, завидую такому человеку.

Получив неожиданно аттестацию слов, пассажиры на мгновение опешили, точно их окатили ушатом холодной воды. Вскоре, однако, они пришли в себя и, переглядываясь, заявили каменковскому:

— Хотите, чтоб мы вас просили? Что ж, просим. Расскажите! Послушаем, что такое произошло у вас в Каменке... Отчего вы, однако, стоите? Почему не сядете? Негде, говорите? Люди, потеснитесь! Выкроим местечко! Сделайте одолжение!

Пассажиры, и до того сидевшие довольно тесно, сдвинулись плотней и высвободили для каменковца место.

Человек расположился довольно свободно (вроде приемного отца на обрезании, когда вносят ребенка), сдвинул каскетку на затылок, подвернул рукава и непринужденно начал:

— Слушайте же, мои дорогие! То, что я вам расскажу, да будет вам известно, не вымысел, который вычитаете из книжки, и не сказка из «Тысячи и одной ночи». Это истинное происшествие, которое имело место у нас, в нашей Каменке. Мой отец, царство ему небесное, говорил, что сам он не однажды слышал, как историю эту рассказывал его отец. Событие это было как будто описано даже в летописи нашей общины, однако летопись эта давно сгорела. Можете, конечно, смеяться, но, уверяю вас, очень, очень жалко, что она погибла. Там,

говорят, было немало занимательных историй, получше тех, которые печатаются в нынешних газетах и книжках.

Короче говоря, это было в царствование Николая Первого, во времена экзекуций. Что вы усмехаетесь? Наверно, не знаете, что такое экзекуция? Экзекуция, видите ли, такое наказание, когда прогоняют сквозь строй. Что такое: сквозь строй — тоже не знаете? Стало быть, надо и это объяснить. Представьте себе — в два ряда выстроились солдаты с железными прутьями, а вы прогуливаетесь между ними раз двадцать туда и обратно, извините, нагишом, в чем мать родила, и с вами проделывают то, что меламед проделывал в хедере, когда вы ленились учиться. Надеюсь, вам уже ясно, что такое: прогнать сквозь строй? А теперь слушайте дальше!

И был день... Приходит от губернатора приказ, — губернатором был тогда Васильчиков, — подвергнуть экзекуции некоего Кивку. Кто был этот Кивка и в чем он провинился, я вам не скажу, — кажется, был он шинкарем. Неприглядный человек, к тому же засидевшийся холостяк. И должно же было ему взбрести в голову разговариваться в шинке как раз в воскресенье о вере. «Наш бог, ваш бог...» Слово за слово — и вот уже вызвали старосту, пристава и, как полагается, составили протокол. Возьми же, шинкарь ты этакий, поставь ведро водки — и протоколу конец! «Нет, — говорит он. — Кивка свои слова обратно не берет». На горе себе, он был еще и упрямец. На что ж он надеялся? Думал, оштрафуют на трешку, и будь здоров. Кто мог ожидать, что вынесут такой приговор? Чтоб за глупое слово человека прогнали сквозь строй! Одним словом, схватили нашего молодца и, не извольте беспокоиться, тут же посадили в кутузку; это значит, до той поры, когда ему, извините, устроят весь парад, как бог велел, высыплют двадцать пять горячих.

Ну, ладно! Вы, конечно, понимаете, что творилось у нас в Каменке, когда люди слышали все это. И в какой, думаете, день стряслась беда? Как раз в ночь под субботу. Только встали утром, явились в синагогу, а там вопят: «Кивку арестовали!» — «Присудили к экзекуции!» — «За что? Почему?» — «За глупость! За слово!» — «Навет». — «Какой там навет?» — «У человека длинный язык». — «Восемнадцать раз длинный язык, но, подумайте, — экзекуция!» — «Как можно допустить, чтобы гнали сквозь строй?!» — «Нашего, каменковского?»

Всю субботу до самого вечера кипело как в котле. А вечером, едва прочитали «Габдалу»* ввалились с воплями к моему дедушке (его звали Нисн Шапиро):

— Что же это вы, реб Нисн, молчите? Как можете допустить, чтобы пороли нашего, каменковского?!

Вы, конечно, спросите, почему прибежали именно к моему деду? А потому, что дедушка — да будет ему земля пухом! — был, говорю это без бахвальства, самый замечательный, самый богатый, самый знатный человек в городе и к тому же настоящая голова и уважаем начальством. Выслушав эти крики, он несколько раз прошелся по комнате (у него была привычка, как рассказывал покойный отец, во время раздумья шагать по комнате взад-вперед), затем остановился и сказал:

— Дети мои, идите домой и не печальтесь! Бог даст, все обойдется. Не было в Каменке поротых до сих пор, — с божьей помощью, не будет и дальше.

Вот так им мой покойный дедушка ответил. А в городе знали — раз реб Нисн Шапиро сказал, значит, кончено. Переспросить у него — как, да что, да когда? — неудобно. Не любил он этого. Богатый человек, понимаете ли, вхож к начальству и к тому ж голова, — к такому люди всегда почтение имеют.

И что ж вы думаете? Как дедушка сказал, так оно и было. Вот послушайте дальше.

Заметив, что люди в вагоне захвачены рассказом, готовы его слушать, каменковский пассажир умолк, вынул из кармана большой портабак и не спеша скрутил папиросу. Несколько человек разом кинулись к нему со спичкой. Вот какое уважение он завоевал в вагоне! Прикурив, затем как следует затянувшись, каменковский с новыми силами принялся за свой рассказ:

— Теперь послушайте, что может сделать мудрый человек. Я говорю о дедушке, да будет благословенна память праведника! Он обмозговал все как полагается и сотворил эдакий пустяк: договорился с начальством, чтобы заключенный Кивка на минуточку помер в тюрьме. Что вы уставились? Не понимаете? Может, думаете, что его, упаси бог, там отравили? Не беспокойтесь, у нас не травят. В чем же штука? Все было сработано гораздо тоньше. Сделали так, чтобы заключенный лег спать в полном здравии, а встал утром мертвым. Теперь разжевали? Или вам еще нужно сунуть палец в рот, чтоб вы его откусили?

Так оно и свершилось.

Однажды утром приходит к дедушке посланец из кутузки с бумагой: так как этой ночью в тюрьме умер еврей по имени Кивка, а мой дедушка самый почтенный горожанин и староста погребального братства, то ему следует позаботиться, чтобы труп убрали и погребли по еврейскому обряду...

Что скажете про такую работку?! Не правда ли, хорошо? Но погодите радоваться. Не так скоро дело делается, как сказывается. Не забудьте, что здесь не просто умер еврей; здесь замешаны блестящие пуговицы... губернатор... экзекуция!.. Шутка сказать?!

Перво-наперво надо было добиться, чтобы не производили вскрытия. Пришлось обратиться к доктору, просить у него бумагу за подписью и печатью о том, что он обследовал умершего тотчас после кончины и нашел, что покойник умер от разрыва сердца или, как говорят, от апоплексии, не про вас будь сказано. Договорились и с остальным начальством, чтобы они поставили свои подписи на бумаге. И делу конец. Нету Кивки! Помер Кивка!

Ну, ладно. Во что это влетело городу, желаю всем присутствующим здесь столько зарабатывать каждый месяц. Если боитесь рискнуть, готов войти в компанию. И кто все это сотворил? Дедушка, царство ему небесное. На моего дедушку можно было положиться. Обделал он дело гладко, кругло, умно, с большим искусством... В тот же день, под вечер, в кутузку явились служки погребального братства, честь честью обрядили умершего и с помпой понесли покойничка на кладбище — два конвойных сопровождали носилки, а позади шествовал весь город. Да что и говорить! Кивка никогда и не мечтал о таких похоронах. А когда подошли к кладбищенским воротам, солдат как следует угостили водкой, а покойника внесли за ограду. Там уже стоял наготове возница Шимен (это имя называл покойный отец) с четверкой добрых коняг. И раньше, чем петух прокукарекал, наш покойник был далеко за рогаткой, а там, в добрый час, покатил в Радзивилл, оттуда через границу и — тютю! — в самые Броды.

Это уж вы, конечно, понимаете — пока Шимен-возница не вернулся из Радзивилла, город глаз не сомкнул, люди потеряли головы. И больше всех волновался дедушка. Мало ли что бывает! А вдруг покойничка на границе схватят да доставят в полном здравии, тогда ведь целый город в Сибирь пойдет. Зато, когда Шимен вернулся из Радзивилла на своих лошадках и привез собственноруч-

ную записку Кивки: «Имею честь уведомить, что я в Бродах», — в городке было настоящее ликование. Закатили пир, опять-таки в доме у бабушки, и пригласили пристава, смотрителя тюрьмы, доктора и все прочее начальство. Играла музыка, гуляли вовсю. Напились так, что смотритель тюрьмы лобызался с дедом и со всей его родней раз по десять. Пристав уже под утро отплясывал у деда на крыше, простите, в одном исподнем. Шутка сказать, вызволили живую душу из заточения! Спасли человека от порки!

Хорошо ведь, не правда ли? Однако не спешите, дорогие, — здесь только и начинается настоящая заварушка. Если хотите дослушать — прошу чуть потерпеть, я на минутку соскочу на этой станции и поговорю с начальником, пусть толком объяснит — далеко ли еще до Барановичей. Еду я, собственно, дальше, но в Барановичах у меня пересадка...

Что поделаешь — приходится потерпеть. Каменковский пассажир пошел разговаривать с начальником станции, а люди в вагоне стали обмениваться мнениями о нем и о его истории.

- Как он вам нравится?
- Славный человек.
- Толковый.
- И наговорит с три короба.
- Да, языкатый.
- А его рассказ?
- Хорош рассказ...
- Да короток...

Нашлись люди, которые заявили, будто у них случилось такое же происшествие, то есть не совсем такое, но очень схожее. А так как каждому хотелось рассказать, какое именно происшествие у них случилось, в вагоне стало как на ярмарке. Это длилось до тех пор, пока не явился каменковский. Как только он вошел, все сразу стихли, сгрудились вокруг него и давай слушать дальше.

— На чем же мы остановились? Ага, стало быть, похоронили, с божьей помощью, еврея по имени Кивка. Так ведь, не правда ли? Ошибаетесь, дорогие. Прошло полгода, а может, год, не скажу точно, — присылает наш Кивка письмо, опять-таки на имя бабушки: «Во-первых, имею честь уведомить, что я, слава создателю, здоров, дай бог слышать от вас то же. Во-вторых, я остался без гроша за душой и без работы в чужом краю, среди немцев. Они не понимают моего языка, я не понимаю

их речи. А заработать негде, хоть ложись и помирай. Посему прошу выслать...» Каков умник! Вышли ему денег! Посмеялись, посмеялись, порвали письмо в клочки и про все забыли. Не прошло, однако, и трех недель, как от покойника прилетело новое письмецо, — и снова в адрес деда, и снова: «Имею честь уведомить...» и «прошу выслать...». На этот раз «прошу выслать...» сопровождалось целым рядом претензий: «Что ж это вы сотворили со мной? Лучше б уж меня выпороли! Раны давно зажили бы, и я остался бы при своем деле, и не ходил бы без дела среди немцев, и не пухнул бы с голоду».

Получив такое послание, дедушка созвал к себе горожан: «Что делать? Человек с голоду помирает. Надо что-нибудь послать». Ну, раз реб Нисн Шапиро предлагает — нельзя быть свиньей. Сложились чин чином (больше всех дал, понятно, дедушка), выслали немного денег и тут же забыли, что был еврей по имени Кивка.

Но Кивка не забыл, что существует город по названию Каменка. Минуло еще полгода или год, не скажу точно, и снова прибыло письмо, — и вновь на дедушкино имя, и снова: «Имею честь уведомить...» и прошу выслать...». А просьба сопровождалась радостной вестью.

«Поелику, — писал он, — я недавно стал женихом и беру славную невесту, благовоспитанную, из хорошей семьи, прошу выслать... То есть пришлите вы мне двести крон, которые я обещал в приданое. В противном случае свадьба расстроится». Что вы скажете на это такое горе? Кивка, упаси бог, останется без невесты! Что и говорить! С письмом носились по Каменке как с чем-то путным, и люди хохотали до упаду, до колик в бок. Город потешался и острил: «Поздравляем! Кивка же-



нится!», «Слышали? Двести крон приданого!», «Благовоспитанная девица! Ха-ха-ха».

Однако это «ха-ха-ха» недолго длилось. Недели через две от Кивки прибыло новое письмо, и опять на имя дедушки. Теперь здесь не было: «Имею честь уведомить», а только: «Прошу выслать». «Меня удивляет,— писал он,— что до сих пор мне не выслали двести крон, которые я обещал. Если немедленно не вышлют деньги, свадьбе не бывать, а мне, чтобы избежать позора, останется только либо головой в воду, либо с одним кнутовищем вернуться в Каменку...»

Последнее здорово шибануло в нос, и в городе перестали смеяться. В тот же вечер у дедушки состоялось совещание самых состоятельных людей. Порешили так: несколько почтенных горожан, среди них, конечно, и дедушка, возьмут платочек в руки и отправятся собирать приданое для Кивки. Куда деваться? Пришлось к тому же написать жениху и поздравление, пожелать, чтобы все у него свершилось в добрый час, чтобы он состарился со своей супругой в богатстве и чести, чтобы дождался внуков и правнуков. Все честь честью. На что же город надеялся? Женится — остепенится; заморочит ему все это голову, и он волей-неволей забудет, что существует на свете Каменка. Однако не тут-то было. Не прошло и полугода или года, не скажу вам точно, и снова от него письмо. Что там еще? «Женился я,— пишет он,— удачно, бог послал женушку дай бог каждому. Чего же еще? Но все хорошо не бывает. Отец у нее — пропасть бы ему! — обманщик, плут, мошенник, форменный бандит. Выманил у меня двести крон и выгнал с женой на улицу. Посему,— пишет он,— прошу выслать, то есть нужны немедленно другие двести крон, иначе остается только живым в реку или вернуться домой с одним кнутовищем».

Это уж возмутило город не на шутку. Два раза приданое! Похоже на подлость. И порешили на письмо ничего не отвечать.

Подождал Кивка две-три недели и вновь прислал письмо на имя дедушки:

«Так, мол, и так. Что у вас там думают? Почему не высылают двести крон? Я буду ждать не больше полутора недель, и, если за это время мне не вышлют денег, пусть Каменка готовится встречать гостя». А в конце еще прибавил: «Аминь». Вот бездельник!

Как вы понимаете, это уж привело всех в ярость. Но что станешь делать? Снова собрались у дедушки, и снова самые почтенные горожане пошли с платочком по городу. Люди, конечно, мялись, давали для подлеца неохотно. Но как тут откажешь? Раз реб Нисн Шапиро предлагает дать, нельзя быть свиньей. Все же каждый заявил, что дает в последний раз. Да и дедушка предполагал, что это уже последний раз. Так он ему и написал, Кивке, — твердо, непреклонно: посылаем, мол, в последний раз, и чтобы больше о деньгах не смел заикаться. Но как вы думаете, здорово испугался этого наш жулик?!

Однажды, под какой-то праздник, от молодца опять пришло письмо, и, конечно, в адрес дедушки. Что теперь?

«Поелику, — пишет он, — я повстречался в Бродах с весьма порядочным и честным немцем и порешил в компании с ним открыть торговлю фаянсом, а дело это верное, настоящее дело и может давать приличный доход, прошу выслать, то есть отправьте мне четыреста пятьдесят крон. Шлите немедленно, не откладывайте, так как компаньон не хочет ждать. У него, говорит, найдется еще десяток таких, как я. А если я не вступлю в дело, то останусь ни при чем, а тогда придется мне только головой в реку или вернуться домой с одним кнутовищем». Старая погудка!

Письмо заканчивалось таким намеком: если в течение двух недель не вышлют четыреста пятьдесят крон, это обойдется городу дороже, так как придется еще оплатить расходы по его поездке из Брод в Каменку и обратно. Вот негодяй!

Нужно ли рассказывать, какой это был мрачный праздник для города и в особенности для дедушки? Покойному, как вы понимаете, досталось сполна. Когда после праздника вновь стали совещаться, люди недовольно ворчали:

«Хватит! До каких пор будет он из нас деньги тянуть? Все должно быть в меру. Даже кушать пельмени и то надоест. Ваш Кивка сделает нас нищими!» — «Почему мой Кивка?» — спросил дедушка. «А чей же? — ответили ему. — Кто это постарался, чтобы выродок этот вдруг умер в тюрьме от разрыва сердца?»

Из этих слов дедушка понял (это был мудрый человек), что все его разговоры впустую, денег город больше не даст. Тогда он кинулся к начальству, ведь и у них рыльце в пушку, — авось хоть немного помогут,

Какое там! Что это взбрело деду на ум? Его и слушать не стали. И что же вы думаете? Пришлось бедняге-дедушке раскошелиться и послать разбойнику — да будет вычеркнуто его имя из списка живых! — собственные деньги. А письмецо дедушка написал уж настоящее (покойный, когда хотел, умел это делать).

В письме он как следует обругал Кивку, обозвал бездельником, неучем, отщепенцем, ловкачом, кровопийцей, пьявкой, злодеем, выродком и еще по-всякому и наказал раз и навсегда перестать писать письма, а о деньгах и не заикаться. Напомнил, что есть на свете бог, который все видит и все знает и оплатит за все сторицей. А закончил он свое письмо мольбой (все-таки еврейская душа!) пожалеть его старость и не обездолить целый город, и тогда господь воздаст ему за все как подобает и обретет он счастье во всех своих делах и начинаниях.

Вот такое письмо отправил ему дедушка и подписался полным своим именем: «Нисн Шапиро». И это было, да простит он мне, самой большой его глупостью, как вы узнаете в дальнейшем из моего рассказа.

Тут каменковский пассажир остановился, вынул портабак и не спеша принялся скручивать папиросу, затем прикурил и сильно затянулся — и раз, и другой, и третий, совершенно не обращая внимания на то, что пассажиры сгорают от любопытства, жаждут узнать, чем все это кончится. После того как каменковский как следует накурился, откашлялся и всласть высморкался, он вновь подвернул рукава и продолжал все тем же тоном:

— Вы, может, думаете, мои дорогие, что собачье отродье сильно испугалось письма дедушки? Ошибаетесь! Не прошло и полугода или года, как от этого наглеца прибыло такое послание:

«В первых строках имею честь сообщить, что мой компаньон, немец этот, — все несчастья на его голову! — объегорил меня, обобрал с ног до головы и вышвырнул вон из дела. Я хотел затеять суд, взыскать с него, но понял — это то же, что искать вчерашний день. Начинать тяжбу с немцем значит распрощаться с жизнью. Это такие выродки, что лучше с ними не связываться. Поэтому я приторговал лавку рядом, дверь в дверь с ним, и открываю свою торговлю фаянсом. С божьей помощью, я немца заживо закопаю, он у меня землю будет грызть. Одно только требуется для этого — монета, по крайней мере, тысяча крон. Посему прошу выслать...» Письмо

это Кивка закончил так: «А если в течение восьми дней не вышлите тысячу крон, перешлю ваше последнее письмо, подписанное собственноручно «Нисн Шапиро», прямо в губернию и расскажу всю историю от первой до последней буквы: как я скончался в тюрьме от апоплексии и как воскрес на кладбище; как Шимен-возница доставил меня здоровым и невредимым в Броды и как вы мне несколько раз высылали деньги, чтобы я никуда не сообщал об этом. Все, все расскажу — и пусть они знают, что есть бог на свете, а Кивка не умер».

Как вам нравится такое послание?!

Едва дедушка, царство ему небесное, прочитал это письмецо, ему стало дурно, и он упал замертво. У него отнялись, не про вас будь сказано... Люди, да мы стоим! Где мы?

— Станция Барановичи... Станция Барановичи... — прокричал, пробегая под окнами вагона, кондуктор.

Услышав название станции, наш каменковец сорвался с места, схватил свой узел, какой-то мешок, набитый бог весть чем, и, натужась изо всех сил, поволок его к двери. Мгновенье — и он, весь взмокший, уже стоял на платформе, толкался среди людей и, заглядывая каждому в лицо, переспрашивал:

— Это Барановичи?

— Барановичи.

Это было похоже на то, как евреи приветствуют друг друга при благословении луны:

— Шолом алейхем.

— Алейхем шолом¹.

Многие из нашего вагона, и я в том числе, кинулись за ним следом и ухватили его за полы:

— Послушайте, нельзя же так! Мы не отпустим вас! Вы должны досказать, чем все кончилось... Конец истории!...

— Какой конец? Это только начало. Но оставьте меня в покое! Хотите, чтобы я из-за вас пропустил поезд? Странные люди! Слышите ведь: Барановичи! Станция Барановичи!

Не успели мы оглянуться, как его и след простыл. Чтоб ей сгореть, этой станции Барановичи!

Конец рассказа № 3.

¹ Шолом алейхем, алейхем шолом (приветствие) — мир вам, и ответное: вам мир (*еврейск.*).



РАССКАЗ № 4

Принят

— Вот вы говорите... А я расскажу вам более интересную историю. Есть у нас некий Финкельштейн, богач, денежный мешок. Двое сыновей у него. Будь у меня его деньги, я, кажется, плюнул бы на весь этот тарарам. Во что, думаете, ему все это обошлось? Дай нам бог обоим хотя бы половину!..

— Ко всем чертям! Я в прошлом году еще говорил... Вот увидите, говорил я, больше половины примут православие...

— То же самое говорил и я. Был у нас некий Маршак. Изъездил весь свет из конца в конец... Нигде не допустили! Тогда он взял да и отравился!..

— Дай мне бог не соврать, говорил я, вот увидите... Как начнут у нас креститься, — ни одного еврея не оста-

нется, ко всем чертям собачьим! А что же? Разве мыслимо вынести все эти горести — с процентами да с циркулярами? * Что ни день — новый циркуляр! Сколько детей, столько и циркуляров! Вот увидите, говорил я, доиграемся до того, что и вовсе принимать перестанут. Да вот возьмите, к примеру, Шполу. Шпола — еврейский город, не правда ли?

— А Немиров? Вот у меня письмо из Немирова. Мне оттуда сообщают очень невеселые новости!..

— А в Лубнах, думаете, лучше?

— А что в Лубнах?

— Или, скажем, в Ананьеве. В Ананьеве каждый год, бывало, принимали не меньше трех евреев.

— Да что там Ананьев. Возьмите лучше Томашполь. В Томашполе, говорят, в нынешнем году не приняли ни одного еврея, хотя бы на развод, что называется!

— А у нас в нынешнем году приняли восемнадцать евреев.

То был голос сверху. Оба мои пассажира (и я с ними) задрали головы и подняли глаза на верхнюю полку. Оттуда свисали две ноги в глубоких резиновых калошах. Ноги в глубоких резиновых калошах несли на себе человека с черной взлохмаченной головой, с заспанным, словно опухшим, лицом.

Мои пассажиры разглядывают заспанного с опухшим лицом, едят его глазами, как если бы это было существо, которое в наших краях и не водится. Оба оживились, обрадовались и со сверкающими глазами спрашивают у пассажира с верхней полки:

— У вас, говорите вы, приняли восемнадцать евреев?

— Восемнадцать штук, один в одного, и моего в том числе.

— Вашего тоже приняли?

— Да еще как приняли!

— Где это? Где?

— Да у нас же, в Малом Перещепине.

— В каком Перещепине? Где это такое — Перещепино?

Оба вскакивают с мест, глядят друг на друга и вместе — на пассажира с верхней полки. А тот смотрит на них сверху заспанными глазами.

— Малого Перещепина не знаете? Местечко есть такое. Никогда не слышали? Есть два Перещепина —

Малое Перещепино и Большое Перещепино. А я из Малого Перещепина.

— В таком случае вас надо поздравить! Слезайте! Чего вы там будете сидеть один под самым небом?

Обладатель ног в глубоких резиновых калошах, кряхтя, слезает вниз. Оба пассажира, потеснившись, освобождают место для третьего и набрасываются на него, как голодная саранча:

— Значит, вашего, говорите вы, приняли?

— Да как еще приняли!

— Скажите же, дорогой друг, как же так? У вас там, видать, не гнушаются барашка в бумажке?

— Что вы! Упаси бог! О деньгах даже упоминать нельзя! То есть в свое время у нас деньги были в ходу. Да еще какие деньги! Ого-го! К нам из всех окрестных городов ездили. Знали, что Перещепино — это место, где берут. Но вот уже несколько лет, с тех пор как донесли, у нас перестали брать деньги.

— Что же? Протекция?

— Какая там протекция! Они сговорились раз навсегда: коль скоро еврей — принимать! Принимать — и никаких!

— Да что вы говорите? Это серьезно? Или вы смеетесь над нами?

— Смеюсь? Что я за пересмешник такой?

Все трое переглядываются, будто желая прочесть, что у них написано на лицах. Но так как на лицах ничего не написано, мои двое спрашивают у третьего:

— Погодите-ка, как вы сказали? Откуда вы?

— Из Перещепина! — с некоторым раздражением отвечает тот. — Я уже три раза говорил вам: из Малого Перещепина.

— Вы не обижайтесь. Но мы впервые слышим о таком городе.

— Ха-ха-ха! Перещепино — город! Тоже мне город! Перещепино — не город, а городишко, деревня, можно сказать, местечко.

— И тем не менее у вас имеется... в этом самом... Как называется местечко? Пер... Пере...

Пассажир из Малого Перещепина сердится уже не на шутку:

— Странные люди! Не можете еврейского слова выговорить, что ли? Пе-ре-ще-пи-но. Пе-ре-ще-пи-но!

— Ну ладно, ладно. Пускай будет Перещепино. Чего же тут сердиться?

— Я не сержусь. Я просто не люблю, когда меня переспрашивают девяносто девять раз об одном и том же.

— Не обижайтесь. Ведь у нас та же болячка, что и у вас. Услыхали, что вашего приняли, вот нас и задело. Потому-то мы и расспрашиваем. Сказать вам по чистой совести, мы никогда не представляли себе, что у вас, в этом... как его там... Пере-Перещепине имеется гимназия!

Перещепинец широко раскрывает глаза и смотрит сердито:

— А кто вам говорил, что у нас в Перещепине имеется гимназия?

Оба мои пассажира с удивлением смотрят на третьего.

— Ведь вы же говорите, что вашего приняли у вас в Перещепине!

Перещепинец смотрит на них с озлоблением. Потом встает и выкрикивает им прямо в лицо:

— В солдаты его приняли! В солдаты! В солдаты!

За окнами уже день. К стеклам приток голубовато-серый свет. Пассажиры помаленьку просыпаются. Один расправляет кости, другой кашляет. Кое-кто собирает свои узлы, готовясь к выходу.

Мои три пассажира разбрелись в разные стороны. Дружба кончилась. Один отвернулся в угол и молча закурил папиросу. Другой раскрыл молитвенник и, прикрыв один глаз, шепчет утренние молитвы. Третий, сердитый пассажир из Малого Перещепина, принялся за еду.

Удивительно: эти трое вдруг почему-то стали чуждаться один другого. Не только не говорят ни слова, но даже не смотрят друг другу в глаза. Как если бы все трое вместе совершили что-то очень нехорошее, постыдное...

Конец рассказа № 4.

РАССКАЗ № 5

Человек из Буэнос-Айреса

В поезде вовсе не так скучно, как некоторые думают. Подобралась бы только хорошая компания. Вот едешь иной раз с каким-нибудь коммерсантом, настоящим дельцом, так и не заметишь, как время пролетит. В другой раз у тебя попутчиком не коммерсант, а так, просто бывалый человек, выдавший вида, — делец, умная голова, тертый калач. С таким человеком ехать — одно удовольствие, да уму-разуму от него наберешься. А не то бог пошлет просто бойкого соседа, веселого, говорливого, балагура. Он говорит без умолку — рта не закрывает. И только о себе, все только о себе.

Вот с таким-то субъектом довелось мне однажды проехать в поезде довольно изрядное расстояние.

Наше знакомство началось... Ну, с чего обычно начинается вагонное знакомство? С пустяка. Спрашивают: «Не знаете ли, как эта станция называется?» Или: «Не скажете ли, который час?» Или: «Нет ли у вас спичек?» Очень скоро мы с ним окончательно подружились, точно были знакомы неведь сколько времени. На первой же станции, где поезд стоял несколько минут, он подхватил меня под руку, потащил к буфетной стойке и, не спрашивая, пью ли я, велел налить две рюмки коньяку. Затем кивнул мне, приглашая взять вилку. А когда мы покончили со всякими соленьями и закусками, обычными для станционного буфета, он велел подать по кружке пива, достал две сигары — себе и мне, — и наша дружба была скреплена.

— Скажу вам откровенно, без комплиментов, — сказал мой новый знакомый, уже сидя в вагоне, — по-

верите ли, вы мне сразу понравились. Ну, сразу, с первой же минуты. Едва только я взглянул на вас, как сразу сказал себе: вот с этим человеком можно будет поболтать. Понимаете, не могу сидеть, как бирюк, и молчать. Мне нужно поболтать с живым человеком. Потому-то я и взял билет третьего класса, чтобы иметь с кем душу отвести. Обычно я езжу вторым классом. Ну, а первый, думаете, мне не по карману? У меня и на первый хватит. Скажете, я хвастаю? Нате, смотрите!

Тут мой попутчик быстро достает из заднего кармана брюк туго набитый бумажник, раскрывает и, хлопнув по нему, словно по мягкой подушке, снова сует в карман.

— Не беспокойтесь, найдется еще!

Я разглядываю этого субъекта и никак не могу определить его возраст: ему может быть лет сорок, но может быть и двадцать с небольшим. Лицо круглое, гладкое, чуть-чуть излишне смуглое. Усов, бороды — и следа нет. Глазки — крохотные, масляные, смеющиеся. А сам он — кругленький, маленький, ерзающий, живчик какой-то. Одет он с иголочки, по-модному, именно так, как это мне нравится: белоснежная рубашка с золотыми запонками, пышный галстук с красивой булавкой, новый элегантный синий костюм настоящего английского шевиота, лакированные ботинки, — загляденье! На пальце у него тяжелый золотой перстень с брильянтом, переливающимся на солнце тысячами огней (такому перстню, если только камень в нем не фальшивый, цена не меньше четырех-пяти сотен).

По-моему, самое важное для человека — хорошо одеваться. Сам люблю хорошо одеваться, люблю, когда и другие хорошо одеваются. По одежде я вам сразу определяю, приличный это человек или нет. Есть, впрочем, люди, утверждающие, что все это ровно ничего не доказывает. Бывает, говорят они, по одежде — шеголь, а на деле — проходимец. Но если это действительно так, то я спрошу вас: скажите, пожалуйста, с какой это стати все люди наряжаются? Почему один надевает такой костюм, а другой — иной? Зачем один покупает галстук «дипломат», атласный, гладкий, жемчужно-зеленого цвета, а другой ищет обязательно «регату» — красный с белыми крапинками?

Я мог бы привести много таких примеров, думаю, однако, что это ни к чему. Времени жаль. Вернемся лучше к моему новому знакомому и послушаем, что он нам расскажет.

— Так-то вот, дружище! Как видите, второй класс мне вполне по карману. Думаете, денег жалко? Деньги — пустяки, но, поверите ли, я люблю третий класс. Я сам человек простой и простых людей уважаю. Я, понимаете ли, — демократ. Свою карьеру я начал с малого, ну, совсем, с крохотного, вот с этого! (Мой знакомый опускает руку до земли, показывая уровень, с какого он стал выбиваться в люди.) И рос все выше и выше. (Мой новый знакомый поднимает руку к потолку, показывая, как высоко он вырос.) Не сразу, конечно! Так не бывает. Потихоньку да полегоньку... Сначала в людях служил, — да нет, что я говорю, служил, — ха-ха-ха! Пока достиг этой высокой ступени — «состоять на службе», много, много воды утекло! Как подумаю иной раз, чем я был в детстве, то, поверите ли, волосы дыбом становятся. Не могу спокойно вспоминать об этом. Не могу, да и не хочу! Думаете, стыжусь? Ничего подобного! Наоборот, я всем рассказываю, кто я такой. Когда меня спрашивают, откуда я родом, — я, не стеснясь, заявляю, что родина моя — Сошмаки, есть такое «великое государство» на земле. Знаете ли вы хоть, где они, эти Сошмаки? Это городок в Курляндии, неподалеку от Митавы. Городок этот я теперь наверняка мог бы купить целиком, со всеми потрохами. Разве только он изменился, вырос. В мое время, поверите ли, весь городок обладал одним-единственным апельсином, который переходил из рук в руки, от хозяйки к хозяйке; им украшали субботний стол в честь важного гостя.

Вот в этих-то Сошмаках меня ласкали звонкими пощечинами, добрыми затрещинами, увесистыми подзатыльниками и нянчили так, что искры из глаз сыпались; из синяков я никогда не вылезал, и живот у меня постоянно сводило от голода. Ничто мне так не запомнилось, как этот голод! Голодным я на свет божий явился, и голод я терпел, сколько сам себя помню. Голод, сосет под ложечкой и тяжело мутит... Погодите!.. Живица... Знаете вы, что такое живица? На деревьях? Музыканты употребляют живицу взамен канифоли. Поверите ли, вот ею-то я и пробавлялся почти целое лето. Это было в то лето, когда мой отчим, курносый портняжка, вывихнул мне руку и прогнал из родного дома, я и бежал из Сошмаков в Митаву. Вот эту самую руку — видите, здесь, наверное, еще и поныне знак остался.

И мой знакомый, засучив рукав, показывает мне здоровую, пухлую, холеную руку. Потом продолжает:

— Голодный, раздетый, разутый, слонялся я по Митаве, со всеми свалками познакомился там, пока наконец, слава тебе господи, не получил работу. Первую работу в жизни! Я стал поводырем у старого кантора *. Когда-то это был знаменитый кантор, а на старости лет он ослеп и вынужден был побираться. Вот у него-то я и сделался поводырем. Служба эта сама по себе была бы, пожалуй, и не плохой, если бы не капризы кантора, которые я не в силах был переносить. Понимаете, он постоянно был чем-нибудь недоволен. Он беспрерывно ворчал, щипал меня, без конца мучил. Все попрекал, что я не веду его куда следует. Чего он хотел, куда я его должен был вести, — я до сих пор не пойму. Сумасбродный какой-то был кантор! К тому же он толкал меня на «хорошие» дела. Он хвастался перед всеми, поверите ли, что мой отец и мать выкресты, хотели и меня крестить, а он едва-едва, с большим трудом, с опасностью для жизни вырвал меня из рук иноверцев. И я должен был выслушивать эти рассказы и не сместь улыбнуться. Больше того, он требовал от меня, чтобы я в это время делал скорбное лицо.

Короче говоря, решив, что не стариться же мне с этим кантором, я послал свою «должность» к дьяволу и отправился в Либаву. Побродив там некоторое время голодным, я пристал к ватаге эмигрантов-бедняков. Эмигранты эти собирались отправиться на корабле очень далеко, чуть ли не в Буэнос-Айрес. И я стал просить их взять меня с собой. Куда там! Это, мол, невозможно, это зависит не от них, а от комитета, как комитет скажет. Пошел я тогда в комитет, стал плакать, умолять — еле упробил, чтобы меня взяли в Буэнос-Айрес.

А спросили бы меня тогда: что такое — Буэнос-Айрес, зачем он мне? Но раз все едут, еду и я. Лишь когда мы туда прибыли, я узнал, что едем мы, собственно, дальше, а Буэнос-Айрес только передаточный пункт, откуда нас направят в разные страны. Так оно и вышло. В Буэнос-Айресе нас сразу переписали и разослали по таким уголкам, которые и прародителю Адаму не снились. И тут же поставили на работу. Вам, наверное, хочется узнать, на какую работу? Уж лучше не спрашивайте! Наши предки в Египте *, верно, не исполняли таких тяжелых работ, какие взвалили на нас. А страдания, которые испытали наши предки (как рассказывается в пасхаль-

ных преданиях), не составили бы и десятой доли, должен вам сказать, того, что нам пришлось здесь претерпеть. Наши прадеды, говорят, месили глину, обжигали кирпич и строили города Писем и Рамсес *. Подумаешь, невидаль! Попробовали бы они голыми руками поднять безбрежную дикую целину, поросшую колючим кустарником; походили бы за громадными буйволами, которым затоптать человека — сущие пустяки; повозились бы с дикими мустангами, за которыми надо гоняться с арканом сотню миль; переспали бы хоть одну ночь с москитами, которые могут съесть человека; отведали бы твердых, как камень, сухарей; попили бы заплесневелой воды, кишашей червями... Как-то глянул я в реку — увидел там свое отражение и, поверите ли, сам испугался. Кожа облупилась, глаза опухли, ладони как пампушки, ноги в крови, лицо заросло до самых бровей. «Ты ли это, Мотек из Сошмаков?» — сказал я себе и рассмеялся. В тот же день я плюнул на буйволов и мустангов, на голую степь и воду с червями и двинулся пешком назад, в Буэнос-Айрес.

Однако мы, кажется, остановились у станции с порядочным буфетом. Загляните-ка в расписание. Не думаете ли вы, что нам пора подкрепиться? Кстати, и сил будет больше, чтобы продолжать рассказ.

Закусив как следует, мы выпили пива, вновь закурили сигары — прекрасные, ароматные, настоящие гаванские сигары из Буэнос-Айреса! — и вернулись в вагон на свои места. Мой новый знакомый продолжал свой рассказ:

— Буэнос-Айрес, должен вам сказать, это такой уголок, что с самого сотворения мира... Погодите! В Америке вы бывали? В Нью-Йорке, скажем? Никогда? А в Лондоне? Нет? В Мадриде? Константинополе? Париже? Тоже нет? Ну, тогда я не знаю, с чем сравнить Буэнос-Айрес. Могу лишь одно сказать — это омут, ад. Ад и одновременно рай. Вернее сказать, одному — ад, другому — рай. Тут, если не зевать и уловить подходящий момент, можно составить целое состояние. Золото, поверите ли, на улицах валяется. Вы прямо-таки ходите по золоту. Нагнитесь, протяните руку и берите сколько душе угодно. Но берегитесь, чтобы вас не растоптали. Главное — не останавливаться, не задумываться, не размышлять: прилично ли это или неприлично? Все прилично. Быть официантом в ресторане — прилично, приказчиком в лавке — прилично, мыть бутылки в

погребке — хорошо, возить тележку — тоже хорошо, выкрикивать газетные новости — прилично, купать собак — хорошо, ходить за кошками — тоже хорошо, крыс морить — прилично, и обдирать с них шкурки — тоже прилично. Одним словом — все прилично, все я испробовал, но везде, должен вам сказать, я замечал одно: работать на другого — последнее дело. Пусть уж лучше другие на меня работают. Ничего не поделаешь, сам бог велел, чтобы кто-то варил пиво, а я его пил, чтобы кто-то скручивал сигары, а я их курил, чтобы машинист вел паровоз, кочегар подсыпал уголь, смазчик смазывал колеса, а мы вот с вами сидели бы в вагоне и рассказывали друг другу занимательные истории. Если кому не нравится, пусть перестраивает мир.

Я гляжу на своего соседа и думаю: кто он такой? Новоявленный богач, бывший портной, а ныне хозяин магазина готового платья в Америке, может быть, фабрикант, домовладелец или вообще капиталист, живущий на проценты? Нет, пусть сам о себе расскажет: он это делает лучше.

— Мир, скажу я вам, умно устроен; мир прекрасен, замечателен, и жить в этом мире — одно удовольствие! Только надо, чтоб никто не плевал тебе в горшок. Я метался во все стороны. Пустился, как говорят, во все тяжкие, и ни одна работа не казалась мне тяжелой, ни один заработок — заторным. Заторных заработков, если хотите знать, и вообще не бывает. Всякий заработок хорош и приличен. Только бы поступать честно и не нарушать слова. Я знаю это по себе. Не стану, понимаете ли, хвастать, что я праведник какой-то, вроде львовского раввина. Но можете мне поверить на слово, что вором я никогда не был, разбойником подавно и мошенником также. Прожить бы нам столь же счастливо этот год, сколь честно я веду дела. Торгую я добросовестно, никого не обманываю, торгую только тем, что имею налицо. Кота в мешке не продаю. Короче говоря, хотите знать, кто я такой? Я всего лишь поставщик товара или, как у вас это называется, «подрядчик». Я всему свету поставляю товар, тот товарец, понимаете ли, про который все знают, да помалкивают... А почему? Мир уж больно умен, а люди лицемерны. Не любят они, когда черное называют черным, а белое — белым. Наоборот, они предпочитают, чтобы черное называли белым, а белое — черным. Ну, что ты с ними поделаешь?

Гляжу я на этого субъекта из Буэнос-Айреса и думаю: «Господи боже мой, что же это за человек? Какой такой товарищ поставляет этот «подрядчик»? И что за странные такие слова говорит он: «черное — белое, белое — черное?» Прервать его и спросить: «А чем же вы, сударь, торгуете?» — мне не хочется. Пусть лучше рассказывает дальше.

— Итак, на чем мы остановились? На моем предприятии в Буэнос-Айресе. Собственно, мое предприятие не в Буэнос-Айресе. Если хотите знать, оно раскинулось по всему миру: оно в Париже, в Лондоне, в Будапеште, в Бостоне, но главная контора, управление его — в Буэнос-Айресе. Жаль, что мы с вами теперь не в Буэнос-Айресе! Я повел бы вас к себе в бюро и показал бы контору со служащими... У меня люди, поверите ли, живут как Ротшильды. Работают восемь часов в день, и ни одной минуты больше. У меня служащий — это человек. А знаете почему? Потому что и сам я когда-то был служащим, и именно у моих теперешних компаньонов. Нас теперь трое компаньонов. Раньше их было двое, а я у них служил, правой рукой был. Все дело, можно сказать, на мне держалось. Купить товар, продать его, оценить, рассортировать — все я... Такой уж у меня наметанный глаз, поверите ли, стоит мне взглянуть на товар — как сразу определю, какая ему цена и где его сбыть. Но этого недостаточно. В нашем деле глаз еще не все. Надо еще и нюх иметь, так сказать, верхнее чутье. За версту надо учуять, где что лежит. Надо знать, где дело сделаешь, а где шею себе свернешь, да еще по уши в грязи увязнешь, так что потом веки не выберешься! Понимаете ли, слишком много наблюдателей развелось на свете, слишком много глаз обращено в нашу сторону, — а наше дело как раз дурного глаза и боится, ха-ха!.. Один неверный шаг — и готово, в десяти водах не отмоешься. Чуть что — сразу гвалт, шум, трезвон в газетах. А газетам только это и подавай, рады-радешеньки, когда есть о чем трезвонить. Поднесут это на семидесяти тарелочках, раздуют, поднимут на ноги полицию. Хотя полиция всего мира, скажу вам по секрету, — ха-ха! — вот тут, у нас в кармане. Назови я вам сумму, в которую ежегодно влетает нам одна полиция, — вы бы ахнули. У нас, поверите ли, подношение в десять, пятнадцать, даже двадцать тысяч — плевое дело!

Сверкнув брильянтом на перстне, мой спутник пренебрежительно машет рукой, как человек, который при-

вык швыряться тысячами. Человек из Буэнос-Айреса приостанавливается посмотреть, какое впечатление произвели на меня его тысячи, и валит дальше.

— А если иной раз необходимо «дать» больше, разве это нас остановит? Тут между нами полное согласие. Я имею в виду нас троих, компаньонов. Какие бы тысячи ни понадобились на полицию, мы друг другу на слово верим. Расходы у нас на доверии основаны. Один от другого не скроет ни на столько. А впрочем, пусть попробует скрыть, не поздоровится, пожалуй! Мы, понимаете ли, хорошо знаем друг друга, хорошо знаем рынок, и все на свете нам известно. У каждого из нас везде агенты и соглядатаи. А как бы вы думали? Раз дело идет на совесть, иначе нельзя. Не находите ли вы, что сейчас было бы очень кстати прополоснуть горло? — говорит вдруг мой спутник, берет меня за руку и заглядывает в глаза.

Вполне понятно, что я не возражаю, и мы отправляемся на вокзал «прополаскивать» горло.

Хлопает пробка за пробкой, мой спутник пьет свой лимонад с такой жадностью, что начинаешь ему завидовать. Но меня мучает все та же мысль: каким же все-таки добром торгует этот человек из Буэнос-Айреса? Почему он так швыряется тысячами? Каким это образом полиция всего мира у него «в кармане»? И для чего ему агенты и шпионы? Не контрабандой ли он занимается? Фальшивыми брильянтами? Может быть, краденым? А может, он просто хвастун, фанфарон, бахвал, из тех, которые возьмут да и наврут вам с три короба. Когда к нам, вояжерам, затешется вот этакий фокусник, трепач, мы его по-своему именуем: «ангросист», то есть человек, у которого все «ангро». А попросту говоря — лгун, звонарь, сочинитель...

Мы вновь закуриваем по сигаре, садимся на свои места, и человек из Буэнос-Айреса продолжает трещать:

— На чем же мы остановились? Да, на моих компаньонах. То есть на теперешних моих компаньонах. Прежде они были моими хозяевами, а я, как уже говорил вам, состоял у них на службе. Не стану на них клеветать, будто они были плохими хозяевами. Да и как они могли относиться ко мне плохо, если я был им предан, как собака? Хозяйский цент был мне, знаете ли, так же дорог, как свой собственный. А каких врагов я нажил из-за них, прямо-таки смертельных врагов! Бывали времена, поверите ли, когда из-за моей преданно-

сти меня даже хотели отравить. Ну да, попросту отравить. Честно скажу, послужил я своим хозяевам верой и правдой, дальше некуда! Правда, я и себя не забывал! Человек никогда не должен забывать себя. Человек должен помнить, что он всего только человек. Сегодня он жив, а завтра?.. Ха-ха! Вечно ходить в людях — это не по мне. Что я, без рук, без ног, без языка? Тем более я знал, что без меня им и дня не обойтись. Не смогут и не посмеют. Потому что, знаете ли, есть тайны, тайны и тайны. Ну, как водится в деле. И вот в один прекрасный день, понимаете ли, являюсь я к своим хозяевам и говорю: «Адье, господа!» Они уставились на меня: «Что значит «адье»?» — «Адье, — говорю я, — означает будьте здоровы!» — «В чем дело?» — спрашивают они. «До каких пор? — говорю я. — Хватит!» Они переглядываются между собой и спрашивают меня: «Твои капиталы?» — «Сколько бы ни было — мне на первое время хватит, говорю, если же туго придется, то господь бог у нас на небе, а Буэнос-Айрес на земле. Найду!» Они, конечно, правильно меня поняли. Да и почему бы им не понять — мозги у них высохли, что ли? Вот с тех пор мы и стали компаньонами. Три компаньона, три участника на равных паях. У нас этого нет — одному больше, другому меньше. Что господь пошлет — то поровну. И ссориться мы не ссоримся. К чему нам ссориться, если зарабатываем мы, слава богу, вполне прилично, и дело растет? Что ж, мир велик, а товар все дорожает. Каждый из нас берет на расходы столько, сколько ему нужно. Тратим мы все помногу. У меня самого ни жены, ни детей, а уходит, поверите ли, втрое больше, чем у иного с целой семьей. Другой мечтал бы заработать столько, сколько у меня уходит на одну благотворительность. Я на все даю, понимаете, все, все стоит мне денег: и синагога, и больница, и эмигрантское бюро, и концерты. Буэнос-Айрес, слава тебе господи, город не маленький! А ведь есть еще другие города. Поверите ли, даже Палестина стоит мне денег. Совсем недавно получаю я письмо из одного иерусалимского ешибота*, учтивое такое письмо со «Щитом Давида»*, с печатью и за подписями раввинов. Письмо адресовано лично мне, и начинается оно так: «Достопочтеннейшему и знаменитому благотворителю раби Мордухаю...»

«Э-э-э!» — думаю я. — Раз такие уважаемые люди величают меня по имени, тут уж нельзя быть свиньей, надо

им послать сотенку». Это, так сказать, случайное пожертвование. Ну, а мой родной город, Сошмаки? Поверите ли, Сошмаки стоят мне ежегодно кучу денег. Из Сошмаков мне то и дело шлют письма: то у них одно несчастье, то другое. Про «пасхальные» деньги я уж и не говорю, каждую пасху — сотенка. Это уже закон. Вот еду я сейчас в Сошмаки и заранее знаю, что тыщонкой я не обойдусь. Да что я говорю, тысяча! Обойтись бы двумя, а скорей, все три уйдут. Шутка ли, человек так долго на родине не был, с самого детства. Ха-ха! Сошмаки — ведь это моя родина! Знаю наперед, весь город будет на ногах. Сбегутся со всех сторон. «Мотек приехал, наш Мотек из Буэнос-Айреса!» Событие! Поверите, там ждут меня, словно мессию. Что ж, бедняк на бедняке! С каждой станции я им даю о себе знать. Каждый день депешу шлю: «Еду. Мотек». Да и сам я, поверите ли, хотел бы уж скорей прибыть в Сошмаки, посмотреть Сошмаки, припасть к родной земле и праху Сошмаков. Пропади они пропадом — Нью-Йорк, Лондон, Париж! Ха-ха! Сошмаки ведь моя родина!

Лицо у моего спутника вдруг преобразилось. Совсем другое лицо! Будто моложе. Моложе и красивей. Маленькие масляные глазки заблестели совсем по-иному, в них вспыхнул огонек радости, гордости, любви, настоящей, неподдельной любви. Только жаль, я все еще не знаю толком, чем же он торгует. Однако мой попутчик не дает мне долго раздумывать и катит дальше:

— Собственно, зачем, вы думаете, еду я в Сошмаки? Отчасти соскучился по городу, отчасти захотелось побывать на родных могилах. У меня ведь там на кладбище отец, мать, братья, сестры — целая семья. К тому же я собираюсь жениться. До каких это пор мне быть холостяком? А жену я хочу взять именно из Сошмаков, из своего города, из своей родни, своего уровня. Я уже об этом списался с некоторыми друзьями из Сошмаков, пусть присмотрят что-нибудь подходящее. Они мне отвели: «Только приезжай в добром здравии, а уж тут все наладится». Вот какой я сумасшедший! Поверите ли, мне сватали в Буэнос-Айресе мировых красавиц. Я мог бы добиться такого, чего и сам турецкий султан не имеет. Но я сказал себе раз и навсегда: нет! Жениться я еду в Сошмаки. Я хочу взять честную девушку, из хорошей семьи. Пусть она будет самой бедной, я на это не посмотрю. Я озолочу ее. Родителей осыплю золотом.

Весь дом осчастливилю. А ее самое увезу к себе в Буэнос-Айрес. Я ей обставлю, знаете, такой дворец, как у принцессы. Пылинке не дам на нее сесть. Заживет она у меня счастливо, поверите мне, как ни одна женщина в мире. Никаких забот она у меня знать не будет — только хозяйство, муж и дети. Детям образование дам. Одного в доктора выведу, другого в инженеры, третьего в адвокаты. А дочерей в закрытый еврейский пансион определю. Знаете, в какой? Во Франкфуртский.

Тут в вагон вошел кондуктор отбирать билеты. Вечно нелегкая приносит кондуктора (я это уж сколько раз замечал!), когда он вовсе не нужен. В вагоне подымается шум, суета. Все хватаются за узлы, и я в том числе: мне предстоит пересадка. Человек из Буэнос-Айреса помогает мне увязать вещи, и мы продолжаем тем временем наш разговор, я излагаю его здесь точно, слово в слово.

Человек из Буэнос-Айреса. Ах, жаль, что вы не едете дальше. Не с кем будет поговорить.

Я. Ничего не поделаешь! Дела — прежде всего!

Человек из Буэнос-Айреса. Хорошо сказано! Дела прежде всего! Боюсь, что мне придется доплатить и перебраться во второй класс. Мне, впрочем, и первый класс нипочем. У меня, когда я еду по железной дороге...

Я. Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. У нас только полминуты осталось. Я хотел бы вас спросить...

Человек из Буэнос-Айреса. Например?

Я. Я, например, хотел вас спросить... О, уже свисток! Чем вы, собственно, занимаетесь? Чем торгуете?

Человек из Буэнос-Айреса. Чем я торгую? Ха-ха! Только не райскими яблочками, мой друг, не райскими яблочками я торгую.

Я уже совсем выбрался из вагона со своим багажом, но перед глазами у меня все еще продолжал стоять человек из Буэнос-Айреса с его гладкой, самодовольной физиономией и неизменной сигарой в зубах; а в ушах у меня все еще звенело его зловещее: «Ха-ха! Только не райскими яблочками, мой друг, не райскими яблочками я торгую...»

Конец рассказа № 5.



РАССКАЗ № 6

Могилы предков

— Вы — на «ярмарку», а мы — с «ярмарки». Я уже свое выплакал. А вы ведь едете плакать — значит, нужно вам уступить место. Подвиньтесь, прошу вас, чуть ближе, сюда, вам ведь там неудобно...

— Ну вот!

Так разговаривают за моей спиной два пассажира. Верней, говорит один, а другой время от времени поддакивает.

— Мы едем вдвоем. Я и моя старуха. Она вон там, на полу, лежит. Уснула. Наплакалась, бедняжка, за всех на свете поплакала. Ни за что не хотела уходить с кладбища. Припала к могиле — не оторвать. Пытаюсь успокоить: «Ну, довольно, говорю, слезами, говорю, ее не воскресить...» Как о стенку! Да удивительно ли? Такое несчастье! Одна-единственная, свет очей моих... К тому же удачная! Красавица! Умница! Прогимназию окончила... Вот уже два года, как умерла. Думаете, от чухотки? Крепкая была, здоровая!.. Сама, сама покончила с собой!

— Да что вы?

Я начинаю понимать, о какой «ярмарке» идет речь. Вспоминаю, что сейчас начало элула *. Печальный, милый месяц элул! Евреи кочуют из одного города в другой, направляются к родным могилам давно умерших родителей, братьев, сестер, детей, родственников. И страдавшие матери, осиротевшие дочери, одинокие сестры и просто несчастные женщины припадают к дорогим могилам, плачут, изливают свое горе, облегчают наболевшую душу.

Удивительное дело! Я разъезжаю, слава богу, не первый год и могу смело сказать, что давно уже не было такого паломничества к родным могилам, как в этот элул... Железная дорога, слава богу, загребает деньги, вагоны переполнены. У мужчин грустные лица. У женщин красные опухшие глаза и лоснящиеся носы. Кто едет на «ярмарку», кто с «ярмарки»... А на дворе уже элул. По-элуловски тоскливо на душе, и тянет, тянет домой... Я невольно прислушиваюсь к разговору тех двоих за моей спиной.

— Может быть, думаете, несчастье из нынешних? Черные косоворотки?.. Красные флаги?.. Тюрьма?.. Ни-ни... От этого меня господь избавил. Верней, я сам себя избавил. Как зеницу ока берег я ее. Шутка ли, одна-единственная дочь, свет очей моих. К тому же удачная! Красавица! Прогимназию окончила! Я делал все, что мог: следил, куда она ходит, с кем говорит, о чем говорит, какие книжки читает. «Доченька, говорю, хочешь читать книжки? Читай на здоровье! Но я тоже, говорю, должен знать, что ты читаешь...» Правда, я не большой знаток в этих делах, но нюх у меня, слава богу, есть. Я, если только загляну в книгу, пусть она будет даже на французском языке, сразу скажу, чем она пахнет...

— Ишь ты?!

— Не хотел я, чтобы мой ребенок играл с огнем, — что же, казнить меня за это?! Вы думаете, я ей устраивал скандалы, ругал ее? Нет, по-хорошему, только шуточкой. «Доченька, говорю, пусть себе в мире все идет как идет. Не мне и не тебе, говорю, все это остановить...» Вот так я, бывало, говорю ей. А она, думаете, что? Молчит! Золотое дитя, тихая голубица. Что же сделал господь? Прошли наконец тяжелые времена. Перенесли мы, слава богу, всякое — и революцию и конституцию! Нет

уж черных косовороток, красных знамен, стриженных волос, черт его знает чего, бомб... Я думал, зубы потеряю тут от страха. Шутка ли!.. Ведь одна-единственная дочь, свет очей моих, к тому же удачная, прогимназию окончила...

— Конечно!..

— Короче говоря, пережили мы, слава тебе господи, это горькое время. Теперь можно наконец и о женихе подумать. Приданое? Послал бы только господь хорошего челсвека! И началась суетня: предложения, сваты, женихи. Гляжу я на дочку — что-то не того... Вы думаете — что? Ничего особенного. Сказать, чтобы она была против замужества? Нет. Так в чем же дело? А вот послушайте. Начинаю я присматриваться, приглядываться и узнаю такую историю: читают книжку, прячутся. И не она одна, втроем читают: она, ее подруга, дочь нашего кантора, тоже удачная девушка и тоже прогимназию окончила, и еще третий — парень из Новогрудка. Что это за парень, хотите знать? Да тут и знать-то нечего. Ничемный парень, все лицо в прыщах, глаза больные, без ресниц, зато золотые очки на носу, некрасивый, грязный парень, куска хлеба при нем не проглотишь, противно. К тому же вьедливый, проныра, червяк, настоящий червяк! Знаете, что такое человек-червяк? Я вам объясню. Бывают разные люди на свете: есть человек-осел, есть человек-скотина, бывает человек-собака, человек-свинья. А есть человек-червяк. Теперь вы поняли?

— Ага!..

— Откуда же у меня в доме этот червяк? Все из-за дочери кантора. Он ей приходится двоюродным братом. Учится на аптекарского провизора, или юриста, или дантиста, — черт его батьку знает! Знаю лишь одно — он мой погубитель. Мне этот молодчик в очках сразу же не понравился. Я даже жене сказал... А жена отвечает: «И чего ты только не придумашь!» Приглядываюсь, прислушиваюсь — не нравится мне это чтение втроем, и разговоры, и пыл, и то, что они горячатся... И вот я говорю как-то дочери: «Доченька, говорю, что это вы так усердно читаете втроем?» А она: «Ничего, книжку». Я ей говорю: «Вижу, что книжку, но какую книжку?» А она мне: «А если скажу, ты разве будешь знать?» — «Почему бы мне не знать?» Рассмеялась: «Это не то, что ты думаешь... Книжка эта называется «Сани», роман Арце Башес» *. — «Арце Башес, говорю, был когда-то меламед,

слепой старик, давно умер». Снова смеется. А я думаю: «Эх, дочурка, дочурка, ты смеешься, а у отца сердце кровью обливается...» Что же я предполагал? Да чего уж тут спрашивать? Я думал, может, снова начались прежние дела. И вы думаете, я не решился прочесть эту книжку?..

— Удивительно...

— Не сам, конечно, при помощи другого, своего человека, приказчика. Паренек он знающий, по-русски читает, как воду пьет. Стащил я как-то ночью у дочери книгу*, отдал ее приказчику. «На, Берл, говорю, прочитай эту книгу, а завтра, говорю, расскажешь, о чем в ней речь». Еле дождался утра. Пришел Берл, я сразу: «Ну, Берл, что за книга?» А он мне: «Ох и книга! — и скалит зубы. — Всю ночь, говорит, оторваться не мог». — «Вот как! Ну что ж, говорю, расскажи мне, послушаю и я эти диковинки». И мой Берл стал рассказывать... Что вам сказать? Слово со словом не вяжется. Вот вы сами услышите, что за чепуха. Жил-был, рассказывается там, детина, по имени Сани, любил он как следует выпить и закусить соленым огурцом. Была у детины сестра, по имени Лида, она сильно любила одного доктора, но тяжела стала от офицера. Был еще студент Юра, этот был влюблен в учительницу, по имени Красавица. Однажды ночью она каталась на лодке, вы думаете — со своим женихом? Вовсе нет, с этим пьяницей Сани... «И это все?» — «Погодите, — говорит приказчик, — еще не все. Был там еще учитель Иван, и он ходил с Сани смотреть на голых девушек, когда они купаются...» — «Короче, говорю, какая же там мораль, в этой книге?» — «А такая, говорит, что пьяница Сани ржал, как жеребец, и даже к своей родной сестре Лиде, когда он пришел домой...» — «Тьфу, пропади ты! Довольно, говорю, тебе о пьянице! Скажи мне лучше, каков конец этой истории?» — «А конец, говорит, таков: офицер застрелился, студент застрелился, Красавица отравилась, а еврей Соловейчик там есть, тот повесился...» — «Чтоб тебя, говорю, повесили вместе с ним!» — «Что же вы ругаетесь? — спрашивает Берл. — В чем я-то виноват?» — «Я не тебя, отвечаю, а Арце Башес». Говорю я так Берлу, но на уме у меня не Арце Башес, а этот новгородковский парень, все несчастья на его голову! Вы думаете, я не отозвал однажды этого парнюгу в стору?

— Неужели?

— «Скажи мне, говорю, где ты выцарапал такую чепуху?» Он как уставится на меня своими очками: «Какую чепуху?» — «Да вот этот роман Арце Башес, говорю, про пьяницу, которого зовут Сани». — «Сани, — говорит он, — не пьяница». — «А кто же он такой?» — говорю. «Он, говорит, герой!» — «Чем же, говорю, он герой? Не тем ли, что водку пьет стаканами, закусывает соленым огурцом и ржет, как жеребец?» Как вскипит мой парень, очки даже снял, смотрит на меня своими красными глазами без ресниц. «Вы, говорит, дяденька, слышали звон, да не знаете, где он. Сани, — говорит он, — человек природы, человек свободы; Сани говорит, что думает, и делает, что хочет». И пошел и пошел молоть, черт его знает что: свобода, любовь, и снова свобода, и опять любовь. И при этом он выпячивает свою цыплячью грудь, машет руками, кипитесь — ни дать ни взять проповедник на амвоне. Я гляжу на него и думаю: «Господи, вот этот грязный парнишка говорит о таких вещах?! А что было бы, если бы я, скажем, схватил его за загривок и вышвырнул за дверь, да так, чтобы он костей не собрал?» Но тут же я и по-иному думаю: «Что тут такого? Дурак парень? Если бы он о бомбах говорил — было бы лучше?» Поди знай, что есть вещи похуже бомб, что из-за такой чепухи я потеряю золотое дитя мое, мою единственную, свет очей моих, что жена у меня чуть с ума не сойдет, а я сам, подавленный бедой и позором, закрою дело и сбегу в другой город. Вот уже второй год, как я переехал. Но я перескакиваю с одного на другое. Лучше уж расскажу по порядку, как дошло до этого и с чего все началось...

Началось это с аграрных волнений... *

В наших местах начались аграрные волнения, и мы опасались, что дело кончится еврейским погромом; мы жили в постоянном страхе. Но если господь хочет, он являет чудо, и зло обращается в добро. Вот пример: прислали к нам из губернии полк солдат, и сразу стало тихо — благодать! Городок ожил. Ибо что может быть лучше для торговли, нежели целый полк солдат, с фельдфебелями, фельдшерами, офицерами, ротными и всякими другими командирами.

— Что и говорить!

— Так вот, поди угадай, что дочь кантора влюбится в офицера, захочет креститься, не иначе, и выйти за

офицера замуж!.. Что тогда творилось в городке! Но будьте спокойны, дочь кантора не крестилась и за офицера не вышла; когда прекратились аграрные волнения, полк выступил, а офицер, видимо от великой спешки, забыл даже попрощаться со своей невестой... Зато уж дочь кантора не позабыла своего офицера. О, горе родителям! Сколько им пришлось вытерпеть! Город кипел. Всюду, на каждом шагу: «Дочь кантора, дочь кантора...» Злым языкам была работа. Кто-то подослал к канторше акушерку. Кантора спрашивали, какое имя он собирается дать ребенку. Впрочем, вполне возможно, что вся эта история — сплошная выдумка. Вы и не представляете, что могут напелсти в таком городишке длинные языки!

— Еще бы!

— Страдания обоих, то есть кантора и его жены, не передать. А на самом деле чем они, несчастные, виноваты? Все же я своей дочери наказал раз и навсегда — что было, то прошло, а теперь с дочерью кантора не водиться. А у меня, если сказано, значит — сказано. Она у меня, правда, единственная, однако отца нужно уважать. Но поди знай, что она втайне все же встречается с дочерью кантора. И когда я об этом узнал? Только вон когда, уже после всего...

За моей спиной послышался кашель и кряхтение спящего человека. Рассказчик умолк, переждал немного, а затем продолжал свой рассказ, но уже тоном ниже:

— Случилось это как раз в первое утро молитв «Слихес»*. Как сегодня помню это. Наш бедный кантор читал эти молитвы так, что за душу хватало. Когда он произносил: «Душа — твоя и тело — творение твое», — камни могли заплакать! Никто, никто не чувствовал его горя так, как я... Нынешние дети! О, горе родителям! Помолившись, прихожу домой перекусить, потом отправляюсь на базар, открываю склад и ожидаю приказчика. Жду полчаса. Жду час. Нет приказчика. Наконец вижу — идет. «Берл, почему так поздно?» — «У кантора, говорит, был». — «Почему это вдруг у кантора?» — спрашиваю. «Разве вы не знаете, что случилось с Хайкой?» (Так звали дочь кантора.) «Что же случилось с Хайкой?» — «Как, говорит, ведь она отравилась!»

— Да ну?!

— Услыхал я это и сейчас же кинулся домой. Первой мыслью было: «Что Этка скажет?» (Этка — моя дочь.) Прихожу домой к старухе: «Где Этка?» — «Этка

спит еще... А что такое?» — «Как, говорю, разве ты не слышала: Хайка отравилась!..» Не успел я это вымолвить, жена как схватится за голову: «Разбойница! Злодейка! Горе мне!» — «Что? В чем дело?» — «Ведь вчера ночью Этка чуть ли не два часа гуляла с ней?!» — «Этка, говорю, с Хайкой? Что ты говоришь, как это может быть?» — «Ох, говорит, не спрашивай. Мне пришлось уступить ей. Этка так упрашивала меня не говорить тебе, что она каждый день встречается с ней. Чую, несчастье случилось!.. Дай бог, чтобы я обманулась!» Сказала, бросилась в комнату Этки — и тут же повалилась на пол. Я кинулся за ней. Подбежал к кровати: «Этка, Этка!» Какое там! Кричи не кричи, ничего уже не поможешь! Нету Этки!

— Нету?

— Умерла. Лежит на кровати мертвая. На столе — бутылочка, записка тут же, собственной рукой ее написана, по-еврейски. Хорошо писала по-еврейски. «Милые и дорогие мои родители, — пишет она в записке, — простите меня за горе и позор, которые я вам причиняю. Сто раз прошу — простите! Мы дали друг другу слово, я и Хайка, что умрем в один день, в один час и одной смертью, так как мы не можем жить друг без друга... Я знаю, — пишет она, — мои милые и дорогие, что я совершаю великое преступление против вас. Я долго колебалась. Но это суждено, и быть иначе не может. Единственная моя просьба к вам, мои дорогие: похороните меня рядом с Хайкой — могила к могиле. Будьте здоровы, — кончает она письмо, — и забудьте меня, забудьте, что у вас была дочь Этка...» Вы понимаете? Чтобы мы забыли, что у нас была дочь Этка...

.....
За моей спиной слышится шорох, что-то ворочается, крихтит, а затем раздаётся осипший, заспанный голос:

— Авремл, Авремл!

— А? Что, Гитка? Выспалась? Чайку выпьешь? Сейчас будет станция. Где чайник? А чай и сахар где?..

Конец рассказа № 6.

РАССКАЗ № 7

«Праздношатающийся»

Знаете, чем лучше всего ехать? Лучше всего, покойней, вольготней? «Праздношатающимся».

Так прозвали богопольцы поезд узкоколейки, идущей мимо таких городков, как Богополье, Гайсин, Теплик, Немиров, Хашеваты, и им подобных благословенных мест, где нога прародителя Адама сроду, конечно, не ступала.

Богопольцы, слывущие на белом свете остро-словами, не нахвалятся преимуществами «праздношатающегося».

«Во-первых, — говорят они, — вам нечего бояться, что вы опоздаете. Когда бы вы ни пришли, он стоит. А чего стóит то, что вам не нужно драться за место? — спрашивают они. — Вы можете проехать неведомо какое расстояние один-одинешенек в вагоне, можете, как барин, вытянуться во всю длину и переворачиваться с боку на бок сколько душе угодно».

И это чистая правда. Вот уже недели три, как я путешествую в «праздношатающемся» по этим краям, и я почти все на том же месте. Прямо какое-то колдовство! Не думайте, однако, что я огорчаюсь. Наоборот, я очень доволен. Ведь здесь я повидал столько занимательного, наслушался таких былей и небылиц, что не знаю, когда и кончу записывать все это в свой дневник.

Начать хотя бы с того, как строили эту железную дорогу. Об этом, безусловно, стоит рассказать.

Когда из Петербурга пришла весть о том, что здесь будут прокладывать дорогу (министром был тогда Витте), люди говорили: «Враки! К чему Теплику, Голтели Гайсину железная дорога? Без нее не обойдутся? Не то воспитание?» Так болтали местные жители. Что уж говорить о богопольцах! Эти, по обыкновению, сыпали остротами, издевались, многозначительно показывали на ладонь: «Когда вот здесь волос вырастет!»

Позже, когда в этих местах появился инженер, стали производить съемки и мерить землю, люди прикусили языки, а богопольские остроловы поглубже запрятали руки в карманы. (Богопольцы обладают одним достоинством: не угадав, они не огорчатся. «Календарь, — говорят они, — тоже иногда врет...») И тут со всей округи кинулись к инженеру люди с рекомендациями, с протекциями, с письмами, с просьбами дать им работу. Что ж, люди ищут заработок! Ведь теплицкие, бершадские, гайсинские и богопольские жители давно прослышали, что при постройке железной дороги люди богатеют. Вот, к примеру, Поляков... *

И дельцы, — не только те, что промышляют лесом и кирпичом, но и те, что торгуют рожью и пшеницей, — бросились к железной дороге. Все стали вдруг подрядчиками, концессионерами, строителями. «Наши Поляковы» — прозвали их в Богополье и принялись заранее подсчитывать, сколько они могут здесь хапнуть.

Одним словом, округу охватило некое смятенье, род железнодорожной лихорадки, которая не миновала ни одного человека. Бес-искуситель, как известно, очень силен, и кому не хочется стать Поляковым в наших благословенных местах?!

Конкуренция, драка между подрядчиками, концессионерами и всякими иными строителями до того разгорелись, что работу пришлось распределять по жребию. Кому бог судил счастье и кто завоевал у инженера симпатии, тот получал работу, а кому дела не досталось, довольствовался хотя бы долей с доли. И долю эту приходилось выделить непременно, иначе обойденный давал понять, что и он знает, в какой стороне Петербург и где находится правление дороги. Люди позакладывали женины жемчуга, субботнее платье и принялись строить дорогу. При этом они потеряли все до гроша и наказали внукам и правнукам даже близко не подходить к железной дороге.

И все же одно другого не касается: бедолаги действительно разорились, но, как они выражаются, добились своего — железную дорогу проложили. И хотя в Богополье этот поезд, как мы знаем, наименовали «праздношатающимся», все же люди не нахвалятся им и рассказывают о нем всяческие чудеса. Например, заявляют, что с той самой поры, как «праздношатающийся» стал «праздношатающимся», с ним еще не стряслось ни одной беды, как с иными поездами. В чем же дело? А все это, говорят они, очень просто: тихо шагаешь — не потеряешь... И «праздношатающийся» действительно ходит тихо. Да еще как тихо! Богопольские умники, которые вообще склонны все преувеличивать, рассказывают историю, которая стряслась с их же богопольцем. Он как-то отправился с «праздношатающимся» к своему свату в Хашеваты на обрезание младенца, а прибыл к его бармицве*.

А еще они рассказывают о бершадской девице и молодом человеке из Немирова, которые направились в условный пункт на смотрины. Пока они съехались, молодой человек стал сизым, как голубь, а девица потеряла все зубы. Из-за этого помолвка и не состоялась.

Знаете, однако, что я скажу? Не люблю я богопольских остряков и не выношу их шуточек. Если я уж описываю что-либо, так только то, что вижу собственными глазами или, по крайней мере, что слышу от солидных людей, от коммерсантов.

Например, я сам слышал от гайсинского купца, что несколько лет тому назад в седьмой день праздника кущей с «праздношатающимся» случилась большая беда, можно даже сказать, катастрофа, вызвавшая панику по всей линии и взволновавшая всю округу. Катастрофа произошла из-за одного еврея и священника. Передаю это в отдельном рассказе, точно так, как мне об этом сообщил гайсинский купец. Люблю рассказывать только то, что сам слышал. Почитайте — и вы тоже убедитесь, что все это сушая правда.

Гайсинский купец не соврет.

Конец рассказа № 7.



РАССКАЗ № 8

Чудо в седьмой день кущей

— «Чудо в седьмой день праздника кущей» — так называли у нас железнодорожную катастрофу, которая произошла в седьмой день кущей после «приговора»*. Истряслось все это вот здесь, в нашем Гайсине, то есть не в Гайсине, а за две остановки до него — на станции Соболевка.

Вот так, степенно, не спеша, принялся мне рассказывать гайсинский купец, по-видимому весьма солидный человек, о катастрофе, происшедшей у них на узкоколейке, где поезд называют «праздношатающимся» (о нем я уже рассказывал вам раньше). А так как купец рассказывал мне эту историю, сидя в этом самом «праздношатающемся», которому всегда не к спеху, а в вагоне было нас всего лишь двое, — он расстегнул, как полагається, все пуговицы, развалился, как у родного отца в винограднике, и говорил не торопясь, смакуя каждое слово, поглаживая при этом свой животик и посмеиваясь

от удовольствия, которое, по-видимому, доставлял ему его рассказ.

— Вы ведь едете в нашем «праздношатающемся», слава богу, уже вторую неделю, значит, знаете его манеру. У него такое обыкновение — прибудет на станцию, станет и уж никак не распрощается с ней. По расписанию ему, понятно, положено стоять определенное время. Например, на станции Заткевичи его стоянка — час пятьдесят восемь минут, на станции Соболевка, о которой я рассказываю, — ему надо стоять час и тридцать две минуты, ни секунды больше. Но пусть ему будет столько болячек, сколько лишних минут он простаивает и в Заткевичах и в Соболевке сверх двух, а то и сверх трех часов. Все зависит от того, сколько времени занимают «маневры». А что у «праздношатающегося» называется «маневрами», вам ведь нечего рассказывать. Выпрягают паровоз из оглобеля, и вся бригада — кондуктора, машинист, кочегар — садится с начальником станции, жандармом и телеграфистом пить пиво — бутылку за бутылкой.

Ну, а что делают пассажиры во время «маневров»? Да вы и сами видели, что они делают. Не знают, куда деваться, бьются головой о стенку: кто зеваает, кто, забившись в угол, дремлет, а кто прохаживается, заложив руки за спину, по платформе и тихонько напевает.

И должно же произойти такое на станции Соболевка во время «маневров»! Стоит однажды утром в седьмой день кущей, заложив руки за спину, обыкновенный любопытствующий еврей из Соболевки и глазееет на отцепленный паровоз. Что, однако, нужно здесь соболевскому еврею? Ничего. День праздничный, помолился в свое удовольствие, отбил гейшанес; * сходил домой, поел; на душе полупразднично-полубуднично, судьба его там, наверху, подписана, дома делать нечего, вот он взял палочку и побрел на вокзал встречать поезд.

Встречать поезд — это, должны вы знать, обычное занятие в нашем краю. Настает время прибытия поезда, и все мчатся на вокзал в надежде кого-нибудь встретить. Кого встретить? Что встретить? Теплицкого еврея, ободивковскую еврейку, голованивского священника? Тоже мне счастье! И все же идут. Правда, железная дорога была еще тогда в диковинку, «праздношатающийся» только что пошел, и было на что поглядеть и что послушать. Как бы там ни было, утром в седьмой день праздника кущей после «приговора», как я уже говорил вам,

стоял полупразднично-полубуднично настроенный соболевский еврей с палочкой в руке и глазел на выпряженный из оглобель паровоз.

Ну и что же? Кому какое дело, если соболевский житель стоит и разглядывает паровоз? Пусть себе стоит на здоровье. Так нет же! Должен найтись среди пассажиров священник из здешних мест, из Голованивска. Это недалеко от Гайсина. Нечего делать — вот и расхаживает священник по платформе, как все прочие, заложив руки за спину, и тоже останавливается перед паровозом.

«Послушай-ка, Юдко! — обращается священник к еврею. — Чего ты здесь не видал?» Отвечает ему сердито еврей: «Почему это Юдко? Меня зовут не Юдко, а Берко». — «Пусть будет Берко. Что ты здесь глазеешь, Берко?» — «А вот стою и разглядываю божье чудо, — отвечает еврей, не сводя глаз с паровоза. — Как будто совсем пустяк, чепуха — стоит повернуть один винтик сюда, другой туда — и такая махина начнет ходить». Тогда священник вновь обращается к нему: «Откуда ты знаешь, что, если повернуть один винтик сюда, другой туда, машина начнет ходить?» — «А если б не знал, зачем бы я говорил?» — «Кугл * ты знаешь как едят, — говорит священник, — вот что ты знаешь». Не мог стерпеть такого поношения еврей (соболевские евреи все с амбицией). «Ну-ка, батюшка, потрудись взобраться со мной на паровоз! — говорит еврей. — Я тебе в момент растолкую, почему паровоз ходит и почему останавливается. Это задело священника не на шутку. Как? Этот еврейчик будет ему объяснять, почему паровоз ходит и почему останавливается?! И он сердито говорит: «Лезь, Гершко, на паровоз!» — «Я не Гершко, а Берко», — поправляет его еврей. «Пускай Берко. Полезай, Берко!» — «Что значит полезай? — спрашивает еврей. — Почему мне лезть? Полезай сначала ты, батюшка!» — «Да ведь ты меня учишь, а не я тебя, — ядовито говорит священник, — значит, тебе первому и лезть». Одним словом, спорили они, спорили, наконец кое-как оба взобрались на паровоз, и соболевский еврей принялся объяснять священнику всю премудрость машины, затем тихонько тронул один рычаг, другой, а раньше, чем они опомнились, паровоз тронулся с места и, к их великому ужасу, пошел.

Сейчас как будто самая пора оставить еврея и священника на паровозе, — пускай себе мчатся на здоровье,

мы же тем временем займемся одним из них. Кто он, этот соболевский еврей, который набрался смелости и полез вместе со священником на паровоз?

Берл-уксусник — так зовут еврея, о котором я здесь рассказываю. Почему его зовут уксусником? Потому что он изготавливает самый лучший уксус в нашем крае. Профессия эта досталась ему по наследству от отца, но он достиг в ней особого искусства, придумав, как он говорит, машину, которая дает самую лучшую эссенцию. Будь у него время, он мог бы снабдить уксусом целых три губернии, как он заявляет, но нужда его не заедает, а богатства он не ищет. Вот каков наш уксусник! Нигде не учился, а знает всякое тонкое ремесло и сведущ в машинах. Откуда же это у него? Тут можно и самому догадаться. Изготовление уксуса похоже на винокурение, а винокурение пахнет заводом. На заводе же, говорит он, почти такие же машины, как на паровозе. Завод, говорит Берл, свистит, и паровоз свистит. Какая же тут разница? Главное, говорит Берл, размахивая руками, это сила, которую дает машине топка. От топки нагревается котел, вода начинает кипеть, толкает, говорит, вал, и колеса начинают вертеться куда угодно. Хотите вправо — поверните регулятор вправо, хотите влево — поверните регулятор влево. Это так, говорит, просто, что проще и быть не может... Теперь, когда я вас познакомил с соболевским евреем, вы, надеюсь, получили ответ на множество ваших недоуменных вопросов, и мы можем вернуться к катастрофе.

Надо ли вам рассказывать о панике, которая поднялась среди пассажиров на станции Соболевка, об ужасе, охватившем людей, когда они увидели, как их паровоз безо всякой причины сам по себе ринулся вперед с невиданной быстротой? Думаю, вы это сами понимаете. Ну, а переполох в бригаде?! Поначалу она бросилась бежать за паровозом, хотела, видно, поймать его за хвост. Вскоре, однако, люди убедились, что их труд напрасен. А паровоз, как назло, мчался теперь словно бешеный. Ни разу еще с той поры, как пошел «праздношатающийся», не случалось, чтобы паровоз несся с такой скоростью. Окончательно убитая бригада возвратилась на станцию с пустыми руками. А вернувшись, она вместе с начальником станции и жандармом составила протокол, затем разослала по линии депешу: «Ушел паровоз без прислуги. Примите меры. Телеграфьте!»

Легко представить, какую панику вызвала телеграмма на линии! Во-первых, ее не поняли. Что это значит — ушел паровоз без прислуги? Как может сам паровоз уйти? А во-вторых, что означает — примите меры? Какие тут можно принять меры, кроме рассылки телеграмм? И полетели по всей линии телеграммы. Телеграф работал как бешеный. Станции без конца переговаривались между собой, и вскоре страшная весть докатилась до городов и местечек края. И тогда только началось форменное светопреставление. У нас в Гайсине, к примеру, уже подсчитали, сколько человек убито. И суждена ведь несчастным такая страшная смерть! И когда?! Как раз в седьмой день кущей, после «приговора»! Так уж, видно, было решено на небесах!..

Толки подобного рода можно было услышать в Гайсине и в любом местечке вокруг него. Не описать наших страданий и мук. Но все это не идет в сравнение с муками несчастных пассажиров, которые остались на станции Соболевка, яко овцы без пастыря, — без паровоза посреди дороги. Как быть? Что делать? Куда кинуться? Разве только проторчать последние дни праздника здесь, в местечке? Ах, загубленный праздник кущей!.. И пассажиры сбились в одном углу и принялись обсуждать свое положение и судьбу «беглеца», как они назвали сбежавший паровоз. Кто знает, что еще с ним случится? Шутка сказать — летит по линии этакая машина, одна-одинешенька! Ведь где-нибудь с «беглецом» неминуемо столкнется встречный «праздношатающийся», идущий из Гайсина на Соболевку. Что будет с теми пассажирами? И воображение рисует страшное столкновение с обычными подробностями большой железнодорожной катастрофы. Людям явственно видятся опрокинутые вагоны, раскатившиеся колеса, человеческие головы, изуродованные ноги, оторванные руки, растоптанные, окровавленные чемоданы... И вдруг телеграмма! Прибыла депеша из Затковичей. Что там? А в ней написано: «Мимо Затковичей со страшной скоростью проскочил паровоз, на нем два человека. Один с виду еврей, другой — священник. Оба махали руками, ничего не поняли. Паровоз промчался на Гайсин».

Тут-то и началась самая кутерьма. Что сие значит? Еврей и священник на сбежавшем паровозе! Куда они сбежали? Зачем? И кто этот еврей?.. Стали разнохивать, расспрашивать у одного, у другого — дознались:

еврей этот местный, из Соболевки. Кто такой? Вы его знаете? Что за вопрос! Берл-уксусник из Соболевки. Откуда известно, что это он? Известно! Соболевцы клянутся, что сами видели, как он стоял со священником у отцепленного паровоза и размахивал руками. Ну, что же это творится? Какие дела у еврея со священником и зачем ему понадобилось стоять с ним да еще размахивать руками? Болтали так долго, пока наконец история эта не докатилась до самой Соболевки. И, хотя от станции до местечка рукой подать, событие это, переходя от одного к другому, непрерывно видоизменялось, так как каждый добавлял что-нибудь свое. Когда же история со священником добралась до домика Берла, она выглядела так дико, что горемычная жена уксусника падала раз десять в обморок и пришлось вызывать врача. А на станцию из местечка высыпало народу, как звезд в ясную ночь, и поднялся такой гвалт, что начальник станции отдал жандарму распоряжение очистить перрон от соболевских жителей. Ну, а раз так, то и нам нечего здесь делать. Давайте лучше посмотрим, что происходит на сбежавшем паровозе; как себя чувствуют еврей и священник на «беглеце».

Однако легко сказать — что делается на сбежавшем паровозе! Кто может знать, что там происходит? Тут уж приходится верить соболевскому уксуснику на слово. Он рассказывает о своем путешествии такие чудеса, что если бы это даже наполовину было правдой, то и того достаточно. Но, насколько я знаю, этот уксусник из Соболевки не любит преувеличивать.

Поначалу, когда паровоз тронулся, рассказывает Берл, он почти ничего не помнит, что с ним было. И во все не с перепугу, а главным образом потому, что он не мог понять, отчего паровоз не слушается его. По правилам, говорит он, после того как второй раз крутанешь регулятор, паровоз должен немедленно остановиться, а он вместо того понесся пуще прежнего, точно тысяча чертей толкали его в спину. Паровоз мчался с такой скоростью, что телеграфные столбы мельтешили у Берла в глазах, точно мухи, кружилась голова и подкашивались ноги. Немного погодя, когда он опомнился, ему пришло в голову, что паровоз должен иметь тормоз, задерживатель такой, которым его можно в любой момент остановить. «Есть тормоз ручной, и есть воздушный», — поясняет Берл-уксусник и показывает руками, что сие

значит. Это такое колесико, которое, если его как следует крутануть, прижмет рычаг, и колеса сами остановятся. «Не пойму, — говорит он, — как это могло вылететь у меня из головы». И Берл мгновенно кинулся к колесу, чтобы повернуть его вправо. Но тут его кто-то схватил за руку. «Стоп!» Кто же это? Представьте, священник, полумертвый, еле шевелит губами. «Что хочешь делать?» — спрашивает он с дрожью в голосе. «Ничего, — отвечает Берл, — хочу остановить машину». — «Упаси тебя бог прикоснуться к машине! — заявляет священник. — А не послушаешься, схвачу за шиворот да швырну с паровоза — сразу забудешь, что тебя звали когда-то Мошкой». — «Не Мошка, а Берко», — поправляет Берл и собирается объяснить ему значение колесика, называемого тормозом. Но противный поп и слышать не хочет. «Хватит крутить! — твердит он. — Ты уж и без того достаточно накрутил, чтоб тебя всего перекрутило, проклятый человек! Лучше б ты себе шею свернул до того, как свалился на мою голову!» — «Ты, батюшка, видно, думаешь, — замечает Берл, — что мне моя жизнь не так дорога, как твоя тебе!» — «Твоя жизнь?! — отвечает жестко священник. — Чего стоит собачья жизнь?!» Это задело Берла не на шутку, и он принимается отчитывать священника так, что тот запомнит надолго. «Во-первых, — заявляет Берл, — и собаку тоже жалко. Согласно вашей религии, и собаки нельзя тронуть. Все живое нуждается в сострадании. А во-вторых, чем это моя жизнь хуже пред господом богом любой другой жизни? Разве не приходим все мы от первочеловека Адама и разве не возвращаемся в одну и ту же землю? А теперь, — добавляет Берл, — замечай, батюшка, разницу между мной и тобой: я делаю все возможное, чтобы паровоз остановить, значит, забочусь о нас обоих, а ты до того расвирепел, что готов сбросить меня с паровоза, то есть хочешь убить человека». И еще немало подобных прекрасных слов говорил Берл, читал всяческую мораль, приводил притчи, так что священника чуть не хватил удар. Разговаривая таким манером, они оба вдруг увидели перед собой станцию Затковичи, начальника станции и местного жандарма на платформе. Тут и Берл и священник принялись махать руками. Никто, однако, не понял, чего они хотят, и «беглецу» пришлось мчаться дальше, на Гайсин. «Теперь, — рассказывал Берл, — священник стал гораздо мягче, но прикоснуться к машине все же

не давал». Внезапно священник обратился к Берлу: «Ответь-ка мне, Лейбка, на один вопрос». — «Меня зовут не Лейбка, а Берко», — поправил укусник. «Пускай Берко, — кивнул священник. — Ответь-ка мне, Берко, согласен ли ты прыгнуть вместе со мной с паровоза?» — «Зачем? — спросил Берл. — Чтобы, упаси боже, разбиться насмерть?» — «А мы все равно разобьемся насмерть», — заявил священник. Тогда Берл спросил: «Откуда это тебе известно? Это еще надо доказать. Если бог захочет, он ого-го что может сделать!» — «Например?» — спросил священник. «А вот я тебе скажу, батюшка, — ответил Берл. — У нас, евреев, сегодня Гейшанорабо. В этот день каждому человеку, каждой твари утверждается на небесах его судьба — жить им или умереть, а если умереть, то какой смертью. Ну, так вот — судил мне бог умереть, тут уж ничего не попишешь. Какая же мне разница, умру я, прыгнув с паровоза, на самом паровозе или меня гром убьет? Ну, а на ровном месте, — продолжал Берл, — разве нельзя поскользнуться и расшибиться насмерть, если на то божья воля? Но если мне начертали сегодня жить, зачем же я стану прыгать?»

«Что вам сказать? — продолжает Берл-укусник свой рассказ и клянется такими клятвами, что даже выкресту можно было бы поверить. — Не помню, как это случилось, но, когда мы приблизились к Гайсину и уже увидели заводскую трубу, паровоз вдруг замедлил ход, стал идти тише, тише и наконец совсем остановился. Отчего это? Да, видно, в топке не стало угля, а когда на паровозе, — говорит Берл, — кончается топливо, вода перестает кипеть, колеса перестают вертеться, и всему конец. Точно, говорит, как если б человеку, не про вас будь сказано, не давали б кушать». Конечно, Берл тут же сказал священнику: «Ну, батюшка, что я тебе говорю? Если б создатель не присудил мне сегодня жить, кто знает, на сколько хватило бы в паровозе топлива и где бы мы с тобой сейчас были». А священник, рассказывает Берл, стоит, опустив глаза, и молчит. Да и что ему, бедняге, говорить?! А прощаясь, священник подошел к Берлу и протянул руку: «Прощай, Ицко». — «Я не Ицко, а Берко», — поправил укусник. «Пускай Берко, — заявил священник. — Послушай, Берко! Я и не знал, что ты такой...» И больше укусник ни слова не услышал от него, так как священник, подхватив полы своей рясы,

быстро зашагал назад по дороге, видать, в свой Головановск. А Берл двинулся прямо в город, к нам, в Гайсин. У нас он провел эти праздники, вознес молитву об избавлении от беды, рассказал не меньше тысячи раз свою историю от начала до конца, дополняя ее каждый раз новыми чудесами и приводя все новые и новые подробности. Всякий тащил соболевского уксусника к себе домой, желая видеть его гостем у себя за праздничным столом, а кстати послушать от него самого о чуде в седьмой день кущей. И, как вы уж понимаете, это был у нас настоящий праздник! Всем праздникам праздник!

Конец рассказа № 8.

РАССКАЗ № 9

Быть бы свадьбе, да музыки не нашлось

— Я, кажется, обещал рассказать вам еще про одно чудо, случившееся с нашим «праздношатающимся»: как благодаря этому «праздношатающемуся» мы спаслись от великого бедствия. Если хотите послушать, прошу вас, перейдите на эту скамейку, а я лягу на ту. Здесь мне неудобно разговаривать.

Так сказал мне однажды все тот же гайсинский купец, сидя со мной в вагоне узкоколейки, поездá которой в здешних местах прозвали «праздношатающимися». А так как и в этот раз нас в вагоне было только двое и стояла теплынь, мы, простите, сняли пиджаки, расстегнули жилеты и расположились как у отца в винограднике. На одной скамье он, на другой — я. Он, по своему обыкновению, степенно, не спеша рассказывал, а я со вниманием слушал, запоминая каждое слово, чтобы затем все это передать его же словами.

— Было это, чтоб им не повториться, во времена конституции *, когда начались так называемые «высочайшие милости» для евреев. Правда, у нас в Гайсине, должен вам сказать, мы никогда погромов не боялись. Думаете, почему? Просто из-за того, что у нас некому бить евреев. Впрочем, как вы понимаете, если хорошенько поискать, то и у нас найдутся такие, которые не прочь чуть-чуть проветрить нас или, попросту говоря, как следует пересчитать ребра. А вот и доказательство. Когда отовсюду до нас стали доходить «приятные» вести, некоторые наши подлые паны под большим секретом написали куда следует: «Было бы очень кстати сотворить что-нибудь такое и в Гайсине. Однако делать это здесь некому. Поэтому

просим помочь и, бога ради, побыстрее прислать нам «людей»... И представьте, не прошло и двадцати четырех часов, как прибыло известие, опять-таки под большим секретом, что «люди» идут. Откуда? Из Жмеринки, из Казатина, из Раздельной, Попельни и им подобных мест, отличавшихся своими громилами. Спрашивается: как проведали у нас про тайное тайных? На это у нас, видите ли, есть свой «источник», зовут его Нойах-тонконог. Что это за человек? Вы едете в наши края, стало быть, нужно вам его представить, чтобы вы его знали.

Нойах-тонконог в длину, безусловно, больше, чем в ширину. Господь наградил его парой ног, и он пользуется ими всюду: ни часу не отдыхает, редко когда его дома застанешь. Тысячи дел заботят его, и все больше чужие. Сам он типограф. И вот благодаря типографии, единственной в Гайсине, он вхож к начальству, имеет дело с панями, связан с чиновниками и знает всякие секреты.

Вот из этого «источника» и узнали мы «приятную» новость. Собственно, сам «источник» раззвонил об этом по всему городу. Понятно, каждому в отдельности он по секрету шептал на ухо: «Это я говорю только вам, другому ни за что не сказал бы...» И вот так весь город, из конца в конец, узнал, что в Гайсин спешат хулиганы и выработан план погрома. Известно даже, когда, в какой день и час начнут бить евреев, откуда начнут бить и как пойдут громилы, — все рассчитано, как в календаре. В городе, как вы понимаете, началось светопреставление. И где, вы думаете? В первую очередь у тех, кто победней. Странное дело, слышите ли, с этими бедняками! Ладно, когда богач боится такой штуки, это еще понятно. Несчастный страшится, как бы его, упаси бог, вмиг не обратили в нищего. Но вы, вечные нищие, чего вы дрожите? Чем вы рискуете? Нет, вы посмотрели бы, как они побросали все свои пожитки, схватили детишек и давай прятаться. Ну, где, например, прячутся евреи? Кто у доброго русского человека в погребке, кто у нотариуса на чердаке, а кто у директора на заводе. Каждый находит свое место. Только я один, какой я ни на есть, не захотел прятаться. Говорю это не потому, что хочу порисоваться перед вами, я докажу вам всяческими доводами, что я не совсем неправ. Во-первых, спрашивается: почему нужно бояться погрома? Пусть будет что будет... Во-вторых, ничего не скажешь, я, может, и сам оставил бы гордыню и попробовал бы спрятаться, чтобы переждать

горячую минуту. Но вот вопрос — где спрятаться? Вы понимаете? Помимо всего прочего, как это вообще оставить город на произвол судьбы? Взять да убежать — это не фокус. Надо постараться что-нибудь сделать. Но что могут, с позволения сказать, евреи сделать? Вот начальство!.. Верно, и у вас в городе есть какой-нибудь влиятельный человек, который вхож к начальству? У нас в Гайсине один такой есть. Его зовут Нахмен-косой. Он подрядчик. У него круглая борода, бархатный жилет и собственный дом. А так как он подрядчик и орудует на шоссе, то вхож к исправнику; пьет с ним чай за одним столом. А исправник, представьте, был тогда у нас совсем хороший человек. Золотой человек! Почему? Не отказывался от рублика. Но брал все через Нахмена-косого. То есть брал он у каждого. Почему бы не брать? Но через Нахмена он брал охотней. Как у подрядчика, понимаете?

Короче говоря, люди повидались с Нахменом, составили список, и появились деньги, и, как вы понимаете, порядочные деньги. Как же в самом деле прийти в такое время к барину и не позолотить ему ручку так, чтобы, как говорится, пальцы обожгло? Понятно, барин тотчас успокоил нас. Он твердо заявил, что мы можем спокойно спать, ничего не будет... Хорошо ведь, не так ли? Однако в Гайсине у нас имеется «источник», для которого тайное тайных открыто. Вот он и распустил, Нойах-тонконог, по всему городу слух, по секрету, конечно, что от черной сотни уже получена телеграмма; клянется, что сам ее видел, видать бы ему так счастье на земле! Что же там, в этой депеше? А в депеше только одно слово: «Едем». Противное слово! Конечно, кинулись к исправнику: «Барин, а ведь дело плохо!» — «Чем плохо?» — спрашивает он. «Депеша получена», — отвечают. «Откуда?» — спрашивает. «Из тех мест», — говорят ему. «Что написано в депеше?» — «Едем», — отвечают ему. Расхохотался исправник и говорит: «Вы порядочные дуралеи. Я вчера вызвал из Тульчина сотню казаков...» Услышали мы про казаков и сразу ожили. Еврей, как только увидит казака, сразу становится отважным, готов всему миру дулю показать. Шутка сказать, такая охрана! Все дело лишь в том, кто раньше явится — казаки из Тульчина или громы из Жмеринки. Понятно, черная сотня должна прийти раньше, потому что она направляется поездом, а казаки — верхом на лошадях. Вся надежда на «праздно-

шатающегося». Может, великий бог сотворит чудо и «праздношатающийся» хоть на несколько часов запоздаст. А ведь это у него обычное дело, такое случается с ним почти каждый день. Но, представьте, на этот раз с ним такого чуда не произошло. Как назло, он двигался от станции к станции точно по часам. Можете представить, сколько это нам стоило крови и какая в городе поднялась паника, когда проведали, конечно из «источника», что уже с последней станции прибыла депеша: «Едем». Причем там было не только «едем», но и «ура»... Новость эту, понятно, тотчас отнесли к исправнику, упали в ноги и упросили не надеяться на казаков, которые когда-то еще явятся из Тульчина, а выслать на вокзал полицию, хотя бы для вида — пусть *те* не думают, что здесь ни закона, ни суда нет и можно творить произвол. На этот раз исправник не заставил себя долго просить, потрафил городу, сделал даже больше, чем от него ожидали. Что именно? При полной форме и во всех регалиях собственной персоной во главе всей полиции явился на вокзал встречать поезд.

Но те несколько подлых панов, со своей стороны, тоже не дремали. По-праздничному вырядившись и нацепив ордена, они прихватили с собой священников и тоже пришли встречать поезд. Исправник спросил их: «Что поделяваете здесь?» Но и они задали ему тот же вопрос: «А вы что поделяваете здесь?» Слово за слово — и исправник дал им понять, что их труды напрасны. Пока он здесь исправником, заявил он, в Гайсине погрома не будет. Так твердо и заявил. Те с усмешкой выслушали его, затем дерзко сказали: «А вот мы сейчас посмотрим!..» Не успели они это выговорить, как вдали послышался гудок. От этого гудка у всех нас, как вы понимаете, душа в пятки ушла. Вслед за этим мы ожидали услышать второй гудок, а затем крики «ура». А что следует за таким «ура», нам уже сообщили из других городов. И что же оказалось? Вскоре действительно раздался гудок, однако это был напрасный гудок. И вот почему. Такое может случиться только с нашим «праздношатающимся». Вот послушайте!

Подкатив к станции, машинист затормозил паровоз и спокойно сошел на платформу, а там по привычке направился в буфет. Тут его и остановили: «Дружище, а где вагоны?» — «Какие вагоны?» — «Разве не видишь, что приехал на паровозе без вагонов?» Машинист

вытаращил глаза, затем заявил: «А мне какое дело? За вагоны отвечает бригада». — «Где же бригада?» — «А я откуда знаю? — снова ответил машинист. — Кондуктор дал знать свистком, что готов, я ему ответил свистком, что тоже готов, и пустил машину. На загылке у меня глаз нет, чтобы видеть, что сзади делается». Вот эдак ответил машинист, и вроде он по-своему прав. Одним словом, толкуй что хочешь — «праздношатающийся» здесь, а пассажиров нету. Как говорится, была бы свадьба, да музыки не нашлось.

Как после выяснилось, к нам ехала замечательная компания, уж сами понимаете, отборные бандюги, один к одному, со всеми орудиями избиения — дубинками, резинками и всякими иными принадлежностями. Пили они водку, веселились вовсю и на радостях, на последней станции, в Криштоповке, как следует заложили за воротник, а заодно напоили и бригаду — кондукторов, кочегара, жандарма. При этом забыли про одну мелочь — прицепить состав к паровозу. Вот он и ушел в положенное время на Гайсин, а весь «праздношатающийся» остался в Криштоповке. И еще того замечательней! Никто — ни теплая компания, ни бригада, ни другие пассажиры — не заметил, что они стоят, и все продолжали опрокидывать бутылку за бутылкой. Наконец начальник станции спохватился, что паровоз ушел, а вагоны стоят, и поднял шум. Тут только все обнаружилось, и пошла такая руготня, что держись. Молодцы крыли бригаду, бригада — молодцов. Продолжалось это до тех пор, пока все наконец порешили взять ноги на плечи, глаза в руки и — айда в Гайсин. Куда ж им в самом деле деваться? Так они и сделали. Собрались с духом и зашагали по шпалам в Гайсин. Как вы понимаете, они благополучно пришли в Гайсин, понятно, с песнями и, понятно, с криками «ура», — как сам бог велел. Только они чуть-чуть опоздали. По улицам уже разъезжали казаки на лошадках и во всеоружии, то есть с плетками в руках. В каких-нибудь полчаса от черной сотни и помина не осталось. Разбежались, как крысы от голода, растаяли, как снег в солнечный день.

Ну, вот я вас спрашиваю: разве не достоин наш «праздношатающийся», чтобы его одели в золото или, по крайней мере, посвятили специальный рассказ его деяниям?!

Конец рассказа № 9.

РАССКАЗ № 10

*Талескотн **

— Вы толкуете о несчастьях, о нынешних пожарах? Хотите, я расскажу вам замечательную историю о том, как вырывают сотенный билет на погорельцев у богача, скупердяя, форменной свиньи? У человека, который готов удавиться за копейку, который за всю свою жизнь никому ни разу не подал милостыни? — обратился ко мне сосед по вагону однажды утром после завтрака. Тут он закурил и угостил меня папиросой.

По-видимому, история, которую он собирался рассказывать, была весьма занимательной, нравилась ему настолько, что, еще только подумав о ней, он уже расхохотался, как человек, которому пришло на ум что-то очень забавное. Он покатывался со смеху. В таких случаях лучше всего дать человеку как следует нахохотаться, иначе рассказ противно будет слушать.

И вот мой сосед досыта посмеялся, откашлялся и начал так:

— Я уже изобразил вам целую галерею людей нашего города. Теперь представлю еще один экземпляр. Его зовут Иоел Ташкер. Посмотрели б вы на него! Ломаного гроша не дадите за эту фигуру. Маленький, щупленький, сухонький, бороденка редкая, не ходит, а семенит, одежда — и врагу не пожелаешь. А ведь богач! Да что я говорю — богач, — толстосум, миллионщик! То есть миллионы его я не считал. Может, у него миллион, а может, далеко и до полумиллиона. Но сколько бы у него ни было, поверьте, он и того не стоит. Потому что это свинья свиньей. Выдрать у него милостыню все

равно что море рассечь. Нищие не упомнят, когда бы Иоел Ташкер подал им кусок хлеба. В городе уж знают эту персону, и, когда, случается, нищий выразит недовольство подающим, ему говорят: «Подите к Ташкеру, там вам больше дадут». Вот каков наш богач! Может, думаете, — это злодей, неуч, низкого происхождения? Боже упаси! Он из хорошей семьи, знаток Талмуда *, человек благочестивый — чужого не тронет, только бы его добра не взяли. Мое — мне, твое — тебе. Понимаете? Занимается ростовщицеством. У него собственные дома, и ведет он дела все больше с помещиками. День и ночь занят, всю жизнь в разъездах, в беготне; не ест, не спит, обходится без приказчика, всюду сам, один. И ни детей, ни близких. Были, правда, у него дети, но он их сам разогнал. Говорят, в Америке они. Умерла жена, он их и разогнал. А умерла она, говорят, с голоду. Но это уж, видать, вранье, а может, и правда. Во всяком случае, со второй женой он уже через две недели разошелся. Угадайте, из-за чего? Из-за стакана молока, ха-ха-ха. Честное слово. Однажды, застав ее с кувшином молока в руке, он заявил ей: «Если ты пьешь молоко потому, что чахоточная, на что ты мне сдалась? Если лакаешь его просто так, за здорово живешь, значит, ты мотовка...»

Одно достоинство у него (нет людей только с недостатками): он набожен, набожен до безумия. Что ж, хочешь быть праведником, пожалуйста! Кому какое дело?! Нет, ему нужно, чтобы все были праведники. Господень стряпчий! Не может стерпеть, если еврей без шапки ходит, злится из-за того, что у молодых собственные волосы *, изводит родителей, отдающих ребят в гимназию. И все в таком роде.

Должен же бог сотворить так, чтобы во дворе у него снял квартиру адвокат, из прежних адвокатов, ну, как их там называют, частный поверенный, не слишком богобязненный еврей: ходит без шапки, бреет бороду, курит по субботам *. Все как полагается, будьте уверены, хуже не придумаешь. Фамилия его Компаневич. Высокый, плечистый, чуть сутулится, с впалыми щеками и плутоватыми глазками, но молчальник, тихоня, — одним словом, хитрый беспутник. Собственно, живет он больше картами, нежели адвокатурой. У него собираются замечательные молодые люди, того сорта, что любят картишки, рюмочку, колбаску и тому подобные прелести. Ну,

хорошо! Живет у тебя не очень большой праведник, какое тебе до этого дело? Я говорю о Ташкере. Ну, не кумись с ним! Чего тебе еще? Но нет! Не может Ташкер стерпеть того, что у Компаневича по субботам ставят самовар, что у Компаневича едят мясное в постные дни, что у Компаневича перед пасхой не омывают новую посуду в реке и тому подобное. Вот он и гневается на жильца, оговаривает его повсюду, рассказывает о нем каждому и всякому, да погромче: «Видали дерзость вероотступника! Живет у меня в доме и ставит по субботам самовар!» Услышит это Компаневич и велит в следующую субботу раздуть два самовара. Наш Иоел рвет и мечет, его чуть кондрашка не хватает. Человеч! Возьми да откажи ему в квартире — и горю конец! Не тут-то было! Жалко потерять жильца, ведь он платит аккуратней всех. Ха-ха-ха.

Итак, я познакомил вас с двумя личностями. Теперь разрешите представить третьего — Фройку-плута. Тоже хорош типчик и имеет отношение к моему рассказу. Собственно, с него и начинается вся история.

Это уж субъект из тех, что служат и нашим и вашим. Полуфанатик-полуеретик. На плечах у него длинный сюртук, а на голове шляпа; белая рубашка, красный бантик, а из-под рубашки выглядывают шерстяные кисти талескотна. В городе поговаривают о нем что-то некрасивое насчет чужой жены. Но в синагогу он мчится стрелой. Одним словом, это то, что у нас называют «готс ганев»¹. Чем же он занимается? Денежным маклерством. Займы, векселя — вот его дело. Через его руки проходят тысячи и тысячи рублей. Никому Ташкер так не доверяет, как этому Фройке. Как дойдет дело до денег — боится выпустить сотню из рук. Стоит, однако, Фройке сказать, что это человек верный, и разговор кончен. Может, думаете, Фройка уж очень честен в денежных делах? Гарантии не даю. Но это умная bestия, пройдоха, продувной малый и к тому же страшный наглец. К нему на язычок попасться — все равно что свалиться в геенну огненную. Достаточно сказать, что зовут его Эфроим Кац, а именуют Фройка-плут.

Вот вам все три героя. И должно тут произойти это-кое событие: началось лето — пошли пожары, и целый город Деражня, не про нас будь сказано, превратился

¹ Ханжа (еврейск.).

в пепелище. Стали оттуда приходиться письма, мольбы, депеши; упрашивают, чтобы выслали сколько возможно и поскорей, так как целый город валяется под открытым небом и помирает с голоду. Конечно, у нас принялись вопить: «Милосердные, сыны милосердных! Что молчите? Почему у нас ничего не предпринимают?» Судили, рядили и, наконец, остановились на сборе пожертвований. Послали несколько человек собирать по городу в пользу погорельцев. Кто же в этой «депутации»? Конечно, я да еще два-три состоятельных человека из наиболее почтенных. Ну, и Фройка-плут за компанию, потому что в таком деле без наглеца не обойтись. Прихватили платок и отправились. С кого же начать? Конечно, с богача. Пришли к Ташкеру. «Здравствуйте, реб Иоел». — «Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь! Что скажете?» Что ж, замечательно, лучше быть не может. Нужно вам сказать, что вообще-то этот Ташкер довольно гостеприимный человек. Зайдете к нему — велит подать стул, попросит сесть, будет беседовать с вами — все честь честью, пока не заговорите о деньгах. Но стоит вам заикнуться о наличных, как он тут же переменится в лице — один глаз закрывается, левая щека перекосится, как у парализованного, не про нас будь сказано. Жалко, говорю, на него тогда смотреть. Вот какой это типчик! Итак, на чем мы остановились? Да, пришла, стало быть, к Ташкеру депутация. «Здравствуйте, реб Иоел». — «Здравствуйте. Добрый день. Присядьте. Что скажете?» — «Мы пришли к вам за пожертвованием». Тут у него закрылся один глаз и, не про нас будь сказано, дернулась щека. «Пожертвование?.. Вдруг, ни с того ни с сего, пожертвование?» Тогда ему Фройка говорит — ведь он среди нас самый наглый: «Пожертвовать необходимо, очень необходимо! Вы уж небось слышали, целый город сгорел. Деражня...» — «Что вы сказали? Деражня сгорела? Пропал я совсем! Ведь у меня в Деражне размещено столько денег! Разорили! Совсем разорили!» Фройка принялся уверять, что его должников это не коснулось, пострадала, мол, только беднота. Но поди говори с ним, когда тот и слушать не хочет, носится как безумный, руки ломает и кричит не своим голосом: «Пропал! Разорили! И не говорите со мной! Убили вы меня! Не переживу этого!»

Посидели мы, посидели и поднялись: «Прощайте, реб Иоел». Это называется — поцелуй пробой и шагай

домой. Вышли мы, а Фройка и заявляет: «Послушайте, не буду я Эфроим Кац, если не выдеру у этой псины сотенную на деражненских погорельцев!» — «Да что ты, Фройка, болтаешь? С ума спятил!» — «Какое вам дело? Раз я говорю — выдеру, значит, выдеру, будьте покойны! На то я Эфроим Кац».

И что же? Вот послушайте дальше. Дня через два едет реб Ноел Ташкер на ярмарку в Толчин. Едет и его квартирант Компаневич. Едут люди из Толчина, из Умани, — словом, полон вагон. Разговаривают, толкуют и, по обыкновению, все разом. Забравшись в уголок, сидит Ноел Ташкер и заглядывает одним глазком в божественную книгу. Какое он имеет отношение ко всем этим людям, тем более к этому вероотступнику, бритую морду которого он видеть не может? А Компаневич, как назло, уселся напротив и молчит. «Господи, — размышляет Ноел, — как мне избавиться от этого свинячьего уха? Перейти во второй класс — жалко денег; остаться здесь — противно мне видеть это скобленное рыло и глаза ублюдка». Короче, господь совершил чудо — на первой же станции появился знакомый человек, не кто иной, как Фройка-плут. Ташкер, завидя Фройку, весь просиял. Будет с кем словцом перекинуться. «Куда это вы едете?» — «А вы куда?» Разговорились. О чем же? О прошлогоднем снеге, как говорится, о ярмарке в поднебесье, и в конце концов набрали на тему, которая Ташкеру по душе. «Нынешние дети, — пустоголовые парни, распутные девицы, все пошло прахом!» Фройка-плут припомнил старую историю об уманской снохе, удравшей с офицером; о молодом человеке, который дважды женился в двух городах; историю о мальчишке, который отказался класть филактерии*, а когда отец отколотил его за это, ударил отца. «Ударил отца? Родного отца?!» И вагон зашумел. Всех взбудоражило это, особенно Ташкера. «Что я говорил? Ха-ха-ха. Все идет прахом. Еврейские дети не хотят молиться, не хотят класть филактерий!» — «Пусть бы только не клали филактерий, — отозвался вдруг Компаневич, который до сих пор молчал. — Филактерии можно класть, можно не класть. Это меня мало волнует. Вот талескотн — другое дело! Я зол на наших молодых людей за то, что они не носят талескотна. Ну, ладно, класть филактерий — это похоже на работу, их надо надевать, их надо снимать. Но

талескотн! Какой труд носить его под рубашкой, где он совсем не виден?!»

Так стал вдруг рассуждать этот вероотступник Компаневич. Говорил он тихо, не торопясь, но так серьезно, что ударь гром с ясного неба или опрокинься вагон, Ташкер не был бы так изумлен, как сейчас. «Что сие значит? Мессия явился? * Этот вот колбасник ведет разговоры о талескотне?» И он обратился к Фройке, конечно, не к Компаневичу: «Что ты скажешь об этом праведнике? Хе-хе-хе... Он тоже разговаривает о талескотне?!» — «А почему бы и нет? — прикинулся дурачком Фройка. — Разве они не еврей?» Этого уж Иоел Ташкер не мог стерпеть. Во-первых, что это за «они»? Во-вторых, какой же Компаневич еврей? Хе-хе-хе. Хорошо еврей! Еврей, который в субботу ставит самовар, жрет мясное в пост, не оmyвает в реке посуду к пасхе?! Вот этот еврей разговаривает о талескотне?! «А что ж такого? — глуповато спросил Фройка. — Какое имеет отношение одно к другому? Такой, как Компаневич, может делать все, что вы перечислили, и все же под рубашкой носить талескотн». — «Кто? — не своим голосом вскрикнул Ташкер. — Вот этот скобленный?! Этот шалонай?! Вот этот восставший против нашего бога?!»

Притихшие пассажиры поглядывали на Компаневича, а Компаневич молчал. Помалкивал и Фройка-плут. Внезапно он вскочил; похоже, его озарила какая-то мысль, и он решил пойти на риск. «А знаете что, реб Иоел? — заявил он. — Я придерживаюсь такого мнения — еврейскую душу так просто не разгадаешь. Раз он говорит о талескотне, значит, носит талескотн. Ставлю сотню на деражненских погорельцев, кладите и вы сотню, и давайте попросим вашего квартиранта тысячу раз извинить нас и расстегнуть кафтан да рубашку и показать, есть ли на нем талескотн или нет». — «Верно, верно!» — закричали пассажиры, и вагон сразу завопил, загалдел. Лишь один Компаневич продолжал сидеть тихо, как совершенно посторонний, будто это его вовсе не касается. А наш Ташкер? Бедняга будто в парильне побывал, будто испытывал адовы муки. Никогда в жизни он ни с кем не бился об заклад, даже на два гроша, и вдруг ставь целую сотню?! А если, упаси бог, этот колбасник все же носит талескотн?! Нет, это невозможно себе представить. «Куда там! Компаневич? Этот вероотступник! Тут даже и думать нечего». И он широким жестом рас-

поясался и вынул сотенную. Выбрали двух незнакомых, но вполне порядочных людей, и оба спорщика отдали им свои деньги. А затем принялись за Компаневича — предложили ему раздеться. Куда там! Он и слышать не хочет. «Что я, говорит, мальчишка какой-нибудь или комедиант? С какой это стати я стану раздеваться среди бела дня вот здесь, в вагоне, при народе?!»

Услышав такие речи, наш Ташкер расплылся от удовольствия. «Ага! — с сияющим лицом сказал он Фройке. — Кто прав, я или ты? Я уж знаю наших людишек. О талескотне разговаривает вот этакий человечиска! Ха-ха-ха».

Да, дело дрянь! Тогда за Компаневича взялись все разом: «Как можно? Либо так, либо эдак, но сотенная-то все равно на погорельцев пойдет!» — «На несчастных погорельцев», — поддержал их Иоел Ташкер, не глядя на Компаневича. «Бедняги с женами и детьми под открытым небом валяются», — снова напомнили Компаневичу. «Бедняги под открытым небом», — повторил Ташкер. «Неужели в вас жалости нет?» — «Жалости нет», — подтянул Ташкер.

В конце концов уговорили Компаневича расстегнуть кафтан, жилет и верхнюю рубашку. И представьте себе — у Компаневича под рубашкой оказался талескотн. Да еще какой! Большой, добротный, бершадский, с синими полосами по краям, с толстенными, в восемь раз скрученными кистями по углам, под стать любому раввину. Ха-ха-ха. Словом, всем талескотнам талескотн! На такую проделку способен только этот пройдоха, Фройка-плут! Правда, клиента в лице Ташкера он потерял навсегда и по сей день не смеет ему на глаза показаться. Зато он выдрал целую сотню на деражненских погорельцев! Целую сотню! Да еще у кого! У богача, толстосу-ма, свинтуса, который за всю свою жизнь милостыни не подал, куска хлеба нищему не отрезал!.. Ах, подохнуть бы ему! Я говорю, конечно, о Фройке.

Конец рассказа № 10.



РАССКАЗ № II

«Шестьдесят шесть»

Мне это рассказал в поезде еврей лет шестидесяти, весьма приличный человек, видно, такой же коммивояжер, как я, а то и купец. Передаю его рассказ слово в слово — таково мое правило в последнее время.

— В дороге, знаете ли, если рассчитывать только на пассажиров, с которыми можно завести знакомство и поболтать, с ума сойдешь от скуки.

Во-первых, пассажир пассажиру — рознь. Есть такие, которые любят много говорить, иногда даже слишком много, так что у вас голова кругом идет и в ушах звенит от этих разговоров. А бывают, наоборот, такие, которые вовсе не разговаривают. Ни слова! Почему они не хотят разговаривать — неизвестно. Может быть, у них неприятности, может быть, их мучает катар желудка, меланхолия или зубная боль. А может быть, у них в доме ад — сварливая жена, неудачные дети, злые соседи, к тому же и дела плохи, — как узнаешь, что у другого на душе?

Правда, вы скажете, есть выход: если не с кем поговорить, можно газету почитать, в книжку заглянуть. Ах, газеты! В дороге не то, что дома. Дома у меня *своя* газета. К *своей* газете я привык, ну, примерно, как к *домашним туфлям*. У вас, может быть, новые домашние туфли, а у меня старые, похожие, извините за выражение, на блин. Но у моих туфель есть одно достоинство, которого нет у ваших, — *они мои...*

С газетой точно так же, как с туфлями, хоть это и разные вещи. У меня есть сосед, живет со мной в одном доме, на одном этаже, дверь против двери. Он выписывает газету, и я выписываю газету. Он — свою, я — свою. Вот я и говорю ему: «Зачем вам отдельно выписывать газету и мне отдельно? Внесите свою долю, и выпишем вместе мою газету». Послушал он меня и отвечает: «Отлично, внесите вы свою долю на мою газету». Тогда я говорю: «Ваша газета — дрянь, а моя газета — настоящая газета». — «Кто вам сказал, что моя газета — дрянь? А может быть, наоборот!» — «С каких это пор вы стали разбираться в газетах?» — говорю я. А он отвечает: «С каких это пор вы стали разбираться в газетах?» — «Э, — говорю я, — да вы просто нахал, с вами и разговаривать не стоит!»

Словом, он остался при своей газете, а я — при своей. На этом дело и кончилось.

Но однажды случилась история. Это было, не про нас будь сказано, во время холеры в Одессе. И у меня и у моего соседа дела в Одессе, у меня — свои дела, у него — свои. Как-то спускаемся вместе с лестницы и встречаем разносчика; беру свою газету, сосед — свою. Идем, значит, и просматриваем на ходу газеты, я — свою, он — свою. Что прежде всего читаешь в газете? Конечно, телеграммы. Прочел я первую телеграмму из Одессы: «Вчера заболело холерой 230, умерло 160. Толмачев * приказал вызвать к себе всех старост еврейских синагог...» — и так далее. Ну, что касается Толмачева и старост еврейских синагог — это понятно. Это для меня не новость. На то он и Толмачев, чтобы, так сказать, интересоваться еврейскими синагогами. Меня же занимает холера в Одессе. Обращаюсь к своему соседу (он идет тут же, по тому же тротуару; нельзя ведь быть грубияном?!).

— Как вам нравится Одесса? — говорю. — Опять холера!

— Быть не может! — отвечает он.

Меня это задело: как это «быть не может»? Перечитываю ему телеграмму из Одессы, напечатанную в моей газете: «Вчера заболело холерой 230, умерло 160. Толмачев приказал вызвать к себе всех старост еврейских синагог...» — и так далее. Сосед выслушивает меня и отвечает: «А вот посмотрим...» И шмыг носом в свою газету. Меня это взорвало. «Что же вы думаете, говорю, в вашей газете другие телеграммы?» — «Кто его знает», — отвечает он сквозь зубы.

Это меня, разумеется, еще больше задело.

«А может быть, в вашей газете другая Одесса, другая холера и другой Толмачев?» — говорю я.

На это он мне ничего не отвечает, только усиленно ищет в своей газете телеграмму из Одессы. Поди поговори с таким бревном!

Нет! В дороге есть лучший способ убить время — карточки, «шестьдесят шесть».

Карты, вообще говоря, большой соблазн. Это вы, конечно, знаете. Но в дороге карты — спасение. В поезде перекинешься в карточки и не заметишь, как время пролетит. Разумеется, для этого нужна хорошая компания, иначе в беду попадешь, избави боже. Главное, не наскочить на шайку картежников, которые только и высматривают фраера, чтобы обобрать его как липку. Шулера обычно трудно отличить от порядочного человека. Напротив, эти молодчики выглядят большей частью невинными младенцами, прикидываются тихонями, составляют между собой «блат», горячатся при проигрыше, пока наконец не втянут вас в игру. Тогда они дают вам возможность выиграть и раз, и другой, и третий, а затем карта изменит вам, и вы начинаете проигрывать, и вот тогда вы готовы. Будьте уверены, вы уж не уйдете от них, пока не проиграете часов вместе с цепочкой, всего, что имеет какую-нибудь ценность! Вы чувствуете, что имеете дело с шайкой шулеров, и все же, как овечка, лезете прямо волку в пасть. О, я знаю этих молодцов! Я дорого заплачиваю за эту науку!.. Я мог бы рассказывать и рассказывать об этом. Когда поездишь с мое, есего наслушаешься...

Знаю я, например, историю с кассиром, который вез с собой чужие деньги — и крупные. Уселся он с такой компанией и продулся в пух и прах так, что даже выброситься из вагона собирался.

А вот история с одним молодым человеком из Варшавы, до этого он жил на хлебах у тестя, и все приданое теперь было при нем; спустил он его до копейки и тут же на месте грохнулся без чувств.

Знаю я еще историю со студентом, который ехал на праздники домой в Черниговскую губернию, вез с собой жалких несколько рублишек, добытых в поте лица летними уроками. Дома его ждала старуха мать и больная сестра.

Как видите, все эти истории имеют одинаковое начало и одинаковый конец, и никто не знает их так хорошо, как я. Меня теперь не проведешь. Дудки! Один раз обжегся — довольно. За версту я вам узнаю эту братию, сразу скажу, что это за птица. У меня уж такое правило: с незнакомыми в карты не играть. Озолотите меня, в дороге не сяду играть с компанией. Разве только вдвоем в «шестьдесят шесть». В «шестьдесят шесть», ах, с величайшим удовольствием! Вдвоем в «шестьдесят шесть» — пожалуйста, какая тут может быть опасность? Да к тому же — собственными картами, кого мне бояться? У меня всегда при себе колода карт. Как талес * и филактерии у доброго еврея, так у меня колода карт, простите за сравнение.

Признаюсь: люблю «шестьдесят шесть». «Шестьдесят шесть» — это еврейская игра. Не знаю, как вы, но я играю по-старому — с двадцатью и сорока. Девятка меняется. Есть взятка — могу крыть, — нет взятки — крыть не могу. Благородно, не правда ли? Так играют все евреи. Так мы играем дома, и так я играю в дороге. Что касается меня, то я могу засесть — в дороге, разумеется, — за «шестьдесят шесть» и просидеть так день и ночь, играть и играть без устали. Не люблю только, когда стоят за спиной и заглядывают мне в карты, не люблю, когда дают советы, как мне идти, крыть или не крыть. Еще скажу вам по совести, наши евреи, да простит мне господь, пренеприятный народ. При евреях трудно сыграть в «шестьдесят шесть»! Вас тотчас же окружают со всех сторон, начнут заглядывать вам в карты, давать советы, как пойти, и все они умеют играть в «шестьдесят шесть»! От них никуда не спрячешься, никак не избавишься. Ну, как мухи летом! Сколько их ни гони, как ни брани их: «Да кто вас, дядюшка, спрашивает?», «Послушайте, уважаемый, кто вас сюда

звал?», «Сударь, не торчите над головой, ведь несет от вас!..» — ничего не помогает, как об стену горох!

Из-за одного такого советчика случилась с нами однажды беда; мы еще счастливо отделались. Не могу удержаться, должен вам рассказать.

Это было зимой, и тоже в дороге, вагон был битком набит. Жарко, как в бане. Мест мало, а пассажиров, не сглазить бы, уйма. Как звезд на небе. Сидят голова к голове, негде иголке упасть. И тут мне бог посылает партнера, можно составить «шестьдесят шесть». Это был простой еврей, неразговорчивый, но его так же тянуло сыграть в «шестьдесят шесть», как и меня. Мы ищем место, где бы положить колоду карт, — но места нет, хоть умри! Тут господь пришел нам на помощь. Как раз напротив нас на другой скамейке растянулся монах в смушковом тулупе; лежит лицом вниз и дрыхнет. Храпит — дай ему бог здоровья — на весь вагон. Взглянул я на моего партнера, партнер — на меня, словно сговорились. А монах был жирный, гладкий, откормленный, тулуп мягкий, — сам бог велел на таком сыграть в «шестьдесят шесть». Не долго думая, разложили колоду карт у монаха на этом самом месте — и пошла игра.

Как сейчас помню, козырем были пики: у меня валет, дама, козырный король, туз трефей, король бубен. Шестая карта, шестая карта... забыл, не то валет червей, не то дама червей, — кажется, валет червей. А может быть, и дама червей. Впрочем, это не важно. Главное, у меня на руках прямо-таки божественные карты: чистых сорок, — верных три очка! Вопрос только в том, с какой карты пойдет мой партнер. «Сходи он с трефей, — думаю я, — вот был бы умница! Я бы его полюбил за это».

Так оно и вышло. Мой партнер думал, думал (господи боже мой, что он там придумает?) и пошел как раз с десятки трефей. Расцеловать бы его! Однако у меня такая манера, когда я играю в «шестьдесят шесть», не люблю пороть горячку, как другие. Лучше потихоньку да полегоньку! Времени хватит! Люблю иногда и позавбавиться. Тру лоб, делаю недовольное лицо. А что мне, пусть партнер радуется, пусть думает, что мои дела плохи... Но поди знай, что за спиной у тебя стоит какой-то еврей — стать бы ему столбом! — и заглядывает в твои карты, чтобы у него глаза повылазили! Увидев десятку трэф, он вырывает у меня из рук трефового

туза, бьет десятку и, ударив ладонью по колоде карт, лежащей на спине у монаха, как заорет:

— Крыто!

Десятью водами я от этого монаха отмыться потом не смог. Проклятья, которыми он нас осыпал, да обрушатся на его голову. Он угрожал, что на первой же станции сойдет и отправит телеграмму самому Пуришкевичу. Ну, что вы скажете?

Но не в этом суть. Я лишь, между прочим, хотел вам показать, что иногда приходится испытать в дороге такому заядлому игроку, как я, ради партии в «шестьдесят шесть». Сама же история, которую я хочу вам рассказать, только начинается. Послушайте-ка!

Дело было зимой, как раз в это время, в праздник хануки *, тоже в поезде. Ехал я в Одессу и вез с собой деньги, порядочную сумму, — дай бог нам обоим зарабатывать столько каждый месяц. У меня такое правило: если у меня при себе деньги в дороге, я не сплю. Правда, воров я не боюсь, потому что деньги я держу, видите где, вот здесь, в боковом кармане, в хорошем бумажнике, завязанном двумя тесемками. Никакой вор туда не доберется. Черта с два! Но все же в наше время... хулиганы, экспроприации. Кто его знает?.. Сiju я, значит, один, то есть не совсем один, есть еще пассажиры, но не евреи. Какое мне до них дело? Не с кем сыграть в «шестьдесят шесть»... И вот сiju это я, пригорюнившись, и мечтаю о партнере. Вдруг открывается дверь, — это было еще за много станций до Одессы, — и входят два пассажира. И, представьте себе, как раз наш брат — еврей. Я еврея сразу узнаю, пусть он хоть двадцать один раз оденется как настоящий русский и говорит не только по-русски, но даже по-турецки. Один из этих пассажиров был постарше, другой помоложе, и оба были в таких хороших шубах и хороших шапках, что просто загляденье! Поставили они чемоданы, и, сняв шубы и шапки, закурили — предложили и мне папиросу, — и разговорились. Сначала, как водится, по-русски, а потом по-еврейски. «Откуда едете, куда?» — «А вы куда едете?» — «В Одессу». — «И я в Одессу». Стало быть, все втроем едем в Одессу. То — другое, завязался разговор. «А знаете, какой у нас сегодня праздник?» — «Какой?» — «Неужто забыли? Ханука!» — «Ах, ханука! Да в хануку ведь сам бог велел в картишки перекинуться, в «шестьдесят

шесть!» — «Правильно!» Молодой человек встает, извлекает у старика из кармана колоду карт и говорит ему: «Папаша, в честь хануки — партию в «шестьдесят шесть».

Ага, значит, это — отец и сын! Интересно посмотреть, как отец с сыном играют в «шестьдесят шесть». Я бы и сам не прочь сыграть в «шестьдесят шесть», да ведь поддаваться соблазну нельзя. Достаточно и того, что я буду смотреть, как другие играют...

Перевернули чемодан, поставили его между колен и роздали карты. Итак, у отца первая рука, у сына вторая рука, играют в «шестьдесят шесть». Сижу в сторонке, заглядываю старику в карты. А старик, словно невзначай, спрашивает меня, играю ли я в «шестьдесят шесть». Я, конечно, рассмеялся: хорошее дело, я, можно сказать, сам игру эту выдумал, а он спрашивает, играю ли я в «шестьдесят шесть». И вот сижу я в сторонке и смотрю, как они оба, отец и сын, играют в «шестьдесят шесть». Смотрю — и едва сдерживаю себя: старый хрыч делает такие ходы, что можно помереть со смеху. Ну, представьте себе: у человека два козыря с девяткой — две большие пики и одна трефа, — пошел бы ты с трефой, прикупил бы еще козыря, чтобы иметь сорок, и, очень может быть, крыл бы игру. Нет, он пошел с младшей пики и остался, как болван, с голой десяткой пик! А сынок, сокровище это, прикрыл, разумеется, игру, козырнул раз и другой, как бог велел, забрал десятку пик, объявил «двадцать», и будьте здоровы. Три очка в кармане.

Ну и ходы у папаша!

В следующей партии он играл еще хуже, прямо возмутительно! Послушайте-ка: у человека есть уже шесть очков, только одного очка не хватает. А у партнера, то есть у сына, всего лишь два очка. На руках у старого хрена целых три козыря и «двадцать». И вот он кроет и не спешит отыграть поскорей козыри, — нет, он объявляет сразу «двадцать». Тогда партнер, то есть сын, забирает у него эти «двадцать» козырем и еще какой-то картой и сам объявляет «двадцать» — и три очка готовы! Меня это прямо взорвало: это называется сыграли в честь хануки! Нет, я больше не могу! «Простите, пожалуйста, — обращаюсь я к старому чудаку, — у меня правило не вмешиваться в чужую игру, но все же хотелось бы знать: какой смысл был в том, что вы прикрыли игру? Нет, вы скажите мне, какой у вас был расчет. В самом

деле, если у вашего партнера разные масти, то ведь ваше дело в шляпе. А вдруг у него золотая карта? Ну и пусть на здоровье! Чем вы тут рискуете — одним очком, но у вас их целых шесть, а у него только два! Нет, это прямо преступление!» Молчит старый пес, а сынок, наследничек, улыбается: «Да, папаша у меня, говорит, играет слабо, совсем слабо. Папа не умест играть в «шестьдесят шесть». — «Вашему папаше, — говорю я, — нельзя играть в «шестьдесят шесть». Разрешите-ка мне сыграть в «шестьдесят шесть!» Но это старое животное ни за что не хочет уступить и продолжает игру. И делает такие ходы, что можно лопнуть. С трудом удалось мне наконец упросить старого черта, чтобы он уступил мне место только на две-три партии. «Разрешите и мне, говорю, сделать доброе дело в честь хануки».

«Почем играем?» — спрашивает меня сынок. «Почем хотите». — «По одному?» — «Давайте по одному, но с условием, — говорю я шутя, — чтобы ваш папаша не заглядывал вам в карты и не давал, упаси боже, советов...» Расхотались мы тут все и стали играть. Сыграли одну партию, другую, третью. Везет мне невероятно, не сглазить бы. Мой партнер горячится. Он хочет, говорит, учетверить ставку. Хочешь учетверить — давай учетверим! И опять сел. Тут уже он вовсе разошелся — хочет играть на четвертную. Тогда выскакивает папаша, «праведник» этот, и заявляет, что он этого не допустит. Но сынок на него, конечно, нуль внимания, и мы сыграли на четвертную. Опять он проиграл. Старик чудак рассвирепел, вскочил с места, но сейчас же опять сел, заглядывает мне в карты, напевает и все шмыгает носом. А партнер мой горит, как в лихорадке. Чем больше он проигрывает, тем сильнее горячится, а чем сильнее горячится, тем больше проигрывает. Старый индюк вне себя. Он кричит, ругается, заглядывает мне в карты, напевает и все шмыгает носом. А сынок — умница эта — проигрывает партию за партией, прогорает вконец. «Клянусь жизнью, — говорит ему отец, — ты больше не играешь!» — «Папа, — умоляет его сын, — еще только одну партию, не больше, вот с места не встать мне, только одну!» — «Только одну партию, — говорю я старому мерзавцу, — разрешите ему еще одну...»

Словом, карты розданы, — ну, слава богу, он выиграл. Я и сам рад, что он выиграл. Но он, оказывается, желает сыграть еще одну партию. Ну, что же! Нельзя

ведь быть грубияном, когда он так проигрался... А после этой партии — еще одна, и еще одна, и еще одна. Что вам сказать, — счастье повернуло в его сторону. «Ну, — говорю я старому злодею, — почему вы теперь не ругаете своего наследника?» — «Я уж дома с ним посчитаюсь. Он меня попомнит!» — отвечает старый мошенник, а сам не перестает заглядывать мне в карты, напевать, покашливать и шмыгать носом. Мне с самого начала не понравилось его заглядывание в карты, пение, покашливание и шмыганье носом. Но куда карта шла, я не придавал этому значения. «Пой себе, кашляй, шмыгай носом!» Теперь же, когда счастье повернулось ко мне спиной, я стал прислушиваться к этому пению, кашлю и шмыганью, нет ли здесь какого-нибудь подвоха. Тем временем карты опять розданы. Я все проигрываю и проигрываю. То и дело отхожу в сторону, отстегиваю боковой карман и вытаскиваю сторублевку за сторублевкой. Плохо дело, уже светает. Вдруг старый бандит хватает меня за руку. «Клянусь, — говорит он, — я вам не дам больше играть; ведь это ваши последние сто рублей!» Я, понятно, вскипел: «Откуда вы знаете, что последние?..» И ему назло ставлю целую сотню.

Лишь когда я спустил все до нитки и остался чистеньким, голеньким, как мать родила, так что больше ставить на карту было нечего, а партнер застегнулся на все пуговицы (щечки у него раскраснелись), только тогда я стал осматриваться — на каком же это я свете. Сердце мое чувало, что я попал в болото, запутался в сетях. Мне уже сдавалось, что отец — вовсе не отец, и сын — не сын. Подозрительными показались мне взгляды, которыми они обменивались, не понравилось мне также, как сынок встал, отошел в сторону и как пошел за ним отец. Старик как будто шепнул что-то молодому, а молодой, я готов поклясться, что-то сунул старику в руку...

Первая моя мысль была: «Не выброситься ли мне из окна?» Но потом я подумал: «Нет, лучше уж им нож в горло или пулю в сердце, а не то просто броситься на них, схватить за глотку и душить, душить». Но что тут поделаешь, когда я один, а их двое? А поезд все идет, колеса стучат, голова у меня кружится, в груди огонь... Что теперь будет? Не успеешь оглянуться, и мы уже в Одессе. Что я буду делать? Куда пойду? Что скажу?.. Смотрю, мои молодчики берутся за чемоданы. «Где

мы?» — «В городе, именуемом Одессой», — говорят они. Хватаюсь за карман — даже носильщику нечем заплатить! Меня холодный пот прошиб. Слезы навернулись на глаза, руки затряслись. Подхожу к старому живодеу. «У меня к вам, говорю, просьба. Хоть двадцать пять рублей...» — «Почему же вы обращаетесь ко мне? Попросите у него!» — отвечает старый разбойник, показывая на молодого. А молодой жулик покручивает усы, делает вид, что не слышит. Паровоз свистит. Стоп — мы в Одессе. Вы уже сами понимаете, что первым из вагона выскочил я. И крик там поднял тоже я. Я кричал, что было сил: «Жандарм! Жандарм!» Не прошло и секунды, как предо мной вырос жандарм, потом еще два жандарма да еще три жандарма. Однако младший негодяй уже успел смыться, осталась только старая развалина, которого я крепко-крепко держал за руку, чтобы он не убежал. Ну, конечно, со всего вокзала сбежался народ, настоящее столпотворение! Пригласили нас обоих в отдельную комнату. Там я рассказал всю историю с начала до конца. Не пожалел и слез, излил всю душу. Мой рассказ, должно быть, всех тронул, и на старого фокусника сразу же насели, чтобы он выложил всю правду! Но где там! Он, оказывается, ничего знать не знает и ведать не ведает. Я не я и лошадь не моя! Что за «шестьдесят шесть»? Какие карты? Какой сын? У него сына никогда и не было. «Этот человек не в своем уме», — говорит старый плут и показывает на голову, что я, мол, не совсем здоров... «Ах, вот как, — говорю я. — Тогда попробуйте его хорошенько обыскать». И вот взяли его и раздели, простите, догола — нету ни карт, ни денег. Всего-то у него оказалось наличными двадцать два рубля и семьдесят копеек. И выглядел он таким несчастным, таким невинным агнцем, что я уже и сам начал сомневаться, в своем ли я уме. Может, мне приснилось, что они отец и сын, что я играл с ними в «шестьдесят шесть» и спустил целое состояние? Чем все это кончилось? Не спрашивайте. Давайте лучше, чтобы разогнать мрачные мысли, сыграем партию в «шестьдесят шесть», в честь ха-нуки...

Так закончил свой рассказ пассажир — весьма приличный человек, может быть такой же коммивояжер, как и я, а то и купец. И вот уже колода карт у него в руках, и он уже тасует их, кому ходить первому. «Почем играем?»

Смотрю я на этого субъекта — что-то уж очень ловко он тасует карты, чересчур ловко и быстро. И очень уж у него белые руки, слишком белые и холеные. И недобрая мысль мелькает вдруг у меня в голове.

— С удовольствием, — говорю я, — сыграл бы с вами партию в «шестьдесят шесть» в честь хануки, но я, право, не знаю, с чем это едят. Что это, собственно, такое, «шестьдесят шесть»?

Мой собеседник посмотрел мне прямо в глаза, едва заметно улыбнулся и, вздохнув, без звука опустил карты обратно в карман.

На первой же остановке его не стало. Я не поленился обойти два раза все вагоны из конца в конец, но его и след простыл.

Конец рассказа № 11.



РАССКАЗ № 12

Гимназия

Зима. Напротив меня сидит человек средних лет. Рыжеватая бородка серебрится проседью. Бобровая шуба не первой свежести.

Разговорились...

— Самый заклятый враг, знаете, — обращается он ко мне, — не сделает вам того, что сам себе человек может натворить! Особенно, если в дело вмешается женщина, то есть жена...

О ком я, думаете, говорю? О себе самом. Взять, к примеру, меня... Кажалось бы, если взглянуть со стороны, — человек как человек, на носу у меня не написано, имею я деньги или не имею... А вдруг я и вовсе ко дну пошел! Возможно, что в свое время я и был при деньгах, но дело не только в них, деньги — ерунда! Дело в зарботке — почетном и спокойном. Я не из тех, что

шумят, гремят, как некоторые другие, которые любят фи-фу-фа!.. Нет!.. Я придерживаюсь того мнения, что лучше, когда все идет тихо, чинно... Я тихо и чинно торговал, несколько раз тихо и чинно объявлял себя банкротом, без лишнего шума улаживал свои дела с кредиторами, а потом снова помаленечку да потихонечку приступал к делу. Есть, однако, господь на небе, — вот он и осчастливил меня, наградил супругой... (Ее здесь нет, и, стало быть, можно говорить откровенно.) Жена, в сущности, такая же как и все жены. На вид очень даже «ничего себе»: особа, не сглазить бы, раза в два крупнее меня, недурна собой, красавица, можно сказать! Неглупа, умница, собственно говоря, мужская голова на плечах... Но вот это как раз и есть главный недостаток! Беда, говорят, тому, у кого жена за мужчиной в дому! Будь хоть тысячу раз умна! А все-таки господь создал раньше Адама и только потом — Еву...

Поговорите, однако, с ней, — она на это отвечает:

— То, что бог создал раньше вас, а потом нас, — это его дело. Но в том, что у меня по его милости в пятке больше ума, нежели у тебя в голове, я не виновата!

— Это ты, — спрашиваю, — к чему говоришь?

— А к тому и говорю, что обо всем у меня должна голова сохнуть. Даже и о том, чтобы сына в гимназию определить, обязана думать я.

— А где это, собственно, сказано, что непременно в гимназию? По мне, он всю эту премудрость может и дома одолеть.

— Я тебе уже тысячу раз говорила, — отвечает она, — что тебе не удастся заставить меня жить наперекор всему свету! Нынче такая мода: дети должны обучаться в гимназии!

— По моему разумению, — говорю я, — твой свет попросту с ума спятил!

— Если бы весь свет жил по твоему разумению, — отвечает она, — хорошо бы он выглядел!

— Каждый поступает по своему разумению...

— Моим врагам и врагам моих друзей, — говорит она, — иметь бы столько в кармане, в сундуке и в шкафу, сколько у тебя этого самого «разумения» в голове!

— Горе, — отвечаю, — тому мужчине, о котором судит женщина!

— Горе, — огрызается она, — женщине, имеющей мужа, о котором женщина должна судить!

Вот и столкнись с женой! Вы ей про Авраама, а она вам про Адама. Скажешь ей слово, а она вам двенадцать сдачи. Попробуешь отмолчаться, а она как расплачется... А не то возьмет и шлепнется, извините за выражение, в обморок!.. Тут уж я вам и вовсе не завидую! Словом, вы же понимаете, что в конце концов поставила на своем она! Давайте говорить начистоту: если она чего-нибудь захочет, так уж тут никакие отговорки не помогут!

В общем, что тут рассказывать! Началась канитель — гимназия! Нужно, стало быть, готовить мальчишку в «младший приготовительный»! Шутка ли, «младший приготовительный»! Такая премудрость! Казалось бы, самый ледащий мальчишка в хедере, карапуз, и тот всех их трижды за пояс заткнет! А тем более такой, как у меня: всю империю изъездишь — другого такого не найдешь! Конечно, я отец... Но у него голова на плечах — единственная на всем свете!

Короче говоря, мальчик пошел, держал экзамен и... не выдержал! В чем дело? Получил двойку по арифметике: слабоват, говорят они, в счете, в математике то есть...

Как вам нравится такая история? У парнишки, можно сказать, голова одна на всю империю, а они мне байки рассказывают: «математика»!

Однако факт — не выдержал! Досадно, конечно! Уж если пошел держать, пускай бы лучше выдержал. Но ведь я же не женщина, я, как мужчина, подумал: «Ко всем чертям! Нашему брату не привыкать стать...»

Но подите поговорите с моей женой, когда та вбила себе в голову: «Гимназия!» — и ничего больше знать не хочет.

— Скажи мне, — пробую я убедить ее, — голубушка, на что это тебе? Для заработка ему гимназия нужна, как собаке пятая нога; а чем плохо, если он будет лавочником, как и я, или таким же купцом, как другие? А ежели ему, упаси бог, суждено быть богачом или банкиром, — я тоже горевать не стану!

Но — говорите со стенкой! Она не слушает и толкует о своем:

— Пожалуй, даже лучше, что он не попал в младший приготовительный.

— Почему?

— Так! — отвечает она. — Сразу пойдет в старший приготовительный!

Ну что ж, пускай будет старший приготовительный. Подумаешь, какая важность, когда у мальчугана голова — одна на всю империю...

Чем же это кончилось? Когда дошло до дела — снова двойка! Правда, на этот раз не из-за математики... Новое несчастье: правописание хромает. То есть пишет он вообще как полагается, но на одну букву малость прихрамывает — на букву «ять»! Ставить это самое «ять» он ставит. Почему его не ставить? Беда только, говорят они, что он ставит его не там, где надо...

Понимаете, какое несчастье? Прямо-таки не знаю, как я буду ездить в Полтаву или в Лодзь на ярмарку, если сын мой будет ставить букву «ять» не там, где им нравится!

Словом, когда нам сообщили эту добрую весть, жена моя стала землю носом рыть: бегала к директору, убеждала, уговаривала, клялась, что мальчик знает, умеет, может... Пусть его вызовут, пусть переэкзаменуют, пусть спросят снова... Но кто станет ее слушать? Вкатили двойку, да еще какую двойку — с минусом! И делай что хочешь!

Шум, крик:

— Помилуйте! Опять не выдержал!

— Ну, что же делать? — говорю я. — Жизни, что ли, решиться по этому случаю? Нам не привыкать стать...

Тогда она вспыхивает, начинает горячиться, ругаться, проклинать, как «они» умеют. Но уж это куда ни шло! Его, беднягу, жалко! Малыша! Прямо-таки душа болит! Помилуйте, такое горе: все вырядятся в белые пуговицы, а он нет...

— Глупенький! — говорю я ему. — Дурачок! Разве могут быть все на свете приняты? Должен же кто-нибудь и дома оставаться...

Тут налетает на меня жена:

— Утешитель нашелся! Кто тебя просит успокаивать мальчика такими умными речами? Позаботился бы лучше о том, чтобы найти для него хорошего учителя, специально по русскому языку, по грамматике!..

Слыхали разговор? Значит, я уже двух учителей должен держать! Одного учителя, не считая меламеда, мало! Словом, говори не говори, а поставила на своем, конечно, она, а не я. Уж если она так захотела, значит, никаких отговорок...

В общем, что тут рассказывать? Наняли нового учителя, русского (не еврея, упаси бог, — фи!), настоящего русского, потому что грамматика для поступления в пер-

вый класс — это горше хрена! Шутка ли, грам-ма-ти-ка! Буква — «ять»! И чего только не натерпелись мы от этого богом данного учителя! Даже рассказывать совестно! Он всех нас с грязью смешивал, смеялся прямо в лицо! Например, когда нужно было учить с мальчиком грамматику, он ничего, кроме чеснока, выискать не мог: «чеснок», «чеснока», «чесноку», «чеснокою»... Черт бы его взял! Если бы не жена, взял бы я его за шиворот и вышвырнул бы за дверь ко всем чертям собачьим вместе с его хваленой грамматикой! Но ей все ладно: зато мальчик будет знать, где ставить букву «ять», а где не ставить.

Можете себе представить, что ребенка основательно помучили всю зиму, и весной ему опять нужно было идти на заклатие.

Пришла весна, он пошел, держал и принес уже не двойку, а четверку и пятерку! Радость! Ликование! Поздравляю!

Впрочем, не торопитесь с поздравлениями: еще неизвестно, принят ли он, об этом мы узнаем только в августе. Почему не сейчас? Подите спросите их. Но что поделаешь? Нам не привыкать стать...

Наступил август. Вижу — моя места себе не находит, бегаёт от инспектора к директору, от директора к инспектору.

— В чем дело? — спрашиваю. — Чего это ты носишься, как затравленная мышь, от Шмуни до Буни?..

— Что значит «чего»? Ты что — с луны свалился? Не знаешь, что по нынешним временам творится в гимназиях с процентами?..

И действительно! Оказывается, не приняли! Почему? Потому, что не две пятерки. Если бы он получил две пятерки, он, может быть, был бы принят! Понимаете, — «может быть»! Как вам это нравится?

Я уже не говорю о том, какую сцену закатила мне жена. Но малыша мне жаль! Лежит, бедняга, уткнувшись лицом в подушку, и, не переставая, плачет.

Долго ли, коротко ли, — пришлось взять нового учителя, студента из той же гимназии, и стали готовить мальчика уже во второй класс, но по-другому, потому что второй класс — это дело не шуточное. Тут уже требуется, помимо математики и грамматики, и география, и чистописание, и сам не знаю, что еще!.. Хотя, с другой стороны, все это гроша ломаного не стоит! Уверю вас, что любой трактат Талмуда труднее всех этих наук, а мо-

жет быть, и заковыристее... Но что прикажете делать? Наш брат привык...

И вот началась возня с уроками: только встал — за уроки! Помолился, закусил — за уроки; весь день — уроки. До поздней ночи только и слышишь, как он тарабанил: «именительный — дательный», «сложительный — вычитательный». В ушах трещит... Где там кушать? Какой там сон? Взяли, говорю, ни в чем не повинную душу и мучают ни за что ни про что!

— Ребенка, — говорю, — пожалейте! Как бы он не захворал!

— Типун тебе на язык! — отвечает она.

Короче говоря, он снова пошел на заклятие и принес круглые пятерки! Да и что удивительного? У него голова — одна на всю империю!..

Казалось бы, все хорошо? Не правда ли? И тем не менее, когда вывесили списки принятых, оказалось, что моего среди них нет!

Шум, крик: «Как же так? Разбой! Круглые пятерки!!!» Вот она пойдет, вот она побежит, вот она их и так и этак!..

Словом, она и ходила и бегала — и добежалась до того, что ее попросили не морочить голову. А когда ее прогнали, она ввалилась в дом и подняла крик до самого неба:

— Что ж это значит? Какой же ты отец? Был бы ты настоящим отцом, преданным, любящим, как другие, — искал бы какие-нибудь пути к директору, знакомства, связи!..

Как вам нравится такая бабья выдумка? Мало того что у меня мозги сохнут от своих дел, что голова у меня вечно занята сезонами и ярмарками, квитанциями и векселями, протестами и прочими несчастьями! Уж не хочешь ли ты, чтобы я обанкротился из-за твоей гимназии и твоих классов, которые у меня уже вот где сидят?

Ведь мы же, как говорится, всего только люди, а у каждого человека есть желчь. Нет-нет да и выпалишь... Но поставила на своем, конечно, она, а не я, потому что раз она захотела, стало быть, никаких отговорок...

В общем, что тут рассказывать? Я начал искать протекции, знакомства. Я унижался, терпел позор, потому что каждый спрашивает, — и правильно спрашивает! — в чем дело. Ведь вы же, реб Арн, говорят они, человек состоятельный, имеете всего-навсего одного-единствен-

ного сынишку... Куда же вас нелегкая носит? Что заставляет вас соваться с ним, куда не следует?.. Поди расскажи им, что есть у меня супруга, — жить бы ей до ста двадцати лет! — которая втемяшила себе в башку: «Гимназия, гимназия и гимназия!»

Однако и сам я, как видите, не из тех, кого за ручку водят: проторил-таки себе, с божьей помощью, дорожку куда следует, пробился к самому хозяину, то есть к директору в кабинет, и сел с ним толковать: так, мол, и так. С начальством я, слава тебе господи, говорить умею, за язык тянуть меня не надо.

— Что вам угодно? — спрашивает он и просит присесть.

— Господин директор, — говорю я ему тихо, на ухо, — мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться, и я хочу, а моя жена очень хочет!

— Что вам угодно? — спрашивает он снова.

Я подсел поближе и повторяю:

— Дорогой господин директор! Мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться, и я хочу! Но моя жена очень хочет!..

При этом я нажимаю на «очень», чтобы он понял... Но голова у него тупая, и он никак в толк не возьмет, чего я хочу.

— Так что же вам угодно? — спрашивает он уже сердито.

Тогда я осторожно сунул руку в карман, осторожно достал и говорю потихоньку:

— Извините, господин директор, мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться. И я хочу. Но моя жена *очень* хочет!

И еще сильнее нажимаю на «очень» и сую ему...

Словом, клюнуло! Он понял, в чем дело, достал какую-то книжечку и стал расспрашивать, как зовут меня, как зовут сына и в который класс я намерен его определить.

«Вот так и говори!» — думаю я и выкладываю: зовут меня Кац, Арн Кац, а сына звать Мойше, то есть Мошко, а определить его я хочу в третий класс. Тогда он мне отвечает: коль скоро меня зовут Кац, а сына звать Мойше, то есть Мошко, и поступить он хочет в третий класс, то я его должен привести в январе, и

тогда он, наверное, будет принят. Понимаете? Совсем другой разговор! Не подмажешь — не поедешь!.. Нехорошо, правда, что не сейчас. Но что поделаешь? Велят ждать — надо ждать. Нам не привыкать стать...

Наступил январь. Снова началась кутерьма, беготня туда и сюда: не сегодня-завтра должно состояться собрание, совет то есть. Соберутся директор, инспектор и все учителя гимназии, и лишь после собрания, после совета, будет известно, принят он или нет. В доме все вверх дном: жены нет, обеда нет, самовара нет, ничего нет! Где же она, жена моя? В гимназии! Вернее, не в гимназии, а возле гимназии: бродит с самого утра на холоде, ждет, когда будут расходиться с собрания, то есть с совета.

Мороз трещит, вьюга на дворе рвет и мечет, а она топчется на улице и ждет! Интересная история! Знаешь, кажется, — раз обещано, значит — свято! Тем более... Понимаете? Но попробуйте поговорите с женщиной! Ждет час, другой, третий, четвертый... Все ребята уже по домам разошлись, а она все еще ждет. В общем, ждала, ждала и дождалась: отворились двери и выходит один из учителей. Она подскочила к нему и спрашивает, не знает ли он, чем кончилось собрание, то есть совет. «Почему же мне не знать? — говорит он. — Принято всего восемьдесят пять человек — восемьдесят три русских и двое евреев». Кто именно? Одного зовут Шепсельзон, а другого — Кац!

Услыхав фамилию Кац, моя благоверная стремглав прилетела домой с радостной вестью:

— Поздравляю! Слава тебе господи! Благодарю тебя! Принят! Принят!

А у самой слезы на глазах.

Мне, конечно, это тоже приятно, но плясать по этому поводу я не нанимался, — на то я мужчина, не баба...

— Для тебя, вижу я, — говорит она, — это не такая уж большая радость?

— Из чего, собственно, ты это заключаешь?

— Ты вообще, — отвечает она, — не из горячих. Если бы ты знал, как ребенок волнуется, ты не сидел бы сложа руки! Давно бы уже позаботился о мундирчике, о фуражке и ранце, устроил бы вечеринку для друзей и знакомых...

— С чего это вдруг вечеринку? Что это — бармицве или помолвка? — говорю я спокойно, как подобает мужчине.

Тогда она вспылила и перестала разговаривать. А когда жена перестает разговаривать, то это в тысячу раз хуже руготни и проклятий. Потому что когда она прокликает, так хоть голос человеческий слышишь, а так... поди поговори со стенкой! Словом, о чем тут гадать? Поставила на своем, конечно, она, а не я, потому что раз она захотела, значит — никаких отговорок...

Закатили вечеринку, созвали родных и знакомых, мальчишку нарядили в прекрасный мундир с белыми пуговицами, в фуражку с финтифлюшкой на околышке — губернатор, да и только!

Его, малыша моего, бедняжку, прямо-таки ошастливили, будто новую душу в него вдохнули, оживили. Он сиял, говорю я вам, точно солнышко в июне! Гости пили и выражали пожелания: «Пусть учится на здоровье, пусть гимназию окончит и двигается дальше и дальше...»

— Ну, — говорю я, — это вовсе не обязательно... Окончит несколько классов, а там я его, бог даст, женю, с божьей помощью...

А жена ухмыляется и смотрит на меня во все глаза.

— Скажите ему, — говорит она, — что он жестоко ошибается: он все еще живет по старинке...

— Скажите ей, — отвечаю я, — дай мне бог столько добра, насколько старый порядок был лучше нынешнего...

— Скажите ему, — снова говорит она, — что он, да простит он мне...

Гости смеются.

— Ох, реб Ари, — говорят они, — жена у вас, не слазить бы! Казак, а не жена!..

Тем временем хватили по рюмочке, нализались, и так основательно, что пустились в пляс. Устроили круг, взяли за руки, мальчика поставили посередине и прыгали, можете себе представить, до самого белого дня. Утром пошли мы с ним туда. Пришли, конечно, ни свет ни заря. Ворота и двери на запоре, как говорится, ни одной бешеной собаки в бабьей молельне... Постояли на улице и основательно продрогли на морозе. Прямо-таки ожили, когда отворили двери и нас наконец-то впустили в помещение. Вскоре начали собираться ребяташки с сумками и ранцами на плечах: шум, гам, гомон, смех — столпотворение.

Между тем подходит к нам некто с золотыми пуговицами, видимо учитель, с листом бумаги в руке и спра-

шивает, что мне нужно. Я указываю на своего парнишку, — привел, мол, учиться в хедер, то бишь в гимназию.

— В который класс? — спрашивает он.

— В третий, — отвечаю. — Недавно принят.

— Как его звать?

— Кац. Мойше Кац, то есть — Мошко Кац.

— Мошко Кац? — говорит он. — Такого у меня в третьем классе нет. Есть Кац, но не Мошко, а Мордух...

— Какой Мордух? — спрашиваю. — Мошко, а не Мордух!

А он мне: «Мордух!» — и тычет мне в лицо свою бумагу.

Я ему снова — «Мошко», а он мне «Мордух»! Словом, «Мошко — Мордух», «Мордух — Мошко»... «Мошховали» мы и «мордуховали» до тех пор, пока не выяснилось... Замечательная история: то, что полагалось мне, досталось другому! Понимаете, какая штука? Ошибка, вот и все. Приняли действительно Каца, но по ошибке — другого, не нашего! В городе у нас имеются две кошки... *

Что вам сказать? Нужно было видеть горе мальчика, когда ему пришлось снять финтифлюшку с фуражки! Ни одна невеста перед венцом столько слез не пролила, сколько в тот день пролил мой сынишка! Уж я и утешал его, и грозился...

— Видишь? — сказал я жене. — Видишь, что ты натворила? Не говорил я тебе, что твоя гимназия для него зарез? Дал бы бог, чтобы все обошлось благополучно, чтобы ребенок не расхворался...

— Пусть мои враги хворают, если им так хочется! Мой ребенок обязательно должен попасть в гимназию! Если не в нынешнем году, так в будущем, если не здесь, так в другом городе! Но попасть он должен! Разве что я закрою глаза и уйду в могилу!

Слыхали разговор? И как вы думаете, кто поставил на своем? Я или она? Не будем себя обманывать: если она чего захотела, так уж тут никаких стговорок!

В общем, не буду больше растягивать, — повозился-таки я со своим сыном, весь свет из конца в конец изъездили, во всех городах, где только есть гимназии, побывали, всюду держали, всюду выдерживали, и хорошо выдерживали, и нигде не попадали! Из-за чего? Из-за процентов!

Можете мне поверить, я сам на себя в то время смотрел, как на сумасшедшего: «Дурень! В чем дело?»

Чего это ты посишься из одного города в другой? На какого лешего тебе это нужно? Ну, а если он поступит, что тогда будет?» Нет, говорите что хотите, но настойчивость — великое дело! Меня и самого захватило нечто вроде азарта! И господь сжалился надо мной, наскочил я где-то в Польше на какую-то гимназию — «коммерческую», в которой принимают поровну евреев и неевреев, то есть пятьдесят процентов. Но с тем, однако, что каждый еврей, который желает определить своего ребенка, должен привести одного русского ученика. И если этот русский ученик выдержит экзамены и за него будет внесена плата, то есть «правоучение», тогда есть кое-какая надежда... Иначе говоря, вместо одного узла надо таскать два... Понимаете? Мало того что мозги сохнут за своего, я должен еще морочить себе голову за другого, потому что если, упаси бог, провалится «Исав», так ведь и «Иаков» * летит в тартарары! И действительно! Покуда я отыскал какого-то сапожника по фамилии Холява, у меня глаза на лоб вылезли! А когда дошло до дела, мой Холява, думаете, не провалился, как Койрах? * И как раз по закону божьему! Словом, мой вынужден был собственной персоной засесть и зубрить с ним закон божий... Спросите, какое отношение имеет мой сын к закону божьему? Но об этом спрашивать нечего: у него голова — одна на всю империю! О чем же тут говорить!

Короче говоря, господь помог, наступил добрый, счастливый час: оба приняты! Думаете, теперь уже все? Пришла пора записаться и получить квитанцию, а моего Холявы нет! В чем дело? Отец, видите ли, не желает, чтобы его сын находился среди стольких евреев! Хоть режь его! Он говорит: на что это ему, когда перед ним и так все двери открыты и он может пойти куда хочет? Извольте доказать ему, что он не прав! «Чего же ты хочешь, пане Холява?» — спрашиваю я. «Ничего!» — отвечает он. Словом, нашлись добрые люди, затащили его в трактир, выпили с ним по рюмочке, да по другой, да по третьей... В общем, пока сын попал наконец в гимназию, пришлось-таки натерпеться. Но, слава тебе господи, я произнес молитву: «Благословен еси, что избавил меня...»

Приезжаю домой — новое несчастье! Что еще? Жена думала, думала и надумала: помилуйте, один-единственный сын, один глаз во лбу, и будет он где-то там, а она здесь? Для чего же ей тогда жить?

— Чего же ты, собственно, хочешь?

— Не знаешь, чего я хочу? Хочу, — говорит, — быть с ним!

— А как же дом?

— Дом, — говорит, — домом!

Что на это можно было ответить? Словом, она села и поехала с ним туда, а я остался один во всем доме. Да и какой же это дом? Таковую бы жизнь моим врагам! И жизнь не в жизнь, и дела пошли кувырком. Все пошло прахом, а мы только и делаем, что письма пишем: я пишу ей, она отвечает, туда письма, сюда письма... «Привет дорогой супруге...» — «Привет дорогому супругу». — «Ради бога, — пишу я ей, — чем это кончится? Ведь мы же всего только люди! Без хозяйки, прости господи...» Словом, помогло мне все это, как прошлогодний снег. Поставила на своем, конечно, она: уж если она захотела, значит — никаких отговорок...

Кончаю, в общем... Я все сломал, все разорил, с делом покончил, распродал все, превратился в нищего и перебрался туда, к ним. Приехал на место, стал приглядываться, принимаиваться, искать... Кое-как, с трудом, выбился, наткнулся на компаньона — купца, очень как будто бы порядочного человека... Да! Человек самостоятельный, в Варшаве на Налевках у него дело, староста в синагоге... Но по существу — аферист, жулик, карманник! Чуть не погубил меня. Сами понимаете, чем голова у меня была занята.

Между тем прихожу однажды домой, а сын меня встречает какой-то странный, чего-то краснеет, а фуражка без финтифлюшки.

— Скажи-ка, — обращаюсь я к нему, — Мойшеле, а где же твоя цацка?

— Какая цацка?

— Ну, бляха!

— Какая бляха?

— Которая на фуражке. Ведь только на праздники купили фуражку с новенькой блямбой...

Еще пуще покраснел мой парень и отвечает:

— Снял...

— Что значит «снял»? — спрашиваю я.

— Я свободен! — говорит.

— Что значит — ты «свободен»?

— А мы все свободны... — отвечает он.

— Что значит — вы «все свободны»?

— Мы уже не ходим...

— Что значит — «мы уже не ходим»?

— Мы сговорились, чтобы больше не ходить... — отвечает он.

— То есть как это, — спрашиваю, — «сговорились»? Что еще за сговоры? Ради этого я положил столько трудов и денег? Собою жертвовал ради тебя, чтобы ты потом «сговаривался»? Горе тебе, и мне, и всем нам! Хоть бы обошлось все это и нас миновало, потому что всегда ведь и за все мы в ответе!..

Говорю я все это и начинаю горячиться, мораль читать, как обыкновенно отец с детьми разговаривает... Но ведь имеется еще и жена, дай ей бог долгие годы! Прибежала и обрушилась на меня: я, мол, уже выдохся, понятия не имею о том, что на белом свете творится... Жизнь, говорит, нынче стала иной, умнее прежнего, наступили времена свободы, равенства, нет больше богатых и бедных, господ и рабов, кончились овечки и стригуны, ушли в прошлое и собачка-гав, и кошка-царапка, и мышка-кусачка...

— Те-те-те! — говорю я. — Откуда у тебя, супруга моя дорогая, такие странные речи? Новый какой-то язык, новые слова... Может быть, ты бы и кур выпустила из клетки: «Киш-киш на свободу»?

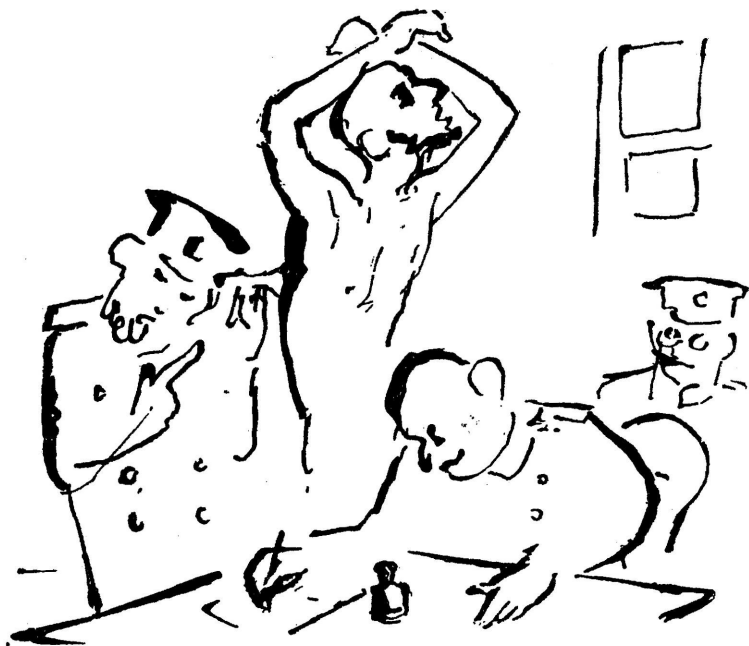
Вспыхнула она, будто я на нее десять ведер кипятку вылил, и — пошла, да так, как они умеют... Ну, ничего не попишешь, надо выслушать всю речь до конца, да вот беда — конца как раз и не видать...

— Знаешь что? — говорю я. — Довольно! Хватит! Каюсь: виноват, согрешил, и конечно, и пусть будет тихо!

Но она ничего слушать не хочет.

— Нет, — говорит она, — мне хочется знать, почему отчего, как же это так, мыслимо ли это, возможно ли, что это значит, как это могло случиться, и опять-таки и снова...
.....
.....
.....

— Скажите на милость, кто это выдумал... жену?



РАССКАЗ № 13

С призыва

— Откуда я еду? — обратился ко мне высокий, толстый бородатый человек в плисовом картузе. Он только что кончил молитву и складывал свои талес и тефилн. — Откуда я еду? Ох, горе мое горькое, из воинского присутствия. Вот этот молодой человек, что растянулся на скамье, — мой сын. Едем мы с ним из Егупца, с адвокатами советовались, а заодно и у профессоров побывали — послушать, что они скажут. Ох, и наградил же меня господь! Четыре раза призывался, а конца все еще не видно... А сын — один-единственный, настоящий, безусловный, чистый перворазрядник... Что вы на меня уставились? Удивляетесь? А вот послушайте.

История этого происшествия... Тут вот какая вышла оказия. Сам я межеричанин, из Межерича. То есть уроженец я, как говорят, Мазеповский, а приписан в Воро-

тиловке. Когда-то, не теперь будь сказано, я жил в Воротиловке, а теперь живу в Межериче. Кто я такой и как меня зовут, вам, я думаю, безразлично. Но имя моего сына я должен вам сообщить, потому что это имеет отношение к делу, и не малое! Имя его Ицик, то есть Авром-Ицхок, но зовут его Алтер *. Это жена, дай бог ей здоровья, так назвала его, потому что он у нас один-единственный и дрожим мы над ним... Был у нас, собственно, еще один сын, моложе этого года на полтора. Звали его Айзик. Но с ним случилась беда: в детстве его однажды оставили одного в доме (я тогда, не теперь будь сказано, жил еще в Воротиловке), а он подобрался к кипящему самовару, опрокинул его на себя и ошпарился насмерть! С тех пор Ицик, то есть Авром-Ицхок, остался у нас один, и жена дала ему еще одно имя — Алтер.

Вы, пожалуй, спросите: как же так? Один-единственный сын, — какое же отношение он имеет к воинской повинности? В том-то и дело, это-то и досадно! И может быть, вы думаете, что он, упаси бог, здоровенный парень, как это бывает с теми, что растут в роскоши? Ошибаетесь! Вы за него и ломаного гроша не дадите. Дохлятина! Квелый! Он, правда, не больной, но и здоровым его никак назвать нельзя! Жаль, он сейчас спит, я не хочу его будить. Вот проснется, тогда увидите, что это за фигура: кожа да кости, долговязый, тощий, лицо с фигу, вобла, а вытянуло его, как жердь... Весь в нес, в жену то есть, та тоже высокая да тощая, субтильная то есть... Вот я и спрашиваю: приходилось ли мне думать о солдатчине, когда он явно не годен и, кроме того, имеет льготу первого разряда?

Однако подошло время призыва, и — где там «льгота», какая, к шуту, льгота? Ничего подобного! В чем дело? А очень просто: второго мальчика, Айзика, который в детстве, не про вас будь сказано, ошпарился самоваром, видимо, забыли вычеркнуть из метрических записей. Я, разумеется, кинулся к нашему казенному равнину *, к этому болвану, и обрушился на него:

— Разбойник! Злодей! Что вы со мной сделали? Почему не вычеркнули Айзика?

— А кто такой был Айзик? — спрашивает меня этот дурень.

— То есть как это? Вы не знаете, кто такой Айзик? Мой сын, тот самый, который опрокинул на себя самовар?

— Какой самовар?

— Здравствуйте пожалуйста! Откуда вы свалились? Ну и голова у вас! На такой башке хорошо орехи щелкать!.. Кто же не помнит историю с моим Айзиком, который ошпарился? Не понимаю, какой же вы казенный раввин? Религиозных казусов вы не решаете, — на то у нас есть духовный раввин, да продлятся годы его! Казалось бы, могли бы вы взять на себя хотя бы наблюдение за покойниками! Иначе на что вы здесь вообще нужны с вашей таксой?..

И что же в конце концов оказалось? Зря обругал я раввина, потому что история с самоваром случилась не в Межериче, ведь это же было, когда я, не теперь будь сказано, жил в Воротиловке. Понимаете, какое дело? Ну, просто выскочило из головы!

Короче говоря, что тут долго рассказывать, — покуда я возился со всякими бумагами, мой Авром-Ицхок, то есть Ицик, которого зовут Алтер, потерял свою льготу! Нет больше льготы!

Нет льготы? Беда! Крик, шум... Как же так? Единственный сын, настоящий, безусловный, чистый перво-разрядник — и без всякой льготы! Но что уж тут, — пиши пропало!

Однако велик наш бог! Пошел мой Алтер, то есть Ицик, и вытащил по жеребьевке самый крупный номер — шестьсот девяносто девять! Все воинское присутствие так и ахнуло. Сам «принцедатель» хлопнул моего Ицика по плечу: «Браво, Ицко, молодец!» Весь город мне завидовал: шутка ли, номер шестьсот девяносто девять! Счастье! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо! И вам того же! Можно было подумать, что я двести тысяч выиграл...

Однако нашлись друзья-приятели... Дошло дело до «приема», — как стали браковать, так по сей день и бракуют: все вдруг превратилось в убогих, несчастных калек, у одного один изъян, у другого — другой...

Словом, что тут долго рассказывать, — дошло и до шестьсот девяносто девятого номера, и мой Ицик, то есть Алтер, должен был явиться на прием наравне со всеми сапожниками и портными...

В доме у меня плач, — не плач, а сплошные вопли! Светопреставление! Жена убивается, невестка падает в обморок.

— Помилуйте, где же это слыхано! Единственный сын, настоящий, безусловный, чистый перворазрядник — и без малейшей льготы!

А он, сын то есть, и в ус не дует, как будто не его все это касается: «Как все, так и я!» Хорохорится, понимаете, шутит, а у самого небось поджилки трясутся...

Однако велик наш бог! Вводят моего Ицика, извините, голенького, доктор начинает его осматривать, измерять вдоль и поперек, щупать, трогать. Но что там смотреть? Никуда он, пес этакий, не годен! (То есть вообще-то он годен, но в солдаты не годится.) Не хватает двух с половиной вершков в груди! Не годен, белый билет...

Снова радость, снова торжество:

— Поздравляем! Поздравляем!

— Спасибо! Дай вам бог счастья!

Созвали всю родню, поставили вино, пили-выпивали... Слава тебе господи, покончили с воинской повинностью!..

Однако опять-таки нашлись друзья-приятели... Отыскался какой-то негодяй, который в губернию настрочил донос, будто я «смазал»... И что же вы думаете, не прошло и двух месяцев, как прибывает бумага: губернское присутствие просит моего Ицика, то есть Алтера, пожаловать еще разок на испытание...

Как вам нравится такая радостная весть? Веселая история! Опять жена убивается, невестка в обморок падает: помилуйте, как же так! Дважды призывался, единственный сын, настоящий, безусловный, чистый перворазрядник!

Словом, что гут долго рассказывать: приглашают в губернию, — стало быть, нельзя быть свиньей — надо ехать... Приезжаем. Я стал бегать туда-сюда, искать протекции, добрых людей... Но кричи не кричи, поди Расскажи кому-нибудь: единственный сын, нездоровый к тому же... Смеются! А сын? Краше в гроб кладут! И не потому, что он боится. Наплевать ему, говорит он, на это освидетельствование. «Если суждено мне служить, — говорит он, — пойду служить!» Он, видите ли, страдает за нас, наших мучений он видеть не может, особенно его угнетает, что женщины наши все это так близко к сердцу принимают: как ни говори, губернское присутствие... Мало ли что? А вдруг... Ведь это же судьба, так сказать... Лотерея...

Однако велик наш бог! Ввели моего Ицика, то есть Алтера, в губернское присутствие голенького, извините, в чем мать родила, и снова начали с азов осматривать его вдоль и поперек, щупать, стучать... Ну, что там смотреть? Никуда он, пес этакий, не годен (то есть вообще-то он годен, но в солдаты не годится). Один из членов присутствия попытался, правда, заявить: «Годен!» Но доктор его тут же оборвал: «Не годен!» И вот один твердит: «Годен!», другой: «Не годен!» «Годен!» — «Не годен!» Пока сам губернатор не поднялся с места, посмотрел и сказал:

— Совершенно не годен!

Иначе говоря, ни к черту он не годится! Я тут же отправил домой телеграмму, конечно иносказательную: «Поздравляю! Товар окончательно забракован».

И вот должно же, на мое счастье, случиться так, что моя телеграмма попала не ко мне домой, а к моему двоюродному брату, однофамильцу, богачу и порядочной, извините, свинье. Удивительного, правда, тут нет ничего, он торгует волами, недавно отправил в губернию партию скота и ждал телеграммы — глаза все проглядел! Можете себе представить, каково у него было на душе, когда ему вручили мою депешу: «Товар окончательно забракован». Я думал, он съест меня живьем, когда я вернулся домой. Нахальство! На что способен богач, свинтус, торгующий волами! Мало того что он перехватывает чужие телеграммы, так я же, выходит, еще и виноват!..

Теперь вернемся снова к тому времени, когда я, не теперь будь сказано, жил в Воротиловке, а мой Ицик, то есть Алтер, был еще совсем ребенком.

В один прекрасный день в городе затеяли какую-то ревизию, что ли... Ходили из дома в дом и переписывали всех от мала до велика: как звать, сколько лет, сколько детей, мальчиков и девочек, как их зовут... Когда дошло до моего Ицика и спросили, как его звать, моя жена, дай ей бог здоровья, возьми да и брякни:

— Алтер!

А переписчику и дела мало: говорят «Алтер», он и записал: «Алтер».

И вот через год после освидетельствования в губернии прибывает новая весточка: разыскивают моего сына Алтера и приглашают его в Воротиловку — отбывать

воинскую повинность! Вот так история! Даже не снилось! Здравствуйте пожалуйста! Новая личность — реб Алтер!

Короче говоря, что тут долго рассказывать, — зовут Ицика, то есть Алтера, снова отбывать воинскую повинность! Жена убивается, невестка падает в обморок: как же так? Где же это слыхано! Ведь это же — весь мир изъездить из конца в конец... Единственный сын, чистый, настоящий, безусловный перворазрядник, должен три раза подряд являться в воинское присутствие! Но говори по-турецки, говори по-татарски, а толку-то что? Тогда я сунулся к нашему «обществу», поднял крик и с трудом добился, что десять человек согласились присягнуть и подписаться в том, что им известно, что Ицик — это Авром-Ицхок и что Алтер, Ицик и Авром-Ицхок — это одно и то же лицо!

Получив такую бумагу, я отправился с ней в Воротиловку. Приехал туда — встречают как дорогого гостя! Как поживаете, реб Иосл? Что поделяваете у нас? Но я говорить не хочу, на что это мне? Лучше, если об этом знать не будут.

— Ничего, — говорю, — мне тут к одному барину надо...

— Насчет чего?

— Насчет проса. Купил просо, дал задаток, а не видать ни проса, ни задатка; нет, как говорится, ни бычка, ни веревочки!

И отправляюсь прямо в присутствие. Прихожу и застаю там писаря, из тех, знаете ли... Подаю мою бумагу. А он прочитал, да как вспылит, да как швырнет бумагу, да как накинется.

— Ступайте, — говорит, — ко всем чертям с вашими именами и со всеми вашими еврейскими фиглями-миглями! Отвертеться хотите, жида-мошенники! Авром превращается у вас в Ицхока, Ицхок — в Ицика, а Ицик — в Алтера! Нет, голубчики, у нас эти штучки не пройдут! Шахер-махер...

Ну, думаю, коль скоро речь зашла про «шахер-махер», значит, он насчет целкового намекает... Достаю монету и хочу сунуть ему в руку.

— Извините, — говорю я тихонько, — ваше высокоправожительство!..

А он как вскочит с места да как закричит:

— Взятки?!

Сбежались другие писаря и, что тут рассказывать, выставили меня... Вот несчастье! Надо же было мне напороться на бессребреника!

Положим, это так только говорится: «бессребреник»... Нашел я человечка, через которого он все-таки берет... Но помогло это, как мертвому припарки. Тем и кончилось, что есть, мол, у меня еще сын по имени Алтер. Так что извольте его представить в Воротиловку для отбывания воинской повинности! Хорошо, не правда ли?

Как я пережил тот год, — сам не пойму! Крепче железа надо быть! Хотя, с другой стороны, чего я, глупец этакий, боюсь? Призывайте хоть десять раз, — я-то ведь знаю, что никуда он, пес этакий, не годится! (То есть как сказать... Вообще-то он годится, но в солдаты не годен.) Тем более что его уже два раза забраковали. Но опять-таки думаешь: чужой город, в присутствии полно «бессребреников», — мало ли что может случиться?..

Однако велик наш бог! Мой Алтер, то есть Ицик, снова тянул жребий, снова явился на прием, и господь бог совершил чудо: Воротиловское присутствие тоже сказало: «Не годен!» — и выдало ему белый билет. Так что у нас уже, с божьей помощью, два белых билета!

Приехали домой — радость и веселье! Устроили пир, созвали чуть ли не весь город, плясали до утра... Кого мне теперь бояться? И кто может сравниться со мной? Царь!

Теперь вернемся к моему Айзику, царство ему небесное, тому, который в детстве опрокинул на себя самовар. Сейчас услышите интересную историю.

Понимаете, поди будь пророком и угадай, что замечательный казенный раввин в Воротиловке забыл вычеркнуть покойного из метрических книг. Оказалось, таким образом, что за мной числится долг — сын Айзик, который обязан призываться в нынешнем году! Вот так бомба! Несчастье какое-то на мою голову! Какой может быть Айзик? Тот уже давным-давно на том свете!

Толкую об этом с нашим казенным раввином, советуюсь: как быть? А он говорит:

— Нехорошо!

— Почему, — говорю, — нехорошо?

— Потому, — отвечает он, — что Айзик и Ицик — одно и то же имя.

— Как же это, умник мой дорогой, Айзик и Ицик одно имя?

— А так, — отвечает он. — Ицик — это Ицхок, Ицхок — это Исак, Исак — это Изак, а Изак — это Айзик...

Хороша притча, не так ли?

Короче говоря, что тут рассказывать! Требуют Айзика! Душу мне выматывают, чтобы я представил Айзика в воинское присутствие! Дома снова стон стоит! Да что там стон — вопли! Причитания! Во-первых, жена вспомнила об умершем, растревожила старые раны.

— Лучше бы, — говорит она, — он был жив и теперь отбывал бы воинскую повинность, нежели лежать в земле и чтобы косточки его гнили...

А во-вторых, она боится, а вдруг раввин прав, и на самом деле Ицик — это Ицхок, Ицхок — это Исак, Исак — Изак, а Изак — Айзик... Что же тогда делать?

Так говорит жена и убивается, а невестка, как всегда, в обморок падает! Шутка ли, единственный сын, настоящий, безусловный перворазрядник, три раза призывался, имеет два белых билета, и все еще не покончил с воинской повинностью!

Взял я, как говорится, ноги на плечи и поехал в Егупец * посоветоваться с хорошим адвокатом, а заодно прихватил и сына, чтоб побывать у профессора, послушать, что скажут: годен он или не годен, хотя я и сам хорошо знаю, что никуда он, пес этакий, не годен (то есть, конечно, вообще-то он годен, но в солдаты не годится). А когда услышу, что скажет адвокат и что скажет профессор, я смогу спокойно спать и не думать больше о воинской повинности. Но что же оказалось? Оказалось, что и адвокаты и профессора сами ни черта не знают. Один говорит так, а другой — этак; то, что утверждает один, отвергает другой... С ума можно сойти! Вот послушайте.

Первый адвокат, к которому я попал, оказался каким-то тупоголовым, хотя и лоб у него большой, и лысина во всю голову, хоть тесто на ней раскатывай. Он никак не мог в толк взять, этот умник, кто такой Алтер, кто такой Ицик, а кто Авром-Ицхок и кто был Айзик. Рассказываю ему еще и еще раз, что Алтер, Ицик и Авром-Ицхок — это одно лицо, а Айзик — это тот, который опрокинул на себя самовар, когда я еще жил в Воротиловке... Ну, думаю, теперь ему уже все ясно, а он вдруг спрашивает:

— Позвольте, погодите-ка, кто же из них старше: Ицик, Алтер или Авром-Ицхок?

— Вот тебе и на! — отвечаю. — Ведь я уже, кажется, пятнадцать раз говорил вам, что Ицик, и Авром-Ицхок, и Алтер — одно лицо, то есть настоящее его имя — Ицик, или Авром-Ицхок, но зовут его Алтер, это мать прозвала его так. А Айзик — это тот, который опрокинул на себя самовар, когда я еще жил в Воротилровке...

— Когда же, — говорит он, — то есть в котором году призывался Авром-Алтер, то есть Ицхок-Айзик?

— Что вы лопочете? Ведь вы же все свалили в одну кучу! Впервые вижу, — признался я, — чтобы у еврея была такая дурацкая голова на плечах! Говорят же вам, что Ицхок, и Авром-Ицхок, и Ицик, и Айзик, и Алтер — это одно и то же лицо! Один человек! Один!

— Тише! — говорит он. — Не кричите, пожалуйста! Чего вы кричите?

Слышите? Он еще в претензии!..

Словом, плюнул я и пошел к другому адвокату. На этот раз попался адвокат головастый, даже чересчур... Он тер лоб, рассуждал, всячески толковал законы, доказывал, что «на основании такой-то статьи» межгеричское присутствие вообще не имело права приписывать моего сына. Но, с другой стороны, существует закон, по которому рекрут, приписанный к одному призывному участку, должен быть выключен из списков другого участка. И еще имеется такой закон: если одно присутствие приписало рекрута, а другое его не выписало, то есть не выключило, то оно обязано его выключить... Однако имеется «кассация», согласно которой присутствие, которое не желает выключить...

Короче, закон такой и закон другой, одна кассация и другая кассация... Заморочил он мне голову, и пришлось обратиться к третьему. И наскочил я на новенького, свежее испеченного адвокатишку... Очень приветливый человечек, а язычок что колокольчик, — так и заливается. По всему видать, что он учится еще только говорить: трещит, а сам так и тает от удовольствия. Разговорился он, разгорячился, речь закатил. Однако перебил я его на самом интересном месте.

— Все это прекрасно! — говорю я. — Вы, конечно, совершенно правы. Но что мне от ваших причитаний, от того, что вы оплакиваете меня? Вы лучше посоветуйте, что мне делать с сыном, если его, упаси бог, снова призовут?..

В общем, что тут долго рассказывать, — в конце концов я попал к настоящему адвокату. Он из старых, он

понимает, в чем суть. Рассказал я ему всю историю от начала до конца, и он сидел, прикрыв глаза, и слушал. Выслушал и говорит:

— Все? Кончили? Езжайте домой, чепуха! Больше трехсот рублей штрафа вам платить не придется.

— Это все? — спрашиваю. — Э-ге, если бы я знал, что дело сведется к тремстам рублям штрафа!.. Я за сына боюсь!

— За какого сына?

— Что значит «за какого»? За Алтера, то есть Ицника.

— А какое отношение это имеет к Ицнику?

— Как это «какое отношение»? А вдруг его, упаси бог, еще раз потащат?

— Так ведь у него, говорите вы, белый билет!

— У него два белых билета!

— Так чего же вы хотите?

— Чего мне хотеть? Ничего я не хочу! Я только боюсь: ведь ищут Айзика, Айзика нет. А так как Алтер, то есть Ицник, записан Авром-Ицхоком, а Ицхок, как уверяет наш казенный раввин, этот умник, — это Исак, а Исак — это Изак, а Изак — это Айзик, то ведь могут сказать, что мой Ицник, или Авром-Ицхок, то есть Алтер, — это и есть Айзик?

— Ну и что же? — отвечает он. — Тем лучше! Если Ицник — это Айзик, так ведь вам и штрафа платить не придется. Ведь у него же белый билет?

— Два белых билета! Но билеты принадлежат Ицнику, а не Айзику.

— Так ведь вы же говорите, что Ицник — это Айзик.

— Кто говорит, что Ицник — это Айзик?

— Да ведь вы же только что сказали, что Ицник — это Айзик!

— Я говорил? Как я могу это сказать, когда Ицник — это Алтер, а Айзик — это тот, который опрокинул на себя самовар, когда я еще жил в Воротиловке!

Вскипел мой адвокат и гонит меня.

— Ступайте, — говорит, — вы, — говорит, — надоедливый, нудный человек!

Понимаете, что это значит? Это значит, что я — нудный человек. Слышите? Это я-то нудный?! Я!!!

РАССКАЗ № 14

Нельзя быть добрым!

— Нельзя быть чересчур добрым! — говорит, обращаясь ко мне, солидный еврей с шишкой на носу и берет у меня папиросу. — Слышите, что я вам говорю? Нельзя быть слишком добрым! Я своей добротой, своим подлым, мягким характером натворил себе дел, вырастил несчастье в своем доме, два несчастья! Можете послушать!

Сподобил меня господь совершить доброе дело, послал мне двух сирот. Наказал меня бог, не дал мне своих детей, вот я и взял чужих, делал им добро, в люди вывел, а они платят мне теперь камнями.

Прежде всего я должен вам рассказать о девушке, откуда попала ко мне сирота. А тут вот какая история. У моей жены была когда-то сестра, младшая, звали ее Перл. И была она, Перл то есть, — ну, что вам сказать, красавица единственная в мире! Все они красивые, жена моя и сейчас еще красивая женщина. За красоту женихи брали их без приданого, озолотить готовы были. Но не об этом речь.

Когда свояченица моя вышла замуж, все говорили, что она попала на золотое дно, что выпало ей счастье, какое раз в сто лет случается: сын богатых родителей, которому предстояло наследовать деду-богачу, отцу-богачу и бездетному дяде, тоже богачу, — со всех сторон богачи, — счастье! Но не об этом речь. Беда только, что сам молодой человек — черт его знает что! То есть вообще-то он довольно славный парень, не дурак и не

невежда, человек добрый, приветливый, веселый, но — что же? — шарлатан. Да простит он меня, он уже на том свете... А именно? Что значит — шарлатан? Любил картишки. Но — как любил! Жизнь готов отдать! Ради карт готов был сто верст пешком пройти! Поначалу играл в «шестьдесят шесть», в еврейское «очко», в «стукалку», в «тертль-мертль» — в своей компании, раз в месяц, в долгие зимние вечера... Потом пошло все чаще и чаще, с какими-то подозрительными молодыми людьми, с бездельниками, лодырями... А надо вам знать, что там, где карты, там и всякое другое... Кто уж там думает о предвечерней молитве? Стоит ли говорить, что они сидят с непокрытой головой? Что нарушают субботу? И о других вещах, касающихся еврейства? И словно назло, Перл, моя свояченица, была женщина набожная, благочестивая, и, конечно, она не могла терпеть его страсть к картам и лежала, бедняжка, целыми днями и ночами, зарывшись головой в подушку, и оплакивала свою жизнь, покуда не начала прихварывать, сначала не очень серьезно, а потом все сильнее и сильнее, — словом, Перл умерла. Но не об этом речь.

Перл умерла и оставила девочку лет шести-семи. Муж где-то у черта на куличках, в Одессе, и так втянулся в игру, что ничего не осталось от его денег, от денег его отца и деда, — все пошло прахом! Похоже даже, что он попал в тюрьму, потом довольно долго где-то шатался, схватил какую-то странную болезнь и умер в горькой нищете. Вот вам вкратце итог жизни целой семьи, и вот таким образом осталась у меня их дочка, сиротка, Рейзл зовут ее. Взял я ее к себе совсем еще ребенком, потому что детей, понимаете ли, у меня нет, наказал меня господь — ну, и пусть она будет за ребенка. Все было бы хорошо, да вот беда, — что слишком хорошо, то ни к черту не годится! У другого дяди такая девочка росла бы на кухне, была бы в помощь семье, ставила самовар, бегала, куда пошлют, и тому подобное, а у меня она жила, как родное дитя, — то же платье, те же ботинки, та же еда, что и моей жене, — о чем говорить, — ела за одним столом с нами. Но не об этом речь.

Позднее, когда Рейзеле начала подрастать, я отдал ее к писцу учиться, и — от правды никуда не уйдешь — она была ребенком удачным, тихая, порядочная, добрая, умная, а хороша, как божий мир: я ее поистине любил,

как родное дитя! Дети, как вы знаете, растут, как грибы: не успеешь оглянуться, а уже надо о женихе думать. И как назло, племянница моя росла как на дрожжах, высокая, красивая, крепкая, — роза! Жена понемногу откладывала приданое — кое-что из белья: сорочки, простыни, наволочки. Я, со своей стороны, иначе и не думал, как дать ей несколько сот рублей приданого, и девушке стали сватать женихов. Кого можно сватать такой девушке, сироте? Родителей у нее нет, отец у нее был, да простит он мне, не слишком порядочный человек, тысяч в приданое я ей дать не могу, — стало быть, надо подыскать ей ровню, молодого человека, который мог бы ее прокормить. Где же найти такого, когда на жениха из зажиточной семьи рассчитывать не приходится, а ремесленника я не хочу: все-таки она мне родня, дочь сестры моей жены! Однако бог послал мне паренька, приказчика лет двадцати с лишним, который уже зарабатывает очень прилично, прикапливает и имеет уже кое-какие деньги. Словом, поговорил я с парнем, — да, это пойдет, честное слово! Она ему нравится. Поговорил с ней — где там! Что там! Каменная стена! В чем дело? Не хочет она его, и не нужен он ей — и все тут! Кто же тебя возьмет? Внук барона Гирша? Молчит, как стена! Смотрит вниз и молчит. Но не об этом речь.

Теперь я должен прервать рассказ посредине и рассказать вам новую историю, которая имеет отношение к этой истории, — то есть и та и эта составляют одну историю.

Был у меня младший брат, Мойше-Гершл. И произошла с ним такая история, — у меня история из сплошных историй, — не здесь будь сказано, ни про кого не будь сказано, был он однажды в пятницу в бане и хотел облиться холодной водой, а схватил таз горячей, опрокинул его на себя и ошпарился! Промучился дней восемь и умер, оставив жену с одним ребенком — мальчиком лет шести, зовут его Пейся. Не прошло и полугода, как вдове стали сватать женихов. Меня это задело за живое, я пошел к ней, к моей золовке то есть, и сказал: «Если хочешь выйти замуж, отдай мне ребенка». Вначале она немного поломалась, не хотела якобы и слышать об этом, но, туда-сюда, уговорил я ее. Привезла она ко мне ребенка, а сама уехала куда-то в Польшу, вышла там замуж, и живется ей неплохо... Но не об этом речь.

Благословил меня, стало быть, господь еще и сыном. Я говорю «сыном», потому что я усыновил его, а мальчик оказался очень удачным, но что называется — удачным! Ведь он сын моего брата, и хвалить мне его не пристало, но можете мне поверить на честное слово, что второго такого Пейси не найти — не скажу во всем мире, но ни в нашем городе, ни в соседних городах и даже губерниях! Что, к примеру, вам угодно? Читать? Пожалуйста! Писать? Прошу вас! Считать? Может и считать! Не хотите ли французский язык? Говорит по-французски! Желаете скрипку? Играет на скрипке! И к тому же рослый, красивый, а язык у парня подвешен... И еще, и еще, и еще... Сказано: удачный, — что уж там говорить! А к тому еще я даю ему несколько тысяч в приданое, — ведь он же дитя моего брата, мною усыновлен, значит, почти родной. И не из простого рода, слава богу! Достоин он хорошей невесты, не правда ли? И, конечно, предлагали ему самые прекрасные партии, а я, разумеется, привередничал. А как же? Так это просто отдать такого молодца? Но не об этом речь.

Словом, стали к нам свататься со всего света: из Каменца и из Елисаветграда, из Гомеля и из Лубен, из Могилева на Днестре и из Бердичева, из Каменки и из Брод... Золотом меня осыпали: десять тысяч, и двенадцать тысяч, и пятнадцать тысяч, и восемнадцать тысяч, — я не знал, куда кинуться. Тогда я подумал: зачем мне соваться на чужбину, неизвестно куда и к кому? Лучше, как говорят, свой сапожник, нежели чужой раввин! Есть у нас в городе богач, а у него — единственная дочь с добрыми несколькими тысячами приданого, да и сама девушка очень славная, и отец хочет породниться со мной, — почему бы не состояться такому сватовству? Не так ли? Тем более что шадхенов * у нас, слава богу, два, и бегают они туда и обратно, от меня к тому, от того ко мне, и подгоняют меня, чтобы все это было поскорее, им некогда, видите ли, у них у самих дочери на выданье, да еще угостил по заслугам... Но не об этом речь.

Словом, решено было, чтобы мы встретились для сговора. Но ведь нынешние времена не то, что прежние. Когда-то, бывало, просватают молодых за глаза, придешь домой, поздравить — и дело с концом. А нынче такая мода, что прежде всего надо переговорить с молодыми, чтоб повидались и сказали, нравятся ли они друг

другу... Да и говорить незачем, они и сами встречаются... Тем лучше, стало быть. Вот я и спрашиваю своего парня: «Нравится ли тебе, Пейсеню, такая-то?» А он покраснел, как маков цвет, и не отвечает. «Ну что же, думаю, промолчал — все равно что сказал... Ответа нет — тот же ответ». А что покраснел, наверное, застыдился. И решено было, что встретятся вечером, сперва, как водится, у невесты, а потом — у меня. Казалось бы, чего еще надо? Стало быть, пекут пряник и готовятся к ужину, как полагается. Но не об этом речь.

И бысть день, встаю утром, а мне подают письмо. Откуда? Какой-то извозчик привез. Беру письмо, вскрываю, начинаю читать, — в глазах у меня потемнело. Что за письмо? Сейчас услышите. Пишет мне мой Пейся, чтобы я не обижался за то, что он уехал вместе с Рейзл... Понимаете? Без нашего ведома пожениться... Слышите? Чтобы я даже и не пытался искать их, потому что они уже далеко отсюда... Чувствуете? А когда они, бог даст, обвенчаются, как положено по закону, они вернуться... Как вам нравится такое письмецо? Ну, о жене моей говорить не приходится, она трижды падала в обморок, потому что она ведь виновница скандала: Рейзл-то ведь ее племянница, а не моя.

— Вот тебе, — говорю я, — вырастила змею на свою голову...

И выместил на ней все, что у меня было на сердце, угостил по заслугам... Но не об этом речь.

Незачем мне вам рассказывать, вы сами понимаете, как меня это жгло и пекло. Помилуйте, берут чужого ребенка, нищую, раздетую сироту, воспитывают ее, хотят осчастливить, а она вот что делает, — совращает на скользкий путь сына моего брата... Я кричал, топал ногами, волосы на себе рвал, чуть с ума не сошел! Но, с другой стороны, подумал я: чем тут поможет мой гнев? Чего я добьюсь, топая ногами? Надо что-то предпринимать, — авось удастся предупредить, помочь. Прежде всего я бросился к «начальству», подмазал, где следует, и заявил, что жила у меня племянница, такая-то и такая-то, что она меня обокрала, сманила моего сына (он ведь был усыновлен) и вместе с ним удрала неизвестно куда. Затем я стал сорить деньгами, разослал депеши во все концы света, во все города и местечки нашей округи... И бог помог, их поймали. Где поймали? Как

раз педалеко от час, в небольшом городишке. Поздравляю вас!

Когда прибыла добрая весть, что их поймали, мы с начальством сели и поехали прямо в то местечко. Не стану рассказывать о поездке, я все время боялся: а что, если они уже успели обвенчаться, — тогда ведь все пропало, как говорится — ни телка, ни веревочки... Однако бог пришел на помощь, мы приехали, — они еще не венчались. Но тут вдруг новое несчастье: так как я заявил, что меня обокрали, то их, пока суд да дело, посадили. Посадили, стало быть, — мне это опять нехорошо, я поднял шум, что обокрала меня она, то есть племянница, а он, сын то есть (ведь он считался моим сыном), — чист. Но когда его хотели выпустить, Пейсю то есть, он заявил: «Если крали, то крали мы оба!» Слыхали? Это она, чертовка, его надоумила так говорить. На что способна, этакая тварь!.. Ну, скажите, можно ли быть добрым? Нужно ли жалеть бедную сироту? Я вас спрашиваю: стоит она того? Что говорить! Немало крови попортил я, покуда вызволил их, потому что ради него я должен был и ее оправдать. И мы вернулись домой. Но не об этом речь.

Разумеется, что к себе в дом я ее больше не пустил, нанял ей квартиру и стол у ее же родственника, в деревне, звать его Мойше-Меер, человек простецкий, деревенщина. А моего Пейсю я взял домой и стал его уговаривать.

— Помилуй, — говорю, — я приписал тебя, как родного сына, хочу тебе дать несколько тысяч приданого, делаю тебя наследником всего, что у меня есть, а ты устраиваешь такой скандал!

— А что за скандал? — отвечает он. — Она вам такая же племянница, как я племянник. Та же самая знать.

— Что ты равняешься с ней? — говорю я. — Твой отец был мой родной брат и порядочный человек, а ее отец, да простит он меня, был шарлатан и картежник...

Смотрю, жена падает в обморок, начинается тарарам, разговоры... Что такое? Она не может слышать, зачем я так говорю о муже ее сестры. Они оба уже на том свете, надо их оставить в покое. Слыхали?

— Но ведь он, — говорю я, — да простит он меня, все-таки был негодяем!

Она снова — в обморок! Беда, да и только: в своем собственном доме слова сказать нельзя! Но не об этом речь.

Короче говоря, взял я своего Пейсю как следует в руки, стал наблюдать за ним, смотреть в оба, чтобы он снова не устроил мне тот же фокус. И господь мне помог, сын пошел по правильному пути, дал себя уговорить и сделался, в добрый час, женихом, хоть и не ахти какой невесты, но все же из порядочного дома, дочери человека с именем, с приданым, с... Ну, в общем, как мне подобает... И я был на седьмом небе. Очень хорошо, верно? Не торопитесь, однако, сейчас услышите историю.

Прихожу однажды домой обедать, умываюсь, сажусь за стол, благословил хлеб, смотрю — нету Пейси! Промелькнула мысль: а вдруг опять тягу дал? Принимаюсь за жену: «Где Пейся?» — «Не знаю!» — говорит. Поел, побегал в город, туда-сюда, никто не знает! Послал гонца в деревню, к родственнику, к Мойше-Мееру, узнать, как поживает Рейзл. А он отвечает мне письмом, что она еще вчера уехала в город, на могилу матери. Я начал действовать. Выместил все, что было на сердце, как всегда, на жене, потому что все несчастья из-за нее, — ведь это же ее племянница! Но не об этом речь.

Побежал в полицию, повсюду разослал депеши, людей погнал, сорю деньгами, — нету, точно в воду канули! С ума схожу, кричу, хлопочу, извожусь — не помогает! В общем, прошло три недели, чуть с ума не сошел! Вдруг прибывает письмо с поздравлением: они уже, слава богу, обвенчались в добрый час, теперь они уже больше меня не боятся. Слыхали? Теперь за ними больше не погонятся и клеветать не станут. Понимаете? Они любят друг друга с детства и теперь добились всего, чего хотели. А на какие шиши они будут жить? Нечего о них беспокоиться: он готовится к экзамену, чтобы поступить в университет и учиться на доктора, а она учится на акушерку. Слыхали разговор? А пока они оба дают уроки и зарабатывают, с божьей помощью, до пятнадцати рублей в месяц. Квартира стоит им шесть с полтиной, восемь они платят за стол, а в остальном — бог поможет! Слыхали? «Ну-ну, думаю, станете помаленечкудохнуть от голода, тогда ко мне придете, а уж я покажу вам, кто старше». А жене я говорю:

— Теперь видишь, что значит гнилой корень? От такого отца, шарлатана, картежника, и ждать ничего хорошего нельзя было!

И тому подобные колкости отпускаю, а она хоть бы словом обмолвилась.

— Ведь ты же, — говорю я, — когда-то в обморок падала, когда я говорил о твоём шурыке, что же ты теперь не падаешь?

Но — разве стена отвечает? Вот так же и она молчит.

— Думаешь, — говорю, — я не знаю, что ты на их стороне, что ты заодно с ними? Что все это от тебя и идет?

Молчит, ни слова не отвечает. Да и что она может ответить, когда чувствует, что я прав? Знает, что мне досадно, — чем я заслужил, чтобы мне за мою доброту так платили? Но не об этом речь.

Думаете, это все? Погодите, еще не то услышите.

Словом, прошел год. Письма они пишут, но о деньгах не упоминают. И вдруг прибывает поздравление: она родила мальчика, и меня приглашают на обряд обрезания!

— Поздравляю тебя с радостью твоей! — говорю я жене. — Шутка ли, такое торжество!.. И имя ему дадут в память твоего замечательного шурыка...

Не отвечает, но побелела, как стена, оделась и ушла из дому. Думаю, сейчас придет. Жду час, жду два, жду три, жду четыре, уже вечер наступает, уже глубокая ночь — нет ее! Интересная история, хоть и короткая! Словом, что тут говорить, — уехала она к ним и вот уже скоро два года не приезжает и приезжать не думает! Слыхали что-нибудь подобное? Сначала ждал, может быть, напишет, а когда увидел, что ждать нечего, сам написал ей письмо: «Как же так? Что скажет мир?» А она отвечает, что ее мир там, возле ее детей. Слыхали разговор? Внушек, который родился, — его зовут Гершеле, по имени моего брата, — ей дороже всех миров! Другого такого Гершеле, говорит она, не сыскать, хоть изъезди весь мир из края в край! И желает мне состариться в богатстве и чести одному, без нее. Слыхали разговор?..

Я пишу ей еще и еще раз и заявляю твердо, что не буду высылать ей ни гроша! А она отвечает, что деньги ей не нужны. Слыхали? Тогда я снова пишу, что лишу ее наследства и все свои деньги завещаю в пользу общины!

А она не поленилась и отвечает, что не имеет ко мне никаких претензий. Понимаете? Что она живет там у детей в почете, дай бог дальше не хуже, потому что Пейся поступил уже в университет, а Рейзл уже скоро акушерка, что зарабатывают они уже чуть ли не семьдесят рублей в месяц. Понятно вам? А что касается наследства, то я могу все свое состояние пожертвовать хоть сегодня кому угодно, хоть на церковь! Слыхали разговор? А кончает она тем, что я просто сумасшедший! Что люди в меня пальцами тыкают за то, что я проделал. «Что за беда, — пишет она, — в том, что сын твоего брата женился на дочери моей сестры? Что тебе не пристало, дурень этакый?» Слыхали? «Посмотрел бы на ребенка, на Гершеле, как он пальчиком показывает на дедушкин портрет и говорит: «Де-дя!» — ты бы сам себе три оплеухи закатил...» Понимаете? Так пишет она мне оттуда. Но не об этом речь.

Ну, разве не надо быть крепче железа? Как вы думаете, не жжет меня, когда я прихожу домой и верчусь один в четырех стенах? Начинаю раздумывать: для чего я живу, скажите, пожалуйста, на белом свете? За что мис такой конец? За что мне такая старость? За что? За мою доброту? За мой подлый, мягкий характер?..

Извините меня, как заговорю об этом, у меня от досады слезы на глаза набегают, и не могу, не могу я говорить!

Ох, нельзя быть слишком добрым! Слышите? Нельзя быть чересчур добрым!

Конец рассказа № 14.



РАССКАЗ № 15

Погорелец

— Наши евреи, — разглагольствует один из пассажиров, а другие слушают, — наши евреи, знаете ли, — да не накажет меня бог за такие речи, — народ горячий, беспокойный... С евреем хорошо кушать кугл, читать молитвы из одного молитвенника да еще лежать на одном кладбище... А в общем, черт бы их взял совсем!

Вы спрашиваете, отчего это я так раздражен и почему так зол на евреев. Навалились бы на вас мои горести, поступили бы с вами так же, как со мной, — вы бы на людей бросались и дубиной колотили. Но я не из тех, что ссорятся со всем миром! Я рассуждаю так: где мое не пропало? Или как там сказано: всяк живет по-своему.

А значит это — пускай господь бог с ними счета сводит и черт бы их батьку взял!

Вот послушайте! Сам я, не про вас будь сказано, богуславский, из местечка Богуслав. Местечко маленькое, да удаленькое, — из тех, о которых говорят: погуще бы их сеяли, да пореже бы они всходили... Если хотят кого-либо хорошенько наказать, — не надо его посылать в Сибирь... Зачем? Сослать бы его лучше к нам в Богуслав, сделать его лавочником, открыть ему кредит, чтобы он мог хорошенько обанкротиться, а потом — чтоб у него случился пожар, чтоб сгорело все до последней нитки, а богуславцы говорили бы, что это он сам «благословил создателя светил огненных» для того... Понимаете, конечно, что эти люди могут выдумать, и не только выдумать, но и написать куда следует... Черт бы их взял совсем!

Отсюда вам должно быть ясно, с кем вы дело имеете. Перед вами несчастный человек, трижды несчастный, потому что на нем тройной груз: во-первых, я еврей, во-вторых, богуславский житель, а в-третьих, богуславский погорелец, да еще какой погорелец! Я, понимаете ли, в нынешнем году погорел. Но как погорел! Как соломенная крыша! Выскочил прямо-таки, «яко стрела из лука», то есть в чем мать родила... И, как бывает в таких случаях, меня, как на грех, дома не было! Где же я был? Неподалеку, в Тараще, у сестры на помолвке. Была шикарная помолвка, с ужином, с очень солидными гостями, — не чета богуславским паршивцам! Можете себе представить, когда одной водки было выпито полтора ведра, не считая пива и вина. Короче говоря, прекрасно проводили время, так сказать, по соизволению божьему... И вдруг получаю телеграмму: «Жена болен, дети болен, теща болен, очень опасно!» Ну, я, конечно, — ноги на плечи и — восвояси. Приезжаю домой — весело! Ни тебе дома, ни тебе лавки, ни товара, ни подушки под голову, ни рубашки нательной, «с чем пришел, с тем и ушел», — сиречь: был бедняком и остался нищим... Жена, бедная, убивается, да и дети, на нее глядя: некуда голову приклонить! Хорошо еще, что было застраховано, и как следует застраховано! И вот тут-то, понимаете ли, собака и зарыта!.. Но это бы еще с полгоря. Вся беда в том, что это уже не в первый раз: я уже, надо вам знать, однажды горел, тоже ночью и опять-таки в мое отсутствие... Но тогда все это, слава богу, обошлось благополучно: явился

инспектор, переписал сгоревшее барахло, оценил убытки, поладили честь честью, десяткой больше — десяткой меньше, и черт бы его батьку взял, — и дело с концом!..

Но это было тогда. А на сей раз прислали инспектора, господи спаси и помилуй! Зверь зверем! И — на мое счастье — бессребреник! Не берет, и делай что хочешь! Вот он и ищет, и рыщет, и роет, и копает... Добивается, чтобы я ему разъяснил: как это загорелось, отчего и насколько сгорело? И почему никаких следов не осталось?

— Вот именно! — говорю я. — И я о том же спрашиваю! Поди требуй ответа от господа бога!

— Нет, — отвечает он. — Тут что-то не так... И не думайте, что вы скоро получите от нас деньги!..

Как вам нравится такой умник? Он, понимаете ли, меня букой страшит. Точно так же, как следователь наш, который хочет поймать меня на слове. Нашел тоже младенчика.

— Скажи-ка, Мошко, — говорит он, — скажи, любезный, отчего ты каждый раз горишь?

То есть, чтоб я ему объяснил, отчего и почему...

— От пожара, — отвечаю, — ваше благородие! От пожара и горю...

— А почему, — спрашивает он, — ты застраховался как раз за две недели до того, как погорел?

— А чего же вы хотели, пане, чтоб я застраховался через две недели после пожара?..

— А почему это тебя как раз дома не бывает, когда ты горишь?

— А если бы я в это время дома сидел, вам было бы легче?

— А почему тебе телеграфировали, что дети больны, что жена больна, что теща при смерти?

— Это для того, чтоб я скорее приехал...

— Почему же тебе не писали правду?

— Это для того, чтобы я не испугался...

— В таком случае, — говорит он, — я понимаю, что ты за птица... Да будет тебе известно, что я тебя посажу...

— За что? Про что? — спрашиваю. — Что вы имеете против меня? Берете человека, ни в чем не повинного, и губите его! Фокус, что ли, зарезать человека? Хотите резать — режьте! Но не забывайте, что есть на свете закон и бог...

— Ты еще о боге будешь разговаривать! — вскипает он. — Ах ты, такой-сякой!..

Но чего мне бояться? Я чист, как золото! Как сказано: «Не придирайся попусту», что означает: кто чеснока не ест, от того и не пахнет... И черта твоему батьке, — и дело с концом!

И все было бы хорошо, но на то и Богуслав! Может разве вытерпеть богуславец, когда кто-то получает деньги за здорово живешь? И пошли писать бумаги, то есть доносы. Многие посылали по почте, другие потрудились явиться собственной персоной в страховое общество и донесли, что это я сам устроил «возжигание светил»... Понимаете, на что способны негодяи? Я, мол, нарочно уехал в ту ночь из дому, чтобы... Придумали, мерзавцы!.. И что никогда у меня не было столько товара, сколько я указываю, и что счета и книги, которые я представил, дутые, и что они могут доказать, как дважды два... И еще всякие поклепы, черт бы их батьку взял!

Но кто, скажите на милость, слушает их, когда я все-таки чист, как стеклышко! То, что они говорят, будто я сам поджег, — вообще чепуха! Ведь даже ребенок понимает, что уж если кто-нибудь намерен проделать такую штуку, то сам он этого делать не станет... Всегда найдется такой посланец из «ангелов служающих», который проделает это за трешницу... А что? Не так ли? А у вас как? А то, что они говорят, будто я нарочно уехал из дому, — просто глупости! Ведь была же помолвка у моей сестры! Есть у меня одна-единственная сестра в Тараще, она выдает замуж свою среднюю дочь, — так что же, не ехать мне к ней на помолвку? Хорошо так? А вы, я вас спрашиваю, как бы вы поступили, если бы у вас была единственная сестра и она выдавала бы среднюю дочь? Вы сидели бы дома и не поехали бы к сестре на помолвку? Нет, почему вы молчите? Или, скажем, я должен быть пророком и знать, что как раз в то время, когда моя сестра в Тараще выдает среднюю дочь, у меня в Богуславе случится пожар? Ведь это же счастье, что было застраховано! Я и страховался из-за нынешних пожаров. Как только лето наступает, житья нет от пожаров в местечках! Пожар за пожаром — то в Мире, то в Бобруйске, то в Речице, то в Белостоке... Горит народ! Вот я и подумал: «Все люди братья», — все горят, а я где же? К чему мне, дураку набитому, рисковать лавкой, надеяться на чудеса, когда я могу застраховать? А уж если на то пошло, почему не застраховать как следует? Как это говорится: «Свинину жрать, так чтоб по бороде

текло!» Черт его не возьмет, это «общество», авось оно из-за моих нескольких рублей по миру не пойдет! И шут с ним, — и дело с концом!

И вот пошел я честь честью к своему агенту и говорю:

— Слышь, Зайнвл, так, мол, и так... Народ горит, к чему мне рисковать? Хочу, чтоб ты застраховал мою лавку.

— Серьезно? — спрашивает он и поглядывает на меня с этакой странной усмешечкой...

— Что это, — говорю, — ты, как лошадь, зубы скалишь?

— Я очень рад, — отвечает он, — и мне очень жаль...

— Что значит, ты рад и тебе жаль?

— Жалею я о том, — отвечает он, — что однажды вас застраховал, и рад тому, что в другой раз я вас страховать не буду...

— А в чем дело? — спрашиваю.

— А в том, что вы уже меня однажды обманули.

— Когда я тебя обманул?

— А вот тогда, когда вы погорели...

— Прибавил бы хоть: не теперь будь сказано! Грубиян этакий!

— Не теперь будь сказано! Не здесь будь сказано! Ни про кого не будь сказано! — отвечает он и смеется мне прямо в лицо... На что архаровец способен!

Можете себе представить, что я нашел другое место, где застраховаться... Подумаешь, дело какое! «Мало ли падали в Египте!» То есть не хватает, что ли, «обществ» у нас? Батюшки! Агентов как собак нерезаных! Нашел-таки молодожена. Он только что сошел с тещиных харчей, сделался агентом одного из «обществ» и искал работы... Ну, и как вы думаете? Конечно, он тут же застраховал меня и — на целых десять тысяч... А почему бы и нет? Что же, не пристало мне иметь в лавке товару больше, чем на десять тысяч? «Товар в обороте!» То есть нынче нет, завтра есть... Правда, богуславцы утверждают, что у меня никогда столько товару не было. Но кто их слушает? Пускай доказывают, пускай говорят, пускай брешут, пускай лают, и черт бы их батьку взял, — и дело с концом!..

Хорошо еще, что в то время, когда я страховал лавку, в Богуславе об этом никто не знал, и потому все сошло благополучно... И лишь потом, когда случилось несчастье, то есть когда я погорел во второй раз, наши богуслав-



ские друзья-приятели ринулись к агентам. Где было застраховано? Кто страховал? И когда? И на какую сумму?.. А когда узнали, что на десять тысяч, подняли невероятный шум — до небес! Как так десять тысяч!.. Мойше-Мордхе получит десять тысяч рублей?! Тысяча чертей вам в зубы! А вам какое дело до того, что Мойше-Мордхе получит десять тысяч? Боятесь, а вдруг он лишний рубль заработает? А если бы Мойше-Мордхе потерпел убыток от пожара, вы бы ему возместили?.. Но на то и Богуслав! Город сплошных праведников, честных людей! Они, видите ли, не терпят несправедливости!.. Казалось бы, у вас на глазах человека постигло такое несчастье, — еле душу спас, терпит убытки... А если не терпит убытков, так что? То есть, конечно, столько бы им болячек, сколько я заработаю сверх... то бишь меньше десяти тысяч! Ну и что же? А если бы и все десять тысяч заработал? Так что? Что?.. У кого по этому случаю должна болеть голова? Человек горит, — пускай себе горит, горите тоже, сгорите совсем! Нет того чтобы войти в положение: а может быть, это доброе дело? Может быть, человек обременен семьей? Может быть, он собирается выдать замуж дочь — замечательную девушку, со

всеми достоинствами? Может быть, он еле дождался этого, а заплатить даже свату нечем? Может быть, у него сын — золотая голова, который горит желанием учиться, а учиться не на что? Может быть, человек мучается, последние соки из себя выжимает — и ради кого? Ради жены и детей! Этого никто в расчет принимать не желает! Все со стороны заглядывают — авось бог смилостивится, то есть я хочу сказать: а вдруг, не дай бог, я на этом деле заработаю! С какой же стати мне такие заработки? И черт бы их батьку взял, — и дело с концом!

Однако скажу вам правду: то, что лавочники мне завидуют, не так еще досадно — на то они и бедняки. Но какое до этого дело богачам? Больше всех меня возмущает сынок нашего богача. Есть у нашего богача сынок, звать его «Мойше-мудрый чего скажет»... Славный такой паренек, горячий, неглупый, и сердце у него доброе: не терпит процентов, щедрый благотворитель, горой стоит за справедливость и вообще неплохой малый... Каждый раз при встрече он меня останавливает:

— Как обстоит ваше дело? Слышал, что вы, бедняга, понесли большие убытки?

При этом он засовывает руки в карманы, выпячивает животик, смотрит телячьими глазами и делает такую мину, что хочется отхлестать его по щекам, прямо руки чешутся...

Однако приходится помалкивать, — ничего не поделаешь... Как это сказано: «Падали не касайся...» То есть хоть лупи себя по щекам, а кажись румяным... Дал бы только бог, чтоб следствие кончилось, — я еще, надо вам знать, под следствием состою: каждый раз меня вызывает следователь и задает всякие вопросы... Трогает это меня как прошлогодний снег, потому что, скажите сами, чего мне их бояться, когда я чист, как чистое золото! Но куда суд да дело, с меня взяли подписку о невыезде, а я, как видите, только и делаю, что разъезжаю, богуславцам назло... «Всяк стучащийся пусть войдет и вкушает», то есть хочу сказать: кто хочет, пусть едет за мной следом, пусть жалуется на меня господу богу, — черт бы их батьку взял, и дело с концом!

Вы, чего доброго, думаете, что, поскольку на мне такое дело, «общество» не хотело бы поладить со мной? Столько бы волдырей сыну нашего богача на дурацкую его рожу, сколько тысяч я мог бы получить! Вы, пожалуй, спросите, почему же я их не получаю? Не знаете вы

меня, стало быть! Я, надо вам признаться, человек лютый, меня голыми руками не возьмешь! Я иду своим путем: «Уж если началось падение», то есть коль скоро так случилось, «то пусть падает»: так пусть уж идет как идет. А следствие — следствием! Чего мне бояться? Я все-таки чист, как стеклышко! Плохо только, что деньги мои до поры до времени болтаются зря, а я пока что так стеснен — удавиться впору! Вот это скверно, да и досадно, право! Ведь то, что я должен получить, я все равно получу, — ничего им не поможет! Так зачем же тянуть без толку? «Отдайте мне мои деньги! — твержу я. — Деньги мои отдайте! Разбойники! Не губите моих детей! Да и много ли я у вас прошу? Отдайте мне мои десять тысяч, — деньги моих детей! Разве это мои деньги? Ведь это же деньги моих детей! Так вот, отдайте мне их и оставьте меня в покое, и черт бы его батьку взял, — и дело с концом!..»

Но что толку от моих разговоров, от моих криков? Пока что скверно, дальше некуда! От дела отбился, сватовство дочери приостановлено, приданого нет, детей учить надо, деньги расходуются каждый день... А мучения какие! По ночам не спишь. Бояться хоть и нечего, — ведь я все-таки чист, как золото! А тем не менее ведь мы же всего только люди: в голову лезут всякие мысли... Следствие... Прокурор... Богуславские соседи, которые готовы пойти в свидетели и присягнуть, что сами видели, как я ночью бродил по чердаку со свечой в руках. Шутите с богуславцами! Поверите ли, есть у нас некий Довид-Герш... Так вот, дай бог мне вместе с вами заработать столько, сколько денег я переплатил ему, чтоб не брехал... А так ведь как будто приятель, и человек порядочный, и улыбается тебе, и имя божье на каждом шагу поминает: если богу угодно будет, авось бог поможет... И черт бы его батьку взял, — и дело с концом!..

Теперь вы понимаете, что такое Богуслав? Теперь вам ясно, почему я так настроен? Погодите, пусть только бог поможет мне получить мои несколько рублей, — я с ними рассчитаюсь! Первым долгом пожертвую на городские нужды — не могу сказать сколько, но уж не меньше, чем наши богачи. Уж я, будьте уверены, перед ними лицом в грязь не ударю! При вызове к свиткам торы служка провозгласит: «Пожертвовавшему синагоге десять фунтов свечей!» — да так, чтобы зазвенело, и пускай они лопнут от зависти! О больнице и о талмудторе * говорить

нечего: жертвую дюжину бязевых рубах для больных, всем ученикам талмудторы — новенькие арбеканфесы... А уж потом я закачу свадьбу своей дочери! Но свадьба свадьбе рознь! Думаете, я отделаюсь кое-чем, как всякие другие-прочие? Стало быть, не знаете вы меня! Уж если справлять свадьбу, то я такую справлю, какая нашим прадедам не снилась! Такой свадьбы у нас и не видать было! Шалаш на весь синагогальный двор! Музыкантов я могу себе позволить из самой Смелы! Стол на триста нищих, шикарная трапеза, пироги, добрая рюмка водки и щедрая милостыня — пятак на двоих!.. А на свадебный ужин приглашу весь город — из конца в конец... А врагов, которые меня топить хотели, — на самые почетные места, и тосты, и танцы, и опять-таки танцы! Играй, музыка, на чем свет стоит, и давайте спляшем! Вот какой я человек! Не знаете вы меня, уверяю вас! Я, если разгуляюсь, — ничего не пожалею: еще штоф водки, и еще штоф водки, и — «да погибнет душа моя с филистимлянами!» — то есть: пейте, ребята, пока не лопнете, и вон из дому! И черт бы вашего батьку взял, — и дело с концом!

Конец рассказа № 15.

РАССКАЗ № 16

Неудачник

— Вы о ворах? — вмешался в нашу беседу франтоватый пассажир, который не расставался с маленьким чемоданчиком и берег его как зеницу ока. (Дело было ночью. В ожидании курьерского поезда, который опаздывал на час с четвертью, мы втроем коротали время в зале «для гг. пассажиров второго класса» и толковали о ворах и воровстве.) — Значит, речь идет о ворах? Это по моей части. Сколько воровства бывает в нашем деле, вы нигде не найдете! Такой уж это товар — брильянты! Искушение украсть камешек так велико, что ему подчас поддаются даже покупатели. Вернее, не покупатели, а покупательницы — дамы. За каждой новой незнакомой нам дамой мы следим в оба. Не так-то просто обокрасть ювелира! Скажу, не хвально, сколько ни торгую брильянтами, меня еще не обкрадывали! Но если уж тебе суждено хлебнуть горя... Впрочем, послушайте.

Я, по сути дела, никакой не ювелир. То есть я вроде и ювелир, но по-настоящему ювелирным ремеслом не занимаюсь. Я всего-навсего торгую брильянтами, покупаю и перепродаю. Дело у меня главным образом оптовое, и занимаюсь я им главным образом на чужой стороне, на ярмарках, либо, если нападу на след настоящего покупателя, хватаю свой чемоданчик, вот этот самый, и — на поезд, и — в путь-дорогу!

Так и на сей раз дошел до меня слух, что в городе Егупце проживает богач, который собирается выдать замуж дочку. Само собой, без брильянтов ему не обойтись. Говоря по чести, в Егупце и своих ювелиров за

глаза хватает, их там даже больше, чем нужно. Но одно другому не мешает. Да будь там хоть сто тысяч ювелиров — ничего, мне бы только почуять настоящего покупателя, а там уж я покажу, кто заполучит денежки, — я или они. Торговать брильянтами нужно умеючи. Это дело деликатное. Там надо знать все до тонкости, что показать, да как показать, да кому показать. Не стану набивать себе цену, — я вообще терпеть не могу бахвальства, — одно скажу, потолкуйте с ювелирами, они вам подтвердят, что тягаться со мной нелегко. Где любой выручит сотнягу, я выручу три. Я эту науку насквозь прошел.

В общем, направился я, значит, в Егупец. Товару взял с собой подходяще, не мешало бы нам всем иметь столько добра, сколько поместилось тогда в этом самом чемоданчике. Забрался в вагон, сел, сижу. Чемоданишко, само собой, прижимаю изо всех сил к себе, глаз с него не спускаю. О том, чтобы вздремнуть, и думать нечего. Везешь товар — не спи! На каждого нового пассажира зрираешь со страхом: не вор ли? На лбу-то у него не написано!

Так я, с божьей помощью, не евши, не спавши, ехал день, ехал ночь и, наконец, прибыл в город Егупец, к богачу, показал товар. Толковали мы с ним и так и сяк, судили-рядили, наговорились досыта, но, как это часто бывает, — профиту никакого, деньгами и не пахнет.

О богачах я худого слова не скажу, пропади они все пропадом! Они из тебя всю душу вытрясут. Каждый камешек по сто раз ощупают, осмотрят, обнюхают, а когда подходит время платить денежки, они на попятный. Ну да ладно, ничего не попишешь! Заработал, не заработал — скачи дальше, мешкать нечего. Правда, скакать-то особенно некуда, а все же скачешь. Вскочил я, конечно, на извозчика, и — обратным манером на вокзал. Вдруг слышу — кто-то сзади окликает меня: «Дядя, дядя». Оглянулся, вижу — молодой человек бежит за мной вдогонку, размахивает чемоданчиком, — а чемоданчик точь-в-точь как мой, — и говорит:

— Вот вы обронили.

Ой, горе мне! Ой, беда! Ведь это же мой чемоданчик! Где? Когда? Каким образом?.. Значит, суждено было мне потерять чемоданчик, а молодому человеку — подобрать его. Да что толковать! Я, конечно, кинулся к молодому человеку, стал ему трясти руку, стал приговари-

вать: «Спасибо вам, дай вам бог здоровья и счастья. Спасибо, еще раз спасибо». А он отвечает: «Не за что». А я говорю: «Как так не за что! Вы ведь, говорю, мне жизнь спасли. Вы такое, говорю, для меня сделали, что ни земных, ни небесных сокровищ не хватит отблагодарить вас. Скажите, говорю, сколько вам уплатить? Скажите, не стесняйтесь». Тут я полез было в карман. А он отвечает: «Если, как вы сами считаете, я совершил благородный поступок, зачем же я буду брать с вас деньги?» Услышав такие речи, я, конечно, кинулся к моему молодому человеку и давай его целовать. «Один бог, говорю, может вас отблагодарить достойным образом. А я могу только пригласить вас, говорю, посидеть со мной, говорю, опрокинуть по чарочке». — «По чарочке, говорит, не откажусь. Спасибо, с удовольствием». Тут мы оба взгромоздились на извозчика и поехали — не на вокзал, конечно, какой уж тут вокзал, а в кафе, посидеть и малость перекусить.

В кафе я занял отдельный кабинет, заказал всего вдоволь, и тут у нас с молодым человеком завязалась беседа по душам. Молодой человек понравился мне не только потому, что он, можно сказать, спас мне жизнь, а просто так, сам по себе. Это был хороший парень. У него было славное лицо, глубокие, черные, строгие глаза — не парень, а золото! И к тому же еще застенчивый донельзя. Я велел ему не стесняться, заказывать все самое лучшее, самое вкусное, все, что его душе угодно, а сам, как только он закажет что-нибудь, велю, так сказать, подать вдвое. Мы с ним изрядно выпили и закусили, как положено по закону. Через край не хватили — упаси боже! Еврей меру знает.

Но когда, как говорится, «от возлияний взыграло сердце царское», я сказал своему спасителю: «Знаете ли вы, — говорю я, — что вы для меня сделали? О том, что вы помогли мне сохранить огромное богатство, об этом, говорю, я уже не говорю, — хорошо бы нам обоим, говорю, иметь столько, сколько с меня удержали бы за товар. Чужое добро, говорю, святое дело. Вы мне, говорю, не только жизнь спасли, без вас, говорю, потерял бы я доброе имя, потому что, вернись я без чемоданчика, мои кредиторы решили бы, что тут дело пахнет махинацией, вроде тех, на которые так падки наши ювелиры. Спрячут в укромном месте малую толику товара, а сами пустят слух, что их, мол, обокрали. Пришлось бы

мне, говорю, купить веревку и повеситься на первом попавшемся дереве! Выпьем, говорю, за ваше здоровье, дай вам бог, говорю, удачи во всех ваших делах. Давайте поцелуемся, потому что пора, говорю, ехать».

Прощался я с ним, рассчитался с официантом, хочу взять чемоданчик — увы! Ни чемоданчика, ни молодого человека! Сгинули!

Я хлопнулся в обморок.

Меня, конечно, стали приводить в чувство. Пришел я в себя и снова — хлоп в обморок! Только после того как меня окончательно привели в чувство, я забил тревогу, поставил на ноги всю егупецкую полицию, посулил ей какую угодно награду, обшарил с ней все значные места, облазил все щели, повидал самых знаменитых воров, но все зря! Мой молодой человек как сквозь землю провалился. Я пал духом, белый свет мне стал в тягость. Завалился я в своем номере на койку и стал думать горькую думу: «Как мне с жизнью покончить? Заколоться ли ножом? Удаться ли в петле? Либо взять и броситься в Днепр?» И вот я лежу, думаю свои тяжкие думы, вдруг слышу — стучат. Кто там? А это прислали за мной из полиции: оказывается, поймали все-таки раба божьего с поличным, с чемоданчиком да с товаром.

Надо ли вам объяснять, что со мной творилось, когда я вновь увидел свой чемоданчик и свои брильянты? Я опять упал в обморок. Это у меня уж свойство такое — обмороки. А когда очнулся, я подошел к своему молодому человеку и говорю: «Не понимаю, говорю, объясните мне, пожалуйста, иначе я с ума сойду, почему, говорю, когда вы подобрали мой чемоданчик, вы побежали за мной вдогонку и ни за что не захотели взять денег за свое благородство. Но стоило мне чуть отвернуться, как вы стащили мое имущество, мое сокровище, мою душу. Ведь вы меня, говорю, чуть не погубили, еще минута, говорю, и я был бы покойником». А он, молодой человек этот, уставился на меня своими глубокими, строгими, черными глазами и спокойно так отвечает: «Одно, говорит, к другому не относится. Благородство благородством, а воровство — это, говорит, моя специальность». А я говорю: «Молодой человек, кто же вы, говорю, такой?» — «А кем, говорит, я могу быть? Я, говорит, всего-навсего жалкий вор — вор-неудачник; детей у меня куча, а счастья — ни на грош. Работенка у меня, правда,

вроде и легкая, да все не везет. Конечно, грех жаловаться, слава богу, работы хватает, да вся беда в том, говорит, что я какой-то невезучий. Нет удачи — и все».

Только потом, в вагоне, я спохватился, что совершил глупость. Ведь я мог за безделицу выручить этого ворюгу. Стоит ли мне заносить над ним, так сказать, свою карающую десницу. Пускай этим займется еще кто-нибудь...

Кстати, не угодно ли вам брильянтовые серьги за наличные денежки? Желаете — покажу! Такие брильянты вам и во сне не мерещились. Высший сорт, экстра чистойшей воды.

Конец рассказа № 16.

РАССКАЗ № 17

Суждено несчастье

Обстоятельно и неторопливо, взвешивая каждое слово, вел этот рассказ, рассказ о самом себе, почтенной внешности еврей, в субботнем кафтане и шелковом картузе с широким верхом. Холеное лицо его было озабочено, широкий белый лоб покрыт морщинами.

— Если суждено, скажу я вам, несчастье, так оно приходит к вам прямо в дом. И вы можете быть семи пядей во лбу, но от него не укроетесь. Я, как вы видите, человек спокойный; живу себе тихо, без шума и суеты. Общественных дел не люблю, не по мне и всякие почести, и то, и се, и тому подобное...

Но вот должна же была случиться со мной такая история. В нашем городке умер еврей Менаше-невежда. Так звали его потому, что он был, да простит он мне, грубое существо. Почти не знал молитв, как это говорится, ни аза в глаза; не умел ни читать, ни писать, ни то, ни се, ни тому подобное...

Короче — это было простое существо. Но честный — исключительно честный человек. Слово его было свято, чужой рубль — трижды свят. Зато скуп он был, ой, как скуп! Он дал бы себе выколоть оба глаза за один грош. Вся жизнь он копил деньги. Копил, копил — и вдруг умер! Что поделаешь: умер так умер! Никто вечно не живет. Когда Менаше умер, приходят ко мне и говорят: Менаше оставил кругленькую сумму, много должников, и большое хозяйство, и домá, и то, и се, и тому подобное... А дела-то вести некому. Детишки еще малы — четверо мальчиков и одна девочка, — а она, сама вдова

то есть, всего только женщина — не больше, поэтому предлагают мне, чтобы я стал у них хозяином, опекуном, стало быть. Я, разумеется, ни видеть, ни слышать не хочу: на что мне опачкунство это? Зачем? Так нет же, началась волынка: «Помилуйте, вы у нас единственный в городе, и то, и се, и тому подобное... Жаль такое состояние! И что станется с сиротами? Маленькие ведь дети, бедняжечки: четыре мальчика и одна девочка! Ну, что вам стоит? Вы будете их опекуном, а она, сама вдова то есть, будет опекуншей». Тогда я прошу их, умоляю: «Что вы пристали ко мне? Какой я опекун, когда я даже не знаю, с чем это едят?..» Тогда они снова начали: «Ну помилуйте, ну, где же человеколюбие, да это же доброе дело», — и то, и се, и тому подобное...

Короче — я не мог отказаться и сделался опекуном, «утвержденным», значит, опекуном, совместно с ней таки, с вдовой то есть. Когда я, с божьей помощью, сделался опекуном, я прежде всего принялся подсчитывать, сколько капиталу оставил Менаше своим несчастным детям. Я собрал все, что только у него было: дом, магазин, корову, лошадь, и то, и се, и тому подобное... Все это я обратил в деньги. Но не так-то легко мне эти деньги достались, мне пришлось-таки, представьте себе, изрядно потрудиться. Потому что Менаше, царство ему небесное, был человек богатый, крепкий хозяин, настоящий кулак. Сколько за ним ни числили, а у него оказалось больше. Однако счета деньгам у него никогда не было, он ведь был, да простит он мне, неграмотный. Рассовал деньги повсюду, то и дело отыскивался новый должник. Много, много было у него должников. Так что мне пришлось, понимаете, голову ломать: собирать долги, все превращать в деньги. А что же было мне делать? И все один я, потому что она, опекунша то есть, ничего, кроме кухни, никогда не знала. Она хорошая женщина, но голова у нее овечья. Спросите у нее, какой вексель хороший, какой плохой, и то, и се, и тому подобное, — она не знает.

Словом — я сколотил порядочную сумму денег, сколотил с трудом и великими муками. Теперь, стало быть, надо с ними что-то делать? Мало толку, если семья будет проедать готовые деньги. Детям, бедняжечкам, нужна рубашечка, ботиночки, и то, и се, и тому подобное... В наше время сидеть на готовом? Это не дело! Они будут есть до тех пор, пока не съедят все! А что

будет потом? Честный человек, понимаете ли, обязан обеспечить будущее. Стал я раскидывать умом: что делать с этими деньгами? Открыть какое-нибудь дело? Но кто будет его вести, если она, опекунша то есть, просто дура, а несчастные дети — дети? Отдать деньги в рост? А если какой-нибудь должник обанкротится, кто будет виноват? Опекун! Тогда я подумал: найдется ли лучшее дело, чем мое собственное? А? И кто более кредитоспособен, чем я? А? Я, слава богу, везде имею кредит, на всех ярмарках пользуюсь добрым именем, дай бог дальше не хуже. Разве не в тысячу раз лучше будет, если я эти несколько рублей помещу в мое же дело? Что? Оживить торговлю еще партией товара, и еще партией товара? Плохо, что ли? А когда платишь за товар чисто ганом, так это таки имеет совсем другой вкус, потому что каждый хочет видеть живую копейку. В торговле наличных денег теперь, понимаете ли, мало: везде только бумага, только вексель. Пишут туда, пишут сюда, пишут и то, и се, и тому подобное...

Короче — я поместил все эти деньги в свою лавку, — и дело пошло, надо сказать, очень неплохо, и даже совсем неплохо! Выручка сделалась значительно больше, потому что, когда много товару, торгуется совсем иначе. Как вы думаете: когда много рыбы в реке, ловится ведь совсем по-другому? Не так ли? Одно было плохо — расходы! У меня теперь были двойные расходы. Два семейства, не сглазить бы: мои домочадцы — об этом и толковать нечего, ну и вдобавок вдову корми. А детям, бедняжечкам, много нужно. Пять чужих детей: четыре мальчика и одна девочка! Шутка ли: обувь, платье, платить в хедер за учение, платить отдельно за обучение письму, наконец поездка куда-нибудь, какое-нибудь лакомство, и то, и се, и тому подобное... Все это нужно! Иначе ведь нельзя! А то — что люди скажут? Плохой опекун! Забрал себе денежки и не дает сиротам даже копейки на пряник... А то, что я тружусь, морочу себе голову, езжу за товаром, имею кучу должников, горя-злосчастья, и то, и се, и тому подобное, — это никого не касается! Но не взял же я ее, вдову значит, в компаньоны, чтобы делить с ней прибыль пополам! Ах, она вложила деньги? Так, во-первых, деньги помещены в товар, а во-вторых, деньги лежат не даром, я ведь плачу проценты!.. А чего стоит весь этот тарарам днем и ночью, и то, и се, и тому подобное?.. Попробуйте-ка быть опеку-

ном! Я должен думать о чужих детях, хотя они учиться или не хотят; идут ли они путем праведным или неправедным, и то, и другое, и тому подобное... Что я им, действительно, отец родной, обязан обо всем заботиться? В нынешнее время и собственных детей от всего не убережешь. Особенно если еще бог даст плохого ребенка, так это совсем «благословение господне». Менаше, да простит он мне, был человек простой, но честный, а детей он произвел на свет, да сжалится над ними господь! Один хуже другого! Старшие — те еще как-нибудь: один — глухой и пришибленный, бедняга, так я его в ремесло определил; другой — просто идиот, но тихий, никого не трогает и ничего не требует. Третий в детстве казался хорошим ребенком, но когда подрос, связался с босой командой и сделался настоящим шарлатаном, спаси и сохрани господь! Он так долго бушевал, буянил, вытворял и то, и се, и тому подобное, что мне пришлось дать ему немного денег — и, будь здоров, поезжай в Америку! С детства его тянуло в Америку! И мы избавились... А девушку я отдал замуж. Почти тысячу рублей дал ей приданого, одел ее, свадьбу справляли с музыкой, и то, и се, и тому подобное... Все как полагается, почти как для родной дочери. А как же? Как может быть иначе? О чем говорить? Ведь отца у несчастных детей нет, а она, мать то есть, — дура; кто же, если не я, спрашивается, будет себе лоб за них расшибать? «Дурак ты, дурак! — частенько говорила мне моя старуха. — Очень нужно тебе убиваться — устраивать жизнь чужих детей! Вот увидишь, как «отблагодарят» тебя за твои заботы». Так, бывало, говорит она мне. И она оказалась права: мне действительно отплатили злом за добро! Вы сейчас услышите, какая напасть на меня свалилась. Я крепче железа, говорю я вам, если выдерживаю это.

Короче — из всех детей, которых Менаше, царство ему небесное, оставил, есть один, самый младший, зовут его Даниельчик. Вот это, хвала богу, мальчик! «Удачный» мальчик, цаца, настоящее «сокровище»! С самого детства это был не ребенок, а наказание господне! Пяти лет он бил мать голенищем по щечкам, и именно в субботу утром, перед тем как отправиться в синагогу! Сорвать у матери с головы платок в присутствии посторонних — это было для него обычным делом. Эта женщина, скажу я вам, просто железная женщина, если она могла

все это вынести! День и ночь только и заботы что о Даниельчике. Каждый раз, когда я приходил к ним, я заставал ее, вдову то есть, в слезах: за что бог наказал ее таким ребенком? Почему он не сгинул у нее в утробе, прежде чем на свет божий родился? Всего, что этот мальчик творил, пересказать невозможно. Он стащил у матери колечко, серьги, нитку жемчуга, шелковый платок; унес лампочку, ножик, старые очки, и то, и се, и тому подобное... Ему все годилось! Он тащил из дому и продавал, а деньги тратил на конфеты, орехи, арбузы, на хороший табак для себя и своих товарищей. Можете себе представить этих знаменитых товарищей! Бродяги, воры, пьяницы — черт его знает, где он их выкопал! Все, что у него было, он отдавал своей шатин: шапку, новые сапоги, даже верхнюю рубашку снял с себя. «Даниельчик, что ты делаешь? Новые сапоги отдаешь?» — «Наплевать, — говорит. — Жалко: бедняга босой ходит...» Как вам нравится этот благодетель! О деньгах и говорить нечего: где только раздобудет какой-нибудь грош, тут же отдает его своей братве. «Даниельчик, поборйся бога, что ты делаешь?» — «Наплевать, — говорит. — У него тоже живая душа, ему тоже есть хочется». Как вам нравится такой философ? Какой благодетель нашелся! Одним словом, мальчик — «чудо природы!» И может быть, вы думаете, глупый мальчик или, не дай бог, лицом не вышел? Так нет же — ловкий, красивый парень, плясун и весельчак. Но такая уж дурная кровь в нем, черт бы его побрал! Чего только мы с ним не делали! Пытались повлиять на него и по-плохому и по-хорошему. Запирали его одного на трое суток, били, сломали на нем мою хорошую бамбуковую трость, три рубля стоила. Как с гуся вода! Отдавали его учиться ремеслу, хотели сделать из него часового мастера, ювелира, столяра, музыканта, кузнеца и то, и се, и тому подобное... Невозможно! Он не хочет работать, хоть режьте его! «Кем ты будешь, Даниельчик?» — «Вольной птицей», — отвечает он и смеется. «Вольной птицей? — говорю я. — Нет, арестантом, вором ты будешь!» — «Наплевать!» — скажет он, повернется и уйдет.

Короче — мы махнули на него рукой. Пускай растет как знает. И выросло-таки дитяtko на утешение! Что вам сказать? Красть он, правда, перестал, да и нечего стало красть. Но вообще его поведение, его милые

друзья-приятели!.. А его наряд?! Красная рубашка поверх брюк, большие сапоги, волосы отрастил, как дьякон, морду побрил — одним словом, хорош! Ко мне он никогда не осмеливался обращаться. Когда ему что-нибудь нужно было, он действовал через нее, через мать, значит. А мать — такая дура: она его еще больше любит, сокровище свое, для нее он всегда хорош. Прихожу я однажды в магазин, смотрю: молодчик наш тут как тут, ждет меня.

— Добро пожаловать, приветствую гостя, — говорю я. — Что скажешь хорошего?

— Я пришел, — говорит он, — вам сказать, что я же-нюсь.

— Поздравляю, — говорю я, — в добрый час! На ком ты женишься?

— На Асне, — говорит он.

— Какая Асна?

— Наша Асна, — говорит, — которая служила у нас в доме.

— Все дурные сны на мою голову! На прислуге женишься?

— Наплевать! — говорит он. — Разве прислуга не человек?

— Горе, горе твоей матери! — говорю я. — Ты пришел, значит, пригласить меня на свадьбу?

— Нет! — отвечает он — Я пришел поговорить относительно одежды. Мне надо к свадьбе приодеться. Мы с Асной посчитали, что нам необходимо следующее: мне — костюм суконный и костюм парусиновый на лето, дюжину сорочек и полдюжины верхних рубах; Асне — ситцу на платье и одно платье шерстяное; на сорочки кусок полотна, только морозовского; меху на шубу, два головных платка, полдюжины носовых платков, и то, и се, и тому подобное...

— И больше ничего тебе не нужно? — говорю я, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.

— Больше ничего, — говорит он.

Короче — я так хохотал, что чуть не свалился со стула. На меня глядя, стали смеяться и мои служащие. Стены магазина чуть не рухнули от смеха. Насмеявшись в досталь, я обратился к моему милому жениху:

— Скажи мне, пожалуйста, Даниельчик-сердце, разве ты вложил столько денег в мой магазин, что решил прийти ко мне с целым списком?

Не знаю,— говорит он, — сколько точно придется на мою долю. Но если деньги, которые оставил мой отец, разделить на пять частей, то этого на мою свадебную одежду хватит и еще немного, пожалуй, останется и на после свадьбы.

Короче — что вам сказать? Когда он произнес эти слова, то как будто кто-то мне в сердце из пистолета выстрелил, или обжег меня пламенем, или окатил кипятком, или я сам не знаю, что со мной сотворилось. У меня потемнело в глазах! Вы понимаете: мало того, что я нянчился с ними столько лет, что на моей шее сидела несчастная вдова с пятью детьми, что я всех устроил, обеспечил, и то, и се, и тому подобное, — так на мою голову вырастает этот лоботряс и начинает разговаривать о наследстве!

— Ну что, получилось по-моему! Я же тебе говорила, что камнями тебя отблагодарят, — говорит мне жена.

Короче — что долго рассказывать, я дал ему все, что он хотел. Стану я связываться с каким-то молокососом! Только этого не доставало! На, иди ко всем чертям, пропади ты пропадом, подавись — только бы избавиться от напасти... Но вы думаете, что я уже избавился? Нет, подождите! Сейчас вы услышите, все еще только начинается.

Не прошло и месяца после свадьбы, приходит он ко мне, этот милый молодчик, чтобы я ему, ради бога, немедленно дал двести двадцать три рубля.

— Из какого это расчета двести двадцать три рубля?

— В эту сумму обойдется, — говорит он мне довольно хладнокровно, — пивная лавка с бильярдом.

— Какая пивная? Какой бильярд?

— Я нашел дело, — говорит он, — я открою пивную с бильярдом. Асна будет продавать пиво, а я буду следить за игрой на бильярде. Это может, — говорит он, — приносить приличный доход.

— Хорошенькое занятие ты себе нашел! — говорю я моему новоиспеченному дельцу. — Тебе действительно подходят такие дела: пивная и бильярд!

— Наплевать! — говорит он. — Лишь бы никого не обзедолить. Сухой коркой питаться, только чужого не брать.

Как вам нравится этот Даниельчик? Он читает мне мораль!

— На здоровье, — говорю. — Продавайте себе пиво и играйте себе на бильярде. При чем же здесь я?

— Это касается вас потому, что вы должны дать денег, двести двадцать три рубля.

— Что значит я должен дать? Из каких это денег, например?

— Из денег моего отца, — отвечает он, не моргнув.

В эту минуту мне хотелось схватить его за шиворот и выбросить вон, ко всем чертям! Но тут я рассудил: с кем это буду я связываться, руки пачкать? Ну его к черту, где мое не пропадало!

— Скажи мне, Даниельчик, — обращаюсь я к нему, — знаешь ли ты, по крайней мере, сколько денег оставил твой отец?

— Нет, — говорит он, — зачем мне это знать? Я с этим могу подождать до будущего года, когда мне, бог даст, исполнится двадцать один год и я стану совершеннолетним. Тогда я у вас попрошу отчета... Пока что дайте мне двести двадцать три рубля. Мне нужно идти.

От этих речей у меня в глазах потемнело. Почему? Не потому, что я, упаси бог, боюсь кого-нибудь. Чего же мне бояться? Мало я на них потратился? Шутка сказать — содержать столько времени несчастную вдову с пятью детьми, всех обеспечить, всех устроить, и то, и се, и тому подобное... А этот озорник собирается просить у меня отчет!

Короче — я вынул двести двадцать три рубля и отдал ему и только бога молил, чтоб на этом кончилось. И действительно, некоторое время я не видел его. Но вот прихожу я однажды домой, — ага, голубчик мой тут! Сердце у меня упало. Но показать, что я встревожен его приходом, не хочу. Прикидываюсь простачком и обращаюсь к нему:

— Вот гость! Почему это тебя, Даниельчик, не видно? Как твое здоровье? Как идут твои «дела»?

— Здоровье, — говорит, — наплевать, а дела неважные.

«Поздравляю, — думаю я себе. — Это снова пахнет деньгами».

— А именно? Что случилось? Плохо идет торговля, нет денег?

— Что деньги? Кто говорит о деньгах? Деньги — наплевать. У меня, — говорит, — нет пивной, нет бильярда, нет жены. Она меня бросила, Асна, значит. Но черт с ней, наплевать! Я уезжаю, — говорит, — в Америку. Брат давно уже зовет меня в Америку.

У меня камень с души свалился, когда я услышал, что он едет в Америку. Он вдруг показался мне таким милым, что если б мне не стыдно было, я бросился бы его целовать...

— В Америку, — говорю я. — Правильно! Америка, говорят, свободная страна. Люди там, говорят, наживают, богатеют. А если у кого есть там родной человек, так и совсем хорошо. Ты пришел, значит, проститься со мной? Очень мило с твоей стороны... Но не забудь хоть иногда нам весточку прислать. Все-таки свои люди, как говорится... Даниель, может быть, тебе не хватает на дорогу? Я могу тебе помочь немного.

— За этим я и пришел к вам. Мне нужно триста рублей.

— Триста рублей? Не много ли? Может быть, хватит полтораста?

— Зачем вам со мной торговаться? Разве я не знаю, что, скажи я вам четыреста, вы мне и четыреста дадите. И пятьсот тоже, и шестьсот тоже дадите. Но мне не нужны деньги. Наплевать! Мне нужно только триста целковых на дорогу.

Так говорит он мне, Даниельчик, значит, и смотрит мне прямо в глаза. «Триста болячек моим врагам! — думаю я. — Если б знать хотя, что это — все, конец: он не будет больше приходить, и то, и се, и тому подобное...»

Короче — я вынул и отсчитал ему копейка в копейку триста рублей. И купил еще подарок его старшему брату — целый фунт чаю Высоцкого, тысячу хороших папирос и несколько бутылок вина «Кармел». Кроме того, жена зажарила ему утку на дорогу, положила булок и апельсинов, и пропади ты пропадом, и то, и се, и тому подобное... И мы проводили его, как родного. Распрощались, поцеловались и плакали даже, дай мне так бог счастья. Все-таки он на моих руках вырос, и славный все-таки он был парень, зачем я буду лгать. Он только немножко озорник, но сердце у него — дай мне бог такое счастье, какое у него сердце! Правду скажу, немножко я рад был, что он уехал: избавился от напасти. И немножко мне было жаль его: совсем ведь еще мальчик, на чужой стороне; бог весть куда попадет и какая еще ждет его доля... Хоть написал бы когда-нибудь. А может быть, лучше, чтоб и совсем не писал. Пусть живет себе там сто

двадцать лет, дай ему бог счастья. Поверьте, я молил бога за него, как за родного сына.

И что же? Не прошло и двух лет с тех пор, как он отправился в Америку, как вдруг однажды открывается дверь и входит кто-то, похожий на немца, в котелке — крепкий, красивый детина — и бросается меня целовать!

— В чем дело? — говорит он. — Вы меня не узнали или делаете вид, что не узнаете?

— Тьфу, черт тебя возьми! Это ты, Даниельчик? — говорю я и стараюсь улыбнуться. А в душе у меня огонь горит, и я думаю себе: «Почему ты не погиб, ко всем чертям, где-нибудь там в поезде или в море не утонул?» — Когда ты приехал, Даниельчик, и что ты тут думаешь делать?

— Приехал я сегодня утром, — говорит он. — А зачем я приехал? Я приехал, — говорит, — чтоб с вами рассчитаться.

Когда я услышал слово «рассчитаться», точно меня трижды насквозь проткнули. Какие могут быть счета со мной у этого шарлатана? Но я взял себя в руки и ответил ему:

— Зачем, собственно говоря, нужно было тебе затрудняться приезжать сюда из Америки? Ты мог ведь по почте выслать мне, сколько ты мне должен...

— Что, я вам должен? — говорит он с милой усмешечкой. — Я не знаю, кто из нас кому должен. Я боюсь, что именно с *вас* причитается.

— Кому? — говорю я. — Тебе, может быть, причитается?

— Мне, — говорит он, — и моим братьям, и сестре — всем нам. Я специально для того и приехал из Америки, чтоб рассчитаться за всех нас... Я хочу получить отчет в отцовских деньгах. Что *вам* причитается — вы себе возьмете, что *нам* причитается — вы нам выплатите. А если там будут какие-нибудь маленькие неточности, так наплевать! Мы, наверное, поладим, не поссоримся, ей-богу! Что же вы подельваете? Как дети? Я всем им привез подарки...

Еще минута — и я упал бы в обморок или схватил стул и проломил бы ему череп... Я был вне себя, но сдержался и сказал, что, бог даст, на той неделе мы увидимся и поговорим. Сам же я отправился к адвокатам разузнать, как мне быть, как выбраться из этой беды. Но адвокаты, бог их ведает, действительно ли ничего не

знают или прикидываются незнайками. Один говорит, что так как прошло больше десяти лет, то все пропало — никакого отчета спросить с меня не могут. Другой говорит: нет, пусть пройдет хоть сто лет, но, если я опекун, я должен дать отчет... Тогда я ставлю такой вопрос: «Как могу я дать отчет, если я не вел никакой книги и у меня нет никаких счетов?..» Тогда этот адвокат говорит: «Вот это-то нехорошо...» — «Что плохо, это я и сам знаю, вы скажите, что делать?!» Так он молчит...

Я железный, говорю я вам! Не знаю, как я все это вынесу! И на что мне это нужно было, скажите, пожалуйста, весь этот тарарам, и то, и се, и тому подобное...

Какой черт понес меня сделаться опекуном чужих детей?

Уж в тысячу раз лучше было бы, если б я тогда в горячке лежал, или ногу сломал, или другое какое несчастье поразило меня, нежели натерпеться горя с этим опекунством, несчастной вдовой, сиротами, Даниельчиком, отчетом... и тем, и другим, и тому подобным...

Конец рассказа № 17.



РАССКАЗ № 18

На-кося — выкуси!

Против меня, у окна, сидит улыбающийся человек. Сияющие его глаза, кажется, проникают вам в самую душу. Человек этот давно уже поглядывает на меня, ждет одного только моего слова. Видать, тоскливо стало ему сидеть один на один со мной в пустом вагоне и молчать. И вот он ни с того ни с сего вдруг рассмеялся, а затем сказал:

— Вы спрашиваете, чего я смеюсь? Мне вспомнилось, как я обманул Егупец. Ха-ха-ха. Да, да, какой я ни на есть Мойше-Нахмен из Конелы, человек с одышкой и кашлем, а выкинул я номер в Егупце. Да еще какой номер! Ха-ха-ха. Дайте срок, откашляюсь — Пуришкевичу бы такой кашель! — и расскажу, что я там натворил.

Приезжаю однажды в Егупец. Зачем может приехать такой человек, как я, с одышкой и кашлем, в город? Понятно, к профессору. Вы ведь понимаете, что с одышкой и кашлем я частый гость в Егупце, правда, не очень-то почетный гость. Куда мне, Мойше-Нахмену из Конелы,

до Егупца, когда у меня нет правожительства! * Но, если у тебя одышка и кашель, одно с другим¹, и тебе нужно к профессору, — куда же деться? Прячешься, страдаешь; приедешь утром, уедешь вечером. А не то словишь «проходное» *, тогда заявишься в город через некоторое время. Только бы не идти по этапу! Пришлось бы шагать по этапу, я бы, наверно, не выдержал, — кажется, трижды скончался бы от одного стыда. Ведь я как-никак хозяин у себя в Конелах, у меня дом, корова, две дочери — одна замужем, другая на выданье, одно с другим. Как же иначе!

Итак, приезжаю в Егупец к профессору, верней, не к профессору, а к профессорам, — на консилиум к трем профессорам сразу. Решил добиться какого-нибудь толку, раз и навсегда установить, чем именно я болен. Гож я или не гож? Что у меня одышка, это они все признают, но как от нее избавиться — это дело другое. Маются, бедняги, пробуют по-всякому, идут ощупью. Вот, к примеру, прихожу я к своему старому профессору Стрицелю, — скажу вам, замечательный профессор, — выписывает мне «кодеини сахари пульвери». Стоит недорого и сладковато на вкус. Являюсь к другому профессору. Этот выписывает «тинктуру опии», капли такие, на вкус большая гадость. Третий профессор тоже выписывает капли, такую же дрянь, но называются они не «тинктура опии», а «тинктура тебиака». Понятно вам? Тогда я отправляюсь к своему профессору. Этот дает мне какую-то горечь, которая называется «морфиум аква амигдалариум». Вы удивляетесь, что я знаю латынь? Я знаю латинский, как вы английский. Но когда у человека одышка, кашель, туберкулез, одно с другим, он поневоле научится латыни.

Итак, приехал я в Егупец на консилиум. Где же остановиться такому человеку, как я, когда он приезжает в город? Конечно, не в гостинице и не в отеле. Во-первых, там шкуру сдерут; во-вторых, как могу я остановиться в отеле, когда у меня нет правожительства? Заезжаю, по обыкновению, к своему шуруну. Есть у меня в городе шурин, бедолага несчастный, меламед-неудачник, бедняк, каких мало, — Пуришкевичу бы его достаток! Детей полон дом, — упаси и помилуй! Но вот бог сжалился над ним и дал ему правожительство. Настоящее правожит-

¹ Одно с другим (польск.).

тельство! Откуда у него это? Все дело в Бродском*. Он служит у Бродского. То есть, боже сохрани, не директором заводов. Он чтец торы в молельне для портных, в подвале синагоги Бродского. Выходит — «духовное лицо», или, как это там называется, — «обрядчик». Ну, а раз он «обрядчик», значит, имеет право жить на Мало-Васильковской, где когда-то жил полицмейстер. И вот живет он на Мало-Васильковской, поблизости от бывшего полицмейстера, а сам перебивается с хлеба на воду. Вся его надежда только на меня. Я главный богач среди родни. Приеду в Егупец, остановлюсь у них, возьму обед, ужин, сбегают они по моему поручению, одно с другим, — глядишь, рублик-другой им и перепадет. Пуришкевичу бы такие заработки!.. В этот раз приехал, гляжу — родственники мои ходят мрачные, совсем головы потеряли. «В чем дело?» — «Плохо». — «А именно?» — «Облавы». — «Тьфу! — говорю. — А я думал бог весть что. Облавы — это старая болячка, еще с сотворения мира». — «Нет, — отвечают они, — облава облаве рознь. Теперь не проходит и ночи без облавы. А поймают еврея, так кто бы он ни был, — раз, два — и по этапу». — «Ну а деньги?» — «Чепуха». — «Рублик?» — «Не помогает». — «Трешка?» — «Даже миллион». — «Если так, говорю, то действительно плохо». — «Бывает и того хуже, — отвечают мне. — Сначала штраф, а там уж — по этапу. К тому же опозоришься перед Бродским». — «Ну, ладно, говорю, Бродский туда, Бродский сюда! Не могу же я из-за Бродского лишиться здоровья. Я приехал на консилиум к профессорам. Не бежать же мне теперь обратно!»

Однако разговоры разговорами, а день уходит. Надо бежать к профессорам насчет консилиума. Но куда там консилиум? Какой консилиум? Один может явиться в среду до обеда, другой — в понедельник после обеда, а третий — не раньше как в будущий четверг. Вот и поди ты! История на три недели да еще со средой. Какое им дело до того, что у Мойше-Нахмена из Конелы одышка и кашель — дай бог Пуришкевичу! — и он ночами не спит?! Между тем наступила ночь. Поужинали мы и легли спать. Только вздремнул, слышу — трах-тарарах! Раскрываю глаза: «Кто это?» — «Мы пропали!» — отвечает шурин-неудачник. Стоит подле меня ни жив ни мертв, дрожит как осиновый лист. «Что же теперь делать?» — спрашиваю я. «А это уж ты теперь скажи, что

делать». — отвечает он. «Ну, что станешь делать? Плохо. Горько». — «Горечь горечи рознь. Тут точно желчи на-лакался». А в дверь все: трах-тарарах! Малые ребята пробудились с ревом: «Мама!» А мать зажимает им рты, чтобы они смолкли. Веселая история! «Эх, думаю. Мойше-Нахмен из Конелы, здорово ты влип! Дай бог такое Пуришкевичу!» Вдруг в голову мне приходит одна комбинация, и я говорю шурина: «Вот что, Довид, будь ты мной, а я тобой!» Он смотрит на меня как козел: «То есть как?» — «А так, отвечаю, перепутаем все карты. Ты дашь мне свой паспорт, а я тебе свой. Ты станешь Мойше-Нахмен, а я Довид». Вот тупица! Смотрит на меня грешник этот и ничего не понимает. «Осел! — говорю ему. — Что ж тут непонятного? Кажется, простая комбинация. Малый ребенок и тот поймет. Ты покажешь им мой паспорт, а я твой, одно с другим. Ну, разжевал? Или тебе надо не только разжевать, но и в рот положить?»

Видно, дошло до него. И мы стали меняться: я ему дал свой паспорт, он мне — свой. А тут уже двери трещат — трах-тарарах! Трах-тарарах! «Чего вы там? — говорю. — Времени у вас нет, что ли? У нас не горит!» А шурина напоминаю: «Помни же, тебя зовут не Довид, а Мойше-Нахмен». После этого направляюсь к двери: «Добро пожаловать, дорогие гости!» Ввалилась целая ватага всяких чинов. Как говорится, гуляй и веселись!

Понятно, прежде всего взялись за шурина. Почему так? Потому что я держу себя как подобает порядочному человеку. Говорят ведь: хоть лупи себя по щекам, а кажись румяным! А он? Дай боже Пуришкевичу! Схватили его и давать выпытывать: «Откуда явились, господин еврей?» Молчит. Тут я выступаю в роли защитника и говорю ему: «Человече, чего ж ты молчишь? Говори! Скажи им, что ты Мойше-Нахмен из Конелы». А к ним обращаюсь с мольбой: «Так, мол, и так, ваше высокоправожительство! Бедный, несчастный родственник! Давно не видались. Приехал из Конелы». А сам чуть со смеху не валюсь. Ха-ха-ха! Вы понимаете? Я, Мойше-Нахмен из Конелы, умоляю за Мойше-Нахмена, то есть за самого себя. Ха-ха-ха!

Вся беда в том, что мои мольбы помогли как мертвому припарки. Схватили моего молодца и потащили его по всем правилам, со всем парадом, в участок, как сам бог велел. Хотели и меня забрать, даже забрали,

но сразу и выпустили. Чего они, в самом деле, будут меня держать? Ведь у меня в бумагах черным по белому написано, что я человек с правожительством, «обрядчик» в синагоге Бродского. Ну и рублевка, конечно, тоже пошла в ход, одно с другим, понимаете ведь. «Ладно, — говорят они мне, — господин «обрядчик»! Ты поди пока домой, поешь кугл. Мы тебе уж потом покажем, как держать контрабанду на Мало-Васильковской!» Выходит, свежеиспеченным калачом да прямо по морде! Ха-ха-ха!

Рассказывать ли дальше? О консилиуме уж говорить не приходится. Какой там консилиум, когда шурина надо спасать! От чего, думаете? От этапа? Боже упаси! Тут уж ничего не помогло. Он шел по этапу как миленький. Еще как шел, — дай бог Пуришкевичу! Мы еле дождались прихода этого бедолаги в Конелу, все глаза просмотрели, дожидаясь. А когда его уж доставили на место, тут на него обрушилась новая беда: чужой паспорт, чужая фамилия, одно с другим! Уж и не спрашивайте! Пришлось мне с ним немало повозиться. Сколько мне все это стоило, я хотел бы зарабатывать каждые три месяца. Кроме того, я и поныне содержу его семью — жену и детей. Ведь он кричит, что я погубил его, сделал несчастным; из-за меня он потерял правожительство и должность у Бродского. И возможно, он здесь не так уж не прав. Но главное, ха-ха-ха, не в этом. Главное — это находка, это моя комбинация. Вы понимаете, что это такое? Человек из Конелы, с одышкой и кашлем да еще с туберкулезом, одно с другим, — Пуришкевичу бы такое! — и без всякого правожительства, — и все же, когда нужно, он приезжает в Егупец, останавливается на Мало-Васильковской, поблизости от дома полицмейстера, и на-кося — выкуси!

Конец рассказа № 18.

РАССКАЗ № 19

Третьим классом

Это уж, собственно, не рассказ, а просто беседа, несколько слов на прощанье и дружеский совет.

Дорогие читатели! Перед тем, как с вами расстаться, я в благодарность за то, что вы терпеливо выслушали все мои рассказы, хочу хоть чем-нибудь быть вам полезным, сказать несколько слов практичного человека, коммивояжера. Выслушайте меня и запишите, что я вам скажу.

Если вы собираетесь отправиться поездом в дальний путь и хотите почувствовать, что вы действительно путешествуете, получить удовольствие от всего этого, то не ездите ни первым, ни вторым классом.

Что касается первого класса, то о нем и говорить не приходится. Боже вас сохрани! То есть я говорю не о самой поездке первым классом. Ездить первым классом довольно неплохо: просторно, мягко, уютно — все удобства. Я не об этом. О людях, о пассажирах говорю. Я вас спрашиваю: что это за поездка? Сидишь один на весь вагон и не с кем даже слово вымолвить. Так можно ведь и говорить разучиться. А если и встретишь раз в десять лет пассажира, так это будет либо толстопузый барин с вздутыми щеками, как у человека, играющего на тромбоне, либо надутая дама, злая, как теща, либо безъязыкий иностранец в клетчатых брюках, который прилип к окну так, что его не оторвешь, если даже позади будет гореть весь вагон. Когда едешь с такими субъектами, поневоле на ум приходят всякие мрачные

мысли, и ты начинаешь подумывать о смерти. К чему это вам?

Ну, а вторым классом, думаете, лучше? Рядом в вагоне сидят разные пассажиры, как будто такие же, как и вы, — те же грешные люди. Беднягам хочется говорить до смерти, хочется знать, кто вы, куда едете, откуда сами. Но все сидят как истуканы и глазают друг на друга, набрали полон рот воды и молчат.

Как раз напротив вас сидит какой-нибудь франт. У него роскошные усы и большой ноготь на мизинце. Вы б поклялись, что знаете его, что видели его где-то. Но где именно? Вам кажется, что он иудейского племени, из наших. Но что поделаешь, когда тот помалкивает! Закрутил усы кверху, глядит в окно и насвистывает.

Если хотите такому субъекту досадить, чтобы он помер на месте, не ожил бы и при воскресении мертвых, обратитесь к нему на любом языке, когда поблизости сидят русские, особенно дамы. Но лучше всего спросите его по-русски: «Если не ошибаюсь, я имел удовольствие встретиться с вами в Бердичеве?» Это для него в тысячу раз хуже площадной брани.

Если же вы встретитесь с таким субъектом где-нибудь в Подолии или на Волини, можете с ним заговорить по-польски: «Пшепрашам пана! Ежли шеун не змилен, то зналем ойца пана з Ярмолинцу, ктурый был в ласках у ясновельможного Потоцкого?» По-нашему это означает: «Прошу извинения! Но если не ошибаюсь, я был знаком с вашим отцом из Ярмолинца; его уважал граф Потоцкий». Никакого оскорбления здесь нет. Но в «Ярмолинцы» и в «его уважал граф Потоцкий» есть определенный намек.

Вот погодите, я расскажу вам одну историю, свидетелем которой я сам был.

Это случилось в курьерском. Не было третьего класса, и я вынужден был ехать вторым. Напротив меня сидел не то русский, не то еврей, скорей всего еврей. А впрочем... Кто его знает? Красивый молодой человек, одет как спортсмен, с черным поясом на белых брюках. К тому же кавалер. Почему кавалер? Потому что он все время ухаживал за красивой барышней, настоящей фрейлейн, с высоким шиньоном и с пенсне на маленьком точеном носике. Познакомились они тут же в вагоне и вскоре подружились. Она угощала его шоколадом, а он

развлекал ее сначала армянскими, а затем еврейскими анекдотами, и оба покатывались со смеху. Особенный хохот вызывали у нее еврейские анекдоты, которые этот субъект рассказывал с таким смаком, с каким их обычно рассказывают только черносотенцы, при этом он не обращал внимания на то, что я, может быть, еврей и это может меня обидеть... Словом, роман подвигался нормально, все шло как по маслу. Он уже подсел к ней (прежде он сидел против нее) и заглядывал ей в глаза, а она играла цепочкой от его часов, которая была прикреплена у черного пояса на белых брюках. Вдруг откуда ни возьмись на одной из станций — не помню уж на какой — в вагон заявился прихрамывающий еврей, рыжий, потный, с белым парусиновым зонтиком; он сразу же протянул руку нашему спортсмену с черным поясом на белых брюках и сказал попросту на нашем еврейском языке:

— Мир вам. Я узнал вас в окно. Могу передать привет от вашего дяди из Монастырища.

Понятно, на этой же станции нашего спортсмена как ветром сдуло, и барышня осталась одна. Но этим история еще не кончилась. Барышня — уж безусловно не еврейка, иначе зачем же было спортсмену удирать. Через несколько станций она принялась укладываться и все это время ни словом не обмолвилась со мной, даже не глянула в мою сторону, точно меня и не существует. А на станции, где она сошла, ее ожидали благообразный еврей, патриарх с бородой, настоящий праотец Авраам, и еврейка в парике, с большими брильянтами в ушах. «Ривочка! Доченька!» — вскрикнули старики и со слезами на глазах припали к ее груди.

Думаю, комментарии к этой истории излишни. Я лишь хотел познакомить вас с людьми, которых встречаешь во втором классе, доказать, что ехать вторым классом не следует, потому что там вы чужой, чужой среди своих.

Но вот если вы едете третьим классом, тут вы как у себя дома! А что и говорить, если в вагоне одни только евреи! Тогда вам лучше, чем дома. Правда, третьим классом не так удобно, место надо взять с бою, в вагоне шум, гам, толчея, галдеж; не поймете сразу, где вы находитесь и кто ваши соседи. Зато вы тут моментально знакомитесь со всеми. Все знают, кто вы, куда едете, чем занимаетесь; а вы тоже провели о всех — кто они,

куда едут и что делают. Ночью вам незачем спать, потому что у вас есть с кем поговорить; а если вы не разговариваете, говорят они и не дают вам спать. Да и что это вдруг за спанье в вагоне? Конечно, лучше потолковать с человеком, — ведь когда говоришь, всегда до чего-нибудь договоришься. Столько счастливых лет мне, сколько раз случалось, что из таких вот разговоров с совершенно чужим человеком выгорит дельце, сосватаешь кого-нибудь или просто узнаешь что-нибудь полезное для тебя.

Возьмем, к примеру, разговоры о докторах, о катаре желудка, о лимане, зубной боли, нервах, о Карлсбаде и тому подобных вещах. Как будто совершенно пустые разговоры! Не так ли? И все же со мной однажды случилось такое дело. Как-то ехал я с компанией соплеменников. Разговаривали о докторах, о лекарствах. Я тогда, не про вас будь сказано, мучился желудком. И вот один каменецкий еврей дал мне свое лекарство, порошки какие-то. Порошки эти, сказал пассажир из Каменца, прописал ему не доктор, а зубной врач, но порошки чудесные. Желтые такие. Собственно, сами порошки белые, как обычно порошки бывают, только бумажка желтая. И пассажир этот поклялся своим здоровьем, женой, детьми, что порошки эти его выручили. «Если б не эти порошки, — сказал пассажир, — я был бы уже ого-го где! Много порошков вам не нужно, — добавил он, — два-три порошка — и вы готовы. Конец желудку, — говорит он, — конец докторам, конец хапугам, конец кровопийцам, черт бы их батьку побрал! Хотите, — заявил он, — я одолжу вам два-три порошка? Скажете спасибо».

Так оно и было. Приехал я домой, принял порошок, другой, третий, и мне стало, не сразу, а чуть попозже, к полуночи, не про вас будь сказано, так «легко», что казалось, вот-вот богу душу отдам. Мне уж думалось — ну, конец моей жизни! Вызвали доктора, второго, — еле-еле спасли... С той поры я знаю, убедился на опыте: если каменецкий еврей дает свое лекарство, желтый порошочек, — черт бы его батьку побрал! Ничего даром не дается!

Если вы утром в третьем классе спохватились, что у вас нет талеса и филактерий, — не волнуйтесь: стоит только захотеть, и вас обеспечат всем этим немедленно. Зато, разделившись с молитвами, будьте любезны, раскройте свой чемоданчик и выложите все, что у вас там

есть; имеются коржи — давайте коржи, есть водка — давайте водку, яйца — пускай будут яйца, птица, рыба! Может, у вас там яблоки, апельсины, штрудель, — принимайте, не стесняйтесь, кладите на стол! Все закусят с вами, никто не откажется. В дороге, да еще в компании, понимаете ли, аппетит у всех особенный. Тем более если у вас с собой стаканчик вина! Тут охотников найдется уйма, а знатоков — без счета. Каждый назовет вино по-иному, укажет другую цену. Один назовет его «Бессарабский мускат», другой — «Заграничный Аккерман». Тогда встанет третий и скажет сердито: «Какой «Мускат»! Что за «Аккерман»! Это просто «Каушанское бордо». Но тут из угла выползет еще один и с усмешкой настоящего знатока выхватит у вас стакан. Похоже, что он хочет сказать: «Спорят, идиоты! Дайте-ка я приложусь!» А после того как хлебнет он раза два и щеки у него зарумянятся, как у именнинника, он заявит:

— Знаете, люди, что это такое? Нет, вы не знаете, что это такое! Это обыкновенные, честные, незапятнанные, чистые выморозки из Бердичева.

И все согласятся, что это настоящий бердичевский выморозок. А когда хлебнут немного выморозка, языки сами собой развяжутся. Тут каждый выкладывает все, что у него на душе, и прощупывает соседа. Все говорят, и обязательно разом. И тогда-то узнают друг от друга о всех горестях, напастьях, гонениях, творимых на белом свете. Одно удовольствие!

Когда вы едете третьим классом до какого-либо города и не знаете, куда заехать, вам стоит только спросить у соседей, не знает ли кто-нибудь приличной гостиницы. И сколько в вагоне соплеменников, столько вам укажут гостиниц и отелей. Один рекомендует отель «Франкфурт» и превозносит его до небес. «В отеле «Франкфурт», — заявляет он, — тепло, светло, чисто и недорого, — просто даром». Но тут второй заявляет: «Отель «Франкфурт»? Упаси вас бог! Да ведь там холодно, темно, грязно и дороговизна невероятная. Если хотите, — добавляет он, — получить удовольствие, остановитесь в отеле «Нью-Йорк». Тут вскакивает третий: «Да что они будут делать в отеле «Нью-Йорк»? Что они, соскучились по клопам? Не слушайте их! Тоже мне, «Франкфурт», «Нью-Йорк»! Послушайте меня! Давайте ваш узелок, и мы вместе заедем в мою гостиницу «Россия». Там останавливаются евреи».

Конечно, вам нужно в это время хорошенько помнить о своем чемодане, чтобы его между делом, упаси бог, не «отговорили» у вас. Но скажите на милость, где по нынешним временам не воруют в нашем благословенном отечестве? Быть обворованным, если хотите знать, это просто рок. Если суждено, вас обворуют среди бела дня, прямо на ходу. Не спасут ни полиция, ни жандармы, ни молитвы. Вы еще поблагодарите всевышнего за то, что сами остались живы.

Одним словом, ездите только третьим классом! Это совет доброго друга и наказ практичного человека, коммивояжера.

До свиданья!

Конец рассказа № 19.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ





НОЖИК

Рассказ для детей

«Не укради».

Седьмая заповедь

1

Послушайте, ребята, я расскажу вам историю о ножике, историю не выдуманную, а подлинную, которая случилась со мной!

Ни к чему на свете я так не стремился, ничего в жизни я так не желал иметь, как ножик, собственный ножик! Мне хотелось, чтобы у меня в кармане лежал ножик, чтобы я мог доставать его оттуда, когда захочу, резать, что захочу, — и пусть мои товарищи завидуют!

Когда я начал ходить в хедер к Йоселю Дардеке, у меня был ножик, то есть почти ножик или что-то вроде ножика. Я его сделал сам. Я выдернул из гусяного крыла

перо, с одного конца обрезал его, с другого расщепил и вообразил себе, что это... пожик и что он режет...

— Что это за перо, на мою голову? Что это за возня с перьями? — спросил отец, болезненный человек, с желтым, высохшим лицом, и закашлялся. — Ему бы только забавы! Перья! Кхе-кхе...

— Что тебе, жалко, что ребенок играет? — ответила ему мать, маленькая женщина, повязанная шелковым платком. — Что ты себя все расстраииваешь? Пусть лучше мои враги расстраиваются...

Позже, когда я приступил к изучению Пятикнижия *, я уже имел почти настоящий ножик — тоже собственной работы. Я нашел кусочек стали от маминого кринолина и очень искусно всадил его в кусок дерева. Потом я долго точил о горшок свой ножик и, конечно, при этом порезал себе все пальцы.

— Погляди-ка, как он себя разделал, наследничек твой! — закричал отец и схватил меня за пальцы так крепко, что кости затрещали. — Золотое дитя! Кхе-кхе...

— Ой, горе мое! — сказала мать, забрала ножик и, несмотря на мои слезы, бросила его в печь. — Ну, теперь этому будет конец...

Но вскоре я достал себе другой ножик, уже самый настоящий ножик — деревянный черенок, круглый, пузатенький, как бочонок, с горбатым лезвием, которое открывалось и закрывалось... Вы хотите знать, как я его достал? Я копил деньги, которые мне давали на завтрак, и на них купил ножик у Шлеймеле за десять полушек, семь — наличными, а три в долг...

Ах, как я любил этот ножик, как я его любил! Возвратившись из хедера домой, замученный, усталый, голодный, битый (должен вам сказать, что к этому времени я стал изучать Талмуд у меламеда Моти по прозвищу «Ангел Смерти»: «Бык, который боднул корову...» * А раз бык боднул корову, то я получаю оплеуху), я первым делам вытаскивал ножик из-под шкафа, где он лежал днем. В хедере держать его я не мог, а дома, уж конечно, никто не должен был знать, что у меня есть ножик. Я играл им, резал бумажки, перерезывал соломинки, нарезывал свой хлеб на маленькие, малюсенькие кусочки, накальвал эти кусочки на кончик ножа и лишь после этого клал их в рот. Вечером перед сном я вытирал ножик, брал брусок, который нашел у нас на чердаке, и, поплевав на него, потихоньку точил лезвие.

Отец в ермолке сидел над Талмудом. Он читал его и кашлял, кашлял и читал... Мама возилась на кухне с тестом. А я все точил да точил... Но вот, как бы очнувшись от сна, отец вдруг закричал:

— Кто это там пищит? Что он там возится? Что ты делаешь, негодник этакий?

И, подойдя ко мне, он нагнулся над брусом, схватил меня за ухо и закашлялся.

— Что?! Ножик? Кхе-кхе! — закричал отец и отобрал у меня и ножик и брусок. — Бездельник этакий! Книгу бы лучше взял в руки. Кхе-кхе...

Я громко заплакал. Отец вlepил мне несколько оплеух. Из кухни прибежала мать, с засученными рукавами, и закричала:

— Тише, что тут такое? Почему ты его бьешь? Бог с тобой, что ты пристал к ребенку?

— Ножик! — кричит отец и кашляет. — Что он, маленький, что ли? Лодырь этакий! Кхе-кхе... Хвор он книгой заняться? Парнишке восемь лет! Я ему дам ножики, балбесу этакому! Выдумал — ножики! Кхе-кхе...

О, господи! И что ему дался мой ножик, что такое он ему сделал, почему он на него так взъелся?

Я помню своего отца всегда больного, всегда бледного, желтого, всегда озлобленного и обиженного на всех и вся. Из-за каждого пустяка он выходил из себя и частенько готов был растерзать меня. Счастье, что мама защищала меня и спасала от его рук.

А ножик мой забросили... Забросили так далеко, что я целую неделю искал его и так и не мог найти. Горько оплакивал я мой ножик, мой чудный ножик. Как тяжело и грустно мне было в хедере при мысли, что вот, когда я вернусь домой с распухшими щеками и с красными ушами, надранными Мотей — Ангелом Смерти за то, что «бык боднул корову», никто меня не пожалеет. Одинок я, одинок, как сирота. И никто не видел слез, проливаемых мною ночью втихомолку у себя в постели. Вернувшись из хедера, я тихо плакал и так засыпал, чтобы на завтра утром снова идти в хедер, снова повторять про быка, который боднул корову, снова получать затрещины от Моти — Ангела Смерти, снова испытывать на себе гнев отца, слушать его кашель, его проклятья и не видеть ни одной радостной минуты, не видеть ни одного веселого лица, ни одной улыбки. Я был одинок, я был один на всем свете...

Прошел год, а может быть, и полтора. Я уже начал забывать свой ножик. Но, видно, мне было суждено все мои детские годы страдать из-за ножиков. На мою беду, появился новый ножик, совсем новенький, прелестный, изумительный, — честное слово! — прекраснейший ножик, с двумя стальными лезвиями, острыми, как бритвы, с белым костяным черенком в медной оправе, с красными медными заклепками — одним словом, замечательный ножик, настоящий завьяловский*. Каким образом у меня, бедного мальчика, появился такой великолепный ножик? Это целая история — печальная, но очень интересная, послушайте ее внимательно!

Как мог я относиться к нашему квартиранту, еврейскому немцу, подрядчику Герцу Герценгерцу, если говорил он по-еврейски, ходил с непокрытой головой, брил бороду, не носил пейсов и надевал сюртук, покрывавший — простите — только верхнюю половину тела? Я вас спрашиваю, как мог я сдерживаться и не помирать каждый раз со смеху, когда этот еврейский немец, или немецкий еврей, заговаривал со мной по-еврейски?

— Скажи мне, милый кнабе¹, а какой раздел из Пятикнижия должны читать в эту субботу?

— Хи-хи-хи, — фыркал я и прикрывал лицо рукой.

— Скажи же, киндхен², какой раздел из Пятикнижия должны читать в эту субботу?

— Хи-хи-хи, «Болок»*, — выпаливал я с хохотом и убежал от него.

Но все это было вначале, когда я его совсем еще не знал. После, когда я познакомился поближе с этим немцем, господином Герцем Герценгерцем (он жил у нас в доме целый год), я его так полюбил, что меня уж совершенно не трогало, что он не молится и не совершает омовения рук перед едой. Сначала я не понимал: как может жить этот человек на свете? Как только земля его носит? Почему он не подавится во время еды? Почему его непокрытая голова не оплешивеет? От Моти — Ангела Смерти я слышал из его собственных уст, что этот еврейский немец — оборотень, то есть что он еврей, превратившийся в немца, и что он может еще

¹ Мальчик (нем.).

² Детка (нем.).

превратиться в волка, в корову, в лошадь или даже в утку... «В утку? Хи-хи-хи! Вот это дело!» — так думал я и искренне жалел немца. Одного лишь я не мог понять: почему отец, набожный и богобоязненный еврей, всегда уступал ему почетное место и почему другие евреи, приходившие к нам, оказывали ему уважение:

— Здравствуйте, господин Герц Герценгерц!

— Да будет мир с вами, господин Герц Герценгерц! Садитесь, пожалуйста, господин Герц Герценгерц!..

Однажды я даже спросил у отца об этом, но он прогнал меня:

— Убирайся отсюда, это не твое дело! Что ты все в ногах путаешься? Лучше бы позанялся Талмудом!

Опять Талмуд! Боже мой!.. Я тоже хочу смотреть, я тоже хочу слышать, что он говорит!

Как-то, войдя тихонько-тихонько в комнату, я забрался незаметно в уголок и стал слушать, о чем разговаривают, как громко смеется господин Герц Герценгерц, раскуривая толстую черную сигару, которая так прекрасно пахнет. Вдруг подошел отец и отпустил мне оплеуху.

— Ты опять здесь, бездельник?! Что из тебя выйдет, неуч ты этакий! Господи, чем этот мальчишка кончит? Кхе-кхе-кхе...

Господин Герц Герценгерц вступился за меня:

— Не трогайте мальчика, не трогайте его...

Но это было бесполезно. Отец прогнал меня. Я достал Талмуд, но сидеть над ним не хотелось. Что делать? Я бродил из одной комнаты в другую, пока не пришел в ту, лучшую комнату, которую занимал господин Герц Герценгерц. О, как там было светло и красиво! Горели лампы, сверкали зеркала. На столе — большая серебряная чернильница, красивые перья, человечки, лошадки, всякие безделушки, костяшки, камушки и... ножик. Что за ножик! О, если бы мне такой ножик! Как я был бы счастлив! Какие бы вещи я вырезал этим самым ножиком! Ну-ка, надо попробовать, остер ли он? Еще бы! Он режет волос! Ой-ой, какой это ножик!..

Мгновение, и ножик у меня в руках. Я оглядываюсь по сторонам и пытаюсь положить ножик на минутку, только на одну минуточку к себе в карман. Рука дрожит... Сердце стучит так сильно, что я слышу его биение... тик-так, тик-так! Кто-то идет, скрипят чьи-то сапоги. Это, наверное, господин Герц Герценгерц! Что

делать? Пусть ножик останется у меня. Потом я его положу обратно, а пока надо уйти, уйти отсюда... бежать, бежать!..

Ужинать я уже не мог. Мать пощупала мою голову. Отец бросил на меня гневный взгляд и прогнал спать... Спать? Мог ли я закрыть глаза? Я был ни жив ни мертв. Что мне делать с ножиком? Как положить его обратно?

3

— Поди-ка сюда, сокровище мое, — позвал меня на следующий день отец, — не видел ли ты ножика?

Сначала я испугался. Мне показалось, что он знает, что он все знает... У меня чуть-чуть не вырвалось:

— Ножик? Пожалуйста, вот он...

Но слова застряли в горле, и я с дрожью ответил:

— Что? Какой ножик?

— «Что?! Какой ножик?» — передразнил меня отец. — Что? Какой ножик? Золотой ножик! Нашего жильца ножик, босяк ты этакий! Кхе-кхе-кхе...

— Что ты пристал к ребенку? — вмешалась мама. — Он ничего не знает, а ты морочишь ему голову: ножик, ножик...

— Ножик, ножик! Как это так, — он ничего не знает? — сказал сердито отец. — Все утро только и разговору что о ножике. Ножик, ножик, ножик!.. Весь дом перерыли из-за ножика, а он спрашивает: «Что? Какой ножик?» Ну иди уж, умывайся, ты, балда. Кхе-кхе.

Благодарю тебя, господи, что меня не обыскали. Но что делать дальше? Надо немедленно запрятать ножик в надежное место... Куда его спрятать? Ага! На чердак. Я быстро вынул его из кармана и сунул за голенище сапога... Я ел, но не знал, что ем. Я давился едой.

— Что ты так торопишься? — спросил отец.

— Я спешу в хедер, — ответил я ему и почувствовал, что покраснел, как мак.

— Какое прилежание! Как вам нравится этот праведник? — заворчал отец и зло посмотрел на меня.

Наконец-то я поел и прочел молитву.

— Ну, отчего же ты не идешь в хедер, праведник мой? — спросил отец.

— Что ты все гонишь его? — сказала мама. — Дай ребенку посидеть минутку.

Я на чердаке. Ножик уже лежит за стропилами, лежит и молчит.

— Зачем ты полез на чердак, подлец, мошенник ты этакий? — закричал отец. — Кхе-кхе-кхе...

— Я ищу здесь кое-что, — ответил я ему, чуть не упав от испуга.

— Кое-что? Что значит «кое-что»? Что это такое — «кое-что»?!

— Ищу Тал... ста... старый Талмуд.

— Что? Талмуд? На чердаке? Ах ты, мерзавец, мошенник, подлец этакий! Сию минуту слезай! Вот ты получишь у меня, прохвост этакий, кхе-кхе.

Но меня уже не смущает гнев отца, я боюсь только, как бы не нашли ножик. Почему бы и нет? Могут же они как раз сегодня развесить там белье или пойти замазать трубу. Нет, надо ножик оттуда забрать и спрятать в более надежное место. Я трепещу при каждом взгляде отца, мне кажется, что он уже все знает, что вот он опять пристанет ко мне, допрашивая о ножике... Я уже нашел место для ножика. Прекрасное место. Где? В земле. В ямочке у стены. Сверху я ее прикрыл соломой, чтобы потом найти это место. Я возвращаюсь из хедера — и сразу во двор, тихонечко откапываю свой ножик. Однако я не успеваю досыта налюбоваться им, как уже слышу крик отца:

— Куда ты опять пропал? Почему не идешь молиться, ты, ломовик, водовоз? Кхе-кхе-кхе...

Но как бы ни преследовал меня отец, как бы ни избивал меня ребе*, все это чепуха в сравнении с тем удовольствием, какое я получаю, когда, вернувшись из хедера, встречаюсь с моим дорогим, с моим единственным любимым товарищем — с моим ножиком! Но это удовольствие причиняет мне столько страдания, оно отравлено постоянной тревогой, боязнью и страхом, ужасным страхом.

4

Лето. Солнце садится. Воздух становится прохладнее. Трава благоухает. Лягушки квакают. Ключья облаков проплывают мимо луны, желая ее проглотить. Белая, серебристая луна то прячется, то снова показывается. Кажется, что она несется, несется и все же стоит на месте. Отец садится на траву полураздетый, в одном кафтане. Одной рукой он держится за грудь, другой шарит по земле, смотрит на звездное небо и

кашляет... Луна освещает его мертвенно-бледное лицо. Он сидит как раз на том месте, где закопан ножик. Он не знает, что там под ним! Что было бы, если бы он знал! Что бы он сказал? Что было бы со мной?

Ага, думаю я, ты забросил мой старый ножик, но у меня теперь есть лучший, более красивый. Ты сидишь на нем и ничего не знаешь. Ай-яй-яй, отец, отец!

— Что ты вылупил на меня глаза, как кот? — кричит отец. — Что ты сидишь сложа руки, как помещик? Тебе совсем делать нечего, что ли? А вечернюю молитву ты уже прочитал, чтобы ты не сгорел, чтобы ты не сдох? Кхе-кхе...

Когда отец говорит «чтобы ты не сгорел, чтобы ты не сдох», это означает, что он не сердится. Наоборот, это означает, что он в хорошем настроении. И действительно, можно ли быть плохо настроенным в такую чудную летнюю ночь, когда каждого тянет на улицу, на свежий, чистый воздух! Все — на улице: отец, мать и маленькие дети, которые ищут камешки и играют в песке. Господин Герц Герценгерц тоже ходит по двору без шапки, курит сигару и напевает немецкую песенку, смотрит на меня и смеется... Он смеется, очевидно, над тем, что отец прогоняет меня. А я смеюсь над ними над всеми. Скоро они все пойдут спать, а я побегу во двор (я сплю в сенях на полу, так как в доме несносная жара) и буду играть и наслаждаться моим ножиком.

Все спят. Кругом тишина. Я незаметно поднимаюсь и на четвереньках, как кошка, крадучись, пробираюсь во двор. Ночь тиха. Воздух чист и прекрасен. Медленно подползаю к тому месту, где зарыт ножик. Тихонько откапываю его и разглядываю при свете луны. Он блестит, он сияет, как золото, как алмаз. Я поднимаю глаза и вижу — луна смотрит прямо на меня, на мой ножик. Почему она так смотрит? Я отворачиваюсь — она продолжает смотреть. Я закрываю ножик рубашкой — она продолжает смотреть. Она, наверное, знает, что это за ножик и где я его взял... Как взял? Я же его украл!

Впервые с тех пор, как ножик стал моим, это страшное слово приходит мне на ум. Украл? Значит, я вор! Просто — вор. А в торе *, в десяти заповедях, большими буквами написано:

«НЕ УКРАДИ»

А я украл. Что они со мной сделают в аду? Ой, мне отрубят руку, которая украла... Меня будут жарить на

раскаленных сковородах... Вечно, вечно буду я гореть в огне. Надо отдать ножик... Надо положить ножик обратно. Не надо мне краденых ножигов... Завтра же я положу его обратно. Я прячу ножик за пазуху, он жжет меня. Нет! Надо его спрятать, закопать в землю до завтра. А луна все смотрит. Чего она смотрит? Луна все видит. Она — свидетельница... И я тихонько вползаю обратно в сени, ложусь на свое место, но уснуть не могу. Ворочаюсь с боку на бок, не могу уснуть... Только на рассвете я уснул, и мне снилась луна, железные прутья, мне снились ножики. Рано утром я проснулся, горячо помолился богу и, впопыхах проглотив свой завтрак, побежал в хедер.

— Что ты так торопишься в хедер?— спросил отец.— Что это тебя так несет? Ничего не случится, если придешь попозже! Ты лучше помолись после еды как следует и не пропускай в молитве слов. Еще успеешь безбожничать, бесстыдник ты этакий, нечестивая душа! Кхе-кхе...

5

— Почему так поздно? Посмотри-ка сюда, — сказал мне ребе и показал пальцем на моего товарища Берла Рыжего, стоявшего в углу с опущенной головой. — Ты видишь, шалопай? Знай, что с сегодняшнего дня его зовут не Берл Рыжий, как до сих пор. Нет! У него теперь более красивое имя. Теперь его зовут Береле-вор. Повторите, дети, за мной: «Бе-ре-ле-вор! Бе-ре-ле-вор!»

Эти слова ребе произносит нараспев, а ученики подхватывают за ним хором:

— Бе-ре-ле-вор! Бе-ре-ле-вор!..

Я стою как окаменелый, мороз подирает меня по коже. Я ничего не понимаю.

— Что ты молчишь, остолоп этакий? — кричит ребе, залепив мне пощечину. — Почему ты молчишь, дурень этакий, ты же слышишь, все поют? Пой и ты: Бе-ре-ле-вор! Береле-вор!

У меня дрожат руки и ноги. зуб на зуб не попадает. Но я подпеваю:

— Береле-вор! Береле-вор!

— Громче, бездельник этакий, — кричит ребе. — Громче! Громче!

И мы хором кричим изо всех сил:

— Береле-вор! Береле-вор!

— Тише, — неожиданно останавливает нас ребе, хлопнув рукой по столу. — Тише, сейчас мы будем его судить. Ну-ка, Береле-вор, — говорит он нараспев, — подойди-ка сюда, мое дитя, живее, живее немного. Скажи-ка, мальчик, как тебя зовут?

— Берл.

— А как еще?

— Берл... Берл... вор...

— Вот так, молодец, мой родной, — поет ребе. — А сейчас, малютка, дай тебе бог здоровья, стяни-ка с себя одежду, пожалуйста! Вот так, вот так, скорей, умоляю тебя! Вот так, мой дорогой Береле!..

Берл остался совершенно голый, в чем мать родила. Он был страшно бледен и стоял совершенно неподвижно с опущенными глазами, настоящий покойник!

Ребе вызвал одного из старших учеников и спросил его:

— Ну-ка, Гершеле-большой, выйди сюда ко мне поскорей, вот так, и расскажи нам подробно, как Береле стал вором, а вы, ребята, слушайте внимательно.

И Гершеле-большой начал рассказывать историю о том, как Берл позарился на кружку Меера-чудотворца *, в которую его мать опускала каждую пятницу вечером копейку, а то и две... Как Берл крал оттуда деньги, хотя на кружке висел замок; как Берл при помощи соломинки, обмазанной смолой, вытаскивал из этой кружки копейку за копейкой, как мать его, Злата-хриплая, заметила это, открыла кружку и нашла там соломинку, обмазанную смолой; как Злата-хриплая пожаловалась на него; как после розог, полученных от ребе, Берл сознался, что он весь год таскал копейки из этой кружки и затем каждое воскресенье покупал на эти деньги два пряника и рожки и т. д. и т. д.

— А теперь, ребята, судите его! Вы сами знаете как. Это вам не впервые. Пусть каждый скажет свой приговор вору, таскавшему копейки из благотворительной кружки. Гершеле, скажи ты первый, как наказать вора, таскавшего соломинкой копейки из благотворительной кружки?

Ребе склонил голову набок, зажмурил глаза и подставил правое ухо Гершеле. А Гершеле ответил во весь голос:

— Вор, таскающий копейки из кружки, должен быть высечен до крови.

— Мойшеле, как наказать вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки?

— Вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки, — ответил Мойшеле плачущим голосом, — надо разложить, двое должны держать его за голову, двое за ноги, а еще двое должны сечь его розгами, вымоченными в рассоле.

— Топеле Тутарету, как наказать вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки?

Копеле Кукареку, мальчик, который не умел произносить букв «к» и «г», вытер нос и пискливо пропел свой приговор:

— Вор, таставший топейти из тружти, натазывается тат: все мальчити должны близто подойти и стазать ему в лицо три раза во весь долос: вор! вор! вор!

В хедере раздался громкий хохот. Ребе пощекотал большим пальцем адамово яблоко, как бы настраивая голос, и, напевая, как кантор в синагоге, вызвал меня.

— Да предстанет перед нами Шолом, сын Нохума! Скажи нам, дорогой Шоломка, твой приговор вору, таскавшему копейки из благотворительной кружки.

Я хотел ответить, но язык мне не повиновался. Я дрожал, как в лихорадке. Я задыхался. Обливался холодным потом. В ушах у меня шумело. Я не видел перед собой ни ребе, ни голого Берла-вора, ни товарищей, — я видел только ножики, одни лишь ножики — белые, открытые, со множеством лезвий. А там, у дверей, висела луна. Она смотрела на меня и улыбалась, как человек. У меня закружилась голова, перед глазами завертелось все — хедер, столы, книги, товарищи, луна, висевшая у двери, ножики. Я чувствовал, что у меня подкосились ноги. Еще секунда, и я бы упал. Но, собрав все силы, удержался на ногах.

Пришел домой вечером, чувствую — лицо горит, в ушах — шум. Слышу, со мной говорят, но не понимаю о чем. Отец что-то сказал, рассердился, хотел меня ударить; мать заступилась, прикрыла меня передником, словно наседка, которая крыльями прикрывает своих птенцов от нападения. Я ничего не слышал, да и слышать ничего не хотел. Мне хотелось только, чтобы скорее наступила ночь и я мог бы избавиться от ножика. Что делать? Сознаться и отдать его? Тогда меня ожидает участь Берла. Подбросить? А вдруг заметят?.. Забросить — и конец, только бы избавиться от него! Но куда его бросить, чтобы не нашли? На крышу? Но могут услышать стук. В огород? Но там его могут найти. Ага, я знаю. Выход есть! Бросить в воду! Честное слово, пре-

красный выход! В воду, в колодец у нас во дворе. Эта мысль мне так понравилась, что я больше не хотел думать. Я достал ножик и помчался к колодцу, но мне казалось, что в руках у меня не ножик, а что-то отвратительное, гадюка, от которой надо поскорее избавиться. А все-таки было жаль! Такой чудный ножик! Минуту я стоял в раздумье, и мне казалось, что я держу в руках живое существо. Сердце щемило. Господи, господи, сколько горя доставил мне этот ножик! Жалко мне было его! Но я набрался решимости и выпустил ножик из рук... Плюх! Раздался плеск, и больше ничего... Нет ножика! С минуту я еще постоял у колодца, ничего не слышно. Слава тебе господи, избавился! Но сердце сжималось от боли. Такой ножик! Такой ножик! Я возвращался к себе, чтобы лечь в постель, и видел, как луна будто следила за мной. Мне казалось, она видела все, и я точно слышал голос издалека: «А ты все-таки вор! Лови! Бей вора! Бей вора!» Я пробрался в сени и лег спать. Мне снилось, что я бегу, что я парю в воздухе с ножиком в руках, а луна смотрит на меня и кричит: «Лови! Бей вора! Бей вора!»

6

Долгий, долгий сон. Тяжелые, гнетущие сновидения. Горю как в огне. В голове шум. Перед глазами — красная пелена. Меня секут раскаленными прутьями, и я обливаюсь кровью. Вокруг меня кишат скорпионы и змеи разевают пасти, хотят меня сожрать. Вдруг раздался трубный глас, возопивший: «Секите его! Секите его! Секите его! Он вор!»

А я кричу:

— Уберите луну! Отдайте ей ножик! Зачем вы издеваетесь над Береле? Он невиновен. Это я — вор! Это я — вор!

И больше я ничего не помню.

Я открыл один глаз, потом другой. Где я? Кажется, в постели? Что я тут делаю? Кто это сидит у кровати на стуле? А, это ты, мама?.. Мама! Она не слышит. Мама! Мама! Мама! Что это значит? Ведь я как будто кричу изо всех сил! Тише! Я прислушиваюсь. Она плачет. Она тихо плачет. Я вижу отца, его болезненно-желтое лицо. Он сидит над Талмудом, что-то тихо шепчет, кашляет,

стонет и вздыхает. По-видимому, я умер. Умер? И вдруг у меня в глазах посветлело, стало легко голове, стало легко всему телу. Зазвенело в одном ухе, потом в другом. Я чихнул.

— На здоровье! На здоровье! Это — хорошая примета. Поздравляем. Благословен ты, господи!

— К слову чихнул, правда! Хвала всевышнему!

— Велик бог! Наш мальчик будет здоров, господь помог, да будет благословенно имя его!

— Нужно поскорее позвать Минцу, жену резника. Она хорошо знает заговор от дурного глаза.

— Доктора надо бы позвать, доктора!

— Доктора? Зачем? Чепуха... «Он» — доктор. Всевышний — самый лучший целитель, да будет благословенно имя его.

— Расступитесь, пожалуйста, расступитесь! Здесь страшно душно. Бога ради, расступитесь!..

Все вертелись вокруг меня, все смотрели на меня. Каждый подходил и щупал мою голову. Меня заговаривали, шептали надо мной, лизали мне лоб и сплевывали; за мной ухаживали, вливали мне в рот горячий бульон, пичкали вареньем. Все толкались около меня, оберегали как зеницу ока, закармливали бульоном, курятиной, не оставляли меня ни на минуту одного, как малое дитя. Постоянно около меня сидела мать и все снова и снова рассказывала мне, как меня подняли с земли полумертвого; как две недели подряд я лежал в страшной горячке, квакал жабой и все бредил о розгах и ножиках. Думали, что я помру. Вдруг я чихнул семь раз и сразу ожил.

— И мы сейчас видим, как велик бог, да будет он благословен, — заканчивала свой рассказ мама со слезами на глазах. — А сколько нами было пролито слез, и мной и отцом, пока господь не сжалился над нами!.. Чуть-чуть не потеряли ребенка, лучше бы я умерла вместо него. Из-за кого, из-за чего все это? Из-за какого-то мальчишки, из-за какого-то Берла-воришки, которого ребе высек до крови. Когда ты пришел из хедера, ты уже был ни жив ни мертв. Вот разбойник, вот злодей, накажи его бог! Нет, дитя мое, если бог даст и мы доживем, пока ты станешь на ноги, мы тебя отдадим к другому ребе, а не к такому душегубу и разбойнику, как этот Ангел Смерти, будь он проклят!

Эта весть меня очень обрадовала, я обнял мать и крепко поцеловал ее.

— Милая, милая мама!

Подошел отец, положил мне на лоб свою бледную, холодную руку и мягко, без всякого гнева сказал:

— Ну и напугал ты нас, разбойник этакий! Кхе-кхе...

А еврейский немец, или немецкий еврей, господин Герц Герценгерц с сигарой во рту наклонил ко мне свою бритую физиономию, погладил меня по щеке и сказал по-немецки:

— Гут¹, гут! Здоров!

Через две недели после моего выздоровления отец сказал мне:

— Ну, сын мой, ступай в хедер и выбрось из головы все эти ножики и все эти глупости. Пришло время стать тебе человеком. Тебе уже десять лет, и через три года, если господь пожелает, ты уже сам будешь отвечать перед богом за свои поступки.

Такими теплыми словами проводил меня отец в хедер к новому ребе, Хаиму Котеру.

Впервые я услышал от моего сердитого отца такие добрые, такие нежные слова, и я мгновенно забыл все его придирки, все его проклятья, оплеухи, как будто бы всего этого никогда и не было. Не будь мне стыдно, я обнял бы и расцеловал его, но... кто же это целует отца?

Мать дала мне с собой в хедер целое яблоко и две полушки. Немец тоже подарил мне две копейки, потрепал по щеке, сказал по-немецки:

— Прекрасный мальчик! Гут, гут!

Я, словно новорожденный, взял Талмуд под мышку и с чистым сердцем, с чистой и ясной головой, с новыми думами, со свежими, честными, набожными мыслями, отправился в хедер. Солнце смотрит на меня, приветствует меня своими теплыми лучами. Ветерок, крадучись, забирается ко мне в волосы, птички весело щебечут. Меня как бы несет по воздуху, хочется бежать, прыгать, танцевать. Ах, ах, как хорошо, как сладко сознание, что ты живешь, что ты честен, что ты не вор и не лгун!

Я крепко-крепко прижимаю к груди Талмуд и, радостный, мчусь в хедер. И я даю клятву на Талмуде, что никогда не трону ничего чужого, никогда ничего не украду, никогда ничего не утаю, я буду всегда честен, честен, честен!

¹ Хорошо (нем.).



ФЛАЖОК

1

Дети! Послушайте рассказ о том, как я, сын бедняка, приобрел к празднику торы * флажок. Я расскажу вам, каких трудов мне стоило раздобыть его и как быстро я его потерял. Да, бог меня наказал. Уж достался мне этот флажок...

Когда я был маленьким — вот таким, как вы, — меня все называли «*Топеле Тутарету*», что, собственно, означало «Копеле Кукареку». И знаете почему? По двум причинам: во-первых, у меня был тоненький, пискливый голосок, как у молодого петушка; во-вторых, я не умел произносить «к» и «г», вместо них у меня получалось «т» и «д». И, как на беду, моего отца звали Калмен, маму — Гита Калменова, меня — Копл, сын Гиты Калменовой, а учителя — Гершн-Горгл из Галгановки.

- Мальчик, как тебя звать? — спрашивали меня.
- Топл, сын Диты Талменовой.
- Громче!
- Топл, сын Диты Талменовой.

— Еще громче!

Я кричу во весь голос:

— Топл, сын Диты Талменовой.

— У кого ты учишься?

— У Дершона-Дордла из Далдановти!..

Все смеются. Людям — смех, а мне — слезы.

И не потому я плачу, что все надо мной смеются, а потому, что из-за моего произношения мне часто достаются пинки и колотушки. Все кому не лень измываются надо мной: отец, мать, сестры, учитель, товарищи... Все хотят научить меня говорить «по-человечески».

Однажды учитель вставил мне между зубов дощечку торчком и велел всем ученикам плевать мне в рот — авось это меня вылечит. Но тут в дело вмешался столяр реб Зяма, сосед учителя:

— Чего зря ребенка мучить! Дайте его мне на одну минуту — я мигом научу его говорить «по-человечески», вот увидите.

С этими словами столяр реб Зяма взял меня за подбородок и сказал:

— Смотри на меня, мальчик, и повторяй за мной: «Ку-хар-ка ки-да-ет-с-я клец-ка-ми».

Глядя в упор на столяра, я говорю:

— Ту-хар-та ти-да-ет-с-я тлец-та-ми.

— Не так! — поправляет меня реб Зяма. — Смотри мне прямо в рот и повторяй за мной: «Солн-це скро-ет-ся в обла-ках».

Я смотрю ему в рот и говорю:

— Солн-це стро-ет-ся в обла-тах.

— Нет, глупенький! — снова поправляет меня реб Зяма. — Ты говоришь: «В облаках». Не надо так говорить. Скажи: «В облаках, в облаках, в облаках!»

— В облаках, в облаках, в облаках!

Тут реб Зяма даже рукой махнул.

— Знаете, что я вам скажу, — это напрасный труд! Горбатого могила исправит. Он на веки веков калека!

2

Обзавестись к празднику торы флажком, и притом настоящим, разукрашенным по всем правилам, с хоршим древком, с яблоком, надетым на древко, и со свечой, воткнутой в яблоко, — казалось мне тогда недостижимым счастьем. Я и мечтать о нем не смел. Мало ли есть на

свете заманчивых вещей! Есть же у нас в хедере мальчишки, у которых всегда найдутся деньги на покупку ножики, кошелька, тросточки. Есть даже такие, которые каждый день едят конфеты и щелкают орехи, не говоря уже о блинах и бубликах; наконец, есть и такие, которые едят белую булку в будни... Счастливы!

Ах, деточки, я в будни никогда белой булки не ел! Я бывал рад-радешенек, когда мог поесть досыта и черного хлеба. Мы были — не про вас будь сказано! — горькие бедняки, нищая, горемычная семья, хотя и очень трудолюбивая. Отец, царство ему небесное, был помощником служки в пристройке синагоги мясников. Мать, царство ей небесное, была мастерица печь ржаные коврижки, а сестры принимали в надвязку чулки.

Верите ли, мне ни разу за все мои детские годы не пришлось пообедать настолько сытно, чтобы тотчас же не захотелось поесть еще чего-нибудь.

Нечего и говорить, что у меня никогда не было медного гроша — такое счастье мне и во сне не снилось.

И вот представьте себе: я, Копл Кукареку, внезапно разбогател! Да, у меня появились деньги, я стал обладателем капитала в двадцать две копейки!

Вы думаете: произошло чудо? Скажем, какой-нибудь барин потерял, а я нашел? Вот вы и не угадали. Или вы, чего доброго, подозреваете, что я нажил эти деньги каким-нибудь неблагоприятным способом: что я вытащил их из общественной кружки? Пусть господь хранит вас от таких мыслей. Нет, верьте мне, свой капитал я нажил честным трудом: я заработал его своими... ногами...

Было это в праздник пурим *. Отец поручил мне разносить гостинцы прихожанам своей маленькой синагоги. Раньше эта работа поручалась одной из моих старших сестер. Но теперь, когда я чуть-чуть подрос, отец сказал, что и мне уже пора быть чем-нибудь полезным семье. Я взял в руки подносик с пирогом и, шлепая босыми ногами по холодной, скользкой грязи, обошел всех прихожан. Из грошей, которые мне давали за труд, составил капитал в двадцать две копейки — один серебряный двугривенный и четыре медные полушки.

3

Оказавшись обладателем такой — не сглазить бы! — уймы денег, я стал прикидывать, что с ними делать.

И тут явились два советчика — дух добра и дух зла —

и принялись мучить и терзать мою душу. Дьявол-искуситель нашептывал:

— Какой смысл беречь деньги, дурак ты этакий? Купи себе какое-нибудь лакомство, ну, скажем, маковник у Пирондички или хотя бы мороженое яблоко! Наслаждайся своим богатством!

— Потакать утробе? — запротестовал я. — Этак можно в один день и весь капитал проесть. Нет, ни за что!

— И правильно! — поддакивал дух добра. — Лучше отдать деньги маме взаймы! Ах, как они ей пригодятся!

— Умница! — говорю. — Хочешь, чтоб они пропали? Из каких шишей она тебе вернет долг?

— Как она, бедная, мучается! — шепнул мне дух добра. — Думаешь, легко ей платить меламеру за твое ученье?

— При чем тут плата за ученье? — огрызнулся дьявол-искуситель. — Купи себе лучше белый свисток с красными крапинками или острый ножик с двумя клинками, да еще в медном футлярчике. А не то купи кошелек с хорошим замочком.

— А что ты положишь в кошелек? — язвительно спросил дух добра. — Нищету свою?

— Пуговицы! — ответил дьявол-искуситель. — Напишаешь полный кошелек пуговиц. Все в хедере будут думать, что это деньги, и позавидуют тебе...

— А какая тебе от этого радость? — возразил дух добра. — Послушай меня — раздай деньги нищим. Господь зачтет тебе это доброе дело. Бедняки ведь с голоду помирают.

— Бедняки? — с издевкой воскликнул дух зла. — А сам-то ты не бедняк и не сын бедняка? Ты ведь и сам никогда сыт не бываешь! Конечно, легко быть щедрым за чужой счет. Почему тебе никто никогда не подавал, когда у тебя не было ни гроша за душой?..

4

Чуть-чуть не соблазнил меня все-таки дьявол-искуситель.

Учился со мной вместе в хедере мальчик Элик, сын богатых родителей. В карманах у него всегда было полным-полно всякого добра. Но чтобы хоть чем-нибудь

угостить товарищей, — ни за что на свете! Это было не в его натуре. Проси не проси, хоть тресни, — он и понюхать не даст! И вот этот самый Элик неожиданно стал почему-то подлаживаться ко мне: сладенько улыбается, льнет, всячески норовит завязать со мной тесную дружбу.

— Знаешь, что я тебе скажу? — обратился он однажды ко мне. — Ты славный малый. Ей-богу! Я люблю тебя за то, что ты никогда не попрошайничаешь, как другие: «Дай, мол, мне кусочек! Дай попробовать!» Ненавижу попрошаек!.. Хочешь кусок конфетки?

— Тусот тонфетти? Отчедо же, с удовольствием! — ответил я.

— Ну, а орешки пощелкать ты бы не прочь? — спросил он.

— Орешти? — говорю. — Отчедо же нет? Будь у меня орешти, я бы с удовольствием пощелтал.

Элик засунул руку в карман. «Вот-вот, думаю, вытащит он конфетку или орешек и протянет мне». Не тут-то было! Он продолжал:

— Я дам тебе полмармеладки и три орешка, если... ты согласишься поменяться со мной. Хочешь меняться?

— Меняться? — спросил я. — Чем?

— Я, — говорит, — дам тебе мой ножик. Знаешь, мой белый ножик? Настоящий завьяловский!

Странный вопрос! Знаю ли я белый ножик Элика? Да кто ж его не знает? Сколько раз этот ножик был предметом моей жгучей зависти! Сколько раз он мне снился!

— Ну, а я-то? — спросил я с недоумением. — Что я могу дать тебе взамен?

— Ты, — говорит, — дашь мне свой серебряный двугривенный.

— Соглашайся! — подзадоривал меня дьявол-искуситель. — Бери ножик. Это отличный ножик! Это отличный ножик! Все мальчишки тебе будут завидовать.

Я уже собрался было выложить деньги на стол, но спохватился:

— Умнит татой! За двугривенный можно тупить новый ножит.

— Такой, как у меня? — возмутился Элик. — После дожидчка в четверг!.. Постой, знаешь что? Я тебе дам еще полдюжины пуговиц в придачу.

— За деньди, — говорю, — можно тупить десять тысяч дюжин пудовиц.

— Ну, а конфеты, — говорит, — а орешки — не деньги?.. Знаешь что? Обещаю тебе и клянусь честью: всякий раз, когда ты у меня что-нибудь попросишь, я буду давать тебе без отказа. Вот у меня есть железный гвоздь, смотри. Даю тебе этот гвоздь даром, ничего за него не возьму. Смотри, какой гвоздь!

— А на что, — говорю, — мне гвоздь?

— Пригодится, глупенький, — отвечает он. — Можешь забить его куда угодно. А хочешь, можешь им ямку выкопать.

— А зачем мне, — говорю, — ямки топать?

— Я тебе разрешу, — говорит, — пользоваться моим молитвенником.

— А для чего, — говорю, — мне чужие молитвенники? У меня есть свой.

— Я тебе дам примерять мой субботний картузик.

— А на что, — говорю, — мне примерять чужие картузики?

— Не хочешь? Тебе все мало? Так на ж тебе, на! — крикнул Элик, ткнув меня кулаком в бок. — Как вам понравится этот нищий, этот голоштанник? Я ему и ножик, и пуговицы, и конфеты, и орешки, и гвоздь, и молитвенник, и картузик примерить — все ему мало! Ненасытная утроба у этих нищих, — сколько в нее ни пихай, они просят еще и еще! Думает, ежели у него есть серебряный двугривенный, ему и сам черт не брат. погоди, Топеле Тугарету, ты еще у меня доиграешься! Боком выйдет тебе твой двугривенный!.. Нехемья, на вот, дарю тебе этот гвоздь!..

И Элик подарил гвоздь Нехемье (это был хромым и очень бедный мальчик). А со мной у него с тех пор дружба врозь.

5

Вам, конечно, интересно знать: для чего я все же припрятал деньги?

Во-первых, на пирушку, которую хедер устраивает ежегодно в складчину на праздники лаг-боймер*. В этот день все мальчишки приносят в хедер каждый свою лепту: кто деньги, кто съестное, кто лакомства. Один только я всегда приходил со своим обычным завтраком: кусок хлеба с чесноком. И всегда у меня лицо горело от стыда. Хоть меня и принимали в компанию наравне со

всеми, но я чувствовал, что это делается из жалости. Это отравляло мне всю радость веселого детского праздника... «Теперь, — с гордостью думал я, — не нужна мне их доброта, не нужна их жалость. Слава богу, у меня у самого в кармане позвякивают деньжонки. И если такой папенькин сынок, как Элик, вносит четвертак, то будет достаточно, если я внесу копейку. Ведь я против Элика — ничто, нищий! А если я дам не копейку, а целый пятак, — благородно это с моей сторсны, как вы думаете? Так вот: я даю гривенник, и знайте, кто такой Копл Кукареку...»

И я бросил в общую копилку целый гривенник. Остальную сумму я приберег до другого раза.

Летом, когда начали поспевать ягоды и фрукты и на рундуке у Пирондички появились крыжовник и смородина, на меня снова насел дьявол-искуситель.

— Видишь, — говорит, — зеленый крыжовник? А вот погляди-ка, что за чудесная красная смородина!

— От зеленых ягод, — говорю, — только оскомину набьешь.

Тут даже дух добра пришел дьяволу на помощь.

— На свежую ягоду, — говорит, — и на фрукты уставлена особая молитва. Отведай и помолись. Сделаешь богоугодное дело.

— Молитва, — говорю, — от меня не уйдет. Лето еще впереди: дойдет свой черед до вишни и до сливы, до яблок и до груш, до дынь и арбузов... Лучше уж я сохранию деньги до праздника кущей и куплю себе флажок.

Решено и подписано: я приберегу, с божьей помощью, деньги к празднику кущей и куплю себе флажок.

6

Наступил наконец праздник кущей, и я купил бумажный флажок — большой, ярко-желтый, расписанный и разрисованный с обеих сторон.

На одной стороне были изображены два зверя, напоминавшие кошек. Но в действительности это были львы, разинувшие свои пасти, из которых высовывались длинные языки. На языках были нарисованы свистелки; по-видимому, они должны были обозначать трубные рога, потому что на них крупными буквами было начертано: «*Фанфарами и трубными звуками*».

Внизу, подо львами, было напечатано: справа — «*Знамя воинства иудейского*», а слева — «*Знамя воинства Эфраима*».

Так была расписана одна сторона флажка. Обратная сторона была куда красивее. Там были портреты *Моисея и Аарона* *. Как живые стояли они: Моисей — в большом картузе, надвинутом на брови, а Аарон — с золотым ободком на рыжей шевелюре. Посередине, между Моисеем и Аароном, была намалевана плотная толпа евреев. Все держали свитки торы. Намалеванные люди были похожи друг на друга как две капли воды: все в длинных, совершенно одинаковых кафтанах; все в туфлях и белых чулках; у всех пояса повязаны чуть пониже живота; у всех подняты ноги для пляски; и все поют, если судить по надписи: «*Радуйтесь и веселитесь в праздник торы*».

Имя флажок, надо обзавестись и древком. Пришлось прибегнуть к помощи столяра реб Зямы, того самого, который когда-то пытался научить меня говорить «по-человечески».

— Что скажешь хорошего, Топеле Тутарету?

— Древто т флажту...

— «Древто!» Что это означает? Не понимаю.

— Ну, — объясняю я, — тусочет дерева, чтобы прирепить т нему флажот.

Реб Зяма шутил и насмехался надо мной до тех пор, пока я не разревелся. Тут только он смягчился, стал ласков и забросил все дела. Он взял кусок дерева, обстрогал его, раз, два — древко готово.

Теперь не хватало яблока и свечи. Свеча должна быть, конечно, восковая, а не стеариновая: если стеарин капнет на яблоко, оно осквернится, станет негодным к употреблению. А воск — другое дело, воск пищи не оскверняет.

Воску же у меня, понятно, больше, чем у кого бы то ни было из мальчиков. Мало того, когда кому-нибудь в хедере нужен воск, больше не к кому было обратиться, кроме как ко мне. Ведь мой отец — помощник синагогального служки. И весь воск, остающийся от догоревших в Судный день * свечей, принадлежит ему по праву — это одна из его доходных статей. Из этого воска отец делает тоненькие свечки для других праздников и продает их. А все, что при выделке свечей

падает на пол, принадлежит мне — это моя доходная статья.

Одним словом, у меня уже есть все, что требуется!

7

Вечером восьмого дня кущей с флажком, насаженным на древко, поверх которого торчало румяное яблоко с вставленной восковой свечой, я отправился в синагогу, к хакофам *, веселый, радостный, как принц, как королевич, счастливее которого нет в мире!

И чудится мне, будто я уже в синагоге и занимаю самое почетное место, в восточном углу, рядом с детьми состоятельных родителей. Пылают свечи. Мой флажок красивее всех других флажков; мое яблоко румянее всех прочих яблок; моя свеча больше, чем другие свечи. В синагоге тесно и душно. Много женщин и девушек пришли поцеловать свитки торы. Торжественное шествие вокруг амвона возглавляет кантор реб Мейлах. Широко расправив полы своего молитвенного облачения, он выступает впереди всех с видом фельдмаршала и надтреснутым, жестяным голосом поет: «Помогающий обездоленным, помоги нам!» Женщины и девушки бегут навстречу торжественной процессии, целуют свитки торы и визгливо выкрикивают: «Дай вам бог дожить до будущего года! Дай вам бог дожить до будущего года!» На что им отвечают: «И вам того же! И вам того же!»

Но прежде чем спуститься в подвал, где помещается синагога мясников, приходится пройти мимо нескольких синагог и молелен местечка. Надо вам сказать, что все синагоги, все «молитвенные дома» и все молельни расположены у нас в местечке на одной улице, рядом, почти что в одном дворе. Недаром весь участок так и называется: синагогальный двор.

Это своего рода одна огромная синагога. Летом, когда все окна открыты настежь, к вам в уши врывается многоголосый гул, и вы одновременно слышите разные молитвы: и заздравные, и заупокойные, и псалмы, от первого стиха до «аллилуйя».

Два облика имеет наш синагогальный двор — будничный и праздничный. В будни это базар, на котором торгуют молитвенниками и разными предметами рели-

гнилого обихода, гнилыми яблоками, грушами, семечками, бобами, маковниками, бубликами и конфетами. На траве располагаются как дома местечковые козы и, тряся бородками, непрерывно жуют свою жвачку. Но лишь только наступает суббота либо праздник, синагогальный двор резко меняется. Нет ни базара, ни торговли, ни коз. Двор кишмя кишит людьми, которые, собираясь кучками, оживленно беседуют, галдят, тараторят, рассказывают друг другу все новости за неделю и за целый год. Мальчишки из всех хедеров тоже все тут как тут. Они бегают, скачут, снуют взад и вперед, носятся по двору, чувствуя себя как рыба в воде. Господь подарил им чудесный день — свободный от ученья! Осматривая друг у друга новые пиджачки или картузики, мальчики примеряют, чей пиджачок длиннее, у кого голова больше, у кого над ухом волосы короче. При этом, разумеется, не скупятся на взаимные щипки, толчки, колотушки, — словом, здесь весело!

Но наибольшее оживление царит на синагогальном дворе вечером восьмого дня кушей. Мальчики проходят с флажками и разбиваются на группы по возрасту: старшие образуют одну группу, малыши выстраиваются отдельно. Затем начинается взаимное ознакомление: осматривают друг у друга флажки и стараются установить, у кого древко длиннее, чье яблочко румянее, у кого свеча из стеарина, у кого — из воска. При этом, конечно, обмениваются остротами, шутками и прибаутками. Вот кто-то сыграл шутку: погасил свечу у товарища либо, подкравшись сзади, откусил у него кусок яблока. Взамен он получает пару оплеух и крепкие слова в придачу.

А потом ребята начинают расходиться — каждый в свою синагогу.

8

— Поздравляем! В добрый час! У Топеле Тутарету есть свой флажок! Здорово, парень, нос ошпарен!..

Этими словами приветствовали меня школьные задиры, как только я показался на синагогальном дворе.

Я оглядел флажки товарищей и мысленно сравнил их со своим. Какое может быть сравнение! Ничего похожего! Куда им до моего флажка!

Во-первых, взять флажок сам по себе. Ни у кого он не посажен на древко так прямо, чтобы одинаково хорошо можно было видеть обе его стороны. Ни у кого нет такого ровного, круглого, гладко отполированного древка, как у меня. Ни у кого нет такого гладенького, румяного яблочка. О свече и говорить нечего: у кого еще столько воску, сколько у меня? И уж никому, конечно, не выпало на долю столько пинков и затрещин, сколько я получил от отца, когда он застукал меня за сбором воска...

Я еще раз мысленно сравниваю свой флажок с другими, и гордостью наполняется мое сердце. Мне кажется, будто я расту, становлюсь все выше и шире и поднимаю голову высоко-высоко... Ноги у меня точно оторвались от земли и несут меня легко-легко. Хочется хохотать, кричать, визжать, бешено кружиться.

— А ну-ка, покажи! — окликнул меня изумленный Элик.

Каждый из нас осмотрел флажок другого. «Тоже еще, с позволенья сказать, флажок! — подумал я. — А что за древко! Кочерга, а не древко...»

Видно, что Элик сгорает от зависти. Но я прикидываюсь, будто ничего не замечаю, и отвожу от него глаза.

— Копл! — говорит он мне. — Откуда у тебя такое красивое древко?

— А? — говорю я и поворачиваюсь к нему лицом.

— Где ты раздобыл такое чудесное древко? — переспрашивает он.

— Что? — отвечаю я. — Может, хочешь обменять едо на свой двоздь?..

Элик понял намек. Он сверкнул глазками, шмыгнул носом и, заложив руки в карманы, отошел в сторону. С чувством мстительного злорадства глядел я ему вслед, упиваясь своим превосходством. Но вот он отзывает в сторону хромоножку Нехемью и, кивая в мою сторону, о чем-то с ним шепчется. Мне это ясно видно, но я все еще притворяюсь, будто ничего не замечаю. Минуту спустя ко мне подходит Нехемья, держа в руке флажок Элика с кривым, как кочерга, древком.

— Дай мне, пожалуйста, зажечь свечу, — говорит он. — Видишь, у меня свеча погасла.

— Разве это твой флажот? — спрашиваю я, наклоня свою свечу. — Я ведь знаю, чей это флажот.

Не успел я оглянуться, как Нехемья зажег свечу, поднес к моему флажку и поджег его. Мой флажок воспламенился и пф-пф-фу — конец флажку!

.....

Если бы камень свалился с неба и угодил мне прямо на голову, если бы дикий зверь стал терзать меня на части, если бы ночью ко мне явился мертвец в белом саване и стал меня душить, я не испытал бы такого чудовищного страха, такого ужаса, какой потряс меня при виде моего древка со сгоревшим флажком. Вопль вырвался у меня из груди:

— Флажот! Боже, мой флажот! Мой флажот!..

Слезы так и брызнули у меня из глаз. Весь мир как-то сразу померк. Древко с яблоком и свечой выпало из моих рук. Я поплелся сам не зная куда. Иду, а слезы, горькие слезы льются и льются. Оплакиваю флажок, как оплакивают покойника. Прихожу домой, одинокий и обездоленный, без флажка, забираюсь в угол, сижу в темноте, уткнув голову в колени, и рыдаю тихо и беззвучно, чтобы никто не видел, чтобы никто не слышал. И задаю вопрос: «За что, боже милосердный? За что, владыка небесный? Чем провинился я перед тобой? За какие грехи караешь ты меня?..»

.....

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Знаете, дети, всякой сказке бывает конец — веселый или печальный, но конец приходит обязательно.

У еврейской сказки, к сожалению, конец чаще всего печальный. Есть у нас пословица: не для бедняков счастье. Да что долго рассказывать — подрастете, сами увидите...

История с моим флажком не кончилась на том, о чем я вам только что рассказал. После этого я серьезно заболел и мучился долго-долго; я метался в лихорадке и весь пылал. Перед моими глазами проносились страшные чудовища: змеи, разные пресмыкающиеся с огненными языками, страшные звери с человеческими головами. В ушах раздавались дикие крики, вой кошек, рев неведомых зверей. Меня бросало в жар и в холод; я бредил, я был полумертвец. Никто не верил, что я живу. В синагоге мясников молились о моем выздоров-

лнии и читали псалмы, как по покойнику. Я был на краю могилы.

Но так как в праздник вообще, а тем более в такой веселый, как праздник торы, полагается быть веселым, то и моя история с флажком тоже кончается весело.

Во-первых, как вы сами можете видеть, я, слава богу, не умер.

Во-вторых, знайте, что в следующем году у меня был к празднику флажок еще лучше, с еще более красивым древком, с яблоком еще румянее. И сидел я в синагоге в самом почетном углу, у восточной стены, рядом с детьми именитых обывателей нашего местечка. Пылали свечи. Мой флажок выделялся своей красотой.

Торжественное шествие вокруг амвона возглавлял все тот же кантор реб Мейлах, выступавший впереди всех с видом фельдмаршала. Надтреснутым, жестяным голосом он пел: «Помогающий обездоленным, помоги нам!» Девушки и замужние женщины шли навстречу процессии, целовали свитки торы и визгливо выкрикивали: «Дай вам бог дожить до будущего года!», «Дай вам бог дожить до будущего года!» — «И вам того же!», «И вам того же!»

И вам того же, детки!

ХАНУКАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ*

1

— Угадайте, дети, какой праздник самый лучший?!

— Ханука.

Восемь дней подряд не ходишь в хедер, каждый день ешь оладьи с гусиным салом, играешь в разные игры и получаешь от всех ханукальные деньги. Разве может быть что-либо лучше?

Зима. На дворе холодно, стоят трескучие морозы, окна замерзли, покрыты инеем, чудесно разрисованы, а в доме тепло, уютно. Серебряная ханукальная лампада приготовлена еще с полудня. Отец ходит по комнате, заложив руки за спину, и читает вечернюю молитву. Продолжая молиться, он вынимает из столика восковую свечку и обращается к нам (ко мне и к младшему брату Мотлу), говоря восклицаниями и делая знаки рукой:

— И! О! О! И-ну-о!

Мы не понимаем, чего он хочет, и спрашиваем:

— Что — спичку?

Отец показывает на дверь кухни:

— И! О! О! И-о-ну!

— Что? Кухонный нож? Ножницы? Ступку?

— Ах, и-о-ну! Фи! Ими! ¹ Ими! Мать, мать позовите.

Я и мой брат Мотл бежим изо всех сил на кухню.

— Мама, скорее, ханукальные свечки!

— Ой, горе мое, ханукальные свечки! — восклицает мать, бросает все свои работы (у нас резали гусей, теперь топят сало и замешивают оладьи) и бежит в комнаты, а за ней — кухарка Брайна, черноволосая женщина с усами, жирным лицом и вечно измазанными руками. Мать становится в сторонке и делает умильное

¹ Мать! (древнееврейск.)

лицо, а кухарка Брайна грязным фартуком проводит по носу снизу вверх, отчего на нем остается черный след. Мы, я и мой брат Мотл, силимся, сдерживаемся всюю, чтобы не прыснуть.

Отец подходит с зажженной свечкой к лампаде, наклоняется и произносит молитву традиционным напевом.

Мать благоговейно произносит «аминь», Брайна набожно качает головой и при этом делает такое плаксивое лицо, что я и мой брат Мотл боимся взглянуть друг на друга.

— «Эти свечи, которые мы зажигаем», — распевает отец, расхаживая по комнате и кидая время от времени взор на лампаду.

Молитва тянется без конца. Нам хочется, чтобы он кончил и взялся за карман, вынул наконец кошелек. Мы перемигиваемся, подталкиваем друг друга:

— Мотл, пойдй попроси у него ханукальные деньги.

— Почему это мне просить?

— Так ты моложе, тебе полагается просить.

— А по-моему, как раз наоборот, ты старший, тебе и полагается просить.

Отец отлично слышит, о чем мы толкуем, но притворяется, будто не слышит. Медленно, не спеша, подходит он к столу, открывает ящик и отсчитывает деньги. Легкий озноб проходит у нас по телу, руки дрожат, сердце колотится. Мы глядим на потолок, почесываем затылки, прикидываемся равнодушными, будто нас это и не касается.

Отец кашлянул.

— Гм... дети, подойдите-ка сюда.

— А? Что такое?

— Вот вам ханукальные деньги.

Получив ханукальные, мы идем, я и мой брат Мотл, сначала медленно, как подобает воспитанным детям, потом все скорей и скорей, подпрыгивая и приплясывая, а когда подходим к нашей комнате, мы больше не можем удержаться, кувыркаемся три раза через голову; прыгаем на одной ноге и поем:

Эна, бена, речь,
Квинта, квинта, жечь,
Эна, бена, ряба,
Квинта, квинта, жаба!

И от великой радости и восторга собственными руками даем себе два раза по щеке.

Открывается дверь, и входит дядя Бенья.

— Ребята, вам следуют ханукальные деньги!
Дядя Беня вынимает из жилета два пятиалтынных
и дает нам.

2

Никто в мире не скажет, что отец и дядя Беня — родные братья. Отец — высокий, худой, дядя Беня — низенький, толстый; отец — черный, дядя Беня — рыжий; отец — меланхолик и молчальник, дядя Беня — весельчак и говорун. День и ночь, зима и лето, — а все же родные братья.

Отец достает большой лист бумаги, делает на нем белые и черные клетки, велит принести из кухни белой и цветной фасоли.

Мать на кухне топит сало и печет оладьи. Я с братом Мотлом играю в юлу. Отец с дядей Беней садятся за шашки.

— Уговор, Беня, не брать ходов назад и не плутовать! Сделал ход — пропало, — говорит отец.

— Сделал ход — пропало, — говорит дядя Беня и подвигает шашку.

— Ход так ход, — говорит отец и бьет шашку дяди Бени.

— Ход так ход, — говорит дядя Беня и бьет две шашки.

Чем дальше, тем больше они увлекаются игрой, жуют бороды, раскачивают ногами под столом и напевают один и тот же мотив.

— Что делать, что делать, что делать? — говорит отец нараспев и жует кончик бороды. — Если я пойду сюда, он пойдет туда. Пойду я туда, он пойдет сюда. Так лучше сделаем такой ход!

— Такой ход, такой ход! — подпевает ему дядя Беня на тот же мотив.

— Чего же мне бояться? — напевно тянет отец. — Если он побьет мою шашку, я побью две. А вдруг он вздумает бить три шашки?

— Три шашки, три шашки, три шашки! — подпевает дядя Беня.

— Ой, и дурак же ты, Беня! — поет отец и делает ход.

— Сам ты дурак, братец мой, еще больший! — поет дядя Беня, делает ход и сейчас же спохватывается.

— Фи, Беня, мы же договорились: ход так ход! — говорит отец уже просто, без напева, и хватает дядю Беню за руку.

— Вот еще выдумал!.. — говорит дядя Беня. — Пока я не отнял руки от шашки, ход еще не сделан.

— Нет! — говорит отец. — Сделал ход — пропало, назад не брать.

— Назад не брать! — говорит дядя Беня. — Сколько раз случалось, что ты сам брал ходы назад?

— Я? — говорит отец. — Вот потому-то, Беня, я и не люблю с тобой играть в шашки.

— И не надо, не играй!

— Поздравляю! Уже дерутся из-за фасольки? — говорит мать, появляясь из кухни с раскрасневшимся лицом. За нею Брайна с большим блюдом горячих оладий с гусиным салом. От оладий валит пар. Все идут к столу. Я и мой брат Мотл, которые только что ссорились, царапались, как коты, моментально миримся и усердно принимаемся за олады.

3

Ночью я лежу в постели и думаю: сколько, например, у меня соберется ханукальных денег, если все дяди, все тетки и все родственники дадут мне. Перво-наперво дядя Мойше-Ари, брат моей матери, хотя и очень скупой, но богат; затем дядя Иця и тетка Двойра, с которыми мои родители уже много лет в ссоре. Ну, а дядя Бейниш и тетя Ента? А еще моя сестра Эйдл и муж ее Шолом-Зейдл? А все прочие родственники?

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Сколько, по-твоему, даст нам дядя Мойше-Ари ханукальных денег?

— Почему я могу знать? Я не пророк.

Через минуту:

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Есть у кого-либо столько дядей и теток, сколько у нас?

— Может быть, и есть, а может быть, и нет...

Через две минуты:

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Если ты спишь, как же ты говоришь со мной?

— Раз ты спрашиваешь, я же должен ответить...

Через три минуты:

— Мотл, ты спишь?

— Тссс... Трррр... хиль-хиль-хиль... тсссс.

Мотл храпит, свистит носом, а я сажусь на кровати, вынимаю свой рубль, разглаживаю его, осматриваю.

«Простая бумажка, кажется, — думаю я. — А чего только на нее не купишь: игрушек, ножииков, тросточек, кошельков, орехов, и конфет, и изюму... Чего только не купишь?»

Я прячу рубль под подушку, читаю молитву на сон грядущий... Входит Брайна с целым блюдом рублей... Брайна не идет, она витает в воздухе и поет слова молитвы: «Свечи, которые мы зажигаем», а Мотл глотает рубли, словно галушки. «Мотл! — кричу я во всю глотку. — Господь с тобой, Мотл, что ты делаешь? Рубли???» Я просыпаюсь: «ТЬфу, тьфу, тьфу... Какой сон?»

И засыпаю.

4

На следующее утро после завтрака мать напяливает на нас наши шубки на кошачьем меху, повязывает нас большими теплыми платками, и мы отправляемся за ханукальными деньгами. Первый визит, разумеется, к дяде Мойше-Арну.

Дядя Мойше-Арн — болезненный человек, вечно возится с желудком. Когда ни придешь, застанешь его у рукомойника. Он моет руки и бормочет: «Ашер йоцер»*.

— Доброе утро, дядя Мойше-Арн! — выпаливаем мы разом, я и мой брат Мотл. Нас встречает тетя Песя, низенькая женщина — один глаз черный, другой белый, то есть одна бровь черная, другая белая. Тетя Песя снимает с нас шубки, платки, вытирает нам носы своим передником.

— Сморкайтесь! — говорит тетя Песя. — Сильнее, сильнее сморкайтесь! Нечего жалеть! Еще! Еще! Вот так!

Дядя Мойше-Арн, в старом халате на кошачьем меху, в ватной ермолке, с ватой в ушах и с облезлыми усами,

стоит у раукомойника, моет руки, морщит лицо, мигает глазами и набожно шепчет свою молитву.

Я и мой брат Мотл сидим как пригвожденные к столу. Когда бы мы сюда ни пришли, нас всегда гнетет какая-то тоска, тяжесть. Тетя Песя садится против нас, складывает руки на груди и приступает к допросу:

— Как отец поживает?

— Ничего.

— Как мать поживает?

— Ничего.

— Гусей резали?

— Резали.

— Сало топили?

— Топили.

— Оладьи пекли?

— Пекли.

— Дядя Бeня был?

— Был.

— Играли в шашки?

— Играли.

И так дальше.

Тетя Песя еще раз приводит наши носы в порядок и обращается к дяде Мойше-Арну:

— Мойше-Арн, надо им дать ханукальные деньги.

Дядя Мойше-Арн не слышит; он потирает руки и нараспев кончает свою молитву.

Тетя Песя еще раз:

— Мойше-Арн, ханукальные деньги детям.

— А? Что? — спрашивает дядя Мойше-Арн и перекладывает вату из одного уха в другое.

— Ханукальные деньги детям! — кричит ему тетя Песя в самое ухо.

— Ой, живот! Живот! — говорит дядя Мойше-Арн и хватается обеими руками за живот. — Ханукальные деньги вам? На что детям деньги? Что вы будете делать с деньгами? А? Истратите, растранижите, а? Сколько вам отец дал ханукальных?

— Мне рубль, — говорю я, — а ему полтинник.

— Рубль?.. Гм... Балуют детей... Сами же губят их. Что сделаешь со своим рублем? А? Разменяешь? А? Смотри не разменяй. Слышишь, что тебе говорят? Смотри не разменяй. А может, собираешься разменять?

— Разменяют, не разменяют, — тебе-то что? — говорит тетя Песя. — Отдай им то, что им полагается, и пусть идут себе с богом.

Дядя Мойше-Ари идет в свою комнату, шаркает туфлями, ищет во всех ящиках и шкатулках, наскреб несколько монет, ворча про себя:

— Гм... балуют детей, губят их! Губят вконец!

И он сует нам в руку несколько потертых медяков. Тетя Песя снова (в последний раз) берется за наши носы, надевает на нас шубки, закутывает нас в большие теплые платки, и мы уходим.

Мы бежим по белому, морозному, скрипящему снегу, и считаем потертые медяки, которые сунул нам дядя Мойше-Ари, и никак не можем сосчитать. Руки у нас озябли, покраснели и распухли, монеты все медные, большие, тяжелые, какие-то гривны допотопные, пятаки старинные, позеленевшие. Трудно, невозможно сосчитать на морозе, сколько дядя Мойше-Ари дал нам ханукальных денег...

5

Второй наш визит — к дяде Ице и тете Двойре, к тем самым, с которыми отец и мать уже много лет в ссоре. Почему они в ссоре, мы не знаем. Мы знаем одно, что отец и дядя Иця (родные братья) друг с другом не разговаривают, хотя молятся в одной синагоге и сидят рядом на одной скамье. В праздник, когда с амвона читается соответственный раздел Пятикнижия и за честь прочитать отрывок этого раздела прихожане должны внести какую-либо сумму в пользу синагоги, — между прихожанами начинается азартный торг. Тогда оба брата обязательно стремятся отбить эту честь друг у друга. В синагоге тогда настоящий базар. Разговаривают, перебегают с места на место, шушукуются, смеются и помогают торгу. Всякому хочется знать, за кем останется «шиши»* или «мафтир»*. Всем хочется, чтоб торговались подольше. Синагогальный служка, рыжий Мехчи, стоит у амвона, перегнувшись корпусом вперед. Его молитвенное покрывало упало с плеч, ермолка съехала набок. Мехчи смотрит на восточную сторону, где сидят отец и дядя Иця, и гнусит:

— Восемнадцать гилдойн за «шиши»!* Двадцать гилдойн за «шиши»! Двадцать два гилдойна за «шиши»!

Отец и дядя Иця сидят друг к другу спиной, оба будто погрузились в свои молитвенники. Но стоит одному объявить цену, чтоб другой сейчас же надбавил. Народ доволен, помогает торговаться:

— Тридцать! Тридцать пять! Тридцать семь! Сорок! Сорок!

Служка Мехчи смотрит то на одного, то на другого брата.

— Сорок гилдойн за «шиши»! Сорок два гилдойна за «шиши»! Сорок пять гилдойн за «шиши»!

Отец и дядя не перестают набавлять. Уже подняли цену до пятидесяти золотых. Мехчи поднимает руку и хочет уже пристукнуть:

— Пятьдесят гилдойн!

Вдруг спохватывается дядя Иця, поднимает один палец. Народ кричит: «Пятьдесят один! Пятьдесят один» — и торг продолжается. Цена поднялась до шестидесяти с лишним золотых (цена неслыханная), и «шиши» остается за дядей Ицей. Потом продается «мафтир». Отец посмотрел на служку и махнул рукой, как бы желая сказать: «Мафтир» мой». Мехчи ничего против этого не имеет, но народ не согласен: «Как же без торгов? На то праздник. Нет монополии на «мафтир».

— Десять гилдойн за «мафтир»! Пятнадцать гилдойн за «мафтир»! Пятьдесят гилдойн за «мафтир»!

Ну и скачок! Отец оглядывается, кто это хочет отбить у него «мафтир». И представьте — это опять дядя Иця захотел купить «мафтир» для своего младшего зятя. Ах! И «шиши» и «мафтир»! Извините! Бить в два кнута? Не пойдет! Отец подымается, мигает службе:

— Сто.

Слово «сто» громом проносится по синагоге. Все ошеломлены. Такой цены никогда в синагоге не слышали со дня ее основания.

А Мехчи гнусит как ни в чем не бывало:

— Сто гилдойн за «мафтир»! Сто гилдойн за «мафтир»! Сто гилдойн... (Собирается пристукнуть.)

Тут дядя Иця поднимается с места. Отец как-то странно смотрит на него, как бы говоря: «С ума спятил? Зарезать хочешь? Режь!»

Дядя Иця садится, и «мафтир» остается за нами...

Но одно другого не касается. Когда случается торжество у нас или у дяди: рождение девочки или обрезание у сына, помолвка, свадьба, — они приходят друг

к другу в гости, усаживаются на почетных местах, радуются и пляшут вместе со всеми гостями.

— Доброе утро, дядя Иця! Доброе утро, тетя Двойра! — выпаливаем мы, я и мой брат Мотл, одновременно, и нас принимают, как желанных гостей.

— Вы небось не в гости пришли, а за ханукальными деньгами, — говорит дядя Иця, треплет нас по щеке, вынимает кошелек и дает нам ханукальных: мне — новый серебряный двугривенный и моему брату Мотлу — новый серебряный двугривенный. Мы отправляемся к дяде Бейнишу.

6

Кто хочет себе представить ад наяву, пусть пойдет в дом к дяде Бейнишу. Когда ни придешь, там шум, крик, галдеж. Там полон дом детишек. Полуголые, грязные, замызганные, невымытые, вечно дерутся, царапают друг дружку, часто до крови, под глазами у многих синяки. Кто смеется, кто плачет, этот поет, тот визжит, один гудит, другой свистит. Один сорванец надел отцовский сюртук, закатав рукава, а другой разъезжает верхом на метле. Один пьет молоко прямо из кувшина, другой щелкает орехи, третий держит в руке голову селедки, четвертый сосет конфетку, а из носика сопли текут ему прямо в рот. У тети Енты железные нервы, если она может сладить с этой оравой: она их ругает, щиплет, награждает тумачами. Она не разбирает: кто попался под руку, тот и получает по спине, по шее, куда попало. Подзатыльники, оплеухи — здесь сущие пустяки. Там услышишь и «холеру», и «чуму», и «проказу» — и все это говорится самым добродушным тоном, как другой скажет «здравствуй». Галдеж утихает лишь с приходом дяди Бейниша. Но так как дядя, человек занятой, пропадает целый день в лавке и домой является только закусить, то у него в доме постоянно ад крошечный.

Войдя к ним, мы увидели Азрилика (среднего) верхом на Геце (старшем), а Фройка с Мендлом (двое помоложе) подгоняли Гецю, один — рукавом ватного кафтана, другой — переплетом молитвенника. Хаим (средний между Фройкой и Мендлом) достал где-то горлышко от зарезанного гуся, надул его изо всех сил, как надувают резинового чертика, от натуги весь посинел,

и ему удалось извлечь какой-то дикий звук, напоминающий визг свиньи, когда ее режут. Зайнвл (его возраста я не знаю — не то старшенький, не то младшенький) дает концерт на гребешке, а Давид (мальчик лет четырех) надел сапоги на руки и отбивает ими такт. Сендер тащит котенка за горло; котенок высунул язык, закрыл глазки, вытянул ножки, как бы жалуясь: «Видите, как здесь туго приходится! Мучают меня! Мучают!..» Эстер (старшая девочка) вздумала причесать Хаську (младшую дочку), заплести ей косичку, но так как у Хаськи волосы кудрявые и давно не чесаны, то она не дается, кричит благим матом, и Эстер ее шлепает. Тише всех сидит Пиня, крошечный мальчик с искривленными ножками и подоткнутой рубашонкой. Одно плохо: где бы он ни стал, он оставляет след...

Все это, однако, не мешает тете Енте сидеть спокойно за столом, с одним ребенком у груди, с другим на коленях, и распивать цикорий.

— Крошка моя дорогая! — говорит она и прижимает к груди малютку, сосущую грудь, и в то же время тетя локтем ударяет старшенького, который сидит у нее на коленях.

— Смотри, как ты ешь, чтоб тебя черви ели! Эстер, Рохл, Хаська, куда вас черт занес? Утрите ему нос скорей, вымойте мне блюдо, без блюда мне пить? Дайте ему тумака. Золотце мое, ласточка моя, радость моя! И как только не лопнут! С раннего утра все жрут да жрут!

Завидев меня и моего брата Мотла, ребята кинулись к нам и облепили нас, как саранча. Хаим подул в горлышко зарезанного гуся прямо над моим ухом, а Давид обнял меня своими сапогами, надетыми на руки. Пиня с подоткнутой рубашонкой уцепился за мою ногу, обвился вокруг нее, как уж; поток разных звуков и голосов оглушил нас.

— Чтоб вам онеметь! — кричит тетя Ента из другой комнаты. — Оглохнуть можно от вас! Разве это дети? Какие-то черти, чтоб вам сгореть!

Тетя Ента кричит, дети кричат, все кричат. Вдруг приходит дядя Бейниш из синагоги. В одно мгновение все утихает, и вся орава исчезает.

— Доброе утро, дядя Бейниш! — выпалили мы оба вместе, я и мой брат Мотл.

— Что скажете, шалуны? Небось за ханукальными

деньгами пришли? — говорит дядя Бейниш и дарит нам по серебряному гривеннику.

Дети, точно тараканы, смотрят на нас из углов, поблескивая глазами, как мышата, показывают пальцами, строят уморительные рожи, по-видимому желая нас рас-смешить, — мы еле-еле удерживаемся от смеха и уди-раем из этого ада.

7

Теперь мы идем за ханукальными к нашей сестре Эйдл. Эйдл с детства была какая-то плаксивая душа. Из-за малейшей глупости она плакала, проливала слезы над своим и чужим горем. А с тех пор, как стала невестой Шолом-Зейдла, у нее глаза не просыхали. И не потому, чтоб жених ей не нравился. Избави бог! Разве она его знала? Она его и в глаза не видала. Но невесте полагается плакать. Когда портной принес ей к примерке свадебное платье, она проревела всю ночь. Перед свадьбой, когда подружки собрались к ней на девичник потанцевать, Эйдл ежеминутно убегала в свою комнату поплакать в подушку. А в день свадьбы уж и говорить не приходится — то был ее день. Целый день были слезы. Но самое замечательное началось в тот момент, когда скрипач Менаше заиграл на своей скрипке подвенечную мелодию, а бадхен * Борух влез на стол, сложил руки на животе и запел известную трогательную песню:

Голубушка-невестушка,
Восплачь-возрыдай!
Слезам горьким
Волюшку ты дай.
Наряд подвенечный
Ты свой одевай,
Девичьей волюшке
Скажи ты «прощай»!

и т. д.

Женщины, родные и знакомые, которые расплетали невесте ее длинные косы, строили печальные рожи, всхли-пывали, пускали слезу, а сама Эйдл так ревела, так рыдала, что три раза падала в обморок, еле в чувство привели ее.

Но насколько сестра наша Эйдл была слезлива, на-столько ее муж, Шолом-Зейдл, был весельчак, затейник, шутник и, да простит он мне, — ужасно надоедливый

человек. Пристанет — не отвяжешься от него. Любил донимать нас щелчками; это было его величайшим наслаждением. Частенько мы, я и мой брат Мотл, ходили с распухшими ушами от его щелчков. Мы прямо-таки ожили, когда узнали, что молодожены от нас съезжают на собственную квартиру. В день переезда у нас в доме было как на похоронах. Эйдл плакала навзрыд, а мать, глядя на нее, тоже плакала. А Шолом-Зейдл якобы помогал укладывать вещи, носился по дому, каждый раз очень ловко подкрадывался к нам и отпускал нам щелчки то в нос, то в ухо. Он щедро наградил нас ими и имел еще смелость просить нас почаще приходиться к нему в гости. Мы дали слово не переступить порог его дома. Но человек забывает все, в особенности щелчки. Да и как не пойти к родному зятю за ханукальными деньгами?

Когда мы вошли, Шолом-Зейдл торжественно приветствовал нас:

— Добро пожаловать! Как поживаете? Вот умники, что пришли, я приготовил для вас ханукальные денежки.

Шолом-Зейдл вынимает кошелек и отсчитывает нам по несколько новеньких блестящих серебряных монет прямо в руки. Мы не успеваем сосчитать наши деньги, как Шолом-Зейдл уже угощает нас щелчками: меня в ухо, а брата в нос, потом меня в нос, а брата в ухо.

— Да перестань ты их мучить! — умоляет его наша сестра Эйдл со слезами на глазах. Она отзывает нас в сторону, пихает нам в карманы пряники и орехи и дает нам от себя ханукальные деньги.

Мы стрелой мчимся домой.

8

— Ну-ка, Мотл, давай сосчитаем наши капиталы! Но давай так. Ты помолчи, раньше я сосчитаю свои, потом ты сосчитаешь свои.

И я считаю: рубль, и три двугривенных, и четыре пятиалтынных, и пять гривенников, и шесть пятачков — сколько же всего? Один рубль и три двугривенных, и четыре пятиалтынных, и пять гривенников, и шесть пятачков...

Мой брат Мотл не хочет дожидаться, пока я кончу, и принимается за свои капиталы. Он перебрасывает монеты из одной руки в другую и считает:

— Двугривенный и двугривенный — два двугривенных, и еще двугривенный — три двугривенных, и два пятиалтынных — будет три двугривенных, и два пятиалтынных, и гривенник, и еще гривенник, и еще гривенник, — будет два двугривенных и три пятиалтынных, то есть три пятиалтынных и два двугривенных... тьфу, что я говорю? Надо начать сначала.

И он начинает сначала. Мы считаем, считаем, — и никак не сосчитаем. А когда дело доходит до медяков дяди Мойше-Арна, мы окончательно запутываемся в счете. Его старинные пятаки, стертые алтыны и позеленевшие гроши окончательно сбивают нас со счета. Мы пытаемся выменять эти деньги у матери, у отца, у нашей кухарки Брайны: не удается, никто их в руки брать не хочет.

— Что это за пятаки? Кто всучил вам такие деньги? Нам стыдно признаться, и мы молчим.

— Знаешь что? — говорит мне мой брат Мотл. — Давай кинем их в печку, а то выбросим на снег, чтоб никто не заметил.

— Какой ты умник! — говорю я. — Лучше уж нищему отдать.

Но, как назло, ни один нищий не показывается. Куда подевались все нищие? Никогда к вам не придет тот, кто вам нужен! Никогда! Никогда!

ЧАСЫ

Рассказ

Часы пробили тринадцать...

Не подумайте, что я шучу. Я рассказываю вам вполне правдивую историю, которая случилась в Касриловке, у нас в доме. Я сам был свидетелем этой истории.

У нас были стенные часы, старые-престарые часы; отец получил их в наследство от деда, дед — от прадеда, и так они переходили от поколения к поколению с незапамятных времен. Право, жаль, что часы — не живое существо, что у них нет языка и они не умеют говорить: они бы многое могли порассказать... Наши часы пользовались славой первых часов в городе — «часы реб Нохума!..». Они так хорошо шли, так верно показывали время, что люди ставили по ним свои часы. Представьте себе, даже Лейбуш-философ, настоящий мудрец, который определял заход солнца по самому солнцу и знал наизусть календарь, даже он говорил (я слышал из его собственных уст), что хотя наши часы... по сравнению с его часами сушая ерунда, понюшки табаку не стоят, но по сравнению с другими наши часы все-таки часы... А уж если Лейбуш-философ сказал, то на его слова можно было положиться, потому что каждую субботу под вечер, между предвечерней и вечерней молитвами, он не ленился подниматься в женское отделение синагоги или на вершину холма возле старой синагоги и, затаив дыхание, следить за солнцем, ловить мгновение, когда оно сядет. В одной руке держал он часы, в другой — календарь, и, когда солнце спускалось за Касриловку, реб Лейбуш говорил: «Поймал!» Часто он заходил к нам сверять часы. Войдя, он никогда не скажет «добрый вечер», а только взглянет на наши стенные

часы, на свои карманные и на календарь, потом еще раз на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь — и нет его.

Лишь однажды реб Лейбуш, придя к нам сверить часы, поднял крик:

— Нохум! Скорей! Где ты?

Отец прибежал ни жив ни мертв.

— А?! Что случилось, реб Лейбуш?

— Злодей, ты еще спрашиваешь!.. — отвечает реб Лейбуш и сует прямо в лицо отцу свои карманные часы, потом показывает ему на наши стенные часы и кричит голосом человека, которому наступили на мозоль: — Нохум! Что ты молчишь? Они ведь спешат на полторы минуты, на полторы минуты! Им место на свалке!!! — Последнее слово он произносит с такой силой, как в молитве слова «бог един».

Отцу досадно: как это его часам место на свалке!

— Откуда известно, реб Лейбуш, что мои часы спешат на полторы минуты? А может, наоборот, может, ваши часы отстают на полторы минуты? Чего только не бывает!

Реб Лейбуш смотрит на него такими глазами, как если бы отец сказал, что первое число будет продолжаться три дня подряд, или что канун пасхи выпал в июле, или еще тому подобные нелепости, от которых, если принять их всерьез, может хватить удар. Реб Лейбуш не отвечает ни слова. Он глубоко вздыхает, поворачивается, не простившись, хлопает дверью — и нет его! Но это еще ничего; весь город знает: реб Лейбуш — человек, которому не нравится ни одна вещь на свете. О лучшем канторе он скажет, что это кочан капусты; умнейшего человека назовет скотиной в ослином обличье; счастливое бракосочетание сравнит с кривой кочергой и о самом справедливом высказывании отзовется, что оно идет к делу, как пятое колесо к телеге. Такой уж человек реб Лейбуш-философ.

Но возвращаюсь к нашим часам. Это, говорю я вам, были часы что надо! Их бой был слышен за три дома: бом!.. бом!.. бом!.. Почти половина города жила по нашим часам. По ним читали и полуночную и утреннюю молитвы; в пятницу по ним пекли халу, солили мясо, благословляли субботние свечи, а к исходу субботы — зажигали свет: по нашим часам делали все, что имело отношение к еврейским обрядам. Словом, наши часы были городскими часами. Служили они, сердечные

очень, очень верно, никогда не останавливались даже на сутки, ни разу за всю свою жизнь не побывали в руках у часового мастера. Отец возился с ними сам (он достаточно разбирался в тонкостях часового дела). Каждый раз накануне пасхи отец осторожно снимал часы со стены, прочищал пером, извлекая из их внутренностей паутину с запутавшимися в ней мухами, которых пауки заманили туда и свернули им головки, и мертвых тараканов, заблудившихся там и погибших насильственной смертью... Протерев и прочистив часы, отец вешал их обратно на стену и сиял. Вернее, они вместе сияли: часы сияли оттого, что их причесали и нарядили, а отец сиял оттого, что часы сияли.

И был день, и случилась история. Однажды, в хорошую ясную погоду, мы все сидели за столом и завтракали. У меня была привычка: когда бьют часы, считать удары и непременно вслух:

— Раз... два... три... семь... одиннадцать... двенадцать... тринадцать... Ой, тринадцать!

— Тринадцать? — смеется отец. — А ты мастер считать, ничего не скажешь. Разве бывает тринадцать часов?

— Тринадцать, чтоб мне провалиться, тринадцать!

— Тринадцать оплеух ты от меня получишь, — говорит отец, рассердившись. — Не смей повторять такие глупости. Часы, невежда, не могут бить тринадцать!

— Знаешь, Нохум, — вмешивается мать. — Боюсь, что ребенок прав. Мне кажется, и я насчитала тринадцать!

— Вот так новости! — говорит отец.

Похоже было на то, что и он начинает сомневаться. После завтрака он подходит к часам, взбирается на табурет, трогает какое-то колесико, и часы снова бьют. Мы все втроем считаем и киваем головой в такт ударам: «Раз... два... три... семь... девять... двенадцать... тринадцать».

— Тринадцать?.. — Отец смотрит на нас, как человек, который вдруг услышал, что стена заговорила, неожиданно обрела дар речи.

Он еще немного ковыряется в колесике, и часы еще раз бьют тринадцать. Отец, бледный, со вздохом слезает с табурета, останавливается посреди комнаты, смотрит на потолок и, жуя кончик бороды, рассуждает сам с собой:

— Бьют тринадцать... Что же это такое? Что бы это могло означать? Будь они испорчены, они бы остановились. В чем же тут дело? Надо понимать так: спружинка...

— Что ты мудришь: спружинка, спружинка? — говорит ему мать. — Берут часы и исправляют. Ты ведь мастер!..

— Что ж? Может, ты и права... — отвечает ей отец, снимает часы со стены и начинает возиться с ними.

Он трудится, потеет над часами целый день и наконец вешает их на место — слава богу, идут как следует. А когда приходит полночь, мы все стоим около часов и насчитываем двенадцать! Отец ликует:

— Слышали? Больше не бьют тринадцать? Если я говорю — спружинка, значит, можете мне поверить!..

— Я давно знаю, что ты на все руки мастер, — говорит мать. — Только одного я не понимаю: почему они хрипят? Они как будто никогда так не хрипели.

— Это тебе кажется! — говорит отец, прислушиваясь, как хрипят часы, когда приходит время бить. Словно старик, которого донимает кашель: хил-хил-хил-хил-тр-р-рр... и только после этого: бом!.. бом!.. бом!.. Но и самый «бом» уже не тот, что прежде: прежний «бом» был веселый «бом», жизнерадостный, а теперь закралась в него какая-то грусть, какая-то тревога, и звучит он, как голос старого, отслужившего свое кантора, когда он в Судный день читает последнюю молитву.

Хрип все усиливается, бой становится все тише и печальнее, а отец все мрачнее. Ему больно, он молча страдает, он вне себя от того, что ничем не может помочь. Кажется, вот-вот — и часы совсем станут. Маятник начинает проделывать какие-то диковинные номера: он замедляет ход, отклоняясь в сторону, словно цепляется за что-то, как старик, который волочит ногу. Видно, часы собираются остановиться навсегда, навеки. К счастью, отец своевременно спохватывается, что часы тут ни сном ни духом не виноваты, — виноваты гири: мало груза! И отец привешивает к гилям все, что подвертывается под руку (весом в несколько фунтов). И снова часы наши как песня. И отец снова весел — совсем другой человек!

Однако радость наша продолжается недолго. Часы опять начинают лениться, и маятник опять вытворяет странные штуки: в одну сторону отклоняется медленно.

в другую — быстро; от скрежета часов скребет на душе, ноет сердце. Больно видеть, как умирают часы. И отец, глядя на них, тает, исходит жалостью.

Как хороший опытный врач, который жертвует собой ради больного, напрягает все силы, применяет все средства, чтобы исцелить его, не дать ему умереть, так отец всеми способами спасал старые часы.

— Мало груза — мало жизни! — говорит отец и привешивает к гилям одну тяжесть за другой: сначала железную сковородку, потом медную кружку, за ней железный утюжок, мешочек песку, несколько кирпичей — часы набираются сил и идут, с трудом, с мучениями, но идут, пока не случилось однажды ночью большое несчастье.

Это было зимой, в пятницу вечером. Мы покончили с субботним ужином: вкусной наперченной рыбой с хреном, горячим бульоном с лапшой, цимесом из слив — и совершили благословение по всем правилам. Субботние свечи еще не догорели. Служанка достала из печи свежие, теплые, хорошо высушенные семечки. Вошла тетя Ента, смуглая, молодая, но беззубая женщина, которую бросил муж. Вот уже несколько лет, как он уехал в Америку.

— Доброй субботы, — говорит тетя Ента, — я так и знала, что у вас свежие семечки; беда только, грызть нечем, чтоб ему, моему злодею, жить столько лет, сколько у меня зубов во рту... Как тебе нравится, Малка, что творилось сегодня с рыбой? Я спрашиваю его, рыбака Менаше: «Почему у вас такая дороговизна?» Но тут подскакивает богачка Соре-Перл: «Дайте мне, дайте мне скорее, свешайте мне вот эту щучку!» — «Куда вы так спешите? — говорю я. — Бог с вами. Река не сторит. И Менаше свою рыбу не повезет обратно; у богачей, — говорю я, — деньги, видно, дешевы, а ум дорог...» И что же вы думаете? Она как откроет ротик: «Беднякам, говорит, здесь нечего делать... Бедняку, говорит, и хотеться не должно...» Ну, видели вы такую негодницу! Давно ли она стояла со своей мамашей у столика на базаре и продавала ленты? Точно так же, как Песл Пейси-Аврома хвастает своей дочерью: мол, вышла за стрищенского богача, который взял ее как есть, без гроша за душой... Еврейское счастье, — говорят, она мучается день и ночь, все с детьми не может поладить... Известно, разве приятно быть мачехой? Упаси бог! Вот, к примеру, Хавеле.

Кажется, что с нее возьмешь? Вы бы посмотрели, как ей достается от его детей! С утра до ночи крики, шум, гам, дым коромыслом!

Свечи оплывают. Тени ползут по стене, взбираются все выше и выше. Семечки трещат, люди мирно беседуют, рассказывают истории о том о сем, просто так, каждая история сама по себе. Больше всех говорит тетя Ента.

— Пойдите! — восклицает она. — Недавно случилась история еще почище. Недалеко от Ямполья, версты за три, разбойники напали на корчму, целую семью вырезали, даже малое дитя в люльке и то не пощадили. Уцелела только служанка, которая спала в кухне на печи; услышав, что кричат, она, служанка эта, спрыгнула с печи, посмотрела в дверную щель, и увидела она, служанка эта, на полу зарезанных хозяина и хозяйку, а крови — река целая... Не долго думая, служанка выскочила в окно и побежала прямо в город с криком: «Спасите, люди добрые, караул, караул, караул!!!»

Тетя Ента кричит «караул!», и вдруг мы слышим: «трах-тарарах-бом-динь-динь-бом!» Увлеченные историей, мы подумали, что разбойники напали на наш дом и выпалили из десяти пушек или же крыша обвалилась, землетрясение началось, а то еще какое-нибудь несчастье случилось. Мы замерли. Минуту молча смотрели друг на друга, а потом все разом как закричим: «Караул! караул! караул!» В общей сумятице мать прижимает меня к себе.

— Дитя мое! Да минет тебя зло! О, горе мне!

— А? Что? Что с ним? Что случилось? — кричит отец.

— Ничего, ничего, тише, тише! — кричит тетя Ента, размахивая руками.

Из кухни вбегает испуганная служанка.

— Кто кричит? Что такое? Горит? Где горит?

— Кто горит? Что горит? Чтоб ты сгорела, девка этакая, чтоб тебе сгореть и испепелиться! — кричит на служанку тетя Ента. — Мало было, так ее черти принесли... Вот тебе на, горит! Чтоб тебе провалиться! Слышали вы такое! Какого беса вы кричите! Чего всполошились? Проклятие моим врагам! Вот так перепуг, было бы с чего! Стука испугались! Смех берет! Бог с вами, это часы, часы упали, теперь вам ясно? Навешали на часы всякой всячины целых три пуда, вот они и упали. Что тут удивительного? Если бы столько повесили,

простите, на человека, он бы тоже поступил не лучше. Слыхали такое?

Лишь теперь мы приходим в себя. Один за другим поднимаемся из-за стола, подходим к часам и смотрим, как лежат они, бедные, лицом вниз, сломанные, разбитые на мелкие части, искалеченные навсегда.

— Конец часам, — произносит побледневший отец, низко опустив голову, словно перед ним лежит покойник. Отец ломает руки, и слезы стоят у него в глазах. Я смотрю на отца, и мне тоже хочется плакать.

— Что ты, успокойся, зачем принимать это близко к сердцу? — говорит ему мать. — Наверно, так суждено, начертано на небесах, чтобы сегодня, в эту минуту, пришел им конец, как, простите, человеку, да помилует меня бог! Пусть будут они искуплением за меня, за тебя, за наших детей, за всех наших родных и близких и за всех людей на свете. Аминь...

Всю ночь после этого мне снились часы. Я видел: наши старые часы лежат на полу, одетые в белый саван. Я видел: часы идут, но вместо маятника болтается из стороны в сторону длинный язык, человеческий язык. И часы не бьют, а стонут, и каждый их стон отзывается во мне болью... А на циферблате, где я привык видеть двенадцать, вижу я вдруг цифру тринадцать. Именно тринадцать. Можете мне поверить на слово.



У ЦАРЯ АРТАКСЕРКСА*

1

Знаете, кому я завидовал в детстве, когда был маленьким мальчиком?

Артаксерксу.

Не тому Артаксерксу, царство которого простиралось от Индии до Эфиопии и который держал под своей властью сто двадцать семь стран. Нет, я завидовал портному Коплу, когда он появлялся у нас в золотой короне, то есть в бумажном колпаке, с длинным золотым скипетром из метлы.

Завидовал я также первому царедворцу Мордехаю* (сапожнику Лейви), когда он напяливал на себя старый, вывернутый наизнанку кафтан и подвязывал к подбородку большую всклокоченную бороду из пеньки.

Завидовал я и царице Вашти* (столяру Мотлу). На нем поверх длинного кафтана была женская юбка, а борода прикрыта платочком, чтобы придать ему больше сходства с женщиной..

А как хорошо было царице Эсфири*, когда она выходила в зеленом переднике (это был помощник

синагогального служки Эйзер), или Аману*, которому нахлобучивали на голову треснувший горшок (помощник меламеда Иоська)!..

Но больше всех завидовал я сироте Файвлу: его наряжали в красную рубаху, и он изображал Иосифа-прекрасного*. Братья срывали с него красную рубаху, а его самого низвергали в яму львиную. Иосиф-прекрасный, преклонив колени и скрестив руки на груди, произносил заклинание, чтобы свирепые звери не смогли обрести власть над его телом. При этом он пел грустную песенку, трогательные слова которой проникали глубоко в сердце:

Змен и гады,
Закройте ваш зев!
Закройте ваш зев!
Иль неведомо вам,
Иль неведомо вам,
Иль неведомо вам, кто я?
Я Иосиф-прекрасный,
Внук Исаака,
Сын Иакова,
Сын Иакова!..

Иосиф-прекрасный был круглый сирота, бедняк из бедняков. Он ютился в подвальном помещении небольшой молельни и был у всех на побегушках. И все же я, — сын богатых родителей, внук самого реб Меера, — я охотно поменялся бы положением с сиротой Файвлом ради этого единственного дня, ради праздника пурим.

Вот он наступил — этот долгожданный радостный день! С самого раннего утра я с нетерпением ожидал комедиантов, ходивших из дома в дом по грязным улицам местечка в сопровождении целой ватаги мальчишек, месивших босыми ногами снег.

Ах, почему нельзя и мне пойти с этой веселой ватагой! Но нет, не для меня эти радости. Мне нельзя, не подобает: я сын богатых родителей, я внук самого реб Меера, — мне полагается целый день томиться дома, как томится пес в своей будке, а вечером чинно сидеть со взрослыми у дедушки реб Меера за праздничным ужином.

Вот мы идем к дедушке реб Мееру. Я поминутно оборачиваюсь туда, где, провожаемые шумной толпой, шагают комедианты.

— Чего вертишься, как юла? — кричит на меня отец.

— Ты уже большой мальчик, не сглазить бы! — поучает мама. — Ты можешь шагать побыстрее. Еще месяц — и тебе, с божьей помощью, исполнится восемь лет. Дай тебе бог дожить до ста двадцати!

— Не трогайте его! Не видите разве — он не может оторваться от комедиантов! — язвит мой старший брат Мойшеле, хотя он и сам не прочь остановиться и поглазеть.

— Иди же, пошевеливайся! — подгоняет меня пищиком в бок мой палач — меламед реб Иця.

Опустив глаза, я стараюсь не отставать от взрослых. А мозг дают гнетущие мысли: «Вечно со взрослыми! Вечно с учителем... Утром и вечером, в будни и в праздник — вечно перед твоими глазами красный от нюхательного табаку нос меламеда, чтоб ему сквозь землю провалиться!»

2

Дедушка реб Меер, первый богач в местечке, живет маленьким царьком. Просторный зал с огромной висячей люстрой. На стенах золоченые бра. Тут же стоит массивный серебряный семисвечник, которым бабушка Нехама украшает стол лишь дважды в год — на пасху и на пурим. Весь дом дедушки залит ярким светом.

В большом кресле с зеленой обивкой сидит сам дедушка, реб Меер. Щупленький человечек, жидкая борода, нос с горбинкой, волосы тронуты серебром, живые молодые черные глаза. Дедушка носит длинный шелковый кафтан, подпоясанный шелковым поясом. На голове у него бархатная шапка, отороченная мехом. На столе перед ним огромный, чудовищных размеров праздничный пирог с маковой начинкой, позолоченный шафраном и утыканный изюминками. Пирог уже слегка надрезан.

Бабушка Нехама, высокая, моложавая на вид женщина, еще сохранила следы былой красоты. На ней золотистого цвета шелковое платье в белый горошек. В волосах, над самым лбом, ободок с брильянтами, на шее жемчужное ожерелье, в ушах серьги, на пальцах золотые перстни с драгоценными камнями. Перед бабушкой большущее блюдо с горячей, вкусно пахнущей, здорово наперченной рыбой, приправленной луком, сахаром, изюмом и разными пряностями. Бабушка накладывает

рыбу каждому на тарелку. При этом кончики ее красивого шелкового платка забиваются за уши, и на лбу причудливо играют брильянты. На сияющем лице приветливая улыбка.

За столом много народу. Пришли все дяди и все тетушки с многочисленными чадами. Так как, по установленному обычаю, все дяди и все тетки давали имена своим детям в память одних и тех же покойных дедушек и бабушек, дядей и теток, то в каждой семье мальчики и девочки носят одни и те же имена. У дяди Цодека, например, и у его жены Цивьи три сына: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, и две дочери: Сореле и Фейгеле. За ними следуют дядя Нафтоля и тетя Двойра, у которых четыре мальчика: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, Нотеле, и три девочки: Сореле, Фейгеле и Рохеле. У дяди Аврома и тети Соси пять мальчиков: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, Нотеле, Янкеле, и четыре девочки: Сореле, Фейгеле, Рохеле, Тайбеле. У дяди Бериша и тети Эстер шесть мальчиков... и так далее...

Надо ли продолжать этот перечень? Пожалуй, не надо, а то как бы не сглазить!.. Дедушка как-то попытался, любопытства ради, сосчитать, сколько народу сидит у него за столом.

«Не один, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь...» Но тут бабушка резко оборвала его: «Тыфу ты, прости господи! Что тут считать? Тарелок, слава богу, хватит на всех!»

Обычно, когда вся семья бывала в сборе, никто не садился за стол, пока дедушка не укажет место. Дедушка реб Меер во всем любит порядок. Он рассаживает так, чтобы все дяди и тети сидели рядом: дядя возле дяди, тетя возле тети. Нас, малышей, рассаживают так, чтобы брат не сидел рядом с братом и сестра — рядом с сестрой: родные братья и сестры, говорит он, никогда не ладят меж собой. По этой причине Мойшеле должен сидеть рядом с чужим Гершеле, Гершеле — рядом с чужим Велвеле, Велвеле — с чужим Нотеле, Нотеле — с чужим Янкеле и так далее. Так же рассаживают и девочек: Сореле — рядом с чужой Фейгеле, Фейгеле — с Рохеле, Рохеле — с Тайбеле и так далее. Одному мне не хватило пары, и меня посадили рядом с моим палачом — меламедом реб Ицей. Реб Иця для меня не только учитель, но и воспитатель, наставник, нечто вроде

гувернера. Он учит меня правилам приличия: как сидеть за столом, как держать ложку, как есть и как пить.

— Когда сидишь за столом, — поучает он меня, — сиди «как человек». Гляди прямо, а руки держи под столом. Не разговаривай во время еды. Когда ешь бульон с лапшой, набирай в ложку столько же лапши, сколько бульона; проглотил — положи ложку на стол и вытри губы; проглотил второй раз — опять ложку на стол и вытри губы. Нельзя хлебать одну ложку за другой без остановки, как какой-нибудь мальчишка из простонародья.

Усевшись рядом со мной и прошептав молитву, реб Иця прежде всего вынул из кармана красный носовой платок и встряхнул его так, что крупинки нюхательного табаку попали ко мне в тарелку; затем он высморкался с визгом, перешедшим в оглушительный трубный рев и закончившимся воем; в то же время он ни на миг не прекращал наблюдения за мной, все посматривал одним глазом, сию ли я «как человек».

— «Роза Иакова...» — приятным, бархатным голосом, прищелкивая пальцами, запел дедушка после первой же рюмки вина.

И все хором поддержали:

— «...ликует и веселится!»

Все громче, все оживленнее поет разноголосый хор. Мой меламед реб Иця — хоть он и не ахти какой певец, а голос у него как у теленка, — поет с азартом, с воодушевлением: разинув рот, полузакрыв глаза и склонив голову набок; он стучит средним пальцем по столу и всем своим видом старается показать дедушке, что и он участвует в хоре. Одновременно он, как водится, все время искоса поглядывает на меня, сию ли я «как человек»...

3

— Пришли комедианты, — докладывает старый слуга Танхум, человек в красном кафтане, говорящий всем, кроме дедушки и бабушки, «ты».

При слове «комедианты» все дети — и я в том числе — вскочили из-за стола и мигом обступили царя Артаксеркса, на голове которого сияла золотая корона.

— С праздником вас! — выпалила хором вся компания актеров.

И они тотчас выстроились в два ряда. Царь Артаксеркс воссел на золотой стул. Мемухон * (кучер Хаим), стоя на одной ноге, запел:

Я Мемухон из царских гонцов,
Совсем молодой господин, безбородый.
На одной ноге перед вами стою
И сладким голосом песню пою.

Царь Артаксеркс спрашивает:

Зачем ты пришел, милый слуга Мемухон?
Что в моей стране уловил ты ухом?

Мемухон отвечает:

Пусть царь Артаксеркс сам убедится,
Как не хотят Аману поклониться.

Гневно кричит возмущенный царь Артаксеркс:

Кто смеет противиться тем повеленьям,
Что я разослал по моим владеньям!

Мемухон отвечает:

Какой-то еврей субботу блюдет,
Кафтан его без разреза,
Детей своих обрезает,
Как терпишь ты это в стране своей?

Царь Артаксеркс повелевает:

Ежели так, привести его ко мне!
Мы его повесим на высокой сосне!

Мемухон возглашает:

Входи, входи же, не стой,
Мондриш *, братец ты мой.

Входит Мондриш со всклоченной бородой. Он всячески оправдывается перед царем, ссылаясь прежде всего на свой старинный род и знатное происхождение: «Авраам, Исаак и Иаков — мои прадеды; библейские заветы — тому свидетели».

Заканчивает он нараспев:

Горя, горя нам не снести,
Если Аман у тебя в чести!..

.....
— Это ты — Иосиф-прекрасный? — спросил я сироту Файвла, стоявшего чуть в стороне.

Лицо его было печально, вид усталый, понурый.

— Я — Иосиф-прекрасный, — ответил Файвл.
— Ты будешь представлять сегодня?
— Прикажут — буду... — ответил Иосиф-прекрасный и, приблизив губы к моему уху, шепнул: — Дай-ка мне кусочек вашего калача.
— Увидят, будет мне нагоняй, — ответил я шепотом.
— А ты стащи так, чтобы никто не видел, — сказал он, сверкнув глазами.
— Украсть? — спросил я.
— Разве это значит украсть?
— Тогда что же это значит? — снова спросил я. — Не украсть, а слямзить?
— Я помираю — есть хочу, — сказал он тихо, поедая калач глазами. — С утра ничего во рту не имел.
Внимание всех присутствующих занято представлением. Я потихоньку подхожу к столу, украдкой хватаю кусок калача и незаметно передаю Иосифу-прекрасному. Он ловко прячет калач в карман и пожимает мне руку.
— Ты славный мальчуган! Дай тебе бог здоровья!

.....

4

— Если вам угодно, мы сыграем еще и «Продажу Иосифа», — предлагает царь Артаксеркс, снимая с головы корону и надевая простую шапку.

— Довольно! Хватит! — отвечает дедушка и сует царю Артаксерксу серебряную монету.

Когда актеры ушли, дедушка велел Танхуму взять велик и вымести грязь, которую они оставили после себя...

Пока раздвигали стулья и потом опять расставляли их вокруг стола, пока дяди и тетки с их многочисленными семьями усаживались на прежние места, я воспользовался суматохой и выскочил на минуту на улицу проводить актеров.

— Пойдем с нами! — сказал Иосиф-прекрасный, взяв меня за руку. — Право, пойдем! Ты славный мальчик, ты чудесный мальчуган! Я тебя люблю.

Сердце у меня забилось.

— Куда? — спросил я.

— К царю Артаксерксу. Сегодня мы уже больше представлять не будем. Сейчас мы отправимся к царю Артаксерксу и будем пировать.

Иосиф-прекрасный взял меня за руку, и мы вместе зашлепали по грязи.

Все чернее и чернее ночь. Все глубже и глубже грязь. Мне чудится, будто у меня выросли крылья и какая-то сила поднимает меня вверх. Еще мгновение — я вспорхну и полечу...

— Мне страшно, — говорю я Иосифу-прекрасному, остановившись и продолжая держать его за руку.

— Чего бояться, глупенький? — отвечает он, с аппетитом жуя полученный от меня кусок калача. — Там будет пир на славу, дурачок ты этакий! Услышишь, как мы поем... Ах, что за чудесный пирог у вас! Райский вкус! Тает во рту, как масло. Одною я никак не пойму: как это можно спокойно глядеть на такое чудо из чудес и даже не дотронуться?

— Эка важность! — хвастливо ответил я. — У нас и в будни едят калачи.

— Каждый день калачи? — изумленно спрашивает Иосиф-прекрасный, облизываясь. — А мясо?

— Каждый день, — ответил я.

— Каждый день мясо?! — воскликнул он, глотая слюну. — А я вот ем мясо только раз в неделю, по субботам, да и то не каждую субботу. Позовет меня к обеду состоятельный человек — перепадет кусок мяса. А попадешь к бедняку — хворобу тебе дадут, а не мясо.

— Как это можно есть хворобу? — изумился я.

— Не знаешь, что значит есть хворобу? — тоже изумился он. — Очень просто: болячку тебе дадут, а не мясо. Понимаешь? Когда есть нечего — питайся болячкой. Я ведь только то и ем, что мне подают другие. Больше всех поддерживает меня шамес * Эйзер, дай ему бог здоровья; иной раз хлебом накормит, другой раз картошкой. Золотой человек этот Эйзер! Редкой души человек! Знаешь его?.. Это он — царица Эсфирь...

— Где твой отец? — спросил я.

— Нет у меня отца.

— А мать?

— И матери нет.

— Дедушка? Бабушка?

— Нет ни дедушки, ни бабушки.

— Может, дядя или тетя?

— Ни дяди, ни тети.

— А брат, сестра?

— Нет ни брата, ни сестры. Никого-никого, ни одной родной души! Круглый я сирота, безродный!

Я взглянул на Иосифа-прекрасного, на луну, и мне показалось, что у Иосифа и у луны одинаковый цвет лица, одинаковая мертвенная бледность... Я прильнул к нему, и мы быстро побежали вслед за компанией, меся грязь своими маленькими ножками.

5

— Здесь вот и живет царь Артаксеркс, — сказал Иосиф-прекрасный.

Мы спустились в маленькую темную землянку.

— Фрейде-Этл, душка, поднимайся с подушки! — крикнул царь Артаксеркс жене, болезненной женщине, видимо страдающей одышкой: кашляя, она одной рукой хватается за сердце, а другой — за голову.

За день актеры столько раз пели стихи и так к этому привыкли, что без рифмы они и говорить разучились.

— Рыбу и каравай на стол подавай! — начал Мемухон. — Халу мы принесли сами, поработаем зубами. Треугольный пирожок с маком будем есть со вкусом. Клецки и печенье — мое почтение! А водки бутылку подарил мне Рахмилка... А ну-ка, Мондриш, развяжи мешок, не то получишь пинок.

— Чем пинок в бок, лучше развязать мешок, — ответил Мондриш тройной рифмой и собрался уже было приступить к делу, но его остановил Мотл (царица Вашти).

— Раньше надо деньги посчитать, а потом и пожевать!

— Вашти, право, не пьяница, — при дележе в дураках не останется, — согласился Аман.

Эйзер (царица Эсфирь) ответил ему в тон и тоже рифмой.

Но едва дело дошло до дележа, поток рифмованных острот сразу прекратился. Люди заговорили простым человеческим языком, как и полагается, когда речь идет о деньгах.

Львиная доля досталась, конечно, царю Артаксерксу. Так уж велось из года в год, и против этого никто не возражал. Но когда дошло до других участников представления, возникли серьезные разногласия. Мемухон спросил, за какие такие заслуги Вашти получает больше, чем он. Он, Мемухон, трудится больше всех, прыгает на одной ноге, так и сыплет рифмами, шутками и прибаутками, сочиняет экспромты, а, когда доходит до дележа, на первое мес-

то претя Ваши. За какие такие заслуги? За то, что Ваши состоит в отдаленном родстве с царем Артаксерксом? Известное дело: портной и столяр — всегда одна шайка.

— Молчать! — взревел царь Артаксеркс. — Ах ты, извозчичы отродье, лошадиное копыто, глиняное дышло, бумажная шлея, кожаная ось, стеклянная чека! Ты смеешь выступать против царя Артаксеркса?! Сейчас как дам тебе по зубам — пойдешь ты у меня в упряжке, как миленький!..

Мемухон смирился и умолк. Все артисты чтут царя Артаксеркса, беспрекословно его слушаются — как-никак он хозяин дела, так сказать антрепренер... Мондриш, правда, продолжал еще ворчать, да и остальные робко поддерживали его, но Эйзер (царица Эсфирь) весьма удачно оборвал эту грызню. Положив в карман полученные им несколько монет, он отпустил веселую шутку, и актеры снова оживились и стали перебрасываться остротами в рифму.

— Богачам бы иметь не больше грошей, чем мы принесем для наших семей, — сказал Мемухон.

Я осмотрел комнату Артаксеркса. Большой стол, накрытый скатертью из сурового полотна. У одной стены — верстак с инструментами, у другой — деревянная кровать со множеством подушек, положенных одна на другую чуть не до потолка. Против печки — топчан. На нем, поджав лапки, дремлет черный кот. На печи — дети. Несколько пар глаз — черных, карих, серых — глядят оттуда на веселящуюся компанию.

— Слезайте, шельмецы! — крикнул Иосиф-прекрасный, грозя им пальцем.

Обладатели черных, карих и серых глаз не заставили себя долго просить. Почти голенькие, в одних рубашонках, да и то рваных и закрывавших тело лишь чуть-чуть ниже пупочка, они начали спускаться один за другим с печи... Иосиф-прекрасный, видимо, был в доме свой человек — к нему все малыши разом и бросились, как ягнята к пастуху; все подставляли ему свои курчавые головки в ожидании, что он их погладит.

— Голодны?.. — спросил Иосиф-прекрасный. — Сейчас начнется у нас пир на весь мир. Ой, сколько же лакомств, сколько вкусных вещей мы принесли!

Когда он перечислял все эти лакомства, маленькие «ягнята» переглядывались, глотали слюну и облизывались. Иосиф-прекрасный, глядя курчавые головки, и сам

облизывался, и тоже глотал слюну... Все с нетерпением ждали минуты, когда можно будет сесть за стол и начать пиршество...

И вот желанный миг наступил. Царь Артаксеркс поднял бутылку с водкой, торжественно наполнил свою рюмку и, провозгласив здравицу в честь праздника пурим, выпил первый. Вслед за ним осушили по рюмке и остальные актеры. Лишь после этого все, от мала до велика, за исключением Фрейде-Этл, возившейся у печки, сели за стол. Проснулся даже мирно дремавший кот; вытянув спину и сладко позевывая, он подошел к столу и стал возле хозяина в ожидании, что и на его долю перепадет что-нибудь...

Иосиф-прекрасный, голенькие курчавые «ягнята» и я — все мы уселись рядом на одной скамье; скамья хромала на одну ножку и шаталась при каждом нашем движении, что вызывало у нас бурные взрывы смеха. Мне и другим малышам это казалось забавнее самой веселой комедии. И тут компания актеров, взглянув в нашу сторону, заметила меня. Все были изумлены: откуда взялся новый, никому не ведомый человек?

— Кто этот крыжовник? — спросил царь Артаксеркс.

Иосиф-прекрасный сказал им, кто я и откуда взялся. По-видимому, актеры были рады такому гостю: все они поочередно подходили ко мне, хлопали меня по плечу, трепали по щеке, и всякий отпускал по моему адресу шутку, конечно, в рифму.

И вот началось пиршество. Фрейде-Этл поставила на стол обильно наперченную рыбу с картошкой. И хотя рыба не была приправлена разными пряностями и кореньями, как у моего дедушки реб Меера, она показалась мне необычайно вкусной. Одна беда: слишком много косточек. Зато какая благодать! Все едят из одной миски, все тычут вилки в одну тарелку. Как весело! После рыбы — опять по рюмочке, и опять пошли здравицы. И тут только началось настоящее веселое, бурное, неудержимое пиршество. Встав из-за стола, все взялись за руки и, весело приплясывая, затянули хорovou:

Те или иные —
Мы,
Но бедняки большие
Мы,
Лучше ль, хуже ли
Живем,
Но нужда нам
Нипочем!

— Русскую песню! — громко закричал Мондриш. — Русскую песню подавай!

Компания затынула русскую песню, сдобрив ее древнееврейскими словами. И, хлопая в ладоши, все пустились в пляс.

Надо знать,
Как гулять.
Перед богом
Отвечать!
Мы и пьем,
Мы гуляем,
Взато, мелех хай векаем¹,
Ломир, идн, тринкен лехаим².

— Ну как? Хорошо у нас, не правда ли? — весело спросил меня Иосиф-прекрасный.

Он уже успел подкрепиться, и теперь вид у него был совсем иной — свежий, бодрый. Он тоже выпил рюмочку хмельного, дал мне отведать немного и втащил меня в круг. Не знаю, с чего это, но на меня напало неудержимое веселье; я неожиданно почувствовал прилив буйной радости, — все во мне пело и плясало. Мне было хорошо, чудесно, безгранично светло было у меня на душе!.. Вдруг...

6

Вдруг открывается дверь, и на пороге появляются мой отец и учитель реб Иця. У меня в глазах потемнело. Что подумал отец, увидев меня пляшущим в компании комедиантов, я сказать не могу. Я заметил только, что он остановился как вкопанный и, не шевелясь, глядел попеременно то на компанию, то на меня, то на учителя реб Ицю. Учитель, со своей стороны, глядел то на меня, то на компанию, то на отца. Я глядел на отца, на компанию, на учителя, а компания глядела на нас троих... Все точно онемели, никто не мог и слова вымолвить.

Первым нашелся Мемухон, прервавший молчание потоком приветствий:

— Что же вы приуныли? Ведь это на смех курам! Ведь сегодня веселый праздник пурим! Выпьем по чарке, чтобы небу было жарко! Да закусим в меру — нашлась ваша потеря!..

¹ А ты, царь превечный (*древнееврейск.*)

² Давайте, евреи, выпьем за здравие (*еврейск.*).



С этими словами Мемухон поднес отцу рюмку водки с закуской. Отец молча оттолкнул его рукой. Нимало не смутившись, Мемухон продолжал:

— Реб Ошеру, сыну Меера, наше почтение! Не по душе вам угощение?.. Значит, богач не окажет нам чести выпить с бедняками вместе? Что ж, выпью один и скажу: аминь!..

И, осушив рюмку до дна, Мемухон запел:

Чем беднее, тем больше и гуляка,
Чем богаче, тем больше и собака,
Чем горемычнее, тем больше поет,
Чем зажиточнее, тем больше свинья.

— Мондриш, чего ты молчишь? Спой величальную нашим богатеям, выпей в их честь заздравную чарку!

Наполнив чарку, Мондриш пропел величальную нашим местечковым богачам:

— Благословляющий людей, пошли погибель на богачей! Скрути их в три погибели, кто бы они ни были! Кто бы ни были они, в бараний рог ты их согни! Согника их в бараний рог, чтобы с постели никто из них встать не мог! Чтоб никто встать не мог с постели и черви живьем бы их съели! Чтобы их черви съели живьем, порази их небесный гром! Небесный гром порази их! .

— Что ж вы молчите, реб Ошер? — обратился к отцу учитель реб Иця, заложив в ноздрю изрядную понюшку и щелкнув в воздухе пальцами.

— О чем тут говорить? Не видите, что они пьяны! — ответил отец, вне себя от гнева.

Схватив меня за руку, он сжал ее до боли. И, не прощавшись, мы все трое покинули дом царя Артаксеркса. На улице отец остановил меня и, смерив грозным взглядом, отпустил мне две гулкие оплеухи.

— Это, — говорит, — тебе задаток. Остальное получишь дома от учителя... Прошу вас, реб Иця, никакой жалости! Передаю его в ваши руки — секите, порите, не жалея сил! Всыпьте сколько влезет! Хлещите до крови. Парнишке, слава тебе господи, скоро девятый год пойдет! Пусть запомнит, как шляться с компанией комедиантов, шутов, бездельников, нищих... Так отравить всем праздник!..

Ни одной слезинки не проронил я. Только чувствовал, что щеки у меня пылают, а на сердце легла неимоверная тяжесть. Но не мыслью о предстоящей расправе была занята моя голова. Всеми своими помыслами я стремился туда, к царю Артаксерксу, к веселому обществу Иосифа-прекрасного и голеньких курчавых «ягнят». А в ушах неумолчно звенела чудесная русская песня:

Надо знать,
Как гулять,
Перед богом
Отвечать!
Мы и пьем,
Мы гуляем,
Взато, мелех хай векаем.

ОМРАЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1

— Реб Исроэл! Реб Исроэл! Извините! Вы можете взяться сшить ребенку костюмчик к празднику?

Так кричит мама портному Исроэлу изо всех сил, потому что он глух как стена.

Исроэл, высокий человек с продолговатым лицом и с ватой в ушах, полуулыбаясь, делает рукой жест, который может означать: «Почему бы не сшить к празднику?»

— Снимайте с него в таком случае мерку. Но с условием, что костюм будет готов к пасхе.

Портной Исроэл смотрит на мать, будто хочет сказать: «Странная женщина! Неужели недостаточно одного обещания?» Потом он достает из бокового кармана бумажную мерку и большие английские ножницы и начинает измерять меня вдоль и поперек, а мама стоит в сторонке и командует:

— Длиннее, еще длиннее!.. Шире, еще шире!.. Ради бога, брючки не сузьте!.. А кафтанчик чтобы был с фалдой!.. В несколько пальцев!.. Еще, еще немножко!.. Вот так! В шагу, упаси бог, чтоб не было коротко! Солидно... Еще, еще! Не жалейте материи, потому что ребенок растет!..

Портной Исроэл и сам отлично знает, что «ребенок растет». Он ни слова не отвечает и делает свое. Измерив меня с головы до ног, он меня отталкивает, словно хочет сказать: «Можешь идти, ты свободен». Мне очень хочется, чтобы кафтан сзади был с разрезом и с карманом, по «нынешней моде», но я не знаю, к кому

обратиться. А портной Исроэл свертывает мерку на двух пальцах и говорит отрывисто, обращаясь к маме:

— Трудное нынче предпасхальное время!.. Страшная грязь!.. На рыбу дороговизна!.. Картошка — на вес золота!.. Яиц — ни штуки!.. Работа — к чертям!.. Новой одежды — ни-ни!.. Заплаты, заплаты и заплаты!.. Уж если реб Йошуа-Герш заказывает перелицевать старое пальто!.. Сам реб Йошуа-Герш!.. Времена!.. А?.. Светопреставление!..

Но мама что-то не очень поражена. Она перебивает его:

— Сколько же вы, реб Исроэл, прикажете наготовить денег за всю эту работу?

Глухой Исроэл достает из жилетного кармана костяной рожок, выгибает большой палец руки так, что на тыльной стороне ладони образуется ямочка. В эту ямочку он насыпает кучку табака. Подносит ее осторожно к носу и втягивает всю кучку так ловко, что не остается ни следа даже на усах. Потом, махнув рукой, отвечает:

— Эх!.. Есть о чем говорить... Авось не поссоримся... Понимаете, какое дело? Реб Йошуа-Герш!.. Перелицевать старое пальто!.. Подумать только!..

— Так помните же, реб Исроэл, о чем я прошу: не узко и не коротко, и фалду, и в шаг свободно и просторно...

— А раз...? — хочу я вмешаться.

— Тихо! Дай слово сказать! — говорит мама, двинув меня локтем в бок. — Помните же еще раз: не коротко, не узко, и в шаг, и фалда... Непременно — фалду!

— А карман? — пытаюсь я снова.

— Да заткнись ты! — говорит мне мама. — Виданное ли дело, чтоб ребенок вмешивался, когда старшие говорят!..

Исроэл забирает под мышку сверток материала, касается двумя пальцами мезузы* и говорит уже в дверях:

— Значит, вы хотите, чтобы обязательно было готово на пасху? Веселых вам праздников!

2

— А вот и реб Гедаля! Помянуть бы мессию!.. Только что я имела в виду еще раз послать за вами!

Гедаля — сапожник, отставной солдат, без передних зубов, с большой окладистой бородой, по которой видно, что некогда, уже давно, она была посредине выбрита.

— Реб Гедаля! — обращается к нему мама. — Скажите, пожалуйста, вы возьметесь сшить ребенку пару сапожек к пасхе?

Сапожник Гедаля — человек веселый, он, когда говорит, приплясывает.

— Вам угодно непременно к пасхе? — отвечает он маме. — Прямо-таки замечательно! Все хотят к пасхе! Хаеле, реб Мотла, я обещал на пасху две пары ботинок — для нее и для дочери, — значит, надо сделать... Иоселе, реб Шимела, заказал мне четыре пары сапожек к пасхе, — обязательно надо сделать... Затем Фейгеле, реб Аврома, я давно уже обещал пару ботинок, — хоть камни с неба, ничего не поможет! Портной Мойше просил меня поставить пару головок, — нельзя отказать! Столяру Зяме надо подкинуть пару союзок, — тоже ничего не попишешь! Да, еще Асна, дочь вдовы, пристала ко мне, чтобы я, ради бога...

— Словом, — перебивает его мама, — говорите толком. Стало быть, не можете обещать, что будет готово к пасхе? Тогда я пошлю за другим сапожником...

— Почему это я не могу? — говорит Гедаля, приплясывая. — Ради вас я отложу все другие работы, а ваши сапожки обязательно, даст бог, будут готовы к пасхе. Какие могут быть отговорки?

И сапожник Гедаля достает откуда-то кусок синей бумаги, становится на одно колено и снимает мерку.

— Прибавьте еще капельку! — говорит мама. — Еще, еще... Что вы жалеете кусочек кожи? Вот так... Чтоб не жало, упаси бог, в пальцах!..

— Жало в пальцах! — повторяет за ней Гедаля.

— Кожу, реб Гедаля, дайте самую лучшую! Слышите? Не гнилую!

— Гнилую! — следом за ней говорит Гедаля.

— Подошвы поставьте добротные, чтоб не стерлись.

— Стерлись! — повторяет Гедаля.

— И чтоб каблуки не отскочили!

— Отскочили! — повторяет Гедаля.

— Теперь можешь идти в хедер, — говорит мне мама. — Видишь ты хоть, как на тебя тратятся? Хотя бы учился, тогда человеком будешь. Не то, что из тебя выйдет? Ничего, пустое место...

Я сам еще не знаю, что из меня будет: человек или пустое место? Знаю только, что в эту минуту мне

очень-очень хочется, чтоб сапожки были со скрипом. Ох, как хочется со скрипом!

— Чего стоишь как истукан? — спрашивает мама. — Почему не идешь в хедер? Иди, больше ничего не дадут!

Сапожник направляется к выходу, но возвращается.

— Стало быть, вы желаете непременно к пасхе? — говорит он. — Веселого праздника!

3

Возвращаясь из хедера, я забегая первым долгом к портному насчет разреза и насчет кармана.

За большим столом стоит глухой Исроэл, без кафтана, в широком арбеканфесе. Он углублен в работу. На шее у него несколько длинных ниток. В жилетке — несколько иголок. Он чертит мелком, кроит ножницами, почесывается средним изогнутым пальцем и говорит про себя, — отрывисто, по своему обыкновению:

— Фалды делай им... Чтоб свободно было... Просторно... А из чего? Из духа святого?.. И без того пальцы себе режешь... Еле-еле... Как мясо на вареники...

Вокруг стола сидят подмастерья и шьют, далеко отводя руки с иголками, и все вместе поют песенку. Один из них, рыжий, конопатый, с чуть провалившимся носом, запекает звонким фальцетом и тянет нитку в такт:

Ох, ты уезжаешь,
Ох, ты уезжаешь,
А меня покида-а-а-аешь!..

А остальные подхватывают с визгом:

А я заколюся,
А я удавлюся,
А я утоплюся,
А я жизни своей лишу-ву-ву-ву-ся!

— Что скажешь, мальчик? — обращается ко мне Исроэл.

— Разрез! — говорю я.

— А? — спрашивает Исроэл, склонив ко мне ухо.

— Разрез! — кричу я изо всех сил, чтобы он услышал.

— Разрез?

— Разрез!

— Где разрез?

— Сзади.

— Что такое сзади?

— Разрез! С карманом!

— Что за разрезы? Какие карманы? — вмешивается жена портного, маленькая женщина, которая сидит тут же и делает три работы сразу: ногой качает люльку, руками вяжет чулок и при этом говорит сердито: — Еще не хватало: разрезы! Извольте вам карманы! А где тут у тебя на карманы? Пускай ему мама даст на карманы, тогда у него будут карманы! Еще какие-то карманы!

Я уже раскаиваюсь, что затеял все это дело, — хоть бы до мамы не дошло!

— Значит, тебе хочется, чтоб обязательно был разрез? — говорит портной Исроэл и достает рожок с табаком. — Иди, мальчик, домой, будет разрез.

— И с карманом? — спрашиваю я, сделав жалостливую мину.

— Иди, мальчик, домой, — говорит Исроэл. — Уж я постараюсь, чтобы было все...

Я быстро и с радостью бегу к сапожнику Гедалье насчет скрипа в сапожках.

Сапожника Гедалью я дома не застаю. У верстака сидит его подмастерье Карп, согнувшись над подметкой.

Карп — крепкий, ширококостый русский парень, с рябым лицом, с кожаным ремешком на черных жестких волосах.

— Чего, мальчик, хочешь? — обращается он ко мне по-еврейски. — Мейде ани, фрейде мани, тателе-мамеле, а геб им а гензеле...¹ Говори, чего хочешь?

— Хажаен! — отвечаю я ему по-русски. — Я очем хотел иметь до ваш хажаен Гедалья!²

— Балабос³ пошел на обрезание, выпить, благословясь, водочки! — говорит мне снова по-еврейски Карп, и, дабы я понял правильно, о чем идет речь, он щелкает себя пальцем по шее.

Я усаживаюсь на кожаную скамеечку и завожу с Карпом обстоятельную беседу насчет кожи, «товара»,

¹ Бессмысленный набор слов, частью еврейских, частью лишь по созвучию напоминающих еврейскую речь.

² Хозяин... Мне очень нужен ваш хозяин Гедалья!

³ Хозяин (еврейск.).

о сапогах, подметках, деревянных шпильках, пока не добиваюсь наконец до вопроса о скрипе. Он говорит по-еврейски, а я по-русски. Когда он меня не понимает, я объясняю жестами.

— Ведь я же тебе, дурья голова, говорю по-вашему: объясни, почему чоботки делают трррр! Трррр!

— Ты лучше говори по-еврейски! — просит Карп, облизывает языком подошву и проводит по ее краю линию своим крепким черным ногтем.

— В чем секрет, — говорю я ему уже по-еврейски, — в чем смысл скрипа? Что вы такое кладете в сапожки, чтоб они скрипели?

— А! Скрип? — догадывается Карп. — Чтоб сапожки скрипели, нужен сахар.

— Просто сахар? — удивляюсь я. — Как же это?

— Сахар, — пытается мне объяснить Карп, — сахар клап-клап, скрип-скрип.

— Ага! — отвечаю я. — Сахар, наверно, надо растолочь, вот он и трещит. Ну а больше ничего туда не кладут?

— Водки, — отвечает Карп. — Немного водки.

— Водки? — удивляюсь я. — Водки? Зачем водка? Ну, сахар, — скрип-скрип, но водка? На що тобі¹ водка?

Карп с большим трудом объясняет мне — и обязательно по-еврейски, — на что нужна водка. Прежде, чем положишь в сапоги сахар, нужно подошвы sprysnuty водкой, не то сахар плохо пристаёт.

— Вот оно что! — говорю я. — Теперь я хорошо раскусил: не будет водки — не будет и сахара, а если не будет сахара, то не будет скрипеть. «Если нет хлеба — нет и учения», — поясняю я это библейским изречением, открываю свой кошелек и отдаю Карпу все свое состояние — все ханукальные деньги и те, что получил в пурим. Мы дружески прощаемся, он подает мне большую черную руку, измазанную смолой, и повторяет наскоро: «Мейде ани, фрейде мани, тателе-мамеле, а геб им а гензеле...» Я бегу домой обедать, оттуда обратно в хедер хвастать перед мальчишками новым платьем, которое мне шьют к пасхе: длиннополый кафтанчик с разрезом и карманом сзади! И сапожки со скрипом! Со скрипом! Скрипом!..

¹ Зачем тебе (укр.).

— Мама, я свободен! — прибегаю я дня за два до пасхи с доброй вестью о том, что нас отпустили из хедера.

— Счастье твоей бабушке! Дай тебе бог сообщать более веселые вести! — отвечает мама, замороченная приготовлениями к пасхе. Обеих прислуг она повязала белыми платками, дала им щетки, веники и гусиные крылья, а сама тоже повязалась белым платком, и все втроем чистят и мажут, моют и стирают, надраивают и выжаривают к пасхе. Я места себе найти не могу. Где бы я ни присел, где бы ни стоял, где бы ни ходил — все плохо!

— Убирайся подальше от пасхального шкафа! — кричит мне мама таким тоном, как если бы я ходил с огнем возле пороха.

— Осторожно! Сейчас наступишь на пасхальный мешок!

— В ту сторону даже не смотри, — там пасхальный борщ стоит!..

Я перехожу с места на место, путаюсь под ногами, и меня то и дело угощают тумакон, подзатыльником, пинком.

— Провалиться бы сквозь землю твоему ребе! Хвор он был продержат вас в хедере лишний день! Чтoб не вертелся ты здесь юлой... Мало без тебя хлопот! У людей дети сидят на одном месте... Хвор такой мальчик, которому уже почти девятый год, делать что-нибудь, лишний раз повторить четыре вопроса? *

— Мама! — говорю я. — Я их уже знаю наизусть!

— Вот радость! — отвечает мама. — Мало, что ли, денег тратят на тебя?..

Еле дождался я того вечера, когда отец ходит со свечой, с деревянной ложкой и гусиным крылом и отыскивает «хомец»*, а я помогаю ему искать кусочки хлеба, которые он сам сегодня разложил по всем подоконникам... «Всего только одни сутки, — думаю я, — еще одна ночь и один день, — и я оденусь по-праздничному, как принц, в новый кафтанчик с разрезом и карманом позади, а сапожки будут скрипеть!.. Мама, наверное, спросит: «Что это за скрип такой?» А я притворюсь, будто ничего знать не знаю... Потом праздничная трапеза, четыре вопроса, четыре бокала вина, пасхальные яства: оладьи, галушки, катыши, галушки в меду...»

Я вспоминаю обо всех этих вещах, и у меня начинает сосать под ложечкой. Я весь день почти ничего не ел.

— Прочитай молитву, — говорит мне мама, — и ложись спать. Сегодня не ужинают, сегодня канун пасхи...

Я ложусь спать, и снится мне, что уже пасха.. Я иду с отцом в синагогу молиться... Мои новые одежды шуршат... Сапожки скрипят: скрип! скрип! скрип!.. «Кто это идет?» — спрашивают чужие люди. «Это Мотл, сынишка Рувимова Авром-Герша...» И вдруг, — не знаю откуда, — появляется черный кудлатый пес, нападает на меня: «Гав-гав!» — и хватает за кафтан... Отец стоит, боится подойти, машет руками и кричит: «Пошел! Пошел!» Но пес не слушает и тянет сзади за то самое место, где разрез и карман, отрывает половину кафтана и хочет ударить... Я изо всех сил бегу за ним, теряю сапожок и останавливаюсь в грязи — одна нога обутая, другая босая... Начинаю плакать, кричать: «Гвалт!» — и... просыпаюсь. Наша прислуга Бейля стоит возле меня, рвет с меня одеяло и тянет за ногу.

— Смотри, пожалуйста! Никак его не добудишься! Вставай! Мама велела тебя разбудить, надо вынести из дому последний «хомец»!..

5

Отец закидывает в печь деревянную ложку с гусиным крылом и сжигает «хомец»... В доме — все уже пасхальное... Всюду чистота... Стол накрыт... Вино в графине улыбается мне издали... Вот-вот еще час, еще час, — и наступит пасха... Вот-вот еще час-другой, и я оденусь по-праздничному... Но пока портной и сапожник принесут мои праздничные одежды, мать приводит в пасхальный вид меня самого: она моет мне голову горячей водой с яичными желтками, она расчесывает и дерет мне волосы. Я морщусь, за это она меня то локтем ударит, то оплеухой угостит.

— Перестанешь ерзать, как червяк?.. Чтоб ребенок не мог на месте устоять! Ему добро делают, а он еще недоволен!..

Отбыл, слава богу, и головомойку, теперь сижу в одной рубашке за столом, жду, когда принесут мои обновы, и смотрю на отца, который только что пришел из бани с еще мокрыми волосами. Он сидит над фолиантом, раскачивается и тихонько читает нараспев:

— «Для потребления горечи поступают так: берут хрен, но так как он жестковат, его можно натереть на терке...»

Я смотрю на отца, и мне представляется, что другого такого набожного человека на свете нет; что другой такой чистой пасхи, как у нас, нет нигде; что таких одежд, как у меня, ни у кого не будет! Но почему их еще не несут? В чем дело? А вдруг они не готовы к пасхе? Но об этом я и думать не хочу! А как же я пойду в синагогу? Что скажут мои товарищи? Как я сяду за праздничный стол? Не дай бог! Я этого не перенесу!

Но в то время, как я погружен в мрачные мысли, открываются двери и приходит портной Исроэл. От радости я вскакиваю и падаю вместе со стулом, чуть не свернув себе шею. Из кухни прибегает мама с пасхальной ложкой в руке.

— Что это так ударило? Кто это упал? Это ты, чтоб тебе в огне не сгореть! Черт, дьявол, а не ребенок! Не ударился, упаси бог? Поделом тебе! Не бегай, не прыгай! Ходи как человек!

А портному она говорит:

— Вы держите слово, реб Исроэл! А я уже хотела посылать к вам!

Исроэл отвечает полуулыбкой и машет рукой, будто хочет сказать: «Интересно, право! Чтоб я да слово не сдержал!»

Мать откладывает ложку и помогает мне влезть в новые штанишки, затем надевает на меня новый ситцевый арбеканфес, который она сама сшила на пасху, а поверх него надевает на меня кафтан и довольна, что мне в нем достаточно свободно и просторно...

Я щупаю сзади — о, горе, беда! Нет даже признака разреза и кармана нет! Зашито гладко и наглухо все кругом!

— Что это за кишка? — вдруг спрашивает у портного мама, поворачивая меня во все стороны.

Исроэл достает рожок, выгибает палец, насыпает кучку табаку и втягивает ее в нос.

— Что это за кишка? — еще раз спрашивает мама, поворачивая меня.

— Где вы видите кишку? — спрашивает, в свою очередь, Исроэл, поворачивая меня в обратную сторону. — Ведь это же фалда, вы же просили, чтобы была фалда, — забыли?



7/11/76

— Хороша фалда! — говорит мама и опять поворачивает меня. — Мерзость какая, господи! Позор! Честное слово, позор!

Но Исроэл что-то не смущается. Он оглядывает меня с головы до ног, как профессор, и говорит, что сидит замечательно, лучше некуда! «Такую работу и в Париже не сделают! Кафтанчик поет, честное слово, поет!..»

— Как тебе нравится такое «пение»? — спрашивает мама и приводит меня к отцу. — Что ты скажешь по поводу такого «пения»?

Отец поворачивает меня во все стороны, разглядывает кафтанчик и находит, что штанишки и в самом деле длинноваты...

— Длинноваты штаны, реб Исроэл!

— А?.. Что?.. Длинноваты, говорите? Не знаете, что делать? Подвернуть.

— Может быть, вы и правы... — отвечает отец. — Но как быть, если они широковаты, выглядят, как два мешка?

— Тоже мне беда — невеста чересчур хороша! — говорит Исроэл, снова втягивая в нос понюшку табаку. — Широко, говорите вы? Гораздо хуже, когда узко, в тысячу раз хуже!

Я не перестаю ощупывать себя сзади: ищу разрез и карманы.

— Что ты там ищешь? — спрашивает мать. — Вчерашний день?

«Страшный лгун! — думаю я, зверем глядя на Исроэла. — Глушня поганая! Будь ты проклят!»

— Носи на здоровье! — говорит Исроэл, рассчитывается за работу, и отец снова принимается за свою книгу.

— Носи на здоровье! — говорит мне мама, когда портной уходит, и не перестает любоваться кафтанчиком. — Только не задирайся с озорниками и не дерись с русскими мальчиками, тогда будешь, даст бог, носить этот костюм и носить, только бы здоровье!..

6

— А вот и реб Гедалья! — говорит мама. — Легок на помине!.. Готовы сапожки ребенку?

— Да как еще готовы! — отвечает сапожник Гедалья, приплясывая, и несет начищенные сапожки на пальце,

как носят связку живых, трепещущих рыбок, только что выловленных из воды. — Беда прямо-таки с этими заказчиками! Весь мир желает, чтобы готово было на пасху! Работал из последних сил, ночь, почитай, не спал!.. Уж я, если дал слово, так тут хоть гром и молния!

Мать меряет мне сапожки, щупает, давит и спрашивает, не чувствую ли я, что где-нибудь жмет?

— Жмет? — говорит Гедалья. — Мне кажется, что в эти сапожки может влезть еще одна пара таких ножек, как у вашего сына.

— А ну-ка встань на пол! — говорит мама.

Я становлюсь и нажимаю на подошвы, хочу услышать, как они скрипят... Но где там? Что там? Ни звука не слышать!..

— Чего ты так нажимаешь? — говорит мне мама. — Не торопись, ведь год еще впереди. Ручаюсь тебе, что ты их, даст бог, порвешь к будущей пасхе! Теперь пройдишь с папой к шапочнику Ихиелу, тебе там выберут картузик на пасху. Только осторожно с сапожками! Не стучи так подошвами, они не из железа!

Шапочник Ихиел живет рядом с нами. Мы двором пробираемся к нему в лавку.

Шапочник Ихиел от рождения белый, с белыми волосами. Но так как он постоянно возится с крашеными черными шапками, он всегда словно вымазан сажей. Нос у него с обеих сторон синеватый, а пальцы будто обмакнуты в чернила.

— Добро пожаловать, сосед! — радушно встречает нас Ихиел. — Для кого вам картуз к празднику? Для вас самих или для вашего мальчика?

— Для сына моего! — с гордостью отвечает отец. — Но покажите что-нибудь настоящее... Такое... Понимаете?

— А именно? — спрашивает Ихиел и осматривает полки.

— А именно, — повторяет отец и показывает руками, — чтобы было и добротно, и красиво, и хорошо, и дешево, и этак... Понимаете?

— В таком случае есть у меня для вас как раз то, что вам требуется! — говорит Ихиел и хватает с полки несколько шапок сразу.

И каждая шапка, когда он берет ее на руку, повертывается сама по себе, как по волшебству!.. Поминутно он примеряет мне другую шапку, отступает на полшага, с улыбкой заглядывает мне в лицо и говорит отцу:

— Такой бы нам год, как это ему к лицу! А? Как вам нравится шапочка? Уж это всем шапочкам шапочка!

— Нет, реб Ихиел, это не то! — говорит отец и показывает на пальцах. — Мне бы хотелось такой картузик, чтобы, понимаете ли, был он и на еврейский лад и в то же время по моде, без финтифлюшек, солидно, и... и... и... Понимаете?

— Так бы и сказали! — отвечает Ихиел и длинной палкой достает с верхней полки картузик — полукруглый, цветной, в клетку, с мягким козырьком, и подает его на одном пальце. Картузик вертится на пальце, как мельница... Осторожно он надевает его мне на самую макушку, едва дотрагивается, как если бы голова моя была из стекла и он боится ее разбить, и желает себе такую жизнь, такое счастье, как хорош этот картузик! И как он мне к лицу! Другого такого у него нет, говорит он, быть бы ему так избавленным от всего дурного!.. Отец торгуется с ним долго-долго. Ихиел клянется, что только ради нас он уступает так дешево, почти по своей цене — иметь бы ему так веселый праздник и всяческое благополучие!

Я вижу, что отцу картузик очень понравился, потому что он поминутно подходит, любитесь и поглаживает мои волосы...

— Хоть бы лето проносил! — говорит отец.

— Два лета! — отвечает Ихиел и подлетает к отцу. — Три лета! Дай мне бог такую жизнь, какой это прекрасный картузик! Носи на здоровье!..

Пока я добираюсь до дому, картузик уже лежит у меня на ушах. Чувствую, что он мне великоват.

— Не беда, лишь бы не узко! — говорит мама и надвигает его мне чуть ли не на нос. — Ты только не вздумай снимать и надевать его поминутно! И руками не трогай!.. Носи на здоровье!..

7

Вечером, когда мы с отцом пришли в синагогу молиться, я встретил всех своих товарищей: Ицика и Берла, Лейбла и Айзика, Цодика и Велвла, Шмаю и Копла, Меера и Хаим-Шлойму, Шахне и Шепсла и еще многих других. Все одеты по-праздничному, все в новых кафтанчиках, все в новых сапожках, в новых шапках, но никто не носит такого длинного кафтана с фалдой, как у меня, ни на ком нет таких сапожищ, как у меня, ни на

ком не вижу я такой нелепой шапки, как моя... О раз-
резах и карманах, о сапогах со скрипом я уже не гово-
рю: меня здорово обманули, надули!..

Ребята встретили меня громким хохотом:

— Вот это твои обновы, которыми ты так хвастал?
Где же твой разрез сзади? Где карман, о котором ты го-
ворил? А почему не слышать, как скрипят твои сапоги?

Мало того что у меня и без того тяжело на душе, они
еще солью посыпают мои раны! Каждый по-своему ста-
рается меня уколоть.

Ицик. Что это на тебе за кафтанище?

Берл. Халат!

Лейбл. Хламида!

Айзик. Хламиндрик!

Цодик. Жупан!

Велвл. Юбка!

Шмая. Кринолин!

Копл. Посмотри, какие исподники, какие «чеботы»!

Меер. А картуз!

Хаим-Шлойма. Треух!

Шахне. Макитра!

Шепсл. Помойное ведро!

Я так разъярен, что даже не слышу пения кантора
Герш-Бера... Прихожу в себя только к концу моления,
когда прихожане говорят друг другу: «С праздником!
С праздником!..» В подавленном настроении, с болью
в сердце иду я с отцом домой, еле ноги волочу. В груди
огонь пылает. Не милы мне ни вино, которое мы сейчас
будем пить, ни четыре вопроса, которые я буду задавать
отцу, ни «Сказание на пасху», которое мы будем читать,
ни вкусная приперченная рыба, которую мы будем ку-
шать с намоченной в соусе мацой, ни горячие галушки,
ни все прочие вкусные вещи, — ничего, ничего мне не
мило, все противно, испорчено, омрачено!..

За праздничным столом на самом почетном месте воз-
лежит на мягких подушках отец — «король» в белом ха-
лате поверх одежды и в бархатном картузе. Рядом с ним
сидит мама — «королева». На ней платье цвета «антик-
маре», шелковый платок и жемчуг, придающие ей такое
обаяние. Напротив сажу я, «принц», одетый с головы
до ног во все новое. Сбоку сидит прислуга Бейля, в но-
вом ситцевом платье и белом накрахмаленном фартуке,

который шумит и шелкает, как маца. По другую сторону сидит кухарка Брайна с усами, в новом желтом платке на голове. Она рукой прикрывает лицо и раскачивается, — приготовилась слушать «Сказание»...

— «Се хлеб наш скудный», — поет очень красивым голосом «король», а «королева» помогает ему поднять миску, и лицо у нее сияет и светится, как звездочка. Бейля опускает красные руки на белый передник, который шелестит, словно лист. Брайна, услышав священные слова, делает набожное лицо и морщится, готовая пустить слезу. Все оживлены, все настроены празднично, и только «принц» что-то не по себе. На сердце у него тяжело, и все словно затянута дымкой. Если бы не пасха и не праздничная трапеза, он бы расплакался, и тогда бы ему, быть может, легче стало...

«Король» садится и откидывается на подушки. За ним следом садятся все на свои места и ждут, чтобы «принц» поднялся и задал отцу четыре положенных вопроса. Но «принц» сидит, точно прикованный к стулу, и не может тронуться с места.

— Ну? — произносит отец, махнув рукой.

— Встань! — говорит «королева». — Задавай отцу четыре вопроса!

«Принц» не двигается. Он чувствует, будто схватил его кто-то клещами за горло и душит. Голова клонится набок. В глазах начинает прыгать. Две слезинки, как жемчужины, катятся по щекам и падают прямо на страницу «Сказания».

— Что с тобой? Что за плач ни с того ни с сего за столом? — сердито кричит «королева». — Так ты благодаришь за новые вещи, которые тебе сшили к празднику?

«Принц» хочет перестать плакать, но не может. Его душит, давит... В нем словно источник открылся, море слез.

— Скажи, что с тобой? Что у тебя болит? Чего ты молчишь? Отвечай! Или ты хочешь, чтобы папа тебе всыпал ради праздника?..

«Принц» встает, и язык у него заплетается.

— Вопрос, я задам тебе четыре папы... То есть, папа, я задам тебе четыре во... во...

У «принца» подкашиваются ноги, он роняет голову на белую скатерть и плачет и всхлипывает, как малое дитя...

Омраченный, омраченный праздник!..



РЯБЧИК

Еврейская собака

1

Рябчик был небольшой, белой с черными пятнами собакой, кроткого нрава. Он и не помышлял о том, что можно напасть на кого-либо со спины, оторвать полу или укусить в ляжку, как это делали другие собаки, задиры. Он был рад, когда его самого не трогали. А трогал его всякий кому не лень. Огреть Рябчика палкой, пнуть каблукѳм в бок, запустить камнем в голову, вылить на него ведро помоев составляло всеобщую забаву, считалось чуть ли не богоугодным делом.

Когда Рябчика били, он не пускался в объяснения с сбидчиком, не отбредивался, как это делают другие собаки, не показывал зубов; при каждом ударе он склонялся до самой земли, отчаянно визжа: ай-яй-яй! Потом, поджав хвост, удирал, забивался в какой-нибудь уголок и там, ловя мух, погружался в думы.

Откуда взялся Рябчик? Какова его родословная? На это трудно ответить. Возможно, что старый помещик оставил его во дворе. Возможно, Рябчик заблудился и, потеряв хозяина, пристал к новому месту, да так и остался у нас навсегда.

Случается, вы идете по улице, и за вами увязывается приبلудная собачонка, не отступает от вас ни на шаг. «Что за напасть? — думаете вы и замахиваетесь на собачонку. — Пошла вон!» Собачонка останавливается, изгибается, как человек, ожидающий пощечины, и бежит за вами дальше. Вы склоняетесь к земле и, будто подняв камень, снова замахиваетесь на нее. Но и это не помогает. Вы останавливаетесь и смотрите на собачонку; собачонка тоже останавливается и смотрит на вас; вы с собачонкой так долго смотрите друг другу в глаза, пока наконец не сплунете и не отправитесь дальше в сопровождении той же собачонки. Вы выходите из себя, хватаяте палку и со злостью напускаетесь на нее. Но собачонка и тут находит выход из положения: ложится на спину, задрав лапки, дрожит и смотрит вам прямо в глаза, как бы говоря: «Пожалуйста, хочешь бить меня, бей!..»

Вот такого рода собакой был Рябчик.

Рябчик не отличался жадностью. Золото увидел бы на дороге и то бы не тронул. Рябчик знал: все, что под столом, принадлежит ему, а дальше не суйся. Говорят, что в молодости и он был озорником. Даже попытался однажды тайком стащить гусиную лапку. Но тут случилась кухарка Брайна, женщина с черными усами. Она закричала благим матом: «Айзик! Айзик!» Айзик прибежал на крик как раз в ту минуту, когда Рябчик пытался незаметно прошмыгнуть с гусиной лапкой во двор, и Айзик прищемил его дверьми так, что голова несчастного Рябчика осталась по одну, а хвост — по другую сторону дверей. И вот тогда-то и рассчитались с ним как следует: Айзик бил его по голове палкой, а Брайна колотила поленом, не переставая кричать: «Айзик! Айзик!»

Этот случай оставил у Рябчика след на всю жизнь: стоило подойти к нему вплотную и произнести слово «Айзик», как он пускался со всех ног бежать.

4

Больше всех донимала Рябчика Параська, та самая Параська, которая стирала у нас белье, мазала хату и доила корову.

Трудно сказать, чем Рябчик так досаждал Параське: Рябчик всегда казался ей лишним — стоило ему только попасться Параське на глаза, как в ней закипала злость: «Шоб тобі хвороба, собака невірна!..» И будто нарочно, Рябчик вечно путался у нее в ногах.

Во время работы Параська издевалась над ним, как над злейшим врагом; когда стирала белье, то окатывала его ушатом ледяной воды. Такая баня была Рябчику не по душе, и после нее он долго отряхивался. Когда Параська мазала хату, она норовила заляпать Рябчику морду белой глиной, и он потом чуть ли не целый час облизывался. И даже когда доила корову, Параська и то умудрялась запускать ему поленом в лапу. И Рябчик научился прыгать. Когда в него летело полено, он искусно, как чертенок, перескакивал через него.

Однажды угощение Параськи не пошло Рябчику впрок; она угодила ему поленом в переднюю лапку. Рябчик завизжал не своим голосом: ай-яй-яй-яй-яй-яй! На его крик сбежались со всего двора. Увидев столько людей, Рябчик начал жаловаться, показывать каждому свою подбитую лапу, как бы говоря: «Вот посмотрите, что она со мной сделала, эта Параська!..» Рябчик, видно, думал, что за него заступятся, что Параське голову снесут за такое злодейство.

Вместо этого во дворе поднялся смех; усатая Брайна выскочила из кухни с половником, провела обнаженной рукой по носу снизу вверх и сказала: «Перебили недотепе лапу? Так ему и надо!..» Сбежавшиеся ребята-озорники загикали и засвистели. А тут снова появилась Параська и в придачу окатила его кипятком из кувшина. Рябчик поднял крик еще пуще, завизжал еще сильнее: ай-яй-яй-яй-яй-яй!.. Он подпрыгивал от боли, вертелся волчком и кусал свой собственный хвост, не переставая кричать истошным голосом, что еще больше развеселило

мальчишек. Глядя на Рябчика, который плясал на трех ногах, они посулили ему новые беды, да еще отдубасили палками. Рябчик с визгом пустился бежать, кувыркаясь и катаясь по земле, а озорники преследовали его палками и камнями, улюлюкали, свистели, пока не прогнали далеко за город, по ту сторону мельницы.

5

Рябчик бежал с намерением не возвращаться в город до конца дней своих. Бежал он в обширный мир, куда глаза глядят. Бежал, бежал и прибежал в деревню. Увидели его деревенские собаки, обнюхали:

— Добро пожаловать! Откуда ты, собака? Что это за штука такая у тебя на спине? Шкура как будто выжжена по самой середине?

— И не спрашивайте! — с грустной миной отвечает им Рябчик. — Долго рассказывать, да скучно слушать. Нельзя ли у вас ночку скоротать?

— Сделайте одолжение! — отвечают ему деревенские собаки. — Земля велика, а поднебесье еще больше.

— А как у вас здесь с едой? — спрашивает Рябчик. — Чем вы утоляете голод, когда желудок требует своего?

— Да ничего, грешно жаловаться! — говорят деревенские собаки. — Помойки всюду есть, а мясо бог одарил костями; не беда, пусть хозяева едят побольше мяса, а нам пусть достаются кости. Только бы, как говорится, набить утробу.

— Ну, а каковы здесь хозяева? — помахивая хвостом, спрашивает Рябчик, подобно чужеземцу, которому хочется поподробнее все разузнать, во все вникнуть.

— Хозяева как хозяева, — нехотя отвечают деревенские собаки.

— Ну, а Параська?

— Какая Параська?

— Параська, — отвечает Рябчик, — та самая Параська, которая стирает белье, мажет хату и доит корову. Вы разве не знаете Параську?

Деревенские собаки стоят и смотрят на Рябчика, как на помешанного. «О чем это он?» Они снова обнюхивают его и расходятся поодиночке, каждая на свою помойку.

«Вот счастливичики!» — думает Рябчик о деревенских собаках и растягивается на божьей земле, под божьим небом, чтобы немного вздремнуть. Но ему не спится: зудит ошпаренная шкура, нестерпимо болит и ноет спина. И мухи докучают, нет от них спасенья. Кроме того, урчит в животе; Рябчик не прочь бы закусить, да нечего. Придется потерпеть до утра. Еще не дает ему спать недавний разговор с деревенскими собаками: нет у них никаких Айзиков, которые прищемляют тебя дверьми, а потом колотят поленом; нет у них Парасек, которые ошпаривают кипятком; нет у них озорников, которые бросают в тебя палки, и гикают, и свистят, и гонят прочь. «Есть же счастливые собаки на свете! А я думал, что дальше того двора и жизни нет, как червяк, который забирается в хрен и думает, что слаще ничего не бывает...»

Рябчик засыпает. И снится ему большое помойное ведро, наполненное до краев хлебными корками, мясными жилами, требухой, гречневой кашей, перемешанной с пшеном и фасолью, а костей там — целый клад: и ноги, и ребра, и мозговые кости, и еще рыбные кости, и селедочные головки, совсем целые, необглоданные. Рябчик не знает, с чего начать.

— Приятного аппетита! — говорят деревенские собаки, держась на расстоянии и глядя, как он готовится к еде.

— Откушайте с нами, — для приличия приглашает Рябчик.

— Кушайте сами на здоровье! — любезно отвечают деревенские собаки.

Вдруг над самым его ухом раздается: «Айзик!»

Рябчик просыпается. Это был только сон...

Утром Рябчик отправился по дворам в поисках какой-нибудь помойки, может быть, удастся что-нибудь перехватить, хотя бы самую маленькую косточку. Но куда бы он ни пришел — все места уже заняты.

— Нельзя ли у вас закусить? — спрашивал Рябчик.

— Здесь? Нет. Может быть, на соседнем дворе...

Рябчик бегаёт со двора на двор и всюду встречает тот же прием. И наконец ему приходит на ум: не хватит ли церемониться? Не вернее ли будет подойти и схватить, что попадется? Но при первой же попытке что-либо стянуть с ним схватились деревенские собаки. Вначале они

смотрели на него со злобой, рычали и показывали зубы. А потом разом набросились на него, искусали, истерзали, жестоко разделались с его хвостом и с соответствующими почестями проводили за околицу.

7

Поджав хвост, Рябчик побежал в другую деревню. Но там повторилась та же история: радушный прием, милые речи, почему бы и нет? А потом, когда дело доходит до помойки, сразу косые взгляды, ворчанье, Рябчика кусают, терзают и гонят на все четыре стороны.

Рябчику надоело странствовать, вечно переходить с места на место, и он решил так: люди злы, собаки ничем не лучше их; не попытаться ли ему поискать счастья в лесу, среди зверей.

И Рябчик отправился в лес.

Походил он в одиночестве и день, и два, и три, — единственная собака в лесу, — и почувствовал, что у него все больше сводит живот от голода и жажды, последние силы иссякают, хоть возьми растянись среди леса и помирай! А Рябчику, как назло, хочется еще жить и жить.

Рябчик поджимает хвост, вытягивает передние лапы, укладывается под деревом и думает свою собачью думу: «Где раздобыть кусок хлеба? Где взять кусочек мяса? Косточку хотя бы? Где бы глотком воды разживиться?» От горя Рябчик превращается в философа, его одолевают мысли: «За что бог наказал меня, бедного пса, больше всех зверей, птиц и всякой твари на земле? Вон птица летит в свое гнездо. Ящерица пробирается в свою норку... Вот червячок ползет, жучок, мурашка — у каждого свой дом, каждый находит себе пропитание, один только я, гав-гав-гав!..»

— Кто это лает здесь? — спрашивает волк, который проходит мимо, высунув от голода язык.

Рябчику никогда еще не приходилось видеть волка, поэтому он думает, что перед ним собака. И Рябчик медленно, потягиваясь, поднимается с земли и не спеша подходит к волку.

— Кто ты такой? — высокомерно спрашивает его волк. — Как тебя зовут? Откуда ты взялся и что ты здесь делаешь?

Рябчик рад, что встретился с добрым приятелем, есть,

по крайней мере, перед кем излить свою душу. И Рябчик рассказывает волку о всех своих злоключениях.

— Скажу тебе по совести, — заканчивает Рябчик свою печальную повесть, — я бы не прочь повстречаться со львом, с медведем или, скажем, с волком.

— И что бы тогда было? — со шкодливой улыбкой спрашивает волк.

— Ничего, — отвечает Рябчик. — Если мне судьба умереть, то пусть уж лучше волк меня растерзает, чем околоть с голоду среди своих.

Волк, ощерившись, щелкает зубами и говорит:

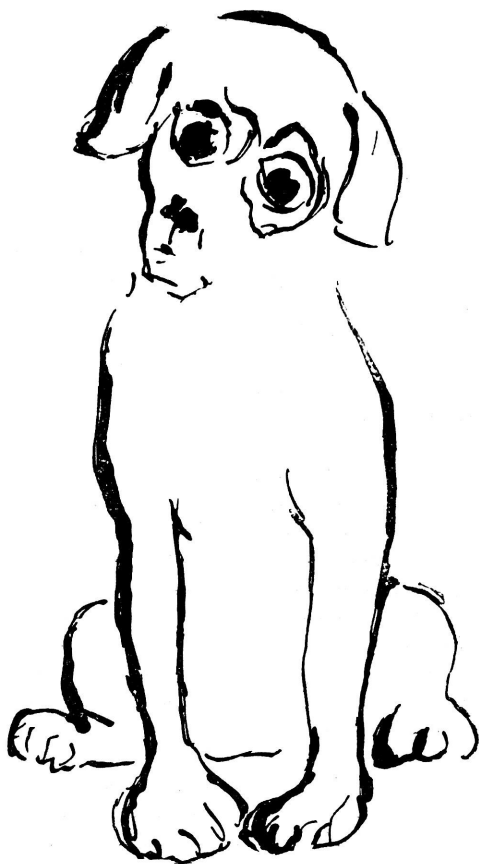
— Ну так знай же, что я волк! Я

разорву тебя на части и позавтракаю тобой, потому что я голоден, восемь дней ничего в рот не брал!

Слова волка так напугали Рябчика, что он задрожал всей своей опаленной шкурой.

— Всемогущий царь! Милостивый реб Волк! — взмолился Рябчик жалобным голосом. — Пусть бог пошлет тебе лучший завтрак! Ну, какой прок во мне? Шкура да кости!.. Послушай, отпусти меня, сжался над моей собачьей жизнью!..

Поджав хвост и выгнув спину, Рябчик стал ползать на брюхе, извиваться и гримасничать так, что волку тошно стало.



— Подбери свой гадкий хвост, собачье ты отродье, и убирайся ко всем чертям, чтоб я паршивого обличья твоего не видел!..

Ни жив ни мертв, не чуя под собой ног, Рябчик пустился бежать, боясь даже оглянуться. Он мчался во весь дух подальше от леса, обратно в город.

8

Вернувшись в город, Рябчик миновал двор, в котором вырос, хотя сердце влекло его именно туда, на тот двор, где его били и колотили, на тот двор, где ему подбили ногу и ошпарили спину... Рябчик отправился на базар, в мясные ряды, к собакам, которые там околачиваются, к своим, значит.

— Милости просим! Откуда явилась, собака? — обращаются к нему собаки из мясных рядов, позевывая и устраиваясь на ночлег.

— Да я здешний, — отвечает Рябчик, — вы разве меня не узнали? Я ведь Рябчик!

— Рябчик? Рябчик? Постой-ка, знакомое имя! — говорят собаки, будто никак не могут вспомнить, кто он такой.

— Что это у тебя за отметина на спине? — нахально прыгая перед его мордой, спрашивает Цуцик, маленькая собачонка.

— Это, наверно, для того, чтобы его ни с кем не спутали, или же просто для красоты, что тут удивительно-го? — насмешливо замечает Рудек, рыжая, мохнатая собака.

— Ничего подобного! — говорит Серко, старый холостяк, серый, кривой, с отрезанным ухом. — Об отметинах меня спросите, уж я вам точно скажу. Это знак суровых стычек, битв с целыми сворами...

— Разговорились! — вставляет Жук, бесхвостая собака. — Дайте же высказаться Рябчику, пусть сам расскажет.

Рябчик вытягивается на земле и начинает рассказывать свою историю, ни одной мелочи не пропускает. Все собаки лежат и слушают молча, один только рыжий Рудек, шутник, то и дело вставляет остроту.

— Да замолчишь ли ты, Рудек? — широко зевая, говорит черный бесхвостый Жук. — Рассказывай,

рассказывай, Рябчик! Мы все любим после обеда послушать сказки...

Рябчик все продолжает рассказывать жалобным голосом свою печальную историю, но никто его уже не слушает. Цуцик шепчется с Серко. Рудек сыплет остротами, а Жук храпит, как целый взвод солдат. Изредка он просыпается, широко зевая и приговаривая:

— Ты рассказывай, рассказывай, Рябчик! Мы любим после обеда послушать сказки!

9

Чуть рассвело, Рябчик уже был на ногах. Он издали смотрел на мясников, которые рубили мясо. Вот висит туша шеей вниз, и кровь из нее течет. А вот кусок жирный-прежирный, любо смотреть... И Рябчик смотрит и глотает слюну. Мясники рубят мясо на мелкие куски и время от времени бросают собачкам то кусочек мяса, то кожицу, то кость. А собаки подпрыгивают, на лету ловят подачки. Рябчик смотрит, как собаки ухитряются подпрыгнуть как раз вовремя, ни одной косточки не упустят. Получив свою долю, каждая отходит в сторонку, прилично располагаясь там и справляет трапезу, то и дело оглядываясь на других собак, как бы говоря: «Видите кость? Эта кость моя, и я ее ем».

Другие собаки притворяются, будто ничего не замечают.

«Чтоб тебе подавиться, — думают они, — чтобы у тебя эта кость боком вышла, все утро жрет и жрет, а мы стой тут и смотри, сожри тебя черви!»

А иная собака тащит в зубах кусок кожи и ищет место, где бы ей перекусить, чтоб никто не видел, она боится дурного глаза...

А еще одна собака стоит перед злым мясником, который все время чем-то недоволен, кричит, ругается с другими мясниками. Собака вертит хвостом и говорит угодливо, якобы обращаясь к своим товаркам:

— Видите вот этого мясника? Правда, у них как будто сердитый вид? Но такое бы мне счастье, какой это славный человек! На всем свете другого такого не сыщешь! Они по-настоящему жалеют собак; они, можно сказать, покровитель собак... Вот увидите, как сейчас полетит кость, кость с мясом... Гоп!

Собака подпрыгивает и ляскает зубами, пусть другие подумают, что ей попался жирный кусок...

— Всем хорош, — отзывается собака со стороны, — и врун, и льстец, и хвастун, чтоб его черт побрал!..

А еще одна собака, улучив момент, когда мясник на минуту отворачивается, прыгает на колоду, на которой он рубит мясо, и лижет ее. Между собаками поднимается лай: это они доносят мяснику, клянутся именем господа, что пес-ворюга стащил кусок мяса, такой бы им слиток золота! Они своими глазами видели, видеть бы им так добро! Пусть их земля проглотит, если они врут, пусть подавятся первой косточкой, пусть им даже рога и копыта не достанутся от зарезанной скотины!..

— Фу, тошно, с души воротит! — отзывается старый пес, который и сам был бы не прочь полакомиться косточкой. Тут Рябчик подумал: что толку в том, что он стоит и смотрит? Все собаки прыгают и хватают, и он как все. Но не успел Рябчик оглянуться, как несколько собак сразу схватили его за горло и стали терзать, норовя укусить то самое место, где особенно больно бывает...

С опущенным хвостом Рябчик забился в уголок и, вытняв морду, начал выть.

— Чего ты плачешь? — спросил его Жук, облизываясь после еды.

— Как же мне не плакать? — отвечает Рябчик. — Я несчастнейшая из собак! Я надеялся, что здесь, среди своих, мне тоже кое-что перепадет. Я бы не полез, поверь, но я смертельно голоден, сил больше нет!

— Верю, — отвечает ему Жук со вздохом. — Я знаю, что такое голод. Сочувствую твоей беде, но помочь ничем не могу. Здесь уже так заведено; у каждого мясника своя собака, а у каждой собаки свой мясник...

— Разве это хорошо? — говорит Рябчик. — Где же справедливость? Где собачность? Где это видно, чтобы собака пропадала среди собак? Чтобы голодный умирал с голоду среди сытых?

— Разве лишь вздохом могу тебе помочь, — говорит Жук, смачно зевая и располагаясь после еды ко сну.

— Если так, — и Рябчик набирается мужества, — я пойду прямо к мясникам; может быть, мне тоже удастся вылаять себе мясника...

— Желаю успеха! — говорит Жук. — Только к моему мяснику не ходи, потому что, если ты пойдешь к моему мяснику, быть тебе без хвоста, вот как я, видишь?

И Рябчик, миновав всех собак, направился прямо к мясникам, стал улыбаться им, прыгать и вилять перед ними хвостом. Но за неудачником беда следует по пятам. Один из мясников, здоровенный, широкоплечий парень, видно, шутки ради, запустил в Рябчика топором. Не умея Рябчик прыгать, его бы разрубило пополам.

— Ты совсем недурно пляшешь! — с издевкой обратился к нему Рудек. — Почисти нашего Цуцика! Цуцик, поди-ка сюда, поучись, вот как надо плясать.

Цуцик прибежал и начал прыгать прямо перед мордой Рябчика.

Этого Рябчик не мог стерпеть. Он схватил Цуцика зубами, опрокинул его на спину и начал кусать в живот. Всю горечь души своей он выместил на Цуцике, а потом дал стрекача. Один-единешенек Рябчик пробрался в поле, вытянулся там посреди дороги, от стыда и досады спрятал морду в лапы — ему опостылел божий мир. Его даже не трогало то, что мухи облепили его, пусть кусают, пусть живого места не оставят — все равно конец!..

«Дальше некуда! — думал Рябчик. — Если даже среди собак, среди *своих*, собаке и дня нельзя прожить, то пусть весь мир провалится в тартарары!..»



МАФУСАЛ*

Еврейская лошадка

1

Мафусалом прозвали его в Касриловке потому, что был он обременен годами и не имел ни единого зуба во рту, если не считать двух-трех пеньков, которыми он с трудом жевал, когда было что жевать. Высокий, тощий, облезлый, с побитой спиной и тусклыми глазами (на одном — бельмо, другой — с красниной), кривоногий, мосластый, со впалыми боками, отвисшей губой, точно он вот-вот заплачет, и с общипанным хвостом — таков его портрет. А пребывал он на старости лет в Касриловке у Касриела-водовоза вместо лошади.

По природе своей Мафусал был кроткий, работяга, только очень уж заездили его, беднягу. Натопавшись за день по густой касриловской грязи и обеспечив весь город на сутки водой, Мафусал бывал доволен, когда его наконец распрягали, кидали ему охапку соломы, а затем

на закуску ставили перед ним лохань с помоями, которую Касриелиха подносила ему с таким видом, с каким, скажем, подносят блюдо с рыбой или миску вареников самому дорогому гостю. Этих помоев Мафусал ждал всегда с нетерпением, потому что там он находил размокший кусок хлеба, остатки каши и другие вкусные вещи, для которых зубы вовсе не нужны. Целый день Касриелиха старалась для Мафусала, бросала в лохань все, что подвернется под руку, — пусть бедная лошадка покушает. А Мафусал, подкрепившись, поворачивался лицом к своему бочонку, а к Касриелихе, извините, задом, что должно было, очевидно, означать: «Спасибо за хлеб-соль». При этом он еще больше свешивал нижнюю губу, закрывал зрячий глаз и погружался в глубокое лошадиное раздумье.

2

Не думайте, однако, что Мафусал с первых дней своей лошадиной жизни был таким, каким он здесь изображен. Давно, в молодые годы, когда еще жеребенком он трусил за матерью подле телеги, он обещал стать славным коньком. Знатоки предсказывали, что из него вырастет конь хоть куда. «Вот увидите, — говорили они, — он будет когда-нибудь ходить в карете в паре с самыми лучшими, самыми знатными лошадьми!»

Когда жеребенок подрос и стал лошастью, на него без церемонии надели узду, вывели на ярмарку и поставили там среди других лошадей. Раз пятьдесят его здесь прогоняли взад и вперед, ежеминутно смотрели зубы, поднимали ноги, разглядывали копыта, и так он был передан в чужие руки.

С той поры начинаются его хождения по мукам, бесконечные скитания с места на место. Он переходит от хозяина к хозяину, тащит телеги с тридцатипудовой тяжестью, тонет по брюхо в грязи, познает прелести кнута и палки, которые гуляют по его бокам, по голове, по ногам.

3

Долгое время ходил он коренным в почтовой упряжке с колокольцами, которые не переставая гремели у него над ухом, — глин-глин-глон! глин-глин-глон! — и

носился как оглашенный взад и вперед все по одному и тому же тракту. Потом он попал к простому мужику, у которого выполнял самые тяжкие работы: пахал, возил огромные телеги с зерном, бочки с водой, повозки, груженые лошадиным и коровьим навозом, выполнял еще много всякой другой грубой работы, которая была ему совершенно непривычна. От мужика он попал к цыгану. Цыган вытворял над ним такие штуки, применял такие подлые средства, чтобы он резвей бегал, что Мафусал не забудет этого во всю свою лошадиную жизнь. От цыгана он перекочевал в какой-то большой табун, а спустя короткое время очутился в Мазеповке у владельца тяжелого, окованного железом фургона, над которым висел странного вида разодранный навес, называемый всеми «будой». Здесь, у извозчика, его постоянно награждали кнутом и палкой, точно лошадиная шкура из сыромятины, а не из плоти и крови, точно лошадиные бока из железа, а не из костей. О-ох-о! Сколько раз, бывало, Мафусал уже еле волочит ноги, ляжки точно клещами тянет, в животе какая-то тяжесть, словно там ком какой, а он, этот безжалостный извозчик, все «но!» да «но!», да хлоп кнутом, да бух кнутовищем. Ну за что это?!

Счастье, что у извозчика был заведен такой обычай — один день в неделю можно было стоять на месте; стоять, жевать и ничего не делать. Мафусал не однажды задумывался над этим. Его лошадиные мозги никак не могли уразуметь — в чем же смысл этого дня? Почему в этот день никто тебя не беспокоит? И почему бы не установить такой порядок навсегда? Раздумывая так, он, бывало, настораживал уши и прикрывал один глаз, а другим поглядывал на своих двух товарищей, которые стояли здесь же, привязанные к тому же фургону.

4

Извозчика и его фургон сменила молотилка. Здесь Мафусал познал самый каторжный труд: день-деньской ходил в упряжке по кругу, глотал пыль да мякину, которая набивалась ему в ноздри, забиралась в уши, в глаза, и дурел от грохота машины. «Какой смысл в этом кружении? — не раз спрашивал он себя, пытаясь остановиться хоть на минутку. — Кто додумался до такой мудрости — кружиться на одном месте?» Однако ему не



давали долго раздумывать; сзади стоял человек с кнутом и не переставая покрикивал: «Гу-ги! гу-ги!..»

«Дурачина ты этакий! — думал Мафусал, поглядывая на человека с кнутом. — Хотел бы я видеть, как кружился бы ты вот здесь, если б тебя впрягли в колесо да подстегивали сзади».

Разумеется, от такого кружения в вечной пыли бедняга превратился вскоре в инвалида — один глаз закрыло бельмо, другой покраснел, сдали и ноги. С такими явными пороками он был гош только на свалку. Тогда Мафусала опять вывели на ярмарку, — может быть, его все-таки удастся сбыть. Лошадь принарядили, расчесали ей гриву, жиденький хвост подвязали, а копыта освежили жиром. Однако ничто не помогло — людей не проведешь. Сколько его ни муштровали, чтобы он гордо нес свою лошадиную голову, чтобы держался молодцом, он все свое: свешивал понуро голову, подгибал ноги, опускал нижнюю губу и ронял слезу при этом... Нет, охотников на него уже не находилось! Подходил один, другой, но они даже в зубы не глядели ему, только, бывало, пренебрежительно махнут рукой, сплюнут и пойдут своей дорогой. Выискался было один охотник, но не на лошадь, а на ее шкуру. Только не сошлись в цене. Торговец шкурами подсчитал, что это ему невыгодно. Свести лошадь, забить, содрать шкуру — обойдется дороже, чем стоит сама шкура.

Но, видно, суждена была Мафусалу спокойная старость — подвернулся Касриел-водовоз и свел его к себе домой в Касриловку.

5

До этого Касриел — широкоплечий, обросший до глаз человек с приплюснутым носом — был сам себе и водовозом и клячей, то есть попросту сам впрягался в бочку и развозил по городу воду. И как бы туго Касриелу ни приходилось, он никогда никому не завидовал. Вот только когда он видел человека с лошадьё, то, бывало, останавливался и долго-долго смотрел ему вслед. Лишь об одном мечтал он всю жизнь: кабы господь помог обзавестись лошадьё. Однако сколько он ни копил, ему никак не удавалось собрать столько денег, чтобы хватило на лошадь. И все же он не пропускал ни одной ярмарки, чтобы не потолкаться у лошадок, не поглазеть, — говорят

ведь: пощупать, что на возу, никогда не мешает. Увидев несчастную, забитую лошадь, стоящую посреди базара без узды, без привязи, Касриел остановился. Сердце его чуяло, что эта лошадь ему по карману.

Так оно и вышло. Торговаться ему долго не пришлось. Ухватив коня за узду, Касриел, счастливый, помчался домой. Он постучался, и Касриелиха вышла испуганная.

— Что такое? Господь с тобой!

— Купил, ей-же-ей, купил!

Касриел и Касриелиха не могли решить, где бы им поместить свою лошадку. Не стесняясь они соседей, поставили бы ее у себя в доме. Вмиг у них появились и сено и солома. А сами — Касриел и Касриелиха — встали перед лошадкой, долго любовались ею, никак наглядеться не могли.

Собрались и соседи посмотреть диковинку, которую Касриел привел с ярмарки. Они подтрунивали над лошадью, отпускали, как водится, остроты.

— Да ведь это не лошадь, а мул какой-то! — заявил один.

— Какое там мул. Кошка! — добавил другой.

Третий вставил:

— Это тень одна, ее надо заслонить, чтобы ветром, упаси господь, не унесло!

— Сколько, однако, лет этой твари? — полюбопытствовал кто-то.

— Наверное, больше, чем Касриелу и Касриелихе вместе.

— Мафусаловы годы!..

С тех пор его и прозвали Мафусалом. И имя это осталось за ним по сей день.

Зато жилось ему у Касриела, как никогда раньше, даже в самые лучшие годы. Во-первых, какой у него здесь труд? Смехота! Тащить бочонок с водой и у каждого дома останавливаться — разве это работа?! А хозяин! Да ведь это брильянт! Человек даже не крикнет громко, не прикоснется к нему, держит кнут так просто, для приличия. А еда! Правда, овсом его не балуют, но к чему овес, когда жевать нечем! Уж лучше помой да мякиши, которые подносит ему Касриелиха каждый день. И не столько помой, как вежливое обращение! Погля-

деть только на Касриелиху, как она стоит, сложив руки на груди, и умильно посматривает на Мафусала, разделяющегося с помоями, — тьфу, тьфу, не сглазить бы! А наступит ночь, подстелют ему во дворе соломки, затем либо Касриел, либо Касриелиха то и дело выходят проведать, не увели ли его, упаси господи. Чуть свет, еще сам бог спит, а Касриел уже около своего конька. Он запрягает его тихонько, взбирается на передок и направляется к реке по воду, напевая при этом на какой-то странный мотив: «Блажен муж, иже не идет...» У него это означает — хорошо человеку, который не идет пешим. А с полной бочкой Касриел возвращается все же пешком; теперь уже он не подпевает, топает вместе с Мафусалом по грязи и знай себе помахивает кнутиком: «Ну, ну, Мафусал, трогай, трогай!»

Мафусал упрямо месит ногами грязь, мотает головой и, поглядывая единственным глазом на своего хозяина, думает про себя: «С тех пор как я — скотина, мне еще никогда не приходилось работать на такого чудака». И вот лошадка, поразмыслив, начинает вдруг припадать на задние ноги, а затем, шутки ради, останавливается в самой грязи: «Дай-ка посмотрю, что из этого выйдет!» Увидев, что лошадь внезапно остановилась, Касриел начинает суетиться вокруг бочонка, осматривает колеса, оси, упряжь, а Мафусал, повернув голову к Касриелу и пожеывая губами, кажется, улыбается: «Ну и дуралей же этот водовоз! Совсем глупое животное!»

7

Но вечного счастья нет на земле. Мафусал мог бы сказать, что он счастливо доживает свою старость у Касриела и Касриелихи, если бы не дети: хозяйские, соседские и всякие иные дети доставляли ему уйму неприятностей, издевались, позорили его.

С первой же минуты, как только его ввели во двор, детвора почувствовала к нему... не вражду, боже сохрани, а, наоборот, большую любовь. И эта любовь оказалась для Мафусала роковой. Лучше бы они его меньше любили, да больше жалели.

Первым делом эти босые воспитанники талмудторы, Касриеловы дети, когда вокруг никого не было, стали испытывать, обладает ли Мафусал теми же чувствами,

что и человек; попробовали хлестнуть палкой по спине — ничего; пощекотали ногу — ничего; щелкнули — по уху — еле-еле; и лишь когда провели соломинкой по бельму, они окончательно убедились, что Мафусал чувствует, как человек, потому что он поморгал глазами и мотнул головой, точно хотел сказать: «Нет, только не это! Это мне не нравится». А коли так, ребята сразу же достали прутик из веника и засунули лошади глубоко в ноздрю. Тут Мафусал дернулся, подпрыгнул и фыркнул.

Выскочил Касриел.

— Озорники, разбойники! Что вы делаете с лошадьёю! Марш в хедер, бездельники!

Ребята сразу — шмыг, и, дай бог ноги, в талмудтору.

8

А в талмудторе был мальчуган по имени Рувеле, озорной парнишка, сорвиголова, — храни бог от такого! Родная мать говорила про него: «Таких погуще сеять, да пореже б всходили!» Любимое его занятие было всем надоедать. Все чердаки, все погреба он облазил. Гонять кур, гусей, уток, дразнить собак, пугать козу, мучить кошек — о свиньях уже нечего и говорить! — было его страстью. Ни тумаки матери, ни розги учителя, ни зуботычины посторонних ни к чему не приводили. Ругай сколько влезет — как горох о стену. Только что его как будто отхлестали, только что он обливался горячими слезами, но вот вы отвернулись, — ага! — Рувеле уже выставлял язык, сложил губы вишенкой, надул щеки пузырем. А щеки у него — настоящие пампушки. И был он всегда весел и здоров. Что ему от того, что мать, горемычная вдова, мучается, как в смертный час, а все же вносит за него свой рубль в талмудтору?!

Когда Рувеле проведал у ребят, что их отец привел с ярмарки коня, которого зовут Мафусал, он вскочил на скамью, провел под носом одной рукой, потом другой и закричал во все горло:

— Ребята, есть смычок!

Нужно заметить, что у Рувеле с малых лет была страсть к музыке. Он любил музыкантов, а по скрипке прямо-таки пропадал.

Кстати, у него был приятный голосок, и знал он на память уйму песен. Единственная его мечта — вырасти

большим, купить себе скрипку и играть на ней день и ночь. Но пока он смастерил себе маленькую скрипочку из дерева, натянул на ней нитки вместо струн и, понятно, получил за это что полагается от матери.

— Музыкантом хочешь стать? Не дожить бы мне до такого!

Вечером, когда учитель Хаим-Хоне отпустил учеников, они всей гурьбой отправились смотреть лошадку Касриела-водовоза. И Рувеле тут сразу заявил:

— Мафусал — отличная лошадь. Из хвоста у нее можно добыть сколько угодно струн. Да вот мы сейчас попробуем.

И Рувеле подобрался сзади к Мафусалу и стал у него из хвоста выдергивать волосы. Пока он вырывал по одному волоску, Мафусал стоял спокойно. «Один волосок? — точно говорил он. — Не велика беда! Подумаешь, будет на волос меньше!» Но когда Рувеле прилачился и стал выдирать целыми жгутами, Мафусал осерчал: «Вот как! Посади свинью за стол, она и ноги на стол!» И, не долго думая, надал копытом, да прямо в зубы Рувеле, и рассек ему губу.

— Так тебе и надо! О, горе мне! Очень хорошо! Все несчастья на мою голову! В другой раз не полезешь! О, погибель моя! — причитала мать Рувеле, Ента-лепетунья, прикладывая холодный компресс к рассеченной губе сына, плакала, ломала руки, убивалась, поминутно бегала к знахарке Хьене.

9

Рувеле был, слава тебе господи, из тех ребят, на которых все заживает, как на собаке. Не успели оглянуться, как у него срослась губа, будто ничего и не было. А он уже новую шутку придумал: надо как-нибудь прокатиться верхом на Мафусале всем школьникам разом. Но как это сделать, чтобы никто не узнал? И Рувеле решил, что это надо сделать в субботу после обеда, когда все лягут отдыхать. В это время Касриловку можно вынести из ее пределов со всем добром.

Один из учеников стал было возражать:

— Как же это можно еврею ехать в субботу?

Но Рувеле ему ответил:

— Осел, разве это значит ехать? Это ведь игра!..

Пришла суббота. Все пообедали, прилегли отдохнуть. Прилегли Касриел и Касриелиха. Тогда во двор к водовозу стали потихоньку собираться ребята. Рувеле сразу же принялся наряжать Мафусала. Раньше всего он заплел ему гриву в косы и разукрасил их соломинками, затем надел ему на голову белый бумажный колпак, который укрепил тесемками, и, наконец, к хвосту прицепил старый веник, чтобы хвост выглядел длинней и красивей. И ребята, опережая друг друга, стали взбираться на спину лошади. Кому удалось взобраться, тот был на коне, остальным же оставалось только подождать. А пока они шли позади, понукали Мафусала, чтобы тот шел быстрее, и пели хором:

— Так будет воздано коню, которому Рувеле пожелает оказать честь!..

У Мафусала, однако, не было никакой охоты двигаться быстрее, и он плелся шагком. Во-первых, куда ему спешить, в самом деле? Во-вторых, ведь сегодня день отдыха. Но Рувеле не переставая подгонял лошадь, нокал, вькал, тюкал и орал изо всех сил на остальную братию:

— Черт бы вас побрал! Что же вы молчите?

А Мафусал все трюх да трюх шагком да подумывает про себя: «Ребяшня резвятся, пусть их порезвятся!»

Но когда детвора стала уж слишком докучать ему, нукать, гнать, махать руками, Мафусал пошел быстрее, а когда он шаг убыстрил, веник стал бить его по ногам. Тогда он побежал. Веник стал бить еще пуще. Мафусал пошел вскачь. Ребята пришли в восторг, а Рувеле и во все подпрыгивал от удовольствия и все покрикивал: «Гоп-гоп-гоп!» Гопали они до тех пор, пока стали сыпаться с коня наземь, как галушки. А Мафусал только теперь, сбросив всех и почувяв свободу, пустился, как обезумевший, устремляясь все дальше, по ту сторону мельницы, за город.

А здесь пастушата, увидев странно разряженную лошадь, в бумажном колпаке, загикали, погнались за нею, стали кидать в нее палками, натравили собак. Собаки не заставили себя долго просить, пустились вдогонку, стали кусать, рвать ее; одни схватили сзади за ляжки, другие забежали вперед, вцепились в горло. Мафусал захрипел. Собаки терзали его до тех пор, пока не доконали.

На другой день ребята получили по заслугам. Разбитые носы да шишки на лбу — это не в счет. Помимо всего этого, они получили взбучку от своих родителей, да и меламед Хаим-Хоне всыпал им. Больше всего досталось, конечно, Рувеле, потому что все ребята, когда их пороли, плакали, как полагается, а этот, наоборот, смеялся. Тогда его принялись полосовать крепче. Но чем больше его били, тем сильнее он смеялся, а чем сильнее смеялся, тем крепче его били. Дошло до того, что сам меламед Хаим-Хоне рассмеялся, а на него глядя — и все ученики. Поднялся такой хохот, что соседи сбежались, прохожие на улице остановились, — тут были и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки. «Что случилось? Что за смех? Отчего смеются?» Но никто не в силах был ответить — все смеялись. Тогда и прохожие не выдержали — расхохотались. Тут еще пуще загоготали ученики и сам учитель; а на них глядя, покатались со смеху и пришедшие. Одним словом, все надрывали животики, смеялись до слез, до колик в боку.

Не смеялись только двое — водовоз Касриел и его жена. Когда, не дай господи, ребенок умирает в доме, не знаю, рыдают ли по нем так, как рыдали Касриел и Касриелиха по своей утрате, по своей бедной лошадке, по старому Мафусалу.



СКРИПКА

Рассказ из детских лет

1

— Сегодня, дети, я вам сыграю на скрипке. Мне кажется, нет ничего прекрасней, ничего благородней, чем игра на скрипке. Верно, дети? Не знаю, как вы, но я, сколько себя помню, был всегда без ума от скрипки, а музыкантов любил до самозабвения. Бывало, как только свадьба в местечке, я первый лечу встречать музыкантов. Подберусь сзади к контрабасу, рвану толстую струну: бум! — и бежать, бум! — и бежать. За этот «бум» мне однажды здорово влетело от Берл-баса. Берл-бас, человек сердитый, с приплюснутым носом, с острым взглядом, притворился, будто не видит, как я крадусь к контрабасу, когда же я протянул руку к струне, он хватил меня за ухо и торжественно проводил до самой двери: «Ну-ка, озорник, марш отсюда!»

Однако это меня ничуть не обескуражило. Я не отступал от музыкантов ни на шаг. Я страстно любил их всех:

от скрипача Шайки, человека с красивой черной бородой и тонкими белыми пальцами, до барабанщика Геци, обладателя порядочного горба и плечи до самых ушей. Не раз леживал я под скамьей и слушал этих музыкантов — меня ведь гнали вон. Оттуда, из-под скамьи, я следил за тонкими пальцами Шайки, как они пляшут по струнам, внимал сладостным звукам, которые он так искусно извлекал из своей скрипки.

После этого я, бывало, несколько дней подряд хожу как зачарованный, а перед глазами все Шайка со своей скрипкой. Ночью я его видел во сне, днем наяву. Из головы не выходил у меня этот Шайка. Мне казалось, будто я и сам скрипач. Изогну, бывало, левую руку и перебираю пальцами, а правой вдруг проведу, как смычком, при этом запрокидываю голову, зажмуриваю глаза — ну, совсем Шайка, две капли воды.

Приметил наш учитель Ноте-Лейб, — было это как раз на уроке, — что ядвигаю как-то странно руками, запрокидываю голову, закатываю глаза, и как влепит мне оплеуху.

— Ах ты, бездельник! Его азбуке обучают, а он корчит рожи, мух ловит!

2

И я дал себе слово: чего бы это мне ни стоило, что бы ни случилось, — я должен иметь скрипку. Но из чего же мне сделать эту скрипку? Конечно, из кедрового дерева. Легко, однако, сказать, кедровое дерево! Попробуй-ка достань его, если растет оно, как говорят, только в Палестине. И вот всевышний внушил мне вдруг такую мысль. Был у нас старый диван, доставшийся по наследству от дедушки реб Аншла. Из-за этого дивана в свое время поссорились между собой два мои дяди и покойный отец. Дядя Бенья твердил, что он старший сын и поэтому диван должен, конечно, достаться ему; дядя Сендер утверждал, что, именно как самому младшему, диван должен принадлежать ему; а покойный отец заявлял, что он, правда, только зять и никаких прав на диван не имеет, но поскольку его жена, то есть моя мать, была единственной дочерью у дедушки, то диван должна наследовать она. Это во-первых. А во-вторых, диван стоит у нас в доме, значит — это вообще наш диван. Тут вмешались обе теткы, тетя Ита и тетя Злата, и затеяли

такую склоку, что держись! Диван, дивана, диваном... В городе только и было разговору что о нашем диване. Короче говоря, диван остался у нас.

Это был простой деревянный диван, облицованный тонкой фанеркой, которая местами отстала и вздулась, как яйцо. Вот этот-то верхний, вздувшийся слой и был настоящим «кедром», который идет на скрипки. Так говорили все ребята в школе. Один лишь недостаток имел наш диван, но этот недостаток обернулся для меня достоинством: сядешь, бывало, на него и уж никак не встанешь, потому что сиденье у него с одной стороны вздулось бугром, а в середине провалилось. Вот это-то и было его достоинством — никто не хотел на него садиться. Диван задвинули в угол и дали ему чистую отставку.

На этот диван я и обратил теперь свое внимание. Смычок я изготовил уже давно. У меня был товарищ Шимеле, сын извозчика Юды, он дал мне пучок волос из хвоста их лошади. Канифоль для смычка я сам достал. На чудеса я никогда не полагался и выменял канифоль у другого приятеля, Меер-Липы, — дал ему стальную пластинку от маминого кринолина, который валялся у нас на чердаке. Эту пластинку Меер-Липа хорошенько отточил с обеих сторон и смастерил себе ножичек. Меня даже взяла охота снова обменяться с ним, но он ни за что не соглашался.

— Вишь, какой умник нашелся! Весь в папашу! — раскричался он. — Я три ночи тружусь — точу, точу, все пальцы себе порезал, а он, видите ли, является — давай обратно меняться!

— Гляди-ка! — говорю я. — Ну и не надо! Какая невидаль, стальная пластинка! Мало валяется их у нас на чердаке? Внукам и правнукам хватит!

Итак, у меня есть все, что нужно. Теперь осталось только одно: содрать с дивана «кедровое дерево». Выбрал я для этого самое подходящее время: мать была в лавке, а отец после обеда прилег вздремнуть. Я взял гвоздь, забрался в угол и углубился в работу. Однако отец спросонья услышал какую-то возню и, думая, видимо, что это мыши, крикнул: «Кш-кш!..» Я обмер от страха. Но отец тут же повернулся на другой бок. Услышав его храп, я снова спокойно принялся за работу. И вдруг гляжу — отец подле меня и смотрит какими-то странными глазами. По-видимому, он сразу никак не мог сообразить, что же, собственно, я делаю. Потом уже,

заметив изувеченный диван, он вытащил меня за ухо из угла и так жестоко избил, что меня пришлось отливать холодной водой.

— Господь с тобой! Что ты с ребенком сделал? — кричала мать, плача.

— Наследничек твой! Он живьем в могилу меня вгонит! — отвечал побледневший отец и, хватаясь за грудь, зашелся жестоким кашлем.

— Зачем же тебе так огорчаться? — говорила ему после мать. — Ты и без того хворый! Глянь на себя! Ведь на тебе лица нет! Врагам бы нашим так выглядеть!

3

Страсть к скрипке росла вместе со мной. Чем старше я становился, тем сильнее становилась эта страсть. А тут еще, как назло, каждый день мне поневоле приходилось слушать музыку. Как раз на полпути между школой и нашим домом стояла небольшая хибарка, крытая соломою; оттуда постоянно неслись звуки всяких инструментов, чаще всего — звуки скрипки. Там жил музыкант Нафтоле Безбородько, ходивший в укороченном кафтане, с заложенными за уши пейсами и в крахмальном воротничке. У него был изрядный нос, который выглядел будто приклеенный, губы толстые, зубы гнилые, лицо рябое и без всяких признаков бороды, — потому-то его и прозвали Безбородько. Жена его была дородная, крупная и звали ее «праматерь Ева». А ребят у них было дюжины полторы, если не больше. Оборванные, полуголые, босые, ребята эти, все от мала до велика, играли кто на скрипке, кто на альте, кто на контрабасе, кто на трубе, на флейте, на фаготе, на арфе, на цимбалах, на балалайке, а кто на барабане и на тарелках. Были среди них и такие, что умели исполнять самую сложную мелодию на губах, на гребенках, на зубах, на стаканчиках или горшочках, на куске дерева, даже на щеках. Дьяволы, черти, да и только!

С этой семейкой я познакомился совершенно случайно. Стою однажды у них под окном и слушаю, как они играют. Выходит один из старших ребят — флейтист Пиня, парень лет пятнадцати, босой, — и спрашивает, понравилась ли мне игра.

— Хотел бы я, — отвечаю, — лет через десять так играть!

— Можешь этого добиться раньше, — говорит он и намекает, что за два целковых в месяц папаша его обучит меня играть, а если угодно, так и он сам обучит меня.

— На каком инструменте ты бы хотел играть? — спрашивает он. — На скрипке?

— На скрипке.

— На скрипке? — повторяет он. — А сможешь платить два с половиной в месяц? Или ты такой же голодрапец, как я?

— Платить-то я смогу, — отвечаю ему, — да только... об этом не должны знать ни отец, ни мать, ни учитель.

— Божи упаси! — говорит он. — Зачем болтать! Нет ли у тебя табачку или папироски? Не куришь? Тогда одолжи пятачок, я куплю папирос... Но смотри, никому ни слова, отец не должен знать, что я курю. А мать, как пронюхает, что у меня деньги, сразу отнимет и купит баранок на завтрак. Пойдем в дом, чего тут стоять!

4

Оробевший, с бьющимся сердцем и дрожащими коленями, переступил я порог этого маленького рая.

Мой новый приятель Пиня представил меня своему отцу.

— Шолом Нохума Вевикова... сынок богача, хочет учиться играть на скрипке.

Нафтоле Безбородько убрал пейсы за уши, поправил воротничок, застегнул кафтан и завел со мной долгий разговор о музыке вообще и о скрипке в частности. Он объяснил мне, что самый лучший, самый замечательный инструмент — это скрипка, что выше и благородней скрипки нет ничего на свете. Даром, что ли, в оркестре всегда дирижирует скрипка, а не труба или флейта! Ведь скрипка — мать всех инструментов.

Вот так Нафтоле Безбородько прочел мне целую лекцию о музыке, при этом, как обычно, размахивал руками, шмыгал носом. Я же стоял и глядел ему в рот на почерневшие зубы и жадно глотал каждое его слово.

— Скрипка, понимаешь ли, — говорил Нафтоле Безбородько, очевидно довольный своей лекцией, — понимаешь ли, скрипка — самый древний инструмент. Первым скрипачом в мире был то ли Тувалкаин, то ли

Мафусаил, точно не помню, тебе лучше знать, ты ведь в хедере учишься. Второй скрипач был царь Давид *. Был еще один, третий скрипач, Паганини его звали, тоже еврей *. Все лучшие скрипачи в мире евреи — вот, например, Стемпеню, Педоцур. Себя я не стану хвалить. Говорят, я играю на скрипке недурно. Но куда мне до Паганини. Паганини, говорят, продал душу дьяволу за скрипку. Паганини терпеть не мог играть пред великими мира сего, пред королями да папами, хоть те готовы были озолотить его. Зато он охотно играл для бедняков в кабачках по деревушкам или даже в лесу — для зверей и птиц. Вот какой скрипач был Паганини!.. А ну-ка, на хлебнички, за инструменты!

Это Нафтоле Безбородько внезапно отдал приказ своей команде, и ребята немедленно собрались вокруг него со своими инструментами. Сам Нафтоле встал посредине, ударил смычком по столу, строго глянул на каждого в отдельности, затем на всех разом, и они рванули на своих инструментах с такой силой, что я чуть было не свалился. Все они старались друг перед другом, но сильнее других оглушил меня один совсем маленький, худенький, мокроносый мальчонка, с босыми опухшими ножками. Хемеле играл на каком-то чудном инструменте; это было что-то вроде мешка, который, если его надуть, испускает дикий звук, будто кошка взвизгивает, когда ей наступают на хвост. Отбивая босой ногой такт, Хемеле все время поглядывал на меня своими маленькими плутоватыми глазенками и подмигивал, точно хотел сказать: «Не правда ли, здорово дую?» Но неистовой всех работал сам Нафтоле Безбородько: он и играл и дирижировал, действуя руками, ногами, носом, глазами, всем телом, а если случалось, что кто-нибудь ошибался, он еще и зубами скрежетал, сердито покрикивая:

— Форто, прохвост! Форто, фортиссимо!.. Такт, бездельник! Такт! Раз, два, три! Раз, два, три!

5

Договорились с Нафтоле Безбородько: за три раза в неделю по полтора часа — два рубля в месяц. И я его снова и снова умоляю держать все в строгой тайне, иначе я погиб. Он дает мне честное слово, что даже пташка в небе ничего не узнает.



— Уж такие мы человеки, — заявляет он гордо и поправляет воротничок, — из тех, что денег не имеют, но совести и чести у нас побольше, чем у иных богачей!.. Не найдется ли у тебя несколько копеек?

Я вынимаю рубль и подаю ему. Нафтоле берет его двумя пальцами, как профессор, подзывает «праматерь Еву» и говорит, глядя в сторону:

— На, купи чего-нибудь на завтрак!

«Праматерь Ева», однако, хватая рубль обеими руками да всей пятерней, обследует его со всех сторон и спрашивает мужа, что же ей купить.

— Чего хочешь, — отвечает он как бы совсем безразлично. — Купи несколько булок, две-три селедки и колбасы, не забудь головку луку, уксусу, масла, ну, и «мерзавчика», конечно, прихвати.

Когда все эти прелести появились на столе, орава накинута на еду с такой жадностью, точно она разговлялась после долгого поста. Даже у меня слюнки потекли. И когда меня пригласили к столу, я не мог отказаться. Не помню, чтобы я когда-либо получал такое удовольствие, как тогда за этой трапезой.

После завтрака Безбородько мигнул своей команде. Все взялись за инструменты и меня угостили новым опусом — «собственной композиции» Нафтоле Безбородько. Эту «композицию» они сыграли с таким грохотом, что у меня заложило уши, закружилась голова, и я ушел оттуда как пьяный. Целый день потом в школе у меня вертелись в глазах учитель, ученики, книги, а в ушах не переставала грохотать «композиция». Ночью мне явился во сне Паганини верхом на дьяволе и огрел меня скрипкой по голове. Я проснулся с криком — у меня болела голова — и начал молоть всякий вздор. Что я говорил, не знаю. Но моя старшая сестра Песя потом рассказывала, что я в бреду выкрикивал какие-то бессвязные, дикие слова, вроде: Паганини, композиция. И еще об одном рассказала мне сестра — когда я болел, к нам раза два приходил от Нафтоле Безбородько какой-то босой мальчишка и справлялся, как я себя чувствую. Но его прогнали и наказали, чтобы он не смел больше являться к нам.

— Зачем приходил к тебе сынок музыканта? — допытывалась сестра.

Я твердил одно:

— Не знаю. Жизнью своей клянусь, не знаю! Откуда мне знать?

— Ну, на что это похоже? — говорила мне мать. — Ты уже, не глядеть бы, взрослый парень. Тебе уже невесту присматривают, а ты возишься с босыми музыкантами. Хороши у тебя приятели! Ну, что общего у тебя с этими музыкантами? Какие у тебя дела с сыном Нафтоле?

— Какого Нафтоле? — спрашивал я, прикидываясь дурачком. — Какие там музыканты?

— Погляди-ка на этого полоумного! — вставлял слово отец. — Не знает, что и сказать! Бедняжка! Агнец

невинный! Я в твои годы уже давно женихом был, а он все с мальчишками возится! Одевайся — и марш в хедер! Если тебя увидит Гершл-бал-таксе и спросит, чем ты болел, отвечай — лихорадкой. Слышишь, что тебе говорят? Лихорадкой!

Ничего не понимаю. При чем тут Гершл-бал-таксе? И почему я должен ему рассказывать о лихорадке?

Через несколько недель я получил ответ на все мои недоуменные вопросы.

6

Гершл-бал-таксе (так звали его потому, что и он, и отец его, и дедушка от века владели мясной таксой *, или иначе — держали на откупе коробочный сбор; это уже была его вотчина) был человек с круглым брюшком, рыжей бородкой, влажными глазами и широким белым лбом — признак светлого ума. И он действительно слыл в местечке человеком просвещенным, образованным, знатоком Библии и хорошим писцом. То есть почерк у него был замечательный; его письмо, говорят, составляло когда-то предмет гордости города. Ко всему прочему, у него были деньги и единственная дочь, девочка с рыжими волосенками и влажными глазками, — две капли воды Гершл-бал-таксе. Имя ее было Эстер, а ласкательно ее звали «Флестер». Было это существо хрупкое, нежное, и нас, мальчишек из школы, она боялась пуще смерти, потому что мы надоедали ей, вечно дразнили ее, пели при встрече:

Эстер!
Флестер!
Девочка-девчонка,
Где твоя сестренка?

Казалось, что обидного в этих словах? Правда ведь, ничего! Но Флестер, как только услышит эту песенку, заткнет уши и убежит с плачем в дом, а там заберется в какой-нибудь закуток и потом несколько дней подряд не выходит на улицу.

Но это было давно, когда она была ребенком. Теперь она стала взрослой девицей, заплетает свои рыжие волосы в косичку и одевается, как невеста, по последней моде. Моей матери она всегда нравилась, мать не могла нахвалиться этой «тихой голубицей». Эстер иногда в субботу заходила к моей сестре Песе, но, завидев меня, становилась еще красней, чем обычно, и опускала глаза.

А сестра Песя нарочно, бывало, подзовет меня, спросит что-либо, а сама смотрит на нас обоих.

И был день, и стряслось оное событие. Является к нам в школу мой отец вместе с Гершлом-бал-таксе, а за ними плетется шадхен Шолом-Шахне, превеликий бедолага, человек с шестью пальцами на руке и курчавой черной бородой. Завидев таких гостей, учитель реб Зорах второпях напяливает на себя кафтан и шапку, но от волнения у него одна пейса заезжает за ухо, шапка сползает, изпод нее торчит пол-ермолки, а одна щека ярко пылает. Можно было сразу догадаться, что тут что-то кроется, тем более что Шолом-Шахне в последнее время слишком уж зачастил к нам в школу; всякий раз вызывал учителя в сени, и там они подолгу простаивали вдвоем, перешептывались, пожимали плечами, размахивали руками. Заканчивалось все это вздохом:

— Ну что ж, пускай будет так! Раз суждено, значит, сбудется. Разве можно все знать наперед?

Когда вошли гости, реб Зорах не знал, что ему делать, куда их посадить. Он схватил кухонную скамейку, на которой его старуха солила мясо*, повертелся с ней по комнате, наконец поставил ее и сам же уселся на ней. Но тотчас вскочил как ошпаренный и, смутившись, ухватился за задний карман кафтана, точно потерял сокровище какое-то.

— Вот скамейка, садитесь! — предложил он гостям.

— Ничего, ничего, сидите! — ответил отец. — Мы зашли к вам, реб Зорах, только на минуту: они хотят послушать моего мальчика... что-нибудь из Библии.

И отец показывает на Гершла-бал-таксе.

— Ох, пожалуйста, с удовольствием! Отчего бы нет! — говорит учитель Зорах, хватая Библию и подает ее Гершлу так, точно говорит при этом: «На тебе, и делай что хочешь».

Гершл-бал-таксе берет в руки книгу, как человек, знающий толк в этом деле, склоняет голову набок, зажмуривает один глаз, листает, листает и, наконец, указывает мне на первый стих из «Песни Песней»*.

— Гм, «Песнь Песней»? — говорит учитель с усмешкой, которая должна означать: «Эх ты! Трудней ничего не мог найти?»

— «Песнь Песней», — отвечает ему Гершл-бал-таксе, — это вовсе не такое пустое дело, как вы думаете. «Песнь Песней» — это надо понимать!

— Безусловно, — вставляет с улыбочкой Шолом-Шахне.

Учитель кивает мне. Я подхожу к столу и, раскачиваясь, начинаю громко напевать:

— «Песнь Песней, то есть всем песням песнь. Все песни сложил пророк, а эту — пророк пророков; все песни сложил мудрец, а эту — мудрец из мудрецов; все песни пел царь, а эту — царь царей».

Пою, а сам поглядываю на моих экзаменаторов и на каждом лице вижу другое выражение. У отца на лице гордость и удовлетворение; на лице учителя — боязнь и опасение, как бы я не запнулся и не наделал ошибок. Его губы шепчут вслед за мной каждое слово. Гершл-бал-таксе сидит, склонив голову несколько набок, — кончик рыжей бороды во рту, один глаз закрыт, другой уставился в потолок, — и слушает, как великий знаток. Шадхен Шолом-Шахне глаз с него не сводит. Он сидит, согнувшись над столом, покачивается вместе со мной и, не в силах сдержаться, поминутно перебивает меня каким-нибудь возгласом, одобрительным смешком, покашливанием или взмахом своего раздвоенного пальца.

— Раз говорят, что он знает, — значит, знает!

Через несколько дней у нас состоялось торжество — били тарелки, и я оказался женихом единственной дочери Гершла-бал-таксе, маленькой Флестер.

7

Бывает, что человек в один день вырастает так, как другой не вырастет в десять лет. Став женихом, я сразу же почувствовал себя взрослым; как будто тот же, что и раньше, и все же не тот. От приятеля-мальчишки и до самого реб Зораха, все стали вдруг глядеть на меня с почтением — как-никак жених. И при часах! Даже отец перестал на меня кричать. А о порке и разговору не могло быть. Как это можно вдруг выпороть жениха с золотыми часами в кармане? Позор перед людьми и срам для себя! Правда, в школе у нас однажды высекли жениха, Элю, за то, что он катался на льду вместе со всеми мальчишками. Об этой истории болтал потом весь город. Невеста, проведав о случившемся, рыдала так долго, пока жениху не отослали обратно акт обручения. А же-

них Эля с горя и со стыда хотел было утопиться, да река к тому времени замерзла.

Почти такая же беда случилась со мной. Но причиной были не розги и не катанье на льду, а скрипка.

Дело было так.

Частым гостем в нашей винной лавочке был капельмейстер Чечек, которого мы звали «пан полковник». Это был здоровенный дядька, с большой окладистой бородой, со страшными бровями. Говорил он на каком-то странном диалекте — смеси нескольких языков. Во время разговора водил бровями вверх и вниз. Когда он опускал брови, лицо его становилось мрачным, как ночь, когда поднимал, лицо делалось светлым, как день, потому что под его густыми бровями были голубые, добрые, улыбочивые глаза. Носил он мундир с золотыми пуговицами, поэтому-то мы его и прозвали полковником. У нас в лавочке он был частым гостем не потому, что пил горькую, а только из-за того, что отец искусно готовил из изюма «лучшее добротное венгерское вино». Чечек был в восторге, не мог нахвалиться этим вином. Бывало, положит свою здоровенную ручищу отцу на плечо и говорит на своем странном наречии:

— Герр келермейстер! У тебя найлепший унгервейн. Нема таки винэ ин Будапешт! Перед богом!¹

Ко мне Чечек был особенно расположен, хвалил за то, что я учусь в школе, часто проверял мои знания, спрашивал, кто был Адам, кто Изаак, а кто Джозеф.

— Иосиф, — говорю я, — Иосиф-прекрасный?

— Джозеф, — отвечает он.

— Иосиф, — поправляю я его снова.

— У нас Джозеф, у вас Иоджеф, — говорит он, потрепав меня по щеке. — Джозеф-Иоджеф-Джозеф — вшійтко ёдно², ганц эгаль³.

— Хи-хи-хи...

Я прячу лицо в кулак и смеюсь.

Но с тех пор как я сделался женихом, Чечек больше не обращался со мной как с мальчишкой, стал разговаривать как с равным, рассказывал полковые истории, не

¹ Господин виноторговец! У тебя наилучшее венгерское! Такого вина не найти и в Будапеште! Ей-богу! (Смесь немецких, украинских и польских слов.)

² Все равно (польск.).

³ Все равно (нем.).

былицы о музыкантах (пан полковник мог наговорить с три короба, да некому было его слушать).

Однажды он разговаривал со мной о музыке. И я его спросил:

— На каком инструменте играет пан полковник?

— А на вшистских¹ инструментах, — отвечает он, поднимая брови.

— И на скрипке? — спрашиваю я, и он мне уже начинает представляться ангелом небесным.

— Заходи как-нибудь, — говорит он, — я тебе сыграю.

— Когда же я могу к вам прийти, пан полковник? Разве лишь в субботу. Но с условием: чтобы никто не знал. Обещаете?

— Перед богом! — говорит Чечек и вскидывает свои брови.

8

Чечек жил далеко-далеко за городом в маленькой белой хатке с малюсенькими оконцами и крашеными ставнями, с зеленым палисадником возле дома, откуда важно выглядывали высокие желтые подсолнухи. Наклоняя набок головки, они покачивались и будто звали меня: «Сюда к нам, паренек! Здесь свет божий приволен, свеж и душист. Здесь чудесно!..» И после душных, пыльных городских улиц, после шума, толчеи и гама в школе тебя так и тянет сюда, — потому что здесь действительно чудесно; свет божий здесь приволен, свеж и душист! Хочется бегать, прыгать, кричать, петь или броситься наземь, уткнуться лицом в пахучую зеленую траву. Увы, все это не для вас, еврейские дети! Желтые подсолнухи, веселые кочаны капусты, свежий воздух, душистая земля, ясное небо — нет, извините, этому на вашем мусоре не расти!..

Встретил меня большой черный кудлатый пес с огненно-красными глазами. Он набросился на меня с такой яростью, что я чуть на месте не помер. К счастью, он был на цепи. На мой крик Чечек без мундира выскочил из дому и стал ласково унимать собаку, и она вскоре угомонилась. Тогда Чечек взял меня за руку и подвел к черному псу, уверяя, что мне нечего его бояться, — он не тронет. В доказательство миролюбия пса хозяин

¹ На любых (польск.).

предложил мне самому погладить его. И тут же, не раздумывая, схватил мою руку и давай ею водить по спине этого зверя, называя его при этом странными кличками, хотя и очень ласково. Черная бестия опустила хвост, нагнула свою собачью голову, облизнулась и кинула на меня искоса такой взглядец, который мог означать только одно: «Счастье твое, что пан здесь, не то ушел бы ты отсюда без руки...»

Оправившись от испуга, я наконец вошел с паном полковником в дом и остолбенел: все стены сверху до низу увешаны оружием, а на полу лежит шкура с головой льва или леопарда, с оскаленными острыми зубами. Впрочем, лев еще полбеда, все же мертвый лев. Но ружья, ружья!.. Мне было не до свежих слив и прекрасных яблок из собственного сада, которыми потчевал меня хозяин. Глаза мои не переставали перебегать со стены на стену. Лишь потом, когда Чечек вынул из красного футляра маленькую, кругленькую, пузатенькую скрипку, поднес ее к своей большой бороде, провел по ней несколько раз смычком и полились мелодии, я забыл про черного пса, и про страшного льва, и про ружья на стенах. Я видел лишь большую, рассыпавшуюся по деке бороду Чечека, его густые насупленные брови, круглую, пузатенькую скрипку и пальцы, плясавшие по струнам с такой быстротой, что трудно было постигнуть: откуда у человека столько пальцев?

А потом исчез Чечек, исчезла рассыпавшаяся борода его, густые брови и чудесные пальцы, и я уже не вижу перед собой ничего. Слышу лишь пение, стоны, плач, какое-то всхлипывание, шепот, воркование — чудесные звуки, каких никогда в своей жизни не слышал. Звуки сладостные, как мед, чистые, как елей, лились, лились мне прямо в сердце, и душа моя унеслась далеко-далеко отсюда, в иной мир, мир чистых звуков и песнопений.

— Гербаты хцешь? ¹ — спросил вдруг Чечек, отложил скрипку и хлопнул меня по плечу.

Я точно с неба свалился.

С той поры я стал ходить каждую субботу после обеда к Чечеку слушать его игру на скрипке. Ходил уже смело, никого не боясь, и даже с черным псом подружился так, что он, завидев меня издали, вилял хвостом

¹ Чаю хочешь? (польск.).

и порывался лизнуть мою руку. Но я ему этого никогда не разрешал. Будем лучше добрыми друзьями на расстоянии!

Дома ни одна душа не знала, где я провожу субботний день, — жених все-таки! Да и не узнали бы никогда, не случись со мною новое несчастье, которое и будет описано в главе девятой.

9

Казалось бы, кому какое дело, что паренек отправляется в субботу после обеда погулять несколько дальше обычного, за город, например? Неужели больше делать нечего, как следить за другими? Однако что толковать? Такова уж человеческая натура: приглаживаться к своему ближнему, выискивать у него недостатки и давать советы! У нас могут, например, подойти к совершенно незнакомому человеку в синагоге, когда он молится, и поправить у него на лбу филактерии; или остановить его, когда он спешит по делу, чтобы сказать, что у него, кажется, подвернулась штанина; или указать на кого-нибудь пальцем так, что тот даже не поймет, что же ты, собственно, имеешь в виду: нос, бороду или шут его знает что еще; или когда человек пытается открыть какую-нибудь банку, коробку, выхватить у него из рук и сказать: «Да вы не умеете! Дайте-ка мне»; или остановиться возле постройки и ляпнуть хозяину, что потолок, кажется, слишком высок, комнаты чересчур просторны, а окна несоразмерно широки. Хоть ломай постройку и начинай все заново! Так уж у нас, понимаете ли, водится издавна, с сотворения мира. А мы уж с вами мир не перестроим, да и не обязаны это делать.

После такого вступления вы поймете, почему Эфрон Клоц¹, совершенно чужой мне человек, десятая вода на киселе, принялся следить за мной, разнюхивать, куда я хожу, и подставил-таки мне ножку. Он клялся, что сам видел, как я ем трэфное у полковника и курю в субботу. Чтоб ему, говорит, счастье так видеть в своем доме! Чтоб ему, говорит, не дойти туда, куда он идет! А если он врет хоть на столечко, пусть ему самому, говорит, скривит рот, пусть у него глаза вылезут!

¹ Бревню (еврейск.).

— Аминь, дай-то бог! — говорю я и получаю от отца затрепину, чтобы не дерзил. Но я, кажется, опережаю события — поставил на стол бульон раньше рыбы. А ведь я забыл вам рассказать, кто такой Эфроим Клоц, что, собственно, он собою представляет и как дело было.

На краю города, за мостом, жил некий Эфроим Клоц. Почему его прозвали Эфроим Клоц? Торговал он когда-то лесом, теперь уже не торгует. С ним вышла история: нашли у него на складе бревно с чужим клеймом. Завязалось дело, пошло следствие, судебная волокита, еле-еле от тюрьмы ушел. С тех пор он вовсе бросил торговать, занялся общественными делами и всюду совал свой нос: в дела общины, таксы, цехов, синагоги. Поначалу у него все это шло не очень гладко, натерпелся сраму. Однако дальше — больше, человек втирался в доверие, болтал, что знает «все ходы и выходы». И глядь, наш Эфроим стал нужным человеком, без которого никак не обойтись. Так заберется в яблоко червяк, устроит себе просторное и мягкое ложе и чувствует себя здесь как дома, настоящим хозяином.

Эфроим этот был низенький, на коротких ножках, крошечные ручки, красные щечки, а ходил быстро-быстро, вприпрыжку, подергивая головенкой, говорил торпливо, пискливым голоском, смеялся мелко — ровно горошек сыпал. Терпеть я его не мог, не знаю почему.

Всякий раз, когда я ходил к Чечеку или возвращался от него, я видел, как он прогуливается на мосту в своем длинном залатанном субботнем кафтане, накинутом на плечи. Заложив руки за спину, он пискливо что-то напевал, а длинный балахон бил его по пятам.

— Добрый день, — говорю я ему.

— Добрый день, — отвечает он. — Куда это паренек идет?

— Просто так, гулять.

— Гулять? Один-одинешенек? — спрашивает он и смотрит мне в глаза с такой усмешкой, по которой трудно сразу понять: умно ли это, глупо ли, или, может быть, смело, что я иду гулять один-одинешенек.

Однажды, идя к Чечеку, я заметил, что Эфроим Клоц слишком пристально смотрит мне вслед. Я остановился на мосту и стал глядеть на воду. Тогда и Эфроим оста-

новился и стал глядеть в воду. Я повернул обратно — и он за мной. Пошел я опять к Чечеку — и он туда же. Наконец он куда-то исчез. Позже, когда я сидел у Чечека и пил чай, мы услышали, что собака яростно лает на кого-то и рвется с цепи. Выглянул в окно, и мне показалось, будто что-то маленькое, черненькое, на коротеньких ножках семенит, семенит и исчезает. Я бы поклялся, что это Эфроим Клоц.

Так и есть. Прихожу в канун субботы домой, красный от волнения, и застаю Эфроима у нас. Сидит за столом, что-то оживленно рассказывает и мелко смеется. Увидев меня, он замолкает и начинает барабанить своими коротышками по столу. Против него сидит отец — бледный как смерть, мнет бороду, выдергивает по волоску: верный признак, что он сердит.

— Ты это откуда? — спрашивает меня отец и глядит на Эфроима.

— Откуда же мне быть? — отвечаю я.

— А я разве знаю откуда? — говорит отец. — Скажи ты, тебе лучше знать.

— Из синагоги иду, — отвечаю я.

— А где ты был целый день? — спрашивает отец.

— А где мне быть? — отвечаю я.

— Почему я знаю, — говорит отец, — тебе лучше знать.

— В синагоге, — отвечаю.

— Что же ты там делал, в синагоге?

— Что мне там делать?

— А я знаю, что тебе там делать?

— Я изучал...

— Что же ты изучал?

— Что мне изучать?

— Откуда я знаю, что тебе изучать?

— Я изучал Талмуд.

— Какой трактат ты изучил?

— Какой же мне изучать?

— Откуда я знаю какой?

— Трактат «Суббота» я изучал.

Тут Эфроим Клоц сыпанул своим маленьким смешком, и отец больше не выдержал: он вскочил с места и отвесил мне такие две звонкие, горячие пощечины, что у меня искры из глаз посыпались.

Мать это услышала из соседней комнаты и вбежала с криком:

— Нохум! Господь с тобой! Что ты делаешь? Жениха?! Перед свадьбой! Подумай, что же это будет, если шадхен узнает?!

.

Мать была права. Гершл-бал-таксе проведаль обо всем. Да сам Эфроим Клоц и рассказал, радуясь, что может досадить ему: они издавна были на ножах.

Уже на следующий день утром мне отослали обратно акт обручения и все мои подарки. Конечно, я больше не жених. Отца это так огорчило, что он слег в постель, долго болел, не пускал меня к себе на глаза. Сколько мать ни упрасивала, как ни защищала меня — ничто не помогло.

— Но этот срам! Но этот позор! Не снести мне, — сказал он, — такого позора!

— Да пусть оно пропадом пропадет! — изливала душу мать. — Бог пошлет ему другую невесту. Что ж поделаешь? С жизнью покончить? Видно, она ему не сужена...

Вместе с другими пришел проведать отца и капельмейстер Чечек.

Отец, увидев его, снял с головы ермолку, приподнялся на постели, протянул ему свою тонкую, исхудавшую руку и, посмотрев в глаза, сказал:

— Ой, пан полковник, пан полковник!..

Больше он не мог вымолвить ни слова: его душили кашель и слезы.

Первый раз в жизни я видел отца плачущим. Это меня так потрясло, так больно сжалось мое сердце! Я стоял у окна и глотал слезы. В эту минуту я искренне каялся во всем, что натворил. Я колотил себя в грудь, как истый грешник, и дал себе слово — никогда больше не огорчать отца, никогда-никогда больше не причинять ему неприятностей. Конец скрипке!

ЦИТРУС

Рассказ к празднику

1

Имя мое, надо вам знать, Аре-Лейб, но зовут меня все Лейбл, а в хедере меня прозвали «Лейб-дрейб-обдирик».

У нас в хедере нет мальчика без прозвища: Мотл-капотл, Меер-дреер, Мендл-фендл, Хаим-клаен, Ицик-шпицик, Берл-козел. Как вам нравится такая рифма? Если к Ицику прибавляется шпицик и к Мендлу — фендл — это еще куда ни шло, но что общего, скажем, между Берлом и козлом? С таким же успехом, однако, можно спросить, что это за прозвище Лейб-дрейб-обдирик. Я этого прозвища не переносу и каждый раз лезу из-за него в драку, и каждый раз на меня сыплются тумаки, пинки, подзатыльники. Я вечно в синяках, потому что в хедере я самый маленький, я и моложе всех, и слабее, и беднее, некому за меня заступиться, некому меня пожалеть. Наоборот, когда два сынка богатых родителей истязают меня — один сидит на мне верхом, второй дерет меня за уши, — всегда найдется третий, какой-нибудь мальчик совсем бедных родителей, который, поддавая жару, напевает:

Вот так! Вот так!
Всыпьте ему!
Всыпьте ему!
За уши его!
За уши его!
Вот так! Вот так!

Мне тогда остается только лежать тихо, как котенку, а когда меня отпускают, я забиваюсь в угол и плачу тайком.

Потом утираю слезы, возвращаюсь к товарищам, и все идет своим чередом... Короче говоря, если вам встретится в моем рассказе имя Лейбл, то знайте, что это я.

Сам я толстячок, маленький и пухленький, хотя вовсе не упитан, наоборот, телом тощ, а пухленький я оттого, что ношу толстые ватные штанишки, толстую ватную фуфайку и толстый ватный кафтан. Это мама моя заботится о том, чтобы мне было тепло, чтобы я, не дай бог, не простудился, поэтому она с ног до головы укутывает меня в вату. Мама и не подозревает, на что мальчику может пригодиться вата. Из ваты можно сделать отличный мяч, и еще один мяч, и еще один — всех ребят в хедере я наделяю ватой из штанишек и из кафтана. Когда это замечают взрослые, меня награждают оплеухами, пинками, тумаками и подзатыльниками. Но Лейбл делает свое: раздает вату. Кто хочет, берет у него вату, и всякий кому не лень бьет его, колотит, щиплет: «Лейб-дрейб-обдирик... Так ему и надо!..»

Щеки у меня лиловые, нос всегда набит до отказа, будто скован льдом. «И откуда только у него берется!» — говорит мама и заставляет Лейбла сморкаться, без всякой жалости утирает ему фартуком нос, приговаривая: «Еще, еще, еще!» Вот так напасть — нос! Не будь носа, Лейблу было бы как нельзя лучше. Во-первых, нечего было бы утирать фартуком, во-вторых, зимой нечему было бы мерзнуть. Не раз я задумывался: зачем нужен нос? Чем было бы плохо, если бы люди ходили без носов? Правда, возникает вопрос, какой вид мы бы все имели... Но я, ребята, совсем о другом собирался вам рассказать. Я хотел рассказать вам про цитрус, а забрался вон куда! Поэтому разрешите мне здесь остановиться и перейти к рассказу о цитрусе.

2

Мой отец, Мойше-Янкл, много лет служит в проекте * кассиром. Жалованья он получает четыре с половиной в месяц и все ждет прибавки; если ему дадут прибавку, то в этом году он, бог даст, купит на праздник цитрус. Но мама моя (ее зовут Басе-Бейля) не верит в такие чудеса. Скорее, говорит она, казарма обвалится и людей задавит, чем откупщик коробки кому-нибудь прибавит

жалованья. Однажды, незадолго до Нового года, Лейбл застал родителей за таким разговором.

Отец. Хоть бы весь мир перевернулся, в этом году на праздник кушей я покупаю эсрог*.

Мать. Мир не перевернется, и эсрога ты не купишь.

Отец. Так ты думаешь? А если часть денег мне даст хозяин, что тогда?

Мать. Тогда запишем на воде, что в начале месяца небывалого один посулил, второй уши развесил. Если я этому не поверю, большого греха не будет.

Отец. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я тебе говорю, что в этом году у нас будет эсрог.

Мать. Аминь, твоими устами да мед пить!

«Аминь! Аминь! Аминь!» — в душе произносит Лейбл, и ему представляется, как отец приходит в синагогу наравне с самыми почтенными хозяевами со своими собственными эсрогом и лулевом*. И хотя он не из богачей, он ходит вокруг анаоя вместе с отцами города, и сердце Лейбла трепещет и радуется, глядя на него. Впереди всех, конечно, выступает кантор реб Мейлах; он подвигается шаг за шагом, как фельдмаршал, с горделиво поднятой головой и красивым голосом выносит слова молитвы. Вслед за ним идет раввин, маленький, тщедушный человек с надвинутым на самые глаза талесом. За раввином идет помощник раввина, с желтым пергаментным лицом, но зато с широкими плечами и жирным брюхом, которое колышется под блестящим атласным кафтаном; за помощником раввина следуют все уважаемые люди города, богачи, сливки общества: реб Додя, сын реб Гершеле, реб Симхе, сын реб Йоселе, реб Арн, сын реб Лейбеле, и три Берла: Берл-большой, Берл-красный и Берл-со-щекой. Потом идут средние хозяева: Мендл, сын Нехаминого Боруха, Шае, сын Довида-Шлойме, Велвл, сын Хаим-Берчика. А уж за ними — всякая мелюзга: Мойше Кот, Хаим Флам, Азриел Качка, Меер Губа, Шолом Скрип, Шмулик Петрушка, и еще, и еще... Все следуют один за другим, богач за богачом, хозяин за хозяином, каждый по своему состоянию и положению, как, скажем, во время войны, когда войско идет в бой: впереди выступает фельдмаршал, потом идут генералы, за ними полковники, офицеры, юнкера, унтер-офицеры и фельдфебеля, а потом только простые солдаты... Лейблу представляется, что его отец опередил многих уважаемых хозяев, даже портного реб

Исроэла оставил позади. Реб Исроэл, хотя и мастеровой, и отпетый бедняк к тому же, с чужим цитрусом в руке, которым почтил его какой-нибудь разбогатевший мастеровой, обычно кружит вокруг амвона паравне с самыми уважаемыми хозяевами. Это потому, возможно, что и вид у реб Исроэла весьма почтенный, и благообразен он, и благочестив. Лейбл не раз замечал, что, когда в синагоге начинается шествие с цитрусами, каждый норовит протиснуться вперед; будто заглядывая в молитвенник и тоненьким голосом подпевая кантору, какой-нибудь молящийся с благочестивой миной на лице, исподтишка косится в сторону отцов города, богачей, только и думая о том, как бы изловчиться и захватить место повидней, поближе к этим богачам; если же случится такому очутиться позади, он ускоряет шаг, чтобы кто-нибудь другой, помельче, не опередил его, упаси бог. А если случится ему опоздать в синагогу, он бочком проворно протискивается между другими двумя хозяевами, которые, конечно, так бы его и пустили, если бы это от них зависело...

После разговора между отцом и матерью Лейбл не мог удержаться и растрезвонил в хедере, что в этом году у них будет собственный эсрог, но, сколько он ни божился, никто ему не поверил.

— Нет, вы подумайте только! — говорили ребята-озорники. — Бедняк из бедняков, нищий среди нищих — и вдруг купит собственный эсрог! Он, видно, думает, что это простой лимон или яблоко за грош!

Младшие ребята тут же стали напевать:

Лейб-дрейб-обдирик
Сочиняет враки!
Сочиняет враки!..

Напевая таким образом, ребята, как обычно, награждали его пинками, тумачами, подзатыльниками. Хотя Лейблу было очень обидно, что ребята не поверили, ему и самому начало казаться, что отец его как был касриловцем, бедняком из бедняков, так и остался им, а бедняк ничего и хотеть не должен... И как же Лейбл был поражен, когда, придя однажды из хедера домой, застал там резника Гензла, в наполеонке на голове, сидящего рядом с его отцом, а на столе перед ними стояла коробка с цитрусами, которые распространяли благоухание по всему дому.

Наполеонка на голове Гензла — это нечто вроде шапки, оставленной нам в наследство Наполеоном Бонапартом. Там, у французов, эта шапчонка давно уже вышла из моды, и только у нас в Касриловке еще завалялась одна наполеонка, не больше одной, и носит ее резник Гензл. Это высокая и узкая шапка, с разрезом спереди, с пуговичкой и с двумя кисточками. Меня издавна привлекали эти кисточки. Попадись шапка резника мне в руки хоть на одну минуту, кисточки были бы моими!.. Это я видел в мечтах. Резник Гензл, однако, никогда не снимал своей шапки, и мне порой казалось, что эта шапка с кисточками, и пейсы резника, и голова его срослись воедино и поэтому так трясутся у него пейсы и болтаются кисточки, когда он, размахивая руками, разговаривает. Выложив весь свой товар, реб Гензл отбирает один цитрус, берет его двумя пальцами и показывает отцу.

— Вот этот эсрог, реб Янкл, я советую вам взять, и вы будете довольны, потому что этот эсрог, говорю я вам, настоящее сокровище, лучшего и пожелать нельзя!

— А он корфинский? * — спрашивает отец, и руки у него дрожат от радостного волнения.

— Еще бы не корфинский! — со смешком отвечает шапочка, и кисточки на ней болтаются. — Корфинский из корфинских! Лучше и желать нельзя!

Мойше-Янкл глаз не сводит с эсрога, налюбоваться не может, как будто перед ним богатый фермуар, дорогое украшение или драгоценный камень. Он зовет жену и со счастливой улыбкой указывает на эсрог, как указывают на милого ребенка — утеху семьи. Басе-Бейля подходит молча и так же молча протягивает руку за цитрусом, но ей не дают к нему притронуться: «Без рук, осторожно, только понюхай, если хочешь...» Басе-Бейля ограничивается нюханьем, мне же и понюхать не дают, меня и близко не подпускают, не дают даже посмотреть на эсрог, как будто это опасно для жизни.

— Смотри-ка, и он тут, — говорит мама, — только допустит его, и он откусит головку у эсрога...

— Не дай бог! — испуганно говорит отец.

— Господи, спаси и помилуй! — вторит ему шапочка, и кисточки на ней болтаются.

Реб Гензл дает отцу клочок пакли, чтобы завернуть

цитрус, и запах его, райское благоухание, распространяется по всему дому.

Словно брильянт, словно редкостную драгоценность, которую берегут как зеницу ока и передают для сохранности в верные руки, потому что пропади она — и жизни конец, — так отец принял из рук в руки этот благоухающий плод. Он завернул его, как заворачивают долгожданное дитя, над которым дрожат, как бы оно, упаси бог, не простудило горлышко, и уложил в деревянную коробку из-под сахара, красивую коробку, круглую, точеную. Сахар из нее, не в обиду будь сказано, попросили и, устлав дно паклей, устроили в ней цитрус, словно желанного гостя. Милости просим, реб эсрог! Войдите, войдите же в коробку! Тщательно укутав цитрус соломой, коробку закрыли и поставили ее в стеклянный шкаф, дверцу шкафа тоже закрыли и... прощай цитрус!

— Боюсь, как бы этот выродок («выродок», конечно, я) не забрался в шкаф и не откусил головку у эсрога!.. — говорит мама, берет меня за руку и уводит подалее от шкафа.

Точно кот, который, почуяв масло, прыгает с шестка и, выгнув спину, начинает кружить по комнате, тереться об ноги, заглядывать каждому в глаза и облизываться, — так бедняжка Лейбл вертелся около шкафа, заглядывая в стеклянную дверцу и улыбаясь коробке с цитрусом, пока мать не заметила этого и не пожаловалась отцу, что озорник подбирается к эсрогу. И отец прикрикнул на него: «В хедер, проказник этакий, чтоб тебя!..» Брысь, значит, кошка, подалее от масла!.. Понузив голову и опустив глаза, Лейбл отправился в хедер.

4

Когда я проходил в хедере первый раздел «Бытия» *, я нередко задумывался: что было бы, если бы, поселив первочеловека Адама и его жену Еву в раю, бог не указал им, какие плоды можно есть и какие нельзя? Змей, конечно, не имел бы тогда над ними никакой власти, ему бы никак не удалось соблазнить Еву и заставить ее попробовать от древа познания, Ева не угостила бы яблочком мужа, богу не за что было бы гневаться, он не выгнал бы их из рая, и тогда, возможно, мы бы до сегодняшнего дня разгуливали там. Отцы наши,

наверное, все время сидели бы над священными книгами, матерям только и дела было бы, что вязать чулки и ощипывать птицу, а мы, мальчишки-озорники, карабкались бы по горам, на самый Арарат взбирались бы, рвали бы финики, ели бы гранаты, напихивали бы карманы рожками и по целым дням плескались бы в реке...

Несколько слов, сказанные Басе-Бейлей: «Только допусти его, и он откусит головку у эсрога», — были для Лейбла смертельным ядом, в него проникла отрава.

С той самой минуты головка цитруса накрепко завладела его мыслями, и он лишился покоя. Лейбл видел ее часто во сне, она тормозила его по ночам, тянула за полы: «Ты не узнал меня, глупышка? Это ведь я, головка цитруса!..» Лейбл кричал, поворачивался на другой бок и засыпал, но кто-то ему нашептывал: «Вставай, глупенький, иди открой шкаф, достань меня и откуси — и тебе прибавится здоровья!»

По утрам Лейбл наскоро умывался и, протягивая руку за завтраком, который брал с собой в хедер, не мог отвести глаз от шкафа, где сквозь стеклянную дверцу проглядывала коробка с цитрусом: ему казалось, что коробка подмигивает ему: «Сюда!.. Сюда, паренек!..» Лейбл отворачивался и... марш в хедер.

В один прекрасный день Лейбл проснулся и увидел, что он дома один, один-одинешенек. Отец на службе, мать ушла на базар, старуха, помогающая по хозяйству, возится на кухне, маленький ребенок спит в колыбельке, подняв ручки кверху, и улыбается во сне. «Ангелы играют с ним», — думает Лейбл и смотрит туда, на шкаф, где в стеклянную дверцу видна коробка с цитрусом. Она подмигивает ему, зовет: «Сюда! Сюда, паренек!..» Потихонечку, потихонечку Лейбл подвигается к шкафу, открывает дверцу, достает деревянную коробку, красивую, кругленькую, точеную, крашеную коробку и приподнимает крышку. Не успевает он освободить цитрус от пакли, как ему ударяет в нос пряный запах, райское благоухание; не успевает он оглянуться, как цитрус уже у него в руках. А головка подмигивает ему: «Хочешь получить удовольствие? Хочешь почувствовать райский вкус? Тогда возьми и откуси меня! Не бойся, глупенький, никто не узнает, человек не увидит, и петух не пропоет!..»

Вам, конечно, не терпится узнать, что было дальше? Откусил ли я головку у цитруса или удержался и не

откусил ее? Хотел бы я знать, как бы вы поступили на моем месте, если бы вам не меньше десяти раз наказывали, чтобы вы не смели откусывать головку у цитруса? Разве вам не хотелось бы узнать, какой вкус имеет головка цитруса?..

5

Мойше-Янкл, который служит в проекте, не имеет возможности поставить для себя одного праздничный шалаш. Вернее будет, если шалаш построит сосед, столяр Залмен, ему это проще, досок у него предостаточно. Мы же вносим свой пай в виде двух наволочек, нескольких простынь и одеял, чтобы завесить стены. Кроме того, Басе-Бейля взяла на себя испечь Залмену халу на праздник — столяр Залмен недавно остался вдовцом с восемью детьми — и помочь его старшей дочери Цивье приготовить фаршированную рыбу. Лучшей мастерицы фаршировать рыбу, чем Басе-Бейля, в Касриловке не найти. Ну, а цитрус ничего не значит?

— Вы имеете в эсроге равную долю с нами, — говорит Басе-Бейля столяру Залмену.

— Для прочтения молитвы над ним, — уточняет Мойше-Янкл.

— А то для чего же, съем я его, что ли? — со своей стороны, замечает Залмен.

Не один Залмен проложил себе дорожку к цитрусу. О цитрусе мечтали и его дети, как мечтают о величайшем счастье. Шуточное ли дело — в одной руке держать эсрог, в другой — лулев и, произнося молитву, потряхивать этим лулевым: трррр!.. «Сколько осталось еще до кущей?» — считали они дни.

Накануне кущей отец перевязал лулев, собрал все сорта трав, приготовил все наилучшим образом. Потом отец поставил собранный, нарядный лулев на шкаф в уголок, чуть прислонив к стене, и он стоял как живое существо, которое прикорнуло на минуточку. Говорить Лейблу, что к лулеву и притронуться нельзя, было излишне. Если Лейбл и захотел бы, он не мог бы его достать; а если бы он надумал приставить табуретку к шкафу и взобрался бы на нее, из этого тоже ничего хорошего не вышло бы: табурет опрокинулся бы, Лейбл полетел бы на пол и свернул себе шею, а потом получил бы еще по заслугам так, что запомнил бы на всю жизнь!..

Была еще одна причина, по которой Лейбл не интересовался лулевым. Дело в том, что ему было не до лулева. Им владела теперь только одна мысль: что будет, когда обнаружится, что у цитруса откушена головка? Правда, Лейбл тут же приклеил ее слюной, но будет ли она держаться?.. Боже, боже, что его ждет? Что он может сказать в свое оправдание? Как он посмотрит в глаза отцу и матери, как он сможет соврать, что ни сном ни духом не виноват? Да и кто поверит ему на слово? И зачем только он это сделал? Что это ему дало? Какое удовольствие от головки цитруса, когда в ней одна только горечь? Тьфу, с души воротит! Ни за что ни про что испортил плод, сделал цитрус негодным, такой красивый цитрус! А что надкусанный цитрус никуда не годится, Лейбл знал от товарищей по хедеру. И какая польза была ему от цитруса? И что это ему пришло в голову? Лейбл смотрит на себя, как на убийцу: взял живое существо, откусил у него голову и лишил его жизни! За что? К чему это? Чем цитрус перед ним провинился? Не проходило и минуты, чтобы он не видел перед собой головки цитруса; на каждом шагу являлся ему мертвый цитрус, желтый, как воск, без признаков жизни, мертвый, мертвый цитрус!..

По ночам эсрог приходил к нему во сне, тормошил его, тянул за рукав, не давал спать: «Что тебе от меня нужно было? Зачем ты откусил мне голову? Ведь теперь я никуда не годен, не годен, не годен!» Лейбл стонал, поворачивался на другой бок и засыпал, но не тут-то было, цитрус снова тормошил его: «Убийца! Чем тебе помешала моя голова? Моя голова! Моя голова!..»

6

Наступил первый день кушей. Ночью слегка подморозило, а утром на чистом голубом небе взошло солнце и залило землю тем радостным живительным светом, который растекается по всем жилкам, и сердце пронизывает странное чувство, смутная тоска по промелькнувшему лету. Солнце светит, но уже не греет. «Как ма-чеха», — говорят у нас в Касриловке. Ушло благодатное летнее тепло! Не видать больше благодатной летней зелени! Не слышать благодатного чириканья птиц! Все ушло с первым дуновеньем элулского ветра, и не так скоро вернется солнечное тепло, не так скоро зазеленеет

травка и защечбечут птицы. Земля еще достаточно померзнет до тех пор, и снег ее густо покроет. И снег будет падать, и ветер будет дуть, и метели завывать, пока земля наконец не очнется от своего мертвого сна, не сбросит с себя мерзлого одеяла и не нарядится в новое, с иглочки, зеленое платье, и оживут тогда долины и горы, моря и реки, цветы и деревья, звери и животные, люди и птицы — все, что властвует на земле, дышит и копошится на ней...

В этот день Мойше-Янкл встал на рассвете, чтобы лишний раз посмотреть праздничную молитву и спеть ее на давно знакомый праздничный лад. В этот день и Басе-Бейля встала на рассвете, чтобы приготовить фаршированную рыбу, раскатать тесто к празднику, сварить цимес. В этот день столяр Залмен встал на рассвете, чтобы раньше всех помолиться над цитрусом в шалаше, а потом выпить стаканчик чаю с молоком, пожить в свое удовольствие по случаю праздника.

— Реб Залмен просит лулев с эсрогом, — обратилась мать к отцу.

— Открой шкаф и достань коробку, только осторожно! — сказал отец. Он встал на табурет, снял лулев со шкафа и пошел с ним в шалаш, чтобы самому приобрести столяра к богоугодному делу.

— Натe вам, помолитесь над эсрогом, — сказал он столяру, — только осторожно, ради бога, осторожно!..

У столяра Залмена сил дай бог всякому, и руки у него... Одним пальцем он мог бы уложить трех таких, как Лейбл. Руки у него вечно в клею, а ногти на больших пальцах каждой руки всегда красны от лака, и когда он проводит ногтем по доске, остается глубокая борозда, будто по ней провели острием лопаты.

По случаю праздника Залмен надел белую рубаху и новый кафтан, предварительно сходяв в баню, где он долго тер руки и мылом, и золой, и песком, но так и не отмыл их. Руки по-прежнему остались в клею, а ногти — красными от лака.

Вот в эти-то руки и попал вожделенный ароматный цитрус. Недаром Мойше-Янкла бросило в дрожь, когда он увидел, как столяр Залмен зажал цитрус в кулаке и изрядно тряхнул лулевым.

— Полегче, полегче! — взмолился отец. — Теперь, будьте добры, переверните эсрог и прочитайте: «Давший нам жизнь...» Только осторожно, ради бога, осторожно!

Вдруг Мойше-Янкл подскочил, вскрикнув не своим

голосом: «Ой!..» На его крик в шалаш вбежала Басе-Бейля.

— Что такое, Мойше-Янкл? Господь с тобой!

— Грубиян! Невежда! — раскричался Мойше-Янкл, готовый растерзать столяра. — Как это человек может быть таким грубым созданием, таким невеждой? Что это вам, топор, долото, сверло? Эсрог — это вам не топор, не долото, не сверло! Вы же меня зарезали! Вы мне испортили эсрог! Вот лежит головка, вот смотрите, грубиян вы этакий! Невежда вы!..

Мы все помертвели. Столяр Залмен застыл, как покойник, не понимая, откуда пришло к нему несчастье. Каким это образом отскочила головка цитруса? Он ведь так деликатно держал его, еле пальцами коснулся... Вот беда!.. Вот горе!.. Побледнел как мертвец и Мойше-Янкл. Даже в синагоге не успел побывать, ни одной молитвы не прочитал, а цитрус уже ни на что не годится. И зачем только он доверил такой дорогой, благородный плод таким грубым рукам? Ничего бы не случилось, если бы Залмен помолился в синагоге над общественным цитрусом! «Грубиян вы этакий! Невежда вы!» Басе-Бейля тоже помертвела. «Если человеку не везет, — говорила она со слезами на глазах и ломая руки, — то ему лучше живьем сойти в могилу!..» Лейбл помертвел не только от страха: огорчение отца, слезы матери, позор Залмена поразили его. Лейбл и сам не знал, плясать ли ему от радости, что бог сотворил чудо и вызволил его из беды, или же плакать над папиным горем, над мамиными слезами и над позором столяра. А может быть, ему броситься к столяру Залмену и расцеловать каждую морщинку на его лице, расцеловать его грубые руки с пальцами в клею, с красными ногтями за то, что он стал его ангелом-избавителем, спас от неминуемой беды?.. Лейбл не мог отвести глаз от отцовского лица, от покрасневших век матери, от рук столяра и от цитруса, который валялся на столе, желтый, как воск, мертвый, без головы, настоящий покойник!..

— Мертвый плод! — надтреснутым голосом произнес отец.

— Мертвый плод! — со слезами на глазах повторила за ним мать.

— Мертвый плод! — вслед за ними повторил столяр Залмен. Он смотрел на свои руки и, видно, думал: «Ну и ручищи, чтоб они отсохли!..»

ЗЕЛЕНЬ К ПРАЗДНИКУ

1

Накануне швуэс я выпросил у мамы, царство ей небесное, разрешение одному сходить за город, нарвать и принести зелень к празднику.

И мама отпустила меня одного за город — нарвать и принести домой зелень к празднику. Да будет ей за это земля пухом.

Настоящим можно назвать только такое путешествие, которое человек совершает один, без товарищей и без всяких помех. Я один, сам по себе, вольная птица в большом просторном мире. Надо мною вся огромная голубая ермолка, именуемая небом; мне одному светит прекрасная царица дня, именуемая солнцем; ради меня одного собрались здесь, на широком поле, все эти певцы, свистуны, прыгуны; для меня одного распустилась ароматная роза, раскрылся долговязый, рыжий подсолнух, все поле расцвечено и усыпано чудесными творениями природы. Никто не стесняет меня, не мешает мне, никто, кроме бога, меня не видит, и я могу делать что хочу: пожелаю — пою красивую утреннюю песнь; захочу — буду кричать не своим голосом, надрыватьсья; вздумается мне — сложу руки трубой и сыграю «трубача»; а то могу повалиться, как есть, на зеленую травку и кататься, как жеребенок, с боку на бок... Кто же может указать? Я никого не слушаю! Я свободен! Свободен!

День был такой теплый, солнце так прекрасно, небо так чисто, поле так зелено, а на душе так хорошо, что я позабыл, где нахожусь и зачем пришел, и представил

себе, что я здесь властелин, принц; что все это поле, насколько глаз хватает, со всем, что на нем, и даже кусок голубого неба над ним, — все это принадлежит мне, я здесь единственный хозяин, один я имею право всем распоряжаться, и больше никто. И как властелину, которому все принадлежит и подчиняется, мне хочется проявить свою власть, свою силу и мощь — делать все, что могу и хочу...

Во-первых, мне не нравится вот этот долговязый в рыжей шапке (подсолнух), который вдруг обретает в моих глазах облик врага, некоего Голиафа*. А все остальные растения с подпорками и без подпорок (бобы и фасоль) — это явные враги, это филистимляне, которые поселились здесь, на моей земле, — кто их звал сюда? А те, низенькие, толстые, в зеленых малахаях, что густо сидят у самой земли (капуста), — что здесь делают? Эти, чего доброго, напьются — и натворят тут бед... Пускай убираются к чертям — не нужны они мне здесь! И пробуждаются во мне злые мысли, дикие инстинкты, меня охватывает какое-то странное чувство мести, и я начинаю мстить врагам, — да как еще мстить!

Были у меня с собой прихваченные для работы инструменты: ножик с двумя лезвиями и меч, хоть и деревянный, но острый.

Меч этот остался у меня с полупраздничного дня «лаг-боймер». И хотя с этим мечом я и мои товарищи ходили за город на войну, я могу вам побожиться (можете поверить мне без божбы), что ни одна капля крови пролита не была. Это было оружие такого рода, которое военные люди носят в мирное время. Никаких, мол, признаков войны хоть и нет, все же, на всякий случай, пусть будут наготове сабли, ружья, пушки и орудия, кони, солдаты, — дай бог, чтобы не потребовалось, как говаривала моя тетка Этл, когда варила малиновое варенье...

2

Всему свету известно, что во время войны стараются попасть в старшего, в офицера. Если можно попасть в генерала, — еще лучше: тогда солдаты поневоле валяются, как солома. Так что вас не будет удивлять, что я первым делом напал на «Голиафа», треснул его мечом по рыжей башке, а потом несколько раз сзади, — и злодей рухнул

во весь свой рост к моим ногам. Затем я уложил еще нескольких здоровенных злодеев, вырвал палки из их рук и забросил ко всем чертям. А толстых коротышек, что в зеленых малахаях, я взял в работу на особый лад: кого мог, обезглавил, остальных растоптал ногами, изничтожил!

Во время войны, когда кровь разгорячится и входишь в раж, — рубишь почем зря! Проливая кровь, забываешься и не знаешь, на каком ты свете. Тогда не смотришь ни на старшего, ни на слабую женщину, не жалеешь малых детей, и кровь, кровь льется, как вода... Я, когда напал на врага, вначале не чувствовал в себе такой злобы, как после нескольких крепких ударов, нанесенных противнику. Но чем дальше, тем больше я распалялся, сам в себе разжигал охоту к бою, вошел во вкус, и такой охватил меня экстаз, такое озлобление и жестокость, что я стал крошить и уничтожать все, что попадалось на глаза, и больше всех страдала от меня «мелочь» — молоденькие, круглые арбузики, пузатенькие кабачки, крошечные огурчики, только что показавшиеся на плетях, с желтыми пупырышками, — все они еще больше раздражали меня своей покорностью и хладнокровием. И я им так надавал, что они попомнят меня: я срубал головы, распарывал животики, рвал пополам, крошил, разбивал, колотил, бил насмерть... Ума не приложу, откуда во мне взялось столько злости! Ни в чем не повинные картошечки, сидевшие глубоко в земле, я выкапывал и доказывал им, что от меня не спрячешься!.. Молодой чеснок и зеленые луковки я вырывал с корнями, редиски летели у меня, как галушки, и да накажет меня бог, если я полакомился хотя бы кусочком редьки, потому что я хорошо помнил слова из «Хагады» *: «А к добыче рук своих не допустили», — евреи не грабили... Поминутно возникал передо мной соблазн и внушал мне попробовать луковку, чесночок, но тут же я вспоминал и слова и напев, с которым их читают... И я не переставал бить, колотить, рубить, крошить, уничтожать, убивать, резать на куски молодых и старых, больших и малых, богатых и убогих без всякой жалости...

Наоборот, мне представлялось, что я слышу их крики, плач и мольбу, но меня это ничуть не трогало! Поразительно! Я, который видеть не мог, как режут курицу, как дерут кошку, как обижают собаку, как бьют лошадь, — мог оказаться таким тираном, таким жестоким?!

Месть! Я с вами рассчитаюсь! За все, за все вы ответите мне! Ой! Что это?! Гвалт! Спасите! Кто держит меня за ухо?..

Два основательных тумака сзади и парочка пламенных оплеух спереди в одно мгновение отрезвили меня, и я увидел перед собою знакомую личность, — готов поклясться, что это был баштанщик Охрим.

3

Баштанщик Охрим издавна арендовал баштан, огород или бахчу у нас за городом. То есть он арендовал десятину земли и на ней разводил огород, сажал арбузы и дыни, огурцы и картофель, лук и чеснок, редиску и прочую зелень и не плохо зарабатывал на этом. Откуда я знал Охрима? Он с нами имел дела, то есть он одалживал у мамы деньги каждый год перед пасхой, а к осенним праздникам начинал понемногу выплачивать свой долг. Деньги записывались на левой стороне переплета маминог толстого молитвенника (там велась вся бухгалтерия): в сторонке для Охрима отводилось место, особый счет, и записывалось крупными буквами: «Счет мужика Охрима». А дальше шел самый счет: «От Охрима — рубль. От Охрима — еще рубль. От Охрима — два рубля. Ст Охрима — полтинник. От Охрима — мешок картошки». И так далее. И хотя мама была не богачиха, вдова с детьми, и жила на «проценты», она у Охрима никогда не брала процентов: он платил овощами — иногда побольше, иногда поменьше. И никогда мы с Охримом не ссорились.

Если выдастся урожай, он сам насыпал нам полный погреб картошки и огурцов на всю зиму. А если, бывало, не уродится, он просит маму: «Не выбачай, Аврумиха, бо не вродылось!» — то есть: «Не обижайся, Аврамиха, потому что не уродилось!» И мать прощала ему долг и наказывала, чтобы в будущем году он не был свиньей. Так-таки, бывало, и скажет:

— Гляди ж, Охриму-сердце, як бог даст на той год, шоб ты не був свинья!..

— Добре, Аврумиха, добре! — отвечал Охрим и сдерживал слово: первый зеленый лук, первый молодой чеснок он приносил нам. Первая молодая картошечка, первые зеленые огурчики всегда бывали у нас раньше, чем

у богачей. И я не раз слышал от наших соседей и сосе-
док, что вдове живется вовсе не так плохо, как она го-
ворит. «Смотрите, несут ей прямо в дом всякого добра...»
Я, разумеется, немедленно докладывал об этом матери,
а она их основательно проклинала:

— Соли бы им в глаза, камней на сердце! Кто за-
видует, пусть сам не имеет! Желая им на будущий год
моя достатки!

И конечно, я тут же передал соседкам все, что по-
желала им мама... Те за такие пожелания готовы были
маму растерзать и назвали ее так, что мне было стыдно
слушать... Меня это очень задело, и я тут же сообщил
об этом матери. Мать угостила меня двумя пощечинами
и велела мне больше не разносить такого рода «подар-
ки» от одного к другому... Пощечины заставили меня
поплакать, но слово «подарки» не выходило у меня из
головы: я не понимал, почему мама называет это «по-
дарками»?

Для меня бывало праздником, когда я издали завижу
Охрима в огромных сапожищах и в толстой, белой и теп-
лой шерстяной свитке, с которой он не расставался ни
зимой, ни летом. Я знал, что Охрим несет нам полный
мешок овощей, и я, бывало, бегу на кухню сообщить
маме, что Охрим пришел.

4

Вообще должен признаться, что между мною и Ох-
римом существовала некая тайная любовь, симпатия,
которую словами не выразишь. Мы почти никогда не
говорили друг с другом, во-первых, потому что я не по-
нимал его языка, а он — моего (то есть я-то его пони-
мал, а он меня — дудки!), а во-вторых, я стеснялся: Ох-
рим такой большой, — как мне разговаривать с ним?
И я прибегал к помощи матери. Она была моим тол-
мачом.

— Мама, спроси у него, почему он мне не приносит
вишни?

— А где ж он возьмет тебе вишни? На баштане
вишни не растут.

— Почему на баштане нету вишни?

— Потому что на баштане нет вишневых деревьев.

— А почему на баштане не растут вишневые де-
ревья?

— Почему, почему, почему... Дура ты стоеросовая! — отвечает мама и отпускает мне пощечину.

— Аврумиха, не бей дитыну! — говорит ей Охрим, заступаясь за меня.

Вот какой человек был Охрим, и сейчас я оказался у него в руках.

Надо понимать, что дело было так: Охрим, когда пришел и увидел такое разорение у себя на баштане, не сразу сообразил, что происходит. Увидав меня, орудующего мечом во все стороны, Охрим мог подумать обо мне бог знает что: нечистая сила, оборотень, наваждение... Наверное, он несколько раз перекрестился. Подойдя поближе и увидав, что работает так усердно еврейский мальчик, да еще с деревянным мечом в руках, он ухватил меня за ухо, да так ловко, что меня к земле прижало, и я стал кричать не своим голосом:

— Ай! Ай! Ай! Кто это меня за ухо тянет?

И лишь потом, после добрых тумачков и пощечин, которыми меня угостил Охрим, мы повстречались с ним глазами, узнали друг друга и оба были ошарашены и лишились языка.

— Аврумихина дитына?! — вскрикнул Охрим и перекрестился.

Он стал осматривать все, что я здесь натворил, каждую грядку, каждый клочок земли, и так у него защемило сердце, что на глаза навернулись слезы. Он стал против меня, сложил руки на животе и тихо спросил:

— За що?

То есть за что мне это?.. И только теперь я понял, что я натворил и кому причинил такие убытки. Я и сам задавал себе тот же вопрос: «За что? За что?..»

— Ходим! — сказал Охрим и взял меня за руку.

Я от страха пригнулся к земле, подумал, что вот-вот Охрим меня изуродует. Но Охрим меня не тронул. Он только держал меня за руку, но так крепко, что у меня глаза на лоб вылезали и вел меня домой, к маме. Он рассказал ей все и передал меня в ее руки...

Рассказать вам, что я получил от мамы? Описать вам ее испуг, ее гнев и как она ломала руки, когда Охрим рисовал ей всеми под бностями разгром,

который я учинил на баштане? Охрим не поленился, взял палку и показал маме, как я размахивал своим мечом во все стороны, как я рубил и крошил, колот и топтал ногами, выкапывал из земли картошку, ломал плети и уничтожал молоденькие огурчики... И за что? За что?

— За що, Аврумиха, за що?

Больше Охрим говорить не мог: его, видимо, душили слезы.

Должен вам, ребята, сказать всю правду: я предпочел бы быть избитым руками Охрима тому, что я получил от мамы до швуэс и от ребе после праздника... А позор, который я потом терпел круглый год от моих товарищей по хедеру! Они присвоили мне замечательное прозвище: «Баштанщик», «Йосл Баштанщик»! Прозвище это оставалось за мной чуть ли не до самой моей свадьбы...

Вот как я ходил рвать зелень к празднику.

ЖАЛОСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ

Мысли глупого мальчика

1

— Был бы ты хорошим мальчиком, помог бы нам натереть хрен, пока мы управимся с рыбой к святому празднику.

Так говорит мне мама накануне швуэс и вместе с кухаркой чистит рыбу к молочной трапезе. Рыба еще живая, трепыхается... Когда ее положили в миску, в большую глиняную, обливную миску с водой, она еще билась.

Сильнее всех бился бедный маленький карасик с пухлым животиком, с крошечным ртом и с красными глазками. Этому карасику, видимо, очень хотелось обратно в речку, он кидался, выпрыгивал из миски, раскрывал ротик, хлопал хвостом и брызгал водой прямо мне в лицо: «Мальчик, спаси меня! Спаси меня!..»

Вытираю лицо и принимаюсь за работу — натирать хрен на праздник. И думаю: «Бедный ты мой карасик! Ничего я для тебя сделать не могу... Сейчас тебя возьмут в оборот: очистят, вспорют животик, выпотрошат, потом разрежут на кусочки, положат в горшок, посолят и поперчат, поставят на огонь и будут варить, и жарить, и парить, и шкварить...»

— Жаль! — говорю я маме. — Жаль их!

— Кого тебе жаль?

— Рыбок.

— Кто тебе сказал?

— Ребе.

— Ребе?

Она переглядывается с кухаркой, которая помогает ей чистить рыбу, и обе раздражаются смехом.

— Глупый ты, а ребе твой еще глупее тебя... Ха-ха!
Натирай хрен, натирай!

То, что я глупый, мне известно. Это говорит мне мама каждый раз, и папа тоже, и братья тоже, и сестры... Но что мой ребе еще глупее меня — это для меня новость.

2

Есть у меня товарищ Пинеле, сын резника. Однажды я пришел к нему и увидел, что какая-то девочка принесла большого голландского петуха со связанными веревочкой ногами. Отец моего товарища, резник, спал, и девочка сидела у дверей и ждала. Петух, боевой молодец, вырывался из рук, дрыгал крепкими лапами, бил девочку в живот, клевал ее в руку и издавал сердитое «ко-ко-ко» — протестовал изо всех сил. Но и девочка была не промах. Она зажала голову петуха под мышкой, те и дело ударяла его локтем и приговаривала:

— Сиди, как проклятый!

И он ее слушал и сидел, как проклятый.

Потом резник проснулся, вымыл руки и достал свой резак. Кивком велел подать петуха. Я увидел, что молодец ожил: ему, видно, показалось, что развязывают его спутанные ноги и отпускают на волю, к курам, к просу, к корытцу с водой. Оказалось, однако, что резник зажал его между колен, задрал ему голову, выщипал несколько перышек у него на шее, произнес молитву и чикнул резак по горлу. Выдавил в золу несколько капель крови и отшвырнул от себя. Я думал, что петух разлетится в куски.

— Пиня, твой отец разбойник! — сказал я своему товарищу.

— Почему так?

— Нет в нем жалости к живому существу.

— А я и не знал, что ты такой умник! — ответил мой товарищ и поднес мне кукиш к самому носу.

3

Наша кухарка слепа на один глаз. Ее прсзвали «Фрума-кривоглазая». Это человек без сердца. Однажды она выдрала кошку крапивой: ей показалось, что

кошка утащила куриную печенку. Однако, когда она еще раз пересчитала зарезанных кур и печенки, то оказалось, что она ошиблась. Она думала, что зарезали семь кур, и, значит, по ее расчетам, должно было быть семь печенок, а кур было всего шесть. А если шесть кур, то и печенок должно быть не больше шести... Чудеса, да и только! Напрасно заподозрила кошку.

Вы думаете, что это очень огорчило Фруму? Что она пошла извиняться перед кошкой? Какое там, — забыла! И она забыла, и кошка забыла. Часа два спустя кошка очень чинно сидела на шестке и облизывалась как ни в чем не бывало. Недаром говорят: кошачья память.

Но я не забыл. Нет. Я не забыл. Я сказал нашей кухарке:

— Напрасно драла кошку, грех на душу взяла! Надо жалеть все живое! Бог тебя накажет!

— Не уйдешь? Сейчас дам кочергой по голове! — Так говорит Фрума-кривоглазая и добавляет: — Бог ты мой! Откуда берутся такие глупые дети на свете?..

4

Это было из-за собаки, которую ошпарили кипятком. И опять-таки она, все та же Фрума-кривоглазая. Ах, как было больно собаке! Сначала она визжала, кричала, отчаянно лаяла, места себе не находила. Все местечко сбегалось, смотрело и смеялось. Все остальные собаки местечка откликались каждая из своей конуры и каждая на свой лад, как будто спрашивали их мнения... Потом, когда ошпаренная вдосталь навизжалась, она начала выть, скулить, облизывать пострадавшую шкуру и тихонько плакать. У меня сжалось сердце. Я подошел к ней, хотел погладить.

— На, Серко!

Собака увидела, что я поднял руку, вскочила, будто ее еще раз ошпарили, поджала хвост и пустилась бежать.

— Стой, Серко! — попытался я успокоить ее ласковыми речами. — Куда бежишь, глупенькая? Разве я тебя трону?

Но собака остается собакой. Безъязыкое существо. Она не знает о «жалости ко всему живому».

Отец увидал, что я вожусь с собакой, и задал мне как следует.

— В хедер пошел, живодер этакий!

Это я, оказывается, живодер...

5

А это случилось из-за двух птичек, двух обыкновенных маленьких птичек, которых двое мальчишек — один постарше, другой поменьше — убили. Оба птенца, когда упали наземь, были еще живы. Они сидели, растопырив перышки, и дрожали всем тельцем.

— Двигайся, ты, мопс! — крикнул старший младшему.

Оба взяли подбитых птичек в руки и стали ударять их головками о дерево, пока они не кончились.

— Что это вы делаете?! — не выдержал я и рискнул подбежать к мальчишкам.

— Хиба що? А что такое? — ответили они совершенно спокойно. — Это же воробьи!

— А если воробьи, так что? А воробья не жалко?

Мальчишки как-то странно переглянулись и, словно заранее сговорившись, взяли меня в работу...

Когда я вернулся домой, мой кафтан выдал меня с головой. И отец наказал меня по заслугам.

— Дурень отпетый! — кричит на меня отец.

Ну ладно, «отпетого дурня» я ему прощаю, но за что мне оплеухи?!

6

За что мне оплеухи? Разве сам ребе не говорит, что все создания дóроги всевышнему? Даже муху на стене и ту трогать нельзя, говорит он, потому что надо жалеть все живое. Даже паука, хищника, тоже убивать нельзя. И он объясняет: «Если бы ему полагалась смерть, его бы сам бог убил...»

Спрашивается в таком случае: если так, почему же каждый день режут быков и телят, ягнят и кур?

И не только животных, зверей и птиц, — люди разве не убивают друг друга? Вот во время погрома разве не сбрасывали маленьких детей, крошек, с чердаков? Не убили разве девочку нашего соседа, Переле, — да как еще убили?!

Ах, как я любил этого ребенка! «Дядя Бебебе», — называла она меня. Меня зовут Велвеле... Она дергала меня за нос своими маленькими, тоненькими, такими сладкими пальчиками...

Из-за нее меня уже все называют «дядя Бебебе».

— Вот идет дядя Бебебе, он тебя возьмет на руки.

7

Переле была больным ребенком. То есть вообще-то ничего, но ходить она не могла. Ни ходить, ни стоять. Только сидеть могла. Вот и приходилось выносить ее на руках, сажать в песок, на солнышко. Она любила солнышко. Очень любила. И я носился с ней. Она обнимала меня за шею своими тонкими пальчиками, прижималась ко мне всем своим тельцем, клала ко мне на плечо свою головку: «Любу дядю Бебебе».

Наша соседка Крейна говорит, что она и по сей день забыть не может этого «дядю Бебебе». Только посмотрит на меня, вспоминает свою Переле.

Моя мама на нее сердится, почему она плачет. «Нельзя плакать, — говорит мама. — Нельзя грешить. Надо забыть... забыть...»

Так говорит мама и заговаривает о другом. А меня прогоняет: чтоб я не вертелся перед глазами, тогда и вспоминать не будут, о чем не следует...

Ха-ха! Как же это возможно не вспоминать? Как вспомню об этом ребенке, у меня слезы сами собой на глаза навертываются, сами собой.

— Смотрите пожалуйста! Он уже опять плачет, этот умник! — говорит Фрума-кривоглазая моей маме, а мама, быстро взглянув на меня, смеется.

— Что? Хрен в глаза полез? Горе твоей маме! Такой сердитый хрен! Забыла сказать ему, чтоб глаза закрыл. Ах ты, горе!.. На тебе мой фартук... Вытри глаза, глупый мальчик, и нос заодно вытри... Нос! Нос!..



ПЕСЕЛЕ, ДОЧЬ РЕБЕ

1

«Короткая Пятница» и «Великая Суббота»**

Так их прозвали.

Его — потому, что он был коротконогим, низеньким.
Ее — потому, что она была длинной и тощей...

Длинная, тощая, сухая, как засохшая ветка. Для того чтобы сказать ему кое-что по секрету («Ох, похоронить бы мне тебя вместе с твоими короткими ножками!»), ей приходилось нагибаться, приноравливаться к его росту, снисходить до него. А он не любил секретов и поэтому тоже нагибался, и она должна была нагибаться еще ниже, тогда он нагибался все ниже и ниже, тогда и она нагибалась все ниже и ниже, тогда ему приходилось нагибаться еще гораздо ниже, тогда и ей приходилось нагибаться еще гораздо ниже.

— Ох, похоронить бы мне тебя вместе с твоими короткими ножками!

Одним словом, она изводила его, а он сносил это молча. Мы же, его ученики, сорванцы и проказники, злорадовались.

Почему?

Потому что он изводил нас Талмудом, без конца наказывал, порол, порол, порол... Вы ведь, наверно, помните историю из «Поучения отцов»? * Однажды он увидел* плывущую по морю человеческую голову. Он остановился и сказал голове: «За то, что ты утопил ближнего своего, утопили тебя, а тех, кто утопил тебя, постигнет та же участь — их тоже утопят...»

Но возвратимся к Короткой Пятнице и Великой Субботе.

Он был, как вы уже, наверно, догадались, нашим учителем, и звали его реб Зорахл. А она была его женой, и мы звали ее Зорахлихой.

Он обучал нас с утра до ночи, трудился не покладая рук, надрывал свое здоровье за несколько карбованцев в сезон. А она пекла блины и оладьи для нас, гречаники, бабки и коржики на продажу. Много ли она зарабатывала на этом, не могу вам сказать, но в том, что мы, сорванцы и проказники, надували ее, я могу поручиться: каждый из нас брал в долг, каждый пользовался у нее кредитом до определенной суммы и каждому она верила на слово.

Надо было совсем не иметь сердца, чтобы обманывать Зорахлиху. Никто не знал этого лучше меня.

Я, деревенский мальчишка, жил у нее на харчах и нагляделся, как она трудится, бедняжка: поднимается на рассвете, когда еще сам бог спит, и сразу за квашню или за корыто, засучит рукава и усердно месит тесто длинными, худыми руками. Тесто вздыхает: «тех-тех», корыто кряхтит, и Зорахлиха кряхтит, то и дело выпрямляется, вытирает пот рукавом и произносит длинное-предлинное: «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!..»

Поверите ли, я знал, что означает это «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!..». Вот как это следовало понимать: мука взята в долг у бакалейщицы Гнеси до четверга, свой товар она, Зорахлиха, тоже раздаст в долг. И бог знает, вернет ли она свои деньги до четверга, а бакалейщица Гнеся молчать не будет,

бакалейщица Гнеся сама взяла муку в долг до четверга, а если сказано до четверга, значит, в самом деле до четверга, потому что язык человеческий — это ведь не голенище сапога, а четверг — вообще хороший день, день накануне кануна субботы, день, когда приходится обращаться к мужу за деньгами. Горе Великой Субботе, когда она нагибается к Короткой Пятнице, чтобы попросить денег на субботу! Горе Короткой Пятнице, когда Великая Суббота приходит требовать у него денег на субботу, — горе им обоим!

Вот что означало «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!».

Но, возможно, это нужно было толковать по-иному; может быть, за «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!» скрывались другие горести Зорахлихи. А горестей у нее было предостаточно. Во-первых, Зорахлиха не могла похвастать здоровьем, она все кашляла, потихоньку, чтобы никто не слышал; во-вторых, она огорчалась из-за Песеле, своей старшей дочери, девушки в летах, у которой были огненные волосы и лицо словно в отрубях и которую никто не хотел брать в жены. И до чего она досидится? А Убогая? Это уже и впрямь несчастье. Убогая — горбатый уродец, без рук, без ног, без языка, без души и тела. Горе ей, что родилась она на свет, горе ей, что живет она на свете!!

С Убогой мы еще когда-нибудь встретимся, а с Песеле познакомимся очень скоро. Но вернемся пока к Короткой Пятнице и к Великой Субботе.

От души жаль было бедную Зорахлиху, которой приходилось все делать самой: квасить тесто, месить его, сажать в печь, париться у огня, носить воду, таскать дрова, — и все сама, везде сама, помощи никакой. И от кого ей ждать помощи? Зорахл обучает ребят, Песеле склоняется над Талмудом вместе с мальчиками, она ведь ученая, у нее ведь мужская голова! Убогая сидит за печкой в уголке, поджав под себя ножки, и ждет, пока ей что-нибудь поднесут, сунут в ручку: «На, Убогонькая, подавись...»

Вот что еще означало «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!». А может быть, это следовало понимать и так: Песеле целиком на его стороне, на стороне отца, и оба они, Песеле и Зорахл, делали все ей наперекор.

— Папочка с доченькой! Закопать бы вас обоих в одну ямку!

Песеле любила отца, и отец любил Песеле. Это была странная, молчаливая любовь.

Никто из нас не слышал, чтобы они сказали когда-нибудь друг другу ласковое слово. Наоборот, реб Зорахл обращался к ней, как к прислуге:

— Послушай-ка, ты!

Но по глазам видно было, что учитель любит дочь, сильно любит, что без нее ему и жизнь не мила. Возможно, он любил ее так потому, что от жены видел только обиду. А может быть, и потому, что с Песеле ему повезло: у нее была мужская голова и она разбиралась в священных книгах. А может быть, и потому, что Песеле знала все его привычки, безошибочно угадывала, чего он хочет, вовремя подавала ему сромлку, плетку, табакерку или стакан воды.

— Папочка с доченькой! — говорила Зорахлиха. — Лучше бы позаботился о муже для нее, подыскал бы какого-нибудь жениха!..

Ребе отвечал жене вздохом, как бы говоря: «Легко сказать, подыскал бы жениха, поди-ка подыщи, если не подыскивается...»

Но всему свое время. Всякий товар лежит до тех пор, пока не найдется настоящий покупатель. Нет такой девушки на свете, которой бы не встретился суженый. Вы ведь знаете, еврейских монастырей нет.

Пробил час, и Песеле «с руками оторвали», как говорила Зорахлиха. Это и в самом деле была судьба. И, если хотите знать, здесь был роман, настоящий роман, не сомневайтесь, роман с влюбленностью, со страстью, со всеми тридцатью напастями, все как полагается.

Но это особая история.

2

Уехали

Высокий, сутулый, рябой, с добрыми серыми глазами, человек молодой, но седоволосый — вот вам портрет коробейника Файвла, или, как его звали в Касриловке, «Файвла-колбойника»¹.

¹ Колбойник — от древнееврейского «кол-бой» — все в нем.

Колбойником прозвали его не напрасно: в коробе у него было все на свете: пуговицы и пуговички, иголки и подушечки для иголок, гарус и шелк, ленты и тесьма, катушки и клубки, ермолки, платья, мыло всех сортов и еще много разнообразных товаров, всего не упомнишь и не перечислишь.

Для девушек и для женщин приезд Файвла-колбойника был праздником. А для нас, мальчишек, сорванцов и шалунов, двойным праздником: во-первых, Файвл-колбойник с коробом — сам по себе праздник, а во-вторых, когда приезжает Файвл-колбойник, можно несколько часов не учиться, погулять на свободе. Почему? Потому что учитель реб Зорахл любит послушать новости: ему интересно, что делается на свете. А кому и знать, что делается на свете, как не Файвлу-колбойнику, которому все пути открыты; нет такой мышиной норы, куда бы он не проник со своим товаром.

Новостей Файвл-колбойник привозил каждый раз целые кучи, горы новостей, да тут еще не столько сами новости, сколько его манера рассказывать. Знаете, что я вам скажу? Рассказывать надо уметь. А Файвл-колбойник умел рассказывать. В его рассказах была искра таланта, притягательная сила, а текли они без остановки, без конца. Вечно, кажется, я мог бы его слушать, никогда бы не надоело.

— Какие новости, вы спрашивали? Ох, нехорошие новости! — так начинал Файвл-колбойник свой рассказ, между делом распаковывая короб и раскладывая товар. — Неважные дела у наших евреев, у братьев наших!.. Еду я из Житомира, то есть не из Житомира, а из Чуднова, есть такое местечко неподалеку от Житомира, может, слышали? Так в этом Чуднове есть раввин, так этот чудновский раввин родом из наших мест, из Малороссии; Малороссия не Литва, в Малороссии нет таких бедняков, как в Литве: у нас если встречается бедняк, так он просто бедняк, а у вас в Литве бедняк, не в обиду вам будь сказано, это уж такой бедняк, что всем беднякам бедняк. Таких бедняков, как у вас в Литве, я нигде не встречал. А я уже поездил по белу свету, везде побывал — и в Литве и в Польше, — Польшу вдоль и поперек изъездил: и в Радоме был, и в Лодзи, и в Варшаве. Ох, Варшава! Да здравствует Варшава! Дорогой, золотой город эта Варшава! И дешево там — ну все прямо даром! Завтрак вы получаете за одиннадцать грошей, и

какой завтрак — со сдобой из крупчатки, тает во рту, как масло! Кажется, постоянно сидел бы в Варшаве, если бы не язык их, который трудно понять, чудно как-то они говорят, быстро-быстро и все на «а», да еще с припевом: «Ай-вай, чтоб я так жил!» И всех там зовут «Ичемайер», одно имя на всех, в честь праведника тамошнего Ици-Меера, так же как в Бердичеве всех зовут Лейви-Ицхок в честь бердичевского раввина реб Лейви-Ицхока, который был притчей во языцех, о нем еще до сих пор рассказывают много удивительных историй; рассказывают, например...

— Может, хватит уже историй? — перебивает его Зорахла на самом интересном месте. — Сколько стоит у вас четверть дюжины белых пуговиц с обметанными дырочками?

Файвл-колбойник нисколько не теряется от того, что его перебивают. Он показывает Зорахлихе все сорта пуговиц: белые и не белые, с обметанными и необметанными дырочками, и говорит, говорит, слова сыплются из него, как из мешка, льются, как из бочки, тянутся без остановки и без конца. Он подобен фокуснику, который вытаскивает изо рта разноцветные ленты: красные, зеленые, желтые, синие, и неизвестно, когда кончается желтая и когда начинается синяя, — тянутся и тянутся ленты, мелькают перед глазами ленты, гора лент, без конца ленты, ленты и ленты...

И был день, и случилась история: Файвл-колбойник отозвал в сторону ребе, чтобы сказать ему что-то по секрету, и секретничал с ним часа два: Файвл обливался потом, то и дело вытирал лоб большим красным платком, а учитель реб Зорахл был необычайно взволнован, задумчив и рассеян, с трудом заставлял себя слушать, что ему говорят. А когда пришла с рынка жена, ребе, в свою очередь, отозвал ее в сторону, и тут же слышался возглас: «Не может быть?!» И щеки и глаза Зорахлихи вдруг вспыхнули странным огнем, озарились светом, которого мы уже давно на ее лице не видели.

— Сегодня вы свободны, сегодня заниматься не будем! — сообщил ребе и отпустил нас всех по домам, только я один остался, так как жил у ребе на харчах, и весь хедер мне завидовал, что я буду при этом.

При чем при этом, никто не знал, но все понимали: здесь готовится какое-то торжество, что-то такое, что стоит при этом быть. И я при этом был...

Началось с того, что жена ребе воскликнула:

— Ой, болячка мне, а коврижки-то нет!

На что ребе ответил:

— Так ведь и водки тоже нет.

Тогда Файвл-колбойник сказал:

— Это я беру на себя...

Короче говоря и коврижка появилась, и водка, и закуска, и сразу же после вечерней молитвы собрался миньен* из нашей синагоги: был там и кантор реб Мойше-Шмуел, и писец реб Генех, и шамес реб Ойзер, и составили тноим*. «Сей жених, ученый муж, реб... реб... — так читал нараспев писец реб Генех. — Ученый муж, реб... реб...»

Здесь писец реб Генех остановился и взглянул на жениха.

— Реб Шраге-Файвиш-Гецл, сын Нойах-Мордхе-Лейба, и его нареченная, девица, госпожа... госпожа...

Здесь писец остановился и взглянул на невесту.

— Госпожа Песе-Лее-Мейта, дочь раввина реб Зо-рахл-Нафтоли-Цви-Гирша...

Госпожа Песе-Лее-Мейта, дочь раввина реб Зо-рахл-Нафтоли-Цви-Гирша... Свадьба состоится в добрый час, с божьей помощью... с божьей помощью...

Тут произошла немая сцена: писец посмотрел на учителя, учитель посмотрел на жену, жена учителя — на жениха, жених — на невесту, невеста — на писца, и так далее... Если бы эти взгляды переложить на слова, они на любом языке прозвучали бы примерно так:

Писец (*учителю*). Ну? Что же вы молчите? Ведь вы здесь шадхен?

Учитель (*жене*). Откуда я знаю? Скажи-ка лучше ты...

Жена учителя (*жениху*). Жених, что ты молчишь? Все равно все расходы на твою голову...

Жених (*невесте*). Я не прочь хоть завтра; что скажешь, Песеле?

Невеста (*писцу*). Спросите отца, хотя я наперед знаю, что отец велит отложить...

Короче говоря, решили, что, поскольку теперь канун начала месяца, пусть свадьба состоится в середине месяца, то есть через несколько недель, ведь, как бы то ни было, кое-что надо сшить, кое-что придется приготовить... Когда разбили тарелку и все принялись поздравлять: «В добрый час! В добрый час!» — я заметил, что

учитель реб Зорахл помертвел; так же, как тарелка, сердце у него разбилось на куски... Я сам слышал, как он сказал кантору реб Мойше-Шмуелу после первой же рюмки водки, от одного взгляда на которую он уже опьянел:

— Приходит чужой человек и забирает у тебя самый сладкий кусок. Кто такой, откуда, почему? Ох, ох, ох!

— Эх, — ответил ему кантор реб Мойше-Шмуел, который отпил из рюмки больше половины и у которого язык уже начал заплетаться. — Эх, ничего, бе! Бог даст, будет вам утеха на расстоянии... Стоит богу захотеть... Утеха и радость всем, всем евреям!..

— Ох, пора уже, пора! Давно пора! — поддержал его писец, который весьма дипломатически переводил взгляд с рюмки на бутылку. Похоже, он бы не возражал, если бы ему снова налили...

— Аминь! — отозвался шамес реб Ойзер. Этот ничего и знать не хотел. Он опрокинул рюмку без всяких церемоний.

А жених и невеста сидели во главе стола, прижавшись друг к дружке так плотно, что я никак не мог затесаться между ними; но мне было хорошо видно — я не близорук, — что *ее* рука лежала в *его* руке; лицо у нее пылало, глаза сверкали. Она вдруг похорошела, стала красивой, прекрасной, как заря. Куда девались ее рыжие волосы? Куда девались отруби на ее лице? Она, говорю я вам, была полна прелести.

И не только в этот вечер — во все дни, когда готовились к свадьбе, Песеле сияла, как солнце в июле, с часу на час становилась все краше и краше. Но в самый день свадьбы было уже не то, потому что Песеле плакала, горько-горько плакала, истекала слезами. Может быть, сердце ей подсказывало, что не ждет ее большое счастье с ее избранником, с ее суженым? А может быть, она жалела отца, который остается один-одинешенек, словно камень у дороги?

Но если Песеле было трудно расстаться с отцом, то отцу было в тысячу раз труднее расстаться с дочерью. Учитель реб Зорахл не плакал. Женщина он разве, что вдруг станет плакать? Учитель реб Зорахл молча томился, таял, как свеча.

Когда дело дошло до прощания, разыгралась такая сцена: узлы, *ее* постель и одежда и *его* коробка с товаром, связанные вместе, уже лежали на повозке. Файвл-

колбойник вышел из дома и ждал, когда Песеле взберется на повозку; жена учителя стояла, вытянувшись во весь рост, подперев подбородок двумя пальцами, и смотрела на учителя странным взглядом, который как будто говорил: «Похоронить бы мне тебя с твоими короткими ножками, ты когда-нибудь попрашаешься с ней или нет?»

Учитель реб Зорахл понял, что означает этот взгляд, и обратился к зятю надтреснутым голосом:

- Гм... ну... гм... начнем, значит, прощаться?
- Будьте здоровы, тесть! Будьте здоровы, теща!
- Счастливого пути! Счастливого пути!..
- Прощай, мама... Прощай, папа!..

И тут Песеле, одетая по-дорожному, закутанная в два платка, вдруг бросилась отцу на шею со слезами, с рыданиями, с криком:

- Па-па!.. Милый, дорогой папа!..

Сколько людей было на улице, все плакали: Песеле и учитель, жена учителя, и Файвл-колбойник, и я, и извозчик реб Лейзер, который сидел на облучке с кнутом наготове, и все его пассажиры, те, что сидели под поднятым верхом повозки, и те, что сидели напротив, и соседка ребе — Двоя, жена служки, которая тяжело болела, и старшая дочь Двоси Златка, растрепанная рыжая девка с черными зубами, которая стояла с маленьким ребенком на руках, и баба Акулина, которая понимает каждое слово по-еврейски, и сапожник Хлавно, который пришел получить за починку сапог, а получать было нечего, и просто человек, совсем чужой, который проходил мимо, увидел — люди уезжают, услышал — люди плачут, и остановился, тихо вздыхая, и тоже стал утирать глаза.

Лейзер щелкнул кнутом: пошли! Лошади рванули, и повозка с шумом покатила.

Долго-долго стояли мы на улице и смотрели туда, где она скрылась, оставив позади себя густую пыль, запах лошадей и смазанных колес.

— Уехали! — сказал чужой, точно сообщил новость, которую, кроме него, никто не знал.

— Уехали! — ответил ему учитель реб Зорахл, точно тот ждал ответа.

— Уехали! — сказали мы все вместе, точно сообщили друг другу бог знает какую радостную весть...

УБОГАЯ

1

Однажды летом, в пятницу это было, мы, несколько мальчиков, возвращались из хедера домой. Шли мы быстро, почти бежали, так как, во-первых, нас отпустили на субботу, а во-вторых, нам хотелось есть — дома нас ждало горячее жаркое со свежей ароматной халой.

Вдруг один из моих товарищей вскрикнул: «Смотрите, птичка!» Мы остановились. На земле, сжавшись в комок и запрокинув голову, лежал крохотный желторотый птенчик. Распушив перышки, трепеща крылышками, бедный птенчик дрожал всем телом. То и дело раскрывал он свой желтый клювик, напоминая маленького голодного ребенка, и попискивал хриплым голосом: «пи-пи-пи». Нам стало жалко птенчика, и мы принялись размышлять: что с ним делать? Один считал, что не надо его трогать, пусть дожидается своей мамы. Другой говорил, что, если мы подбросим птенчика вверх, он полетит. А третий заключил, что птенчика надо отнести в дом: так велит «жалость ко всему живому». На этом мы и сошлись.

Мы понесли птенчика в дом и, забыв о собственном голоде, стали вливать ему в клювик воду, начали выхаживать его. Но птенчик трепетал, моргал глазками и бился в наших руках до тех пор, пока не запрокинул голову, закатил глазки и скончался.

«Для чего жила эта птичка? Зачем она появилась на свет? Кому на земле она была нужна?» — такие вопросы не давали мне покоя, вопросы, на которые я не находил ответа.

Полчаса спустя мы с большим почетом проводили птичку в последний путь, вырыли на огороде глубокую ямку, завернули птичку в саван (белый носовой платок), похоронили ее и поставили надгробие — дощечку с надписью: «Здесь лежит птенчик Ципойр-Бен-Болок».

И перечислили имена всех, кто участвовал в похоронах: Берл, Иосл, Довид, Мотл, Калмен, Гецл...

Пролетело веселое теплое лето. Наступила сырая осень с холодными плаксивыми днями. Дождь смыл надгробие, сровнял могильный холмик, и маленькая птичка была забыта, как забывается все, что покрыто землей. Но подчас, когда я вспоминаю птенчика Ципойр-Бен-Болока, мне на ум приходит Убогая.

2

Убогой звали мы дочку нашего учителя реб Зорахла, калеку, маленькую горбунью. Сколько лет ей было, я не знал. Помню только ее старческое сморщенное личико, длинные худые ручки, жидкие волосы, черные блестящие мышинные глазки. Она сидела всегда на одном и том же месте, поджав под себя ноги, — бедняжка не умела ходить. Место ей было отведено в уголке за печкой, на голом полу. Там, не произнося ни звука, просиживала она целыми днями, сидела так тихо, что иногда в течение многих часов никто не вспоминал об ее существовании.

Предложат ей кусочек хлеба — она протянет длинную сухую ручку с тонкими скрюченными обезьяньими пальчиками и схватит хлеб, который тут же исчезнет у нее во рту. А рот у Убогой был такой большой, что в нем без труда могло поместиться целое яблоко.

— Убогая, хочешь медового пряника?

— Убогая, орешки будешь щелкать?

— Убогая, давай с нами в пуговицы играть.

Так мы, мальчишки из хедера, озорники, сорванцы, бездельники, дразнили Убогую. Убогая ничего не отвечала, но каждый раз протягивала к нам худую ручку с тонкими пальчиками и заглядывала нам в глаза, как голодный щенок, который надеется, что ему подбросят кость.

— Бессловесная тварь, — пояснял сын учителя Янкев-Эле, глупый толстощекий парень, самый старший среди нас. — Бессловесная тварь, не умеет разговаривать. Ей

бы только есть, только есть, вечно она голодная, бочка бездонная, да и только...

Редко-редко Убогая напоминала о себе какими-то странными звуками, похожими не то на смех, не то на плач, не то на кашель. Тогда жена учителя, Зорахлиха, кричала на нее:

— Когда ж ты, Убогая, онемеешь наконец?

Убогая понимала, что, когда ее называют Убогой, это не к добру, жди колотушек.

А колотушками ее награждали щедро, почти каждый день, и особенно не скупилась мать. Когда у Зорахлихи было скверно на душе, за все доставалось Убогой.

— Ох, Убогая, похоронить бы тебя поскорее! Горе мне, зачем только живет такое на земле?!

3

Любить Убогую никто не любил, но все-таки ее жалели. И больше всех жалел ее реб Зорахл.

— Жалость ко всему живому! — говорил, глядя на нее, реб Зорахл и вздыхал потихоньку. Украдкой, чтоб жена не заметила, он подсовывал Убогой то кусок хлеба, то картошку, то глоток воды. Когда он видел, что мы сосем конфеты или щелкаем орехи, он просил нас сделать богоугодное дело — подарить и Убогой несколько орешков. И мать поила-кормила Убогую, но без жалости, без души: сунет ей что-нибудь в ручку с таким видом, будто хочет сказать: «На, подавись!»

В первое время мы, мальчики из хедера, боялись Убогой, не могли видеть ее горба, не могли слышать ее ни на что не похожего смеха. Но со временем мы все больше и больше привыкали к Убогой, у нас даже завязалось с ней что-то вроде дружбы. Она знала каждого из нас по имени, и вечером, между предвечерней и вечерней молитвами, когда ребе был в синагоге, жена его — в городе, а мы играли во «Владыку небесного», «Экех-мекех» и другие игры, в которые и девочкам не возбранялось играть и в которых принимала участие даже дочь учителя Песл, мы звали и Убогую поиграть с нами хотя бы на расстоянии. И как бывала она счастлива в эти минуты! Она широко открывала огромный страшный рот и смеялась своим рыдающим смехом. Но стоило только появиться отцу или матери, как она тут же замолкала и

снова становилась серьезной, грустной, пришибленной, никакого веселья не было и в помине.

Говорила Убогая так странно, так ни с чем не соотносимо, что далеко не каждый мог ее понять. Вместо «хлеб» она произносила «теб», вместо «вода» — «тирлита», вместо «пуговицы» — «лубицы», яблоки и картошку она называла «больками», мальчики были у нее «мещуцелями». Каким образом мальчик стал «мещуцелей», этого я никак не мог понять.

— Мещуцеля, мещуцеля! На бете лубицу, тай мне болько, тулочек теба!

Это означало: «Мальчик, мальчик, на тебе пуговицу, дай мне яблочко, кусочек хлеба».

Пела Убогая голосом... летучей мыши. Когда никого не было дома, она давала себе волю, раскрывала широкий рот, вытягивала длинную шею и заводила что-то невообразимое, ни один человек на свете не мог бы понять, что означает это пение. Кончала Убогая всегда одинаково, как будто трубила в рог:

Турели-гу-гу,
Турели-гу-гу...

Мать, невзначай застав Убогую за пением, кричала: — Убогая, похоронить бы мне тебя поскорее, что ты распелась!

Услышав, что мать сердится, Убогая, словно черепашка, уходящая в свою броню, вбирала головку в плечи и замолкала.

4

В городе Убогая была притчей во языцех. Все ее знали, у всех она не сходила с языка. Если у кого-нибудь случалось несчастье — умирала молодая женщина от родов, или невеста перед венцом, или же мужчина, отец семейства, сразу на ум приходила Убогая.

— Такой вот калеке бог смерти не даст. Не беспокойтесь, всевышний знает, что делает!

Говорили это вовсе не потому, что кто-нибудь желал Убогой зла. Упаси бог! Говорили так просто, из жалости. Кроме того, под этим подразумевалось, что бог и впрямь великий бог, правит он миром разумно и справедливо, но случается иногда, да не накажет господь за такие речи, что и он поступает не совсем хорошо. Вот,

например, у того же реб Зорахла был мальчик Лейви-Ицхок, — назвали его так в честь бердичевского раввина. Ну и Лейви-Ицхок это был! Если бы он не умер, один бог знает, кем бы он вырос! В одиннадцать лет он уже потрясал весь город. Да что город? Мальчик прогремел на весь мир. И вдруг неожиданно он умирает, поболев три-четыре дня.

И как вы думаете, отчего? Доктор говорил, что от воспаления мозга. Реб Зорахл считал, что виной всему учение. Лейви-Ицхок слишком много учился. На что мать отвечала, что оба ничего не смыслят: дитя ушло по причине дурного глаза, просто, говорит она, ей завидовали. Разве люди могут допустить, чтобы бедному человеку хоть в чем-нибудь повезло? Даже на удачных детей бедняк не имеет права!

С тех пор Убогая стала в городе еще более знаменитой, а дома еще более несчастной. Мать видеть ее не могла, испытывала к ней отвращение, будто к пауку. И не один раз осыпала она мужа страшными проклятиями за то, что он заступает за Убогую, жалеет ее.

— Все-таки «жалость ко всему живому», — отвечал ей на это реб Зорахл, — все-таки живое существо!

— Живое существо? — возражала ему жена. — Урод, выродок, ниспосланный нам за чужие грехи!

5

— Знаете, — весело обратился к нам однажды сын учителя Янкев-Эле, глупый парень с толстыми щеками. Он так радовался, точно собирался сообщать нам бог весть какую приятную новость. — Знаете, Убогая при смерти. Приходила лекарка Бася, говорит, плохо дело, конец Убогой, конец! — При этом у Янкева-Эле был вид человека, только что провернувшего выгодное дельце.

У всех у нас оборвалось сердце от такой новости. Пока Убогая жила, мы о ней мало думали. Но теперь, когда мы услышали, что она умирает, нам стало казаться, будто мы обращались с ней не так, как следовало, и появилось у нас странное чувство, похожее на раскаяние, в чем раскаяние, я и сам не знаю, но все же это было раскаяние. Мы бросились в уголок за печку и увидели сидящую возле Убогой жену учителя. Глаза у нее были красные, заплаканные. Мы смутились и бросились назад.

— Идите, идите сюда, куда вы убегаете? — позвала нас жена учителя и тихо добавила: — Не бойтесь, Убогая еще не умерла, Убогая еще живет. Если бог захочет, он все может сделать... Господь велик, он все может, если он захочет, мертвые станут живыми... Учителя нет дома, учитель пошел купить пальсин. Пальсин тебе дадут, Убогая, пальсин!

Так говорила жена ребе, ломая руки и склоняясь над больной. Мы никогда не слышали, чтобы ее голос звучал так мягко.

Убогая лежала с закрытыми глазами, свернувшись клубочком, большой уродливый рот был открыт, она шевелила пересохшими губами и хрипловато, словно заболевшая птичка, попискивала: «И-и-и...»

Глядя на Убогую, я вспомнил желторотого птенчика, которого мы подобрали когда-то, у меня сжалось сердце, меня начали душить слезы, и я заметил, что мои товарищи как-то чудно моргают глазами, стыдятся смотреть друг на друга. Мы сели за книги, и, когда учитель пришел с апельсином, он застал нас пайньками и похвалил за то, что мы хорошие мальчики, так тихо сидим! Ребе присоединился к нам. Делая вид, что углубился в Талмуд, он потирал лоб и усердно пел вместе с нами: «И сказал Рав Папе...» Мы, однако, прекрасно видели, что голова его занята совсем не Талмудом, не «Рав Папе», что душой он там, в уголке за печкой. Он все время поглядывал туда, словно, да простится мне это сравнение, корова в беспокойстве за своего маленького теленка, то и дело он глубоко-глубоко вздыхал, тяжело стонал, и каждый вздох и каждый стон болью отзывались у меня в сердце.

6

— Уже! Уже! Уже! Можете идти домой! — прыгая навстречу нам на одной ноге, сообщил нам на следующее утро толстощекий Янкев-Эле.

— Домой? А что случилось?

— Как, что случилось? Папа, мама и мы все будем сидеть «шиве»*. Целую неделю не будет хедера, потому что Убогая умерла.

— Умерла?

— Умерла. Сегодня ночью. Я бегу в погребальное братство.

Мы застыли, пораженные.

С одной стороны, такое несчастье — Убогая, бедняжка, умерла. С другой стороны, такая радость — мы целую неделю свободны... Лето. Небо чистое, ясное, как зеркало. Ни облачка, ни ветерка. Солнце смеется, солнце припекает. Можно уходить на реку, весь день купаться, удить рыбу... От счастья мы прыгаем, блеем и мычим, как телята, корчим рожи: один гримасничает по-обезьяньи и мяукает по-кошачьи. «Гав-гав», — отвечает ему другой. Третий присоединяется к ним: ква, ква, ква! Четвертый кружится на одной ноге, напевая:

Раз, два, три,
Тирли-тирли-ри.
Окен-бокен-лей,
Ну-ка, веселей!..

А пятый отпускает самому себе три пощечины, просто так, за здорово живешь, и пускается бежать как безумный. А за ним бегут все остальные сорванцы. Только я один, я, который знал Убогую лучше всех, потому что жил некоторое время у учителя на харчах, — я стою, как прикованный, не могу тронуться с места.

«Умерла? Что это, собственно, значит — умерла? Для чего жила Убогая? Зачем умерла?»

И я отправляюсь в хедер, чтобы хоть издали посмотреть, как это умирают, как *бывает*, когда умирают. Подойдя к двери, я слышу надрывный плач, горькие рыдания и причитания, похожие на молитву для женщин:

— Горе мне, беда мне! Зачем родила я тебя, несчастье ты мое! Чем была, если подумать, жизнь твоя на земле? Что нужно было богу от твоей невинной души, зачем он спустил ее со своей святой высоты, спустил сюда для мучений, в искупление за чужие грехи! Гром порази меня! Лучше бы ты погибла в материнском чреве раньше, чем я породила тебя, на беду мою великую! Лучше бы мне не дожиться до твоих похорон, тяжкий удар придавил меня! Так вкуси же ты райское блаженство, так будь же ты заступницей в небесах за мать, за отца, за братьев и сестер своих, за всех наших родных и близких!..

Мною овладевает глубокая печаль. Хочу бежать, но не могу удержаться, чтобы хоть краем глаза не посмотреть, что делается там, в хедере. Я приоткрываю дверь и вижу: на полу лежит что-то, покрытое черным, и в головах горит свеча, жена учителя сидит рядом, поджав

ноги, раскачивается, и плачет, и рыдает, и причитает все тем же странным, необычным напевом. Против нее стоят три женщины, ближайшие соседки: Бася, Песя и Сося. Скрестив руки на груди, они смотрят на жену учителя, и на лицах у них такие бесподобные гримасы, что надо быть крепче железа, чтобы не лопнуть со смеху, глядя на них. Если бы только на полу не лежала Убогая... Три соседки пришли помогать Зорахлихе оплакивать Убогую; но горюют они о живых, оплакивают бедных отца и мать, что породили Убогую, которая родилась калекой и умерла калекой.

Дети учителя тоже сидят на полу и тихо плачут, все дети, кроме Янкева-Эле (Янкев-Эле поскакал на одной ноге в погребальное братство за носилками с такой радостью, точно его послали за музыкантами). А в стороне, в уголке, сидит на табуретке ребе, опустив голову, уронив руки на колени. Мне очень хочется знать, плачет ли он, — интересно, как плачет учитель? Я поскрипываю дверью, покашливаю, учитель поднимает голову, поднимает веки, и я вижу красные глаза. Могу дать голову на отсечение, что они заплаканные...

— Марш домой, бесстыдник этакий! — цыкает на меня ребе.

Я дрожу, как в лихорадке, и сломя голову убегаю куда глаза глядят.

7

Ночью, лежа в постели, я вижу перед собой Убогую, покрытую черным, рыдания и причитания жены учителя звучат у меня в ушах. Я читаю ночную молитву.

Гасят свет, и я снова вижу перед собой Убогую, рыдания и причитания жены учителя звучат у меня в ушах. Я зажмуриваю глаза крепко-крепко, чтобы не видеть; я затыкаю уши крепко-крепко, чтобы не слышать — ничего не помогает: я вижу Убогую, покрытую черным, и слышу плач и причитания ее матери.

Я стараюсь думать о чем-нибудь другом. Стараюсь вспомнить что-нибудь смешное. Стараюсь вспомнить трех соседок с перекошенными физиономиями, — не помогает, не смешно! Как сверлом, буравят мой мозг всякие мысли: умерла... Что такое жизнь и что такое смерть? Для чего жила Убогая? Почему она умерла? Почему?

Я натягиваю на голову одеяло, шепчу молитву и засыпаю.

Я засыпаю, и снится мне черный свадебный балдахин. Я стою с Убогой под балдахином, а мои товарищи бьют в ладоши и поют:

Раз, два, три,
Тирли-тирли-ри.
Океп-бокен-лей,
Ну-ка, веселей!

Янкев-Эле, глупый толстощекий парень, прыгает на одной ноге и кричит: «Мецуцеле, мецуцеле!»

А учитель с женой рыдают, обливаются слезами, Убогая смотрит мне в лицо жалобно, просительно и протягивает ко мне худые ручки с искривленными сухими пальчиками. У меня ноет, сжимается сердце, дрожь пробегает по телу.

— Чего ты хочешь? — спрашиваю я. — Убогая, чего ты хочешь? Может быть, пальсин?..

Я присматриваюсь и вижу, что это вовсе не Убогая. Это птенчик, желторотый Ципойр-Бен-Болок. Птенчик бьется, трепещет, шевелит крылышками, открывает желтый клювик, точно ребенок, который хочет есть, и поет на манер койгенов: *

Турели-гу-гу,
Турели-гу-гу...

.....
Я просыпаюсь. Стоит теплый, погожий, светлый летний день. Через раскрытое окно в комнату врываются пение птиц и треск кузнечиков. Мои сестры, Златка и Блюмка, хорошенькие девушки с румяными, как персики, щеками, одеты одна в белое, другая в зеленое ситцевые платья в голубой горошек, в их косы вплетены красные ленты. Сияют сестры, словно солнце, цветут, словно розы.

— Вставай же наконец, — говорят мне сестры, — помолись и ступай к своим товарищам. Они ждут тебя, уже два раза приходили. Вам ведь сегодня не надо идти в хедер, вы целую неделю свободны. Везет же вам!

Милые слова: «Сегодня не надо идти в хедер, целую неделю свободны» — веселят душу, согревают сердце. Меня подмывает поскорее выбежать к товарищам. Но

тут, как иголкой, укалывает меня воспоминание об Убогой.

— Нет Убогой, умерла Убогая!
Я бегу к своим товарищам.

8

На дворе лето. Небо чистое, ясное, как зеркало. Ни облачка, ни ветерка. Солнце улыбается, солнце смеется, солнце печет. Мы направляемся к реке купаться, удить рыбу. Я купаюсь, я бегаю, я ужу рыбу, но все время меня не оставляет одна мысль, все та же мысль:

— Нет Убогой, умерла Убогая!

Все мы раздетые, в чем мать родила, мы уже успели искупаться, выбежать из воды, вывалиться в песке и стать грязными, как поросята, а потом еще и еще раз искупаться, мы бултыхались в воде так долго, что стали синими, как селезенка, начали дрожать и стучать зубами — и вот мы уже лежим, вытянувшись на раскаленном песке под горячим, обжигающим солнцем, под синим куполом высокого неба. Только двое из нас — Хаим-большой и Хаим-маленький — еще в воде. Они искусно связали за рукава две рубашки и этой «сетью» ловят рыбу, то есть ловили бы рыбу, если бы она была; вся беда в том, что рыбы нет, то есть рыба есть, но в сеть к Хаиму-большому и к Хаиму-маленькому она не попадает. Ей не хочется.

— Глубже, Хаим, глубже! Ниже, Хаим, ниже! К берегу, к берегу! Осторожно, Хаим, рыбки!

Так командует Хаим-большой Хаиму-маленькому. Оба рыбака продвигаются по шею в воде, потихоньку вытаскивают сеть на берег, смотрят, ищут — нету в рубашках рыбок!

— Теперь мы пойдем, мы с Мотлом, мы живо поймем!

Так говорит Мотл-рыжий и вместе с Мотлом-черным прыгает в воду. Новые рыбаки тоже работают неплохо, движутся не спеша, шаг за шагом, сгибаются сильно-сильно, почти ползут по дну реки.

Речка извивается, сверкает, отражает синий купол высокого неба, небо трепещет в воде, колышется. На улице тихо-тихо, ни души не видно, ни звука не слышно. Водовоз Довид-Лейб наполнил свою бочку, напоил

лошадку, умыл красивое румяное лицо, обрамленное клочковатой бородой, вытерся засаленной полой и ука-тил в город. Две-три женщины, которые, стоя у реки, били вальками по мокрому белью, связали белье в узлы и ушли. Тишина, покой. Тиха вода, тихо небо, тихо все вокруг. Даже лягушки, изредка напоминавшие о себе своими «ква-ква» и «буль-буль», — и те уснули. Еще минута — и все замрет. Смежаются веки, хочется, ох как хочется, без конца лежать, прижавшись мокрым телом к горячему песку, и, полуприкрыв глаза, смотреть, думать, дремать. Вдруг раздается голос:

— Поймал, поймал!

В голосе этом столько радости, сколько было, наверно, в голосах спутников Колумба, когда они увидели Америку.

Мы бросаемся к берегу, к двум новым рыбакам, заглядываем в сеть и видим: рукав одной рубашки шевелится.

— Рыба, рыба, рыба! — поем мы, приплясывая,

Мы поем и приплясываем, и вдруг из «сети» прямо на нас, выпучив два глупых водянистых глаза, выскакивает огромная серая, противная, безобразная лягушка. И мы сломя голову бежим по раскаленному песку с визгом:

— Помогите, помогите!

Разумеется, испуг сменяется смехом. Нам становится еще веселее, еще радостнее, мы валяемся на песке, кувыркаемся в грязи, плещемся в реке. Хорошо, хорошо, радости ни конца, ни краю. Шутка ли — мы свободны! Целую неделю свободны! Только меня не оставляет мысль, все та же мысль: «Нет Убогой! Умерла Убогая!»

Умерла! Умерла! Умерла!

Ю Л А

1

Больше всех товарищей по хедеру, больше всех мальчиков в городе и больше всех людей на свете я любил моего товарища Беню, сына Меера Полкового. Я испытывал к нему странную привязанность, смешанную со страхом. Любил я его за то, что он был красивее, умнее и проворнее всех ребят, за то, что был предан мне, заступался за меня, давал оплеухи, драл за уши каждого мальчишку, который норовил меня задеть.

А боялся я его потому, что он был рослый и драчун. Как самый старший, самый большой и самый богатый из всех мальчиков в хедере, он мог бить, кого хотел и когда хотел. Отец его, Меер Полковой, хоть был и не более чем полковым портным, все же считался богачом и в городе пользовался почетом: имел хороший дом и место у восточной стены в синагоге (третье от священного ковчега), на пасху у него пекли лучшую мацу; на субботу он приглашал к себе в гости бедняка; милостыню подавал щедро; когда просили займы — не отказывал; детей обучал у лучших меламедов, — короче говоря, Меер Полковой старался походить на людей и стать хозяином не хуже других, — словом, втереться в общество; но тщетно — не так легко проникнуть в общество у нас в Касриловке, не так легко у нас в Касриловке забывают, из какого человек рода и где его истинное место. Портной может выбиваться в люди двадцать лет подряд, отличиться наилучшим образом, и все-таки у нас в Касриловке он останется только портным. Я думаю,

что нет на свете такого мыла, которое у нас в Касриловке могло бы отмыть подобное пятно. Увы! Как вы думаете, сколько дал бы, к примеру, Меер Полковой, чтобы избавиться от прозвища «Полковой»? Несчастье его состояло в том, что фамилию он носил еще в тысячу раз худшую, чем это прозвище. В паспорте, представьте себе, он был записан: *«Каневский мещанин Меер Мовшович Телка»*.

Удивительное дело! Неужели прапрадед Меера, тоже, наверно, портной, царство ему небесное, выбирая фамилию, не мог найти более приличную!.. Ну, записал бы себя: «Наперсток», «Подкладка», «Иглоузелов», «Заплаткин», «Длинноспинкин» — тоже не ахти какие благозвучные фамилии, однако они все-таки имеют отношение к портняжному делу. Но «Телка»? И на что ему сдалась эта «Телка»? Вы скажете: а как же «Бык»? Разве нет людей, которые носят фамилию «Бык»? Можете говорить что угодно: бык и телка действительно одного происхождения, но это совсем не то же самое. Бык — это все-таки не телка...

Но возвратимся к моему товарищу Бене.

2

Беня был славный малый: белолицый, толстенький, веснушчатый, с рыжими колючими волосами, с пухлыми щечками, редкими зубами и красными рыбьими глазами навывкате. Эти выпученные глазки всегда плутовски усмехались. К тому же у Бени был вздернутый нос, и вся физиономия имела довольно нахальное выражение. Но мне она нравилась, и мы с Бенею стали друзьями с первого же часа нашего знакомства.

Прежде всего познакомились под столом наши руки в то время, когда мы сидели с ребе над Пятикнижием. Когда мама привела меня в хедер, ребе, человек с густыми бровями и в остроконечной ермолке, читал ученикам главу «Бытие». Без лишних проволочек — сдавать экзамен не потребовалось, метрики представлять тоже — ребе сказал мне:

— Полезай вон на ту скамейку, между теми двумя мальчиками.

Я залез на скамейку, втиснулся между двумя мальчиками и считался принятым. Особых переговоров с ребе

моей матери тоже вести не пришлось. Они обо всем условились еще до праздников.

— Помни же, учись как следует! — говорит мне мама, уже подойдя к двери. Она еще раз оглядывается на меня со смешанным чувством удовлетворения, любви и жалости. Я прекрасно понимаю мамин взгляд: ей доставляет радость, что я сижу среди детей порядочных родителей и учусь, но у нее болит сердце из-за того, что она должна со мной расстаться.

По правде сказать, мне было намного веселее, чем маме: я сижу среди стольких новых товарищей, они осматривают меня, я осматриваю их, мы осматриваем друг друга. Однако ребе не дает нам сидеть без дела. Он раскачивается и громко нараспев кричит, а мы за ним, во весь голос, один громче другого:

— Веанохош — и змей! Ойо — был! Орум — хитрее! Микол — всех! Хаес — зверей! Асоде — полевых! Ашер — которых! Осо — бог сотворил.

Когда мальчики сидят так близко друг к другу, хоть и раскачиваются и кричат, они не могут не познакомиться, не перекинуться хотя бы несколькими словами.

Беня, сын Меера Полкового, с которым я сидел бок о бок, прежде всего дает знать о себе, ущипнув меня за ногу. Мы с ним переглядываемся. Он начинает еще сильнее раскачиваться, читает нараспев Библию вместе со всеми и вставляет свои слова:

— Веоодом — Адам. Иода — познал. Возьми эти пуговицы... Эс Хаве — Еву. Иштой — свою жену. Дай мне рожок, а я тебе дам потянуть из моей папиросы!

Я чувствую в своей руке его теплую руку и несколько маленьких, гладких, скользких брючных пуговиц. Мне не нужны пуговицы, у меня нет рожков, и я не курю папирос. Но мне нравится разговаривать таким образом, и я отвечаю Бене тоже нараспев, раскачиваясь вместе со всеми:

— Ватаар — ...и она зачала! Кто тебе сказал... Ватейлед — и она родила! — что у меня есть рожки?

Так переговариваемся мы до тех пор, пока ребе не почувал наконец, что, хотя я и раскачиваюсь весьма усердно, голова моя занята вовсе не Библией; и он ловит меня на удочку, устраивает мне нечто вроде экзамена.

— Скажи-ка, ты! Послушай, как тебя там зовут? Ты, конечно, знаешь, чьим сыном был Каин и как звали брата Каина?

Эти неожиданные вопросы кажутся мне такими дикими, точно меня вдруг спросили, когда на небе ярмарка или как сделать из снега сырок, чтобы он не растаял. Ведь мысли мои заняты бог знает чем — пуговицами под столом.

— Что ты смотришь на меня так? — спрашивает ребе. — Разве ты не слышишь, что тебе говорят? Скажи-ка мне скорее, как звали Адама, отца Каина, и кем приходился Каину его брат Авель, которого родила Ева?

Я вижу, мальчики ухмыляются, давятся от смеха, и не понимаю, что тут смешного.

— Глупышка, скажи, что ты не знаешь, потому что мы этого еще не проходили, — подсказывает Бенья, подталкивая меня локтем; я повторяю за ним, как попугай, слово в слово, а хедер сотрясается от смеха.

«Что они смеются?» — недоумеваю я, глядя, как покатываются со смеху не только мальчики, но и ребе, а сам в это время перекаладываю под столом пуговицы из одной руки в другую: ровно полдюжины.

— Ну-ка, паренек, покажи нам свои руки! Что ты там делаешь? — говорит ребе и заглядывает ко мне под стол...

Вы умные дети и, наверно, понимаете сами, какую взбучку получил я от ребе в первый же день учения.

3

Следы от розог проходят, позор забывается. Мы с Беней скоро стали добрыми друзьями, своими в доску, водой не разольешь. Вот как было дело.

Когда я на следующий день с Пятикнижием в одной руке и с завтраком в другой пришел в хедер, я застал моих новых товарищей веселыми, возбужденными, будто они выпили. В чем дело? Оказывается, нам повезло — ребе нет. Где же он? Ушел куда-то на обрезание вместе с женой. Только не подумайте, упаси бог, что действительно вместе, — ребе никогда не ходит вместе с женой: впереди идет ребе, а за ним идет жена.

— Спорим! — сказал мальчик с синим носом, по имени Йошуе-Гершл.

— На что? — спросил Копл-Бунем, мальчик с дыркой в рукаве, из которой выглядывал черный локоть.

— На четверть фунта рожков.

— Ладно, давай на четверть фунта рожков. Значит, что ты говоришь?

— Я говорю, что больше двадцати пяти он не выдержит.

— А я говорю — тридцать шесть.

— Тридцать шесть? А вот посмотрим! Ребята, налетай!

Услыхав эту команду синеносого Иошуе-Гершла, несколько мальчишек вмиг схватили меня и положили на скамейку лицом вверх. Двое сели мне на ноги, двое на руки, один держал меня за голову, чтобы я ею не вертел, а еще один приставил к моему носу сложенные баранкой два пальца левой руки (видно, он был левшой); прищулив один глаз и приоткрыв рот, он начал шелкать меня по носу. Но как шелкать! При каждом щелчке мне казалось, что я вот-вот отправлюсь на тот свет, к моему отцу. Разбойники! Злодеи! Что им нужно было от моего носа? Чем он им не угодил? Кому он мешал? Что они на нем увидели? Нос как нос!

— Считайте, ребята! — командовал Иошуе-Гершл. — И... раз! И... два! И... три!

Но вдруг...

С тех пор как свет стоит, все чудеса совершаются вдруг. Например, случится, помилуй бог, несчастье с человеком — нападут на него в поле разбойники, свяжут ему руки, наточат нож и велят ему произнести предсмертную молитву. Но в то самое мгновение, когда они соберутся сделать «чик!», принесет вдруг станowego сколокольчиками, разбойники разбегутся, человек будет спасен; воздев руки к небу, он возблагодарит создателя за избавление.

Со мной и с моим носом случилось точно так же. Не помню, после пятого или после шестого щелчка открылась дверь и вошел Беня, сын Меера Полкового. Ребята меня тут же отпустили и притворились невинными агнцами. А Беня начал расправляться с каждым в отдельности: хорошенько драл за уши, приговаривая:

— Ну? Теперь будешь знать, как обижать сына вдовы?

С тех пор ребята больше не посягали ни на меня, ни на мой нос; они боялись связываться с сыном вдовы, другом, избавителем и защитником которого был Беня, сын Меера Полкового.

«Сын вдовы» — иначе меня в хедере не называли. Почему же «сын вдовы»? А потому, что моя мама была вдовой, билась как рыба об лед, держала бакалейную лавку, где продавались, насколько я помню, главным образом мел и рожки — два товара, на которые у нас в Касриловке всегда большой спрос: мел нужен для того, чтобы белить хаты, а рожки — хорошее лакомство: и сладко, и легко на вес, и дешево. Мальчишки из хедера тратят на рожки все деньги, которые им дают на завтраки и обеды, а лавочники на рожках здорово зарабатывают. Я никак не мог понять, почему мама вечно жаловалась, говорила, что ей еле-еле хватает на плату за лавку и за мое обучение. Почему именно за обучение? А все остальное, что необходимо человеку: еда, платье, обувь и тому подобное? Мамины мысли целиком поглощала плата за обучение. «Если бог меня наказал, — говорила она, — и отнял у меня мужа, такого мужа, и оставил меня в молодые годы вдовой, одну-одинешеньку, так я хочу, чтоб хоть мой сын был ученым!» Ну, что тут скажешь? Вы полагаете, может быть, будто она не ходила то и дело в хедер справляться, как я учусь? О молитвах и говорить нечего — тут уж она сама следила, молюсь ли я каждый день. Мама все хотела, чтобы я стал хоть наполовину таким, каким был мой отец, царство ему небесное. И каждый раз, хорошенько всматриваясь в меня, она говорила, что я, долгие годы мне, вылитый «он». При этом глаза у нее увлажнялись и странно озабоченным становилось ее грустное лицо.

Пусть простит меня мой отец на том свете. Я никак не мог понять, что он был за человек. По маминым рассказам, он всегда или читал священные книги, или молился. Неужели его никогда не тянуло на волю в летнее утро, когда солнце еще не особенно печет, когда оно только появляется в огромном небе и движется быстро, быстро, словно в огненной карете, запряженной огненными лошадьми, несется огненный ангел, в светлое, горящее, золотое лицо которого больно смотреть. Что за радость, спрашиваю я вас, может доставить в такое божественное утро обыкновенная молитва? Что за радость сидеть в тесном неудобном хедере, когда печет золотое солнце, накаляя землю, как железную сковороду? Вас тянет туда, под гору, к реке, к великолепной реке,

сплошь покрытой зеленью. Уже издали несет от нее запахом банного пара, и вас подмывает раздеться поскорее и погрузиться по пояс в нагретую воду, прохладную только внизу, у самого дна, скользкого и вязкого; разные твари, которые копошатся в речной глубине, полурыбки-полулягушки, мелькают, мелькают без конца перед глазами, а диковинные мухи и комары с длинными лапками скользят, как будто на санках, по поверхности воды; и вам хочется переплыть на другую сторону, где растут широкие, круглые зеленые листья, сквозь которые сверкают белые и желтые лилии, и смотрит на вас молодая зеленая верба с нежными свежими веточками, и вы бросаетесь в воду, и попадаете руками в грязь, и бьете, бьете ногами по воде — пусть думают, что вы плаваете. Что за радость, снова спрошу я вас, сидеть дома или в хедере в летний вечер, когда по ту сторону города большой красный небесный шар спускается к земле, зажигает церковный купол, освещает красную черепичную крышу бани и большие окна старой холодной синагоги. И оттуда, из-за города, движется стадо, бегут козы, блеют овцы, столб пыли достигает неба, и лягушки квакают, заливаются, все кричит, трещит, верещит, — тарарам, настоящая ярмарка! Кто сейчас может думать о молитве? Кому пойдет в голову учение? Однако подите поговорите с моей мамой: мама вам скажет, что он, мир праху его, не так поступал; он, мир праху его, был совсем другим человеком. Каким он был человеком, да простится мне, я не знаю, я знаю только, что мама меня в покое не оставляет, без конца напоминая, что у меня был отец, и попрекая десять раз на день платой за обучение, которую она вносит, и требует она от меня только двух вещей: хорошо учиться и от всего сердца молиться.

5

Нельзя сказать, чтобы «сын вдовы» плохо учился. Он ни на волос не отставал от своих товарищей. Но что касается молитвы, тут я не ручаюсь. Все мальчишки одинаковы, и «сын вдовы» был таким же сорванцом, как все, так же, как и все, любил всякие проделки, так же, как и все, любил поозорничать: надеть на рога общинному козлу ермолку из мочалы, которой жена меламеда мазала пол, и пустить его по городу; нацепить кошке

на хвост бумажного змея, чтобы она как бешеная понеслась по улицам, опрокидывая все горшки на своем пути; повесить в пятницу вечером замок на дверь женской молельни, чтобы женщины падали в обморок и их надо было приводить в чувство; приколотить гвоздями к полу шлепанцы ребе или, когда он спит, прилепить ему бороду к столу сургучом, пусть-ка попробует встать! Сколько розог получали мы потом, когда ребе обнаруживал виновника, и не спрашивайте! Само собой разумеется, что в каждом деле необходим зачинщик, вожак, командир.

Зачинщиком всех наших шалостей, нашим вожаком, нашим командиром был Беня Меера Полкового. Все затевал он, а в ответе всегда оказывались мы; Беня, пухленький, рыжий Беня с глазами навывкате, постоянно выходил сухим из воды, чистым, как слеза, крогким голубем, который ни сном ни духом не виноват. Мы перенимали от Бени все его гримасы, ужимки, во всем подражали ему. Кто научил нас курить тайком папиросы, пуская дым из обеих ноздрей? Беня. Кто водил нас зимой кататься на льду с деревенскими мальчишками? Беня. Кто научил нас играть в пуговки, в узелки, в орла и решку, проигрывая завтраки и обеды? Беня. В играх Беня был очень ловок, обыгрывал всех, обставлял каждого, у кого только заводился грош. А когда дело доходило до расплаты за проделки — он умывал руки, становился тише воды, ниже травы. Игры были нам милее всего на свете, и за игры нам больше всего доставалось от ребе; он говорил, что должен вырвать с корнем нашу страсть к играм.

— Вы у меня доиграетесь! С сатаной будете вы у меня играть! — говорил ребе, вытряхивая содержимое наших карманов; он отнимал все, что находил, и взамен щедро одарял нас розгами.

Но была такая неделя в году, когда разрешалось играть. Да что там — разрешалось! Игра считалась святым делом, ну прямо-таки святым делом!

Это была неделя праздника хануки, а играли мы в «юлу».

6

Наверно, нынешние азартные игры — такие, как очко, стукалка, трик-трак, штос и тому подобные, похитрее, чем наша тогдашняя юла. Однако, когда играют

на деньги, разница не так уж велика. Я видел своими глазами, как двое парней сидели и бились головами об стенку, а когда я их спросил: «Что вы делаете? Вы дураки или сумасшедшие?» — они мне ответили, чтобы я убирался подобру-поздорову, потому что они играют на деньги — кто скорей устанет. Вот и толкуйте после этого!

Игра в юлу — горячая, необыкновенно азартная игра. Можно дойти невесть до чего, можно душу проиграть! И не так волнуют вас деньги, как досада берет: почему выигрываете не вы, а другой? Почему у другого юла падает на «В», а у вас на «Н», на «П» или на «С»? Вы, наверно, знаете, что обозначают четыре буквы юлы: «Н» — нет, «В» — выигрыш, «П» — половина, «С» — скверно. Юла вроде лотереи — кому улыбнется счастье, тот и выиграет. Возьмите, к примеру, Беню, сына Меера Полкового: сколько раз ни запустит он свою юлу, всегда она падает на «В».

— Просто чудеса! — говорят мальчишки и снова ставят монету, а Беня ставит против всех. Ему это не трудно! Он сын богача! И снова у него «В».

— Удивительное дело! — кричат мальчишки, берутся за кошельки и снова ставят деньги, и Беня снова ставит против всех и лихо пускает юлу головкой вверх. Юла сначала пройдетя гоголем, потом завертится, потом покачается немного взад-вперед, точно пьяница, и упадет.

— «Вэ», — говорит Беня.

— «Вэ»? «Вэ»? Опять «Вэ»? Вот так да! — кричат ребята и, почесываясь, снова берутся за кошельки.

Чем дальше, тем игра становится жарче. Игроки горячатся, ставят деньги, теснятся к столу, ругаются, толкаются, угощают один другого разными прозвищами: «Сопляк!», «Шепелявый!», «Черный кот!», «Мятая ермолка!», «Рванный кафтан!» Отпуская друг другу подобные комплименты, они не замечают даже, что неподалеку стоит ребе в телогрейке и в ватной шапке поверх ермолки, с талесом и фляктериями под мышкой. Он собирается в синагогу, но, увидев, в каком мы азарте, останавливается посмотреть нашу игру. Ребе не вмешивается. Сейчас ханука. Мы свободны целых восемь дней и можем играть в юлу, сколько нам заблагорассудится. Лишь бы мы не дрались и не ссорились. Вовсе не такой уж плохой человек этот ребе, честное слово! Жена

его берет на руки маленького, болезненного Рувеле, за-тыкает ему ротик грудью, чтобы он не кричал, становится у ребя за спиной и смотрит, смотрит, как мальчишки ставят деньги, и Бенья ставит против всех; Бенья весь дрожит, Бенья горит, Бенья пылает, юла у него вертится, качается и падает.

— Снова «Вэ»? Ну и комедия!

Бенья показывает нам свою ловкость и мастерство, поражает нас своими великолепными фокусами до тех пор, пока, простите, не очистит все кошельки, не отнимет у нас все до последней копейки. Потом он кладет руки в карманы, всем своим видом как бы говоря: «Ну, кто еще желает?» — и мы расходимся по домам, унося с собой в сердце боль и стыд, а дома нам еще приходится измышлять всякие небылицы: тот придумывает одно, этот — другое. Один сочиняет, будто все свои ханукальные деньги проел на лакомства, истратил на рожки; другой клянется, что деньги у него украли из кармана еще накануне; третий приходит домой в слезах. «В чем дело, что ты плачешь?» Как же ему не плакать, он купил на ханукальные деньги ножик. «Ну, и чего ж тут плакать?» Как же не плакать, он по пути потерял его!

Я тоже выдумываю целую историю, рассказываю маме сказку из «Тысячи и одной ночи» и выпрашиваю у нее еще раз ханукальные деньги, один алтын и две копейки, иду с ними к Бене, освобождаюсь от них в пять минут и сочиняю для мамы новую ложь. Словом, фантазия работает, и небылицы, небылицы летят одна за другой, и все наши ханукальные деньги уходят на юлу, уходят к Бене в карман и пропадают навсегда.

А один из нас так увлекся юлой, что не ограничился ханукальными деньгами, и все играл и играл с Беней в юлу почти каждый день до конца хануки.

И этим одним был я — «сын вдовы».

7

Где брал «сын вдовы» деньги на игру, лучше не спрашивайте. Величайшие игроки мира, которые выигрывали и проигрывали целые состояния, — те знают, те поймут! Увы! Когда появляется искушение играть, нет ничего на свете, что могло бы противостоять ему, оно

испепеляет дома, пробивает каменные стены — проделывает непостижимое; шутка ли: такое искушение!

Прежде всего, я все стал разменивать на деньги, то есть продал все, что имел, одну вещь за другой — сначала ножик, потом кошелечек, потом пуговицы и коробочку, которая открывалась и закрывалась, и несколько колесиков, — хорошо почищенные, они ослепительно блестели, прямо как золото, — на все махнул рукой, все уступил за полцены и каждый раз бежал с новыми деньгами к Бене домой, проигрывал ему все до последнего гроша и уходил от него грустный, с поникшей головой, с истерзанным сердцем, с мучительной досадой и раздражением. Нет, на Беню я не обижался, упаси бог! За что мне сердиться на Беню? Разве Бенья виноват, что ему везет в игре? Он говорил, что, если бы юла падала на «В» у меня, я бы выигрывал, падает каждый раз на «В» у него — выигрывает он. Так говорил Бенья и был, конечно, прав... Нет, меня разбирает досада на себя самого: как это я растранижил столько денег, мамины трудовые гроши, пустил по ветру все, что имел, остался гол как сокол. Даже молитвенник я продал. Ох, молитвенник, молитвенник! Когда я вспоминаю о маленьком молитвеннике, у меня сжимается сердце и лицо горит от стыда. Это была игрушка, а не молитвенник. Мама купила мне его у книгоноши Песахья как раз к годовщине смерти отца. Молитвенник был всем молитвенникам молитвенник! Не молитвенник, а всезнайчик, настоящий всезнайчик! Толстенький, уборный... Чего в нем только не было, разве лишь птичьего молока: там было все, что можно пожелать, все, что можно произнести: «Песнь Песней», «Поучения отцов» и «Сказание о пасхе», все молитвы, все законы, все обычаи, а в конце — псалмы. А переплет с золотым тиснением! А обрез, а корешок! Просто искушение, говорю я вам, дьявол, а не молитвенник! Каждый раз, когда Песахья с бельмом на глазу и с коротко подстриженными усами, от которых его озабоченное лицо казалось улыбающимся, каждый раз, когда Песахья раскладывал свой товар у дверей синагоги, я не спускал глаз с молитвенника.

— Что скажешь, мальчик? — спрашивал меня Песахья, как будто он не знал, что мне приглянулся молитвенничек, что я уже раз двадцать щупал его и спрашивал, сколько он стоит.

— Ничего, — отвечал я, — просто так... — И уходил, чтобы не видеть перед собой моего дьявола-искусителя.

— Ой, мама, если бы ты видела, какой у Песахьи всезнайчик!

— Что за всезнайчик? — спрашивает меня мама.

— Молитвенничек такой! Если б у меня был такой молитвенник, я... я... ну, просто не знаю что...

— Разве у тебя нет молитвенника? А где отцовский молитвенник?

— Что ты сравниваешь, мама? Тот — молитвенник, а этот — всезнайчик.

— Всезнайчик? — удивляется мама. — Разве в твоём всезнайчике больше молитв или молиться по нему слаще?

Поди объясни маме, что такое всезнайчик, всезнайчик реб Песахьи в красном переплете, с синим обрезом и с зеленым корешком!

— Пойдем, — говорит мне мама однажды вечером и берет меня за руку, — пойдем со мной в синагогу. Завтра годовщина смерти отца, мы поставим свечи и заодно увидим Песахью, посмотрим, что у него за всезнайчик такой.

Я понимаю, что в годовщину папиной смерти я добьюсь у мамы всего, даже, как говорят, луны с неба, и сердце у меня стучит от радости.

Мы приходим в синагогу, но Песахья еще не выложил своего товара из мешка. Песахья, понимаете ли, не любит спешить. Он хорошо знает, что здесь у него нет конкурентов, что он свое возьмет. Пока он развязывает мешок и достает товар, проходит год. Я дрожу, я трепещу, я еле держусь на ногах, а он и в ус не дует, как будто это его не касается.

— Покажите, — говорит ему мама, — что это у вас там за молитвенник?

Но Песахье некуда спешить. Над ним не каплет. Потихоньку, не торопясь, развязывает он мешок и выкладывает весь свой магазин: большие и маленькие Библии, мужские и женские молитвенники, псалмы, своды религиозных законов...

Мне кажется, что это никогда не кончится — неисчерпаемый источник, бездонный колодец! Но вот наконец извлечены и маленькие книжки, и среди них сверкнул всезнайчик.

— Это все? — удивляется мама. — Такой малюсенький?

— Малюсенький, — говорит Песахья, — а стоит дороже большусенького.

— Сколько же вы хотите за эту козьявочку, да не накажет меня бог за такие слова?

— Молитвенник вы называете «козьявочкой»? — говорит Песахья и потихоньку забирает у нее из рук всезнайчик, а у меня обрывается сердце.

— Ну, так скажите же, скажите, что он стоит! — просит мама. Но Песахье некуда спешить, и он отвечает нараспев:

— Что стоит молитвенник? Ох, и стоит, и стоит... Боюсь, он вам не по карману.

Мама проклинает врагов своих, сулит им все двадцать два несчастья и велит Песахье сказать цену.

Тот называет цену, и мама не отвечает ему, она направляется к двери и говорит мне:

— Пойдем, нам здесь нечего делать. Разве ты не знаешь, что реб Песахья любит запрашивать?

С горечью в сердце следую я за мамой, но во мне еще теплится надежда: может быть, бог смилуется надо мной и Песахья возвратит нас. Но Песахья не такой человек. Он знает, что мы и сами вернемся, и он прав: мы действительно возвращаемся. Мама просит его назвать человеческую цену. Но Песахья не трогается с места, он смотрит в потолок, белое бельмо на его глазу блестит, мы снова уходим и снова возвращаемся.

— Нехороший человек этот Песахья! — говорила мне потом мама. — Ни за что бы не купила у него молитвенник! Шутка ли, какая цена! Жаль, честное слово, эти деньги пригодились бы на плату за учение. Ну ладно, ничего. Завтра годовщина смерти отца. Ты будешь читать поминальную молитву, и я хотела доставить тебе удовольствие. Но ты тоже утешь меня, сынок, и обещай, что хоть молиться будешь честно каждый день.

Так ли усердно молился я, как обещал, или нет — об этом мы говорить не будем. Но молитвенничек я любил всей душой. Представьте себе, я даже спал с ним, хотя, как вы знаете, это запрещено. Весь хедер завидовал мне, и я берег свое сокровище как зеницу ока. А теперь, в эту хануку, я сам, горе мне, собственными руками отнес молитвенничек сыну столяра Мойше,

который давно зарился на него, и мальчишку пришлось еще упрашивать... Почти даром отдал я свой маленький молитвенник! Ох, молитвенник, молитвенник! Стоит мне только вспомнить о нем, у меня сжимается сердце и лицо горит от стыда: сбыл, продал, и для чего, для кого? Для Бени. Чтобы Бени мог выиграть у меня еще несколько копеек. Но разве Бени виноват, что ему так везет в игре?

— На то и юла, — утешает меня Бени и кладет себе в карман последние мои гроши. — Если бы тебе везло, как везет мне, ты бы выиграл. Везет мне — выигрываю я.

Щечки у Бени горят, в комнате светло и тепло, на столе стоит заправленная хорошим маслом серебряная ханукальная лампада с красивой свечой, в доме у Бени всего вдоволь, из кухни доносится запах свежего, только что растопленного гусиного сала.

— У нас сегодня пекут олады, — сообщает мне Бени радостную вест, когда я уже стою у дверей и у меня от голода подводит живот.

И я бегу в своем рваном тулупчике домой и застаю там маму, которая только что пришла из лавки и греется у печки. Нос у нее красный, руки тоже красные и опухшие, она продрогла насквозь. Мама видит меня, и лицо ее сияет.

— Из синагоги?

— Из синагоги, — лгу я ей.

— Читал вечернюю молитву?

— Читал вечернюю молитву, — лгу я снова.

— Согреешься, сынок, и благословишь ханукальные свечи. Сегодня последний день хануки.

8

Если бы у человека были одни только неприятности, ни капли радости, ни крупницы счастья, он бы определенно не смог этого вынести и покончил бы с собой. Я имею в виду мою маму, бедную вдову, которая маялась день и ночь, недоедала, недосыпала, и только из-за меня, только для меня. Разве она не заслуживала хоть немного радости? Но каждый человек понимает слово «радость» по-своему.

Моей маме ничто на свете не могло доставить большую радость, чем когда в субботу и в праздники я

произносил для нее молитву над едой, освящал для нее пасхальную трапезу, а в хануку благословлял для нее ханукальные свечи. Над чем молитва — над вином или над пивом; какая трапеза — гусиные шейки или просто кусочек мацы с водой; какие ханукальные свечи — в серебряной лампаде или воткнутые в разрезанную картофелину, — честное слово, дело не в вине, не в гусиных шейках и не в серебре, суть совсем в другом: суть в том, как произносится молитва над едой, как справляется трапеза, как благословляют ханукальные свечи. Впрочем, к чему слова, что тут долго толковать, — достаточно, когда я совершаю благословение, понаблюдать за лицом моей матери: все оно озаряется улыбкой, сияет, светится. Это и есть настоящая радость, подлинное счастье. Я наклоняюсь над разрезанной картофелиной и нараспев произношу благословение; я читаю, а моя мама тем же напевом тихо повторяет за мной слово за словом. Я читаю, а мама смотрит на меня и шевелит губами, и я знаю, о чем она в это время думает. «Со всем он! — думает мама. — Как две капли воды, долгие годы ему!» И я чувствую, что меня следовало бы разрезать на куски, словно эту картофелину. Как я мог обмануть маму, и так некрасиво обмануть! Продал маленький молитвенник и деньги проиграл в юлу! Продал, продал, все продал!

Фигили в картофелинах, мои ханукальные свечи, чадят; чадят до тех пор, пока совсем не гаснут. И мама говорит мне:

— Иди умойся, будем есть картофель с салом. В честь хануки я купила стаканчик гусиного жира, свежего, вкусного!

Охотно иду умываться, и мы садимся за стол.

— У людей в последний день хануки пекут оладьи, — говорит мама со вздохом, и я вспоминаю Бенины оладьи и Бенину юлу, которая обошлась мне в целое состояние, и чувствую, как меня, словно иголкой, кольнуло в сердце. И больше всего болит у меня душа и сильнее всего грызет раскаяние из-за молитвенничка.

Даже ночью не оставляют меня тяжелые мысли. Я слышу, как мама вздыхает, как она хрустит пальцами; я слышу, как скрипит под ней кровать, и мне кажется, что кровать ее не скрипит, а стонет. А на дворе завывает ветер, он стучит в окно, рвет крышу, свистит в трубе, я слышу его длинное, протяжное вью-ю-ю-ю!

А сверчок, который завелся у нас с некоторого времени, стрекочет в щели: чири-ри, чири-ри! А мама все вздыхает, стонет и хрустит пальцами. Каждый ее вздох, каждый стон отдаются в моем сердце. Я еле сдерживаюсь. Вот-вот я спрыгну с постели, подойду к маме, припаду к ее ногам, буду целовать ей руки и покаюсь во всех моих великих грехах. Но я не делаю этого, я укрываюсь с головой всеми мамиными юбками, чтобы не слышать, как мама вздыхает и стонет и как скрипит ее кровать, глаза у меня слипаются, а ветер дует и свистит: вью-ю-ю-ю... а сверчок все трещит: чири-ри, чири-ри, чири-ри! Перед моими глазами вертится, как юла, какой-то человек, как будто знакомый; да ведь это ребе! Я мог бы поклясться, что передо мной ребе в остроконечной ермолке с Пятикнижием в руках. Он вертится, вертится, вертится, как юла. Его остроконечная ермолка мелькает перед глазами, а пейсы развеваются по воздуху. Нет, это не ребе, это юла! Диковинная юла, живая, в остроконечной ермолке и с пейсами. Понемногу, понемногу ребеобразная юла или юлообразный ребе перестает вертеться, и на этом месте вырастает фараон, царь египетский, о котором мы читали за неделю до хануки; фараон, царь египетский, стоит передо мной голый, совсем голый — он только что вышел из реки — и в руках у него мой молитвенник, мой маленький всезнайчик. Я не могу понять, как он попал к нему, к этому злодею, который купался в еврейской крови... И я вижу семь коров *, тощих, изможденных, кожа да кости, с большими рогами и длинными ушами, все они бросаются ко мне, одна за другой, открывают рты и хотят меня проглотить. Откуда ни возьмись появляется Бенья, мой товарищ Бенья, хватает коров за длинные уши и начинает крутить их, и кто-то тихо плачет и вздыхает, стонет и всхлипывает, свистит и стрекочет, и кто-то стоит возле меня и тихо спрашивает:

— Скажи-ка, сынок, когда годовщина моей смерти? Когда ты будешь читать по мне «кадиш»? *

Я понимаю, что это мой отец пришел с того света, мой отец, о котором мама рассказывала мне столько хорошего. Я хочу ему сказать, когда годовщина его смерти, когда я буду читать по нему «кадиш», но я забыл. Именно теперь забыл! Я мучаюсь, тру себе лоб, хочу вспомнить, но не могу. Слышали вы такое? Я забыл, когда годовщина смерти моего отца. Помогите,

люди добрые! Не знаете ли, не знаете ли вы, когда годовщина смерти моего отца? Что же вы не отвечаете? Помогите! Помогите! Помогите!

— Бог с тобой? Что ты кричишь? Что случилось? Что у тебя болит?

Вы, конечно, понимаете, это говорит моя мама. Она стоит надо мной, щупает мой лоб, и я чувствую, как она вся дрожит. Наполовину прикрученная лампа не светит, а чадит, и тень моей матери причудливо пляшет на стене, а концы маминого ночного платка торчат, словно два рога, а глаза ее блестят в темноте.

— Что ты! Ведь годовщина была совсем недавно! Тебе что-нибудь приснилось? Сплюнь три раза: тьфу, тьфу, тьфу! Да минет нас беда! Аминь, аминь, аминь!..

Дети, я вырос, стал большим. Бенья тоже вырос и стал большим, мужчиной с рыжей бородкой. Он отрастил себе животик, а на животике носит золотую цепочку. Видно, Бенья — богач. Когда-то был сыночком богача, а теперь сам богач.

Мы встретились в поезде. Я его узнал по рыбьим глазам навывкате и по редким зубам. Мы не виделись столько времени! Мы бросились целоваться, а потом разговорились о давно прошедших, милых сердцу, сладостных детских годах, припоминая каждую мелочь.

— Помнишь, Бенья, ту хануку, когда тебе так везло в игре? Все время юла падала у тебя на «Вэ»!

Я смотрю на Бенью, он даже посинел от смеха. Так и покатывается, держится за бока, прямо умирает.

— Бог с тобой, Бенья! Что это на тебя вдруг смех напал?

— Ох, — машет Бенья руками, — отстань от меня со своей юлой. Да уж это была юла и впрямь юла! Запеканка из одного только сала, компот из одного изюма! С такой юлой трудно проиграть. Как бы она ни падала, она все равно — ха-ха-ха! — покажет «выигрыш».

— Что же это была за юла такая, Бенья?

— Это была — ха-ха-ха! — юла из одних, — ха-ха-ха! — сплошь из «Вэ», ха-ха-ха!..

ШАЛАШ—ЛУЧШЕ НЕ НАДО!

1

Бывают люди, которые ничему не учились, а все умеют, нигде не бывали, а все знают, ни над чем особенно не задумывались, а все понимают.

«Золотые руки» — так аттестуют обычно этих счастливых, и все чувствуют к ним почтение, завидуют и удивляются им.

Вот такой человек жил в Касриловке, и звали его у нас «Мойше — лучше не надо!»

А прозвали его «Мойше — лучше не надо» потому, что обо всем, что бы он ни увидел, ни услышал или же сам сделал, он любил приговаривать: «Лучше не надо!»

— Ну и кантор у нас в синагоге, лучше не надо!

— Индюка вон на пасху понесли, лучше не надо!

— Завтра будет мороз, лучше не надо!

— Вот так оплеухи сыпались в синагоге, лучше не надо!

— Ой, люди, и бедняк же я, лучше не надо!

И так по любому поводу.

И был этот Мойше... Уж и не знаю, кем он был. Он был, конечно, евреем, но чем он жил, трудно сказать. Он жил так, как живут тысячи, десятки тысяч людей в Касриловке. Вертелся около помещика, то есть не около самого помещика, а около панов, которые при помещике, и не около самих панов, а около евреев, которые крутятся около панов, которые при помещике. Зарабатывал ли он что-нибудь на этом — другой вопрос. Мойше был человеком, который не любил

хвастать своими удачами и плакать от своих неудач. Всегда веселый, с румяными щечками, с одним усом несколько длиннее другого, с добрыми улыбающимися глазами и в шапке набекрень, он вечно был занят и всегда, в любое время был готов пройти хоть десять миль пешком ради первого встречного.

Таким вот человеком был наш «Мойше — лучше не надо»!

2

Нет такой вещи на свете, которую «Мойше — лучше не надо» не сумел бы смастерить: дом так дом, часы так часы, машину так машину, лампу, юлу, кран, зеркало, ведро, клетку — Мойше на все горазд.

Правда, никто бы не мог указать на какой-нибудь дом, машину или часы, которые были бы делом его рук, но это не мешало касриловцам верить, что Мойше все может. Дай ему только инструменты, и он весь мир перевернет. Но инструментов у него не было, к несчастью! А может быть, к счастью, так как только благодаря этому не перевернулся мир, — остался в целостности и сохранности.

Приходится удивляться, как Мойше смог уцелеть в Касриловке, как его там не разорвали на части. Замок испортился — к кому обращались? К Мойше. Часы остановились — к Мойше. Кран в самоваре не действует, и вода не идет — к Мойше. Тараканы завелись в доме или другие какие-нибудь паразиты, у кого спрашивают совета — у Мойше. Хорек повадился во двор и каждую ночь душит кур, кто может пособить в беде? Мойше. Мойше, да Мойше, и опять-таки Мойше!

Правда, сломанный замок так и оставался лежать сломанным на шкафу, часы приходилось относить к часовщику, а самовар — к меднику, тараканы и другие паразиты, видно, не очень-то пугались Мойше, а хорек продолжал вести себя так, как положено хорьку... Но это несколько не умаляло славы «Мойше — лучше не надо». Все равно «золотые руки». Наверно, было в нем все-таки что-то такое, не сошел же весь мир с ума! И вот вам доказательство: ко мне ведь не обращаются по поводу испорченных замков, часов, самоваров, по

поводу хорьков, тараканов и других паразитов. К вам тоже нет? Значит, не все люди одинаковы, талантов не так уж много.

3

С этим «Мойше — лучше не надо» мы стали соседями, в одной квартире жили, под одной крышей. Я говорю «стали», потому что прежде у нас был собственный дом. Но колесо вдруг повернулось в другую сторону, и наступили для нас плохие времена. Объявить себя несостоятельным отец не захотел, и вот мы продали наш домишко, расплатились с долгами и поселились у Гершки Мамциса (случилось это накануне Нового года) в облезлой, старой лачуге, без двора, без палисадничка.

— Ну и хата! — сказала мама, посмеиваясь, а в глазах у нее стояли слезы.

— Не гневи господ! — с потемневшим лицом заметил отец. — Довольствуйся тем, что есть.

Чем это нам следует довольствоваться, я не мог понять. Тем, что мы остались просто на улице? Но я предпочел бы остаться на улице, чем быть в жильцах у Гершки Мамциса, жить вместе с чужими мальчишками и чужими девчонками, которых я не знаю и знать не хочу, с их рыжими волосами, с их влажными носами, с их тонкими ногами и вздутыми животами. При ходьбе эти мальчишки и девчонки переваливаются, как уточки, весь день они что-то жуют, а когда вы едите, они смотрят вам прямо в рот... Я считал большой несправедливостью со стороны господ бога, что он отнял у нас наш дом. Мне не так жаль было квартиры, как шалаша, который у нас там был. Из года в год мы им пользовались, — собственный шалаш с поднимающимся и опускающимся крылом, с красивым потолком из зеленых и желтых палочек, образующих клеточки, со щитом Давида в них. Правда, друзья старались нас утешить и говорили, что мы еще когда-нибудь обратно откупим наш дом или же, бог даст, построим себе новый дом, намного лучше, и больше, и красивей прежнего. Я знал цену этим словам. Это были слова утешения, которыми пытались успокоить меня, когда я разбил вдребезги, нечаянно, конечно, мои жестяные часики. Мама отпустила мне тогда оплеуху, а отец утер мне слезы и пообещал купить другие часики, намного лучше, и больше, и кра-

сивей старых. Чем усерднее отец расхваливал часики, которые мне когда-нибудь купят, тем больше я оплакивал мои разбитые старые часики. Таясь от отца, мать втихомолку плакала по нашему дому. А отец вздыхал, и лицо его было мрачно, и глубокие морщины прорезывали его высокий белый лоб.

Я считал большой несправедливостью со стороны господ бога, что он лишил нас дома...

— Ты подумал уже, дай тебе бог здоровья, как нам быть с шалашом?

С такими словами мать обратилась к отцу в один из десяти дней покаяния*.

— Ты, наверно, хотела спросить, как нам быть без шалаша, — шутя поправил ее отец, но я видел, что ему не до шуток. Он отвернулся, чтобы скрыть свое лицо, которое было чернее тучи. А мать, глотая слезы, высморгалась в фартук. На них глядя, плакал и я. Вдруг отец с неожиданной живостью повернулся к нам.

— Пойдите, ведь сосед наш — Мойше!

— «Мойше — лучше не надо», — поддержала его мать, и я не знал, шутит она или всерьез говорит. Видно, всерьез, потому что не прошло и получаса, как трое мужчин — отец, Мойше и сам хозяин наш, Гершка Мамцис, — завертелись вокруг дома, выбирая место для шалаша.

4

Дом Гершки Мамциса вообще-то вполне приличный дом. Один только недостаток у этого дома: ни намек на какой бы то ни было двор; дом стоит прямо на улице, будто его здесь потеряли; кто-то проходил по улице и случайно уронил его. Дом без двора, без сени, без крыши, с дверью по другую сторону улочки, словно кафтан с разрезом впереди и с пуговицами позади. А попробуйте-ка потолкуйте с Гершкой, он вам голову забьет своим домом: как он судился за этот дом и как ему удалось отсудить этот дом, как у него хотели отобрать этот дом, как он боролся за этот дом и как этот дом остался его домом...

— Где вы собираетесь поставить шалаш, реб Мойше? — спрашивает отец, и «Мойше — лучше не надо» в сдвинутой на затылок шапке задумывается, словно великий архитектор, вынашивающий какой-нибудь гран-

диозный план. Он показывает обеими руками слева направо и справа налево, тщится объяснить, что если бы дом не стоял прямо на улице, а имел двор, можно было бы сэкономить две стены, и шалаш тогда был бы у него готов в один день, да что там в один день, и часа не потребовалось бы. Но так как дом без двора, то придется поставить целых четыре стены, а поэтому времени потребуется больше, но зато и шалаш будет — лучше не надо! Главное — это достать материал.

— За материалом дело не станет, а есть ли у вас инструменты? — спрашивает Гершка.

— За инструментами дело не станет, а есть ли у вас доски?

— За материалом дело не станет. А есть ли у вас гвозди? — спрашивает Гершка.

— Достанем гвозди, а будет ли у вас зелень?

— Что-то вы мне сегодня слишком того... — говорит Гершка.

— Слишком чего? — спрашивает Мойше, глядя ему в глаза, и оба заливаются смехом.

5

Как только Гершка Мамцис притащил несколько досок и столбов, Мойше заявил, что шалаш будет — лучше не надо! Мне было любопытно, как Мойше умудрится из нескольких досок и колышков построить шалаш. Я попросил у матери разрешения присутствовать при его работе. Что касается самого Мойше, то добиться его согласия было проще всего. Он не только разрешил мне смотреть, как он работает, но и взял меня в помощники: моя задача состояла в том, чтобы по его просьбе подержать или подать что-нибудь.

Я, разумеется, был счастлив. Шутка ли, я помогаю ставить шалаш! А помогал я Мойше во всем: так же, как и он, шевелил губами, когда он стучал молотком, вместе с ним заходил в дом обедать, вместе с ним кричал на других ребят, чтобы они не мешали нам работать, подавал Мойше молоток, когда ему нужна была лопата, подавал клещи, когда он требовал гвоздь. Другой на его месте за такую помощь запустил бы молотком или клещами в голову. Но Мойше был душа-человек; никому еще не случалось видеть, как он злится.

— Злость, — говорил он, — все равно что идолопоклонство. Помогает нисколько не больше.

Меня так поглотила работа, что я и не заметил, каким чудом был у нас поставлен шалаш.

— Идем, посмотри, какой шалаш мы построили! — сказал я отцу и потащил его на улицу.

Отец полюбовался нашей работой и с улыбкой спросил Мойше, указывая на меня:

— Хорошего помощника я вам дал, реб Мойше?

— Лучше не надо! — ответил Мойше. Он сокрушенно посмотрел на верх шалаша: — Привез бы сейчас Гершка зелень, был бы у нас шалаш — лучше не надо!

Что касается зелени для шалаша, то Гершка Мамцис долго тянул, все откладывал со дня на день. И только в самый канун кушей привез он, с божьей помощью, тоненьких-претоненьких палочек, нечто вроде камыша, который растет у нас на том берегу реки в болоте, и мы начали крыть шалаш, то есть крыл его, собственно, Мойше, а я тем временем разгонял коз, которые набросились на нашу зелень, как на что-то путное. Не могу понять, что хорошего они нашли в этих горьких зеленых палках.

Поскольку дом Мамциса стоял прямо на улице, ничем не защищенный, от коз отбоя не было. Не успеешь одну прогнать, приходит другая, прогонишь другую, ага, первая снова тут.

Я гнал их палкой.

— Уходи, коза, вон! Снова ты здесь, глупая коза? Уходи, коза!

И откуда только они узнали, что у нас зелень? Видно, сообщали друг дружке, не иначе, потому что к нам со всего города сбежались козы, и мне одному пришлось с ними воевать.

Наконец вся зелень была уложена на крыше шалаша, и козы остались в дураках. Они стояли, глупо жуя жвачку и глядя своими глупыми глазами вверх.

— Ну-ка, попробуйте достаньте теперь зелень, глупые козы!

Они, видно, меня поняли и начали по одной расходиться, чтобы найти себе другое занятие, а мы принялись убирать шалаш внутри. Первым делом мы посыпали земляной пол желтым песком, потом мы завесили стены одеялами, принесенными всеми тремя соседями. Когда одеял не хватило, мы взяли за платки, а когда и платков оказалось недостаточно, пошли в ход ска-

терти и простыни. Покончив со стенами, мы внесли в шалаш столы и стулья, подсвечники со свечами, тарелки, ножи, ложки, вилки, и все три хозяйки помолились над свечами и благословили «Сидящего в кушак».

6

Моя мать, мир праху ее, любила поплакать. «Грозные дни»* были ее любимым праздником, а с тех пор как мы потеряли свой дом, глаза ее не просыхали от слез. Отец, которому и самому приходилось несладко, не хотел этого терпеть, он все говорил матери, чтобы она побоялась бога, чтоб не грешила, а то как бы хуже не было, слава богу за то, что есть... Только здесь, в шалаше, когда, закрыв обеими руками лицо, она молилась над свечами, никто не мог помешать ей тайком от всех всласть поплакать. Но меня не обманешь: я прекрасно видел, как вздрагивают плечи у матери и как сквозь ее тонкие белые пальцы просачиваются слезы и капают на белоснежную скатерть. Я даже знал, отчего она плачет... Ее счастье, что отец в это время собирался в синагогу. Надев праздничный, хотя и поношенный, но все же шелковый кафтан и опоясавшись плетеным шелковым кушаком, он, заложив за кушак обе руки и тяжело вздохнув по случаю праздника, сказал мне:

— Пойдем, пора в синагогу.

Я взял молитвенник, и мы с отцом отправились в синагогу, а мать осталась дома, и я знал, что она будет делать: *она будет плакать*. Она наконец сможет поплакать досыта! И в самом деле, когда мы вернулись из синагоги и с праздничным приветствием вошли в шалаш и отец начал нараспев читать «кидеш»*, я присмотрелся к матери и увидел, что глаза у нее красные, припухшие, с подушечками. И нос у нее сильно блестел. И все же в моих глазах она была не менее хороша, чем прама-терь Рахиль, или Авигаил, или царица Савская, или сама Эсфирь*. Я смотрел на мать, и воображение рисовало мне всех европейских красавиц, о которых я со-всем еще ребенком слышал в хедере. Я смотрел на мою красивую маму, на ее красивое белоснежное лицо, которое, как солнышко, выглядывало из-под праздничного шелкового платка, на ее прекрасные, большие озабоченные глаза, и у меня сжималось сердце от того, что

такие красивые глаза осуждены вечно плакать, что таким красивым бедным рукам приходится печь и стряпать, и досадовал на господу бога за то, что он не дает нам денег, и я просил бога осчастливить меня и открыть мне клад со множеством золота, алмазов и брильянтов, или же пусть пришлет мессию, и пусть он нас отведет в страну отцов, а там ведь всем будет хорошо...

Так я думал, и мысли мои, и золотые мои грезы, которые я не обменял бы ни на какие блага, подняли меня на своих крыльях и унесли далеко-далеко. Мои уши ловили красивый напев отца и слова «кидеша»:

Потому что нас ты избрал
И нас ты выделил
Среди всех народов...

Шутка ли, народ, избранный богом! Это ведь нечто вроде единственного дитяти. У меня становится от-радно на душе при мысли о счастливом, богом избранном народе. И мне представляется, что я принц... Да, принц, а шалаш — это дворец, на нем почит божья благодать. Во дворце сидит моя мать — красавица, царица Савская, и в нем мы завтра, бог даст, произнесем благословение над самым прекрасным из плодов, над цитрусом... Ах, кто сравнится со мной? Кто может сравниться со мной?!

7

Вслед за отцом читает «кидеш» «Мойше — лучше не надо». Но куда ему до моего отца, «кидеш» у него звучит совсем не так. После Мойше читает наш хозяин, Гершка Мамцис. Это уж совсем простой человек, и простой у него «кидеш». Потом мы все идем мыть руки, и каждая из трех хозяек вносит в шалаш горячую рыбу с перцем, свежую и ароматную, и каждая семья усаживается за свой стол. На столах хала, и множество рук макает мягкую халу в горячий рыбный соус. Все жуют. В щели между тонкими стенками шалаша и в редкую зелень крыши задувает ветерок, свечи оплывают, и все едят с аппетитом праздничный ужин. И мне представляется, что не в шалаше вовсе мы сидим, — мы, избранные, единственные у бога — а во дворце, в большом, светлом дворце, и едим в свое удовольствие. «Благо вам, евреи! — думаю я. — Кому еще так хорошо, как вам? Кому еще выпадает счастье сидеть в таком великолепном



шалаше, увешанном самыми красивыми в мире одеялами, а на столе — праздничная хала и праздничная вкусная рыба, просто объедение, а если еще...»

Вдруг — трррах! Крыша целиком со всей зеленью обрушилась на наши головы, а за крышей — стена, а за стеной другая стена накрывается, и обе падают перед нами ниц, и какая-то коза летит сверху прямо на нас. Вокруг мрак, свечи погашены, столы опрокинуты, и мы все лежим в песке, вперемежку с халой, с посудой, и коза с нами. Светит луна, звезды смотрят на нас. Первой вскакивает на свои тонкие ножки коза, с минуту стоит, как грешная душа, и испуганно оглядывается своими глупыми глазами. И тут же самым наглым образом прыг по опрокинутым столам и стульям с громким «ме-е-е!» Свечи погашены, посуда разбита, наша хала в песке. Насмерть перепуганные женщины визжат, дети плачут — разор! Форменный разор!

— Ну и шалаш вы поставили, если одна коза могла развалить его, — говорит нам немного погодя Гершка Мамцис, да таким тоном, будто мы с него десять шкур содрали за работу. — Хорош шалаш!

— Вот так шалаш! — Мойше, не в силах постичь, откуда эта разруха, стоит с таким видом, будто его высекли. — Шалаш — лучше не надо!

— Да, шалаш — лучше не надо! — ядовито передразнивает его хозяин, и все в один голос повторяют:

— Лучше не надо!..

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ

1

Изгнание из рая

— Слава тебе господи, покончено с праздником пурим и можно уже начать, в добрый час, наводить в доме пасхальный порядок!

Так сказала мама через день после пурим, ни к кому не обращаясь, обводя глазами все уголки в зале и отыскивая место, подобно курице, собирающейся снести яйцо. Спустя несколько дней появилась охапка сена, пара колодок, а на колодках — новенький бочонок, накрытый грубым, но безупречно белым полотном. А меня подозвали вместе с отцом и наказали раз тридцать, чтобы я даже не смел не только близко подходить, но и смотреть издали на тот уголок. Сразу же после этого дверь зала была заперта, а нас обонх, меня и отца, мать попросила убраться отсюда в добрый и счастливый час и больше в зал не входить до самой пасхи.

С этой минуты зал обрел в моих глазах особую прелесть, и тянуло меня туда, как магнитом. Так хотелось хоть издали взглянуть на «тот уголок»! Я, бывало, останавливаюсь у дверей, жую в это время свой завтрак — кусок хлеба, намазанный жиром, и заглядываю в наш светлый, красивый зал с красным диваном из красного дерева, с овальным столом на трех лапах, с овальным зеркалом в резной раме и с великолепным «востоком»*, который папа, по его словам, сам нарисовал, когда он был еще женихом. Боже, чего только не было на этом «востоке»! Медведи, и львы, и дикие кошки, орлы и пти-

цы, рожки, и семисвечники, и райские яблоки, и мисочки с шестиконечными звездами, и листочки, и пуговики, кружочки, и черточки, и бесконечное количество точек! Даже поверить было трудно, что человеческая рука в состоянии все это нарисовать, — этого и глазом не охватить! «Мастер мой папа! — думал я. — Удалец! Мاستак!»

— Ах, чтоб тебя черт не взял! С хлебом у этих дверей, не сгореть бы тебе на огне!

Так говорит мама, берет меня двумя тонкими и острыми пальчиками правой руки за левое ухо и приводит к отцу:

— На, посмотри, полюбуйся на своего наследничка! Держит в руке хлеб и смотрит туда, где стоит пасхальный борщ!

Отец делает серьезное лицо, качает головой, выпячивает губы и прищелкивает языком:

— Тц-тц-тц! Пошел, озорник этакий!

А когда мама отворачивается, я замечаю на папиных губах легкую скрытую усмешку. Но как только мама поворачивается лицом к нам, отец снова делает серьезное лицо. Он берет меня за руку, усаживает рядом с собой на стуле и велит мне туда не смотреть! Нельзя!

— Издали тоже?

Но отец уже не слышит. Он углубился в чтение книги. А я потихоньку подкрадываюсь к двери и сквозь щелочку заглядываю в зал: там полно всякого добра, рай, да и только! Много новых горшков и макитр на полу, и секач, и доска для соленья мяса, две связки луку висят на стенке и украшают зал, — уже пасхальный зал, пасхальный, пасхальный, пасхальный!

2

Из рук в руки

— Может быть, вы потрудитесь уйти отсюда с вашими книгами туда, в большую комнату?

Так говорит нам мама, одетая в белое, с косынкой на голове, с длинной палкой в одной руке и с гусиным крылом в другой. Она запрокидывает голову и смотрит на потолок.

— Сосл! Где ты там со щеткой? Ну, шевелись же, девка! Покажись!

И девушка Сосл, тоже повязанная белой тряпкой, показывается с мокрой кистью и ушатом белой глины. И обе они выглядят как живые покойницы в белых сава-нах. Сосл шлепает мокрой кистью по потолку туда и об-ратно: фляк-фляк! И обе они сердитые, злые, как пчелы.

Однако долго смотреть на эту замечательную коме-дию мне не дают. Сначала мне намекают, что мальчик не должен стоять, когда белят дом на пасху. Потом они обе говорят уже без особых церемоний:

— Слышь ты, может быть, ты бы убрался туда, в комнату?

При этом мать берет меня за руку и показывает на дверь, куда мне идти. Но мне не хочется уходить, я отступаю в сторону и встречаюсь с Сосл. Она меня отталкивает: «Везде он путается под ногами!»

— Иди ты к богу в рай, туда, к отцу! — говорит мама и швыряет меня к Сосл, а та подхватывает меня и бросает обратно к маме:

— В жизни своей не видала такого надоедливового мальчишку!

— И никакая пуля его не берет! — говорит мать и дает мне тумака сзади. А Сосл хватает меня и смазы-вает известкой.

Я вваливаюсь к отцу в комнату и заливаюсь плачем.

Отец отрывается от Талмуда, успокаивает меня, как может, сажает к себе на колени и снова углубляется в свои фолианты.

3

Из комнат — в чулан

— Извините, хозяйин! Хозяйка сказала, чтобы вы, простите, перебрались отсюда в маленькую комнатку.

Так говорит отцу Сосл, появляясь со всеми своими причиндалами, вымазанная как черт, и мы переносим книги из большой комнаты в маленькую. Маленькая комната величиной с воробьиный нос, в ней стоит толь-ко одна кровать. Там сплю я и, совестно сказать, наша прислуга Сосл. Сосл, понимаете ли, приходится нам род-ственницей и живет у нас уже много лет. Меня, говорит она, тогда еще на свете не было. Я вырос, говорит она, у нее на руках. Если бы не она, я, по ее словам, был бы уже бог знает где. Потому что, где ни хвороба, где

ни напасть — все прилипало ко мне, и из всех бед она меня вытаскивала. «А теперь, — говорит она, — он платит мне камнями! Ну, не заслужил он добрых оплеух?» Так заканчивает Сосл, дает мне пару тумачков, да еще и за волосы дерет в придачу. И вот что удивительно: никто ей и слова не говорит, ни мать, ни отец за меня не заступаются. Все, что Сосл вздумается, она делает со мной, как если бы я был ее сын, а не их.

В маленькой комнатке я забираюсь в уголок, сажусь на пол и смотрю, как папа трет лоб, жует свою бороду, раскачивается, читает нараспев и заканчивает какой-то сложной трелью. Но тут приходит Сосл со своими инструментами и просит нас убраться отсюда куда-нибудь подальше.

— Куда еще? — спрашивает отец испуганным голосом.

— А я знаю? — говорит Сосл и останавливается с кистью посреди комнаты.

— В кладовую! В чулан! — говорит мама, входя с длинной палкой и новеньким крылом. Она выглядит, как неприятель, напавший на страну с оружием в руках.

— В чулане сейчас холодно, как в пустыне! — пытается убедить ее добрым словом отец.

— Лютый холод на него напал! — говорит мама.

— Замерзшие валяются на улицах! — поддерживает Сосл и начинает шлепать мокрой кистью по сухим стенам.

А мы, волей-неволей, вынуждены перебраться из маленькой комнаты в крохотную кладовку, и там нас обоим основательно пробирает холод. Нельзя сказать, чтобы отцу здесь было удобно сидеть и читать: это темное и узкое помещение, в котором двоим не разминуться. Зато для меня это сущий рай. Помилуйте, здесь есть полки, по которым можно лазить. Правда, отец не разрешает, он говорит, что можно убиться. Но кто его слушает? Только он углубился в свои книжищи, а я уже взобрался на первую полку, с первой — на вторую, а со второй — на третью.

— Кукареку! — прокричал я громко, желая показать папе свою ловкость, но поднял голову и так треснул о потолок, что у меня чуть зубы изо рта не вылетели. Отец, конечно, испугался и поднял крик. Тогда прибежала Сосл, а следом за ней мама, и обе надавали мне сколько влезло.

— Чтоб у ребенка были такие ребячьи повадки! — толковала мать.

— Это ребенок? Черт, а не ребенок! — помогла Сосл и кстатн сообщила, что нас сейчас попросят убраться отсюда в кухню, потому что дом уже почти наполовину убран к пасхе.

4

Из чулана — на кухню

В кухне я застал Мойше-Бера, того, что с огромными бровями. Он сидел с моим отцом на кухонной скамье. Они в эту минуту не сидели над книгами, а изливали друг перед другом наболевшую душу. Отец жаловался на предпасхальное изгнание, которому его подвергают вот уже несколько дней. «Скитание, эмиграция с одного места на другое!» Но Мойше-Бер говорит, что это чепуха, — ему хуже приходится.

— Меня, — говорит он, — моя благоверная и вовсе из дому выгнала.

Я смотрю на Мойше-Бера, на его огромные брови и никак не могу себе представить, чтобы его, такого крупного человека, с такими бровями, попросту взяли и прогнали. Постепенно они переходят к обычным своим разговорам и произносят какие-то странные слова: «Рамбам»*, «Кузари»*, «Философия», «Спиноза»* и им подобные, которые меня интересуют, как прошлогодний снег.

Гораздо интереснее серая кошка, которая сидит на печке и умывается. Сосл говорит: когда кошка умывается, — это к гостям. Я не понимаю: как может знать кошка, что будет гость? Подхожу к ней и начинаю с ней заигрывать. Сначала пробую прижимать пальцами ее лапку, — она не желает. Потом я учу ее «служить», стоять на задних лапках, — тоже не хочет. «Стой! Служи!» — говорю я ей и щелкаю каждый раз по носику. Она закрывает глаза, отворачивает голову, высовывает язычок и делает такое лицо, будто говорит: «Чего ко мне пристал этот паренек? Что ему надо от меня?» Мне досадно: «Чтоб кошка была такая упрямая!» И мучаю я ее до тех пор, пока она не царапнет мне руку своими острыми коготками. Я издаю страшный визг: «Ой, мама!» Прибегают мама и Сосл, поднимают шум, и мне достается от обеих, чтобы в следующий раз неповадно было играть с кошками! (Всего-то одна кошка, а у них это — «кошки!»)

— Поди мой руки, — обращается мама к папе, — пойдем в погреб, покушаем...

Сосл хватает кочергу и начинает орудовать в печке, не обращая внимания ни на меня, ни на папу, ни на Мойше-Бера. Наоборот, Мойше-Беру она намекает: чего, мол, толкаться здесь в такое время, перед пасхой? Казалось бы, гораздо разумнее, говорит она, сидеть дома, а не расхаживать по чужим домам! Мойше-Бер соображает, кого она имеет в виду, — он прощается, а мы спускаемся в погреб — покушать...

5

Из кухни — в погреб

Я не понимаю, почему морщится отец, почему он пожимает плечами и ворчит себе под нос: «Вот тебе и эмиграция!..» Что за беда, если один раз мы покушаем в погребе? Разве может помешать запах соленых огурцов, квашеной капусты или молочных крынок? Разве это так плохо, когда берут две опрокинутых бочки, накрывают их доской, на которой раскатывают тесто, а сами сидят тоже на опрокинутых бочонках и едят? Наоборот, мне кажется, что так гораздо лучше и гораздо веселее. Можно, между прочим, прокатиться на бочке по всему погребу. А если упадешь? Ну что ж, можно встать и снова прокатиться. Беда только в том, что Сосл следит, чтоб не катались.

— Он, — говорит она, — уже нашел себе новую игру! Хочет сломать себе ногу или руку...

Жить бы так моим врагам, как мне хочется сломать себе руку или ногу! Не знаю, чего хочет от меня эта Сосл. Вечно она меня преследует и все истолковывает к худшему. Когда я бегаю, она говорит, что я останусь без головы. Притронусь к какой-нибудь вещи, она говорит, что я хочу ее сломать. Держу пуговицу во рту, она поднимает крик: «Этот дурак хочет подавиться!» Зато я с ней рассчитываюсь, когда заболлеваю. Чуть только мне не по себе, она убивается, поднимает страшный шум...

— Теперь возьми ребенка и поди с ним наверх. Надо и погреб подготовить к пасхе.

Так говорит мама после обеда, и не успевает отец спросить, куда еще нам отправляться, как она сама говорит:

— На несколько часов — на чердак.

— Потому что в доме только что вымыли полы, — подхватывает Сосл. — Но смотрите, чтоб этот растяпа не скатился с чердака и не свернул себе шею.

— Типун тебе на язык! — говорит ей мама.

А Сосл подталкивает меня сзади, чтоб я шел быстрее:

— Ну, лезь уже, лезь, малохолный!

Отец идет следом за мной, и я слышу, как он ворчит себе под нос: «На чердак! Вот так эмиграция! Придумает же!..»

Странный человек мой папа! Ему говорят: «На чердак», а он почему-то недоволен! Я, например, был бы счень рад, если бы каждую неделю был канун пасхи и нужно было каждую неделю лазить на чердак. Во-первых, само по себе лазанье — дело интересное. Ведь в другое время, как бы я ни умолял, — разве позволят мне полезть на чердак? А теперь я шагаю по ступеням, как чертяка! Позади меня шагает отец и говорит мне: «Осторожно! Потихоньку!» Но что мне «осторожно», как я могу «потихоньку»? Чувствую, что за спиной у меня выросли крылья, я лечу, лечу!

6

Из погребца на чердак и — конец

Разве можете вы знать, что творится у нас на чердаке? Клады! Форменные клады!

Битые стекла от ламп, черепки, старые обноски, которые трудно узнать, то ли это женские, то ли мужские исподники. Валяется кусок меха, который расползается, как снег, как только к нему притронешься, листы из старых книг, порванные страницы из молитвенников, перегоревшая труба от самовара, перья, рваное решето, старая пальмовая ветвь растянулась по-хозяйски... А перекладины! А стропила! А крыша! Крыша вся из дощечек, и я могу до нее достать руками! Шутка ли, держать руками крышу!

Отец садится на балку и собирает страницы из молитвенников, складывает листок к листку, заглядывает в них и незаметно увлекается чтением. А я стою у маленького окошка под крышей и вижу перед собою весь город, всю Касриловку как на ладони! Все дома со

всеми крышами — черными, серыми, красными и зелеными. А люди внизу выглядят маленькими, и мне кажется, что лучше и красивее нашего города на свете быть не может! Заглядываю к нам во двор и вижу, что и у нас, и в соседних дворах моют и трут, скребут и чистят столы и скамейки и тащат большие чугуны горячей воды, раскаленные утюги, горячие камни, и ото всего валит пар, белый пар. Он клубится, катится, тает, словно дым. И в воздухе пахнет весной, ручьи бегут, козы блеют, и какой-то человечек в больших подвязанных веревочкой сапогах и с белой лошадкой тащится по лужам. Это извозчик Азриел. Он подстегивает свою конягу, которая еле вытягивает ноги из грязи. Это он везет кому-то возок мацы. Я вспоминаю, что у нас уже давно есть маца, она давно уже заперта в шкафу и завешана белой простыней. И яиц в шкафу наготовлена полная макитра, и пасхального жира большая банка, и две связки лука висят на стене, и еще там много разных чудесных вещей, напоминающих о прекрасном празднике. Я вспоминаю о новом костюмчике, который обещан мне к празднику, и сердце в груди растет как на дрожжах.

— Хозяин! — доносится снизу протяжный голос. — Потрудитесь выйти во двор проветрить книги!

Отец встает и сплевывает: «Тьфу ты пропасть! Вот тебе и эмиграция!»

Я никак не могу понять отца: чем он недоволен? Что может быть лучше и приятнее, чем стоять во дворе и проветривать книги? Я отрываюсь от окошка, бросаюсь к дверям чердака и... трах-тарарах головой вниз, ногами кверху по всем ступеням!..

Что было дальше, я не помню. Знаю только, что после этого падения я прохворал довольно долго и был, говорят, при смерти. Но, как видите, остался жив и здоров, дай бог дальше не хуже, если не считать того, что у меня шрам на лице, что с тех пор у меня и дыхание стало коротким и что при разговоре я по сей день моргаю глазами.

САМЫЙ МЛАДШИЙ ИЗ КОРОЛЕЙ

Рассказ в честь пасхи

1

Счастливого дитя этот Юзек! Все его любят, всякий старается приласкать его, поцеловать, потешить.

А в чем дело?

Ну как же — Юзек!

«Родные отец с матерью не стали бы так баловать единственного сынка, как две сестры, Сора и Ривка, балуют своего братишку. Все Юзек да Юзек, Юзек да Юзек! Юзек, ешь! Юзек, пей! Юзек, спи! Юзек, на тебе конфетку! Юзек, вот тебе новые штанишки на праздник! Юзек, накануне пасхи мы пошлем тебя в баню! Юзек, в пасху ты будешь справлять трапезу! Юзек да Юзек, Юзек да Юзек! Прямо надоело слушать! Вы портите ребенка, такое золотое дитя!»

Это говорят двум сестрам соседки, а сами то и дело норовят сунуть мальчику кто сахарный пряник, кто кусок пирога, кто печеночку для него зажарит, а кто даст полакомиться вареньем.

И все из жалости, весь мир жалеет Юзека — ведь Юзек бедный сирота!

2

Был на свете человек, которого звали Рефоелом, и прожил этот человек все свои дни в бедности и к тому же страдал одышкой. Он обладал музыкальной грудью, в которой вечно что-то играло, при каждом его вздохе

слышалось нечто вроде стона скрипки, по которой водят намазанным смычком. И был этот Рефоел весьма честным человеком и, да простит он мне, неудачником, то есть именно потому, что он был честным человеком, он был неудачником, а может, наоборот, именно потому, что он был превеликим неудачником, он и был честным человеком. В Касриловке поговаривали, что не будь Рефоел неудачником, он обладал бы большими деньгами.

И в самом деле. Много лет прослужил Рефоел у виноторговца реб Симхеле, довольствовался положенным жалованьем и на чужое никогда не зарился.

Хозяин винного погреба реб Симхеле мог вполне положиться на своего приказчика. Потому-то он и держал его в почете: каждую неделю аккуратно выплачивал ему пять карбованцев, по большим праздникам, бывало, дарил даже какую-нибудь десятку, ну, а бутылка вина и бутылка водки к пасхе — это не в счет. Как же иначе? Не такой человек реб Симхеле, чтобы не ценить верного служащего. Не его вина, что Рефоел заболел в погребе ревматизмом, а потом еще воспаление легких подхватил, и с тех пор внутри у него что-то свистит, и поет, и играет. Здоровье — это от бога. Самый здоровый человек может умереть на ногах. Наши мудрецы давно сказали... Но вы, наверно, и сами знаете, что говорили об этом наши мудрецы.

Короче говоря, в груди у Рефоела так долго свистело и играло, пока он не слег с жаром в сорок градусов и больше не встал.

3

Рефоел умер, и — ах-ах — каких похорон он удостоился! Уж и постарался реб Симхеле! Собственной персоной вынес носилки с покойником из дома; подставил плечо под носилки и так шел до самого кладбища, а там позаботился о хорошем месте для своего приказчика, сам следил за тем, как копали могилу, сам бросил первую горсть земли, и когда сынок покойного, Юзек, начал произносить вслед за шамесом Ойзером слова «кадиша» над отцовской могилой, реб Симхеле плакал, заливался слезами.

— Вы и понятия не имеете, — говорил он потом встречному и поперечному, — какая у меня потеря, такая потеря, что и сказать невозможно!

— Ты не плачь! — утешал он вдову. — Я тебя не оставлю, конечно, и твоих сирот тоже. Прежде всего бог, потом я...

И реб Симхеле старался, как мог. Первые несколько недель после смерти Рефоела он выплачивал вдове полностью жалованье мужа. Правда, каждую неделю ей приходилось ходить за этим жалованьем, и не раз, и не два, и нельзя сказать, чтобы ей это было особенно приятно, но подумайте сами, как могло быть иначе? На дом прикажете присылать ей деньги? Разве не достаточно того, что человеку даже после смерти платят жалованье?

— Вы требуете у меня денег, — сказал однажды реб Симхеле вдове, — как будто вам от меня что-то следует, как будто в моем винном погребе есть ваша доля.

Вернувшись домой, вдова пролила не меньше слез, чем в тот день, когда на полу лежал ее Рефоел. Узнав от матери причину этих слез, Сора и Ривка взяли с нее слово, что к реб Симхеле она больше не пойдет.

— Как же мы жить будем?

— Как другие живут: в прислуги пойдем или белье будем брать в стирку, а то на машине будем шить.

Шитье на машине вошло в обиход в Касриловке. Два пятиалтынных в день, пожалуй, можно этим выработать, если только не лениться и просидеть за машиной каких-нибудь шестнадцать — семнадцать часов в сутки. О работе беспокоиться нечего, работа всегда найдется: не платья, так лифчики, не лифчики, так рубашки, а если и рубашек нет, можно носовые платки подрубить. Скверно лишь то, что для работы нужна машина, вернее, две машины.

Правда, машины продают в рассрочку, но где раздобыть несколько карбованцев для первого взноса?

— Почему бы вам не сходить к вашему богачу? — спрашивали вдову Рефоела соседки. — Скажите ему, так, мол, и так, девушки отработают.

4

Не так это просто — сходить к богачу! Однако чего не сделаешь ради куска хлеба? И вдова отправилась к реб Симхеле, выбрав для этого самое подходящее время, как раз после обеда. Имейте в виду, если вы нуждаетесь в чьей-нибудь услуге, постарайтесь попасть

к нему после обеда. После обеда самый скверный человек добрее, чем до обеда: перед едой человек — зверь.

— Что скажешь хорошего?

Вдова выложила богачу все, как по-писаному, так, мол, и так, необходимы машины.

Лицо у реб Симхеле было красное и потное; ковыряя в зубах, он в полудремоте прислушивался к словам вдовы. Реб Симхеле, конечно, не спал, упаси бог, он только подремывал, глядя на вдову одной половиной одного глаза и думая немного о делах и немного о пицеварении. Он был несколько излишне упитан, чуть жирноват, и доктора велели ему есть побольше мяса и поменьше мучного; реб Симхеле же, как нарочно, любил все мучное: хлеб, лапшу, всевозможные запеканки и тому подобные кушанья, которые делают из муки. Он знал, что это ему вредно, но стоило ему увидеть мучное блюдо, и он его непременно съедал, а съев — раскаивался...

— Ну, как же ты поживаешь, значит? — спросил реб Симхеле, как только вдова умолкла. Встряхнувшись, он посмотрел на нее уже полутора глазами.

— Какая моя жизнь? — ответила вдова. — Я же вам сказала: врагу не пожелаю... Вот имела бы я теперь машину, нет, две машины, ну, хотя бы одну...

— Что за машину? — с удивлением спросил реб Симхеле, теперь уже глядя на вдову во все глаза.

— Я же вам говорила, что мои дочери хотят заняться шитьем, стать портнихами, но у них нет машин. Две машины им нужны, в рассрочку можно взять...

— Это хорошо. Портнихи? Славное занятие. Будут шить, зарабатывать, чего лучше!

«Что за притча, — в то же время думал реб Симхеле, — почему это у меня сегодня так переполнен желудок? Кажется, я не так уж много ел». Один глаз у него снова начал уменьшаться, но так как вдова умолкла, он опять встряхнулся и продолжал:

— Славно! Шить? Что ж, почему бы и нет?

— Вот я и хотела вас попросить, реб Симхеле, вы уже столько для нас сделали, может быть, вы бы...

Почувяв, что от него чего-то хотят, очевидно денег, реб Симхеле окончательно проснулся.

— Что такое?

— Я хотела вас попросить одолжить на первый взнос за машины.

— За какие машины?

— Я же вам говорила, за две машины для моих дочерей, ну хотя бы за одну.

— Откуда у меня машины? Какое я имею отношение к машинам?

— Лишь бы деньги, — сказала вдова. — Машины они сами купят. На выплату дают. Вот я, к примеру, сегодня вношу пятьдесят рублей, а потом, через три месяца, еще двадцать пять, а потом...

— Знаю, нечего мне объяснять. По мне, они могут и без машин прожить. Машины вдруг...

— Как же они будут шить? На руках много не сошьешь; у всех портних теперь есть машины.

— Как, ты хочешь сделать своих дочерей портнихами? Хороши же они будут! Встал бы твой муж и услышал, что ты хочешь сделать портних из его дочерей, он бы снова умер. Твой Рефоел был почтенным, благочестивым человеком, знаешь ты это или нет? Таких, как Рефоел, на всем свете не найдешь! Портнихи? Услышал бы Рефоел, он бы этого не выдержал. Он бы не знаю, что с собой сделал!

Реб Симхеле говорил проникновенно. Он уже и сам начал верить в то, что говорил, и чем дальше, тем внушительнее становился его голос.

— Портнихи, гм! Подходящее занятие для девушек! Уж мы знаем, что такое портниха, да еще у нас, евреев! Дочери Рефоела — и вдруг портнихи! А где же я? Да знаешь ли ты, что твой Рефоел вырос у меня на руках? Я из него сделал человека, прежде всего бог, потом я. А кто его женил, как не я? И ты хочешь, чтобы я этакое допустил? Ни за что! Да кто я такой, по-твоему, камень, бревно, а?

Вдова с чем пришла, с тем ушла.

Ушла и дала себе слово, поклялась душой своей, что ноги ее больше не будет в доме реб Симхеле, иначе пусть ей не придется вырастить своих дочерей. Уж лучше она в прислуги пойдет!

5

Легко сказать: пойти в прислуги! Жена приказчика Рефоела, хозяйка наравне со всеми уважаемыми касриловскими хозяйками, пойдет в прислуги! Будет стоять у чужой печи! Сидеть за чужим столом! Чем такая жизнь, лучше умереть! И вдова просила у бога смерти,

и великий всемогущий бог, отец сирот и покровитель вдов, на этот раз сжалился над бедной вдовой, не дал ей долго прозябать на свете и придумал для нее легкую смерть — опухоль такую во внутренностях. Помучилась она, и хорошенько помучилась, всего месяца три с половиной, и отдала богу душу. И должно же было случиться, что со времени смерти Рефоела в Касриловке, если не считать маленьких детей, никто не умер, и вдову похоронили рядом с мужем, могила возле могилы, — суждено же было такое счастье! Юзек начал заодно читать «кадиш» и по отцу и по матери, и тогда-то он стал так дорог соседям и соседкам и любим всеми теми, кто хоть раз слышал, как он, стоя на скамье в синагоге, читает «кадиш», щебечет своим детским голоском «Да возвеличится и святится»... Каждый, кому доводилось видеть этого ребенка с черными глазами и румяными щечками, в круглой шапочке на голове, каждый, кому доводилось слышать, как он, стоя на скамье в синагоге, поет «Да возвеличится и святится», застывал на месте, вздыхал и погружался в невеселые думы, и горько становилось у него на душе, ведь умереть может всякий, умереть и оставить маленьких детей, которые превратятся в сирот, господи, спаси и помилуй! И каждый старался сунуть в ручку сироте кто копейку, кто яблочко, отчасти из жалости, отчасти потому, что «благодарительность спасает от смерти»...

Надо признаться, что Юзек и в самом деле был удачным ребенком, личико его так и просило: «Люби меня!» Кроме того, он отличался хорошими способностями; слыл самым смысленным мальчишкой в касриловской талмудторе, на весь город прославился. Меламед Нойах не мог нахвалиться на него.

— Что-то очень уж хвалят сына приказчика Рефоела!

— Юзека? Другого такого на всем свете не сыщешь!

— И где же должно завалиться такое сокровище? На свалке, у бедняков!

— Это всегда так. Кому суждены долгие годы? Конечно же, безрукому и безногому, старику Мойше-Арону. А кто умирает? Зять реб Симхеле, свежий, здоровый, отец семейства и человек при деньгах — вот он и умирает!

— Зять реб Симхеле, вы говорите? Ну, а сноха богача Пейси?

— Как ее здоровье?

— Здоровье... Три раза уже привозили к ней профессора из Егупца.

— Три раза? Дай мне бог хоть половину того, сколько это стоило!

— Так уж все устроено на свете!

— Как устроено, таков и свет...

Так толкуют в Касриловке и почему зря критикуют творца вселенной: кому он дает долгую жизнь, а кому — короткую! Кому дает деньги, а кому лихоманку вместо них! Кому удачных детей, а кому — черт знает что!.. Однако никто не задается простым вопросом: как живут эти удачные дети? Кто их кормит? Не замерзают ли они в долгие зимние ночи в сырых подвалах? Не вырастают ли из них калеки, горбуны, нищие, никому не нужные несчастные создания?..

К счастью, сестрам Юзека, Соре и Ривке, все же удалось заполучить машину. Им помогли соседки, живущие с ними под одной крышей, — лекарша Бася, служка Песя и старьевщица Сося. Все трое сложились и ссудили сестер несколькими рублями для первого взноса, остальное они уже как-нибудь сами выплатят, и так появилась машина. Что же тут удивительного? Люди ведь! А то как же быть двум взрослым девушкам с мальчиком-сиротой на руках? Даже змея, говорят, жалеет своих маленьких змеенышей, тем более человек!

Одно лишь плохо, машина очень уж докучает своим стуком, а стучит она день и ночь, работы у сестер, благодарение богу, предостаточно, и работают они на машине попеременно, это значит, одна сестра строчит на машине, а вторая в это время топит печь, потом вторая строчит на машине, а первая занимается хозяйством. Машина стучит день и ночь, и соседки держатся за головы и ворчат втихомолку:

— Вот так трещотка!..

6

Бог милостив; он и болячку пошлет, но и без лекарства не оставит. Таким лекарством был Юзек. Слушается, в доме пусто и темно, дела идут плохо, на душе скверно, но на свет появляется маленькое существо, и дом приобретает новый облик. Вначале малыш пищит, кричит, надывается, не дает спать. Но вот он

немного подрастает, перестает кричать и смотрит широко открытыми глазками! Глядите-ка, смотрит! А ну-ка, малютка, ну-ка, крошечка!.. И малютка открывает ротик и показывает язычок, и у всех светлеют лица, все смеются: «Смотрите, смотрите, улыбается, дай мне так бог здоровья, улыбается!» Радость, утеха, у всех светлеет на душе. Дом полон малышом, с ним носятся, он заставляет забыть о всех несчастьях, он делает горести не такими горькими. Счастье в доме — и все тут!

Так и с нашим Юзеком. Юзек и был тем милым маленьким созданием, которое все любили и с которым все носились. На пасху его нарядили по-царски: набрали на сюртучок и на штанишки с помочами, сшили сапожки и шапочку новую купили, да еще орешков наобещали ему, а пока суд да дело, напекли ему из толченой мацы полную сковороду оладий, расстроили ему желудок и чуть не отправили на тот свет.

— Кто вас просит кормить ребенка черт знает чем? — выговаривали сестры Юзека соседкам.

— Полюбуйтесь на них! Дали ребенку оладушку со смальцем, так тут уж бог знает что делается!

Так оправдывались соседки, а лекарша Бася сделала все, что могла, чтобы спасти ребенка. Накануне пасхи Юзеку дали три гроша и чистую рубашку и отправили его в баню. А когда он вернулся, его одели во все новое, и он сиял, как солнышко.

— Царское дитя, — говорили между собой женщины.

— Пусть его зло не коснется, да минет его дурной глаз!

Юзек взял молитвенник, отправился в синагогу и прочитал там «кадиш». Когда он вернулся домой и поздравил всех с праздником, стол был уже накрыт и уставлен всем, чего только можно пожелать. И маца там была, и бутылка вина из изюма, и картошка, и соленая вода, и хрен, и харойсес*. Одного только не хватало: некому было отправлять трапезу.

Не было в доме короля!*

7

Все три соседки были вдовами, то есть вдовами, собственно, были две из них, а третья — разводкой. И детей ни одна из них не имела. Были, конечно, у них дети,

но не при матерях, а в чужбине, рассеянные и развеянные по всему миру: кто ремеслом занимался, кто служил в магазине, а кого судьба забросила в далекую, далекую Америку. К счастью, а может, к несчастью, случай загнал этих трех женщин под одну крышу. Хозяйка их обиталища, лекарша Бася, считалась среди них богачкой. Все трое жили под одной крышей, заквашивали тесто в одном корыте, стояли у одной печи. Только столик каждая из них имела отдельный, потому что трудно трем женщинам ужиться, всегда быть в ладу. Если вам случится увидеть модных дам, которые дружат между собой, нежно целуются, когда приходят друг к дружке на журфикс, усаживаются рядом и щелкают орешки, то пусть это вас не удивляет: это происходит только потому, что они не живут под одной крышей, не стоят у одной печи, не заквашивают хлеб в одной квашне.

В течение трехсот шестидесяти пяти дней, которые насчитывает год, женщины ссорились не меньше трехсот раз, хотя и то сказать, я не знаю, что у вас называется ссорой. Ни одна из них не могла пожаловаться на то, что у нее что-то забрали или оскорбили ее, задели ее честь, упаси бог, но просто соседки иногда не сходились характерами. Служка Песя, например, любит задвигать весь жар и потом закрыть печь заслонкой. Ничего плохого как будто в этом нет. Старьевщица Сося, однако, имеет привычку ставить по утрам на шесток кувшинчик цикория. Тоже как будто небольшой грех; не ставить же ей кувшинчик цикория рядом с горшками. Так нате же, Песя говорит, что из-за какого-то кувшинчика цикория она не даст пропасть своей хале, которая сидит в печи. На это старьевщица Сося возражает, что лучше пропасть ее врагам. Тогда служка Песя удивляется, откуда у старьевщицы столько врагов. А старьевщица Сося ей возражает: «Этого добра не занимать стать, врагов хватает, густо бы их сеять и редко бы им всходить». Тогда служка Песя говорит: «С каких это пор вы стали так разговорчивы?» А старьевщица Сося: «С тех пор как поселилась в этой пустыне». Слова старьевщицы задевают хозяйку дома, лекаршу Басю, которая во все время разговора стояла в сторонке с торчащими из-под платка ушами и скалкой раскатывала лист теста на субботу. «Не понимаю, почему вам здесь так пусто? Видно, сильно переплачиваете за квартиру?» — «Вам хорошо, — отвечает старьевщица Сося, — если вы богачка

и у вас денежки водятся, не сглазить бы!» — «Не ваше это дело, водятся у меня денежки или не водятся. У вас я ничего не взяла». А старьевщица Сося: «Что с меня взять? Мою бедность? Ну и берите ее себе на здоровье!» А лекарша Бася: «Держите ее при себе!» — «От бедности нельзя зарекаться, — вставляет служка Песя, — видели мы богачей и почище, собственные дома имели и полетели в тартарары!..» — «Глубоко в земле лежат и баранки пекут!» — поддерживает ее старьевщица Сося. Лекарша Бася выходит из себя и весь свой гнев переносит на старьевщицу. А служка Песя за нее заступает. Тогда между тремя женщинами возникает острая перепалка, мешанина из колючих словечек, поговорок и притчей: «Новая заступница нашлась!..», «Как вам нравится дерзость этой бабы?», «Не нравится вам, можете со мной не породниться!..», «Ищешь ножницы, а отзывается медный пестик!..», «Ни к селу ни к городу!», «Тоже мне госпожа — над кочергой да над лопатой!..», «Замолчи, горластая, а то как бы кочерга не полетела здесь кому-нибудь в голову!..», «Не знаю кому, вам это больше всех подойдет!..», «Так вот получай же!..», «На тебе!..», «Нате вам обеим!..»

Вы думаете, здесь бог весть что произошло? Оплеухи посыпались? Упаси бог! Только дули! Дули из двух пальцев и третьего посредине, и прямо в нос!

8

Не взыщите, но должен вам сказать, что если бы на трех модных дам надели одно ярмо и загнали бы их под одну крышу, то трудно поручиться, что бы из этого вышло; возможно, что ничего бы не вышло, а возможно, что вышел бы конфуз, еще, пожалуй, похлеще, чем у наших трех женщин. Я никого не собираюсь этим обидеть, но просто так, пришлось к слову, я и сказал...

Вернемся к нашим женщинам. Несмотря на острые конфликты и на ссоры, которые то и дело вспыхивали между ними, они друг дружке зла не желали. И откуда, собственно, могло здесь взяться недоброжелательство? Что они, хлеб одна у другой отбивали? Вот они поссорились, а вот и помирились. Когда же приближалась пасха, между ними устанавливался прочный мир, полное единство, самые сердечные отношения: в один день пекли

ману, заготавливали на всех одну кадучечку борща, все вместе покупали по дешевке мешок картошки, а потом усаживались за один стол справлять трапезу. Вместе с хозяйкой, лекаршей Басей. Поднимали миску и тихо повторяли за ней слово в слово пасхальное сказание, которое Бася читала вслух по толстому молитвеннику на разговорном еврейском.

Обычно трапезу отправлял Басин муж, лекарь Исроэл. Когда же лекарь умер, трапезу начал отправлять сын одной из соседок. Теперь же все разъехались кто куда, и во всем доме остался один только мужчина, Юзек. Вот и завели женщины разговор, не поручить ли в нынешнем году это дело Юзеку. Парнишка как-никак уже Пятикнижие учит, и читает он бойко, так почему бы ему не занять место мужчины, не выполнить роль короля?

— Юзек, хочешь быть королем?

Королем? Почему бы и нет? Кому придет в голову отказаться от королевства?

— Горе королевству, если королем там Юзек!.. — Так шутили соседки, а среди них и сестры Юзека. Тем не менее они устроили ему сиденье из подушек, и когда Юзек с торжественным приветствием пришел из синагоги, он во всем новеньком уселся на трон, как настоящий король.

9

Есть три вещи, которые легко передаются от человека к человеку, — это зевота, смех и слезы. Зевота, смех и слезы не в нашей власти.

Во время трапезы, которую мы здесь описываем, в самый разгар ее, когда сирота Юзек, этот молодой король, успел уже спеть молитвы «Лефихох» и «Галел» и, подняв второй бокал, стал произносить: «Приступаю к богоугодному делу, ко второму бокалу из четырех»*, готовый отпить первый глоток, среди женщин раздалось громкое рыданье, как будто оплакивали покойника.

Как это случилось, которая из женщин первая начала плакать, трудно сказать. Когда Юзек запел «Рабами мы были»*, одной из его сестер вдруг вспомнилось, что в прошлом году они тоже справляли трапезу, которую не сравнить с нынешней. Отец был еще жив, и мать была жива, и им, обоим сестрам, сшили на праздник

новые платья. Кому бы тогда могло прийти в голову, что в нынешнем году им придется сидеть за чужим столом, с чужими женщинами и Юзек будет отправлять для них трапезу... Девушка заморгала глазами, и нижняя губа у нее начала дрожать. Глядя на нее, и вторая сестра прослезилась. А глядя на них обеих, одна из соседок вспомнила про свое собственное горе: вот был у нее муж, шамес Ноте, и жилось ей за ним как нельзя лучше, — то есть хорошо ей никогда не жилось, — но, уж во всяком случае, лучше, чем теперь, когда ей пришлось стать помощницей шамеса, потому что шамес Ойзер, который раньше состоял помощником при Ноте, после его смерти возвысился, — из помощника превратился в шамеса, и жена его Гнеся так возгордилась, отец небесный, к ней и не подойдешь!..

От этих грустных мыслей лицо у Песи так скривилось, что будь старьевщица Сося крепче железа, она и то не смогла бы удержаться от слез. Сосе вспомнились всякие грустные вещи: целая орава женщин, которые не дают и гроша заработать, переманивают одна у другой покупательниц, а тем того только и надо, избаловались вконец. И еще вспомнила Сося свою старшую дочь, которая умерла давно, ребенком еще, Росей ее звали; не умерла бы Рося, она теперь была бы уже взрослой девушкой, а может быть, даже матерью семейства. И мужа своего вспомнила Сося, как он, бедный, мучился всю жизнь, ничто ему не удавалось, и больной был, совсем развалина. И старьевщица Сося, тихо повторяя вслед за лекашкой Басей слова пасхального сказания и покачивая в такт головой, заливается слезами. А лекашка Бася, хотя и сама читает, тоже не очень-то вникает в смысл сказания; слова текут у нее сами собой. Она же в это время думает о своих невзгодах, вспоминает детей, которые уехали от нее в далекую, далекую Америку. Она, правда, получает от них неплохие письма. Ее детям в Америке живется как будто не плохо, это значит, что они там наравне с другими людьми трудятся до седьмого пота. Чтобы показать, как им хорошо живется, они прислали матери фотографии, которые там называются «пикчерс». Они обещают даже прислать ей несколько рублей, или, по-ихнему, долларов, как только у них хоть немного поправятся дела, или, как это там у них называется, «бизнес», и шифскарту пришлют ей, и она поедет туда к ним, в большую счастливую страну, где у всех

жизнь как жизнь, где все люди равны, человек может умереть там с голоду посреди улицы, и никто, упаси бог, не скажет ему, что он скверно поступил... Но так она туда и поехала, не дождутся этого ее враги! У нее и здесь дети. А если им, бедняжкам, приходится туго, что же делать? Все от бога!

Эти мысли не мешают лекарше Басе бегло читать пасхальное сказание, она и не замечает, как плачет, как по лицу ее текут слезы. И вот, когда дело дошло до второго бокала и самый младший из королей остановился, чтобы отпить немного вина, женщины сами испугались своих рыданий.

Лекарша Бася вытерла фартуком глаза, высморкалась и с криком набросилась на остальных:

— Чего вы вдруг разревелись ни с того ни с сего? Йом-кипур сегодня, что ли? Или тишебов? * Видели этакое?

Женщины только тогда успокоились, когда одна из них поднесла королю таз и кружку воды помыть руки, вторая достала из печи горячую рыбу, а третья подала хрен. Самый младший из королей произнес благословение над мацой, женщины ответили «аминь» и молча приступили к ужину.

ГЕЦЛ

- Присядьте, я расскажу вам историю про орехи.
- Про что? Про орехи?
- Да, про орехи.
- Теперь? Во время войны? *
- Именно потому, что идет война и на душе невесело, я хочу вас отвлечь от черных мыслей. Впрочем, орешек раскусишь, а там ядрышко.

1

Имя его было Гецл, но звали его Придурковатый и считали дикарем. Всякий, кому не лень, рад был пошутить над ним, поиздеваться. Это был не малыш, как прочие в хедере, а рослый парень, с пухлыми губами, с толстенными руками. На нем постоянно топорщились широкие штаны и огромные сапожищи, а говорил он басом, точно из бочки. На этом неуклюжем теле сидела голова, величиной с дежу для выпечки хлеба, и набита она была, извините за выражение, паклей, трухой, перьями.

Реб Янкл, меламед нашего хедера, вечно попрекал его возрастом и обзывал невеждой, верзилой, медведем, грубым животным, дрянной костью, бычьей шкурой и тому подобными замечательными кличками. А он? Хоть бы что! Его это ничуть не трогало. Заберется в угол, набьет полный рот и жует, как теленок. Придурковатый, понимаете ли, очень любил поесть. Еда для него была дороже всего на свете. «Бездонная утроба», — говорили о нем ребята. «Обжора», — называл его меламед. А сам-то он хоть бы поморщился! Достанет завтрак, сунет

в рот и уминает без передышки. А завтраки ему приносили в хедер знатные — пирожки с творогом, вареников уйму. И эта неуклюжая гумба ко всему прочему был еще у своей богатой матери единственным, бесценным сыночком, и она кормила его беспрестанно, день и ночь, как откармливают примерно гуся, и к тому же вечно плакались, что «ребенок ничего не ест».

Надо заговорить его от дурного глаза! — замечал по этому поводу меламед реб Янкл, понятно, не в присутствии мамыши.

— Болячку его мамаше! — поддерживала жена меламеда и делала при этом такую гримасу, что невозможно было не расхохотаться. — В Полесье таких деток еще пеленают. Бедняжка!

— Подохнуть бы ему, и поскорей! — заключал разговор меламед и надвигал своему ученику шапку по самые уши.

Весь хедер покатывался со смеху, а Придурковатый сидел надутый и молчал. Он, конечно, сердился, но молчал.

Вообще-то его трудно было рассердить. Но если уж рассердили, то держись — медведь тогда не так страшен, как он. В ярости он скакал как бешеный, здоровенными зубами впивался себе в руку. А если уж давал затрепщину, то ты получал настоящее удовольствие. Товарищи, хорошо знавшие это, так как испытали все на собственной шкуре, смертельно боялись его и старались не иметь с ним никакого дела. К побоям, понимаете ли, еврейские ребята всегда относятся с большим почтением... И чтобы избежать расправы со стороны Гецла, все ученики объединились, десять против одного. Таким образом, у реб Янкла в хедере образовалось два лагеря: с одной стороны вся школа, а с другой — Гецл. Все ребята упражняли ум, а Гецл — кулаки. Все ребята осваивали Библию, Гецл усваивал пирожки с творогом и вареники.

2

Однажды под какой-то праздник ребята собрались играть в орехи. Игра в орехи такая же, как и все другие игры, не лучше юлы и не хуже карт. В орехи играют по-разному: в «ямку», в «скамейку», в «шапку». Кончается она, понятно, как все игры: один выигрывает, другой проигрывает. И, как всюду, тот, кто выиграл, — умник, ловкач, славный парень, а тот, кто проиграл, — балда, осел, ка-

лека, — словом, все как в большом мире, в клубах, где игроки сидят день и ночь за карточными столами.

Итак, ребята собрались в хедере, все десятеро, играть в орехи. Выложили на полу ряд, опрокинули скамью и принялись с нее катать орехи вниз. Кто выбьет больше орехов из ряда, тот выиграл.

Вдруг отворилась дверь, и на пороге появился Гецл, понятно, с полными карманами.

— А, наше вам почтение! — приветствовал его кто-то из ребят.

— Лучше бы нам приветствовать мессию... — отозвался другой.

— ...А тут явился Аман, — добавил третий.

— Раши * толкует этот случай так: черт принес этого Гецла!

— Во что вы играете? В «скамейку»? И я хочу играть! — заявил Гецл. — У меня есть орехи.

— Нет! Ни за что! — ответили ему.

— Почему?

— Потому.

— Ну так я вам не дам играть.

И, не долго думая, Гецл зашаркал ножищами и разогнал все их орехи по комнате. Понятно, это взорвало ребят. Какая наглость!

— Ребята, чего вы молчите? — крикнул один из них.

— Что ж нам с ним делать?

— Давайте наломаем ему кости! — пояснил третий.



— Ну-ка, попробуйте! — заявил Гецл и завернул рукава, готовясь к тяжелой работе.

И пошла война между двумя лагерями. С одной стороны был весь хедер, с другой — Гецл.

Однако десятеро — не один. Они, конечно, испробовали на себе силу его здоровенных кулаков, он набил им шишки на лбу, насадил фонарей под глазами, зато и они отделали его под орех: ногтями, зубами, как кому удавалось, царапали, щипали, драли его за волосы, рвали в куски, кусали и спереди, и сзади, и с боков. Короче говоря, десятеро — не один, победили они. И Гецл вынужден был, извините за выражение, отступить, или, попросту говоря, сбежать от них.

И тут только по-настоящему начинается рассказ об орехах.

3

Выскочив на улицу, взлохмаченный, исцарапанный, с разодранными штанами, Гецл минуту стоял в раздумье, потом хлопнул себя обеими руками по карманам так, что орехи у него загремели.

— Значит, не хотите со мной играть в орехи? — спросил он. — Ну, пускай дьявол с вами играет! Очень вы мне нужны! Чтоб вас семьсот раз удавили! Мы и вдвоем сыграем.



И Гецл пошел куда глаза глядят. Остановившись посреди дороги, он спросил, точно рядом с ним был еще кто-то второй:

— Куда же мы с тобой, Гецл, пойдем? — и тут же сам себе ответил:

— Вон туда, далеко-далеко... За город, по ту сторону мельниц. Там никого нет, будем с тобой вдвоем. Никто нам не помешает. Пусть кто-нибудь только попробует, мы ему быстро кости наломаем, в порошок сотрем...

Разговаривая этак с самим собой, Гецл и в самом деле начал ощущать, что он не один и сил у него хватит на двоих. Пускай заявятся его приятели, он их искрошит, сотрет в порошок! Это доставляло ему большое удовольствие, и он не переставал болтать с самим собой, будто их здесь взаправду было двое:

— Послушай-ка, до каких же пор мы с тобой будем шагать? — обратился он к самому себе и тотчас ответил:

— А это от тебя зависит.

— Может, нам присесть и поиграть в орехи? Как думаешь, Гецл?

— Что же, я согласен.

И Гецл расположился на земле, далеко за городом по ту сторону мельниц. Он высыпал из карманов все орехи, пересчитал их и разделил пополам, на две равные кучки. Одну половину он высыпал в правый карман, другую — в левый, затем снял шапку и, вынув из правого кармана несколько орешков, бросил их туда и проронил:

— Они думают, мы без них не обойдемся... Послушай-ка, Гецл, во что будем играть?

— А я знаю? Во что хочешь.

— Может, нам сыграть в «чет и нечет»?

— Давай.

И Гецл, тряхнув шапкой, спросил:

— Теперь отгадай: чет или нечет? Ну, отвечай же! — крикнул он сам себе и ткнул себя локтем в бок, после чего ответил:

— Чет.

— Чет, говоришь? Видать, давно тебя не пороли. Давай-ка сюда, ты проиграл три ореха!

Гецл вынул из левого кармана три ореха и переложил их в правый карман, затем опять тряхнул шапкой и снова спросил:

— Ну, а теперь? Чет или нечет?

— Нечет.

— Нечет, говоришь? Ах, болячка тебе! Проиграл четыре ореха. Давай их сюда!

И он переложил из левого кармана в правый четыре ореха, тряхнул шапкой и опять обратился к самому себе:

— Ну, может, теперь отгадаешь? Чет или нечет?

— Чет.

— Чет, говоришь? Ах, сгнить твоим костям! Давай, паршивец, пять орехов!

— Мало того что ты меня обыгрываешь, ты еще ругаешься!

— Кто виноват, что ты осел и каждый раз попадаешь, как слепой, в яму? Ну, отвечай опять: чет или нечет? Теперь уж ты, наверно, отгадаешь.

— Чет.

— Чет? Чтоб тебе такую жизнь! Давай сюда, лошак этакий, семь орехов и отвечай снова: чет или нечет?

— Чет.

— Опять чет? Ах, не быть тебе отцом! Давай, неудачник, еще пять орехов и уж наконец отгадай! Хоть один раз ответь правильно: чет или нечет? Ну, чего молчишь?

— У меня нет больше орехов.

— Неправда, есть.

— Честное слово, нету.

— Пошарь-ка лучше в кармане, на самом дне. Вот так!

— И следа не осталось.

— Нету? Проиграл все орехи? Что же ты натворил? Ну, не осел ли ты после этого?

— Мало того что ты обыграл меня, ты еще издеваешься надо мной!

— Так тебе и надо! Хотел меня обыграть, а я вот тебя обыграл.

Придурковатый очень рад тому, что Гецл проиграл, а он выиграл. Он чувствует, что ему прямо-таки здорово прибавилось; теперь он в силах обыграть весь мир. «Вот бы их теперь сюда, моих приятелей из хедера! Я посчитался бы с ними! Не оставил бы им ни одного орешка, даже для развода. Они бы у меня на коленях ползали, подошли бы на этом месте!»

Тут Гецл вошел в раж, заскрежетал зубами, сжал кулаки и закричал так, точно он и в самом деле был здесь не один, а еще с кем-то:

— Ну-ка, попробуйте связаться со мной! Теперь я не один, нас двое... Ну, Гецл! Ты чего это сидишь, как жених! Давай еще играть в орехи!

— В орехи? А где мне их взять? Я ведь сказал, что у меня нет ни одного орешка.

— Ах, я совсем забыл, что у тебя нет орехов... Знаешь, Гецл, я дам тебе совет.

— Какой?

— Деньги у тебя есть?

— Есть. Ну и что?

— Купи у меня орехи.

— Как это я куплю у тебя орехи?

— Осел! Не знаешь, как покупают? Давай деньги, бери орехи. Ха!

— Ну что ж, согласен.

Гецл вынул из кошелька серебряный гривенник, поторговался, переложил два десятка орехов из правого кармана в левый, и игра началась снова.

4

Рассказывают, бывалый картежник за полчаса до смерти призвал к себе сына, тоже картежника, и сказал ему:

— Дитя мое, я уйду из этого мира, больше мы с тобой не увидимся. Я знаю, что ты играешь в карты, у тебя моя болезнь... Так вот что я тебе скажу: играй сколько угодно, только отыгрываться упаси тебя бог!..

Слова эти, простите за сравнение, мудры, как тора. Нет хуже на свете, чем отыгрываться. Тут, как говорят бывалые люди, спустишь последнюю рубаху; тут тебя так глубоко закопают, что ты не встанешь и в день воскресения мертвых. Так говорят люди, так оно и случилось с нашим молодцом. Он так долго встряхивал шапку, спрашивая, «чет или нечет», до тех пор перекалывал из одного кармана в другой, пока левый карман снова не опустел.

— Ну, почему ты не играешь?

— У меня уже нечем играть.

— Опять остался без орехов, недотепа?

— Ты говоришь, я недотепа, а я говорю, ты шулер.

— Еще раз скажешь «шулер», и я тебя стукну по рылу.

— От тебя всего можно ожидать.

На несколько минут Гецл присмирел; мурлыча под нос какую-то песенку, он усердно ковырял пальцем землю; затем, выкопав ямку, проговорил:

— Скучно. Давай играть в орехи!

— Да нет же у меня орехов.

— А деньги у тебя есть? Я продам тебе еще десяток.

— Деньги? Откуда у меня деньги? Ни гроша!

— Ни орехов, ни денег? Ох, не могу, уморил! Ха-ха-ха!

Это «ха-ха-ха» разнеслось по всей равнине, эхом отозвалось в далеком густом лесу. А Гецл продолжал покачиваться со смеху.

— Что это ты расхохотался сегодня, мужик неотесанный? — спросил он сам себя и тут же ответил:

— Смеюсь над тобой, неудачник ты этакий. Мало того что ты проиграл все орехи, ты еще спустил мне все деньги, и какие деньги! Балда, сын балды! Ой, не могу! Ха-ха-ха!

— Да ведь ты сам подсказал мне, чтобы я так сделал, злодейская твоя душа, негодная тварь, дрянь этакая!

— Ну и умник! А если б я подсказал тебе отрезать нос, ты бы тоже послушал меня? Балда! Скотина в образе осла! Ха-ха-ха!

— Помолчал бы, Придурковатый! И лучше мне не видеть твоей противной рожи!

Гецл отвернулся сам от себя. Некоторое время он сидел надувшись, затем принялся ковырять пальцем в земле, затем засыпал выкопанную ямку, напевая что-то себе под нос.

5

— Знаешь, что я тебе скажу, Гецл? — обратился он спустя некоторое время к самому себе. — Давай помиримся, будем друзьями! Раз уж мне так повезло и я, с божьей помощью, выиграл столько орехов, почему бы нам не разгрызть несколько штук? Они, должно быть, недурны. Как ты думаешь, Гецл?

— Я тоже так думаю: они должны быть весьма недурны, — ответил он сам себе и швырнул в рот один, другой, третий орех, хлопая при этом себя каждый раз по зубам. Орешек с треском раскалывался, он вынимал жирное ядрышко, очищал его от шкурки и, бросив в рот, смачно жевал большими белыми зубами, похрустывая, точно лошадь, хрупающая овес.

— Может, и ты, Гецл, хочешь ядрышко? Не стесняйся, говори!

— Почему бы нет? — ответил он сам себе и протянул левую руку, но тотчас ударил по ней правой рукой.

— А болячки не хочешь?

— Пускай тебе будут болячки!

— А тебе две!

При этом Гецл не переставая щелкал орехи и жевал жирные ядрышки, хрустя зубами, как лошадь. Ему, однако, показалось мало того, что он сам обжирается, а тот, другой, сидит и смотрит ему в рот, он еще задал такой вопрос:

— Послушай-ка, Гецл, я хочу тебя спросить вот о чем: каково тебе, когда я ем, а ты смотришь?

— Каково мне? Дай бог, чтоб ты себя так чувствовал!

— Э, да ты, кажется, сердисься? Ну, на уж, на орешек!

Правая рука Гецла протянула левой руке ядрышко. Левая рука хотела его взять, но правая рука выставила ей, простите за выражение, кукиш. Тогда левая шлепнула по правой руке. Правая рука ударила левую руку. Левая рука развернулась и дала затрешину по правой щеке. Правая рука отвесила две оплеухи левой щеке. Левая рука ухватила правый лацкан. Правая рука тотчас оторвала напрочь левый лацкан. Левая рука вцепилась в правую пейсу, в ответ правая рука заехала в левое ухо.

— Послушай, Гецл, отпусти пейсу! Отпусти, говорю!

— Отпусти ухо, тогда отпущу пейсу.

— Дудки!

— Значит, останешься, Гецл, без пейсы.

— Значит, останешься, Придурковатый, без уха.

— Ой!

— Ай, ай!..

Эпизод

Несколько минут катался по земле наш Гецл. То он лежал кверху правым боком, то левым, но неизменно придерживал при этом руками карманы с орехами. Мгновенье победителем был Придурковатый, потом верх брал Гецл.

Наконец наш Гецл, вывалявшийся, как свинья, в грязи, растрепанный, с окровавленным ухом и оторванной пейсой, вскочил с земли, выволок из карманов орехи и принялся швырять их далеко-далеко, по ту сторону мельниц, в самую грязь, при этом сердито приговаривая:

— Вот так! Сделаем доброе дело! Ни тебе, ни мне!

ТРАПЕЗА

Сцена из моих детских лет

1

— Ума не приложу, что из этого ребенка выйдет! Что из него вырастет! Рохля какая-то, рева, мокрая тряпка, плакса, чтоб ему!.. Видали вы, чтобы ребенок вечно плакал?!

Это мама моя разговаривает сама с собой, наряжая меня во все праздничное, и то толкнет меня в бок, то шлепнет по спине, то ухватит за ухо, то рванет за волосы или пребольно ущипнет. И она еще хочет, чтобы я от таких ее дел не плакал, а смеялся! Она застегивает на мне сверху донизу мой субботний кафтанчик, который давно уже мне тесен настолько, что глаза лезут на лоб, когда его надевают на меня; да и рукава у него удивительно коротки, и мои вечно иссиня-красные руки совсем вылезли из них и выглядят, как опухшие. А это приводит мою маму в ярость.

— Ну и лапы! — говорит она и шлепает меня по рукам, чтобы я их опустил вниз, может, их не так видно будет. — Когда будешь у дяди Герца, лапы свои держи под столом! Слышишь, что тебе говорят! А морда чтобы не была багровой, как у девки Явдохи! И глаза не тараци, как кот! Слышишь, что говорят! И чтобы сидел по-человечески! А главное — нос! Ох, этот носик! Дай-ка сюда твой носик, уж я его приведу в порядок!

Пока у меня нос считается носом, еще туда-сюда, но как только мой нос становится «носиком» и мама начинает его «приводить в порядок», тут уж ему несдобровать. Не пойму, в чем мой нос провинился перед ней, больше чем, например, ухо, брови, глаза? Нос у меня

вроде как все носы — чуть толстоват, чуть красноват, немного вздернут и чуть-чуть мокроват. Ну и что же? За это его нужно со свету сжечь? Поверите ли, бывали времена, когда я молил бога, чтобы он избавил меня от этого носа, пусть отвалится ко всем чертям — и кончено. Я рисовал себе такие картины: в одно прекрасное утро я встаю совсем без носа и за завтраком подхожу к матери. Она хватя меня: «Ой, горе мне! Где же твой нос?» А я отвечаю: «Какой нос?» — ощупываю спокойно лицо, а сам гляжу на маму, как она выходит из себя, и торжествую: «Ага, так и надо! Пусть знает, какой вид у ее сына без носа!..» Глупые фантазии! Детские мечты! Господь не внемлет моим мольбам: нос растет, мама все время «приводит его в порядок», а я страдаю. И больше всего моему носу достается, когда наступает какой-нибудь праздник, пурим, например, и мы собираемся на ужин к дяде Герцу.

2

Дядя Герц — не только самый состоятельный в нашей семье, он первый богач в нашем местечке. Да и во всей округе, во всех местечках, только и слышишь — Герц, Герц и Герц! Вам станет все понятно, если скажу, что дядя Герц держит пару рысаков, имеет собственный экипаж, который так гремит, что все местечко выбегает поглядеть, как катит дядя Герц. А дядя Герц, со своей пышной медно-красной бородой и строгими серыми глазами, величественно восседает в экипаже, важно покачиваясь из стороны в сторону, и поглядывает на всех сверху вниз сквозь свои серебряные очки, точно хочет сказать: «Куда вам, мелюзге, до меня! Я — богач Герц, разъезжаю в собственной карете, а вы — голодранцы, нищие, шлепаете по грязи».

Не знаю, как другие, но я дядю Герца терпеть не могу; ненавижу я его красное лицо, его жирные щеки, его медную бороду и серебряные очки на носу, его большой живот с массивной золотой цепью на середине, его круглую шелковую ермолку на голове. Но больше всего ненавижу я его покашливание. У него особенный такой кашель, — кашляет, дернет плечом, откинет назад голову и фыркнет, точно хочет сказать: «Внимание! Это я, Герц, кашлянул. И не потому, что я, упаси господи, простужен, но просто так, захотел и кашлянул».

Никак не пойму я моих родных: что это с ними творится, когда приходит праздник пурим и мы начинаем собираться к дяде Герцу на трапезу? Казалось бы, все в доме у нас любят его, как хорошую хворобу, а мама, которая приходится ему родной сестрой, тоже не слишком тоскует по нему. Когда старших детей нет дома (меня мама, видно, мало стесняется), она благословляет дядю Герца странным образом: она желает ему, «чтобы он в будущем году оказался в ее положении». Но пусть кто-нибудь другой попробует дурно отозваться о дяде Герце, она глаза выцарапает. Однажды я был свидетелем, как мой отец попался на слове. Он лишь спросил у мамы: «Что слышно? Твой Герц уже приехал?» Тут мама задала ему такую взбучку, что бедный отец не знал, куда ему деваться.

— Почему это «мой» Герц? Что это за разговоры? Что за выражение? Почему именно «мой»? Почему?

— Конечно, твой, а то чей же? Мой, что ли? — пробует отец отразить удар, но ему это не удается, мама атакует его со всех сторон.

— Ну, а если мой, то что? Ну, мой! Тебе это не по нраву? Это роняет твое высокое достоинство?! Ты, наверное, истратил на него отцовское наследство?! И ты, конечно, никогда никакого добра от него не видал?!

— Да кто говорит, что не видал? — пробует отец по-хорошему. Он готов уже сдаться.

Но не тут-то было. Мать не перестает наступать:

— У тебя, наверное, лучшие братья, чем у меня, да? Знатней, почтенней, добрей, богаче, да?

— Ну, довольно! Будет уж! Конец! Оставь ты меня в покое! — кричит отец, нахлобучивает шапку и выбегает из дому. Отец опять потерпел поражение, а мать и на этот раз победила. Она всегда побеждает, и не потому, что она у нас верховодит, но потому, что дядя Герц... Потому что дядя Герц — богач, а мы его бедные родственники — всего лишь его родня.

3

Что, собственно, нам до дяди Герца? Кормит нас, поит, благодетельствует нам? Не знаю, не могу сказать. Вижу лишь, что у нас в доме все, от мала до велика, боятся его, как смерти. Подходит праздник пурим, и у

нас уже за две недели начинают готовиться к трапезе. Мой старший брат Мойше-Авром, юноша с бледными, впалыми щеками и черными задумчивыми глазами, приглаживает себе пейсы всякий раз, как только при нем произносят: «У дяди Герца за трапезой...» Что уж там говорить о моих двух сестрах — Мирьям-Рейзл и Хане-Рохл (одна из них уже невеста)! Эти ради вечера у дяди Герца сшили себе платья «по последнему фасону», купили красивых гребешков и лент в косы. Они надеялись, что и ботинки им починят, но мама отложила это до пасхи, хотя ей очень больно, что они, бедняжки, ходят почти разутые. Особенно страдает она из-за Мирьям-Рейзл; ее беспокоит, как бы жених не заметил, что невеста ходит в рваных башмаках. Сестра и без того немало терпит от своего жениха. Мало того что он неуч, выдающий себя за бухгалтера, на самом же деле попросту приказчик в лабазе, — он к тому еще и ломается. Ему, видите ли, нужно, чтобы его невеста, то есть моя сестра, наряжалась по последней моде, как какая-нибудь принцесса.

Каждую субботу после обеда этот самый приказчик приходит к нам в гости, усаживается с моими сестрами у окна и заводит разговор; разговор этот почти всегда о нарядах, о новых костюмах, о лакированных сапожках с калошами, о модных шляпках с перьями, о зонтиках с кружевами; говорят они также о наволочках с прошвой, о матрасах в красных наперниках, которые покрывают белой простынкой и застилают сверху хорошим одеялом, настоящим теплым байковым одеялом. Лечь в такую постель зимой одно наслаждение! И я вижу, как моя сестра Мирьям-Рейзл становится вдруг красной, как мак. Такой уж у нее характер, чуть что, сразу кровь приливает ей к лицу. Когда жених нечаянно глянет ей на ноги, она быстро прячет их под стул, боится, как бы он не заметил ее стоптанных каблучков и торчащих наружу пальцев.

4

— Ты уже готов? — спрашивает мама у отца днем в праздник пурим.

— Давно уже готов, — отвечает отец и надевает праздничную бекешу. — Как дети?

— Дети тоже почти готовы, — отвечает мама, хотя прекрасно знает, что дети, то есть мои сестры, еще

далеко не готовы. Они еще только расчесывают волосы, мажут их миндальным маслом, причесывают друг дружку, прихорашиваются, надевают свои новые платья, смазывают ботинки гусиным смальцем, чтобы они блестели, казались новыми. Но какой уж тут блеск, когда каблук — ох уж эти каблуки! — совсем сели, а пальцы чуть ли не торчат наружу! Что бы это придумать, чтобы, упаси господи, жених не приметил? И как назло, черт несет его к нам, приказчика этого, в новешеньком костюме, с сильно накрахмаленным воротничком, с зеленым модным галстуком; а из густо накрахмаленных белых манжет торчат две здоровенные красные руки с черными ногтями, только что постриженные волосы стоят дыбом. Он вытаскивает из кармана белый накрахмаленный носовой платок, от которого так разит духами (смесь гвоздики и ноготков), что у меня начинается шекотать в носу и я чихаю; а от чиханья лопается мой кафтанчик, две пуговицы на нем отскакивают прочь. Ну, тут уж мама устраивает мне настоящую головомойку.

— Вот балбес! И пуговицы на нем не держатся! Чтоб тебя не разорвало! — Так, поругиваясь, мама хватается иголку с ниткой и принимается пришивать на мне отскочившие пуговицы.

Когда наконец все готовы, мы отправляемся к дяде Герцу на ужин. Впереди всех, высоко подобрав полы бекеша, шествует отец; за ним, так как на улице непролазная грязь, в мужских сапогах шагает мама; за нею — обе сестры с зонтиками в руках (не знаете ли вы, к чему в пурим зонтики?); за сестрами выступает мой старший брат Мойше-Авром. Он держит меня за руку и выискивает место, где посуше, но каждый раз попадает в самую грязь и всякий раз вскрикивает, как ошпаренный: «Уф-фа!» В стороне идет приказчик, наш жених, в новых глубоких калошах, единственный среди нас в калошах, и каждую минуту громко выкрикивает, чтобы все слышали: «Ах, не набрать бы мне в калоши!»

И вот так мы являемся к дяде Герцу на трапезу.

5

Хотя на дворе еще день, но у дяди Герца уже зажгли свечи, много свечей; на столе горят лампы, по стенам бра. Стол накрыт. Большое место на нем занял огром-



ный праздничный пирог с маком, величиной с целого вола. А вокруг стола толчется вся наша родня — все дядья и тетки, как на подбор, — одни чуть победнее, другие чуть побогаче! Они тихо переговариваются между собой и напряженно ждут, как на обрезании, когда вот-вот должны внести младенца. Дяди Герца не видно, а тетя, женщина со вставной челюстью, синегубая, в белом жемчуге, озабоченно мечется вокруг стола; она расставляет тарелки, пересчитывает всех нас левой рукой, ничуть не беспокоясь о том, что это может принести нам несчастье.

Но вот открывается дверь, и появляется сам дядя Герц, одетый во все праздничное. На нем шелковая блестящая бекеша с широченными рукавами, меховая шапка, которую он надевает только в пурим к трапезе и в пасху к торжественной вечере. Вся родня отвешивает ему почтительный поклон, мужчины как-то странно улыбаются, потирают руки, женщины поздравляют его с праздником, а мы, детвора, стоим как истуканы и не

знаем, куда деть свои «лапы». Сквозь серебряные очки дядя Герц окидывает нас всех, всю свою родню, одним коротким взглядом и, кашлянув, неопределенно машет рукой.

— Ну, что же вы не сидите? Садитесь, вот стулья!

Вся родня мгновенно рассаживается, но каждый сидит на кончике стула, боится прикоснуться к столу — как бы чего не испортить, и глубокое молчание воцаряется в зале. Слышно, как потрескивают свечи; мельтешит в глазах, на душе неладно. Хотя все голодны, но есть уже никто не хочет, аппетит сразу пропал.

— Что ж вы молчите? Потолкуйте, расскажите что-нибудь! — говорит дядя Герц и кашляет, при этом подергивает плечами, откидывает назад голову и фыркает.

Родня молчит. Никто и слова не смеет вымолвить у дяди Герца за столом. Глуповато улыбаются мужчины: хотелось бы что-нибудь сказать, да не знают, с чего начать; растерянно переглядываются женщины, а мы, детвора, горим, как в огневице или в оспе. Мои сестры разглядывают друг дружку так, точно они впервые в жизни встретились. Мой брат Мойше-Авром глядит куда-то в пространство, и лицо у него бледное, перепуганное. Нет, никто не решается вымолвить слово у дяди Герца за столом. Лишь один человек, как всегда и везде, чувствует себя хорошо, — это приказчик, жених нашей Мирьям-Рейзл. Он вытаскивает из заднего кармана свой большой накрахмаленный и сильно надушенный платок, громко сморкается, как у себя дома, и говорит:

— Удивительно, чтобы в пурим была такая грязь! Я все боялся, сейчас наберу в калоши...

— Кто этот молодой человек? — спрашивает дядя Герц, сняв серебряные очки, и, кашлянув, дергает плечами, вскидывает голову и фыркает.

— Это мой... мой жених... жених моей Мирьям-Рейзл, — еле слышно говорит отец, точно человек, который кается в совершенном убийстве.

Мы все застываем на месте, а Мирьям-Рейзл, — о, боже мой! — Мирьям-Рейзл пылает, как соломенная крыша.

Дядя Герц вновь оглядывает родню своими строгими серыми глазами, вновь дарит нас своим «кхе-кхе», опять

дергает плечами, вскидывает головой, фыркает и говорит:

— Ну, что ж вы не моетесь? Мойте руки. Вот вода!

6

Омыв руки и прошептав наскоро молитву, вся родня вновь рассаживается вокруг стола и ждет, когда дядя Герц совершит благословение и надрежет огромный праздничный пирог, тот самый, что величиною с вола. Все сидят, как немые. Мы бы уж не прочь что-либо отведать, да, как назло, дядя Герц устраивает всякие церемонии, точно праведник какой. Еле-еле дождались. Наконец-то нарезали пирожище величиною с вола. Но не успели мы и куска проглотить, как дядя Герц уже подымает на нас свои строгие серые глаза, кашляет, дергает плечами, запрокидывает голову и фыркает:

— Ну, что же вы не поете? Спели бы что-нибудь! Ведь нынче пулим на земле!

Родня переглядывается, шушукается, переговаривается шепотом; один другому предлагает: «Спой что-нибудь!», «Спой ты!», «Почему я, а не ты?» Торгуются так долго, пока наконец не выскакивает один — Авремл, сын дяди Ици, — человек без растительности на лице, моргающий глазами, обладатель пискливого голоса, мнящий себя почему-то певцом.

Что хотел спеть Авремл, не знаю. Знаю лишь, что нужно было быть ангелом, самим богом, чтобы не прыснуть со смеху, когда Авремл взялся двумя пальцами за горло, состроил плаксивое лицо, сразу сбился на фальшивый тон и визгливо затынул неестественно высоко что-то дикое и тягучее. А тут еще напротив сидят ребята и тарашат на него такие глаза! Нет, не покатыться со смеху никак нельзя было!

И первым прыснул я, зато и первую оплеуху от матери получил тоже я. Однако эта пощечина меня не охладила, наоборот, она вызвала хохот у всей оравы ребят и новый взрыв смеха у меня. А новый смех привел к новой пощечине, новая пощечина — к новому смеху, новый смех — к новой пощечине, и так до тех пор, пока меня наконец не выволокли из зала на кухню, из кухни на улицу, а там уже, избитого, истерзанного, обливающегося слезами, кровавыми слезами, отвели домой.

В тот вечер я проклинал себя, проклинал пурим, трапезу, проклинал Авремла, сына дяди Ици, но больше всего дядю Герца, — да простит он мне: он теперь уже в лучшем из миров. На его могиле стоит надгробный камень, лучший памятник на нашем кладбище; на том камне золотыми буквами перечислены все добродетели, которыми отличался дядя Герц при жизни:

«Здесь покоится человек благочестивый, добрый, сердечный, добродетельный, щедрый, приветливый, отзывчивый, любезный со всеми, и т. д. и т. д.

Да обретет душа его вечную жизнь».

ТРИ ГОЛОВКИ

1

Если бы перо писателя могло превратиться в кисть художника или хотя бы в аппарат фотографа, то я бы, друг мой, подарил тебе в честь пятидесятницы картину с изображением редкостной группы: ты бы увидел три хорошеньких юных головки, трех бедных, разутых и раздетых еврейских детей. У всех трех головок черные вьющиеся волосы, большие сияющие глаза, которые смотрят на вас, как бы чему-то удивляясь, и спрашивают: «Почему?» А вы восхищаетесь, глядя на эти головки, и чувствуете какую-то вину перед ними: как будто вы виноваты в том, что они появились на свет божий, появились на свет три лишних существа.

Три хорошеньких головки принадлежат двум братьям — Абрамчику и Моисейчику — и их маленькой сестренке Двойрке. Абрамчик и Моисейчик — так, на русский лад, назвал мальчиков их отец, переплетчик Пейся. Если бы он не стеснялся своей жены Песи и не был бы таким отчаянным бедняком, он бы и себя переименовал из Пейси-переплетчика в Петю-переплетчика. Но так как он слегка побаивается жены и так как он, не в обиду будь сказано, гол как сокол, он пока остался при старом имени — Пейся-переплетчик — в ожидании лучших времен, тех счастливых времен, когда все переменится, как Бебель говорит, и как Карл Маркс говорит, и как все хорошие умные люди говорят. Вот тогда-то, вот тогда все будет по-другому. А пока наступят эти добрые счастливые времена, надо стоять с рассвета до поздней ночи за верстаком, резать картон и клеить коробочки. И Пейся-переплетчик целые дни проводит на ногах, и режет картон, и клеит коробочки. Помогает он себе старыми и новыми

ми еврейскими и нееврейскими песнями. Большею частью это песни полугрустные-полувеселые с полугрустными-полувеселыми мелодиями.

— Перестанешь ты когда-нибудь петь эти песенки? И надо же так влюбиться в иноверцев! С тех пор как переехали в большой город, настоящим православным стал, прости господи...

2

Все трое — Абрамчик, Моисейчик и Двойрка — родились и выросли в углу между стеной и печью. Все трое каждый день видят одно и то же: веселого отца, который режет картон, клеит коробки и поет песни, и озабоченную, высохшую мать, которая варит и печет, убирает, и метет, и всегда торопится, и никогда не успевает. Оба всегда заняты: мать — у печки, отец — за верстаком. Кому нужны все эти коробки, зачем столько картонок? Папиных коробок, наверно, на весь мир хватило бы. Так размышляют три хорошеньких головки, с нетерпением дожидаясь, когда же у отца снова накопится много-много коробочек, тысяча коробочек, и он, наполнив ими корзины, поставит одну на голову, а другие две возьмет в обе руки и пойдет на базар; а домой он вернется без коробок, но с деньгами для мамы и с баранками, крендельками или конфетами для детей. Какой же у них хороший отец, до того хороший, ну просто замечательный! Мама тоже хорошая, но сердитая. Только и жди от нее шлепка, пинка или оплеухи. Мама не любит, когда в доме беспорядок, она не хочет, чтобы дети играли в папу и маму, она не хочет, чтобы Абрамчик кромсал падающие со стола куски картона, чтобы Моисейчик таскал клей у отца и чтобы Двойрка пекла хлеб из песка и воды. Мама хочет, чтобы дети сидели тихо, спокойно. Мама, видно, не знает, что три головки работают, что юные души куда-то влечет, влечет... Куда же их влечет? К свету, конечно, к свету — к окну.

3

Всего лишь одно окно, одно-единственное окошечко. Три головки спорят из-за места у этого окна. Что же видят они в окно? Стену, высокую, широкую, серую и



сырую стену. Никогда не просыхает эта стена, даже летом. А навещает ли детей когда-нибудь солнце? Конечно, навещает. Не полное солнце, разумеется, а солнечный луч. Тогда в доме праздник. Все три хорошеньких головки припадают к окну и смотрят вверх и видят высоко-высоко длинную узкую синюю полосу, похожую на длинную узкую синюю ленту.

— Смотрите, смотрите, это небо!

Так говорит Абрамчик, Абрамчик знает. Абрамчик ходит в хедер. Он там учится складывать буквы. Хедер помещается неподалеку, в соседнем доме, даже не в соседнем доме, надо только войти в соседнюю дверь. Ах, каких только чудес не видит Абрамчик по пути в хедер! Абрамчик рассказывает, что он сам видел, — видеть бы ему так всякое добро, — большой каменный дом, сплошь из окон, сверху донизу; Абрамчик клянется, что он сам видел, — видеть бы ему так всякое добро, — высокую трубу, а из высокой трубы валил дым; Абрамчик рассказывает, что он сам видел, — видеть бы ему так всякое добро, — машину, на которой шьют без рук; Абрамчик рассказывает, что он сам видел, — видеть бы ему так всякое добро, — телегу, которая ездит без лошадей. Много еще чудес рассказывает Абрамчик и божится при этом точь-в-точь как мама: «Видеть бы мне так всякое добро». А Моисейчик и Двойрка слушают его, и вздыхают, и завидуют ему: все на свете знает Абрамчик, все, все.

Например, Абрамчик знает, что дерево растет. Правда, сам он тоже никогда не видел, как растет дерево. Нет у них на улице деревьев, нету. Абрамчик, однако, знает (он слышал об этом в хедере), что на деревьях растут фрукты. Поэтому, прежде чем отведать какой-нибудь фрукт, произносят молитву «Сотворившему древесные плоды». Абрамчик знает (чего он только не знает!), что картошка, например, или огурцы, или лук, или чеснок растут на земле, и поэтому, прежде чем есть их, произносят молитву «Сотворившему плоды земли». Все знает Абрамчик. Не знает он только, где и как все это растет, потому что так же, как Моисейчик с Двойркой, он никогда ничего подобного не видел: ведь у них на улице нет поля, нет огорода, нет деревьев и травки нет, нет и нет... У них на улице есть большие каменные дома, серые стены, высокие трубы, из которых идет дым, и много-много окошек в каждом большом доме, тысячи окошек у них на улице, и машины, которые шьют без

рук, и телеги, которые ездят без лошадей, а больше ничего, ничего. Даже птичку здесь редко увидишь. Если и залетит когда-нибудь воробушек, так и он сер, как эта серая стена. Ткнется в серый камень: «пи-пи...» — вспорхнет и улетит. Что касается птиц, то иногда по субботам дети видят четверть курицы с бледной вытянутой ножкой. Сколько ножек у курицы? Само собой разумеется, четыре. Так же, как у лошади. К такому решению приходит старший, Абрамчик, а ведь Абрамчик все знает! Иногда мама приносит с базара куриную головку с закотившимися глазами, подернутыми тонкой белой пленкой. «Она мертвая», — говорит старший, Абрамчик. И все трое смотрят друг на друга большими черными глазами и вздыхают. Рожденные и выросшие в большом городе, в каменном доме, в тесноте, заброшенности и бедности, они не имели возможности увидеть живого зверя, птицу, даже коровы никогда они не видели, никого, никого, кроме кошки. Кошка у них своя, живая, настоящая серая кошка, серая, как высокая серая сырая стена. Кошка — их единственная радость. С кошкой играют они часами, повязывают ей голову платком, навязывают ее сватей и смеются, смеются без конца! Завидит эти игры мама и всыплет детям: кого пинком наградит, кого оплеухой, а кому и уши надерет. И дети уходят на свое место, за печку. Старший, Абрамчик, рассказывает что-то, а младшие, Моисейчик и Двойрка, слушают, смотрят на старшего брата большими глазами и слушают. Абрамчик говорит, что мама права, Абрамчик говорит, что с кошкой нельзя играть, потому что кошка — нечистая тварь и пакостница. Все знает Абрамчик, все, все. Нет такой вещи на свете, которой бы Абрамчик не знал.

4

Все знает Абрамчик. Абрамчик знает, что есть страна, очень далекая страна, которая называется Америкой. Там, в этой Америке, у их родителей много друзей и знакомых. Туда, в эту Америку, вся семья переедет, с божьей помощью, в будущем году, когда получит шифскарты. Без шифскарт нельзя ехать в Америку, потому что надо плыть через море, а на море буря, и буря швыряется, и это опасно для жизни. Все, все знает Абрамчик.

Все, все. Даже что делается на том свете. Он, например, знает, что на том свете есть рай, специально для евреев, конечно. В раю много деревьев с самыми лучшими плодами, в раю текут молочные реки, алмазы и бриллианты валяются на улицах, только не ленись набивать карманы. Благочестивые евреи сидят там день и ночь за молитвой и наслаждаются божьей благодатью.

Абрамчик рассказывает, а у Моисейчика и Двойрки загораются глаза, они завидуют старшему братишке, который знает все на свете. Все он знает, даже то, что делается на небе. Абрамчик божится, что два раза в год: ночью гейшанорабо и в ночь на пятидесятницу, раскалывается небо. Правда, он сам никогда еще не видел, как раскалывается небо, потому что у них на улице нет неба, но зато видели его товарищи. Да, они клянутся, что видели собственными глазами, — видеть бы им так всякое добро, — как раскалывается небо, не будут же они клясться в том, чего не видели, ведь это грех! Как жалко, что на этой улице нет неба! Есть только длинная узкая синяя полоса, похожая на длинную узкую синюю ленту. Что можно разглядеть на таком клочке, кроме двух-трех маленьких звездочек и кусочка луны? Чтобы убедить своего младшего братишку Моисейчика и свою младшую сестренку Двойрку в том, что небо действительно раскалывается, Абрамчик теребит за платье мать.

— Мама, правда, сегодня, в пятидесятницу, около полуночи расколется небо?

— Голову я тебе расколю.

Такую отповедь получает Абрамчик от матери. Теперь ему остается только поджидать отца. Отец отправился на базар с целой горой коробочек.

— Ну-ка, угадайте, какой подарок принесет нам сегодня отец?

Так говорит Абрамчик, и все три головки принимают гадать, какие же гостинцы принесет им с базара отец. Они загибают пальцы, перечисляя все, что есть на базаре, все, что глаз человека может увидеть и сердце человека может пожелать: баранки, крендельки, конфеты... Но на сей раз ни один из них не угадал. Боюсь, что и вы не угадаете. Пейся-переплетчик не принес ни баранок, ни крендельков, ни конфет. А принес он траву, целую охапку травы — длинной, зеленой, пахучей, удивительной травы.

Три хорошеньких головки окружают отца.

— Папа, что это?

— Это зелень.

— А что такое зелень?

— Зелень на праздник. Евреям в праздник нужна зелень.

— А где ее берут, папа?

— Как так, где берут? На базаре покупают, на базаре.

Так говорит отец и разбрасывает по свежетытенному полу зеленую пахучую траву и радуется, что в комнате зелень и что зелень пахнет, и говорит маме весело, как всегда:

— Песя, с праздником тебя!

— Поздравляю, мусору в доме не хватало, будет выродкам твоим чем сорить!

Так отвечает мама, как всегда недовольная, и, по своему обыкновению, награждает детей: одного — пинком, другого — шлепком, третьего — оплеухой. Чудная у них мама! Ничего-то ей не нравится, вечно она невеселая, вечно озабоченная, совсем непохожа на отца!

И три хорошеньких головки смотрят на мать, смотрят на отца, смотрят друг на друга, а когда родители створачиваются, бросаются на пол, припадают к пахучей траве, целуют пахучую траву, которая называется зеленью, которая нужна евреям на праздник и которую покупают на базаре.

Все есть на базаре, даже зелень. Все покупает папа, все нужно евреям, и все есть у евреев, даже зелень, даже зелень!

ЧЕТА

*Чудсвищная история о том, как однажды два невинных существа
были среди ночи разбужены, связаны, отвезены на ярмарку
и проданы дикарям; как те целый месяц кормили их на убой,
а за день до пасхи зарезали, как баранов*

ОТ АВТОРА

Рассказчик просит читателя не искать в этой истории каких-то аллегорий, не строить догадок насчет того, кого писатель имел тут в виду. В рассказе нет и намека на аллегорию и даже, если хотите знать, ни на грош того, что у нас называют символизмом. Это самое простое повествование — без какого-либо умничания и претензии на глубокомыслие — о двух невинных божьих созданиях, которые жили, любили, мечтали, терзались, предавались надеждам и пали от рук жестоких убийц как раз в канун пасхи ни за что ни про что.

Нерви (Италия).

1

Страшная ночь

Это стряслось в одну из черных, тонущих в вязкой грязи предпасхальных ночей. Все было окутано мраком, все было погружено в сон. Кругом была такая тишь и оцепенение, что даже рыба в воде и та боялась высунуть голову на божий свет в эту застывшую, черную, недвижимую ночь. В такую ночь у ангела сна хлопот полон рот.

Он, не жалея красок, полной горстью рассыпает вокруг фантастические сны, в которых ни складу ни ладу, нелепица на нелепице.

Сны, которые видел в эту ночь герой нашего повествования, были странные, необычайные, дикие. Целую ночь ему снились птицы — куры, гуси, утки. Какой-то красный петушишка, совсем еще юнец, однако до крайности дерзкий, нагло прыгал перед самым его носом, гоготал и пел странную песенку:

Кукареку, длинный нос!
Будешь пойман, точно пес,
Будешь связан, бит в свой срок,
Будешь брошен на возок,
Будешь крепко весь истерзан
И, как курица, зарезан!..

Свою песенку петух закончил громким «кукареку».

Шнырявшие вокруг куры, гуси, утки, как снилось нашему герою, кудахтали, гоготали, смеялись над ним какими-то невероятными голосами и так громко, что он, разобидевшись, кинулся расправляться с петухом-хулиганом. Тут охватившее нашего героя возмущение заставило его проснуться, он с бьющимся сердцем раскрыл глаза и увидел пламя свечи, услышал шум, гам, топот ног и дикие крики:

— Не этот! Вон тот! Да, да!.. Бери его! Хватай! Вяжи его!.. Осторожней ноги!.. Не выверни ему ногу!.. Вот так!.. Готово? Ну, трогай! Трогай! Ночь не ждет!.. Марш в повозку!..

И он почувствовал, как крепкие руки, будто клещи, схватили его, связали, спутали ноги, потом рванули вверх и швырнули в просторную, на высоких колесах повозку. В повозке лежало еще одно такое же существо, как он, но это была, кажется, женщина. Она вся дрожала.

Два человека все время вертелись подле них, один дикарь был без шапки, другой — в малахае. Тот, что с непокрытой головой, возился в задке, осматривал возок, лошадей, шупал колеса. Наконец человек в малахае забрался в повозку и так плюхнулся пленникам на ноги, что те чуть с ума не сошли от боли.

— Смотри, чтобы они у тебя не развязались и не выскочили! Слышишь или нет? — крикнул человек без шапки человеку в малахае.

Но тот ничего не ответил, хлестнул как следует лошадей, и повозка покатила.

Пленники знакомятся в неволе

Как они пережили эту ночь и не испустили дух на повозке только от одного испуга, просто уму непостижимо! Где они? Куда их везут? За что им это? Почему?

В темноте они не могли как следует увидеть один другого. Только когда начало светать, они оглядели друг друга и стали негромко разговаривать.

— Доброе утро, мадам.

— Здравствуйте, доброе утро.

— Я мог бы поклясться, что вы из наших... Из Индии...

— Не клянитесь, вам верят на слово.

— Я вас сразу узнал по ожерелью.

— Это говорит о том, что вы наблюдательны.

Прошло несколько минут, и наш герой снова обратился к соседке:

— Мадам, как вы себя чувствуете?

— Всем моим врагам желаю так себя чувствовать.

Помолчав немного, он, пригнувшись к самому ее уху, шепотом сказал:

— Мадам, я хочу вас кое о чем спросить...

— Спрашивайте.

— В чем вас обвиняют?

— В том же, в чем и вас.

— Я спрашиваю, в чем вы виновны?

— В том же, что и вы.

— Мне кажется, вы немного раздражены?

— Раздражена? Нахал! Уселся мне на ноги, так что глаза у меня от боли на лоб лезут, и еще говорит — раздражена!

— Да что вы такое говорите, мадам? Я сижу у вас на ногах?

— А кто же?

— Это вон тот дикарь в малахае, чтоб ему пропасть!

— Вот как! А я думала, это вы прижали мне ноги.

Извините, если я вас обидела.

Вот все, что им удалось сказать друг другу. Малахай вдруг, точно пробудившись от сна, со злостью хлестнул лошадей, повозка запрыгала, и два существа стали прислушиваться к тому, как у них там все переворачивается внутри.

Внезапно повозка остановилась, и их глазам представило такое, чего они никогда в жизни еще не видывали.

Из одной неволи в другую

Впервые им довелось увидеть такое скопление коней, коров, телят, свиней и человеческих существ. Бесконечное количество человеческих существ! Разного рода повозки с поднятыми кверху оглоблями были полны всякого добра, хлеба, живности — гусей, уток, кур. А там, в стороне, одна на целой подводе лежала связанная свинья и выражала протест таким визгом, что можно было оглохнуть. Но кто внимал ей? Все были заняты своими делами, переговаривались, мчались куда-то, — на то и ярмарка.

Сюда вот и привез их дикарь в малахае. Он слез с подводы и стал возиться со своими пленниками. А те, придя в себя, почувствовали, как сильно бьется у них сердце: «Что он станет с нами делать? Может, развяжет, освободит, велит идти на все четыре стороны, куда глаза глядят?»

Ах, напрасная надежда! Дикарь лишь приподнял их чуть выше, вероятно, чтобы покупатели лучше видели их. Какой срам! Какой позор! А может быть, это к лучшему? Пусть видит их весь свет! Может, здесь найдется добрая душа, которая подойдет, посочувствует им, спросит у этого дикаря: за что это он их? Почему?

Так размышляли несчастные пленники. И случилось точно так, как они задумали, — нашлась-таки добрая душа, какая-то толстуха в турецкой шали. Она подошла к повозке, заглянула внутрь и спросила у малахая:

— Ты привез эту парочку?

— А тебе что?

— Индийские?

— А что ж они, турки?

— Сколько прикажешь заплатить за них?

— Откуда у тебя столько денег?

— Если б у меня не было денег, зачем бы я стала толковать с таким хамом, как ты?

Вот так переговаривались между собой турецкая шаль и малахай. Потом у них пошел долгий торг. Дикарь в малахае был холоден как лед, а турецкая шаль горячилась, прыгала, убегала от повозки и вновь возвращалась. Тогда они снова принимались торговаться, пока наконец малахай не взбеленился и не обругал ее.

Парочка между тем обменялась несколькими фразами:

— Мадам, вы слышите?

— Слышу, конечно. Почему мне не слышать?

— Кажется, нас хотят выкупить из неволи.

— Похоже на то.

— Чего ж она торгуется, как за гусей?

— Такое уж наше несчастье!

— Пусть хоть головой о стенку бьются, лишь бы нам выйти на волю.

— Аминь! Дай господи!

Слава богу, турецкая шаль уже сунула руку в карман за деньгами.

— Значит, не уступишь?

— Не уступлю.

— Последнее слово?

— Последнее слово.

— А может быть?.. Ну ладно! Смотри, какой злюка!.. На тебе деньги! На!

И наша пара перешла от дикаря в малахасе к толстухе в турецкой шали.

4

Среди дикарей

Как только пленников доставили на новое место, их тотчас развязали, и они с удовольствием ощутили твердую землю под ногами. Оба вытянули затекшие ноги, принялись шагать из угла в угол, проверяя, служат ли они им еще. От большой радости пленники и не заметили, что до подлинной свободы еще далеко, а спустя немного времени обнаружили, что они снова в неволе. Их засадили в какой-то темный угол. С одной стороны здесь была теплая печь, с другой — холодная стена, а спереди от света отгораживала перевернутая лестница. Им принесли еду и питье и оставили одних, как говорится, на попечение божье.

Разглядев свое новое жилье, оба они стали друг против друга, надулись, как это часто бывает с совершенно незнакомыми, смотрели, смотрели, затем, повернувшись, извините, задами, разошлись в разные стороны, и каждый погрузился в свои думы.

Однако долго думать им не пришлось. Вскоре раскрылась дверь, и к ним в темницу шагнула сначала

турецкая шаль, а за ней еще несколько женщин. Каждую из них турецкая шаль брала за руку, подводила к пленникам и, указав на чету пальцем, спрашивала с сияющим лицом:

- Нравится вам эта парочка?
- Сколько вы за них отдали?
- Угадайте!

Женщины принялись гадать, и ни одна не была близка к истине. Когда же турецкая шаль назвала им настоящую цену, они всплеснули руками.

— В самом деле? Правда?

— Дай нам бог всем иметь такую веселую пасху, как это правда!

На лицах у женщин мелькнула зависть, щеки их запылали, глаза зажглись, но со всех сторон тотчас посыпались благие пожелания:

- На здоровье вам!
- На благо вам!
- Дожить вам до будущего года!
- И мужу и деткам!..
- Аминь. И вам также! И вам также!..

Женщины ушли.

Через минуту турецкая шаль вновь появилась. Она притащила с собой какого-то дикого мужчину, до глаз обросшего красными волосами, и опять спросила, сияя:

- Ты ведь знаток! Что ты скажешь об этой парочке?
- Я знаток? Какой же я знаток?
- Да ведь ты ученый. А где ученье, там и мудрость.

Как думаешь, может уж теперь бог послать нам радостную пасху? Ведь это все ради его святого имени.

Обросший человек, поглаживая рыжие волосы, вознес глаза к потолку и с миной святоши произнес:

— Пусть бог даст радостную пасху всем евреям!

Турецкая шаль и обросший человек удалились, и наша пара вновь осталась одна. Оба они, мрачные, застыли в молчанье на одном месте. Потом у нее из горла вырвался какой-то странный звук — не то кашель, не то визг.

Он тотчас обернулся.

- Мадам, что с вами?
- Ничего. Я вспомнила о доме.
- Глупости. Об этом надо забыть. Лучше давайте посмотрим, где мы и что можно предпринять.
- Где мы? Глубоко в могиле. Дела наши совсем плохи.
- Например?

— Вы еще спрашиваете? Не видите, что нас продали дикарям, как продают, например, кур, уток или гусей?

— Что они с нами будут делать?

— Уж найдут что делать! Когда я еще была ребенком, то наслышалась немало рассказов о том, что делают дикие люди с такими, как мы, когда они попадут к ним в руки.

— Да ну, сказки! Не верьте бабушкиным сказкам!

— Это не сказки. Я сама слышала. Моя сестра рассказывала, что они хуже хищных зверей. Хищник, если поймает кого-нибудь из нас, разорвет и сожрет. И все тут. А эти...

— Те-те-те, мадам. Вы, кажется, смотрите на мир слишком пессимистично.

— Слишком как?

— Слишком пессимистично.

— Что такое пессимистично?

— Это значит... Это значит, вы смотрите через темные очки.

— Где вы увидели у меня очки?

— Ха-ха-ха.

— Чего вы смеетесь?

— Ох, какая вы, мадам!..

— Какая я?

Он хотел объяснить ей, какая она, но тут внезапно раскрылась дверь, и...

Читайте дальше!

5

*Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр*¹

Внезапно раскрылась дверь, и в закуток ворвался вихрь, казалось, затопал целый полк солдат. Это влетела ватага ребят-озорников, с красными щечками, с черными глазками. И все они разом кинулись к печи.

— Ну-ка, где они? Где?.. Вот они! Во-во! Эй, Янкл, Берл, Велвл, Эля, Гецл! Скорей сюда! Скорей!

Вот тут-то наша пара поняла, что такое ад крошечный. На их долю выпало великое горе, муки, страдания,

¹ Игра слов, основанная на созвучиях: держи, возьми, бери (*еврейск.*).

позор без меры, без конца. На них напали ребята и, как дикие ослы, принялись прыгать и плясать вокруг четы, разглядывать со всех сторон, издеваясь и отпуская по их адресу всякие шуточки и непристойности.

— Йосл, посмотри, какой у него нос! Ха-ха-ха.

— Ну и носик! Берл, гляди, носик!

— Велвл, потяни его за нос!

— За клюв, Эля, за клюв!.. Вот так!

— Сильней, Гецл, пускай закричит!

— Все вы дураки! Они кричат, только когда свистнешь. Они не любят, чтобы свистели. Вот я вам сейчас покажу. Фью!

Чета надулась, оба покраснели, опустили к земле носы и в один голос закричали:

— Галдр! Галдр! Галдр!

Ребята с диким хохотом повторили крик по-своему:

— Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр!

Парочка еще больше разволновалась и закричала громче прежнего:

— Галдр! Галдр! Галдр!

Это очень понравилось ребятам. Держась за бока и покатываясь со смеху, они старались перекричать пленников.

От этого состязания крикунов закуток наполнился таким громом, что в комнату тотчас ворвалась турецкая шаль (пошли ей бог долгие годы!) и давай хватать ребят за шиворот и вышвыривать поодиночке на двор, надевая каждого хорошим подзатыльником и сопровождая все это длинным-предлинным проклятьем:

— Чтоб на вас, господи, обрушились все несчастья — пожары, холера, мор; чтоб вас взяло за животы так, чтобы вы катались, и катались, и выкатились бы на тот свет в компании со всеми выкрестами, господи боже мой; чтоб до пасхи от вас не осталось ни одного в живых, боже мой милостивый, милосердный!

Избавившись от этой напасти, наша чета еще долго не могла прийти в себя. Неистовые выкрики, свист, хохот диких тварей долго звенели у них в ушах. Однако уже немного спустя наш герой стал подумывать, что вряд ли есть смысл так сильно страдать из-за этого злключения и лучше попытаться что-нибудь перекусить. Неторопливо подойдя к завтраку, который им оставили, он обратился к подруге по несчастью:

— Мадам, сколько можно горевать? Пора бы что-нибудь перехватить! Жизнь есть жизнь, честное слово! Живую душу не выплюнешь. Не забудьте, что у нас сегодня еще ничего во рту не было.

— Кушайте на здоровье. Я не буду.

— Гм... Почему? У вас сегодня пост?

— Никакого поста... Просто так.

— Может быть, вы хотите их проучить?.. Голодать? Себя погубите, и только.

— Не знаю, как можно тут кушать. Ничего в горло не лезет.

— Полезет, полезет! Первый кусок, как пробочник, он пробьет ход.

— Как что?

— Как пробочник.

— Странные у вас разговоры.

— Ха-ха-ха.

— Опять «ха-ха-ха»? Что за смех?

— Мне припомнилась встреча с маленькими выродками.

— Ну конечно, как тут не хохотать!

— А что же, прикажете плакать?

— Почему вы, господин хороший, не смеялись, когда они свистели?

— А что же я делал?

— Вы галдели.

— Я галдел? Я?

— А кто же галдел? Я, что ли?

— Вы первая начали кричать — галдр, галдр, галдр!

— Извините, это вы первый начали кричать — галдр, галдр, галдр.

— Хорошо! Какой же тут стыд, если я первый сказал галдр, галдр?!

— А какой позор, если я первая сказала галдр, галдр?

— Но если это не стыдно, чего же вы, мадам, опустили нос?

— Кто? Я опустила нос?

— А кто же опустил нос?

— Ах, как легко увидеть чужой нос!..

Жаль, что этот занимательный разговор не мог дальше продолжаться. Его прервали на самой середине. К ним снова заявился их властелин — турецкая шаль. Но об этом рассказывается ниже.

Экзекуция

Турецкая шаль не одна, оказывается, властвовала над ними. Пленникам суждено было познакомиться еще с одной дикой тварью в образе зеленой девки в красном платке. Обе женщины появились с руками, полными всякого добра: в чашке у них был рис, горох и фасоль, в тарелке — вареная картошка и рубленые крутые яйца, а в отвисших фартуках — ломтики яблок и волошские орехи.

Поставив еду, зеленая девица ткнула пальцем в сторону четы и сказала турецкой шали:

— Замечательно, хозяйюшка! Посмотрите, ведь они даже не прикоснулись к еде!

— Пусть у меня после пасхи не будет большей заботы! Вот мы их сейчас покормим. Я подержу их, а ты пихай им в горло еду. Ну, девица, что ж ты стоишь? Чего скалишь зубы?

— Что они такое увидели на мне, что не переставая галдят: галдр, галдр?

— Ах, чтоб тебе сгореть, глупая девка! Сбрось скорей красный платок! Ведь они терпеть не могут красного!

— Фу, чтоб они пропали!

— Чтоб ты пропала, дурочка! Тебе это легче. Вот как!.. Почему ж ты не сунешь ему в рот рис и фасоль?

— Почему не сую? За мной дело не станет. Я б совала ему хоть три дня подряд, да ведь, видите, не дается: вертит головой и не раскрывает рта.

— Ну, плевать нам на него. Вот я прижму ему горло, и он сразу раскроет у меня рот. Так! Толкай! Толкай!

— Ох, хозяйюшка, чтоб вы здоровы были! Что-то он слишком закатывает глаза. Смотрите, как бы не подавился.

— Самой бы тебе подавиться! Тебе это легче. Тоже ведь скажет — подавился! Будто это у меня первый раз. Суй ему прямо в горло! Вот так! Я уже двадцать один год хозяйствую... Теперь положи ему в рот кусочек яблока и ядрышко ореха. Еще! Еще! Чего ты жалеешь?

— Я вовсе не жалею. Чего ради мне жалеть? Это ведь не мое. Жаль только живое существо.

— Как тебе нравится эта девка? Ей жаль живое существо! Разве мы делаем это ему во вред? Ведь мы его кормим! И во имя кого это? Во имя господа бога. Во имя

святого праздника. Всевышний должен облагодетельствовать меня — я уже выкормила ему к пасхе не одну парочку. Положи ему еще орешек, — и конец. На этот раз с него хватит. *Он* уже сыт. А теперь возьмемся за *нее* и начнем, как говорится, с утренней молитвы, это значит опять с риса и фасоли.

— Чтоб вы здоровы были, хозяйюшка! Как это вы узнаете, где *он*, а где *она*?

— Ах, все напасти, которые мне приснились, на твою голову. Ей велят дело делать, а она лезет черт знает с чем! Выйди замуж, глупая девка, стань хозяйкой, тогда и будешь спрашивать. А пока делай что велят! Вот так!.. Не жалеи! Это не ради кого-нибудь, а ради его святого имени. К пасхе! К пасхе!

Кончив экзекуцию, обе женщины удалились, и наши пленники остались одни. Они забились в дальний угол, положили друг на друга свои несчастные головы и углубились в такие тоскливые думы, какие приходят на ум очень редко, разве только за полчаса до смерти.

7

*Червяк заберется в хрен и думает, что слаще
ничего на свете нет*

Ничто так не сближает, как горе. Лучший пример тому два несчастных героя нашего повествования. В короткий срок своей неволи они сошлись характерами, начали понимать друг друга с одного взгляда, уж не стеснялись, как раньше, и так сблизились, что перестали называть друг друга на «вы», — словом, это была одна душа, одно тело; он называл ее «душенька», она его — «любонька».

Турецкая шаль и красный платок, заявляясь сюда с пищей, не могли досыта налюбоваться на них.

— Что скажешь об этой парочке?

— Живется им, как у бога за печкой.

— Замечаешь, как они у меня поправились?

— Упаси их бог от сглаза!

— Возьми-ка их под мышки! Что скажешь? Каков жирок? Разве не должен всевышний облагодетельствовать меня за то, что я выкормила ему к пасхе эту парочку?!

Дикие женщины проделали свое дело и удалились, а чета стала размышлять над словами турецкой шали

о том, что она кормит их к пасхе и что всевышний должен ее облагодетельствовать за это. Они изощрялись в поисках ответа на свои вопросы и немало спорили по этому поводу.

— Что такое пасха, любонька?

— Пасха, душенька, это у них такой праздник, праздник освобождения.

— Что значит — освобождения?

— Вот я тебе сейчас объясню. У них считается благим делом поймать таких вот, как мы, и кормить до самого праздника, который зовется пасхой. А когда наступит пасха, выкормышей отпускают. Теперь тебе понятно?

— Еще долго до праздника, который зовется пасхой?

— Как я понял из слов турецкой шали, не больше трех дней.

— Три дня?!

— Что ты так всполошилась, глупенькая? Эти три дня пролетят, как сон. А когда наступит добрый праздник пасхи, пред нами откроют все двери и скажут: «Айда, детки, идите туда, откуда вы пришли!» И тогда мы с тобой зашагаем...

— Ах, любонька, какие сладостные речи! Дай бог, чтобы все было, как ты говоришь! Я, однако, страшусь другого.

— Сердце мое, ты всегда страшишься.

— Жизнь моя, ты не знаешь дикарей.

— Откуда, душенька, ты их знаешь?

— Я, любонька, наслушалась немало историй о них еще дома. Моя сестра рассказывала, что она сама видела...

— Опять сказки твоей сестрицы! Забудь, душенька, эти сказки!

— Ах, милый, рада бы забыть, да не могу. Они терзают меня днем, не дают покоя ночью.

— Что ж это за истории, которые терзают тебя днем и не дают покоя ночью?

— Любонька, ты не будешь надо мной смеяться?

— Чего ж я буду, душенька, над тобой смеяться?

— Такая уж у тебя привычка: когда я что-нибудь рассказываю, ты вечно надо мной смеешься, обзываешь дурочкой, гусыней, глупой индюшкой и тому подобными словами.

— Обещаю не смеяться, только Расскажи, что говорила тебе сестра.

— Сестра рассказывала, что люди, которых мы здесь видим, хуже диких зверей. Хищник, если поймает кого-нибудь из нас, разорвет и сожрет. И кончено. А люди поступают иначе. Если кто-нибудь из нас попадется им в лапы, они держат его взаперти, кормят до отвала, пока он как следует не раздобреет...

— Ну?

— А когда он раздобреет, люди убьют его, снимут шкуру, разрежут на части, посолят, вымочат...

— Ну, и дальше что?

— А дальше разложат огонь, зажарят в собственном соку и съедят вместе с потрохами.

— Бабушкины сказки! Сказки из «Тысячи и одной ночи»! Корова летела над крышей и снесла яйцо. А ты, глупая, веришь этому. Ха-ха-ха.

— Ну вот! Разве я не говорила, что ты будешь смеяться надо мной?!

— Как же иначе? Когда вы ровным счетом ничего не понимаете! Кажется, ты сотню раз слышала, как турецкая шаль говорила, что нас выкармливают не для кого-то, а для бога!

— Жизнь моя, что же из этого следует?

— Из этого следует, душа моя, что ты глупая индюшка, и только.

— У вас всегда такая привычка... Оскорбить кого-нибудь для вас — тьфу...

— Кто этот «вас»?

— Я говорю о вас, мужчинах.

— О мужчинах? Скольких же мужчин ты знала?

— Я знаю одного мужчину, и с меня достаточно.

— Нет, ты сказала «мужчин». Значит, кроме меня, ты знала других?

— Еще что выдумашь?

— Ну вот! Уже опустила нос. Поди сюда, я тебе что-то скажу...

Эта милая любовная сцена была внезапно прервана ребятами, которые столпились под окнами. Внутрь их не пускали, вот они каждый день и собирались теперь под окнами, прижимали носы к стеклу, кривлялись как сумасшедшие, показывали языки, хохотали, свистели и кричали всей оравой: «Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр!»

Чета, конечно, отвечала им на своем языке, но уже не так раздраженно, как раньше, а просто как отвечают, к примеру, на приветствие «Добрый день» — «Здравствуй».

вуйте» или на «Прошу откусать» — «Кушайте на здоровье».

Как вы знаете, нет такого положения, к которому бы божье создание не привыкло. Наша чета настолько свыклась со своей бедой, что им уже казалось, что иначе и быть не может. Это вроде того червяка, который забрался в хрен и думал, что слаще ничего на свете нет.

8

Недобрая встреча со старым знакомым

Было раннее утро. На улице стоял густой туман, а в доме вовсе царил мрак. Наша парочка еще крепко спала. Им снился родной дом, беспредельные, широкие просторы, голубое небо, зеленая трава, серебряная речка, беспоконная мельница, которая грохочет и брызжет водой. У берега там плескались утки и гуси, по траве похаживали куры, кричали петухи, повсюду порхали птицы.

Ах, как прекрасен сотворенный для них мир! Для них? Конечно! Для кого же созданы эти высокие деревья с широкими кронами, под которыми можно вволю разгуливать?! Для кого эта мельница, подле которой они всем семейством кормились и куда не подпускали чужака за версту? Для кого этот огромный круглый небесный фонарь, который каждый вечер опускался по одну сторону реки и утром поднимался с другой стороны? Чего бы они сейчас не отдали, чтобы еще раз взглянуть хоть одним глазом на чудесное, милое пылающее солнце, на широкие, бескрайние светлые просторы, на мельницу и все вокруг нее?!

Эти сладкие, золотые сны длились недолго. Нашу парочку разбудили и вытащили наружу. Чистый воздух туманного утра ударил им в лицо и обдал своей свежестью. Им казалось, что у них выросли крылья. Вот они поднимутся и полетят высоко над кровлями, над садами, над лесами, туда, к родному дому. Там они встретятся со своими.

«— Благословенны пришельцы. Откуда вы?

— От дикарей.

— Как с вами обошлись?

— Кормили к пасхе.

— Что такое пасха?

— Это у них такой праздник, добрый, хороший праздник освобождения...»

Так мечтала связанная чета всю дорогу, пока наконец их не привезли в какую-то узкую, темную улочку и не бросили прямо в грязь. Тут они увидели забрызганную кровью стену и множество связанных по двое, по трое кур, лежавших на земле. В стороне стояли девушки и женщины; они перебрасывались шутками, зубоскалили.

Чета стала оглядываться по сторонам: «Для чего нас привезли сюда? Что делают здесь связанные куры? Чего смеются девушки и женщины? Что означает эта окровавленная стена? Вот это и есть добрый, милый праздник паша? Где же свобода? Где воля?»

Так размышляла наша чета, разглядывая связанных кур, которые лежали тихо и мирно, не задаваясь никакими вопросами, будто все это так им на роду написано. Только одна крикливая курица не унималась. Она рвалась изо всех сил, била крыльями по грязи и вопила как сумасшедшая:

— Пустите! Пустите меня! Не хочу лежать! Я побегу! Отпустите! Отпустите меня!

— Кукареку! — отозвался какой-то красный петух, который был связан еще с двумя курицами, и хлопнул крыльями. — Как вам нравится эта умница?! Она не хочет лежать! Она хочет уйти, она хочет бежать! Ха-ха-ха!

Наш герой поднял голову, пристально поглядел на нахального петуха и почувствовал, как все члены у него немеют, стынет кровь в жилах. Он побожился бы, что ему знаком этот озорник, что он где-то его уже видел, где-то слышал. Но где? Этого он никак не мог вспомнить. И все ж он ему знаком, так знаком! Его голос все еще звучит у него в ушах. Боже мой, где же он с ним встречался? И наш герой приподнялся чуть повыше.

Тут его заметил красный петух и сразу же затянул звонким сопрано:

Кукареку, длинный нос!
Вижу, жиром ты оброс.
Твой тугой живот набили
Сладкой пищей в изобилье.
Из тебя теперь, влюбленный,
Сварят жирные бульоны
И жаркое приготовят...

Однако нашему певцу не суждено было кончить свою песенку. Чья-то крепкая рука неожиданно ухватила его с такой силой, что у петуха тут же отнялся язык.

Последний акт трагедии

Это было странное, дикое существо, высокое, тощее, с заспанным лицом. Полы его одеяния были подоткнуты, рукава закатаны; на ногах у него были носки и ботинки, а в руках черный, поблескивающий нож. Не долго думая, человек схватил петуха, завернул ему кверху голову и, глянув в круглые зрачки, выдрал у него несколько перьев, затем — чик ножом по горлу, и марш! — швырнул его подальше от себя прямо в грязь. Несчастный петух лежал немного, затем, как очумелый, кинулся бежать с перерезанным горлом, ворочая головой вправо и влево, будто искал кого-то или что-то потерял.

Наш герой взгляделся в зарезанного петуха и узнал своего старого знакомого, которого видел когда-то во сне, вспомнил песенку, пропетую тогда озорником, и уже не смог и слова вымолвить своей несчастной подруге, которая прижалась к нему, трепеща всем телом.

А дикое существо с ножом делало свое дело довольно хладнокровно, как настоящий палач. Курицы летели от него одна за другой: пощекочет им ножом горло и швырнет в грязь. Одни вытягивались всем телом и, потрепыхавшись, истекали кровью; другие вскидывали головы, хлопали крыльями по грязи. Жертв с перерезанным горлом с каждой минутой становилось все больше.

Стоявшие в стороне женщины глядели на все это — и ни слова. Больше того, некоторые из них набрасывались на зарезанных и принимались тут же ощипывать перья еще у теплых, трепещущих кур, перебрасываясь словцами и хихикая, точно здесь лилась не живая кровь, а водица. Где их глаза? Где их уши? Где их сердце? Где их совесть? Где их бог?

Так размышляла наша несчастная пара, все еще лежа в грязи и наблюдая ужасную трагедию, это неслыханное злодейство среди бела дня. Неужели их доставили сюда для того же, что и всех этих кур, уток и гусей? Неужели и их, благородных, избранных выходцев из Индии, ждет та же участь, что и этих простаков? Значит, все, что рассказывают о диких людях, не выдумка?! И предсказания красного петуха?!

И они начали наконец понимать леденящую правду, им стало ясно все, о чем они слышали и что видели

до сих пор. **Одного они только не могли понять: зачем турецкая шаль каждый раз хвалилась, что бог должен облагодетельствовать ее за то, что она выкормила такую парочку к пасхе? Вот этого хочет бог? Это ему любо? Ах, какой злой бог у этих диких людей!**

Через несколько минут наша влюбленная пара, наши гордые выходцы из Индии лежали на земле просто, как зарезанные индюки. Они положили друг на друга свои еще теплые перерезанные шеи, и было похоже издали, будто они крепко спят и им грезятся сладкие, золотые сны.

Это о них сказано в Библии:

«Любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей».

РАЗБОЙНИКИ

Необыкновенная, но правдивая история о том, как школьники проучили своего учителя

1

- Он еще дрыхнет?
- Еще как дрыхнет!
- Чтоб его!
- Разбудите его! Разбудите его!
- Лейб-дрейб-обдирик!
- Проснись, голубок!
- Открой свои глазки!

Я с трудом продираю глаза, поднимаю голову, оглядываюсь по сторонам и вижу перед собой целую кучу сорванцов, моих товарищей по хедеру. Окно раскрыто настежь, и вместе с их сияющими весельем и радостью глазами в комнату врываются первые лучи теплого, ясного утреннего солнца.

- Смотри, как озирается!
- Уж верно, напроказил?
- Что, не узнали нас?
- Забыл, что сегодня лаг-боймер?
- Ах, лаг-боймер?.. — Молнией проносится это слово в моем мозгу. Я вскакиваю с постели. В один миг я на ногах. Еще минута, и я одет, умыт, готов идти. Ищу мать. Она захлопоталась с завтраком, возится с малышами.
- Мама, сегодня лаг-боймер.
- С праздником тебя! Что еще скажешь?
- Ребята устраивают пир в складчину.
- Нет у меня ничего, кроме горя!

Так говорит мать, хотя она и готова все-таки кое-что дать мне. Мы начинаем торговаться, я хочу больше, она дает меньше. Я прошу два яйца. Она отвечает: держи карман шире! Я начинаю приставать и получаю по щеке. Начинаю плакать, она успокаивает меня яблоком. Я прошу апельсин. Она говорит:

- Ненасытная глотка, что еще придумаешь?
- А товарищи за окном торопят, житья не дают.
- Скоро соберешься?
- Лейб-дрейб-обдирик!
- Время не ждет.
- Скорее! Скорее!
- Вылетай живее!

После долгих препирательств мы наконец договорились. Я получаю свой завтрак, получаю мою долю для пирушки и выбегаю на улицу к товарищам, веселый, радостный, возбужденный, и все мы одним духом мчимся вниз с горы в хедер.

2

В хедере шум, галдеж, настоящая ярмарка. Два десятка голосов кричат все разом. Стол уставлен всякой всячиной. Такой пирушки, как нынче, у нас никогда еще не было. Даже водки и вина принесли. Этим мы обязаны нашему товарищу Берл-Йослу, сыну вино-торговца. Он притащил бутылку водки, отличной водки, и две бутылки вина, настоящего изюмного вина, собственное изделие его отца. Водку дал отец, а вино он сам взял.

- Как это сам взял?
- Чего тут не понимать, балда? Взял незаметно с полки, никто не видал.
- Значит, ты украл?
- Умная голова, подумаешь, какая беда!
- Как это не беда? А заповедь «не укради»?
- Для праздничной пирушки? Осел!
- Для пирушки можно красть?
- А ты не знал, умница?
- Где ты об этом вычитал?
- Ох, уморил. Поищи в Писании!
- Глава «бери»!
- Страница «тащи»!

— Под новый год, в летний день!

— Ха-ха-ха!

— Тише, ребята, Мазепа идет!

Сразу становится тихо, как во время молитвы. Все сидят за столом, притихшие, невинные агнцы, кроткие голубки, худого слова не скажут, смиренные, золотые деточки.

3

Мазепа — так прозвали мы своего учителя. Настоящее-то его имя Борух-Мойше. Но так как он переехал в наш город недавно из Мазеповки, то в городе ему дали кличку «Мазеповский», а мы, школьники, переделали ее в Мазепу. Впрочем, когда школьники наградят учителя прозвищем, то оно, уж верно, заслужено. Позвольте его вам представить.

Маленький, сухонький, невзрачный, огрызок какой-то. Ни следа бороды, ни усов, ни бровей. Не потому, что он, упаси бог, бреется, а просто так — не растут, да и все, будто сговорились. Зато уж губы у него и нос — ну и нос! Кулич, рог, труба, а не нос! И глотка у него — колокол, львиный рык. Откуда у этого огрызка такая могучая глотка? И где только силы берутся? Как защемят тебе руку своими тонкими холодными пальцами — свету божьего невзвидишь! А как угостит по щеке — целую неделю помнить будешь! Разговор с учениками у него короткий! По малейшему поводу — прав ты, не прав — у него один суд: ложись!

— Господин учитель, Йосл меня ударил.

— Ложись!

— Неправда! Он первый толкнул меня.

— Ложись!

— Господин учитель, Хаим показал мне язык!

— Ложись!

И ничего не поделаешь — надо ложиться. Никакая сила тебе не поможет. Даже рыжий Эля, тринадцатилетний малый, уже просватанный, при серебряных часах, и ему Мазепа как всыплет! Ого, по первое число! Эля говорит, что порка эта Мазепе даром не пройдет. Еще он посчитается, говорит, с Мазепой, да так, что тот запомнит на веки вечные! Так говорит Эля каждый раз после порки, а мы отвечаем:

— Аминь, из твоих уст да в божьи уши!

После того как все помолились под надзором учителя (без надзора Мазепа молиться не дает: знает, что без него мы все молитвы скомкаем), Мазепа обращается к нам своим львиным рыком:

— Ну, дети, давайте садиться за стол! Кончите пирушку, отправитесь в поле погулять.

Мы-то привыкли устраивать свою пирушку за городом, на свежем воздухе, на травке, под синим небом, бросать птичкам крошки, пускай и птички знают, что у нас праздник. Но с Мазепой спорить не приходится. Уж если Мазепа сказал «садись», значит — садись. А то как бы не сказал «ложись».

— Приятного аппетита, ребятки, — говорит нам учитель, когда мы усаживаемся за стол.

— Просим к столу! — говорим мы из приличия.

— Кушайте на здоровье! — говорит нам Мазепа. — Есть еще не хочется, но выпить за ваше здоровье можно. Что это у вас там в бутылке? Водка?.. — И он протягивает свою худую руку с костлявыми пальцами, достает бутылку, наливает себе в рюмку, отпивает и делает губами такую гримасу, что мы еле-еле удерживаемся от хохота.

— Чья это водка? Ну и забористая, — говорит учитель и наливает себе новую рюмку. — Недурное винцо, право, — и наливает себе в третий раз, пьет за наше здоровье. — Дай бог дожить до следующего года, дети, и... и... чтоб... Нет ли у вас чем закусить? Ладно уж, сяду с вами за стол и в честь лаг-боймер закушу с вами.

Что это стало с нашим учителем? Подменили нашего Мазепу! Повеселел, разговорился, щечки разругались, нос покраснел, и глаза блестят. Он жует, и болтает, и кивает на бутылки с вином.

— Что это у вас там за вино? Пасхальное, видно? (Он пробует вино, растопыривает губы.) Псссс! Ну и сердитое! (Пьет.) Давно уж я такого вина не пил, право слово. (С улыбочкой к Йослу.) Ты, что ли, постарался? Хе-хе! У твоего отца в подвале полно бочек — я сам видал — знатное винцо, из чистого изюма... Хе-хе... За ваше здоровье, ребятки! Дай вам бог вырасти еврейми

добрыми и благочестивыми, и... и... откупорить вторую бутылку... Возьмите и вы по рюмочке... Чего вы не пьете? Выпьемте за здоровье! Дай бог (он облизывается, глаза у него слипаются), чтоб... всякого добра... вместе со всеми евреями...

5

Покушав и помолившись после еды, Мазепа обращается к нам заплетающимся языком:

— Итак, мы, значит, исполнили, а? Исполнили завет, устроили пирушку в наш праздник лаг-боймер. Ну, а теперь что? А?

— А теперь пойдем на прогулку.

— А? На прогулку? Отлично! Куда, например?

— В Черную рощу.

— В Черную рощу? Замечательно! И я с вами. Прогуляться по лесу очень хорошо, очень полезно, потому что лес. А? Сейчас я вам поясню пользу леса...

И мы все отправляемся с учителем за город. Сначала нас немного стесняло, что учитель идет с нами. Но — молчок! А учитель шагает посреди нас, размахивает руками и объясняет нам пользу леса:

— Природа леса такова, понимаете, то есть господь создал его так, что в лесу растут деревья, а на них, на деревьях, значит, растут ветки, а ветки покрываются листьями, и, чтоб они благоухали, эти листья, издавали бы приятное благовоние и, значит, аромат...

Говоря так, учитель втягивает носом это приятное благовоние, хотя мы еще далеко от леса и запахи вокруг нас не так уж благовонны и ароматны.

— Чего вы молчите? — обращается к нам учитель. — Рассказали бы что-либо интересное. Песню затянули бы! И я был когда-то мальчишкой, сорванцом, как вы, хе-хе... и у меня был учитель, как у вас, хе-хе...

То, что Мазепа был когда-то сорванцом, как мы, и имел учителя, как и мы, кажется нам диким и почти невероятным: Мазепа — сорванец? Мы переглядываемся и украдкой хихикаем. Мы представляем себе, как наш учитель, Мазепа, был когда-то сорванцом, имел учителя и учитель его... Даже подумать страшно о такой вещи. Один рыжий Эля набирается духу и спрашивает его:

— Господин учитель! А ваш учитель вас тоже порол, как вы нас порете?

— Еще бы! Да как еще порол, хе-хе...

Мы глядим на учителя, переглядываемся между собой и хорошо понимаем друг друга... Нас разбирает смех от его «хе-хе», и мы смеемся, дурачимся... Но вот мы уже за городом, на широком поле, недалеко от Черной роши...

6

В поле чудесно, истинный рай. Зеленая пахучая трава, беленькие цветочки, желтые ромашки, легкие бабочки. А над всем этим широко раскинулся голубой свод весеннего неба. Неподалеку лес, празднично одетый. По деревьям птички прыгают с ветки на ветку, поют, щебечут. Это они приветствуют нас — добро пожаловать, ребятки! Мы ищем тень под густым деревом, защиту от палящего солнца, и усаживаемся все на траве. Учитель посередине.

Учитель устал с дороги, он бросается на траву, вытягивается лицом вверх. Глаза у него слипаются. Язык заплетается:

— Вы славные, милые ре... ребята. Чудесные дети... Праведники... Я вас люблю... и вы меня... Правда, вы меня лю... любите?..

— Как собака палку, — отвечает Эля.

— А? Что? Я знаю, вы меня лю... любите, — говорит наш учитель.

— А как же, любим. Сперва утешим, потом повесим! — говорит Эля.

Страх охватывает нас, мы говорим Эле:

— Эля, что ты?!

— Дураки! — со смехом отвечает нам Эля. — Чего вы боитесь? Разве вы не видите, что он пьян вдрызг?

— А? — спрашивает учитель и глядит на него одним глазом (второй глаз уже спит). — Что ты сказал? Праведники! Все праведники... милость господня.. хль... хль... хль... хр-р-р-ссс...

Наш учитель заснул, громко храпит, точно труба, и его храп разносится далеко по лесу. Мы все сидим вокруг него, и нам делается горько на душе: «Вот это наш учитель? Тот самый, один вид которого приводил нас в трепет? Вот это — Мазепа?»

— Ребята! — обращается к нам Эля. — Чего мы сидим, как болваны? Давайте подстроим штуку Мазепе!

Нас охватывает ужас.

— Чего вы трусите, дурни? — уговаривает нас Эля. — Он сейчас труп, мертвец.

От этих слов мы приходим еще в больший ужас, а Эля продолжает свое:

— Теперь мы можем с ним сделать все, что угодно. Всю зиму он нас порол, как баранов. Давайте хоть раз отомстим ему.

— А что ты придумал?

— Ничего. Я хочу его только напугать.

— Чем ты его напугаешь?

— Сейчас увидите, — говорит Эля, поднимается с места, подходит к учителю, срывает с него кушак и обращается к нам: — Видите? Вот его же собственным кушаком мы привяжем его к дереву, да так, чтоб он не мог сам себя развязать. Потом один из нас подойдет и крикнет ему на ухо: «Учитель, разбойники!»

— А потом что?

— Ничего. Мы разбежимся, а он будет кричать «караул».

— До каких же пор он будет кричать?

— Пока привыкнет.

Не долго думая, Эля связал кушаком учителю обе руки, ладонь к ладони, и прикрутил их к дереву, а мы стоим и наблюдаем. Дрожь пробегает по телу.

«Вот это наш учитель?.. Тот самый, один вид которого приводил нас в трепет? Вот это — Мазепа?»

— Что вы стоите как истуканы? — говорит нам Эля. — Если бог уже сотворил чудо и Мазепа оказался в наших руках, то давайте попляшем, повеселимся!

Мы беремся за руки, кружимся в хороводе, как дикари, вокруг нашего учителя, пляшем, прыгаем и поем, словно оглашенные.

— Довольно, ребята! — говорит Эля.

Мы останавливаемся. Эля подходит к учителю, наклоняется над ним и кричит над самым его ухом так, что и мертвого разбудил бы:

— Караул! Учитель! Разбойники! Разбойники! Разбойники!

Слома голову мы бежим, все как один, боимся остановиться на мгновение, боимся оглянуться назад. Страх обуял нас всех, даже Элю, хотя он не перестает кричать на нас:

— Дураки! Олухи! Ослы! Чего вы бежите?

— А ты чего бежишь?

— Вы бежите, и я бегу.

В город мы влетели с гиком и криком:

— Разбойники!.. Разбойники!..

Люди увидели, что мы бежим, и побежали за нами. Другие увидели, что люди бегут, и давай бежать за ними.

— Куда это бегут?

— А кто его знает? Все бегут, и мы бежим.

С большим трудом кое-как удалось остановить одного из нас. На него глядя, мы все остановились, не переставая, однако, кричать: «Разбойники! Разбойники! Разбойники!»

— Где? Где? Где?..

— Там, в Черной роще, на нас напали разбойники, привязали учителя к дереву, бог знает, жив ли он?..

Если вы завидуете нам, что мы свободны и не ходим в хедер (учитель наш заболел), то ваша зависть напрасна. Совершенно напрасна! Никто не знает, что у кого болит. Никто, никто не знает, кто были настоящие разбойники. Мы редко видим друг друга, а когда встречаемся, первый наш вопрос: «Как здоровье учителя?» (Учителя, а не «Мазепы»!) А Эля? Не спрашивайте нас про Элю! Чтоб он сгинул, этот Эля!..

Эпилог

Когда учитель выздоровел (месяца полтора он пролежал в горячке и все бредил разбойниками) и мы вновь пришли в хедер, мы с трудом узнали его. Так сильно он изменился. Куда девался его львиный голос? Плетку он куда-то забросил, не слышно больше «ложись». Уж он больше не «Мазепа». На лицо его легла тихая, мягкая

грусть. Чувство раскаяния закрадывается к нам в душу. Мазепа становится нам дорог, близок. А он хоть попрекнул бы нас, хоть бы слово сказал. Как будто ничего не случилось. Только иногда во время занятий он внезапно прервет нас и просит рассказать ему еще раз, как было дело с разбойниками тогда, в лаг-боймер. Мы не заставляем себя долго просить и рассказываем ему придуманную нами басню, как разбойники выскочили из лесу, накинулись на него, связали, хотели зарезать ножом, а мы бросились с криком в город и этим криком спасли его...

Учитель с закрытыми глазами выслушивает наш рассказ до конца, вздыхает и внезапно спрашивает:

- Вы наверное знаете, что это были разбойники?
- А кто же, по-вашему?
- Может быть, какие-нибудь сорванцы, а?

Глаза учителя смотрят куда-то вдаль, и нам кажется, что на его толстых мясистых губах промелькнула лукавая усмешка.

ЭСФИРЬ

Рассказано в честь праздника пурим

Не о хедере, не о ребе и не о его жене хочу я вам рассказать. Об этом я уже вам немало рассказывал. Не разрешите ли вы мне на сей раз рассказать вам об Эсфири, дочери ребе?

1

Если библейская Эсфирь была так хороша, как та Эсфирь, о которой я здесь рассказываю, то нет ничего удивительного в том, что она очень понравилась царю Артаксерксу. Та Эсфирь, о которой я здесь рассказываю, нравилась всем. Все ее любили. Все, решительно все. Даже я, даже мой старший брат Мотл, хотя ему давно уже исполнилось тринадцать лет, и ему давно уже сватают невест, и он давно уже носит серебряные часы с цепочкой (если память мне не изменяет, у него уже и борода тогда пробивалась). И любил ли ее мой старший брат Мотл, об этом спросите у меня. Уж я вам точно скажу. Мотл думает, что я не понимаю, зачем это он каждую субботу ходит в хедер повторять Священное писание. Конечно, Мотл не очень прилежен. А бывает так: в субботу после обычной трапезы ребе погружается в сон и храпит всюю. Жена его судачит с соседками на завалинке; мы, ученики, с увлечением играем в разные игры. А Мотл и Эсфирь глаз друг с друга не сводят. Она смотрит на него, а он — на нее. Иногда мы играем в «куцибабу». Знаете, что такое «куцибаба»? Вот я вам объясню. Вам

завязывают глаза платком, выводят на середину комнаты, а все бегает вокруг и поют: «Га-га-га, лови меня!»

Мотл и Эсфирь тоже играют с нами. «Куцибаба», говорят они, им нравится. Знаю я, почему им нравится. Играя с нами в «куцибабу», они гоняются друг за дружкой, ловят друг дружку. Он — ее, она — его.

О многом хочется рассказать, но я не такой...

Однажды я их застал на месте преступления — они держались за руки. И случилось это не в субботу, а в обыкновенный будний день. Это было в сумерки. Мотл собрался в синагогу к вечерней молитве. По дороге он завернул к нам в хедер. «Где ребе?» — «Ребе нет». Тогда он подходит к Эсфири и берет ее за руку, а я стою и наблюдаю. Она вырывает руку. Ну, он мне и сует копейку — знай, мол, да помалкивай. «Две», — говорю я. Он дает две. «Три», — говорю. Он дает три. Попроси я четыре копейки, он дал бы и четыре. А пять? А шесть? Но я не такой...

Однажды произошло... Но довольно присказок, перейдем к самой сказке.

2

Мой брат Мотл, как вам известно, уже взрослый. В хедер учиться не ходит. Дома учиться не хочет. Поэтому отец ругает его «болваном». Матери это не нравится. «Что за манера взрослого парня ругать болваном? Ведь он в женихи норовит...» А отец на это: «Что ж поделаешь, раз он болван?» И начинается ссора. Не знаю, как другие родители. Мои только знают что ссориться. Рассказать бы вам, какие у нас ссоры да раздоры, вы со смеху покатитесь. Но я не такой...

Словом, мой брат Мотл больше не учится в хедере. Однако он не забывает каждый год посылать ребе подарок к празднику пурим. Как-никак — бывший ученик. Он посылает в подарок стихотворение на древнееврейском языке с нарисованным щитом Давида и с двумя бумажными рублями в конверте.

С кем послать ребе такой подарок? Конечно, со мной. И брат мой Мотл обращается ко мне: «Возьми вот, отнеси ребе подарок, а когда вернешься — получишь пятак». Пять копеек — большие деньги, что и говорить. «Ну и что?» — «Хочу, говорю, получить деньги вперед». Но брат сердится на меня: «Дерзкий мальчишка!» —

«Возможно, говорю, что я и дерзкий мальчишка, не стану спорить, но денежки гони вперед». Как по-вашему, чья взяла?

Уплатив вперед обещанные пять копеек, он вручает мне подарок для ребе — запечатанное письмо, и когда я уже совсем было собрался в путь, он сует мне в руку еще одно письмецо и говорит торопливым шепотом: «А вот это отдашь Эсфири...» — «Эсфири?» — «Эсфири...» Другой на моем месте потребовал бы за такое поручение двойную плату, но я не такой...

3

«Господи боже мой! — думаю я по дороге. — Как бы узнать, о чем пишет мой брат дочери ребе? Надо посмотреть. Только посмотреть. Ничего ведь с ним не станется». Распечатываю письмецо к Эсфири и читаю целое послание, ни дать ни взять из библейской книги «Сказание об Эсфири».

Вот послушайте. Передаю слово в слово!

«От Мордехая к Эсфири!»

Некий иудеянин — некий парень, жил в сузах — граде престольном — жил в нашем местечке, имя его Мордехай — звали его Мотл. И был он воспитателем — любил он Гадасы-красавицу, она же Эсфирь — это Эсфирь. Девушка эта была красива — хороша собой, стройна станом — и понравилась ему девушка — девушка ему понравилась. Но не сказывала Эсфирь о народе своем — Эсфирь не рассказывала никому, потому что Мордехай — то есть Мотл, ей приказал — наказал ей, чтобы она никому не сказывала — никому об этом не говорила. И всякий день Мордехай прохаживался — Мотл проходил мимо ее дома, мимо дворца царицы, чтобы посмотреть на Эсфирь. И когда пробил заветный час для Эсфири — и когда наступит пора для Эсфири, дочери Абихаила, — пора сочетаться браком, и взята была Эсфирь к царю Артаксерксу — он возьмет Эсфирь в жены, и он возложит царский венец на голову ее — и он с ней повенчается.

Каково? Здорово мой братец истолковал книгу «Эсфирь»? Что сказал бы ребе о таком истолковании? Ага! Придумал, честное слово, придумал! Перепутаю адреса:

стихи, посвященные ребе, отдам Эсфири, а послание Эсфири отдам ребе — пусть наслаждается. Что? Столпотворение?! Кутерьма? Но что же я такого сделал? Ведь каждый человек может ошибиться! И почтальон иной раз не вручит письма. Правда, со мной этого никогда не случится. Я ведь не такой...

4

— С праздником, ребе! — врываюсь я в школу с таким шумом, что ребе вздрагивает. — Мой брат посылает вам подарок к празднику и желает вам счастливой жизни.

И я отдаю ребе послание. Мой ребе распечатывает конверт, глядит, размышляет, вертит послание во все стороны. По-видимому, он ищет чего-то. «Ищи, ищи, — думаю я про себя, — много найдешь...»

Ребе надевает свои серебряные очки, прочитывает послание, и хоть бы что, даже глазом не моргнул. Только глубоко вздохнул. Затем он обращается ко мне: «Подожди, я напишу несколько слов». А я тем временем слоняюсь по комнате, получаю у жены ребе пряник и кусок пирога и между прочим, улучив момент, сую Эсфири в руку стихи, посвященные ребе, вместе с подарком. Она покраснела, спряталась в уголок. Смотрю — лицо ее запылало, как свеча, а глаза горят — смотреть страшно! «По-видимому, недовольна подарком», — думаю я про себя и подхожу к ребе. Он вручает мне свои «несколько слов».

— Прощайте, ребе, до будущего года! — И отправляюсь домой.

Когда я очутился уже за дверью, меня нагнала Эсфирь с заплаканными глазами. «Вот, — сердито сказала она, — вот это отдашь брату!»

По дороге я вскрываю сперва письмо ребе, — он старше, ему и почет. Там написано следующее: «Дорогой и любимый ученик мой, Мордехай! Благодарю тебя очень, очень за твой подарок, присланный мне. В прошлом и позапрошлом году ты присылал мне другие подарки, настоящие. В этом году ты прислал мне новый комментарий к библейской книге «Эсфирь». Благодарю тебя за него. Но должен тебе сказать, Мотл, что твое толкование мне несколько не понравилось. Во-первых, написано «В Сузах — граде престольном», это значит

в столице, а не «в нашем местечке». Во-вторых, интересно знать, где это ты вычитал, что Мордехай был простым парнем? И почему ты решил, что выражение «он был воспитателем» означает «полюбил ее»? А твое толкование слов «и он возложил царский венец на голову ее» как намерение «с ней повенчаться» просто ни с чем не вяжется. Во-первых, «венец возложил на голову ее» не Мордехай, а царь Артаксеркс. Во-вторых, нигде в книге «Эсфирь» не сказано, что Артаксеркс венчался с Эсфирью. Не велика премудрость взять текст Священного писания и так исказить! Каждое толкование должно иметь смысл! В прошлом и позапрошлом году ты присылал мне кое-что другое. В этом же году тебе пришлось в голову послать своему ребе комментарий к книге «Эсфирь», да к тому же еще комментарий искаженный. Ну да ладно, стало быть, так надо. Посему я отсылаю тебе твое послание, и да пошлет тебе господь бог счастливый год, как желает тебе твой ребе...»

Вот это головомойка! Так ему и надо, моему братцу! Больше он таких посланий писать не будет.

С письмом ребе покончено. Но надо же взглянуть, что пишет она, дочь ребе? Вскрываю письмо — и что же? Оттуда вылетают два бумажных рубля. Что за напасть? Читаю всего две строчки:

«Мотл, благодарю тебя за твои два рубля, возьми их обратно. Не такого письма я ждала от тебя. Подарки твои мне не нужны, а милостыня — тем более...»

Ха-ха, занятно, не правда ли? Милостыни она не желает! Замечательная история, честное слово! Что же делать дальше? Другой на моем месте порвал бы, конечно, оба письма, а деньги положил бы в карман. Шиш с маслом принес бы он домой, а не два рубля. Но я не такой... Послушайте-ка лучше, что я придумал. Плату за труды я ведь от брата получил, решил я, ну и ладно! И я отдал оба письма отцу. Услышим, что отец скажет. Он лучше, чем ребе, поймет послание брата, ведь отец — это все же отец, а ребе — только ребе...

5

Что произошло, когда отец прочитал оба письма и послание Мотла, — лучше и не спрашивайте. Я мог бы сказать, как мой брат Мотл, словами из книги «Эсфирь»: «И град Сузы в смятении».

Но не в этом дело. Вам, вероятно, хочется знать конец: что было дальше с дочерью ребе Эсфирью и моим братом Мотлом? Что могло быть? Ничего. Эсфирь вышла замуж. Выдали ее за вдовца. Ах, как она плакала! Я был на ее свадьбе. Почему она так плакала, не знаю. Наверно, предчувствовала, что ей с мужем недолго жить. Так оно и вышло. Прожила она с ним полгода и умерла. Отчего она умерла — не могу вам сказать. Не знаю, да и никто этого не знает. Ребе и его жена тоже не знают. Поговаривали, что она отравилась, сама себя отравила. Но это неправда. «Враги выдумали», — слышал я от самой жены ребе.

А мой брат Мотл? Ого! Он еще раньше женился, еще до того, как Эсфирь стала невестой, и уехал туда, к тестю. Но вскоре он вернулся. И вернулся один. В чем дело? Он желает развестись. Отец ругает его: «Болван». А матери не нравится, что ругают Мотла. Вот они и ссорятся. Весело! Так-таки ничего не смогли с ним поделать. Он развелся и женился на другой. У него уже и детки есть. Мальчик и девочка. Девочку зовут Эсфирью. Отец было сказал, чтобы ее назвали Гитл, по имени его матери, бабушки Гитл. А мать хотела, чтобы ее обязательно назвали Леей, в честь ее матери, бабушки Леи. Из-за этого между отцом и матерью разгорелась ссора. Весь день и всю ночь они спорили. И порешили назвать ее Лея-Гитл, в честь обеих бабушек. На этом помирились. Вдруг отец раздумал. Он не хочет имени Лея-Гитл. «Почему?» — «Так! Почему это имя твоей матери должно быть первым?» Тут приходит мой брат Мотл из синагоги и говорит, что девочку уже назвали: Эсфирь. Отец сердится: «Болван! Почему Эсфирь?» А Мотл ему отвечает: «Ты забыл, что скоро праздник пурим?..» Что тут отцу возразить? Конечно. Отец больше не кричит и не ругает Мотла «болваном»... Отец и мать как-то странно переглядываются и молчат...

А как понять этот взгляд и это молчание — не знаю. Может быть, вы знаете?



ПАСХА В ДЕРЕВНЕ

1

Пусть дуют ветры, пусть воют бури, пусть все на земле ходуном ходит — что до этого древнему дубу! Испокон веку стоит он, глубоко уйдя могучими корнями в сырую землю! Что ему ветры? Что ему бури?

Древний дуб — это не символ. Это живой человек по имени Нахмен Веребовский из Веребовки. Высокий, широкоплечий, кряжистый — богатырь. Все евреи в городе смотрят на него с завистью и в то же время подтрунивают над ним: «Шолом алейхем! ¹ Как вы себя чувствуете, как ваше здоровье?» Нахмен знает, что они смеются над ним и над его ростом. Он старается немного сгорбиться, чтоб казаться ниже, чтоб немного более походить на еврея. Но это мало помогает, слишком уж он вырос.

В Веребовке Нахмен — старожил. «Наш Лахман» называют его крестьяне. Они считают его неплохим и толковым человеком и любят покалякать с ним. С ним советуются, как быть с хлебом. У «Лахмана» есть календарь,

¹ Мир вам! (еврейск.)

и он знает, дорогой или дешевый будет хлеб в нынешнем году. А иногда толкуют и о том, что слышно на белом свете вообще. «Лахман» ездит в город, видится с людьми, он знает, что делается на свете.

Невозможно представить себе Веревовку без Нахмена Веревовского. Не только его отец, Файтл Веревовский, родился и умер в Веревовке, но даже дед его Арье, — царство ему небесное, это был умница и балагур, — хвастался, что деревня потому и называется Веревовкой, что там проживает Арье Веревовский. Потому что еще прежде, чем Веревовка сделалась Веревовкой, он, Арье Веревовский, уже был Веревовским. Да, так говаривал его дед. Вот какие были люди!

И вы думаете, что Арье Веревовский говорил это просто так? Нет, Арье был не столь глуп, чтобы болтать зря.

Он имел в виду гонения на евреев. В те времена тоже были гонения на евреев. Уже тогда поговаривали, что их будут выселять из деревень. И не только поговаривали, но и выселяли. Выселяли и многих выселили. Но старого Арье Веревовского — дудки, руки коротки! Говорили, что сам губернатор ничего не мог поделывать, так как Арье Веревовский доказал, что по «закону» его никто из Веревовки выгнать не может. Вот какие были люди!

2

Конечно, когда имеешь такие, можно сказать, неоспоримые права на проживание в Веревовке, можно чувствовать себя достаточно прочно. Что нашему Нахмену Веревовскому «гонения», «черта», «циркуляры»? Что Нахмену до злодея Курочки, с его баснями, которые он каждый раз приносит из волости? Курочка — небольшого роста, с короткими руками; на нем поддевка и высокие сапоги; он носит часы с серебряной цепочкой — ни дать ни взять настоящий барин! Он волостной писарь, поэтому он знает, что у кого болит. Кроме того, Курочка читает все эти «хорошие» газеты, которые нынче изрыгают хулу и клевету на евреев.

Курочка — сосед Нахмена, и они как будто приятели. Когда у Курочки болит зуб, «Лахман» дает ему полосканье. Если жена Курочки, например, рожает, то «Лахманка» у нее повитухой. Но с некоторого времени, — черт его знает! — с тех пор, как Курочка начитался этих

знаменитых газет, он переменялся. Каждый раз он приходит к соседу с новостью: «Новый губернатор прибыл», «Новый циркуляр от министра», «Новое распоряжение о евреях»... У Нахмена в эту минуту обрывается сердце и кровь стынет в жилах, но он не подает виду. Не должен Курочка об этом знать! И Нахмен выслушивает его с улыбкой и показывает ему одной рукой на ладонь другой руки: дескать, вот когда здесь волосы вырастут... Пускай сменяются губернаторы, пусть министры пишут циркуляры, — что до всего этого Нахмену Веребовскому из Веребовки?

3

Живется Нахмену Веребовскому из Веребовки сносно. С прежними временами, разумеется, не сравнить. Конечно, в годы дедушки Арье жизнь была иная. Вот то была жизнь! Вся Веребовка, можно сказать, принадлежала им. Не одно дело имели они, а несколько: держали трактир, лавку, мельницу, амбар с зерном. И доходы были! Как говорится, деньги загребали лопатой. Но все это было когда-то. Было да сплыло. Никаких трактиров, никаких лавок, никаких амбаров с зерном. Ничего. Ничегошеньки. Тогда вы спросите: если так, то зачем же еврею сидеть в Веребовке?

А где ж ему сидеть? В преисподней? Пусть только Нахмен продаст дом, он уже не веребовский. Он тогда будет уже чужаком, гостем. А так все-таки свой угол, есть где голову приклонить. Собственный дом, при доме огород. Жена и дочери сами обрабатывают землю. И когда бог дает урожай, они все лето обеспечены зеленью, картошки хватает на всю зиму и даже до самой весны. Но не одной картошкой жив человек, к картошке, говорят, еще хлеб требуется. А хлеба нет. Что ж? Нахмен берет клюшку и отправляется по деревне чем-нибудь промышлять. И уж он не придет домой с пустыми руками! Купит что бог пошлет: немного железного лома, гарнец пшена, старый мешок, а не то — овчинку. Овчину растянут, просушат и отнесут в город, к Авром-Эле, шапочнику. И из всех этих дел получается или прибыль, или убыток. На то уж ты купец! «Купец як стрілець!» — говорит Нахмен. Он любит крестьянские пословицы. А Авром-Эле, человек с подсиненным носом и черными паль-

цами, словно вымазанными в чернилах, смеется над ним, — так он огрубел среди мужиков, что даже поговорки у него мужицкие.

4

Да, он огрубел в деревне. Нахмен сам чувствует, что чем дальше, тем больше грубеет. Конечно, если б его дед, Арье Веребовский, царство ему небесное, встал из гроба и посмотрел на своего внука!.. Ай-яй-яй!.. Вот это был человек! Тоже богатырь, но знаток Священного писания. Знал наизусть и «Поучения отцов», и молитвы, и псалмы. Вот какие были люди! А он, Нахмен, что он знает? Совестно сказать, — он едва-едва умеет молиться. Но и это хорошо. Его дети и этого знать не будут... Посмотрит Нахмен на детей, как они растут, все без толку, высокие и широкие, как отец, и ни читать, ни писать, тоже как отец, и так станет ему горько... Больше всего у него болит сердце за самого младшего. Файтл зовут его. Он назван по деду, Файтлу Веребовскому, царство ему небесное. Хороший мальчик этот Файтл, прекрасные у него способности. Он и ростом поменьше других детей, subtilный такой, больше похож на еврея. А голова у него — министерская. Только один раз шутки ради показали ему в молитвеннике алеф и бейс *, и он уже безошибочно их различает. Никогда он вам не скажет на алеф, что это бейс, и на бейс — что это алеф. И такое золото растет в деревне, среди телят и поросят. Играет Файтл с сыном Курочки, Федькой, ездит с ним вместе верхом на палочке, оба гоняются за кошкой, копают оба одну ямку, словом, делают все то, что делают маленькие дети. Посмотрит Нахмен, как его мальчик играет с крестьянским мальчиком, и обидно ему делается, и он сохнет, как подрубленное дерево...

5

А Федька — славный паренек, с приятным, симпатичным личиком, с льяными волосами. Он одних лет с Файтлом и без Файтла жить не может. И Файтл его любит. Целую зиму лежат эти двое детей, каждый у своего отца на печке, тянутся к окошку и скучают друг по дружке. Редко-редко выпадет им счастье увидеть друг друга. Но вот прошла зима, долгая, суровая зима. Вот земля осво-

бодилась от своего холодного белого покрова. Блеснуло солнце, и ветерок все обсушил, показалась травка, и там, под горой, заиграла речка. Теленок раздул ноздри и нюхает воздух. А петух закрыл один глаз и стоит, задумавшись. Все вокруг ожило, все радуется: скоро пасха! В эту пору уже не удержать дома ни Федыки, ни Файтла. Оба они выбирают на свет божий, который одинаково открылся для них обоих. Они берутся за руки и бегут к горе, которая одинаково улыбается им обоим: «Сюда, ребята, сюда!» Они прыгают навстречу солнцу, которое обоих их приветствует и обоих зовет к себе: «Сюда, детишки, сюда!» А когда мальчики устают бегать, они садятся на божью землю, которая не различает ни еврея, ни русского и зовет: «Ко мне, дети, ко мне!»

6

Обоим есть что порассказать — целую долгую зиму они не виделись. Файтл хвастается, что знает уже почти всю азбуку. А Федька — что у него есть кнут. Тогда Файтл начинает рассказывать, что у них сегодня ночью пасха. У них уже есть маца на все восемь дней пасхи, есть и пасхальное вино.

— Помнишь, Федька, в прошлом году я принес тебе мацу?

— Мацу? — говорит Федька, и его милое личико расплывается в улыбке. Он, видно, вспомнил вкус прошлогодней мацы...

— А ты хотел бы, Федька, сейчас попробовать кусочек мацы?

— Вот еще вопрос?! Есть о чем спрашивать?!

— Ну, пойдем же туда, — говорит ему Файтл и показывает на гору, которая зеленеет вдали и кивает им: «Сюда, дети, сюда!»

Они взбираются на гору, останавливаются на мгновение, зачарованные, смотрят сквозь пальцы на играющие редкие лучи доброго солнца и вдруг бросаются на еще влажную землю, которая уже пахнет зеленью. Файтл вынимает из-за пазухи свежую белую кругленькую мацу, усеянную вдоль и поперек маленькими дырочками. Федька уже заранее облизывается. Файтл добросовестно разламывает мацу пополам и делится со своим товарищем.

— Как тебе нравится, Федька, эта маца?

Что может Федька сказать, когда рот у него набит мацой, которая хрустит на зубах и тает на языке как снег? Еще минута — и нет мацы.

— Еще есть?.. — Федька заглядывает своими серыми глазами за пазуху Файтла и облизывается, как кот на сало.

— А ты еще хочешь? — спрашивает Файтл, прожеывая последний кусочек мацы, и плутовато поглядывает на него черными глазенками. — Подожди немного, в будущем году еще принесу.

Оба смеются и, не произнося ни слова, точно заранее сговорившись, скатываются с горы, как два мяча, быстро, быстро вниз.

7

На той стороне горы они останавливаются, смотрят на речку, которая убегает куда-то налево. А они устремляются направо, дальше и дальше по широкому вольному лугу, который еще не зелен, но вот-вот зазеленеет, который не пахнет еще травой, но обещает, что скоро запахнет.

Задумчивые, притихшие, словно околдованные, идут они и идут по мягкой благоухающей земле, под светлым сияющим солнцем. Они не идут, они плывут. Они не плывут, а летят. Они летят вместе с птицами, которые парят в воздухе перед их глазами, ныряют и снова несутся вперед по этому доброму зеленому миру. Тише, они уже у мельницы. Это ветряная мельница старосты. Когда-то она была мельницей Нахмена Веребовского. Теперь же она принадлежит старосте. Его зовут Опанас. Он хитрый, этот Опанас с одной серьгой в ухе. У него в доме уже есть самовар. Староста Опанас — богатый хозяин. Кроме мельницы, у него еще есть лавка. Та самая лавка, которая раньше принадлежала Нахмену Веребовскому. Хитростью он выторговал у еврея и лавку и мельницу... Обычно, когда приходит весна, мельница работает. Но сегодня она стоит. Нет ветра. Странная весна, весна без ветра. Поэтому-то она и стоит, мельница. Для наших друзей, Файтла и Федьки, это даже лучше. Когда мельница стоит, можно все разглядеть. На мельнице есть что посмотреть. Сама мельница не так интересна, как бревно, при помощи которого мельница поворачивается. Вот на это-то бревно и уселись два друга. Тут только и пошли у них разговоры. Файтл рассказывает чудеса о городе.

Отец как-то поехал в город, в синагогу, и взял с собой мальчика. Они были на рынке, заходили в лавки; в городе не одна лавка, как у них в Веребовке, там много лавок. А потом вечером, рассказывает Файтл, они пошли в синагогу. Отец должен был помянуть своего отца. «Моего деда, значит. Ты понимаешь, Федька?»

Может быть, Федька и понял бы, но он не слышит. Он вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать историю о том, как он в прошлом году увидел птичье гнездо на высоком дереве. Хотел взобраться на дерево, но не смог. Хотел достать гнездо палкой, но и этого не смог сделать. Тогда он принялся бросать в гнездо камешки и так долго бросал, пока оттуда не упали два маленьких окровавленных птенчика.

— Убил? — говорит Файтл со страхом и весь сжимается.

— Маленькие, — виновато защищается Федька.

— А убил?

— Без перышек, желтенькие клювики, толстенькие животики.

— А убил ты их, убил?..

8

Было уже не рано, когда наши юные друзья, Файтл и Федька, взглянув на солнце, спохватились, что пора домой. Файтл забыл, что сегодня вечером пасха. Сейчас он вспомнил, что мама должна вымыть ему голову и надеть новые штанишки. Он вскочил, Федька за ним. Веселые и радостные, они направились домой. Для того чтобы один не явился раньше другого, они, как настоящие друзья, взяли за руки и стрелой понеслись в деревню. Когда же они прибежали туда, их глазам представилась странная картина.

Дом Нахмена Веребовского осажден людьми. Писарь Курочка и староста Опанас, стражник, сотский и урядник — все тут. Все говорят, все шумят. А Нахмен и Нахменка стоят посредине и машут руками. Нахмен согнулся, вытирает пот с лица обеими руками. В стороне стоят старшие дети Нахмена, темнее ночи. Внезапно вся картина меняется. Кто-то показывает на двух юных приятелей, и вся толпа с писарем, старшиной, старостой, сотским и урядником застывает. Один только Нахмен

бросает взгляд на народ, выпрямляется, расправляет свои могучие плечи. «Ну???» — смеется он. А Нахменка всплескивает руками и почему-то начинает плакать... Староста со стражником, сотским и урядником выступают вперед и набрасываются на детей.

— Вы где пропадали, такие-сякие?

— Где мы были? Мы гуляли у мельницы.

.....

9

Оба друга — и Файтл и Федька — получили хорошую взбучку, и оба не понимали за что.

Файтла отец первым долгом отшлепал ермолкой. «Чтоб мальчик знал...» Что должен мальчик знать? И, должно быть из жалости, мать вырвала его из рук отца и прибавила ему от себя пару шлепков. Тут же она принялась мыть его черную головку и надела ему новенькие штанишки — единственную его обнову к пасхе. И она вздыхает. Отчего она вздыхает? Потом Файтл слышит, как мать говорит отцу: «Ах, если б бог дал, скорей прошел этот праздник! Хоть бы все обошлось благополучно... Лучше бы эта пасха кончилась прежде, чем началась!» А Файтл недоумевает, он не понимает, за что бил его отец, не понимает маминых шлепков. Он не понимает наконец, что это за пасха нынче на свете!..

10

А уж если Файтлу не понять, то Федьке и подавно непонятно, что творится. Сначала отец, Курочка, ухватил Федьку за вихры, крепко подергал его светлые, как лен, волосы и еще дал ему пару подзатыльников. Подзатыльники Федька принял как философ: он уже привык к ним. Он прислушивается, как мать говорит с крестьянками. Те рассказывают ей какие-то странные вещи. Они рассказывают историю о ребенке, которого евреи заманили к себе перед пасхой, продержали в погребе день и ночь и хотели уже взять его в работу, но люди услышали крик, прибежали и спасли ребенка. У него уже были следы укулов на теле — по четыре укула в четыре стороны, наподобие креста.

Так рассказывает одна бойкая крестьянка с красным лицом, в широком очипке. А остальные слушают ее, качают подвязанными головами и крестятся: «Ой, горюшко, ой, лишенько...» Федька никак не поймет, почему они, рассказывая, все время смотрят на него. И какое отношение имеет эта история к нему и Файтлу? И за что тятка схватил его за чуприну, крепко надергал его льняные волосы и еще дал пару подзатыльников в придачу? Ему не жаль загривка, ему не обидны подзатыльники, их он всегда получает достаточно, но он хотел бы узнать, почему сегодня такая солидная порция: отец и за вихры таскал, и еще подзатыльников надавал. Почему? Почему?

— Ну? — слышит Файтл, как отец по окончании пасхи обращается к матери. Лицо его сияет, как будто его посетило невесть какое счастье. — Ты же с ума сходила? Ты же боялась... Женщина остается женщиной. Прошла наша пасха, миновала их пасха — и ничего!..

— Слава богу! — отвечает ему мать, и Файтл опять не понимает, чего боялась мама... И почему надо радоваться, что пасха прошла? Разве не лучше было бы, если б еще долго-долго была пасха?

Файтл встречается с Федькой на улице у самого дома и не может удержаться, чтобы тут же не рассказать ему, как у них на пасху молились, а потом ели. Ах, как ели! И он описывает ему вкус пасхальных блюд, которые он ел, вкус сладкого вина, которое пил. Федька слушает очень внимательно и заглядывает Файтлу за пазуху, нет ли там мацы... Вдруг на всю улицу раздается звонкий певучий голос:

— Хведь-ка! Хведь-ка!

Это мать зовет Федьку домой обедать. Но Федька не торопится. Теперь его никто не схватит за загривок! Вон первых, они не у мельницы. И во-вторых, сейчас уже «после пасхи». После пасхи нечего бояться евреев. И он продолжает лежать, вытянувшись на животе, положив на руки белую головушку. Против него лежит Файтл,

тоже на животе, положив на руки черную головенку. А с голубого неба пригревает солнышко. Ветерок играет и ласкает. А рядом теленок; тут же и петух со всеми своими женами. И обе головки, светлая и темная, лежат одна против другой, и мальчики все говорят, говорят и никак не наговорятся...

12

А Нахмена нет дома. Он с самого утра, взяв клюшку, отправился по деревне чем-нибудь промышлять. Он останавливается у каждого двора, с каждым здоровается, каждого называет по имени, говорит обо всем на свете, только не о пасхальной истории... Только не о тревожных днях праздника... И уже перед самым уходом он, как бы между прочим, спрашивает: «Нет у тебя чего лишнего, что тебе не надобно?» — «Нема, Лахман!» — «Железный лом, немного пшена, какая-нибудь старая вещь или овчинка?» — «Прости, Лахман, ничего нет, тяжелое время». — «Тяжелое время! Пропил, должно быть? Такой праздник!» — «Кто там пьет? Что мне праздник? Тяжелое время...»

Крестьянин вздыхает, и Нахмен тоже вздыхает. После этого немного поговорят о посторонних вещах, чтобы не выглядело, что он пришел торговать. Он уходит от этого крестьянина, идет к другому, к третьему, — пока не набредет на что-нибудь подходящее. Он не приходит домой с пустыми руками. Нагруженный, вспотевший, шагает Нахмен своими исполинскими шагами и думает сейчас только об одном: сколько может он сегодня заработать или потерять. О пасхальной истории он уже забыл. О пасхальных тревогах он уже не помнит. И сосед Курочка со своими губернаторами и циркулярами совершенно вылетел у него из головы.

Что о нем думать?!

Пусть дуют ветры, пусть воют бури, пусть гибнет все на земле, — что до этого древнему дубу! Он испокон веку стоит, могучими корнями глубоко уйдя в сырую землю! Что ему ветры? Что ему бури?

**РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ
В ЦИКЛЫ**

ЛЕТО КРАСНОЕ

ДАЧНАЯ КАБАЛА

1

*Хитнув сразу добрых несколько тысяч, из дому
выгоняют нищету, а врачи велят ехать
в Бойберик на дачу*

Не спрашивайте, как, каким образом, каким чудом, с какими муками и трудностями, с какой морокой и головокружением, но вот незадолго до нынешней пасхи я, благодарение богу, провел одно дельце и неплохо заработал — сразу добрых несколько тысяч.

Схватишь сразу добрых несколько тысяч, — и принимаешься в первую очередь за нищету, начинаешь изгонять ее из дому. Швырнешь ей в голову стул, новый кафтан, подушку, пару одеял, дюжину тарелок, кусок материи, пианино — все, что под руку подвернется, летит ей в голову! Словом, я, с божьей помощью, вытурил нищету ко всем чертям, расплатился с мясником, лавочником, меламедом и прочими кредиторами вчистую, и справили мы пасху, — дай бог всем моим друзьям не хуже! Прекрасная маца, лучшая рыба, самые дорогие вина, самые новые наряды, самые жирные галушки (а в синагоге самый почетный вызов к торе) были у меня! Однако все это, не про вас будь сказано, нам повредило. Стали звать врачей, врачи начали прописывать рецепты, брать деньги и давать советы, утверждать, что я, и моя жена, и дети, все мы нуждаемся в воздухе. Без воздуха человек не может обходиться даже какой-нибудь час (так говорят врачи). И решено было, что сразу же после швуэс, когда

начнется лето, мы выезжаем в Бойберик на дачу, дышать воздухом.

По правде говоря, не столько воздух тянул нас в Бойберик, сколько сам по себе Бойберик. Ездить в Бойберик и жить там на даче, у нас в Егупце — очень важное дело, предмет гордости, как, например, мягкие кресла с жесткими «спренжинами», на которых никто не сидит, или рояль, который должен стоять в зале, хотя играть на нем некому, и тому подобные вещи, которые нынче шибко в моде. У нас в Егупце, когда двое встречаются в начале лета, первым долгом спрашивают:

— Куда вы нынешним летом едете на дачу?

— В Бойберик, куда же еще ехать? А вы?

— В Бойберик, куда же еще ехать? У вас уже есть дача?

— Да еще какая дача! А у вас?

— Еще какая! Где же ваша дача?

— На Крещатике, конечно! Ну, а ваша?

— Разумеется, на Крещатике...

И так далее.

2

Попали в рай. Маклеры несколько омрачают нам блаженство рая

Сразу же после швуэс мы с женой сели в поезд и приехали в Бойберик снимать дачу. Зеленый лес, свежий воздух, щебетание птичек и убранные дачи, из которых каждая выглядит, как принарядившаяся невеста в ожидании жениха, так нас очаровали, что почти не хотелось уезжать отсюда обратно в шумный Егупец с его раскаленными камнями и замечательными запахами, особенно по ночам.

— Что ты на это скажешь, Хае-Этл? — обращаюсь я к жене.

— Что мне сказать? — отвечает она. — Денежки, черт бы их батьку взял!

— Видимо, — говорю я, — наши егупецкие аристократы знают-таки, что хорошо? Здесь прямо-таки рай!

— Боком бы им это вылезло! — отвечает она добродушно, и мы гуляем по раю, подобно праотцу Адаму и праматери Еве, до того, как они вкусили от древа познания...

Однако омрачили немного эту райскую благодать бойберикские маклеры, водившие нас смотреть дачи. Каждый тащил к себе, смотреть его дачу. Его дача, мол, лучше, красивее, дешевле. Среди маклеров был один, черный, с кнутом в руках и с подбитым глазом. Другой был рыжий парень с кривым лицом. И вот этот рыжий паренек с кривой физиономией схватил нас за полы и тащит. Тогда черный, что с подбитым глазом, схватил нас за руки и говорит:

— С кем вы хотите пойти? С Иваном Поперилой? Он вас в преисподнюю затащит!

— Заткнешься ли ты, кот чертов? — крикнул рыжий паренек. — Сейчас я тебе второй глаз в порядок приведу!

И, не долго думая, прыгнул к черному и раз... — прямо в лицо. А черный как хватит его кнутовищем, окровавил и кричит, что пожалуется уряднику, а нас свидетелями выставит. Услыхав слово «урядник», мы постарались от них отделаться и убежали куда глаза глядят.

3

Переезд из Егупца в Бойберик. Мелкие неприятности и великий позор

Поездка из Егупца в Бойберик — это пустяк: продолжается всего полчаса. Но переезд из Егупца в Бойберик на дачу с женой и детьми, с постелью, с мясной и молочной посудой и всеми прочими бебехами — я только врагу своему пожелаю! С первой минуты, как только вы принимаетесь укладываться в дорогу, жена расстраивается и начинает ужасно нервничать. Не трогайте ее в это время, вам же лучше будет! Вот она как будто держит ключи в руке, вертится, стоя на одном месте, и кричит: «Где мои ключи? Ключи! Что это за дом такой: что ни положи, исчезает! Господи, спаси и помилуй от такого дома и от таких детей! Разве это дети? Дьяволы, черти, нечистая сила, а не дети!..»

А у детей манера: чуть увидят, что старшие очень заняты, они начинают путаться под ногами... Толкнешь их, швырнешь, ударишь — начинается рев, крик, шум, — форменный ад! А укладывание! Шутка ли, целое хозяйство, не сглазить бы, надо уложить, запаковать, завязать, не

забыть какой-нибудь мелочи! И, словно назло, когда все уже отослано в багаж, оказывается, забыли положить женину шляпку с цветами, клетку с канарейкой, чернильницу со стола, трости, зонтики и тому подобные глупости, которые всегда остаются напоследок, в том числе и трубу от самовара.

— Что мы будем делать без трубы? — кричит жена. — Где я возьму шляпку на даче? И что будет с бедной птичкой? Она же подохнет!

Словом, все это надо взять с собой и нести в руках. Но кому же нести, когда у всех руки заняты, все нагружены сверху донизу кошелками, коробками, узелками и пакетами. Приходится вам самому потрудиться (другого выхода нет!) и взять, извините, самоварную трубу в одну руку, а клетку с птичкой — в другую. Что же делать с шляпкой и прочим барахлом? Тогда вам приходит в голову счастливая мысль — взять трубу под мышку, а шляпку в руку, чтобы не помять. А чернильницу? Чернильницу вы засовываете в карман, садитесь с грехом пополам на подводу и едете, удрученный, к поезду.

Приехали на вокзал — начинается новая глава: билеты. Вы никак не можете сосчитать, сколько вам нужно билетов. Останавливаетесь и считаете по пальцам: жена — один, не взглянуть бы, восьмеро детей, шестеро взрослых — шесть целых билетов, значит, всего семь, двое малых ребят по полбилета — восемь, бабка — девять, трое прислуг — двенадцать. Ровно двенадцать. Ровно двенадцать, хорошо, что не тринадцать, — тринадцать несчастливое число... (Себя вы забываете включить в список.) Дзинь, дзинь, дзинь! Народ толчется, жена зовет вас: «Где ты там? Чего ты там так долго возишься? Не хватало еще опоздать из-за тебя!» А дети помогают кричать: «Папаша, скорей, скорей! Опоздаешь!» Замороченный, вы влетаете в вагон, застываете с самоварной трубой в дверях, шляпка с цветами падает у вас из рук. Вы нагибаетесь, хотите ее поднять, но тут на нее опрокидывается чернильница. Жена начинает горячиться (и она совершенно права): «Повернулся, как тюлень! Кто просил тебя быть таким добрым и носиться с моей шляпкой? Как я теперь буду без шляпки?» Вы, конечно, говорите, что купите ей десять шляпок, лишь бы было тихо. Но она говорит, что не нуждается в одолжениях, очень вы

ей нужны с вашими шляпками! Вы краснеете, как мак, и покрываетесь потом от стыда, потому что на вас устремлены пятьдесят пар глаз. А ваши дети затевают драку из-за окна: все хотят стоять и смотреть в окно! Их счастье, что это в вагоне: не стыдись вы людей, вы бы с ними разделались как следует! Но тут подходит к вам младший из детей и спрашивает: «Папаша! А где каналейка?..»

Бросаетесь к клетке, — пусто! Нет никакой птички! Поднимаетесь, ищете ее под ногами, в карманах: «Куда могла деваться птичка? Когда она могла вылететь?»

Один спрашивает: какая это была птичка? Другой интересуется: сколько она стоила? Кое-кто перешептывается, другие давятся от смеха. Некий молодой человек с белыми зубами советует немедленно по приезде в Бойберик дать телеграмму в Егупец, чтобы там разыскали птичку, а вся остальная публика прыскает со смеху. У вас сильное желание схватить этого белозубого умника за глотку и вышвырнуть в окно! Счастье, что входят кондуктор и контролер и все принимаются за билеты.

Когда доходит очередь до вас, контролер спрашивает: за кого у вас двенадцать билетов? Вы считаете по пальцам: жена, шестеро детей взрослых, двое маленьких, одна старушка и трое прислуг.

— Ну, а ваш билет? — спрашивает контролер и смотрит на вас, как на заведомого жулика, которому вздумалось прокатиться в Бойберик без билета. — Где же ваш, ваш билет?!

Вы совсем теряетесь, ищете билет везде, заглядываете в самоварную трубу, ощупываете задний карман, — нет больше билетов!

Жена заметила, что вы что-то ищете, и спрашивает:

— Что там еще? Что ты еще потерял? Посмотри-ка, где золотые часы! Есть еще у тебя часы? Или у тебя уже кукиш, а не золотые часы!

— Ничего я не потерял! — отвечаете вы со злостью, хватаете самоварную трубу и, швырнув ее в окно, производите: — Ко всем чертям собачьим!!

Вот так или примерно так прошел и наш первый переезд из Егупца в Бойберик на дачу.

На дачу нам доставляют все, что угодно. Приходят представляться местные жители, я знакомлюсь с сыном резника

Не успели мы развязать узлы и оглядеться, на каком мы свете, как нам начали приносить всякую всячину: кур, яйца, уток, овощи и молочное, соленья, копчения и прочие разности: бакалею, галантерею, меха, все, чего только пожелаешь.

— Что ты скажешь на это, Хае-Этл? — обращаюсь я к жене.

— Что мне сказать? — говорит она. — Денежки, черт бы их батьку взял!

Потом стали приходиться люди без товаров. Один входит, другой выходит, и мы начали заводить знакомства.

— Мир вам! В час добрый! — произносит один.

— Здравствуйте! Что скажете хорошего?

— Ничего. Я торгую дровами. Может быть, вам понадобятся дрова, вот я и пришел.

Затем появились женщины и начали представляться: одна — молочница, другая торгует сыром и маслом, третья — курами, четвертая — булками. Каждая заявлялась с особой рекомендацией. А за ними пошли нищие — парами и поодиночке, собиратели и собирательницы пожертвований, совсем как в Бердичеве.

— Видать, — говорю я, — у вас в Бойбернке порядочно евреев?

— Не сглазить бы! — отвечает заспанным голосом долговязый человек с бледным лицом и в длинном мешке, который он называет «накидкой», точно желая сказать: «Хотите — называйте меня хасидом *, хотите — зовите аристократом...» *

— Сколько, — спрашиваю, — к примеру, здесь может быть евреев?

— Вы лучше спросите, — отвечает он, — сколько здесь неевреев?

— У вас тут, видимо, — говорю я, — земля обетованная? Евреям можно жить здесь совершенно свободно? *

— Наоборот! — отвечает он. — Евреям здесь ни в коем случае жить нельзя!

— Как же они здесь живут, если нельзя?

— Да вот видите же! — отвечает он.

— Вы кто будете? — спрашиваю я у молодого человека.

— Кто я? Еврей.

— Это сразу видно, — отвечаю я, — что вы, упаси бог, не христианин. Я хотел спросить, кто вы такой?

— Кто я такой? Я, стало быть, сын здешнего резника.

— Чем торгуете?

— Чем я торгую? — переспрашивает он. — Может быть, я еще и буду когда-нибудь торговать. Пока я ничем не торгую.

— Что же вам нужно?

— Что мне нужно? Я пришел, значит, попросить у вас, не пожертвуете ли вы сколько-нибудь на нашу талмудтору?

— У вас в Бойберике и талмудтора имеется?

— Э! — отвечает он. — Кабы у нас была талмудтора, было бы хорошо!

— Значит, у вас талмудторы еще нет? На что же вы собираете деньги?

— На что собираем деньги? На здешнюю талмудтору!

— Если у вас нет денег, откуда же к вам взялась талмудтора?

— Да вот видите же!

.....
— Чего это ты расселся там толковать с этим растяпой? — кричит из дому жена. — Может быть, ты все-таки потрудишься пожаловать сюда и поможешь распаковать вещи, расставлять мебель и вбивать гвозди?

Я прощаюсь с сыном резника и направляюсь в дом вбивать гвозди.

5

Вбиваю гвозди в стены. Жена знакомит меня с нашими соседями

Вбивать гвозди в стены — мое самое большое удовольствие! Как увижу пустую стенку — обязательно должен набить в нее гвоздей сверху донизу. Что делать? Видно, у меня такая болезнь: не могу видеть стену без гвоздей.

— Кто это там стучит? — доносится голос за стеной.

— Что за стукотня? — слышится голос за другой стеной.

— Этот человек целый день только бы и делал, что вколачивал гвозди в стены! — говорит кто-то за третьей стеной.

— Головой об стенку! — доносится женский голос за четвертой стеной.

— Хае-Этл! — обращаюсь я к жене. — Ты не знаешь, кто это там пищит?

— Почему же мне не знать? — отвечает жена. — Это, должно быть, женщина из Грейдика, которую муж бросил и уехал в Америку. У нее большие глаза. Она два раза в неделю ездит в город к доктору Мандельштаму, он ей делает прижигания ляписом.

— Откуда ты все это знаешь? — спрашиваю я.

— Почему же мне не знать? — говорит она. — Я уже познакомилась почти со всеми нашими соседками, — кухни здесь все общие. У нас тут на даче «всякой твари по паре»: егупецкие «стикраты», богачи и люди попроще... Ты здесь найдешь и мануфактурщиков с Подола, ростовщика с Крещатика, и маклера по баржам, и домашнего учителя, и кассира какой-то мельницы, и агента от огня, певчего из хоральной синагоги, двух студентов, трех женщин и одну из Литвы.

— Форменный зверинец! — говорю я шепотом.

— Женщины — очень славные, порядочные. Они нездешние: приехали сюда лечиться. Одна из Звенигородки, тощая, как палка, кашляет, бедняга, ночи напролет. Другая из Рестополя с искусственной ногой. Третья — это та, что из Грейдика, которой Мандельштам прижигает глаза ляписом. А литвачка — тоже очень славная женщина, возится, не про меня будь сказано, с зубами, на стенку лезет.

— Ну и черт с ней!

— «Ну и черт с ней»? А что ты имеешь против нее? Ты ее знаешь? Ты ее видел? Она как раз очень милая, порядочная, честная...

— Возможно, — говорю я, — очень может быть.

— Что значит «может быть»? Что это за разговор — «может быть»?

— Ну, тише, тише! — говорю я. — Не кричи так. Вон идет сюда какая-то женщина, на одной ножке прыгает.

— Это — рестопольская, которая с искусственной ногой, — отвечает жена и идет к ней навстречу, дружески улыбаясь.

*Женщина с искусственной ногой и со множеством
болезней. Она засыпает меня словами.
Я удираю в лес*

— Сидите! Садитесь! Отчего вы не присядете? — говорит моя жена той, что с искусственной ногой, и подает ей стул.

— Спасибо, я и постоять могу! — отвечает женщина, садясь, и выставляет вперед искусственную ногу. — Не знаю, — продолжает она со вздохом, — кто выдумал этот Бойберик? Воздух, шмоздух, прошлогодний снег! Вот уже я почти неделю как живу здесь, и хоть бы мне вот настолечко легче стало! (Она показывает на мизинце, насколько ей не стало легче.) Знать бы так докторам о своем здоровье, как они знают, что со мной!

— Какая же у вас болезнь, к примеру? Почему доктора велели вам выехать сюда на дачу?

— Моя болезнь? — говорит женщина и поправляет свой протез. — Будь у меня только одна болезнь, было бы хорошо! Беда в том, что нет на свете болезни, которой бы у меня не было. А спросите, что у меня болит, я и сама не знаю! Вот я живу вместе с женщиной из Звенигородки, она возится с легкими. Ничего! Она, по крайней мере, знает, что с ней! Или, скажем, та женщина из Грейдика, что с больными глазами: она знает, что должна два раза в неделю ездить к доктору Мандельштаму, он ей прижигает ляписом, и конечно! Или, например, литвачка, которую донимают зубы. Очень скверно, конечно, когда болит зуб, а тем более когда, не дай бог мне этого, нарывает вся челюсть! Возможно даже, что это у нее такой ревматизм, не про меня будь сказано! Началось с простуды, в бане ее схватило. А теперь она на стенку лезет. Я крепче железа, если переносу ее крики! А кто же виноват, если не мужчины? (При этом она с озлоблением глядит в мою сторону.) Будь у меня такая зубная боль, я бы вырвала все зубы у мужа изо рта!

— Чем провинился муж, — говорю я, — если у жены болят зубы?

— Вот как? Seriously? — произносит женщина, выставив свою ногу, и шмыгает носом. — А детей вам рожать — это ничего? Носить, и кормить, и отлучать, и

оспа, и корь, и зубки, и кашку варить, и пеленки стирать, и рубашечки шить, и чулочки штопать, и головки мыть, и чесать, и расчесывать?.. Ах, вот как, этого вы слушать не желаете? У вас, говорите, времени нет? Хотите пойти, говорите вы, погулять с детьми в лесу? Того, что вам не пристало, вы и не слушаете? Знаем мы вас! Отлично знаем! Можете надвинуть вашу шапку поглубже! Ничего, правду можно и отцу родному сказать...

7

*Моя команда. У каждого свой рай.
Сморгонский сват дает мне совет*

Моя команда состоит, как выше сказано, из восьми, не сглазить бы, человек: трех девиц, уже взрослых, на выданье, двух поменьше и трех мальчиков. Все они в трудные годы порядком наголодались, досыта наелись горестей, а теперь хотят пожить, вкусить наравне с нами райского блаженства! Но каждый из них представляет себе рай по своему разумению. Например, рай старшей моей дочери — это доктор, и обязательно из Егупца, вторая дочь хочет юриста, и обязательно из Одессы, а третья — инженера с кокардой (из какого угодно города). Рай моих трех мальчиков — это уже совсем иного рода рай, а именно: один считает, что не может быть ничего лучше на свете, чем езда верхом на лошадке. Второму очень хочется иметь велосипед. «Если бы папаша, — говорит он, — купил мне на даче велосипед, я был бы самым счастливым!» А третий довольствуется красной рубашкой, глянцевыми сапожками, заправленными в голенища брюками, да чтобы собачонка бежала следом. И все это нужно купить, потому что жена над каждым из них трясется, и добиваются они у нее всего, всего, что им захочется. А тем более сейчас, когда бог помог и добиться можно, — почему не побаловать детей! Однако все это касается вещей, которые покупаешь за деньги. Но как быть с женихами? Что тут подделаешь? Доктор, и обязательно из Егупца? Юрист, и обязательно из Одессы? Инженер с кокардой. То есть если подойти к вопросу с другой стороны, то за деньги можно получить и докторов, и юристов, и инженеров сколько угодно! С тех пор как узнали,

что я сцапал большие тысячи, сваты закидали меня письмами со всего света. Сморгонский сват давно обивает у меня пороги. Он предложил мне чуть ли не двадцать семь партий и даже обругал уже меня.

— Чем же я виноват, — толкую я ему, — что дочери мои ни за что, ни в коем случае не желают выходить замуж по сватовству?

— А как же они желают? — спрашивает он.

— Они, — говорю, — желают, чтобы это была случайная встреча... любовь.

— Ах вот как! — отвечает он. — Иначе они у вас не привыкли? Им обязательно хочется любви? В таком случае могу дать вам совет: пускай они у вас спят на подоконниках, авось кто-нибудь сжалится над вами, похитит их через окошко и удерет с ними...

В другое время сморгонский сват открыл бы у меня двери собственной головой. Но когда имеешь взрослых дочерей, да еще троих сразу, приходится проглатывать обиды и помалкивать.

А по строгому секрету скажу я вам, что на девяносто девять процентов мы и на дачу в Бойберик выехали ради дочерей: а вдруг господь сжалится и подвернется что-нибудь подходящее? Потому что здесь, в Бойберике, каждое лето заключаются самые блестящие браки. Оно и понятно: на даче весь мир на виду. Лес достаточно велик, на вокзале всегда полно народу, есть и сад и театр. Парни и девушки встречаются десять раз на дню, делают глазки, улыбаются друг другу, перекидываются словечком-другим, потом знакомятся, ходят гулять в лес, катаются на лодках, поют песни... А по ночам сидят при луне, считают звезды, вздыхают... А тарелки бьют уже в Егупце*.

8

*Бойберикский лес со всеми его обитателями.
Различные парочки. Деревья хранят тайну*

Если вы думаете, что лес в Бойберике это такой же лес, как и все прочие, то вы ошибаетесь. Вы можете здесь гулять один, сколько вам вздумается, не о чем беспокоиться: разбойники, упаси бог, на вас не нападут, не встретите вы здесь ни волка, ни дикой козы, ни хищного зверя. Здесь могут вам повстречаться совсем иные

существа: истощенный дачник, шагающий по лесу без всякого дела, кашляющий и харкающий, больная женщина, которая держится за дерево и кашляет не переставая или лежит на земле и еле переводит дух, и тому подобные создания, которые мучаются и не желают помирать, которые верят в колдовство, в докторов, в рецепты, в лес, в воздух и прочие химеры... Другие больные, у которых много денег, лежат, растянувшись, в гамаках — этаких люльках, привязанных к деревьям и похожих на висячие могилы.

Евреи любят общество. Как бы они ни были больны, они не любят сидеть в одиночестве. «Что бог пошлет, лишь бы все вместе». В бойберикском лесу имеются места, которые служат клубом или, не будь рядом помянута, синагогой, где больные могут собраться и немного посидеть. Немного посидеть — значит немного поговорить, а немного поговорить — значит немного оговорить...

Прогуливаясь со своими по лесу, мы увидели издали группу похожих на покойников мужчин и женщин, сидящих в разных позах.

— Мойше, ты не знаешь, кто это такие? — спрашивает один, указывая на нас глазами.

— Откуда мне знать? Знать бы мне так горести! — отвечает Мойше и разражается кашлем.

— Погодите-ка! — говорит третий. — Это, наверное, новые дачники, которые сегодня утром переехали в Бойберик, на большую дачу.

— Если так, — отзывается еще один, приподымаясь на высохших руках, похожих на палки, — если это те самые, что вы думаете, то я вам расскажу кое-что интересное...

Услышав, что собираются рассказать «кое-что интересное», все покойники оживают, а тот, что приподнялся на тощих руках, хорошенько откашлявшись, рассказывает что-то шепотом всей компании. Его слушают с большим удовольствием, поглядывая время от времени на меня и на моих дочерей.

— Брайна! — обращается одна женщина к другой довольно громко. — Какая из этих трех девиц вам нравится больше?

— Средняя! — отвечает Брайна тоже во весь голос.

— Не правда ли средняя, Соре-Зисл?

— Нет, — говорит Соре-Зисл. — У средней только волосы хороши, а больше ничего. Мне нравится меньшая. Если бы не ее нос, она и вовсе была бы красавица!

— Тиш-ш-ше! — кричит на женщин один из мужчин. — Видали? Словно гуси, разгоготались!

Мы идем дальше и встречаем в лесу другие создания. Эти сидят за зелеными столиками, режутся в очко, в шестьдесят шесть и шлепают картами.

— Трешницу на тройку!

— Ну?

— И трешницу на тройку!

— Ну?

— И еще раз трешницу на тройку, на все!

— Отвечено! Что у вас?

— Три парня!

— Чепуха! А у вас что?

— Три девки!

— Плюньте им в рожу! Короли поважнее!..

.....
— Сто тридцать!

— Мои!

— Сто тридцать пять!

— Пас! Помогай вам бог! Что у вас за козыри?

И из-под сорока! И возле сорока! И поверх сорока!
И по ту сторону сорока!

— А король пик — собака? Трах по морде!

— Ремиз!

— Кушайте на здоровье!

.....
Эти существа, судя по всему, и не думают о смерти. Среди них имеются такие, которые приезжают из Егупца в Бойберик не ради прекрасного леса, не ради здорового воздуха, но именно ради очка или ради шестидесяти шести.

Еще дальше начинают встречаться парочки, девушки и парни. Каждая парочка держится по-своему. Одни гуляют под руку очень фамильярно: она смотрит на него, он смотрит на нее, и оба они напевают какую-то странную песенку, приплясывая в такт:

Люблю капусту, редьку, квас,
Но больше всех люблю я вас!
Вас обожаю!
Вас обожаю!..

Другая парочка, видно, учится бегать или играет в «ловитки»: она бежит, а он — за ней. Он хочет ее поймать, а она убегает. Третья парочка поменялась одеж-

дой: он надел ее жакет, а она — его шляпу, — и делай с ними что хочешь! Другие ходят и кричат не своими голосами: «А-у! А-у!» — и далеко в лесу эхо отвечает им: «А-у!..»

Тишина. Лес точно замер. Его все это не касается. Тихо и горделиво стоят высоченные сосны, утыканные зелеными колючими иглами, и смотрят вверх, в ясное голубое небо. Будьте уверены, у них вы ничего не выведаете.

Знаете, что я вам скажу? Боюсь, что бойберикский лес — сват почище сморгонского, да и всех сватов на свете.

9

*Еда на свежем воздухе. Нищие спекулируют.
Муж женщины из Рестополя. Дамы и их языки*

Возвратившись из лесу, мы застали на веранде, заросшей со всех сторон диким виноградом, накрытый стол и впервые сели кушать на свежем воздухе. Целый хор птичек, бесплатных музыкантов, пел, свиристел, чирикал и щebetал на тысячу ладов. Птички поодиночке подлетали к столу, хватали крошку и улетали восвояси.

— Хае-Этл! — обращаюсь я к жене. — Что ты на это скажешь? После такой прогулки по лесу кушать на свежем воздухе — совсем как будто не плохо?

— Что мне сказать? — отвечает жена, по своему обыкновению. — Я давно тебе говорила: денежки! Черт бы их батьку взял! Единственная беда — это то, что слишком уж здесь свободно, слишком открыто, все знают, что у кого готовят. Женщина из Грейдика, которой доктор Мандельштам прижигает глаза ляписом, уже побывала у нас на кухне, заглянула во все горшки. А рестопольская выведала у прислуг все, что творится у нас с первого часа нашей свадьбы...

— Пожертвуйте сколько-нибудь, люди добрые! — раздается вдруг несколько голосов сразу. Это нищие, которые тянутся друг за дружкой целой вереницей.

— Откуда вы? — спрашиваю я одного из них.

— Из Егупца, — отвечает он.

— Стало быть, вы живете здесь?

— Упаси бог! — отвечает он. — Мы каждый раз приезжаем поездом.

— Так ведь это же требует расходов? — говорю я. — Возмещаете ли вы хотя бы то, что тратите?

— Как когда, — отвечает он. — Иной раз возмещаешь расходы, а иной раз и докладывать приходится. В каждом деле так. Спекуляция. Приходится рисковать...

— Мир вам! Благословенны восседающие! — произносит некий рыжий молодой человек в шелковой шапочке и широком арбеканфесе.

Он останавливается против нас, смотрит, как мы едим, и курит папиросу.

— Здравствуйте! — отвечаю. — Пожалуйста кушать!

— Кушайте на здоровье! — говорит он, продолжая курить.

— Откуда будете? — спрашиваю я.

— Я, — говорит он, — из Рестополя. Приехал сюда к жене, проведать. Она с вами на одной даче живет.

— Стало быть, вы муж этой женщины из Рестополя? Ваше имя?

— Хаим-Волф.

— Вы хотели что-нибудь сказать мне, реб Хаим-Волф?

— Нет, — отвечает он совершенно серьезно. — Я увидел издали, что вы едите, и нарочно подошел, чтобы посмотреть, как это еврей ест без шапки!..

— Точно такая же история, — говорю я, — случилась в Конотопе. В Конотоп недавно приехал ваш рестопольский ребе *. И вот приходит к нему некий Мойше Конотопский, который никогда не был почитателем всяких ребе, и молча кладет ему на стол рубль. Ребе спрашивает: «Что скажешь?» Но тот молчит; достает еще один рубль и кладет его на то же место. «Что тебе угодно?» — спрашивает снова ребе. Тогда Мойше отвечает: «Ничего. Я только хотел посмотреть, как человек берет даром деньги...»

Муж рестопольской женщины поворачивается в другую сторону, сплевывает и уходит прочь.

— Что ты скажешь, Хае-Этл, о муже твоей рестопольчанки?

— Что мне сказать? — говорит она. — Твои егупецкие аристократки с брильянтовыми сережками, которые живут здесь на даче, ничуть не лучше. Целый день только и слышишь от них «ха-ха-ха!» да «ха-ха-ха!». Есть тут одна дама с брильянтами, и как раз такая, что целый

день сидит над книгой... Посмотрел бы ты, что она тут вытворяла из-за цыпленка! Ей померещилось, что соседка, тоже дама с брильянтами, у нее укр...

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — доносится визгливый хохот дамы, и чувствуется, что смеется она истерически.

А другая дама кричит, и клянет, и пересыпает свою речь странными словами: языкастая, мордастая, кирпатая¹, горбатая, пархатая, сморкатая...

— Ого! — говорю я. — Она владеет языком!

— Однако ты бы слышал, — отвечает жена, — как она не желает говорить со мной по-еврейски. Только по-русски и только по-немецки, хоть кол у нее на голове теши!..

10

Горячая стена. Соловьиная песнь и размышления купца

Усталые и измученные за день, мы свалились, как снопы, и легли спать. Проспав часа два, вижу сон, будто я в парной бане, забрался на верхний полок и кто-то хлещет меня веничком, — наслаждение!

— Подавай пару! — кричу я со сна во весь голос. — Пару! Пару, пару!

— Бог с тобой! Чего ты кричишь? Что случилось? — будит меня жена.

— Какая-то дикая жара, — говорю я, — у нас на даче! Я весь в поту! Пощупай, Хае-Этл, стену, от нее так и пышет жаром, как от печи.

— Ох ты, горе мое! — вскрикивает моя Хае-Этл, отдергивая руку. — Стена горяча, как огонь!

— У них тут, видно, дачи с печами! — говорю я.

— Умник! — отвечает жена. — Слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы на дачах были печи? Спятил, что ли? Сюда, наверное, выходит стена кухонной печки! Не понимаешь ты, что ли?

— А что толку, если я понимаю? Жарища такая, что можно растаять, как масло!..

Встаю и раскрываю окно. В комнату врывается прохладный ветерок и доносит аромат цветов и каких-то пряностей, которых мы и вовсе не знаем. Высовываю го-

¹ Курносая (укр.).

лову наружу и замираю, очарованный красотой и ароматом летней ночи.

Темно-синее небо усыпано звездами, изукрашено брильянтами, от света которых мелькает в глазах. Сквозь зеленую листву глядит серебристо-белая луна, ныряющая в клочья серой тучи. Эти клочья становятся все реже и реже, расползаются, словно дым, и луна снова глядит, белая, круглая и безликая. Из лесу доносятся странные звуки: «Чри-чери-кти-тю-тю-тюх-тюх...» Прислушиваюсь, боюсь дух перевести, замираю: давненько уже не слышал я такого пения! Это он, соловей, певец ночи, голос которого разносится по всему лесу, певец, который и сам не спит, и никому спать не дает, который будит в вас глубоко затаенные, давно умершие чувства, вызывает удивительно странные мысли, мысли, ничего общего не имеющие с гешефтом, барышом, целковым.

Я уношусь со своими мыслями в другой мир, далеко-далеко, в мои детские, мальчишеские, глупые, но счастливые, счастливые годы, которые никогда не вернуться, — я на минуту превращаюсь в другого человека. Мне не хочется уходить отсюда, простоял бы так всю ночь. Но вдруг ко мне возвращаются прежние, обычные, будничные мысли: жена, дети, взрослые дочери, мелочные заботы, сделки, нажива...

«Нельзя отрицать, — думаю я, — поет он недурно, этот молодчик. Но занятому человеку, думающему о делах и деньгах, сесть на всю ночь любоваться на луну, считать звезды и слушать соловья, — фи!..»

Закрываю окно и ложусь спать.

11

*«Разных галантерейных товаров!» Холодный душ.
Муж респольчанки разрешает спор*

— Разных галантерейных товаров! — кричит кто-то прямо в ухо. — Мыло «Вера-Виолет». Хорошее мыло! Не пужно ли вам хорошего мыла?

— Мыло? Какое мыло? — говорю я в испуге, сажусь на кровати, протираю глаза и вижу перед собой черную собачью мордочку со вздернутым носиком.

— Какое угодно! — отвечает черная мордочка. — «Вера-Виолет», «Брокер», «Пульс», а то, если хотите, «Па-

чули»? Прекрасное, пахучее! Выбирайте, покупайте, дешево!

— Кто здесь? Что такое? Гвалт! Гвалт! Гвалт! — просыпается с криком жена и, увидав в окне черную мордочку, падает в обморок.

— Бог с тобой! — говорю я и привожу ее в чувство. — Ничего! Ничего! Это — галантерейщик!

— Мадам! — со смешком обращается галантерейщик к моей жене. — Что это вы так испугались меня? С рогами я, что ли?

— Как это можно, — говорю я ему, — лезть в чужое окно, когда люди спят?

— На даче, — отвечает он, — надо вставать рано.

— А может быть, — говорю я, — мы всю ночь не спали?

— А что же вы делали?

— Ну, уж это и вовсе не ваше дело! — говорю я. — Идите себе подобру-поздорову!

— Когда мне надо будет уйти, я у вас и спрашивать не стану! — отвечает он. — Какие баре, скажите на милость! Приезжают в Бойберик и разлеживаются, как у тещи на печке! Мало того что им прямо в дом приносят всякую хворобу, они еще, видите ли, недовольны!

— Вы, — говорю я, — большой нахал!

— Нахал? — переспрашивает он с усмешкой. — Что значит нахал? Как понимать это слово? Вы, вижу я, человек злой! Мадам, купите что-нибудь! Купите себе, мадам, замечательную шпильку, нынче носят их сзади.

Я больше не могу выдержать. Хватаю кувшин с водой и выливаю ему на голову. Он подымает шум, крик. Сбегаются все соседи со всеми соседками и со всеми прислугами... Начинается базар, шум, гвалт... Все намекают, что так не следует обходиться с бедняком.

— В чем дело, — говорят они, — не хотите покупать, не покупайте. Но обижать бедного галантерейщика ни за что ни про что, обливать его помоями, — нет! Так порядочный человек не поступает!..

Услыдав такие речи, галантерейщик заявляет, что он немедленно идет к уряднику — и все тут! Пускай урядник делает что хочет...

Но тут вмешивается муж рестопольчанки и предлагает уладить дело миром: я, видите ли, должен по-

просить прощения у галантерейщика и купить у него что-нибудь.

— Это будет справедливо, — говорит он, — очень справедливо! Поддержать торговлю бедного еврея, знаете ли, это более богоугодное дело, чем кушать с непокрытой головой...

— Правильно! Правильно! — поддерживают его все собравшиеся.

— Если ты посмеешь, — говорит мне жена, — купить что-нибудь у этого человека, хотя бы на два гроша, произойдет бог знает что!

Ну, может быть, вы скажете, кого мне слушать?..

12

Бойберикский лес утром. Мужчины и женщины из «санатория». Не дают плевать. Изнывают по тарелке борща

Бойберикский лес утром, когда весь мир еще спит, — поистине наслаждение! Он выглядит как жених, прекрасный, чистый, умытый и принаряженный. Не видать разных живых существ, что толкуются здесь целый день. Слышен только писк и свист тысяч маленьких созданий, поющих, чирикающих и щебечущих, прыгающих с ветки на ветку, перелетающих с дерева на дерево, купающихся в капельках росы, что висят еще на листьях и сверкают в лучах яркого, теплого солнца, словно брильянты. Вдруг в стайке птичек возникает шум, писк, драка... В чем дело? Поссорились из-за червячка. Одна птичка нашла червячка и забралась с ним на веточку в сторонке. Она вертела головкой, хотела полакомиться завтраком. Но увидела другая птичка и подпрыгнула.

— Циф-циф! Где это ты так рано раздобыла червячка?

— Циф-циф! Где бы ни раздобыла, а раздобыла!

— Циф-циф! Дай и мне кусочек!

— Циф-циф-циф! Поди поищи, порыскай, найди, поймай, тогда и у тебя будет!..

— Циф-циф-циф-циф! Идите-ка сюда, сейчас увидите кое-что! — раскричалась вторая птичка и вытянула шейку.

— Циф-циф-циф! Что здесь такое? — спрашивают другие птички, слетевшиеся на крик.

— Циф-циф-циф! Червячок! — кричит вторая.

— Циф-циф-циф! Циф-циф-циф! Червячок! Червячок! — кричат все сразу.

Несколько птичек нападают на ту, что с червячком, другие заступаются за нее... Птичка выпускает червячка, тогда откуда-то появляется совсем чужая птичка, подхватывает лакомую добычу и улетает, а первая, бедняжка, остается одна, опечаленная, с опущенными крылышками, и вся дрожит. «Ке-ке-ке!» — отгачивает она клювик, вода им вправо и влево по ветке, поднимает крылышки и — фрррр! — отправляется на поиски другой добычи, лишь бы перехватить что-нибудь на тощий желудок.

И внизу, на земле, тоже не спокойно: прыгают, бегают, лазают и ползают тысячи существ — мушки, жучки, червячки, змейки и ящерицы всевозможных расцветок, мириады паучков и мурашек. Один тащит к себе в гнездо дохлую муху — детишкам на завтрак, другой — травинку, тот — хвойную веточку для шалаша, а другой — целую соломинку, в десять раз больше его самого, — все вышли на работу, чтобы как-нибудь перебиться до завтрашнего дня. А в воздухе полно комаров — ужасных нахалов, кидающихся прямо в лицо, и всякого рода тунейдцев, живущих за чужой счет, кружащихся во все стороны, ничего не делающих, шумящих и жужжащих, пляшущих на чужих торжествах, сообщающих на ухо секрет и кусающихся сзади, высасывающих каплю крови и улетающих... Все в природе живет, все чем-то занято, все хлопочет о себе, о своем желудке...

Гораздо позднее в лесу начинают появляться люди. Все те же существа, те же мужчины и женщины с собственными бутылками, с собственными висячими могилами (гамаками), что и всегда.

— Вы живете здесь на даче? — спрашиваю я из любопытства у целой компании бедняков, больных, изможденных мужчин, которые упираются руками в деревья и кашляют.

— Сказали тоже! — отвечают несколько человек сразу. — Где уж нам на дачах жить? Мы бедные ремесленники из Егупца.

— Что же вы делаете здесь, в Бойберике? — спрашиваю я.

— Горе нам! — отвечают они. — Мы находимся в здешней больнице, которая называется «санаторием».

— Бесплатно?

— А что же, за деньги?

— Кто же дает на это деньги?

— Кому же давать? — отвечают они. — Хворы, что ли, егупецкие богачи давать деньги?! Мало у них, что ли? Если бы господь помог им оказаться в нашем положении, мы бы их лучше содержали, чем они нас.

— А что такое? — спрашиваю я. — Вам здесь плохо?

— Станный вы человек! А что же, разве нам хорошо здесь?

— А именно? Чего вам не хватает?

— Иметь бы нам столько, сколько нам не хватает! Во-первых, нас оторвали от дома, от жен и детей, поселили на даче и откармливают, как гусей, пичкают лекарствами, молоком и «кафиром», который готовит для нас татарин. Затем велят целый день валяться в лесу, на воздухе, и выкинуть всякие заботы из головы. Легко сказать!

— И это все? — спрашиваю я.

— А плевки? — обращается ко мне человек в темных очках и захлебывается от кашля. — Плевки — это, по-вашему, ничего?

— Какие плевки?

— А то, — отвечает он, — что плевать не разрешают? Человек кашляет и хочет сплюнуть, а ему не дают! Доктор завел какие-то мисочки, каждый больной должен носиться со своей мисочкой и плевать в нее. Поступают так нормальные люди?

— А простыни, и постель, и белье? — говорит больная женщина с мертвыми губами. — Доктор велит менять все каждую минуту. Этакое сумасшествие! Я спрашиваю: какое отношение имеет, например, чистая простыня к моему кашлю? А если я буду десять раз в день менять сорочку, я перестану кашлять?

— А еда, которой нас кормят! — говорит человек с горящими глазами.

— Вам кушать не дают? — спрашиваю я.

— Еще чего захотели? Чтобы нам уже и вовсе кушать не давали? — отвечает он. — Кушать дают, но что у вас называется кушать? Мы в здешней больнице вот уже, слава богу, третье лето изнываем по тарелке борща. Три лета подряд нас кормят бульончиками,

жареными курочками, молоком и яйцами всмятку. Каждый день — снова курочка и опять бульон, еще раз молоко и опять-таки яйца всмятку! Вареники, говорят, и те приедаются! Просим: сготовьте когда-нибудь жаркое с чесноком, лучок с салом, редьку, дайте немного борща — душу побаловать, а они говорят, доктор не велит! Не хворы, говорят они, кушать хорошие котлеты, «бештек» свежий, жареную курочку, бульон с гренками и запивать молоком или «кафиром», который татарин изготавливает! «На что нам все эти блюда? — толкуем мы. — Вы давайте нам то, что мы любим! Одно из двух: если вы взялись давать нам квартиру, и прислугу, и лекарства, и все прочее, то вы должны у нас спросить, что мы любим, а не кормить тем, что выдумывает ваш умник доктор! Коль скоро это больница, — говорим мы, — то это больница для нас, для бедняков, а не для докторов! А ну-ка, пусть попробует просуществовать больница без бедняков, без больных, с одними докторами!» А что, не так?..

— Папаша, евреи! — кричат мне младшие дети и зовут из леса домой.

С тех пор как я сцапал добрых несколько тысяч и ко мне в дом стали заходить студенты, у меня перестали говорить по-еврейски, хотя студенты (по фамилии Хацкелевич, Кнобельман и Файтельзон) — еврейского происхождения, а возможно даже, что и настоящие евреи... На них глядя, и дети уже не говорят с нами по-еврейски. Они заявляют, что нигде нынче не говорят «по-еврейскому» — и делай с ними что хочешь!

13

Бойберикские обыватели. «Изучение горы — превыше всего!»

Придя из лесу, я застаю двух посетителей — одного низенького и толстого, другого — высокого и худощавого.

— Кто такие? — спрашиваю.

— Мы здешние, значит, обыватели.

— Что скажете хорошего?

— Ничего. Мы только хотели спросить: не приходил ли к вам сын нашего резника?

— Молодой человек, — говорю я, — в длинном пиджаке, в зеленом жилете и белой манишке?

— Да, да, да! — отвечают они. — Не просил ли он вас подписаться в пользу талмудторы?

— Просил, — отвечаю.

— Ну, и вы подписались?

— А почему бы нет?

— Ну что ж, подписались так подписались! — отвечают они и переглядываются. — Комедия с этими дачниками, чистая комедия! Кто бы к ним ни пришел за деньгами, они дают. Смеяться некому!

— А что такое? — говорю я. — Вы разве не поддерживаете здешнюю талмудтору?

— Какую талмудтору? — говорят они. — О чем разговор? Ничего похожего. Разве есть в Бойберике бедные дети, которым нужна талмудтора? Спросите ради интереса егупецкого меламеда, который пишет в газетах, тогда услышите...

— Значит, вы считаете, — сказал я, — что я ничего не должен давать на талмудтору?

— Что значит — мы считаем? Можем ли мы вам указывать? А если вам захочется выбросить ваши деньги в болото, — можем мы вам запретить? Мы, упаси бог, не такие люди, чтобы оговаривать других. Но если бы вы знали, кто такой сын нашего резника и что он такое, вы были бы вне себя... Извините, может быть, мы вам докучаем? До свидания!

Они направляются к выходу и возвращаются.

— О чем мы хотели вас попросить? Чтобы вы никому не говорили, что мы вам рассказывали о талмудторе, о сыне резника и тому подобное... Это мы только вам сказали, просто так, для вашего сведения... Понимаете? До свидания!

— До свидания!

Сразу же после этих двоих пришли два других: один в шляпе, другой в картузе.

— Кто такие будете? — спрашиваю.

— Мы здешние, стало быть, местные жители.

— Что хорошего скажете?

— Ничего. Мы только хотели спросить: не были ли у вас только что два еврея?

— Один низенький и толстый, — говорю я, — а другой высокий и тощий?

— Да, да, да, — отвечают они. — Они не рассказывали вам о сыне резника и о здешней талмудторе?

— О какой талмудторе? — говорю я. — Разве есть у вас в Бойберике талмудтора?

— Да еще какая талмудтора! Такой бы нам с вами кусок золота! Те, быть может, сказали вам, что нет?

— Разве есть тут у вас бедные дети? — спрашиваю я.

— Да еще какие бедные! — отвечают они. — Столько бы тысяч нам с вами вместе, сколько бедных детей ходят у нас раздетые и разутые! Те двое, может быть, говорили вам, что нет? Интересная история, честное слово! Знаете, не стоило бы, пожалуй, говорить, — ведь вы же всего лишь чужой человек, но если бы мы рассказали вам хоть десятую долю того, что творится в нашем местечке, вы бы до потолка прыгали! Можете нам поверить — мы ничего общего не имеем с сыном резника, и нужен он нам, как собаке пятая нога... Но надо вам сказать, что он как раз порядочный молодой человек! Это видно хотя бы из того, что он посвятил себя такому делу, такому, право же, великому и святому делу, как талмудтора! Шутка ли, талмудтора! Ведь сказано у нас, вы, наверное, знаете: «Изучение торы — превыше всего!» Что может быть важнее этого? Так вот являются два еврея и отрицают все! Ведь желчь может лопнуть! А из-за чего все это? Из-за того, что у нас два резника, две синагоги, две партии, и что бы ни делал один, другой делает наоборот! А тут еще вмешался меламед из Егупца, который пишет в газетах, зачем, мол, открыли талмудтору без него...

— Значит, вы находите, что я не должен полагаться на то, что они говорят, — сказал я, — и должен жертвовать на талмудтору?

— Что значит должен? Разве мы можем вам указывать? Конечно, это великое дело — поддержать бедных детей, которые шатаются без дела, раздетые и разутые! И полагаться на слова тех клеветников вы тоже не обязаны, потому что местечко наше, как видите, маленькое и бедное, но полно интриг, сплетен, вражды и чего хотите! Мы никого не хотим оговаривать, просто к слову пришлось, вот и сказали. Извините, пожалуйста, может быть, мы вам докучаем? До свидания!

Они направляются к выходу и возвращаются.

— У нас к вам небольшая просьба, чтобы вы никому не говорили о том, что мы рассказали о двух резниках, двух синагогах, интригах, о том о сем и прочем... Это мы только вам сказали просто так, чтобы вы знали. Понимаете? До свидания!

— До свидания!

Вслед за этими двумя являются еще двое — один с зонтом, другой с тростью. И снова та же история с самого начала.

— Кто вы такие? Что скажете хорошего?

— Мы вообще здешние, стало быть, домовладельцы... А зашли мы к вам ни за чем, просто так... Спросить, не было ли у вас только что двоих — один в шляпе, другой в картузе? Они, конечно, рассказывали вам всякие небылицы о здешней талмудторе и семидесяти семи учениках, и защищали сына резника, и говорили, что у нас имеются два резника, две синагоги, две партии, и, наверное, клеветали на егупецкого меламеда, который пишет в газетах, говорили, что он любит почести и занимается интригами? Не так ли? Будто сами были при том? Эх-хе-хе! Знаете ли вы, что здесь творится? Если бы мы рассказали вам о здешних обществах «Голодному на хлеб» или «Беспроцентная ссуда», которые мы хотели учредить, о здешней бане, которую мы хотели построить, вы бы с ума сошли...

Я прерываю их и говорю, что оставляю на совести их и общества, и баню, и даже егупецкого меламеда, который пишет в газетах, и что сходить с ума мне не хочется... Они прощаются и уходят, но тут же приходят еще двое — оба низенькие, оба в картузах и оба с тросточками.

Увидав эту пару, я иду навстречу им и, не дожидаясь приветствия, говорю:

— Извините, дорогие мои! Вы, конечно, здешние обыватели и вообще-то вам ничего не нужно, вы просто так хотите знать, не приходили ли ко мне только что двое — один с зонтом, другой с тросточкой? Так вот, я вам могу сказать, что никто ко мне не приходил, и я ничего не знаю ни о резниках, ни о егупецких меламедах, которые пишут в газетах, ни об интригах, ни о талмудторе, ни об обществах, ни о бане, и будьте здоровы, и всего вам хорошего! Хае-Этл, вели подавать самовар!

*Переманили прислугу. Нет ни капли воды.
Рассорились со всеми соседями.
Я удираю в город*

— Самовара тебе захотелось? — говорит моя жена. — Ну-ну, дождешься теперь самовара! Мы остались без прислуги, без капли воды, без всего на свете! Твои егупецкие аристократки, сгореть бы им на огне, сегодня ночью переманили нашу девку!

— Что значит, — говорю я, — переманили нашу девку?

— Как вам нравится этот простачок? Он не знает, как переманивают прислугу? Бедняжка, как мне жалко его! — отвечает Хае-Этл. — А ну-ка пойду устройю им концерт, да похлеще...

— Тихо! — говорю я. — Хае-Этл, послушай меня, не надо! Пусть будет тихо! Ведь мы же не у себя дома! Ведь мы же в Бойберике на даче!

— На даче? — повторяет жена. — Счастье мне привалило! Сгорела бы эта дача вместе со всем Бойбериком до того, как мы ее сняли! Я же говорила: не надо никакой дачи! Так нет, ему понадобилось тащиться следом за всеми! Все евреи едут в Бойберик, и мы должны ехать! А что бы ты стал делать, если бы все евреи, к примеру, отрезали себе носы?..

Моя жена, дай ей бог долгие годы, похожа на машину: начнет говорить, не пытайтесь даже остановить ее, — она будет говорить до тех пор, пока сама не остановится... В то время как она объяснялась с нашими аристократками по поводу прислуги, я направился к кухарке, — авось мне удастся уговорить ее поставить самовар. Но та ответила, точно ушатом холодной воды окатила: придется, сказала она, подождать, пока она поставит самовар! Будто самовар — это ее обязанность. Достаточно и того, что она должна валяться, как собака, на улице в этой распрекрасной даче. Дачи захотелось! Сами уже не знают, что бы придумать от великого богатства.

— Это одно, — говорит кухарка, — а во-вторых, почему вы не спросите: где я вам возьму воду?

— Как это где? — удивляюсь я. — Разве у нас на даче нет колодца?

— Чтоб я, значит, еще и воду вам таскала? Не доживут до этого враги мои! Чтобы Басе-Бейля, жена синагогального служки, заделалась водоноской! Довольно того, что я должна служить на старости лет! Горе мне горькое! До чего я дожила! Если б мой Рефоел, царство ему небесное, встал сейчас и посмотрел на свою Басе-Бейлю — он бы еще раз умер!..

Басе-Бейля раздражается плачем, как малое дитя. У меня даже сердце начинает щемить, и я говорю ей:

— Знаете что? Дайте мне ведро и веревку, попробую сам вытащить ведро воды.

Беру ведро и иду к колодцу. Опускаю ведро, раскачиваю его туда-сюда, — ничего не выходит! «Легче, видно, провести десять дел в Егупце, нежели зачерпнуть ведро воды в Бойберике...» Так думаю я и с силой бью ведром по воде. Но тут у меня из рук выскальзывает веревка и — бух! в колодец.. Нет ни ведра, ни веревки, ни воды!

— Все, что снилось мне прошлой ночью и нынешней ночью, да падет на голову моих врагов!.. — произносит Басе-Бейля. — Ведь это же чужое ведро и чужая веревка! Кто просил вас воду таскать? С тех пор как я живу, с тех пор как на ногах стою... Чтобы хозяин совал свой нос везде и всюду, во все горшки. Где я теперь возьму ведро? Как я теперь буду готовить?

Я удираю из кухни. Встречает меня жена, она плачет.

— Бог с тобой, Хае-Этл, чего ты плачешь?

— Дачу ему захотелось! — говорит она. — Воздух ему понадобился в Бойберике! Послушал бы ты, каким воздухом угостили меня твои замечательные аристократки! Обругали меня, как прислугу! Стоило ради этого ехать в Бойберик на дачу! Я думала, что эти богаделки за меня заступятся, а респольская кривуля вдруг заявила, что у нас трэфная кухня*, — молочное и мясное, сказала она, у нас вместе... Но больше всего меня зло берет на эту слепую курицу, которой доктор Мандельштам прижигает ляписом глаза, чтоб они у ней повылазили, господи милосердный!

— Если вы не онемеее, — доносится голос из-за стены, — вам морду набьют! Не посмотрят на ваших перезрелых дочерей, с которыми вы приехали сюда ловить женихов, и на вашего мужа — афериста, которому удалось хапнуть несколько тысяч! Положим, продержатся они у вас, — не дольше бы длилось еврейское

изгнание, — лишь с пятницы до субботы! Видали мы уже в Егупце таких богачей, которые сегодня разъезжают на резиновых шинах, а завтра тащатся пешком без сапог!..

«Да, — подумал я, — утро на даче началось не слишком хорошо. Скверная примета!»

Придумываю для жены предлог, будто мне необходимо быть в городе, и бегу к поезду.

15

*«За грехи наши тяжкие». Чудеса
шестидесяти шести и стукалки.
Как производится опись имения.
Егупецкий трамвай*

Бойберикские дачники, которые каждый день ездят в город, видно, сильно провинились перед создателем, потому что осуждены они за грехи свои тяжкие мучиться на этом свете, при жизни жариться в аду, печься целыми днями в городе на жаре, носиться, как травленые мыши, туда и сюда с грузом узлом, пакетов и картонных коробок, кушать всякую дрянь, не спать, постоянно смотреть на часы, жить в страхе, дрожать, как бы не опоздать на поезд...

Но на людях хвастать своей удачей, уверять, что это чудо из чудес, особенно воздух, воздух живительный, прямо-таки рай земной!

И так уж они свыклись с этим раем, что кажется он им заслуженной карой... Они и не жалуются больше, они, как осужденные арестанты, которые знают, что придется отбыть положенное время, пока лето не кончится, — что прикажете делать? Поэтому они очень рады, когда удастся хотя бы захватить место в вагоне, — это счастье, не всякому доступное. За место надо драться, да и везение кое-какое требуется. Ибо случается и так, что вы уже повоевали, с горем пополам добились места, но тут является некто бритый, с длинными усами, — вы не знаете, еврей это или нееврей, — и просит вас потрудиться: «Позвольте вас побеспокоить!...»

Вагон, в который я пробился, был битком набит бойберикскими дачниками. Многие сидели, но гораздо больше пассажиров стояло. Публика разбилась на группы,

люди говорили о делах: кто о банках — банки банкротятся, кто о векселях — у него хорошие векселя.

— Что у вас называется хорошими векселями? — спросил один.

Хороший вексель — это вексель, подписанный кредитоспособным человеком, но таким, который собирается прекратить платежи. Понимаете?.. На таком векселе можно порядочно заработать!.. Только вчера я сделал парочку таких векселей, и как раз в лесу, лежа в гамаке!

— Чепуха! — отвечает ему второй. — Что можно заработать на векселе? Зарабатывают по-настоящему на сахаре! Вот Янкеле вчера сделал сто тысяч пудов сахара.

— Янкеле сделал сто тысяч пудов сахара? — спрашивают несколько человек сразу, будто испугавшись. — Почему? Кто купил? Кто продавал?..

И начинается долгий разговор о сахаре, подсчитывают, сколько Янкеле со своей компанией сделал в этом месяце сахара.

— Боюсь, что все шестьдесят тысяч пудов, черт бы их взял! — говорит один.

— Боюсь, что больше! — говорит другой со вздохом. — Прохворать бы им столько, господа!

А там, чуть повыше, сидят сами дельцы и тоже толкуют о сахаре, будет ли он дорог или дешев. Каждый высказывает свое мнение, разумеется противоположное тому, которое высказал другой, затем все вместе начинают критиковать министра, который выпускает на рынок так мало сахара. Каждый приводит свои расчеты, и каждый считает, что, будь он министром, он поступил бы разумнее...

* * *

Но не все, что сидят в вагоне, интересуются векселями, банками и сахаром. Есть такие, которые говорят и о другом.

— Сейчас расскажу вам интересную историю, — говорит один. — Вчера мы играли в преферанс с самого утра до двух часов ночи. Не везло мне, спаси и помилуй бог! Только прикуплю — проваливаюсь, ремиз за ремизом! Не прикуплю — теряю золото! Между тем случилось так, что ко мне пришла карта... Торгуюсь почем зря! Словом, загнали меня черт знает куда, дошло до ста сорока пяти! Что было у меня на руках? Было, — слушайте внимательно! — король, валет, дама, девятка пик и

туз, валет, дама трэф. Но тут надумала «первая рука», черт бы ее побрал, и выходит с трэфового короля. Кладу туза, меня перебивают козырем, я остаюсь без одного и ставлю ремиз! Как вам нравится такая напасть? Я думал, — руки на себя наложу! Ровным счетом сто сорок четыре наверх, как в аптеке!

— Погодите! Я вам расскажу более интересную историю, которая произошла со мной! — заявляет другой. — Сидим однажды в компании и играем в стукалку. Было это зимой, в хануку, как раз на пятый день праздника. Вздумалось мне пойти втемную, «а-ля Лейб», и, конечно, покупаю «всякой твари по паре», и, разумеется, проваливаюсь в тартарары! Стало быть, все в порядке, не правда ли? А я возьми да рассердись, и еще раз выхожу «а-ля Лейб», и снова прикупаю с бору по сосенке — на ремиз! Короче говоря, разгорячился я, потерял рублей шестьдесят и проклинал реб Лейба на чем свет стоит!..

— Извините, пожалуйста, хотел у вас спросить, — вмешивается в разговор пассажир со стороны, — я сам звенигородский. У нас в Звенигороде тоже частенько играют в стукалку. То есть играем мы во все игры, но чаще всего — в стукалку. Прошу вас, объясните мне, что значит пойти «а-ля Лейб»?

— Вы не знаете, что такое «а-ля Лейб»? — отвечает один из компании. — Сейчас я вам растолкую: есть у нас в Егупце некий Лейб, свой брат, один из городских воротил, и вот он установил правило: когда играют в стукалку и один, к примеру, идет «втемную», а второй — «в открытую», то и последняя рука идет «втемную». Вот это и называется «а-ля Лейб». Теперь вы поняли смысл?

— Ну? — спрашивает звенигородец и вытягивает при этом шею. — И что же, это помогает?

— Как мертвому кадилу! — отвечает тот. — Такую бы помощь Лейбу!

И вся публика раздражается смехом.

* * *

В уголок забралось двое евреев — один рыжий, другой черный. Рыжий сдвинул шапку на затылок, засучил рукава, смотрит сквозь очки, потеет и говорит. Черный держит карандашик, книжечку и пишет.

Рыжий и й. Запишите, прошу вас, имение в Херсонской губернии...

Черный. Мне нужно в Подольской губернии.

Рыжий. Запишите в Подольской губернии — всего тысяча триста десятин земли.

Черный. Тысяча триста десятин — это мало.

Рыжий. Пишите в таком случае тысяча восемьсот десятин.

Черный. Тысяча восемьсот — тоже мало. Мне надо, по крайней мере, три тысячи.

Рыжий. Пишите в таком случае три тысячи четыреста десятин чернозема...

Черный. Голая земля не годится. Нужно и немного леса.

Рыжий. В том числе шестьсот десятин леса.

Черный. Шестьсот — мало. Мне надо, по крайней мере, тысячу десятин леса. Мой барин, понимаете ли, любит лес.

Рыжий. То есть тысяча двести десятин леса...

Черный. Какой лес писать?

Рыжий. Какой лес? Сосновый. Настоящий сосновый бор, на который спрос так велик! Сосны высоченные, прямые, одна в одну! Вы таких сосен, уверяю вас, никогда не видали!

Черный. Сосна мне не годится. Мне нужен дуб.

Рыжий. Тыфу! Я и хотел сказать — дуб! Лучшие громадные дубы! Кедры ливанские! Каждый дуб так велик, что его срубить невозможно!

Черный. А двор в этом имении имеется?

Рыжий. Да еще какой двор! Двор двору рознь. Запишите, будьте добры, дворец в двадцать с лишним комнат. Что я говорю! Тридцать с лишним! Можете записать все сорок! На мою ответственность!

Черный. А река? Мой барин любит, чтоб в имении была река.

Рыжий. Да еще какая река! Широкая, глубокая, рыбная! Вот имение, а вот река! (Он показывает на ладони, где имение и где река.)

Черный. А как туда едут? Мой барин хочет, чтобы железная дорога была близко.

Рыжий. Да как еще близко! Пишите: полверсты... Что я говорю — полверсты? Четверть версты, несколько шагов от станции. Вот станция, а вот имение. (Он показывает на ладони, где имение, а где станция.)

— Погодите-ка, мы уже подъезжаем к Егупцу! — восклицает один из компании игроков, срывается с места

и уже готов бежать, чтобы захватить место в трамвае. А за ним — вся публика.

Чтобы захватить место в трамвае, требуется еще больше ловкости, чем в вагоне железной дороги. Тут начинается беготня и прыгание через головы — как при землетрясении! Здесь уже не до чинов: еврей, русский, усатый, безусый, будь то даже дама, — ее жмут и стискивают так, что из нее чуть не дух вон. Если она сидит, садятся к ней на колени, и пусть она попробует сказать, что не желает... Здесь надо беречь карманы, а часы лучше оставлять дома. Если поедете в Егупце на трамвае с золотыми часами (можно и с серебряными), будете иметь, с вашего разрешения, фигу, а не часы...

16

*Гости. Родной дядюшка. Ентл тети Златы.
Напрасные слезы*

Вернулся я из города распаренный, разгоряченный, измученный, голодный. Навстречу мне бегут младшие дети с радостной вестью:

— Папаша! Гости! У нас гости!

— Поздравляю тебя с гостями! Нежданная радость — говорит мне жена. — Родственнички твои! Пронюхали, что ты заработал деньги, и набежали со всего света! Где они были раньше, когда, не теперь будь сказано, нужда свистела во всех углах?..

«Давно уже шуму не было!» — подумал я и направился на веранду. А навстречу мне идет старик с мертвенно-бледным лицом, запавшими щеками и большой бородой. Рядом с ним низенькая женщина с красным носом, в желтом шелковом платке, заправленном за уши, и теплой шалью на плечах, хотя на дворе не так уж холодно. Женщина как-то странно кланяется мне, вытирает нос двумя пальцами и говорит с улыбочкой:

— Не узнал меня? Брось, брось! Ведь я же Ентл, дочь тети Златы! А это мой отец, дядя Залмен. Сильно постарел, не правда ли? Я уже познакомилась со всеми твоими детками, один другого лучше, не сглазить бы!

— Мир вам, дядя! — обращаюсь я к дяде Залмену. — Откуда приехали?

— Прямо-таки наслаждение! — отвечает дядя Залмен очень громко и при этом шевелит губами, как человек,

который ест с удовольствием. — Лучше, знаешь, и быть не может! Как же ты поживаешь? А? Давненько уже, слышь, не видались? Наверное, лет двадцать с лишним. А? А может, и больше? Погоди, погоди, сейчас скажу! Сколько уже прошло со времени свадьбы Ентл? А? Как раз с того времени мы не видались! Как же твое здорovie? А? Как дела? А?

— Слава богу! — отвечаю. — А вы как поживаете?

— Прямо из Овруча, из дому то есть! — говорит он так же громко. — Были у тебя в городе, стучали в двери, не открывают! Словом, говорят, ты в Бойберике. Что ты делаешь в Бойберике? А? На лето, значит? Ты что-нибудь сказал?

— Он плоховато слышит, — говорит мне Ентл. — С тех пор как мама, царство ей небесное, умерла, он, не про тебя будь сказано, оглох. Но как, думаешь, оглох? Как стена!

— Здесь, знаешь ли, замечательно хорошо! А? — кричит, обращаясь ко мне, дядя Залмен, как если бы я, а не он, был глухой. — Говорю тебе, слышь, что здесь прекрасно! Прямо-таки рай! А? Я думаю, если богу будет угодно, провести здесь недели две или три... А?

— Мы хотели ехать в гостиницу, — говорит Ентл, оправдываясь. — Но отец заупрямился — только сюда! Ты, говорит он, обидишься, если мы будем жить у чужих. Я ему, говорит, родной дядя, неудобно!

— А это что за пара? — спрашиваю я и показываю на мужчину и женщину, которые сидят на веранде, пьют чай из блюдец, дуют на них — чай, видно, горяч — и наслаждаются.

— Убей меня бог, не знаю! — отвечает Ентл шепотом и сердито смотрит на них. — По-видимому, это муж и жена. Они ехали с нами от Фастова в одном вагоне, мы разговорились, как водится в дороге. «Куда вы едете?» — «А вы куда?» Туда-сюда, словом, они узнали, что мы едем к тебе, что сейчас у тебя времена неплохие, понимаешь?.. Они, говорят, тебе родственниками приходится, и близкими к тому же. «Каким образом?» — спрашиваю. А они отвечают: «Заметано и узелком завязано!» Но как и почему, от них толку не добьешься: он начнет рассказывать, она перебивает, она начнет — он перебивает... Лихо бесконечное! Ты лучше выслушай меня, — ведь мы же с тобой по-настоящему двоюродные брат и сестра!

И Ентл изливает передо мной свою наболевшую душу, — как ей, бедной, сейчас нехорошо... То есть хорошо ей никогда не было, с первой минуты после свадьбы она, говорит, хорошего дня не видела. Однако все это ничего, как говорится — бывает и хуже. С некоторого времени, говорит она, ей с каждым разом все хуже и хуже, а сейчас скверно, так скверно! Зарабатывать она ничего не зарабатывает, а нужда большая! К тому же есть и побочные горести и болячки: то призыв, то дитя на выданье, то пала корова, то лавка погорела, да так, что нитки и той спасти не удалось! Удачи, казалось бы, со всех сторон? А тут девочка лет тринадцати, красивая, хорошая, гладкая, приятная, ложится и помирает! Сосл ее звали, по имени тети Соси. Всегда была здорова, никогда ни на что не жаловалась, и вдруг приходит с базара, ставит на место кошелку, лицо бело как стенка. «Бог ты мой, доченька, что с тобой?» — «Ничего, говорит, голова что-то болит». Щупаю голову — огнем пылает! «Приляг, доченька, на минутку, я за доктором сбегаю!» — «К чему, — говорит она, — доктор? Жалко денег. Сейчас пройдет! Дай-ка я лучше посолю мясо и начищу картошку...» Вижу, однако, что ребенок кончается. Не послушалась ее, уложила насильно в кровать, а сама побежала к доктору! Где доктор? Доктор-доктор! Доктор-доктор! А он, оказывается, у черта на куличках, где-то за городом! Но какие могут быть отговорки? Доктор нужен во что бы то ни стало! Привезла этого замечательного доктора, но когда мы с ним приехали, я уже ее застала — врагам бы моим! — без языка, глаза закатила... «Доченька, ты не узнаешь меня?» Где там? Что там? Молчит как рыба! И к утру ее не стало! Прямотаки сгорела! Красивая, здоровая, ясная, — как можно такую в могилу класть?!

И Ентл, дочь тети Златы, расплакалась, как малое дитя, а я, на нее глядя, чувствую, что и меня душат слезы.

— Что такое? Что за плач? — говорит моя Хае-Этл и подходит ко мне.

Хочу ей ответить, но не могу слова выговорить. Глотаю слезы. Наконец набираюсь духу и говорю:

— Дитя у нее умерло... Девочка тринадцати лет...

— Давно? — спрашивает Хае-Этл будто в испуге.

— Уже лет девять или десять, — говорит Ентл и обращается к дяде Залмену: — Папа! Сколько уже, как Сосл умерла? Ты, наверное, знаешь точно.

— От Овруча, — говорит дядя Залмен. — От Овруча досюда лошадьми считается верст двести пятьдесят. А может быть, и все триста! А?..

Чтобы не прыснуть со смеху, я роняю очки, поднимаю их и иду встречать других гостей, что сидят на веранде и пьют чай из блюдец, дуют на него и наслаждаются.

Чета. «Заметано и узелком завязано».
Бесконечное лихо

Подхожу к парочке и застаю их сильно вспотевшими от чая. Он в бархатном картузе с широким дном, а она в парике с белым пробором. Оба плотные, весят вместе без преувеличения пудов пятнадцать или шестнадцать. Присаживаюсь и завожу разговор: то-се, откуда едете и кто вы такие?

— Кто мы такие? — говорит муж, вытирая пот полой кафтана. — Сейчас услышите. Но прежде всего ответьте мне на вопрос: как звали вашего деда по материнской линии? Не реб Мордхеле?

— Реб Мордхеле, — отвечаю я.

-- Уже умер? — спрашивает он.

— Ого! Давно уже умер!

— Благословен судия праведный! — произносит он, покачивая головой. — Тьфу-фу-фу! Благочестивый был человек, мир праху его! И большой знаток Священного писания! О нем действительно можно сказать: «Поминание праведника ко благу!» Ну, а бабушка Ханеле как поживает?

— Тоже умерла.

— Царство ей небесное! Тоже была святой жизни женщина! — говорит он и оборачивается к жене. — Ты их не знала, вот тебе и не известно, что это были за реб Мордхеле и Ханеле! Слышите (он поворачивает голову ко мне), были у вас дедушка и бабушка... Вы даже не знаете, какого дедушку и какую бабушку вы имели!

— Знаю, — отвечаю я, — что были у меня дедушка и бабушка. Скажите, кто вы такие?

— Сейчас услышите. — Он засучивает рукава чуть ли не до локтей, забирает в руку бороду, раскачивается

и говорит нараспев, улыбаясь: — Ваш дед, реб Мордхеле, был корсишевский, из Корсишева, и были у него в Корсишеве две сестры — Нехамеле и Зиселе. Нехамеле эта имела двух мужей, то есть дважды выходила замуж: в первый раз — за корсишевского, Лейбеле Корсишевский звали его, а второй раз она вышла замуж за реб Симхеле, опять-таки из Корсишева. А этот реб Симхеле корсишевский, когда женился на тете Нехамеле, был вдовцом, — слушайте внимательно! Первая его жена была из Корсишева, звали ее Двойреле. А она. Двойреле то есть, была родственницей вашего дедушки... Понимаете? Дедушка выдал ее замуж, вы слышите или нет, за своего шурина, то есть за реб Симхеле, когда тот еще не был его шурином. И лишь потом, когда Двойреле умерла, Симхеле женился на сестре вашего деда, на тете Нехамеле, и родилась у них дочь, которую он назвал Рейзеле, по имени своей матери Рейзи, которая была теткой вашего деда. И вот эта Рейзеле потом вышла замуж за человека из Монастырища, родственника со стороны бабушки, его звали Меерл. Понимаете, как оно идет? Заметано и узлом завязано!

— Заметано и узлом завязано! — перебила его жена. — Но он забыл сказать, каким образом Рейзеле приходится мужу родственницей. Сейчас я вам расскажу! У вашей бабушки Ханеле из Корсишева был дядя в Межбиде, звали его Нойах...

— Здрасьте пожалуйста! — перебивает ее муж. — Заехала аж в Межбид к дяде Нойаху! Позвольте мне, уж я растолкую им все родство точно! Короче говоря, вторая сестра вашего деда, Зиселе, имела мужа из Гуляй Поля, звали его реб Лейвиню. Но у нее не было детей. Тогда она с ним развелась и вышла замуж во второй раз за некоего реб Нафтоли из Монастырища и имела с ним не больше и не меньше, как пять сыновей и семь дочерей...

— Как раз наоборот! — перебивает его жена. — Семеро сыновей и пятеро дочерей.

— То есть семь сыновей и пять дочерей, — поправился он и принялся считать по пальцам: — Борухл, Хаимл, Янкеле, Герцеле, Беришл, Фишеле, Йоселе и Этеле, Ривкеле, Гуделе, Фейгеле, Крейнделе, — так, кажется? Борухл умер, а Янкеле женился и взял дочку тети Нехамеле, Рейзеле из Корсишева, которая прихо-

дится вашему деду, реб Мордхеле, родной племянницей. Таким образом, дедушка и бабушка сделались сватами... Понимаете, как все цепляется? Заметано и узлом завязано! Скажите, не так ли?

— Да, — отвечаю я, — это так. Но какое отношение это имеет к вам? Кто же все-таки вы?

— Погодите! — говорит он. — Слушайте дальше! Вот этот Нафтоли из Монастырища, о котором я говорил, имел двух старших сестер — Этеле и Ривкеле. И вот Этеле вышла замуж за сына реб Мойше-Лейба из Радомысля, который состоит в родстве с Нафтоли монастырищенским, потому что сестра Нафтоли вышла замуж за брата Мойше-Лейба... Понимаете, что тут творится?

— А куда ты девал Ривкеле? — спрашивает жена и хочет рассказать о Ривкеле, но муж не дает; он закрывает ей рот рукой и кричит:

— Погоди с Ривкеле! Куда ты торопишься? Цела будет! Я ее в карман не запрячу! Да, так на чем же я остановился? Видно, на Этеле. Так вот Этеле из Монастырища, стало быть, вышла замуж за радомысльского, как вы уже знаете, за своего родича, а Ривкеле вышла за недотепу из Монастырища по имени Генех и родила дочь Гнендл.

— С праздником тебя! — говорит жена. — Откуда взялась у тебя Гнендл? Гнендл — это вовсе дочь Этеле из Радомысля!

— А что я сказал?

— Ты сказал — дочь Ривкеле.

— Тебе приснилось! До Ривкеле я еще и не дошел.

— Ой! — восклицает жена и даже подпрыгивает. — Лопнуть от него можно. Ведь ты только что сказал, что тетя Ривкеле вышла замуж за монастырищенского, еще даже сказал, что она взяла мужа-недотепу по имени Генех...

— Она мне голову заморочила! — сказал муж. — На чем же мы остановились? Да, и вот Ривкеле из Монастырища, стало быть, имела дочь, то есть сына, и звали его Мендл, а у Этеле из Радомысля был сын, то есть дочь по имени Гнендл. Они породнились, то есть дочь Ривкеле, Мендл из Радомысля, вышла замуж за сына Этеле Гнендл из Монастырища, то есть наоборот: сын Ривкеле, Гнендл из Монастырища, взял дочку Этеле, Мендл из Радомысля, в жены...

— Тыфу на тебя, будь ты неладен! — крикнула жена, вскочила с места и всплеснула руками. — Слыхали вы когда-нибудь, чтобы сына звали Гнендл, а дочку — Мендл, чтобы Гнендл взяла Мендла в жены?

— Ты мне всю голову забиваешь! — говорит ей муж и собирается продолжать свой рассказ, но тут приходит моя Хае-Этл.

— Уже накрыто на стол, пожалуйста кушать! Зови, дорогой, гостей к столу, они уже, наверное, голодны!

За столом мой родственник возвращается к дяде бабушки Нехамеле из Межбижа, которого звали Нойах, и у этого Нойаха, как у библейского Ноя, было трое сыновей. Но сыновей того Ноя звали Сим, Хам и Яфет, а имена сыновей этого Нойаха была Шимеле, Хемеле и Иокл. Отсюда тянется длинная нить родственников, браков между ними, все это запутано, закручено, заметано и связано узлом, — бесконечное лихо! Хорошо еще, что дядя Залмен (долгие ему годы!) вмешался:

— Почем у вас в Бойберике мясо? А? У нас в Овруче мясо невозможно дорогое! Знаешь почему? Из-за таксы! Есть у нас свой откупщик коробочного сбора, ужасный шалопай! А ваш откупщик такой же шалопай? А? Все откупщики — шалопай, байстриюки, пропади они пропадом! А то нет? А?..

Мой родственник в бархатном картузе перестает есть и, подняв вилку, свирепо смотрит на дядю Залмена, так бесцеремонно перебившего его. Но дядя Залмен не обращает на него никакого внимания, он продолжает рассказы об овручском откупщике и овручской общине и ест в то же время с большим аппетитом.

18

Семейку укладывают на ночь. Мы едем за границу на воды

— Где уложить всю семейку? — озабоченно спрашивает у меня Хае-Этл после ужина. — Они хоть и очень желанные гости, но на улице ведь их не положишь.

— Задала бы ты вопрос полегче! — отвечаю я. — Дяде Залмену, я полагаю, надо постелить здесь, на веранде. Энтл будет спать с детьми. А чету, что «заметана и узлом завязана», можно положить у горячей

стены, пусть получают удовольствие на даче... Как тебе нравится, Хае-Этл, ветерок, который подул? Небо хмурится, кажется, дождик будет.

— Аминь, дай бог! — говорит Хае-Этл. — Солнце так напекло за целый день, хорошо бы, право, чтобы немного посвежело на нашей замечательной даче! Вот тебе и воздух! Помог бы бог, чтобы хлынул дождь и затопил дачи, и дачников, и весь Бойберик, господи милосердный!

Прошло немного времени, и небо затянуло мрачными тучами. Вдруг стало темным-темно, как если бы кто-нибудь погасил солнце. Птицы попрятались в гнездах. Воздух с каждой минутой становился все гуще и тяжелей. Вдруг метнулась ослепительная молния, и тут же ударил гром, грохочущий, ухающий, взбудораживший весь лес из конца в конец.

— Похоже, что будет дождь! — говорит дядя Залмен, поглядывая на небо.

И — словно угадал: не успел он произнести эти слова, как начался проливной дождь, припуская с каждой минутой все пуще и пуще. Поминутно вспыхивает яркая молния, освещающая густую синюю тьму, и ударяет гром, раскатывающийся по всему лесу — тр-р-р-р-р!

— Дождь, кажется, заладил не на шутку! — говорит дядя Залмен. — Уж он теперь, даст бог, будет идти, идти и идти.

— Помогите вам бог сообщать более веселые вести! — испуганно произносит Хае-Этл и все время заглядывает в дом.

— Что это ты оглядываешься каждую минуту? — спрашиваю я.

— Смотрю, — отвечает она, — не протекает ли крыша. Да, каплет прямо в кровать! Надо миску подставить.

— У нас в Овруче, — говорит дядя Залмен, — тоже был такой потоп... Лет двадцать с лишним тому назад, а может быть... А? А может быть, и все тридцать! Весь город затопило! На лодках ездили! Страшное дело!

— Где вы там? — доносится голос из дома. — Идите сюда! Помогите нести! Спасите!

Бросаюсь в дом — беда! Несчастье! Дождь хлещет в окна, льет с потолка... А моя Хае-Этл, подоткнув юбку, стоит в воде. В одной руке у нее маленькая подушечка, в другой — таз, в котором варят варенье, и кричит в один голос:

— Гвалт! Помогите нести! Спасите! Спасите!

— Что ты делаешь? — говорю я. — Что ты тащишь из дому? Давай удерем, души надо спасти! Где малыши?

— Папаша, иди-ка сюда! — кричат мне малыши из соседней комнаты, радостные и веселые, чуть ли не по щиколотку в воде, и приплясывают, плескаются, баламутят воду и поют:

Дождик, дождик, перестань!
Мы поедem на Иордань!..

— Гвалт! Ради бога, спасите! Погибаем! — кричит моя Хае-Этл, машет руками и стоит в воде, как парализованная.

— Детей, детей спасайте! — визжит Энтл, не трогаясь с места.

— Знаете, что я вам скажу? — кричит дядя Залмен. — Лучше б малых ребят перенести куда-нибудь, потому что будет, кажется, потоп...

* * *

Я тороплюсь и заканчиваю мое описание дачной кабалы, потому что мы, то есть я и моя Хае-Этл, собираемся за границу, на теплые воды. Врачи находят, что мы оба должны пить какие-то особые воды и купаться тоже в теплых водах. Кстати, хочется нам и свет повидать. Ну что ж, если бог помог, почему бы и нет?.. Детей мы оставляем в Бойберике на даче, не одних, конечно: Энтл дяди Залмена мы сделали хозяйкой на даче, а ради нее остался и дядя Залмен. Чета, которая «заметана и узлом завязана», тоже не прочь была остаться у нас на лето, но жена намекнула им, что и без них в Бойберике будет не скучно, и они отправились восвояси. Куда мы едем, я и сам еще не знаю. Доктор, наверное, направит нас куда нужно. А так как мы едем в страну, где говорят по-немецки, то надо привыкать к их языку, и я прощаюсь с вами по-немецки: «Адье! Цум видерзеениш!»

НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ

(Сценки, типы, встречи, неприятности и удовольствия)

1

*Жена с нервами. Дама из Бобруйска.
Мы варим варенье*

«Нежели братъ жену, лучше бы ты себе ногу сломал», — так сказал некий философ (боюсь, не Сократ ли?). А я говорю: нежели иметь жену с «нервами», лучше вовсе не родиться на свет божий.

Это говорит вам не философ, не писатель, который сидит за письменным столом и выдумывает из головы всякие истории, — это говорит вам простой человек, которому господь помог хапнуть добрых несколько тысяч, изгнать нужду из дома, переехать с женой и детьми на дачу в Бойберик и познакомиться с докторами, рецептами, аптеками, гидропатией, массажем, с горестями и напастями — словом, с жизнью в свое удовольствие!

Величайшее несчастье изо всех несчастий на свете — это доктор, и не столько доктор, сколько докторский кабинет, в котором приходится сидеть и потеть, перелистывать газеты, приготовленные на столе, и разглядывать разные незнакомые лица, которые так же разглядывают вас.

От нечего делать вы начинаете перекидываться словами... «Давно уже лечитесь? Какая у вас болезнь? Куда думаете поехать лечиться?» Ну и так далее.

Моя Хае-Этл, была б она здорова, человек, который не любит сидеть молча. И вот разговорилась она

с какой-то дамой, литвачкой, кажется из Бобруйска, так и прилипла к ней. Что она нашла в этой бобруйской даме, я не знаю, но очень скоро они так сдружились, что водой не разольешь. Моя Хае-Этл сказала, что у них у обеих одна и та же болезнь. Какая ж это болезнь? Никакая. Что бы они ни услышали, у них то же самое. Если у кого-нибудь колики в боку, и у них колики. Зубы? И у них зубы. Ухо? Так ухо. Нога? Так нога. Словом, что бы у кого ни было, — то же самое они обнаруживают и у себя. Она уже побывала, эта бобруйская дама, где хотите, испробовала все средства на свете, — не помогает!

— Что же говорит об этом доктор? — спрашивает моя Хае-Этл с большим сочувствием к бобруйской даме.

— Что ему говорить? Он и сам не знает. Говорит, что это нервы, и велит ехать за границу, на теплые воды.

С тех пор моя Хае-Этл обрела нервы. Но вы думаете — просто нервы? Нервы нервам рознь. Ночи, которые я просидел возле нее, пусть мне господь не зачтет! Что говорить, — дошло до того, что я не имел права шагнуть, кашлянуть, двинуться. Любая мелочь, стоило мне слово произнести, и тут же раздавалось: «Что ты хочешь от моих нервов?»

Короче говоря, было решено, что мы едем за границу лечиться. Куда? Это определит профессор в Вене или в Берлине. Я стал выправлять заграничный паспорт, а моя Хае-Этл пока наготовила себе платья и шляпки для Вены, начала закупать чемоданы, корзины и баулы и варить варенье. Казалось, какое отношение ко мне, мужчине, имеют шляпки, платья, баулы и варенье?

— Нет, — говорит она, — это не только меня касается!.. Ты едешь так же, как и я, стало быть, ты тоже можешь взять на себя кое-какие хлопоты, потрудиться...

Слово «потрудиться» было произнесено в таком тоне и с таким напевом, которые трудно передать на бумаге, — если у вас есть жена и если у нее тоже нервы, то вам должны быть немного знакомы и этот тон, и этот напев.

И началась канитель с платьями, магазинами, лавками, портными, модистками, с модами и журналами... Если я благополучно пережил эти три недели, то уж, видно, буду жить долго! Моя Хае-Этл решила раз навсегда

перещеголять Вену и Берлин и пристыдить Мариенбад, Франценсбад, Баден-Баден и все прочие «бады». Только и делали, что упаковывали ящики, а я платил по магазинным счетам и рассчитывался с модистками: коленкор и пуговицы, крючки и щетки, газ и снова коленкор, стеклярус и прошвы, тесьма и кружево, и снова коленкор и бархат, шелк и марля, шпильки, и опять-таки коленкор, рюш и фуляр, перышки и манчестер, и еще раз коленкор... Хорошо еще, что у меня телефон и кто-то позвонил, оторвал меня, дай ему бог долгие годы!

— Кто звонит?

— Интендантское управление.

«Чтоб ты так жил, как я интендантское управление», — думаю я, но от телефона не отхожу. Держу одной рукой трубку, а другой плачу модистке и с облегчением избавляюсь от нее и ее счетов.

— Какое варенье, — спрашивает жена, — сварить на дорогу?

— Какое хочешь.

— Что значит, я хочу? А ты где же?

— Я и без варенья могу обойтись! — говорю я.

— Как он вам нравится? Он может обойтись без варенья! Выходит, стало быть, что все это для меня! Потому что я, понимаете ли, такая обжора, такая лакомка...

— Ну ладно, Хае-Этл, тише, ради бога! Вари розовое варенье и — кончено!

— Чтоб оно засахарилось и его надо было выбросить?

— Ну, пускай будет вишня. Вари вишню.

— Больше мне делать нечего, как сесть косточки вынимать.

— Знаешь что? Свари черную смородину?

— Чтоб расплзлась, умник мой дорогой?

— Вари малину!

— Потогонное? Ты, видно, рассчитываешь, что я там основательно расхвораюсь?

— Вари персики! Вари сливы! Вари яблоки! Вари подошвы! Зонтики! Лампы! Секачи! Терки!..

.....
Что происходит между нами после сцены с вареньем, предоставляю угадывать вам самим. Я не обязан все рассказывать!

Что означает «кара посмертная»?

Мудрецы наши рисуют посмертную кару жуткими красками, а ад — еще страшнее. Судя по всему, у них не было жен с нервами и никогда они не ездили за границу на теплые воды, не возили с собою двенадцати пудов багажа, кроме чемоданов, баулов, узлов и разного рода пакетов, не брали туда варенья. Если и мне суждены кары посмертные, то я отбыл их в Бойберике на вокзале, при отъезде за границу, что же касается ада, он раскрылся передо мною уже в вагоне, когда я очутился там с Хае-Этл.

Вам легко стоять и смотреть, когда начинается суматоха, прибывает курьерский поезд, стоит всего каких-нибудь пять минут, и нужно взять билеты, сдать багаж, попрощаться и расцеловаться со всеми детьми, не взглянуть бы, вскочить с женой и с чемоданами и баулами в вагон и захватить места, а мест нету. Я рад, что захватил место для моей Хае-Этл. А она недовольна. Недовольна тем, что место ее приходится как раз напротив толстого попа, от одного взгляда на которого становится нестерпимо жарко; недовольна она и тем, что мне негде присесть и я должен держать в руках все узлы; недовольна тем, что в спешке мы забыли наказать детям и прислуге много необходимых вещей... Спасибо попу, который сжалился надо мной, подвинулся и освободил хоть немного места, так что я смог присесть на краешек скамьи и оглядеться, где я на белом свете. От усталости, от беготни и тарарама у меня голова кружится, и я чувствую, что забыл, кажется, что-то, но что именно, не знаю. От этого, по-видимому, я так рассеян и не слышу, что мне говорят.

— Посмотри-ка, хорошо ли ты спрятал квитанции? — обращается ко мне Хае-Этл.

— Какие квитанции?

— От багажа.

— Поздравляю вас!

— Что с тобой? Ты так рассеян, даже не знаешь, о чем с тобой говорят...

Теперь только я вспомнил, что забыл взять у артельщика квитанции от багажа, и, не соображая, что делаю, бросаюсь бежать, сам не знаю куда. Нервы жены этого не выдерживают. Она запрокидывает голову, собираясь

упасть в обморок. В вагоне начинается суматоха. Пассажиры окружают нас, узнают об истории с квитанцией и дают всякие советы: что я должен делать, куда и как телеграфировать, как вести себя на границе, так что поездка наша с первого мгновения отравлена смертельным ядом, и я уже раскаиваюсь во всей этой затее. Все это стоило мне много здоровья, я не верну его за предстоящие три месяца лечения, а крови я испортил столько, что этого не восстановить и за три месяца купания. И я проклинаяю себя, и границу, и теплые воды, и врачей... Пусть сбудется хотя бы половина того, что я им пожелал!

Но с какими только бедами не свыкается человек? Поезд ради моего багажа обратно не пойдет, и никто не обязан переносить за меня мои муки. Я был доволен тем, что моя Хае-Этл отыскала в вагоне двух дам, с которыми она быстро познакомилась, и узнала, что они тоже едут за границу, на теплые воды. Все они так обрадовались, как если бы им достался самый крупный выигрыш и дело уже дошло до дележа.

Дамы эти были: одна из Умани — в шляпе, с толстым слоем пудры на лице, и так как она едет за границу уже во второй раз, то говорит больше чем наполовину по-немецки и знает там, по ее словам, все ходы и выходы; вторая — молодая дама из Егупца, едет за границу впервые и поэтому держится за даму из Умани, как малое дитя, и не отпускает ее от себя ни на шаг.

— Кто вы такие в Егупце? — спрашиваю я у молодой женщины. — Кто такой ваш муж?

— Я не уверена, — отвечает она, — что вы его знаете. Моего мужа зовут Бродский.

Услыхав имя Бродского из Егупца, я почувствовал, что меня подняло вверх, как если бы под скамьей был спрятан динамит! А женщина эта вдруг выросла в моих глазах на девяносто девять процентов.

— Что значит, — говорю я, — не знать Бродского? Кто же не знает Бродского? Вы из каких Бродских — Лазаря или Льва?

— Не Лазаря и не Льва, — отвечает она. — Мы действительно Бродские, но не из тех. Мой муж маклер по домам.

Егупецкая дама сразу же утратила в моих глазах все девяносто девять процентов, и я уже не хотел больше слушать, что она говорит.

Но не такова была моя Хае-Этл: ей эта компания доставила много радости. Во-первых, она выпытала у уманской дамы все, что творится за границей, и это было прямо-таки находкой для нас обоих. А во-вторых, она узнала о таких новых болезнях, о которых до сих пор и не слыхала. Представьте себе, женщина по фамилии Бродская, у которой муж маклер по продаже домов, страдает от странной болезни: ей как-то приснилось, что она проглотила целую челюсть вставных зубов. С тех пор она чувствует эти зубы у себя в животе, и никто не может убедить ее в том, что ей только так кажется, потому что она чувствует очень явственно, лучше всех докторов, что зубы у нее внутри. Вот она и едет сейчас в Вену, а оттуда — куда профессор скажет.

Моя Хае-Этл, разумеется, тут же вспомнила, что однажды ночью у нее выпал зуб, и никто не знает, куда он девался... Ясно, что она его проглотила. Она и в самом деле чувствует довольно часто, говорит она, странные колики внутри, непонятно отчего.

— Счастье, — говорю я, — что никто здесь не едет с оторванным носом.

Но ни одна из них даже не улыбнулась по поводу моей остроты. Наоборот, я вижу, что все три женщины настроены против меня. Они втроем словно сговорились не обращать на меня внимания и даже не отвечать мне. Вскоре, однако, я был отомщен. Уманская дама в шляпе вдруг вскочила, и так стремительно, с таким криком, как если бы на ней загорелось платье. Со всего вагона сбежались пассажиры:

— Что такое? В чем дело? Что случилось?

А случилась мелочь: банка варенья, которую моя Хае-Этл взяла с собой за границу, внутри, в корзине, на верхней полке, потихоньку разбилась, пролилась и протекла вниз, прямо на шляпу, на шелковую блузку и на прочую одежду уманской дамы, — ее словно прессом прижало к скамье. О том, что пострадали мои вещи, находившиеся в той же корзине, я уже не говорю. Но сколько позора пришлось принять от чужих людей в вагоне. Каждый пытался вернуть словцо, остроту. Некий молодой человек в синих очках, с овечьей, сплошь лысой головой и толстыми губами, видимо считавший себя неотразимым красавцем (он не переставая приглаживал свои усы, глядя в карманное зеркальце), сказал, что теперь эта дама должна быть сладка, как пудинг

в меду, и сам расхохотался по поводу своего остроумия. Другой, старый человек, толстый, с массивной золотой цепью на животе и с толстой пахучей сигарой в зубах, изрек нечто еще более грубое, и весь вагон прыснул. Не смеялись только дамы, дружба которых дала вдруг трещину, рассеялась, как дым, исчезла, словно сон. Бедная уманская дама, кипевшая от злости и сдерживавшая себя из боязни конфуза, никак не могла понять, кому это могла прийти такая блажь — возить варенье за границу? На это моя Хае-Этл, кипевшая не меньше той, ответила весьма резонно, что у каждого свой вкус: один везет варенье, другой — известку.

Думаю, что уманская дама поняла, о чем говорила моя Хае-Этл, потому что на первой же остановке они вместе с егупецкой дамой собрали свои вещи и, не прощавшись, перебрались в другой вагон, освободив нам два места.

— А кто виноват, как не ты?

Предоставляю читателю угадать, кому принадлежит этот вопрос — мне или моей Хае-Этл.

3

*Вместо предисловия. Зачем ездят в Мариенбид.
Дама из Екатеринослава. Станция Волочиск.
Делаю покупку по дешевке и избавляюсь от нее*

Моя жена, слава богу, человек, не любящий сидеть в одиночестве, «с четырьмя стенами», как она это называет. Она любит слушать, как говорят, любит и сама поговорить. Когда в доме тихо, у нее шумит в ушах, ее нервы этого не выносят. Когда случается, что она остается со мной наедине и говорить нам не о чем (между мужем и женой какие могут быть разговоры?), она спрашивает: почему я молчу? Почему я не говорю?

— О чем мне с тобой говорить? — спрашиваю я. — Уже двадцать с лишним лет, как мы разговариваем... Иссякли темы...

— Почему у тебя хватает тем для чужих? Пусть тебе кажется, что и я чужая...

Вот и оправдывайтесь, объясните причину!..

Это вместо предисловия или для того, чтобы вас не удивляло, почему я, едуци с моей Хае-Этл за границу,

на теплые воды, был доволен, когда бог посылал ей собеседников. Я сам подыскивал для нее компанию и нашел в соседнем вагоне массивную даму из Екатеринослава, с дочерью-невестой, то есть девицей на выданье, которая хочет стать невестой и которой пора уже стать невестой, ради чего, собственно, она и едет в Мариенбад.

Услыхав слово «Мариенбад», моя Хае-Этл просто ожила, потому что все время тянуло ее именно в Мариенбад! Почему? Это трудно понять, как невозможно, например, понять, почему одному нравится белое, а другому — черное. Это — дело вкуса: кому что больше по сердцу. Если бы все ехали в одно место, другие оставались бы пустыми...

— Значит, и вы едете в Мариенбад? — с радостью обратилась к ней моя Хае-Этл, разглядывая массивную екатеринославскую даму и удивляясь, для чего она едет на воды. Чего такой не хватает?.. Дама, видимо, поняла, что означает этот взгляд, и объяснила:

— Я езжу в Мариенбад каждое лето не для того, чтобы, упаси бог, лечиться. Я, слава богу, здорова и ничем не болею (оно и видно!), дай бог и дальше не хуже (аминь!). Зачем же я еду? Я еду туда «сбавлять». Как пробуду недель шесть в Мариенбаде, я оставляю там тридцать с лишним фунтов (ого!), а Мариенбад для этого — хорошее средство. Беда только в том, что, когда я приезжаю домой, в Екатеринослав, я снова прибавляю те тридцать с лишним фунтов, которые оставила в Мариенбаде, да еще фунтов двадцать сверх того (не сглазить бы!), потому что аппетит, который разыгрывается потом, убивает меня!..

— Так ведь правильное было бы, — говорю я, — перестать ездить в Мариенбад?

— Что значит? — отвечает она. — Ведь я же должна поехать, чтобы сбавить эти тридцать с лишним фунтов!

— Но ведь вы, — говорю я, — потом снова прибавляете эти тридцать с лишним фунтов, да еще двадцать фунтов, то есть каждые два года — пуд!

— Я совсем не знала, что вы так сильны в математике! — отпускает она шпильку, а моя Хае-Этл смотрит на меня, как на злодея: зачем я вмешиваюсь? И я прикусываю язык.

Сижу смотрю на екатеринославскую даму и думаю, что с ней будет, к примеру, если она проживет еще лет

двадцать, ежегодно будет ездить в Мариенбад, оставлять там тридцать с лишним фунтов, а потом возмещать их с лихвой? Ведь это двадцать раз по двадцать, то есть четыреста фунтов, а четыреста фунтов — это не более и не менее, как десять пудов!

— Станция Волочиск! — сообщает нам кондуктор и отбирает у нас билеты, а пассажиры хватаются за свои узлы и радостно восклицают:

— Граница! Граница!

Кому радость, а мне — нет. Бог знает, отдадут ли мне багаж, — ведь я же забыл взять у артельщика квитанцию и должен был телеграфировать об этом в Бойберик.

— Что мы будем делать, — говорит Хае-Этл, — если нам, упаси бог, не выдадут багаж?

— Зачем тебе, — говорю я, — предполагать плохое? А может быть, отдадут.

И конечно... Пришли на станцию, и пошла канитель: младший чиновник отсылает к старшему, а тот к еще более старшему. Один говорит, есть депеша, другой говорит, нет депеши. Один утверждает, что есть депеша о том, чтобы выдали, а другой заявляет, что в депеше сказано — не выдавать. Словом, пришлось отсюда телеграфировать еще раз и ждать ответа.

Моя Хае-Этл... Что? Вы и в самом деле хотите знать, как мне от нее досталось? Когда господь бог вам поможет и вы со своей супругой наспех соберетесь за границу, как и я, забудете квитанцию от багажа, как я, и должны будете ждать на границе лишний день, — тогда вы будете знать, что можно получить от жены... Хорошо еще, что екатеринославская дама с дочерью-невестой тоже остались ждать следующего поезда по другой причине: из Одессы должна приехать ее сестра, которая также едет в Мариенбад и опоздала на поезд. Она приедет со следующим.

— Она тоже такая... — хочу я спросить и заставаю посредине.

— Что — такая?

— Такая, что... тоже ездит сбавлять вес?

— Наоборот! — отвечает дама. — Моя сестра уж чересчур субтильная. Едет поправляться, и каждый год прибавляет фунтов пятнадцать. Но приезжает домой и теряет эти пятнадцать и еще пятнадцать. Ничего не ест. Очень деликатная.

— Получается так, — говорю я, — что за десять лет она потеряет сто пятьдесят фунтов. А ведь это — три пуда и тридцать фунтов. Что же от нее останется?

— Кто тебя просит производить расчеты? — нападает на меня жена, и не без основания. — Развел математику, математик мой дорогой! Ты лучше посчитай, сколько нам стоит багаж из-за того, что ты витаешь в облаках, — это будет гораздо полезнее! Поди-ка узнай, нет ли ответа на нашу депешу.

Ответа, разумеется, еще нет, да и быть не может так скоро. От нечего делать решил пойти погулять по улице.

Городишко Волочиск, хоть и расположен у самой границы, — местечко, как и всякое местечко, с базаром, лавчонками, евреями, которые толкутся без всякого дела с тросточками в руках. Так как никто меня здесь не знает, я покупаю фунт крыжовника, хожу по базару и ем ягоды прямо из пакета. Вдруг впереди меня вырастает странное животное, никогда в жизни не виданное. Некое подобие лошади, высокое, с рыжей мохнатой шерстью, местами вылезшей, с рассеченной губой, с двумя горбами, — готов поклясться, что это верблюд! На земле сидит черный цыган, закутанный в белую теплую свитку, и смотрит так, как если бы ему осточертел весь мир.

Подхожу поближе, разглядываю его, разглядываю животное с рассеченной губой и с двумя горбами.

— Что это у тебя? — спрашиваю. — Верблюд?

— Верблюд! — отвечает цыган, не глядя на меня.

— Сколько он стоит? — спрашиваю я и подхожу еще ближе.

Цыган вдруг встает во весь свой огромный рост и, сверкнув глазами мне прямо в лицо, спрашивает:

— Покупаешь?

— А почему бы и нет? — отвечаю я в шутку. — Сколько ты хочешь за него?

— Сто десять целковых, — отвечает он. — Сколько дашь?

— Четвертной! — говорю я, чтобы отделаться.

— Давай деньги! — восклицает цыган и берет меня за руку так дружески, что я боюсь вырваться. Озираюсь по сторонам и думаю: «Что делать? Покупать? Но на что мне верблюд? Не покупать? Боюсь оплеух...» Не знаю, что со мной произошло: я достал четвертной билет и купил верблюда.

И поразительно! Раньше кругом не было ни души, а тут сразу же выросла вокруг меня толпа, и все стали разглядывать мою покупку.

— Дяденька, сколько прикажете заплатить вам за эту дохлятину?

Я хотел, чтоб мне вернули мои деньги, готов был потерять сначала пятерку, потом десятку, — не пошло! Я хотел отдать даром, подарить, — но мне ответили:

— Держитесь на здоровье!

Что делать? Оставить его среди базара и уйти? Стыдно, да и боязно было: а вдруг пойдут за мной до вокзала, и жена узнает...

Словом, не буду распространяться: я доплатил несколько рублей и избавился от беды!

На вокзале я застал свою Хае-Этл в слезах. В чем дело? Давно уже есть депеша из Бойберика, депеша была еще до того, как мы приехали сюда, зря телеграфировали, а багаж будет ночью.

— Куда ты девался? — спрашивает она. — Как это человек пропадает на целый день и вертится неизвестно где и неизвестно зачем!

«Слава богу, думаю, что ты не знаешь. Дай бог, чтоб ты и не знала...»

Когда мы отъехали от Волочиска, у меня точно камень с души свалился. Я поминутно оглядывался, не ведут ли обратно мою покупку... Мучения, которые я перенес при визировании паспортов, все, что я получил от жены за варенье, стоившее мне штрафа, за бумаги, которые выбросили, и при обмене денег, когда менялы, между прочим, надули меня на девять рублей, — все это было чепухой в сравнении с дурацким верблюдом, не дававшим мне покоя всю дорогу, пока нас не постигло, возле Кракова, новое несчастье, которое будет описано немного дальше.

4

*Нагоняй от жены. Евреи в котелках.
Женщины в париках. Беседуют о драгоценностях,
и Хае-Этл падает в обморок*

Куда девались массивная екатеринославская дама, которая ездит в Мариенбад сбавлять тридцать фунтов, ее дочь-невеста и субтильная сестра, которую ожидали из

Одессы, — я не знаю. Они словно в воду канули. Может быть, пересели в другой вагон. Я хотел пойти их поискать, но моя Хае-Этл дала мне нагоняй и была, пожалуй, права.

— Что значит? — сказала она. — Мы только что переехали границу, а ты уже хочешь оставить меня одну, в чужой стране, и пойти искать чужих женщин?

— Но ведь это ради тебя! — хочу я оправдаться и только порчу все дело.

Она, говорит, не нуждается в моих одолжениях, она может обойтись и без них. А во-вторых, когда ей станет скучно, она и сама отыщет себе компанию...

И действительно: только мы подъехали к Львову, как вагон наш стал наполняться мужчинами и женщинами. Но какими мужчинами! Какими женщинами! В каких котелках, в каких кафтанах с поясами, в каких чулках и ботинках! А женщины — смиренницы! Носят платки на головах — прямо-таки раввинши! А язык! А манера говорить всем вместе, гортанными голосами! И размахивать руками и распевать!

— Вот это немцы? — обращается ко мне Хае-Этл, выразительно указывая глазами.

— Как тебе нравится? — отвечаю я ей взглядом.

— Совсем свои, — произносит жена.

Никогда, пожалуй, моя жена так правильно не определяла. Честное слово — свои.

Мы почувствовали себя совсем по-домашнему, как будто выехали не за границу, а в Бердичев или в Ярмолинец на ярмарку. Вскоре мы, конечно, познакомились и разговорились с этой компанией. Услышав, что мы из России, эти «немцы» смотрели на нас изумленными глазами и разглядывали, как разглядывают, к примеру, обезьян: как будто бы человек, а все-таки не человек... Они выспрашивали всякие подробности, хотели выпытать у нас всю подноготную. Интересовались: что мы едим? К какому цадиду ездим? Бывали ли мы в «Пetersбурге»? Видели ли мы «Москау»?

Глядя на них, можно было подумать, что эти «немцы» ничего не делают, только и занимаются политикой. Однако когда я прислушался к их разговорам, то ничего не услышал, кроме «бакфиш», «откормленный гусь», «колбсбратен» и тому подобные вещи, имеющие отношение к утробе.

Так было у меня, среди мужчин. А у жены, среди немецких смиренных, шел совсем другой разговор: женщины с обеих сторон рассуждали о «модах», что носят «у нас» и что носят «у них». Оказалось, однако, что хотя они — «немцы», а мы — «русские», у нас гораздо больше придерживаются современной моды, чем у них.

— Возьмите для примера, — говорит моя Хае-Этл, — наши драгоценности и ваши драгоценности. Если бы у нас какая-нибудь «фрау» (моя Хае-Этл уже заразилась от них и начала «шпрехен дейч») надела на уши две бомбы, за ней бегали бы по улице...

Эти слова были обращены к львовской даме в парике с золотыми сережками, странно болтавшимися в разные стороны.

— А какие серьги носят у вас в России? — спросила дама с красным лицом и влажными глазками, до этого молча сидевшая в углу.

— У нас носят замечательные сережки! — ответила Хае-Этл и не поленилась открыть большой «кофер» (я уже тоже заговорил по-немецки), достала оттуда небольшую сумочку с драгоценностями, которые я купил ей за все время, с тех пор, как у меня завелись деньги.

Судя по всему, вещи очень понравились публике, потому что все женщины, да и несколько мужчин, с большим интересом разглядывали коробочки с красивыми сережками, кольцами, жемчугом и прочими украшениями, с которыми жена не хотела расставаться ни на один день.

— Для чего тебе украшения на водах? — толковал я ей дома перед отъездом. — Мало ли что, а вдруг их, в недобрый час, у тебя украдут?

— А я где? Типун тебе на язык! — отвечала она. — Вечно ты предполагаешь худшее!

«Ну что ж, — подумал я. — Твои украшения, твоя и воля!»

Между тем я со своими «немцами» увлекся разговорами о политике и на всякие другие темы и (честно признаюсь!) совершенно забыл о том, что существует где-то на белом свете Хае-Этл... А когда я об этом вспомнил? Когда толстый немецкий кондуктор с какой-то странной шапкой на голове и нелепым огромным ключом в руках прошел мимо нас и прокричал на мало понятном языке, точно прокаркал, как ворона: «Кра-кау! Кра-кау!» А остального я так и не понял!

— Вот здесь, — сказала Хае-Этл, — мы что-нибудь перекусим.

Она взяла меня под руку на аристократический манер, и мы вдвоем пошли гулять по большому красивому вокзалу, оживленные, как молодожены.

В жизни супругов редко выдаются такие счастливые минуты, такие прекрасные дни, такое ясное небо. В большинстве случаев бывает облачно или дождливо, либо стоят холода, либо немилосердно печет солнце, либо разражается гроза, потом на минутку покажется солнце, улыбнется и исчезнет.

Если у вас все это происходит по-иному, значит, вы счастливец, родились, как говорят, в сорочке. У меня с Хае-Этл, признаюсь, редко случаются такие счастливые, ясные, солнечные дни. Кто в этом больше виноват, не берусь судить. Я по натуре человек упрямый, а жена у меня — дама с нервами. А упрямство и нервы — это огонь и вода, сода и кислота. Сойдутся — и пошло шипеть.

Зато если уж выдастся у нас ясный день, если выглянет солнышко, мы используем его, насколько это возможно, и вкушаем удовольствие полным ртом.

— Хае-Этл, голубушка, как тебе нравится страна? Как свободно, как хорошо здесь!

— Рай! — отвечает она, по своему обыкновению, и заглядывает мне в глаза так приветливо, что мне кажется, будто красивее ее нет на свете.

— Как ты думаешь, душа моя, — обращаюсь я к ней, — хотела бы ты, например, поселиться здесь навсегда?

— С тобой? О, почему бы нет?

— С милым рай и в шалаше? — говорю я ей высоким слогом, как пишут в книжках.

На это она отвечает мне сладкой улыбкой, одной из тех, от которых и небо, и земля, и весь мир становятся веселее. Люди обретают другое обличье, — даже кондуктор, проходящий мимо, даже жандарм с длинным пером, даже оборванный немец, ждущий подаяния, — все, все выглядит по-иному, все улыбается, поет, пляшет, все дружески приветствует нас!

— Хае-Этл...

— Что, дорогой?

— Давай дадим друг другу честное слово отныне и впредь всегда жить в мире, никогда не ссориться, никогда не...

Вдруг она вырывает свою руку, бросается в обратную сторону и вскрикивает не своим голосом:

— Сумочка! Сумочка!

— Бог с тобой! Какая сумочка?

— Сумочка с драгоценностями! — вскрикивает она и падает в обморок.

Все, кто был на вокзале, подбежали к нам. В ту же минуту появился врач с аптекой, и Хае-Этл привели в чувство. И, только придя в себя, она по-настоящему расплакалась.

— Горе мне! Несчастье! Мои драгоценности! Мои украшения!!

Не помогали больше ни добрые речи, ни утешения, ни обещания купить другие драгоценности, — она не желает слушать, заламывает руки, плачет, падает без чувств, кончается.

— Ах, боже, мои драгоценности! Нет больше драгоценностей! Пропали мои драгоценности!

Драгоценности пропали, а массивная дама с дочерью-невестой нашлись.

— Что у вас случилось, боже мой? — спрашивает массивная дама, а когда узнает о нашей потере, ломает руки и спрашивает: как же это можно возить драгоценности так открыто? И все, услышав о случившемся, ломают руки и задают тот же самый вопрос!

— А все он, он со своим языком! — говорит Хае-Этл, и вы, конечно, догадываетесь, кого она имеет в виду!..

5

*Снова нервы. Зеленая пальмовая ветвь из Одессы,
Хае-Этл дуется. Лекарство от хвори.
Тетя Нехамма из Оцелеса*

Пока мы добрались до Вены, моя Хае-Этл (видно, от горя) расхворалась по-настоящему и омрачила мне путешествие с самого начала. Что с ней было, трудно сказать. Нервы у нее так разыгрались, что это было заметно по мне. Не смейтесь: человека, у которого жена с нервами, можно сразу узнать по лицу. Покажите мне кого угодно и дайте перекинуться с ним несколькими

словами, я вам тут же скажу, нервная у него жена или нет. Для этого нужен только опытный глаз!

Средств от нервов имеется много, и все они никуда не годятся. Лучшее средство — оставить человека в покое. Так я и поступаю. Что бы жена ни говорила, я не отвечаю ни слова. Набираю полон рот воды и молчу. Ее разговоры и мое молчание иной раз кончаются довольно скверно, но здесь, в вагоне, меня это не пугало, потому что напротив нас сидела массивная екатеринославская дама, которая непрестанно жевала, ее дочь-невеста, которая все время смотрелась в зеркальце и видела, что на лице у нее прыщи, а также субтильная сестра из Одессы, которая была так зелена и тоща, что выглядела как перевязанная пальмовая ветвь накануне праздника кущей.

Насколько Хае-Этл была с ними раньше близка, настолько теперь она отдалилась от них, почти перестала разговаривать и хотела к тому же, чтоб и я с ними не говорил. Но, словно назло, все три дамы поминутно обращались ко мне, каждый раз с новой просьбой. Потрудиться снять баульчик, развязать узелок, закрыть окно, сбежать на вокзал купить кое-что и тому подобные поручения, которые приходится выполнять, когда оказываешься в плену у дам. Больше всех докучала мне «пальмовая ветвь» из Одессы. Насколько она безобразна, настолько она ломалась передо мной, гримасничала и корчила из себя всесветную красавицу. Каждую минуту мне хотелось сказать ей правду, и обязательно в рифму: «Мадам! Вы зелены, точно трава, а нос у вас длинный — аршина два».

С вами никогда не случалось, что на языке вертится какая-нибудь глупость, да так и рвется наружу? Меня однажды за такое дело, не про вас будь сказано, били по щекам, и основательно... Однако я забыл, что мы говорим о путешествии в Мариенбад и нельзя отвлекаться посторонними делами.

Короче говоря, дамы мною распорядились, а моя жена дулась и гневалась на них, и на меня, и на весь свет. Я чувствовал, что дует недобрый ветерок, вот-вот начнется буря, вот-вот надвинется туча и разразится беда, спаси господи и помилуй. Но бог, как известно, терпелив и всемилостив, он ниспосылает исцеление до заболевания. Вот он и сжалился надо мной и прислал мне на помощь новую даму, то есть дома у себя она

просто баба, но здесь, и так как она едет на теплые воды, я называю ее «дамой». Проходя по нашему вагону и увидев мою жену, она подбежала, бросилась к ней на шею, и начали они друг друга целовать, да так крепко, что вся публика смотрела на них и улыбалась.

— Ой, Хае-Этл, это ты? Ой, я не выдержу!

— Тетушка! Как вы попали сюда?

— Куда ты едешь, Хае-Этл? Душенька моя, милая! Может быть, на теплые воды?

— Ну конечно, на теплые воды. А вы, тетушка, куда едете?

— Тоже на теплые воды. А это, может быть, твой муж? Ой, я не выдержу!

Так мы познакомились, то есть представились друг другу без слов и без имен. Я узнал, что она — тетка моей Хае-Этл из маленького местечка со странным названием Оцелес. То есть пишется оно «Волоцеголово», но евреи, которые не любят длинных названий, сократили его, переделали на Оцелес, а мою новую знакомую называют тетя Нехама из Оцелеса.

— Куда же вы едете, тетенька, в какое место? — спрашивает Хае-Этл.

— Знать бы мне так горе с тобою вместе, как я знаю, что это за место! То есть я, собственно, знала, как оно называется, но забыла. Помню только, что кончается какой-то «баней».

— Может быть, Мариенбад?

— Возможно, что Мариенбад.

— Или Карлсбад?

— По мне, это может быть и Карлсбад.

— Или, может быть, Франценсбад? Или Баденбад?

— Пускай будет Франценсбад, горячая баня, холодная баня, лишь бы баня... Доктор велел ехать на теплые воды, вот я и еду. Еду с письмом от него к профессору. Уж он там, наверное, пишет, в какую баню...

Наша тетя Нехама заслужила, чтобы я описал ее как следует, рассказал вкратце ее биографию: во-первых, она ведь родная тетка моей Хае-Этл, то есть родная сестра моей тещи, а тетка моей жены приходится теткой и мне. А во-вторых, это личность, с которой, право же, стоит познакомиться поближе.

В молодости, видно, она была хороша собой, а по натуре — это и сейчас еще живая и веселая душа,

любит пожить. Первый ее муж был старый сквалыга, но мучилась она за ним недолго, осталась молодой вдовой, без детей, но с деньгами, — все эти обстоятельства никак не мешают выйти замуж во второй раз, взять мужа по своему желанию и начать жизнь сызнова. Что представляет собою муж, которого она выбрала по своему желанию, я сказать не могу. Знаю только, что сам он живет в Оцелесе, а ее послал на теплые воды, недель на шесть, с тем чтобы она доставила себе «все удовольствия на свете», не жалела денег, делала все, что душе угодно, и покупала все, что глаз увидит.

Так говорит тетя Нехама из Оцелеса, и я вижу, как все мои дамы завидуют ее свободе и счастливой жизни за вторым мужем. И — увы! — должен признаться, даже моя Хае-Этл поглядывает на тетушку и на меня, и я знаю, что означает этот взгляд. Ее взгляд означает: «Вот что значит иметь хорошего мужа!..»

А тетя Нехама из Оцелеса не перестает говорить, рот у нее не закрывается ни на минуту. Сама она маленькая, беленькая, кругленькая, с белым круглым подбородком, с носиком фасолькой, с серыми глазками, а голос у нее хриплый и, когда говорит, приплясывает, вертится во все стороны, поминутно забывает, на чем остановилась, смешивает все в кучу, хлопает себя ручками по круглым бедрам: «Ой, умру, не выдержу!» — и хохочет так, что все смеются вместе с ней.

— Тетенька, — спрашиваю я, — к какому профессору велел вам обратиться ваш доктор?

— Знать бы мне так его самого! — отвечает тетя Нехама. — Записал он мне на бумаге, этот замечательный доктор из Оцелеса, его имя, но я уже не помню, в каком городе тот проживает — то ли в Вене, то ли в Берлине... Ой, умру, не выдержу!

Тетя Нехама ищет во всех карманах, но не может найти куска бумаги, на котором оцелесский доктор записал имя профессора.

— Но вы, по крайней мере, знаете, какая у вас болезнь? — спрашиваю я из интереса.

— Вот так я тебе сейчас и доложила, чем больна! — говорит тетя Нехама и хохочет, а следом за нею хохочут все дамы, как если бы я сморозил бог знает какую глупость. Но я рад и благодарен тете Нехаме из Оцелеса и никогда не забуду того, как вовремя она подошла и не раз выручала меня из множества бед — и

во время поездки, и на водах. Она, можно сказать, была настоящим целительным средством для нервов моей жены. Никто не умел так приободрить мою Хае-Этл, как тетя Нехама, разговорить, когда она молчит, рассмешить, когда она озабочена, мрачно настроена.

Желаю вам, читатель, если есть у вас жена, а у жены нервы и если вы едете с ней на теплые воды, чтобы бог послал вам такую же тетю Нехаму из Оцелеса, — тогда вы будете исцелены и избавлены, даст бог, от многих бед и неприятностей, какие могут выпасть на долю женатого человека.

6

*Суматоха в Вене. Беда с языком.
Кушать нечего*

До Вены мы все держались вместе, сговорились, что поедем в одну гостиницу, пойдем к одному профессору, — вообще всюду будем вместе. Но с первой же минуты, как только мы приехали в Вену, нас всех закрутила суета, беготня, сутолока. Беда началась с венских носильщиков, которые налетели на нас, как злые духи, изъяснялись друг с другом на каком-то странном языке, не глядя нам в глаза, схватили наш багаж под мышку и закричали:

— Гепек! Гепек!¹

Что «гепек»? Чего «гепек»? Понятия не имею! Хае-Этл хочет их удержать, смотрит на меня, словно желая сказать: «Чего же ты молчишь?» Но носильщики и не глядят в нашу сторону. Они забрали все наши узлы и пошли неизвестно куда, а мы за ними.

— Чего ты их отпускаешь? — кричит мне Хае-Этл и бежит вместе со мной за этими слугами сатаны. — Почему ты не спросишь хотя бы, куда они тащат наши вещи? Ведь ты умеешь с ними говорить по-немецки!

— Наверное, на вокзал, — говорю я. — Чего ты боишься?

— Вот как? Чего я боюсь? Забыл уже про сумочку с драгоценностями?

¹ Багаж! (нем.)

Хае-Этл уже готова была устроить мне концерт по заслугам. Но тут мы увидели тетю Нехаму из Оцелеса: она лежала на земле и распростертыми руками прикрывала свои узлы, как преданная мать, защищающая своих детей, как орлица, у которой хотят отнять ее орлят. Над ней стоял один из носильщиков, он хотел взять ее вещи, а она не подпускала его и кричала во весь голос:

— Не трогайте! Ой, умру, не выдержу!

Все это было так смешно, что оба мы не смогли удержаться от хохота.

— Тетенька, господь с вами! — сказала Хае-Этл. — Чего вы боитесь? Вот ведь несут и наши вещи, а мы не боимся...

Между тем в суматохе мы потеряли скатеринославскую даму с дочерью и сестрой, и слава богу, что оказались хотя бы вместе с тетей Нехамой, которая держалась за платье Хае-Этл, не отпуская ее ни на шаг, в то время как Хае-Этл держалась за меня. Таким образом, мы втроем были неразлучны.

Получив кое-как наш багаж, один из носильщиков стал мне рассказывать какую-то бесконечную историю на своем диком языке, так что ни слова нельзя было понять, потому что говорил он не ртом, а горлом, и так торопился, что ухо едва улавливало отдельные слова: «Отель... Пферд... Ваген...»¹

— Чего он хочет? Я не выдержу! — обращается тетя Нехамка к Хае-Этл.

— Спроси, чего он хочет? — говорит мне жена. — Спроси по-немецки, что он говорит?

— Он спрашивает, — говорю я, — как мы хотим ехать в город? Лошадьми или на трамвае?

— Мит сусим!² — говорит ему тетя Нехамка, и мы не можем удержаться от хохота.

— Ну, хватит смеяться! — говорит мне Хае-Этл. — Скажи ему по-немецки, что нам требуется извозчик.

— Фюить! — свистнул я и сделал жест, будто замахнулся кнутом, чтобы носильщик меня понял. И, представьте себе, он сразу же понял!

— Яволь!³ — ответил он, и через две минуты мы втроем уже сидели в прекрасном фаятоне с такими здо-

¹ Лошадей... карету... (нем.)

² Лошадьми! (древнееврейск.)

³ Разумеется! (нем.)

ровенными «сусим», каких у нас и не видать. И багаж он нам уложил, этот рыжий, широкоплечий немец. Я сунул ему в руку приличную монету, он сорвал шапку с головы и горячо поблагодарил. Кучер, форменный немец с трубкой в зубах, осторожно снял с лошадей одеяла (здесь все лошади покрыты одеялами, чтоб, упаси бог, не простудились), уселся и, обернувшись к нам, издал горлом, а не ртом (так говорят здесь все) какие-то непонятные звуки.

— Чего он хочет? — обращается тетя Нехама к Хае-Этл.

— Спроси, чего он хочет? — говорит мне Хае-Этл.

— В чем дело, немец? Чего ты хочешь? — спрашиваю я, энергично жестикулируя, по обыкновению, а тетя Нехама мне помогает:

— Вы спрашиваете насчет постоянного двора?

— Погодите, тетенька! — говорит ей Хае-Этл. — Дайте сказать по-немецки. Мой муж скажет ему по-немецки.

Слова моей Хае-Этл придают мне столько смелости, что я начинаю говорить на двух языках сразу — на немецком и французском:

— Гранд отель, высшее качество, фронтэ моашико!¹ — произношу я и прищелкиваю языком.

Немец понял и отвечает:

— Яволь! Яволь!

И вскоре он привозит нас к величественному дому с зеркальными стеклами. Выбегают навстречу новые слуги сатаны в черных фраках, хватают нас под руки и ведут прямо наверх. Там нас встречает некто с бакенбардами, я мог бы поклясться, что это граф, магнат, а на самом деле это швейцар. Он срывает фуражку с головы и радушно приветствует нас.

— Много ли комнат желаете? — обращается он к дамам.

— Чего он нам желает? Ой, я не выдержу! — говорит тетя Нехама, а мы смеемся.

— Он спрашивает, сколько номеров, — говорю я.

— Скажи ему по-немецки, что два, — отвечает Хае-Этл.

Я показываю ему по-немецки два пальца и добавляю по-французски:

¹ Набор ничего не значащих слов (*подраж. франц.*).

— Фронтэ моашико бонжур!

— Яволь! — отвечает немец. — На первом этаже! — И вводит нас в прекрасные комнаты.

— Почему у вас, — спрашивает тетя Нехама, — за сутки?

Немец стоит и смотрит на нее, как провинившийся. Не понимает и обращается ко мне со сладкой, как сахар, улыбочкой:

— Может быть, мы лучше будем говорить по-немецки?

— Скажи ему по-немецки! — говорит Хае-Этл, и я показываю на пальцах: «Сколько? Цена?»

Но он не понимает и мигает глазами... Беда у них с языком! У нас тоже говорят по-немецки, но это совсем не тот немецкий, что у них. Я в Егупце встречаюсь с немцами и дела с ними делаю. Говорю наполовину по-еврейски, наполовину по-немецки, и мы понимаем друг друга. А здесь — упаси господи и помилуй! Все зубы себе сломаешь!

Однако это только на первых порах. Чем дальше, тем больше мы привыкаем к языку и начинаем уже понимать один другого по глазам! На следующий день Хае-Этл с тетей Нехамой ходили по магазинам, купали всякого товара, их уже основательно надули, совсем как настоящие лавочники из Брод.

— Нравится тебе, Хае-Этл, город Вена? — спросил я у жены, после того как мы умылись, переоделись с дороги, написались чаю и повидали город.

— Сгореть бы ей в огне! — отвечает Хае-Этл. — В таком огромном городе чтоб нельзя было покушать!

В чем дело? Мы ходили искать еврейский ресторан, кружили по городу часов шесть, да так и не нашли. Спрашивали, но либо нас не понимали, либо мы не могли понять.... Показывают как будто очень ясно: «Направо! Налеву! Вперед!» А как дойдет до дела, — ничего похожего!.. И в первый день мы действительно питались какой-то ерундой, пили кофе, ели яйца всмятку и венское печенье, которое тает во рту, как снег на солнце.

Лишь на следующий день мы разыскали еврейский ресторан под названием «Кошер»*. Да какой еще кошер! Кошерное кошерному рознь! Ресторатор, хоть он и «шпрех дейч»¹, носит ермолку, моет руки перед едой,

¹ Разговаривает по-немецки (нем.).

а гости подходят друг к другу, здороваются, выпрашивают: откуда приехали? куда едете? и зачем? и когда? а если по делу, то по какому? а если к врачу, то к какому? Словом, совершенно по-еврейски, совсем как в Варшаве.

7

*Среди евреев не пропадешь. Совет ресторатора.
Комиссионер по ламповым стеклам
обследует моих дам*

Среди евреев, говорят, не пропадешь... Да будет вам известно, что это и в самом деле так. Что бы мы, например, делали, если бы не натолкнулись на еврейский ресторан, в котором сам ресторатор так любезен, что набивается с советами, к какому доктору нам обратиться. Если бы мы слушали немцев с их тяжелым языком, мы кружили бы по Вене бог весть сколько времени. Какое, подумаешь, дело швейцару из отеля, что мы делаем в Вене? Что до него, то мы могли бы провести в Вене все осенние праздники, только бы мы снимали номера в их шикарной гостинице, пили замечательный чай, который нам подают из котла, и платили за каждый глоток воды и за машину, которая поднимает нас и спускает раз двадцать в день. Хае-Этл от этого не в восторге, у нее, говорит она, от машины голова кружится до обморока, а тетя Нехама в первый раз так раскричалась, что мы были крепче железа, если не лопнули от хохота!

Совсем не то среди евреев. Хозяин еврейского ресторана сразу же взял нас на цугундер: кто мы такие? откуда? куда едем? чем мы больны? к какому профессору нам нужно? Узнав, что мы едем на теплые воды, и пронюхав, что в деньгах у нас нужды нет, он заявил, что мы обязательно должны прежде всего повидаться с профессором, потому что прямо-таки можем навлечь на себя несчастье, если, упаси бог, поедем на теплые воды без указания профессора! Возникает вопрос: к какому профессору обратиться? Это может сказать нам только доктор. А какой доктор? Это может нам сказать шуриин ресторатора, который связан со всеми докторами. Если мы хотим, нам следует подождать этого шурина.

Мне это, конечно, не понравилось.

— А может быть, — говорю я, — нам стоило бы пробиться прямо к профессору? Мы, слава богу, не такие уж безнадежные больные. Мы, слава богу, здоровые люди. Нам надо знать только, куда ехать.

— Вы, наверное, думаете, что вы в России? — отвечает ресторатор. — Хотите идти прямо к профессору? Идите, пожалуйста, на здоровье, но смотрите, как бы вы потом не пожалели.

— Тебе надо устроить какую-нибудь историю? — говорит мне шепотом Хае-Этл, а тетя Нехама ее поддерживает:

— Что тебе, если мы раньше побываем у доктора?

Словом, решено было предварительно повидаться с доктором, то есть пойти домой и ждать, покуда придет шури́н ресторатора. Потом он приведет к нам доктора, а доктор поведет нас к профессору.

Как вам нравится, сколько протекций требуется в Вене, чтобы попасть к профессору?

Целый день мы просидели в отеле, дожидаясь шурина ресторатора. Солнце уже собиралось садиться, а мы сидели втроем у окна и смотрели на шумный город с глупыми немцами, которые толкуются внизу и ходят все в цилиндрах... Вдруг слышим, кто-то стучит: раз, два, три — и в комнату входит немец в пелерине и цилиндре. с большой тростью и в перчатках. И хотя было уже совсем темно, он произносит нараспев:

— Гутен та-а-аг! ¹

— Все дурные сны — на головы моих врагов! Ой, я не выдержу! — вскрикнула тетя Нехама, и мы не могли удержаться от хохота.

Немцу это, видимо, очень не понравилось. Он страшно сердился на нас за то, что мы смеемся, стучал тростью по столу и кричал:

— Бесстыжие!.. Руссише швейнен!.. ²

Это, наверное, означает «свиньи»?.. Пришлось встать, подойти к нему и объяснить, что мы смеемся не над ним, а над тетей Нехамой.

— Она тронутая? — говорит он и объясняет по-еврейски, что это значит сумасшедшая, «мешуге». Слово «мешуге» свидетельствует о том, что он еврей, и я узнаю,

¹ Добрый день! (нем.)

² Русские свиньи!.. (нем.)

что он — шурин ресторатора и даже, чего доброго, умеет говорить по-нашму. Нас всех это очень радует, тут же подают чай (из котла, конечно), и мы приступаем к делу.

— Итак, какая у вас болезнь? — спрашивает он у нас.

Но что мы можем сказать, когда мы, собственно, и сами не знаем, чем бодем. Я пытаюсь отговориться тем, что ему мы этого сказать не можем, что скажем самому профессору. Но он не поддается и заявляет, что профессоров в Вене как звезд на небе (не сглазить бы!), и по каждой болезни имеется особый профессор. «Что же делать? — думаю я. — Какую бы болезнь выдумать?» Подумав, я извернулся и сказал правду: я совершенно здоров, а больны они. Указываю ему на Хае-Этл и тетю Нехаму и заканчиваю по-немецки:

— Имеете понятие?

— Прекрасно! — отвечает он со строгой миной и обращается к моим дамам: — Скажите, пожалуйста, на что же вы, собственно, жалуетесь?

— Ой, я не выдержу! Пусть он выйдет! — говорит тетя Нехама моей Хае-Этл, и меня выпроваживают в коридор на несколько минут, а вернувшись в комнату, я узнаю, что профессора зовут Ройтнагель, а доктора — Зильберштерн.

— А вы кто же? — спрашиваю я.

— Я — комиссионер по продаже ламповых стекол и абажуров! — отвечает он очень хладнокровно.

— Что снилось мне в эту ночь, и в ту ночь, и за весь год!.. Ой, я не выдержу! — восклицает тетя Нехама, всплескивая руками, моя Хае-Этл краснеет до корней волос, а меня снова одолевает хохот. А чтобы наш комиссионер по ламповым стеклам и абажурам не чувствовал себя обиженным, я придумываю предлог и говорю, что вспомнил историю, которая в прошлом году случилась у нас в Егупце, и снова кончаю по-немецки: — Имеете понятие?

— Имею ли я понятие или нет, — в этом нет никакого сомнения, а вот есть ли понятие у вас — это вопрос! — отвечает он тоже по-немецки, забирает свою пелерину, палку и цилиндр и уходит обозленный. И между нами, чувствую я, возникает вражда, смертельная вражда!

*Профессор Ройтнагель хочет нас разлучить.
Мы поссорились с Веней.
Тетя Нехамя проявляет себя*

Легче у нас определить ребенка в гимназию или освободить его от призыва, нежели повидаться в Вене с профессором Ройтнагелем. Раньше доктор Зильберштерн принимал нас, давал советы, писал рецепты, да и то ради комиссионера по ламповым стеклам и абажурам, который, в свою очередь, старался ради своего шурина, ресторатора. И лишь на третий день мы попали к профессору Ройтнагелю, который был так любезен, что принял нас каждого в отдельности и каждому из нас прописал другой курорт. Мою Хае-Этл он направил в Франценсбад, тетю Нехаму — в Мариенбад, а меня — в Карлсбад.

Выйдя от профессора Ройтнагеля, мы остановились втроем, посмотрели друг на друга без слов, будто спрашивая: «Что же теперь делать?» И решено было посоветоваться с доктором Зильберштерном. Но так как доктор Зильберштерн не принимал, нужно было прибегнуть к помощи комиссионера по ламповым стеклам и абажурам. Но где он живет, мы не знали и потому решили зайти к ресторатору.

— Ну, что слышно? — спросил он нас.

— Да что слышно! — отвечаем мы. — Ваш шурин нас зарезал, всех троих зарезал!

И рассказали, что профессор направил всех нас в разные места.

— Это все? Ну что ж такого? — хладнокровно спрашивает ресторатор.

— Вы удивительный умник! — сказала Хае-Этл. — Для того я приехала сюда со своим мужем, чтобы нас разогнали в разные стороны — одного в Шклов, другого в Могилев!

— Не волнуйтесь, мадам! — отвечает он. — От Франценсбада до Карлсбада не так уж далеко, всего два-три часа езды, не больше. Хотите — можете съездить к мужу, хотите — он к вам съездит.

— Спасибо за добрый совет! — говорит Хае-Этл уже с раздражением. — Помогите вам бог сообщать более радостные вести и давать советы поумнее.

— На кухне, у горшков! — добавила тетя Нехама.

На это ресторатор заметил, что с базарными торговками он вообще не якшается... Это, конечно, задело мою Хае-Этл, и она сказала, что вот эта «базарная торговка» — ее родная тетка и происхождения она гораздо более знатного, чем он со своим рестораном и даже с его знаменитым шурином, который ходит по домам продавать ламповые стекла и колпаки...

— Идем! — говорит она мне. — Будем лучше питаться яйцами всмятку, нежели встречаться с такими грубиянами, которые говорят по-немецки и выманивают наши русские рубли.

Ругань моей Хае-Этл ресторатора не тронула. Но последние слова о «русских рублях» так взбесили его, что он загорелся и налетел на нас, как дикий зверь, готов был растерзать, — в общем, мы чуть живые выбрались из ресторана, нас выпроводили с почестями и кричали вслед, угрожая кулаками: «Руссише швейнен! Руссише швейнен!»

Но еще крепче досталось нам позднее, в отеле. На закуску явился шурин ресторатора. Комиссионер по продаже ламповых стекол и абажуров постучал в дверь и вошел еще с одним немцем, тоже в цилиндре, но без пелерины, и спросил: на каком основании мы позволили себе оскорбить его за глаза?.. При этом он стучал палкой по столу и был такой красный, что я испугался, стал опасаться побоев: мало ли что может выкинуть немец у себя в Вене?

Не так, однако, отнеслась ко всему этому тетя Нехама из Оцелеса. Она, видимо, не больно испугалась этого немца. Она вскочила с места, подлетела к нему, подбоченилась и выложила ему все, что было на душе, без стеснения, на простом еврейском языке:

— Слышь ты, немчура, дурья голова, ламповый пузырь! Ой, я не выдержу! Ты небось думаешь, что тут очень испугались твоей хламиды и печной трубы, которую ты таскаешь на своей башке? Ведь ты, попросту говоря, обжулил нас, выманил несколько золотых ни за что ни про что, как обыкновенный мошенник! Думаешь, мы не знаем, кто ты такой, оборванец несчастный, голопузый касрилик! Не уйдешь! Сейчас заеду в твою богомерзкую рожу и выщипаю бороденку до последнего волоска! Я, понимаешь ли, не раз уже в своей жизни била по морде и не таких, а почище тебя, у которых ты

в кармане спрячешься! Видали вы этого сумасшедшего немца с макитрой? Ой, не выдержу! Убирайся-ка лучше вон, покуда цел, не то...

.....
Не знаю, в самом деле он испугался тети Нехамы, которая в ту минуту выглядела как разъяренная курица, готовая глаза выклевать, или не захотелось ему иметь дело с еврейкой из Оцелеса, — но мой немец с пелериной схватил цилиндр в руки и — бог ноги! Удрал, сильно хлопнув дверью и посылая нам из-за порога «руссише швейнен», к которым мы уже привыкли, как к обыкновенному приветствию.

С тех пор я проникся уважением к тете Нехаме из Оцелеса. Она выросла в наших глазах на девяносто девять процентов, и мы решили больше не расставаться с ней в дороге.

МОШКЕЛЕ ВОР

Глава первая

Толкует о ворах

Неевреи звали его Мошка, а евреи — уменьшительным именем Мошкеле с приставкой — Вор, так как он действительно был вором, то есть жил кражами.

А красть он крал только лошадей. На воровском языке нет выражения «красть лошадей». Конокрады, касаясь своей профессии, говорят «стрельнул птицу», «отомкнул и вызвал» из конюшни, «махнул с птицей» на ярмарку, «подцепил» у цыгана, «собрал бабки и вернулся чистый, как тарелка», — таков язык конокрадов, таков их жаргон.

У воров вообще нет таких слов, как «вор», «воровство». Они говорят: «марвихер» (карманный вор), «орел» (вор, сумевший вовремя смыться), «мойщик» (ночной вор), «хламидник» (тот, кто крадет одежду), «шпан» или «красный» (просто вор) и тому подобное. Что же касается конокрады, то его зовут очень деликатно — «аматор», то есть любитель коней.

А Мошкеле Вор был знатным любителем коней. Он души в них не чаял. Сесть на лошадь и мчаться стрелой, скакать по горам и долинам, по лесам и полям было его страстью еще с детских лет, так как с лошадьми имел дело и его отец Йойна, который сам был конокрадом... Простите, не конокрадом, а «пророком».

А знаете ли вы, что такое «пророк»? «Пророком» все воры, барышники и извозчики называют гадалщика.

то есть человека, который угадывает, где находится украденная лошадь. Когда, скажем, у извозчика украдут пару лошадей из конюшни, он сразу же отправляется к «пророку».

— Реб Йойна, что делать? Беда! Сегодня ночью у меня увели пару лошадок. Посоветуйте, реб Йойна, что делать?

«Пророк» Йойна, седой, косоглазый старик — один глаз смотрит на север, другой — на юг, — не тратит лишних слов, он только спрашивает:

— Каких?

— Одна буланая, другая пегая. Совсем недавно привел с ярмарки. Обменял обеих моих кобыл, вы их должны помнить, реб Йойна, хорошие лошадки были. И дернул же меня черт обменивать их! Зачем это мне нужно было, сам не знаю. Пристал ко мне этот Азриел, чтоб ему ни дна ни покрывки! Давайте обменяемся, говорит, не пожалеете. Вот я и поменялся. А теперь такое несчастье! Ой, спасите, реб Йойна, дайте совет!

«Пророк» Йойна смотрит в сторону, и его косые глаза горят:

— «Красенькую» получу за работу?

— «Красенькую»? Где мне взять ее? Плохие времена пошли, реб Йойна, тяжелые времена. Может, «зеленькую», реб Йойна?

«Пророк» смотрит в сторону, и его косые глаза горят. Он, как ножом, режет:

— «Красенькую»!

— Может, «синенькую», реб Йойна?

— «Красенькую»!

Извозчик почесывает затылок, обещает «красенькую», идет домой и ложится спать. А наутро он находит своих лошадок в конюшне.

Одним словом, Мошкеле Вор был потомственным вором.

Глава вторая

Он проявляет себя еще с детских лет

Ребенком Мошкеле учился в хедере. «Пророк» хотя и был, не про нас будь сказано, вором, ему все же очень хотелось, чтобы сын его был человеком образованным, и он перед всеми хвастал, что не жалеет денег ради

приобретения сына к науке. Но сынку конюшня нравилась больше, чем наука, и лошадка была ему в десять раз милее, чем, прости господи, меламед. Сам меламед счел нужным сообщить об этом отцу в несколько завуалированной форме:

— Реб Йойна, долго же вам придется ждать смерти, пока ваш сынок научится читать по вас заупокойную молитву «кадиш». Преуспевает ваш сынок, хе... хе...

Эти слова меламеда задели Йойну за живое. Он схватил плетку и приказал сыну лечь, собираясь как следует проучить его. Но тому совсем не хотелось изведать вкус плетки на голом теле, и он решительно отказался лечь.

— Ложись! — приказал ему отец.

— Я не лягу, — ответил сын.

Отец грозно повторил:

— Ложись, говорю тебе!

— Не лягу, сказал я тебе!

Отец вышел из себя и попытался положить его силой, но тот не двинулся с места. Целый час боролся отец с сыном и ничего не мог с ним поделывать. Наконец, поняв, что ему скорее удастся поднять хату на плечи, чем одолеть сына, он крикнул:

— Так ты не ляжешь?

— Нет, ни в коем случае! — ответил сын, и дабы отец не подумал, что он шутит, вынул из кармана железную подкову и, как бублик, переломил ее надвое. «Пророк» убедился, что сын его обладает Самсоновой силой *, и проникся к нему глубоким уважением.

Когда Мошка оставил хедер, он даже молиться не умел, он был, как говорят в Мазеповке, «слабоват на грамоту». Зато Мошка умел кое-что другое: мастерски запрягал любой экипаж, верхом ездил не хуже казака, и самый дикий, самый горячий конь шел под ним тихо, смиренно, как котенок; плавал он, как утка, и дважды переплыть речку было ему раз плюнуть. Про его силу шла слава не только в Мазеповке, а по всей округе: люди знали, что Мошка может одной рукой побороть сразу троих солдат и так побить в кровь человек шесть, что те его запомнят на всю жизнь.

Еще будучи совсем юным, тринадцатилетним парнишкой, Мошка неоднократно отличался в драке, показывал, на что он горазд. В стычках с деревенскими парнями, нападавшими на еврейских детей, когда те

выходили в субботу днем на прогулку за город, а парни науськивали на них собак и пели знаменитую песенку: «Жид, жид, халамей», Мошке стоило только раз дать им почувствовать силу своих кулаков, чтобы те раз и навсегда зареклись связываться с этим евреем. А когда он подрос, то и взрослые мужики стали его бояться как огня.

Драться Мошка любил, это было, можно сказать, его страстью, при этом он предпочитал задираТЬ как раз противников сильнее себя. Особенно охотно проявлял Мошка свою силу, когда представлялся случай вступить за слабого. Он был счастлив, если ему удавалось наскочить на целую компанию извозчиков или мясников, всем скопом избивающих какого-нибудь беднягу (а кому не известно, что еврейские извозчики и мясники настоящие звери?). Наш Мошка засучивал рукава, бросался в самую середину свалки и принимался молотить руками и ногами, а когда нужно, то и головой, и не один забияка уходил оттуда с огромной шишкой на лбу, с фонарем под глазом, с разбитым носом, не говоря уж об оторванном рукаве, разодранной рубашке. Мошке, конечно, тоже изрядно доставалось, но это его не огорчало, наоборот, ему нравилось, если противник оказывался тоже опытным драчуном. Такого, говорил он, приятно колотить и получать от него сдачи.

Одним словом, Мошка в этом деле был своего рода знаменитостью, и если мои слова вас не смутят, то скажу даже, что он был гением.

Глава третья

Голиаф из Злодиевки

Недалеко от Мазеповки находилось село Злодиевка, где жил высокий, здоровенный мужик по имени Иван Курка, настоящий Голиаф. В трезвом состоянии это был тихий, смирный человек. Но стоило ему выпить немного лишнего, как он впадал в бешенство и начинал бушевать: ломал двери, бил стекла, бросался на людей, и большей частью на евреев. Евреи в эти минуты вызывали в нем дикую ярость. Евреи, кричал он, грозно махая кулаками, отравляют ему жизнь, они грызут его мясо, пьют его кровь, и он не успокоится, пока не перебьет, не переберет их всех до одного! Так бушевал

Иван Курка, пока его не схватывали и, связав по рукам и ногам, не отвозили, как барана, домой в Злодиевку.

Как-то приехал Иван Курка в Мазеповку на ярмарку с двумя бычками для продажи. Совершив сделку, он поставил в трактире Соры Вольцихи магарыч, потом — снова магарыч, и еще раз магарыч, пока не разгулялся вовсю и не начал, по своему обыкновению, буянить: ломал, крушил все, что попадалось под руку, и, наконец, принялся за Сору Вольциху. Сперва он только ругался, проклинал ее, а потом дал волю рукам. Поднялся гвалт: Сору Вольциху бьют! Шум докатился до самой ярмарки, где среди барышников вертелся Мошка с кнутом в руках, в коротеньком тулупчике и брюках, заправленных в сапоги, и все присматривался к лошадке, которую ему страсть как хотелось приобрести. Услышав крик: «Сору Вольциху бьют!», он вострепнулся:

— Кто бьет?

— Иван Курка!

Легче орла, быстрее оленя, стремительнее леопарда влетел Мошка в трактир к Соре Вольцихе и влепил Ивану Курке такую пощечину, что у того сразу потекла кровь из левого уха. Через несколько дней Иван Курка с опухшей щекой приехал в Мазеповку, в руках у него был горшок с яйцами, он бродил по местечку и у каждого встречного допытывался, где живет тот еврей, который его поколотил:

— Дэ той жид, що мэнэ вдарив?

Мазеповские евреи, однако, не посмели выдать Мошку. Но когда Мошка узнал, что Иван Курка его ищет, он немедленно сам вышел к нему навстречу и спросил, не желает ли он получить еще парочку оплеух. Иван Курка ответил, что с него предостаточно и одной оплеухи, в доказательство чего он вот принес ему, Мошке, яйца в подарок. С тех пор Иван Курка и Мошка стали такими друзьями — водой не разольешь!

Глава четвертая

*Он обижен на мазеповских евреев
и совершенно прав*

С тех пор мазеповские евреи чувствовали себя вполне спокойно. Мошка, или, как они его прозвали, Мошкеле Вор, оказался их верным защитником. Он, правда, был

вором, и никто не хотел с ним знаться, но, когда в нем возникала нужда, к нему начинали подлизываться, восхваляли его до небес, не знали, как лучше угодить ему. Недаром евреи говорят: «Когда вор нужен, его вынимают из петли».

Мошка прекрасно понимал это и в душе смеялся над ними. Все мазеповские евреи вместе с их единственным богачом значили для него, как он сам говорил, столько же, сколько погнутый гвоздь или старая подкова.

Все же он был страшно зол на них. Прежде всего из-за прозвища. Он знал, что за глаза его зовут Мошкеле Вор. Какой же он им вор? У какого мазеповского еврея он, упаси боже, что-то украл? И почему «Мошкеле», почему его зовут «Мошкеле Вор», а Мойше, сын ростовщика Нафтоле, у них «Мойшеле», «реб Мойшеле»? Только потому, что у того много денег, а у него их нет?

К тому же его очень коробило, что в праздничные дни, когда он приходил в синагогу, ему не дают места, и он вынужден все время стоять где-нибудь в сторонке, у самого входа.

К тому же его очень коробило, что в праздник торы, во время торжественной процессии прихожан со свитками торы, ему либо дают небольшой свиток в невзрачной рубашке, и то в последнюю очередь, либо совсем оставляют без свитка.

К тому же его очень коробило, что никто никогда не приглашает его на какие-либо семейные торжества, скажем, на свадьбу или на обряд обрезания, хотя он ни с кем не ссорился, никого не обидел, ни о ком худого слова не сказал. Живет он со всеми в мире и согласии, готов, если нужно, каждому прийти на помощь, а бедняку, конечно, охотно поможет рублем — деньги ведь не имели для Мошки никакой ценности. «Рублей у господ бога много, — говорил он, — и они круглые: сегодня они у кого-то, а завтра — у меня...»

Но больше всего его злило, что никто не хочет с ним породниться, ни одна девушка не желает выходить за него замуж, даже самая последняя служанка и та не хочет с ним знаться. Чем иметь такого мужа, как Мошкеле Вор, говорят они, уж лучше выйти за портного или за сапожника.

Точно такие слова довелось ему услышать однажды из уст одной девушки по имени Лея, хотя она была жалкой нищенкой, босой и голой. И нельзя, конечно, ска-

зять, чтобы ему было очень уж приятно выслушивать такие слова. И все же Мошкеле Вор женился, к тому же на красивой девушке, пожалуй, самой красивой девушке Мазеповки, да еще на дочке весьма почтенных родителей.

— Самой паршивой собаке достается самый лакомый кусок, — говорили по этому поводу в Мазеповке, и были правы.

Глава пятая

*Дочка Хаима Хосида откалывает такой номер,
что вся Мазеповка ходуном ходит*

Винный погребок Хаима Хосида посещают виднейшие господа города — чиновники, священники и другие представители местной знати. Вы спросите почему? Во-первых, потому, что лучшего вина, чем у Хаима Хосида в винном погребе, нигде не найти, а во-вторых, потому, что там очень приятно посидеть. Сам Хаим Хосид, понимаете ли, не такая уж интересная особа, зато жена у него — писаная красавица, а дочери — одна другой краше. «Хаимова» (так завсегдатаи погребка зовут его жену) и ее дочери славятся на всю Мазеповку. И знаете, что я вам скажу? Совсем неплохо, когда красивая женщина подносит вам свежий стаканчик вина из-под самого крана и вокруг вас вертятся прелестные девушки. Казалось бы, вкус вина от этого не меняется, все же оно как-то приятнее.

Для Хаима Хосида это не секрет. Завсегдатаи погребка не раз признавались ему, что у него «ладна кубита», то есть красивая жена, и «кохани цурки», то есть милые дочери. Но его это ничуть не тревожило — он хорошо знал свою жену и своих дочек и потому мог спать спокойно.

Уж на что Мазеповка, где не дай бог кому-либо попасть на зубок местным обывателям, даже в этой Мазеповке никто не смел плохого слова сказать о жене и дочках Хаима Хосида. А у кого язык уж очень чесался, тот ограничивался замечанием, что красивая жена и красивые дочери — основа благосостояния.

После такого предисловия легко себе представить, что творилось в городе, когда Циреле, младшая дочка Хаима Хосида, самая красивая, самая скромная, убежала в первую пасхальную ночь из дому. И с кем убе-

жала? С акцизным чиновником, неким Максимом Чубинским! И куда убежала? В монастырь! Вы слышите? В монастырь!

Где те слова, где те краски, чтобы обрисовать отчаяние Хаима Хосида и его семьи, тот страшный переполох, который поднялся в городе? Мазеповка буквально ходуном ходила, все улицы были запружены народом, и из уст в уста передавались невероятные слухи, сплетни, басни. Так было в первый день, так было во второй день, в третий день, так продолжалось всю пасху.

Глава шестая

Зять Хаима Хосида нашел выход

В первую минуту Хаим Хосид совсем растерялся и не знал, что делать. Он заперся в своей комнате, повалился на пол и горько заплакал. Он плакал куда горше, чем плачут по покойнику. Ибо когда человек умирает — это, конечно, очень больно, а тут было и больно и стыдно.

Совсем иначе подействовало случившееся на «Хаимову». Она бросилась к влиятельнейшим особам города, была даже у самого исправника и, обливаясь слезами, умоляла, чтобы ее пустили к дочери хотя бы на полчаса, не больше. Напрасные слезы, напрасные мольбы! Никто пальцем не двинул, чтобы ей помочь. Зато слов не жалели, выражали ей свое сочувствие, утешали, что ее дочке не сделают ничего худого, что она, с божьей помощью, будет счастлива, так как Максим Чубинский — человек хороший, порядочный, и ей за ним будет куда лучше, чем за каким-нибудь Ицком или Берком... Так эти добрые люди утешали несчастную мать. Но бедняжка никак не хотела утешиться и побежала к священникам, к монахам монастыря, молила, валялась у их ног — ничто не помогало!

Но вот одного из зятьев Хаима Хосида осенила счастливая идея: «Мошкеле Вор!» То есть надо обратиться к Мошкеле Вору — он знает, что делать, его учить не надо...

Когда человек тонет, он хватается за лезвие меча, и Хаим Хосид послал за Мошкеле Вором — надо, мол, поговорить с ним «об одном крайне важном деле».

Мошка недавно вернулся «с работы» верхом, на великолепном коне, он еще не успел отряхнуть дорожную пыль и, усталый, голодный, отправился к реб Хаиму Хосиду узнать, какое такое важное дело тот имеет в виду. Впрочем, Мошка прекрасно понимал, что речь пойдет о Циреле, и его сердце неизвестно почему забилось сильнее.

Не легко было родным Циреле завести разговор с Мошке-ле Вором о постигшем их несчастье. Не легко было и Мошке-ле Вору спросить, зачем его позвали. Обе стороны сидели довольно долго, не раскрывая рта.

Наконец старший зять Эля-Нойах, недожиданный оратор, знаток Библии, носивший в будни шелковый картуз и мастерски сморкавшийся одним пальцем, — нашелся и в качестве представителя всей семьи выступил, жуя слова, как мацу:

— Дело в том, что наша Циреле, значит, моя младшая свояченица, значит, она того... ушла, значит, не одна, то есть одна, но того... много всяких там благодетелей... надо ее оттуда, значит... того... Вот мы и решили, если хочешь, значит, заработать рубль...

Тут Эля-Нойах остановился, мотнул головой, как если бы проглотил косточку, высморкался одним пальцем и собрался было продолжить свою речь. Но Мошке-ле Вор перебил его и заговорил в таком же тоне, что и Эля-Нойах:

— Дело в том, значит, что ты балда, значит, а считаешь себя, значит, большим умником. Как говорится, вол имеет длинный язык, но трубить в рог не может. Рубль, который ты мне обещаешь, я жертвую тебе на поминки твоего дяди, и не будь мое имя Мошка, если не вызволю Циреле из монастыря. Только смерть может мне помешать...

Это было сказано с такой силой, с таким жаром, что все, как говорится, только рты разинули. И даже Эля-Нойах — от стыда он густо покраснел и его прошиб пот, — даже Эля-Нойах весь засиял, победоносно посмотрел на присутствующих, зашмыгал носом и стал облизываться, точно кошка, которой страшно хочется попробовать пасхального сала...

«Хаимова» перестала плакать и, заломив руки, сказала:



— Аминь, дай боже, чтобы все было так, как ты говоришь!..

Один только Хаим Хосид сидел, опустив голову, не мог никому в глаза смотреть, словно совершил что-то такое, в чем стыдно сознаться. И когда настало время разойтись и Мошка поднялся, в глазах у Хаима Хосида, обращенных к нему, было столько страдания и столько надежды, что другой на месте Мошки растаял бы от жалости. Но Мошке Вор как ни в чем не бывало подошел к Хаиму Хосиду, весело положил обе руки на его плечи и по-панибратски обратился к нему:

— Не робей! Все будет хорошо!

Это панибратство Мошкеле Вора уже само по себе явилось неслыханным унижением для Хаима Хосида, который раньше даже не встречался с Мошкеле Вором и никогда не разговаривал с ним. Но когда бог хочет наказать человека, он посылает на него одну напасть за другой. И Хаим Хосид вспомнил Иова * и те несчастья, которые господь обрушил на него, и тихо вздохнул: «Это также к добру...»

Глава седьмая

*Возвращается несколько назад
и толкует о высоких материях*

Если большой рост, широкие плечи, стройные ноги и густая копна черных, кудрявых волос — признак красоты, то о нашем герое можно сказать, что он красавец парень. Не будь он Мошкеле Вор, нашлось бы, пожалуй, немало девушек, да еще с приданным вдобавок, которые охотно пошли бы за него замуж. Есть основание предполагать, что некоторым мазеповским девицам он даже очень нравился, а были и такие, которые таяли от любви к нему, но хранили глубоко в душе свое чувство и тайну эту уносили с собой в могилу.

А Мошкеле Вору сильно нравились дочери Хаима Хосида, особенно самая младшая, Циреле, и, встречая их во время субботних прогулок, он то и дело бросал на них пронзительные взгляды, буквально, как говорится, сверлил глазами. Но они были для него так недосыгаемы, что он даже мечтать о них не смел.

С Циреле он однажды столкнулся в узеньком проулке и чуть было не обнял и не поцеловал ее. К счастью, в эту самую минуту откуда ни возьмись возник резник Генах с бутылкообразными пейсами, тупо вперивший в них свои телячьи глаза. В другой раз Мошка, катаясь верхом, встретил Циреле с сестрами по дороге к речке — они шли купаться. Девушки остановились, наблюдая с любопытством за ловким, красивым всадником. Заметив, что на него смотрят, Мошка повернул коня и, как вихрь, понесся к реке, но сразу же вернулся к девушкам. Ему очень хотелось завязать с ними разговор, но он никак не рещался.

Девушки тоже не прочь были переброситься с Мошкой несколькими словами, но разве пристало дочкам по-

ченного Хаима Хосида заговорить на виду у всех с женщиной, да еще с таким, как Мошкеле Вор?

И так, молча, проводил он их до самой реки, немало покружился на месте, но, заметив, что девушки из-за него не решаются раздеться, хлестнул коня и поскакал далеко-далеко в поле, пока не скрылся из глаз.

Такие немые встречи случались довольно часто, но Циреле не догадывалась, почему Мошка то и дело попадает ей на глаза. Она, как и ее сестры, привыкла к тому, что мужчины на нее заглядываются, и знала также цену всякого рода комплиментам и менее скромным выходкам завсегдатаев отцовского погребка, как-то: погладят ручку, ущипнут в щечку и тому подобные заигрывания, на которые так падки эти «нахалы».

Но наш герой относился к ней совсем иначе: Циреле заполонила все его помыслы. Ее ясное личико с маленьким носиком, ее белоснежная шейка, ее серые, чуть сердитые глаза вечно стояли перед его взором — и днем, когда он бодрствовал, и ночью во сне...

Носясь где-то за городом на горячем коне, он выкрикивал ее имя, открывал свою тайну безмолвному широкому полю, рассказывал зеленому лесу о своей любви к дочери Хаима Хосида и просил совета у кристального ручейка: «Что делать? Что делать?»

Но ни безмолвное широкое поле, ни зеленый лес, ни кристальный ручеек ничего не могли ему ответить. Тогда он пришпоривал коня и летел дальше, чтобы далеко-далеко унести свои заветные желания, сокровенные чувства.

Если в Мазеповке был когда-либо человек, который любил настоящей, чистой, святой любовью, любовью безответной и безнадежной, то этим человеком был Мошкеле Вор.

Глава восьмая

*Несколько уклоняется в сторону,
но имеет отношение к роману*

Раз мы уже заговорили о таких высоких материях, как любовь, то следует также рассказать и о том, что у нашего героя уже был в жизни «роман», и довольно печальный.

Случилось это с ним в далекие юные годы, когда он только начал выезжать с отцом, «пророком» Йойной, на ярмарки. Однажды отец взял его с собой в Ярмолинец на ярмарку. Мошка был там впервые. Остановились они в заезжем дворе, где обычно останавливаются все барышники, конокрады и просто воры, большей частью личности с чрезмерно красными лицами, горящими глазами, бойкие, пронырливые, понимающие друг друга с полуслова.

Мошке, выросшему в воровской среде, были хорошо знакомы такие типы, разговаривающие на собственном жаргоне, настороженно оглядывающиеся по сторонам, живущие в постоянном страхе, что вот-вот их накроет полиция и упрячет в тюрьму. Но таких воров, каких Мошка увидел в Ярмолинце на ярмарке, он еще нигде не встречал. Это были не люди, а настоящие черти, огонь, да и только! Мазеповские воры по сравнению с ними казались мальчишками, баранами! От этой компании он наслушался и насмотрелся такого, о чем раньше даже представления не имел, и новое знакомство очень пришлось ему по душе и доставляло большое удовольствие.

Больше всех понравился ему «майданчик», то есть старший у «марвихеров». Это был пожилой человек, плотный, широкоплечий, с лопатообразной седой бородой, с постоянно искрящимися живыми, красными глазами; голова его была, казалось, посажена прямо на широкие плечи, и, оглядываясь, он вынужден был поворачиваться всем корпусом, а руки его тоже были не совсем обычные: неестественно длинные, они оканчивались странно выгнутыми пальцами. Это были благословенные руки, благодаря которым он прославился среди всей воровской братии. Когда его рука с удивительными пальцами опускалась в ваш карман за «поживой», он извлекал ее так ловко, что, как бы вы ни были насторожены, все равно ничего не почувствуете. Этот старичок в молодые годы немало отсидел в каталажках, пока это ему не надоело, и он заделался «майданчиком» у «марвихеров» и привел к ним еще свою дочку Соньку, у которой были такие же благословенные руки с такими же чудесными пальцами.

Глава девятая

Его неожиданно награждают пощечиной

Соньке тогда еще не было полных пятнадцати лет, но выглядела она, как восемнадцатилетняя, и цвела, как роза, только что распутившая свои ароматные бархатные лепестки и радостно озирающая с верой и надеждой божий мир, с верой в то, что мир хорош и прекрасен, и с надеждой на то, что люди, населяющие этот мир, добры и справедливы...

Сонька была смуглая симпатичная девушка с черными волнистыми волосами, с черными горящими глазами, с ямочками на пухлых щечках и с маленькими белыми зубками, неизменно сверкающими между полуоткрытыми губками, так как она любила смеяться и смешить окружающих. В обществе Соньки никогда не было скучно, своим радостным оживлением она, как весеннее утреннее солнце, разгоняла всякое уныние и печаль.

Один только Мошка чувствовал себя в ее присутствии неловко, она ему словно поперек горла стояла. Не потому, что она была ему, упаси боже, противна! Наоборот, все время, пока Сонька находилась «на работе», Мошка тосковал по ней, как по родной сестре. Но когда Сонька, переодевшись, появлялась в сопровождении «марвихеров», садилась с ними за стол, ела, пила и, по своему обыкновению, много смеялась, Мошка чувствовал себя прескверно. Больше всего злило Мошку ее благорасположение к одному рябому, кривоглазому парню, но удачливому «шниперу» (ночному вору). Они часто шептались о чем-то и нередко вместе выходили «на ночную работу», что особенно огорчало Мошку. Он все собирался поговорить с ней по этому поводу, но как-то не было удобного случая, пока однажды не поймал ее на ярмарке разгуливающей в мужской одежде.

Мошка остановил ее, и между ними произошел такой диалог:

Он. Стой, я должен тебе кое-что сказать.

Она. Ты кто такой?

Он. Ты меня не узнала? Я — Мошка из Мазеповки, сын «пророка» Йойны.

Она. Что скажешь, сын «пророка» Йойны из Мазеповки?

Он. Почему ты якшаешься с этим рябым шнипером?

Он а. А тебе какое дело, балда несчастный?

Он. Я как свистну, сразу узнаешь, какой я балда!

Но не успел наш Мошка глазом моргнуть, как Сонька своей маленькой ручкой с ее изумительными пальчиками влепила ему звонкую пощечину. У него потемнело в глазах, не столько от самой пощечины, сколько от стыда, что его, Мошку, ударила девушка. Но это еще с полбеды. Хуже всего было то, что Сонька, вернувшись «с работы», подробно рассказала о случившемся всему честному народу и при этом громко смеялась, показывая слушателям свои белые зубки.

Мошка был рад, когда ярмарка наконец закрылась и он уехал с отцом домой, увозя с собой в душе образ Сонькиной ручки с ее удивительными пальцами, образ, который надолго сохранился в его памяти и часто являлся к нему во сне, напоминая об оглушительной, звонкой пощечине и оглушительном, звонком смехе.

Но все это случилось так давно, что пощечина, да и весь неудачный роман совершенно изгладились из памяти. Время — чудесный врач, прекрасно залечивающий любые раны. Что было бы с нами, не будь этого врача?!

Глава десятая

Удачный план

Еще по дороге к Хаиму Хосиду у Мошки созрел план, и даже не один, а несколько планов. Согласно одному плану он должен был выдать себя за монаха, согласно другому — притвориться нищим; наконец, был у него план переодеться в акцизного чиновника, подъехать к монастырю и приказать, чтобы привели еврейскую девушку, схватить ее, посадить на лошадь и махнуть куда глаза глядят.

Но по зрелом размышлении Мошка отбросил все эти планы как никуда не годные и наивные, а вместо них разработал новый, правда очень рискованный, план. Он явился в монастырь к настоятелю и излил перед ним душу, заявив, что единоверцы чуждаются его, никто не желает иметь с ним дела, ни одна девушка не хочет

идти за него замуж и все презрительно зовут его вором. Поэтому он, Мошка, решил покаяться и переменить веру — принять христианство. И чтобы оградить себя от возможных преследований единоверцев, он просит дать ему приют в монастыре.

Настоятель внимательно выслушал Мошку и после подробного расспроса согласился принять его, заверив, что здесь он, Мошка, будет себя чувствовать в полной безопасности. Ничего больше Мошке Вору и не надо было. Теперь оставалось только так заинтересовать Циреле, чтобы ей захотелось с ним встретиться. Расчет Мошки оказался верным.

Когда до Циреле дошел слух, что в монастыре появился мазеповский парень, собирающийся принять христианство, ей, конечно, захотелось увидеть этого еврея и попутно расспросить его также о своих родных, по которым она все время очень тосковала. Каково же было ее изумление, когда она однажды увидела из своей кельи Мошке Вора! Циреле, конечно, хорошо его знала, ибо кто в Мазеповке не знал Мошке Вора. Поэтому ей было совершенно непонятно, что могло привлечь сюда в монастырь такую вольную птицу, как Мошке Вор. Она окликнула его и спросила, что все это значит.

Мошка с грустной миной рассказал ей, как он страдает от пренебрежительного отношения к нему соплеменников, чуждающихся его, и повторил ей все то, что сказал настоятелю, закончив со вздохом, что ему очень трудно было решиться на такой шаг, но жизнь стала уж слишком горькой, невыносимой...

Циреле прониклась чувством глубокой жалости к нему и начала утешать его, рассказала, как ее тоже мучили сомнения и она долго колебалась, пока не решилась покинуть отца, мать, братьев и сестер, которых ей очень жаль. Но она им ничем не может помочь, закончила Циреле. Возврата нет, так как сразу же после христианского праздника...

Тут Циреле запнулась, густо покраснела и начала быстро прощаться.

— Может, встретимся завтра во дворе? — сказала она на прощанье.

— А может, лучше в саду? — предложил он.

— В саду? Хорошо, пусть будет в саду.

Глава одиннадцатая

Прогулка в монастырском саду

За всю свою сознательную жизнь Мошка не помнил еще одной такой бессонной, полной страхов ночи, как эта ночь в монастыре. Не раз подвергался он смертельной опасности, прыгал через заборы, переплывал реки, десятки верст мчался без отдыха на «отстегнутом» коне, улепетывая от преследователей. Но все это не шло ни в какое сравнение с его теперешними переживаниями. Он метался в своей келье из угла в угол, как лев в клетке, то и дело выглядывал в окошко, с нетерпением ожидая наступления утра. И когда долгожданное утро наконец пришло, Мошка отпросился на один час в город. Ровно через час он вернулся, красный, запыхавшийся, с ссадинами на руках. Монахам, удивившимся его странному виду, он объяснил, что возился с лошадьми, и ушел к себе в келью...

Днем, после трапезы, когда весь монастырь погружался на некоторое время в покой и во дворе не было никого из посторонних, Циреле обычно выходила из своего уединения на прогулку и бродила по двору без всякой цели наслаждаясь окружающей тишиной. В этот раз ей было не до гулянья. Выйдя во двор, Циреле тревожно оглянулась вокруг и, увидав направляющегося к ней Мошку, приветливо и несколько испуганно улыбнулась ему. Эта улыбка зажгла в душе Мошки яркий огонь. Ему хотелось броситься к ней, схватить в объятия, но он сдержался.

— Прогуляемся по двору? — спросила Циреле.

— А не пойти ли нам в сад? Здесь нас могут заметить.

Циреле подумала и сказала:

— В сад? Хорошо, пойдем в сад.

Монастырский сад был огорожен, словно крепость, высокой, увитой густой зеленью, каменной оградой, за которой со стороны поля еще тянулся глубокий ров, заросший бурьяном. Сад этот считался одним из мазеповских чудес, чем-то вроде «земного рая», хотя никто из мазеповских евреев не удостоился чести побывать в нем. Им оставалось только одно: наслаждаться весенним ароматом его цветущих деревьев и далеко разносившимся из сада пением соловья.

Шла весна. Природа только начала оживать после зимней спячки. Земля, еще влажная, мягкая, местами покрылась уже зеленым бархатом, и от нее веяло приятной

свежестью. Деревья в монастырском саду начали выпускать желтоватые почечки, готовые раскрыться под ласковой теплотой весеннего солнца и показать первые нежные листочки. Между голыми еще ветвями оживленно суетились птички, перепархивая с дерева на дерево, старательно чистили клювики, сверкали глазками и тихо попискивали, передавая друг другу радостную весть: скоро будет лето.

В такие дни особенно хочется быть на воздухе, в такие дни особенно приятно сияние солнца, каждый луч его принимается как чудесный дар природы, и человека охватывает чувство неразрывного родства с землей, со всем необъятным миром.

Оба, и Циреле и Мошка, шагали молча, погруженные каждый в свои думы. Оба, и Циреле и Мошка, чувствовали себя словно в каком-то раю, охваченные неземным сладостным чувством, имя которому — любовь! Это была любовь, не требующая никаких излияний, никаких объяснений, это была любовь, рвущая железные цепи, опрокидывающая любые препятствия, разлучающая самых близких и связывающая самых далеких. Это была любовь, способная вершить чудеса...

Глава двенадцатая

Курицы кладут яйца, еврейские дочери плодят детей

Живя в такой среде, как семья Хаима Хосида, под надзором набожного отца и благонравной матери и видя, как живут ее старшие сестры, каких мужей им дали, — один дурнее другого, — Циреле мечтала о совсем другой жизни. Она не могла мириться с такой жизнью, как у ее сестер, которая сводилась только к одному: беременеть, рожать и кормить детей. Ее сестры не имели ни одной свободной минуты, ни одного беззаботного дня и должны были помнить только о том, чтобы беспрекословно выполнять волю мужа...

Циреле часто задумывалась над долей еврейской женщины, напоминавшей долю наседки, без конца кладущей яйца и высиживающей цыплят. Если вас не шокирует такое сравнение, то скажу вам, что дом Хаима Хосида напоминал собою настоящий курятник, настоящую

фабрику детей. Все дочери рано выходили замуж за добропорядочных молодых людей и, оставаясь на содержании у родителей, только и знали, что плодить потомство. Да и сама жена Хаима Хосида, еще совсем не старая женщина, тоже не отставала от дочек, так что за столом, как правило, сидело несколько кормящих матерей, а из колыбелей несся писк нескольких малюток. Следует еще заметить, что не проходило почти ни одного месяца, чтобы в доме Хаима Хосида не было какого-нибудь торжества по случаю счастливых родов, обрезания и тому подобного, или не стряслось какого-нибудь несчастья: одно дитя заболело корью, другое — дифтеритом, третье — скарлатиной. Да и сами матери доставляли немало хлопот: у одной тяжелая беременность, у другой мастит, третью, не имеющую молока, неожиданно бросила кормилица, четвертую насмерть испугала няня, чуть не уронившая ребенка. Вечный тарарам, шум, суматоха.

Однажды заявился к ним шадхен Шодем — у него был на примете жених для младшей дочери Циреле, которого он пришел ей сватать. Циреле слышала, как Шодем расхваливает этого жениха точно таким же манером, как расхваливал в свое время женихов ее сестер: он-де из приличной семьи, степенный, добропорядочный. И ей представилось, что у нее точно такой же муж, как, например, Эля-Нойах, недюжинный оратор, знаток Библии, носит в будни шелковый картуз и мастерски сморкается одним пальцем; что она начала плодить детей и ее обступили бесчисленные заботы, напасти: она возится с грудью, с кормилицей, с няней. От этих мыслей ей все опротивело — люди, жизнь, весь мир. И она дала себе слово, что никогда не согласится выйти замуж на подобие ее сестер, она совсем иначе построит свою жизнь. Но как? Этому Циреле не знала.

Как раз в это время она познакомилась с новым акцизным чиновником Максимом Чубинским.

Глава тринадцатая

Толкует о философии, любви и других материях

Прибыв в Мазеповку, акцизный чиновник Максим Чубинский не преминул, конечно, первым делом навестить погребок «Хаимовой» и попробовать знаменитый

выморозок, о котором все господа знали, что он приготовлен из изюма, и тем не менее это самодельное вино охотно пили, находя его совсем не плохим, тем более что подавала выморозок обычно какая-нибудь дочка Хаима. Особенно приятно было, когда это делала самая младшая, Циреле, которую завсегда таи погребка прозвали «панна Цецилия».

«Панна Цецилия», однако, не всегда и не всякого достаивала такой чести. Но поскольку Чубинский был новым посетителем и к тому же акцизным чиновником, «Хаимова» позаботилась, чтобы на этот раз обслуживала гостей Циреле. И Циреле, как всегда, старательно исполняла свои обязанности. А гости были весьма довольны, похвалялись перед новым посетителем своей «жидовочкой» и перебрасывались репликами, очевидно необычайно остроумными, так как они при этом как-то странно перемигивались и посмеивались.

Один только Чубинский не смеялся. С той минуты, как он увидел эту красивую девушку, акцизник не проронил ни слова и не отрывал от нее задумчивого взора, силясь припомнить, где же он ее видел.

Вам, наверно, случалось встретить человека, которого вы как будто где-то видели, или услышать фразу, которую как будто где-то уже слышали, но когда и где, вы никак не можете вспомнить. Находятся такие мудрецы, которые высказывают всякого рода предположения, будто между людьми действует особая магнитная сила, влекущая одного человека к другому еще прежде, чем они узнали о существовании друг друга. Этим философам нечего делать, и они без конца болтают, пока не договариваются до таких несуразиц, как «судьба», «предназначение». Хорошенькое дело — Максим Чубинский «предназначен» дочери Хаима Хосида! Но давайте отбросим философию и перейдем к нашему повествованию.

Есть на свете язык, не имеющий ни азбуки, ни грамматики, ни лексикона. Язык этот называется: симпатия. Разговаривают на нем глазами, прикосновением: кинул выразительный взгляд, и тебя сразу поняли, чуть пожал руку — и все ясно. Вот на этом языке и перемолвились наши герои и, очевидно, скоро поняли друг друга. Ибо не прошло и месяца со времени появления Чубинского в Мазеповке, как почтой полетело от него письмо куда-то в Саратовскую губернию к его матери, единственному

близкому ему человеку. В этом письме Чубинский чистосердечно рассказал матери, как он встретился с очаровательной еврейской девушкой, как боролся с охватившей его страстью, но ничего не мог с собой поделать, как в конце концов решил объясниться с девушкой и сказать ей, что без нее жизнь ему не мила, как эта девушка расплакалась и сказала, что, к несчастью, она еврейка и их женитьба невозможна, как он ее убеждал, что на свете есть нечто высшее, ради чего стоит пожертвовать всем — и родным домом, и родителями, и своим именем, и даже своей верой, как она после этих слов еще сильнее расплакалась, припала к его груди и просила дать ей несколько дней на размышление. Так, со всеми подробностями, Чубинский поведал матери о своем увлечении и, по своему обыкновению, ничего от нее не утаил.

На свое послание он получил от матери краткий ответ. Она писала, что если избранница его достойна носить имя Чубинских (а она, мать, ничуть не сомневается в этом, так как целиком доверяет сыну) и если его чувства к девушке настолько серьезны, что другое решение исключено, то она шлет ему свое благословение, желает ему счастья и надеется, что бог его простит, ибо он спасает человеческую душу... И так далее и тому подобное, как всякая любящая мать обычно пишет своему чаду.

Глава четырнадцатая

Евреи покупают вино на пасху

Круглый год погребок Хаима Хосида открыт для местных господ, и только в канун пасхи Хаим Хосид с его семейством, погребком и всем запасом вина переходит целиком в услуженье к мазеповским евреям.

Если хотите полюбоваться интересным зрелищем, то потрудитесь спуститься накануне пасхи в погребок Хаима Хосида в тот момент, когда мазеповские евреи покупают вино на пасху. Круглый год они, слава богу, обходятся без вина, совершают кидеш над халой и пьют воду из речки Смердянки. Но как только наступает канун пасхи, они вдруг превращаются в тонких знатоков и привередливых ценителей вин. Простого

вина они не признают — вы дайте им выморозок, да не обычный, а какой-то особый сорт, который щиплет язык, но не вызывает изжоги, обладает достаточной крепостью, но легко пьется.

— Вы же знаете, реб Хаим, вы знаете, что мне нужно, помните, наверно, еще с прошлого года!

Такие требования слышит Хаим Хосид в канун пасхи из уст не одного, а десяти, двадцати, пятидесяти евреев одновременно, потому что все откладывают покупку вина на последний день. И сколько он им ни толкует, что лучше приходиться за вином заблаговременно, ничто не помогает.

— Вы правы, — соглашаются они с ним и... поступают по-своему.

В этот день не «Хаимова» и не дочери ее, а сам Хаим с зятьями орудуют в погребе: один моет бутылки, другой наливает вино, третий закупоривает, четвертый считает деньги. Шум, гам, крик, толчея! Одному подменили посуду, другой не рассчитался, у третьего разбилась сулея с вином, и он стоит с закупоренным горлышком в руке и растерянно спрашивает, что ему теперь делать. А еще один кричит: «Дайте мне две бутылки прошлогоднего и одну бутылку позапрошлогоднего вина, только покренче!»

Хаим Хосид и его зятья просто железные, если выдерживают всю эту бестолочь. Да что там долго толковать: даже Эля-Нойах, который и в будни носит шелковый картуз, даже он должен один день в году превратиться в слугу мазеповских евреев и не иметь времени высморкаться, по своему обыкновению, одним пальцем. Но что поделаешь? Такой уж это день, когда женщин надо освободить от этой обязанности, дабы они могли убраться к празднику дом и самим принарядиться, как подобает пасхальным «королевам»...

И «Хаимова» с дочками по-праздничному убрали к описываемой нами пасхе дом и сами вырядились, как настоящие королевы, в шелк и в бархат, сияя бриллиантами и жемчугом, хоть возьми и пиши с них портреты!

Одна только Циреле не переоделась, была задумчива и как будто озабочена чем-то. Лицо ее побледнело, и под глазами темнели синие круги, как если б она всю ночь не спала и плакала.

Что-то случилось с нашей Циреле...

Глава пятнадцатая

В эту пасхальную ночь

Нам сладок и дорог милый праздник пасхи по многим причинам. Он сладок и дорог потому, что напоминает о том далеком времени, когда мы избавились от египетского рабства и обрели свободу; он сладок и дорог нам потому, что совпадает с тем временем года, когда весь мир обретает свободу: земля пробуждается от зимнего сна и свободно переводит дыхание, воздух приходит в движение, небо начинает греметь и метать стрелы молний — все обновляется, все оживает! Сладок и дорог нам этот праздник еще и потому, что даже бедняки, забитые, измученные, приготовившие все, что нужно, к пасхе ценой невероятных усилий, забот и лишений, могут потом спокойно наслаждаться отдыхом. Восемь дней наслаждаться отдыхом! Когда я говорю о сладком, дорогом празднике пасхи, передо мной из далекого прошлого встает счастливое, милое сердцу детство, и я вспоминаю о тех дорогих днях, которые никогда, никогда уж не вернуться! Привет тебе, милый, дорогой праздник пасхи! Привет шлет тебе, милый, дорогой праздник пасхи, забитый, не знающий покоя, не видящий света белого еврей, которому ты даришь восемь дней блаженного отдыха!

Но если пасха — большой праздник, то первая пасхальная ночь — праздник из праздников! Тихо тогда в Мазеповке, тихо и торжественно в эту первую ночь пасхи. Справив пасхальную трапезу и начитавшись пасхальных сказаний, Хаим Хосид почувствовал еще за столом, что его одолевает дремота. Тогда он кое-как прочитал «Песнь Песней», пропустив при этом немало текста, так как все проплывало перед его глазами, словно в тумане, потом поднялся, тихонько поплелся в спальню, разделся и повалился сонный на кровать.

А зятя, хвастая друг перед другом своим умением пить, так нализались, что еле держались на ногах. Эля-Нойах совсем ошалел от вина. Правда, поднявшись из-за стола, он пытался показать, что ничуть не пьян, и запел что-то из сказаний о пасхе, но таким диким голосом и лицо его приняло такое бессмысленное выражение, что жена схватила его за руку и, как теленка, потащила за собой:

— Иди уже, иди спать... Напился и поет...

Так все, один за другим, расползлись по спальням, и вскоре дом огласился разноголосым храпом и свистом.

Одна только Циреле не спала в эту пасхальную ночь. Она поднялась с постели, распростилась с отчим домом и в одном платье, накинув на голову платок, выскользнула на улицу. Там ее ждал уже высокий, стройный парень. Это был Максим Чубинский.

Стояла теплая безлунная ночь. Звезды спрятались за тучи — не хотели видеть, как еврейская дочь оставляет отчий дом в эту святую ночь. Накрапывал теплый дождик — это небо оплакивало семью Хаима Хосида, которая предавалась сладкому сну, не ведая о том, какое горе их ждет.

Если б в последнюю минуту хоть кто-нибудь проснулся и глянул на Циреле, она бы вернулась. Но никто не проснулся, все крепко спали, и Циреле, дрожа, как овечка, слушала излияния Чубинского, твердившего о своей любви к ней, о том, как он рад, что она его послушалась, как счастливы они будут... Циреле расплакалась от счастья и страха. Она целиком доверилась ему, и он отвел ее в монастырь.

Глава шестнадцатая

Монастырские колокола звонят

...И когда Циреле вошла в монастырь, она хотела одного только: чтобы то, что должно свершиться, свершилось скорее. Она боялась за самое себя, боялась передумать. И она поклялась, что не поддастся никаким уговорам, не допустит к себе никого из близких, закроет глаза, чтобы не видеть, заткнет уши, чтобы не слышать.

Так оно и было. На другое утро Циреле услышала гул толпы на улице, стук в ворота — кто-то рвался в монастырь. Она заперлась и в страхе забилась в угол своей кельи. Ей казалось, что она слышит знакомый голос — Циреле готова была поклясться, что это голосит и плачет ее мать. И она заткнула уши, хотя ее тянуло, влекло, как магнитом, туда, к этому голосу. Но она выдержит, не поддастся искушению! Назад возврата нет!..

Солнце клонится к закату, медленно спускаясь за ограду монастыря, золотит куполы церквей, и вечер

легкими, неслышными шагами крадется в келью, накрывая все вокруг черными крыльями, вливая в душу непонятную грусть, шемящую тоску.

Монастырские колокола звонят, монахи спешат к вечерне. «Бом-бом-бом!» — гудит большой колокол, и гудение это отдается болью в ее сердце. «Глин-глин-глин! Глин-глин-глин! Глин-глин-глон! Глин-глин-глон!» — отвечают остальные колокола на разные голоса, и ей кажется, что они не звонят, а ведут с ней разговор, рассказывают о том, что творится дома. «Глин-глон!» — отец плачет. «Глин-глон!» — мать плачет. «Глин-глин-глон!» — дети плачут. И перед ней возникает родной дом, проплывают милые, родные лица. На душе становится тяжело, и Циреле молит бога — все равно какого, — чтобы то, что должно свершиться, свершилось скорее.

К ней приходят разные люди, готовят к предстоящему ритуалу, и она молит бога, чтобы то, что должно свершиться, свершилось скорее. И Максим Чубинский приходит к ней, ведет сладкие речи, без конца твердит, как он счастлив, что она его послушалась, и как счастливы они будут. Циреле припадает к его груди и плачет, плачет от радости и страха и молит бога, чтобы то, что должно свершиться, свершилось скорее...

Глава семнадцатая

Опасный прыжок

Циреле была счастлива, что судьба послала ей свежего человека — пусть это даже Мошкеле Вор, — с которым можно хоть немного отвести душу. Она подробно рассказала ему обо всем, что с ней случилось, о всех своих сомнениях и переживаниях. Он внимательно ее слушал, не прерывал, и они, увлекшись разговором, медленно шли в глубь сада, пока не очутились у самой ограды. Когда Циреле спохватилась и хотела повернуть назад, Мошка неожиданно сжал ее руку, словно железными клещами:

— Стой, назад не пойдешь! Я внимательно выслушал все, что ты мне рассказала, а теперь ты выслушай меня!



Циреле, бледная как смерть, замерла на месте. Со страхом смотрела она на Мошку, не в силах вырвать из его железных пальцев свою руку. А Мошка кратко рассказал ей о своей давней любви к ней, о том, что он не смел произносить вслух ее имя, даже грезить о ней во сне. Ибо кто он и кто она? Он — Мошкеле Вор, а она, шутка ли, — дочка Хаима Хосида! Но теперь, сказал он, у него родился план, который он должен выполнить чего бы это ему ни стоило! План проще простого: он

возьмет ее на руки, перелезет через эту ограду, вскочит с ней на коня, который ждет их еще с утра тут невдалеке, и умчит ее к ближайшему местечку, где они обвенчаются. При этом Мошка клялся господом богом, что будет ее вечным рабом, что готов ради нее в огонь и воду и что за ним она будет счастливее, чем за каким-то Чубинским, ибо он, Мошкеле Вор, любит ее больше, чем сорок тысяч Чубинских...

И, не давая ей опомниться, Мошка схватил Циреле на руки, как перышко, вскарабкался на ограду и сказал:

— Слушай, если только пикнешь, я тебя задушу, а сам брошусь вниз головой и разобьюсь насмерть!

Все произошло так неожиданно, что Циреле не то что кричать, но даже рот открыть не успела. Ее била лихорадка, и когда он, обняв ее своими сильными руками, приготовился прыгнуть с высокой ограды в бурьян, она, как ребенок, которого собираются окунуть в воду, обхватила его крепкую шею, закрыла глаза и потеряла сознание

Глава восемнадцатая

Письмо Хаиму Хосиду и некоторые замечания автора

Через несколько дней Хаим Хосид получил письмо такого содержания:

«Дорогой отец! Дорогая мать! Я, слава богу, жива и здорова, осталась еврейкой и вышла замуж за Мошку, того, которого у нас прозвали «Мошкеле Вор». Я счастлива, возможно, даже счастливее моих сестер. Не спрашивайте, как это случилось, — наверно, так суждено было, как реб Шолем говорит, предопределено свыше. И знайте, дорогие родители, мы домой, в Мазеповку, не вернемся, мы не хотим, чтобы вы из-за нас переживали, испытывали стыд. Живите себе спокойно до ста двадцати лет, а я остаюсь издали вашей преданной дочерью. Целую вас и желаю вам здоровья, счастья и всяких благ. Шлю сердечный привет всем нашим близким. И мой супруг Мошка тоже шлет всем сердечный привет. Ваша дочь *Цирл*».

Многие авторы имеют обыкновение с самого начала, еще в предисловии к своему произведению, заверять читателя и клясться всеми клятвами, что им можно верить, что все, о чем они пишут, сущая правда, что тут нет решительно ни одного выдуманного слова. Глупцы! Они не понимают, что чем больше будут клясться, тем меньше им поверят... У меня был товарищ, Танхел его звали, лгун каких мало. Все ребята знали, да и он сам знал, что они знают об этой его слабости. Что же он обычно делал? Прежде чем рассказать какую-нибудь новую историю, он начинал клясться:

— Слушайте, ребята, даю вам честное-пречестное слово! Чтоб я не сошел с этого места! Чтоб я подавился костью! Чтоб я околел! Чтоб я окаменел, если хоть настолечко соврну вам! — И лишь после этого он принимался рассказывать нам свою историю, и лишь после этого его история оказывалась сплошным вымыслом...

Поэтому, дорогой читатель, я не стану заверять тебя, будто все, о чем я здесь повествую, произошло точь-в-точь так, как описано в моей повести. Я утверждаю, что все было именно так, а ты поступай по своему разумению: хочешь верить — верь, не хочешь — не верь. Одно только могу тебе посоветовать: поезжай в Мазеповку, останови там первого встречного еврея и спроси его:

— Скажите, пожалуйста, был тут у вас некий Мошка Вор?

Он остановится и в ответ скажет:

— А? Мошкеле Вор? Тот, который удрал с дочкой Хаима Хосида? А что? Почему вы спрашиваете?

Ты, конечно, ответишь ему:

— Ничего, просто так...

И наверно, захочешь удалиться. Но он тебя не отпустит и тут же возьмет в оборот:

— Как так ничего, просто так? Почему это вдруг человек принимается расспрашивать без всякой причины, просто так? Раз вы спрашиваете, значит, вы что-то знаете!

И не думай, что тебе так легко удастся отделаться от этого еврея. Он остановит еще двух евреев и, тыкая на тебя пальцем, будет возмущаться:

— Как это вам нравится? Я иду себе своей дорогой, а этот еврей останавливает меня и начинает допытываться о Мошкеле Воре! Но когда я его спрашиваю,

зачем ему нужен Мошкеле Вор, он мне отвечает: «Просто так!»

К этим трем между тем присоединятся еще три-четыре еврея, и вскоре вокруг тебя соберется целый кружок, и пойдут всякие рассказы, пересуды, догадки. Один заметит, что тебе, наверно, пришлось где-то столкнуться с Мошкеле Вором, другой — что ты приехал с ним в Мазеповку, а третий шепнет кому-нибудь на ухо, что ты сам и есть Мошкеле Вор. И ты будешь благословлять небо, когда тебе удастся наконец вырваться из их рук. Боюсь, что после такого приключения ты закажешь даже внукам своим ездить в Мазеповку, останавливать на улице первого встречного еврея и расспрашивать его о Мошкеле Воре. Уж лучше поверь мне на слово, что в Мазеповке действительно жили Мошкеле Вор, Циреле, Хаим Хосид, у которого были красивая жена, красавицы дочки и несколько зятьев, а также другие особы, о которых идет речь в моей повести. Хочешь знать, куда они все подевались? А куда подевались все твои давнишние товарищи и знакомые? Одни умерли, другие расползлись, разбежались, как мыши в голодный год. Погребок Хаима Хосида давно уже закрылся, и мазеповские господа собираются в клубе, играют в винт, в преферанс и пьют не выморозок, а очищенную сорокаградусную водку или квас. Конечно, нет выморозка! Хаим Хосид уже давно в лучшем из миров. «Хаимова» — глубокая старуха, носит парик, и хотя она вся сгорбилась и лицо у нее в морщинах, однако и теперь еще видно, что когда-то она была красавицей. Дочери с их мужьями одна за другой выехали в Америку и «делают там жизнь». Дошли слухи, что Эля-Нойах сбросил свой шелковый картуз и носит теперь шляпу. Он уже теперь «мистер», читает «пейпер» (газету), ест «стейг» (бифштекс), пьет пиво, закусывает «кейком» (кексом), занимается «политишен» (политикой) и не сморкается одним пальцем, конец! Одним словом, Эля-Нойах стал настоящим джентльменом и совсем «ол райт»! Я сам видел «пикчер» (фотографию), которую Эля-Нойах прислал одному своему товарищу, и был просто ошеломлен. Если бы мне не сказали, что это Эля-Нойах, зять Хаима Хосида, я б определенно подумал, что это или цирковой наездник, или швейцар в гостинице, или по меньшей мере лакей на еврейской свадьбе, занимающийся круглый год набивкой матрасов, а к какой-нибудь богатой

свадьбе он бреет морду, помадит усы, натягивает на себя два жилета, бумажную манишку с белым галстуком, и из его широких манжет торчат большие красные ручища с черными ногтями... Вот что значит свободная страна!

Теперь нам остается сообщить одно: какова же дальнейшая судьба Мошкеле Вора и его жены Циреле? По этому придется попросить читателя взять на себя труд читать дальше.

Глава девятнадцатая

Кантор Генах ищет город

Прошло несколько лет. Наступили грустные дождливые осенние дни, когда еврейские дети свободны от хедера, а взрослые учатся трубить в рог *, канторы разъезжают, ищут город, где им предложат отправлять богослужение на время осенних праздников, мелаеды ищут новых учеников, а небо, укрывшись за тяжелыми свинцовыми тучами, жалобно оплакивает ушедшее лето холодными слезами.

В один из таких дней резник Генах, или кантор Генах (он и то и другое), ехал из Секурана в Бричан в надежде, что там ему удастся получить предложение читать молитвы у амвона в еврейские осенние праздники.

Генах, как видите, был «мировым кантором». Но не из тех канторов, которые славятся на весь мир, а из тех, что разъезжают по миру в поисках амвона. Иногда это им удается, а иногда нет. В случае удачи они правят или утреннюю службу, или вечернюю, или и то и другое — как бог даст. При этом наш Генах никогда не дорожился. Больше семидесяти рублей, включая и добровольные пожертвования, он не запрашивал. Наоборот, в Мазеповке рассказывают (в Мазеповке о каждом земляке непременно что-нибудь да расскажут вам), что Генах как-то приехал в одно местечко, где отслужил субботу, и его голос так понравился прихожанам, что ему предложили целую сотню, не считая добровольных пожертвований. В ответ он сказал: «Раз так, ищите себе другого кантора!», схватил свою палку — и был таков... Но это уже относится к Генаху, а не к повести, поэтому вернемся к нашему рассказу.

До станции Окница Генах ехал поездом, а там пересел на повозку и отправился в Секуран на осенние праздники. Вы спросите: почему именно в Секуран, почему не в Филешт или в Единец? Ведь до Филешта и Единца гораздо ближе от Мазеповки, чем до Секурана! На это я вам отвечу: откуда вы знаете, что Генах не был в Филеште и в Единце? Может, филештинские и единецкие евреи такие меломаны, что Генах для них слишком мелкая сошка? Или, может, наоборот, Филешт и Единец для Генаха слишком незначительные центры? Что мы можем знать? Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше...

Одним словом, Генах ехал в Секуран. Но туда он опоздал, там его опередил другой кантор, некий Мо-неш Бершедер, порядочная дубина, ничего не смыслящий в священных текстах. Генах его хорошо знает, но это Генаха не касается, он не станет отбивать у другого кусок хлеба, не такой он человек... И вот Генах вынужден был податься в Бричан.

Ехал он из Секурана в Бричан, конечно, не в одиночестве, — возница набрал немало пассажиров, — но держался в стороне, и так как пошли уже довольно холодные дни, а его одежда была порядочно потрепана и местами, извините, зияли в ней дырки, он закутался в большую теплую шаль, оберегая свое драгоценное горло от простуды.

Пассажиры первым делом завели, как обычно, оживленный разговор о том, кто, куда, откуда едет. А когда досыта наговорились и навздыхались по поводу нынешних заработков и всякого рода напастей на евреев, все вдруг замолчали и задумались, каждый о собственных делах и собственных заботах. Генах тоже погрузился в свои думы. А ему, уверяю вас, было о чем задуматься, ибо если, не приведи господи, он запоздал и в Бричан, ему грозит остаться в осенние праздники без амвона...

Неожиданно мысли Генаха были прерваны звоном кандалов, и он увидел: по дороге шагает партия арестантов, а за ними катится большой воз с женщинами и детьми. Генах не обратил бы особого внимания на эту процессию — какое ему дело до всяких забулдыг, воришек, босяков, черт с ними! Но он сам не понимал, что его так взбудоражило: среди арестантов привлек чем-то его внимание один смуглый тип со смолисто-черными патлами и черной бородой, показавшийся ему очень

знакомым. Но сколько Генах ни старался, он никак не мог вспомнить, кто же этот человек.

Тогда он принялся разглядывать женщин и детей, сидевших на возу, и вдруг увидел среди них изумительной красоты женщину в красном платке с маленьким ребенком на руках. Он готов был поклясться, что она еврейка и тоже как будто очень знакома ему.

— Э, мало ли что может померещиться, — махнул он рукой и, погладив бутылкообразные пейсы, плотнее закутался в свою теплую шаль. Как вдруг его кто-то окликнул: «Реб Генах! Реб Генах!»

Глава двадцатая

Вот так история!

Генах повернул голову — это его окликнула красивая незнакомка в красном платке. Генах остолбенел: «Кто же она такая?»

— Реб Генах, вы меня не узнали? Я Циреле, Хаимова дочь, младшая дочь Хаима Хосида! Когда вернетесь домой в Мазеповку, передайте, прошу вас, сердечный привет папе, и маме, и всем близким и скажите им, пожалуйста, что мы идем в Иркутск. Очень прошу вас, передайте привет папе...

Циреле еще что-то сказала, делая какие-то знаки руками, но так как повозки успели разминуться, он ничего не мог разобрать. До него только долетел громкий смех арестантов и звуки нелепой песенки, смысл которой уловить было трудно: «Ай, Янкель, Сура, Мейш! Ги мир бронхн, ги мир хлейш!»¹

Эта песенка, очевидно, страшно понравилась арестантам, так как вся братия пришла в неописуемый восторг, особенно когда один верзила с красным, рябым лицом, желая подразнить Генаха, взял в рот край полы своей серой шинели и, подмигивая ему, долго тряс головой.

Но Генах не обращал на него внимания. Он был потрясен этой необычной встречей. Теперь он уже не сомневался, что тот смуглый арестант с черной бородой —

¹ Ай, Янкель, Сура, Мейш! Дай мне водку, дай мне мясо! (*искаж. еврейск.*)

Мошкеле Вор, муж Циреле, и Генах никак не мог прийти в себя от удивления и то и дело вскрикивал:

— Вот так история! Вот так история!

Его спутники, конечно, сразу же заинтересовались этой «историей». Но на все их расспросы и просьбы рассказать, кто эта женщина, которая просила его передать домой сердечный привет, и что это за история, кантор Генах только размахивал руками, возбужденно выкрикивая:

— Вот так история! Вот так история!

— Так расскажите же и нам эту историю, интересно послушать!

— Такая история бывает только раз в тысячу лет! Вот так история!

Ничего больше Генах сказать не мог. Он не знал, с чего начать — то ли с нее, то ли с него, то ли с того, что было потом, то ли с того, что было раньше. На его лице застыла горькая усмешка, и воспоминания давних лет унесли его далеко-далеко...

Дул ветер, моросил дождь. Возница, насвистывая и покрикивая, погонял лошадей, а те дробно перебирали ногами, делая вид, что бегут, колеса катились по влажной земле, воз то и дело подсакивал на неровностях дороги, и пассажиры тряслись, сталкиваясь плечами, а иногда и лбами. Генах сидел, закутавшись в свою теплую шаль, его тоже трясло и качало, а бутылкообразные пейсы болтались у него, как на пружинках, придавая его облику невыразимую прелесть.



ДОМОЙ НА ПАСХУ

История о том, как меламед Фишл возвращался домой на пасху из Балты в Хашцеваты и что с ним приключилось в пути

1

Два раза в году, точно как часы, в начале месяца нисн*, к пасхе, и в начале элула, к кушам, меламед Фишл возвращается из Балты в Хашцеваты домой к жене и детям.

Почти всю жизнь суждено ему быть дома гостем, желанным гостем, но на короткое время, только на праздники. Прошли праздники — и марш обратно в Балту, скитайся, учительствуй, держи в руках указку, вдалбливай в тупые головы Гемару*, валяйся на чужой стороне и тихо тоскуй по дому.

Зато дома меламед Фишл царь. Басшева, жена его, выходит ему навстречу. Голова ее повязана платком.

Краснея, как мак, и не глядя ему в глаза, она невзначай спрашивает его:

— Ну как ты поживаешь?

— А как поживаешь ты? — вопрошает Фишл.

И сын Фройке, тринадцатилетний паренек, приветствует его. А отец допытывается:

— Каковы успехи твои, Эфроим, в учебе?

И дочь Рейзл, миловидная девочка с маленькой косичкой, обнимает его и целует.

— Папа, какой же ты мне подарок привез на праздник?

— Ситец на платье, а маме шелковый полушалок. На, отдай маме!

Фишл достает из котомки, в которой хранится талес, новый шелковый (вернее, полушелковый) полушалок. Басшева еще больше краснеет, натягивает на лоб и глаза свой платок и делает вид, будто хлопчет по хозяйству. Но суетится и вертится по комнате без всякой надобности.

— Эфроим, принеси-ка Гемару, проверю, что ты в ней понял.

Фройке усердно учится, парень он сообразительный, прилежный, с хорошей хваткой, и память у него отличная. Фишл слушает, как он толкует Гемару, поправляет его, а душа радуется: прелестный мальчик Фройке, не сын — золото!

— Если захочешь пойти в баню, так вот здесь приготовлена тебе рубаха.

Это говорит Басшева, не глядя, упаси бог, ему в глаза. А Фишл чувствует себя чертовски хорошо, как человек, который только что вышел из тюрьмы на волю и находится среди близких, родных и дорогих людей. И чудятся ему хорошо натопленная баня, верхняя полка и евреи, выхаживающие себя веником по спине, по всему телу.

— Ой, еще, еще, гвалт, евреи, еще!

Из бани Фишл возвращается свежим-свежоухоньким, словно новорожденный. Прочитав положенную молитву, он достает субботний сюртук с новым поясом и исподволь разглядывает Басшеву в новом платье и в шелковом платке. «Жена, слава богу, складная женщина, кроткая, невзыскательная», — думает Фишл. И, взяв Фройке за руку, отправляется с ним в синагогу.

Как только Фишл появляется в синагоге, его обступают и приветствуют:

— Благословен вошедший! Реб Фишл! Чем занимается меламед Фишл?

— Чем ему заниматься? Он дает уроки.

— Что слышать на белом свете?

— На белом свете? Ничего. Свет был, светом он и остался.

— А что нового в Балте?

— Балта как была Балтой, так Балтой и осталась...

Каждые шесть месяцев одно и то же. Те же вопросы, те же ответы...

Кантор Нисл запекает вечернюю молитву, его голос звучит все сильнее и сильнее. Фройке, прижавшись к стене, слушает кантора и горячо молится. А сердце Фишла растет, торжествует, не нарадуется отец на своего замечательного мальчика, на сына.

— С праздником! С праздником!

— С праздником! С хорошим годом!

Праздничный стол уже накрыт. К сейдеру все готово. Приготовлено и место для хозяина: два стула с большой подушкой. Фишл скоро станет «королем». Он, в белом облачении, усядется на оборудованное для него место за столом, словно на троне, а рядом с ним — «королева» Басшева в своем новом шелковом платке. Напротив сядут «принц» Эфроим в новой шапке и «принцесса» Рейзл с косичкой. Внимание! Меламед Фишл воцарился — занял трон короля.

2

Хашчеватские умники, то есть те, кто любит поиздеваться, посмеяться над всеми в мире, а тем более над меламедом, выдумали о нашем Фишле целую историю, — будто однажды в канун пасхи он послал Басшеве телеграмму, в которой было сказано: «Ребята собраны, деньги везу, приготовь пули, еду царствовать», что якобы означало: учеников на будущий год имею, плату за обучение привезу, приготовь клецки, еду праздновать пасху. Эту телеграмму, рассказывают шутники, перехватили в Балте на станции, а самого Фишла обыскали и привели по этапу домой. Однако со всей ответственностью заявляю: это ложь и выдумка. Фишл никогда в жизни никаких телеграмм не давал, никто его не обыскивал и по этапу домой не доставлял. Вернее

сказать, когда-то гнали его по этапу, но вовсе не из-за телеграммы, а из-за паспорта. И то не из Балты, а из Егупца, и совсем не в канун пасхи. В середине лета это было. Вдруг захотелось ему поехать в Егупец, поискать там учеников, а паспорт захватить с собой забыл. Вот и попался. Тогда же наказал он детям и внукам своим, чтобы никогда в жизни не искали они себе учеников в Егупце... С тех пор и ездит он обучать детей только в Балту.

Накануне пасхи Фишл собирается домой. Ему хочется приехать загодя. Но в какое время это возможно? Только тогда, когда установится хорошая дорога, когда есть подвода и паром, чтобы перебраться через Буг. Перед пасхой же снег тает, грязи по горло, подводы не достать, Буг только вскрывается ото льда, паром еще не ходит, а лодкой переправляться опасно. Но праздник на носу. Что же делать? Вот, скажем, отправились вы из Махновки в Бердичев или из Сохачева в Варшаву и в канун субботы попали под ливень, а ночью в темноте, когда ваша подвода поднималась в гору, у нее сломалась ось. Что вы тогда будете делать? Плохо, что и говорить!

Меламед Фишл знает, что такое худо. Немало горя хлебнул он с той поры, как стал давать уроки и ездить из Хашеваты в Балту и обратно. Сколько раз он добрую половину пути отмерял пешком, подталкивая подводу! А однажды угодил в болото вместе со священником. Фишл оказался снизу, священник — сверху. Удирал он и от стаи волков, которые гнались за его повозкой от Хашеваты до Печны. Правда, как потом выяснилось, это были вовсе не волки, а собаки...

Однако в этот канун пасхи с ним приключилось нечто небывалое.

Беды посыпались на него с Буга, то есть начиная с того, что река вскрылась позже обычного, тогда как Фишл очень спешил домой, потому что наступила пятница, — не просто канун субботы, а канун пасхи.

Фишл подъехал к Бугу на подводе в четверг под вечер. По его расчету, он должен был прибыть сюда во вторник утром, ибо из Балты он выехал в воскресенье

после ярмарки. Но черт его дернул заглянуть на рынок и пересесть на случайную подводку! Лучше бы он поехал с возницей из Балты Янклом-босяком на облучке. Место, правда, там скверное, ноги млеют и тошнит, но зато он был бы уже дома, давно забыл бы эту милую поездку. Так нет же, решил сыскать подводку подешевле. А это старый закон: чем дешевле, тем дороже. Иона-пьяница, тот, который снаряжает подводки в Балте, сказал ему: «Дяденька, послушайте меня, дайте лучше два рублика, и вы будете сидеть в фаэтоне Янкла наравне с панами, как король, под укрытием; не забудьте, вы играете с огнем, канун праздника!» Суждено несчастью, — так черт прислал знакомого мужика из Хашеваты.

— Э, чуешь, рабин! Чи не победемо, часом, в Хашеваты?

— Добре, а сколько, к примеру, это стоит?

О цене он осведомился. А вот доставит ли его мужик к пасхе домой — это ему даже в голову не пришло спросить. Пошел бы Фишл пешком маленькими шажками — и то пришел бы к празднику домой.

Сразу же по выезде из Балты Фишл горько пожалел, что согласился поехать с мужиком. Хотя в подводе было очень просторно и он чувствовал себя графом, лошадка тащилась еле-еле и за весь первый день покрыла совсем незначительную часть пути. Как Фишл ни старался узнать, сколько же верст они проехали, мужик ему отвечал: «А хто его зна?» К вечеру со свистом и гиком нагнал его большой фаэтон Янкла-босяка, переполненный до отказа пассажирами, запряженный четверкой лихих орлов, увешанных бубенцами. Увидев меламеда, сидящего на подводе, Янкл-босяк сильно взмахнул кнутом и крепко выругал мужика и меламеда. Поиздевавшись над лошадкой и подводой, Янкл заорал: «Эй, человиче, посмотри! Колесо у тебя вертится!»

Мужик остановил лошадь, слез вместе с меламедом с повозки, внимательно осмотрел колеса, полез под подводку, проверил оси, но ничего худого не нашел.

Сообразив, что над ним посмеялись, мужик почесал затылок и разразился по адресу Янкла, а заодно и всех евреев такими проклятьями, каких Фишл в жизни не слышал. С каждым проклятием голос мужика становился все выше и громче.

— А шоб тоби добра не було! Шоб ты не дождав! Шоб тоби лиха годына! Шоб ты не доихав! Шоб ты

пропав! Ты и твоя скотина! И твоя жинка! И твоя дочка! И титки, и дядьки, и кумы! И — и — все ваши жиды невірны, нехристы прокляти!!!

Прошло много времени, прежде чем мужик снова сел в повозку. Он еще долго не мог успокоиться, продолжал проклинать Янкла и всех евреев, пока наконец не прибыли они с божьей помощью в село на ночевку.

Рано утром Фишл, помолившись и позавтракав бубликом, был готов к отъезду. Но беда в том, что Федор (так звали мужика) не был к нему готов. Он засел со своим кумом, напился и проспал весь день и всю ночь. Только на утро следующего дня пустились они в дорогу.

— И не стыдно тебе, Хведор?—стал журить возницу Фишл, уже сидя в подводе. — Как же так! Черт бы забрал твоего батьку! Я же тебя на праздник нанял, где ж твои совесть и бог?

Фишл пилил его, как только мог, и по-украински и по-еврейски, жестикулируя руками. Федор хорошо понимал, о чем говорил Фишл, но, чувствуя свою вину, не обмолвился ни словом. Он смиренно помалкивал, пока на четвертый день опять не встретился с Янклом-босяком, который с грохотом и шумом уже возвращался из Хашеваты и сообщил мужику и мелаамеду хорошую весть:

— Можете возвращаться в Балту, Буг уже вскрылся!

У Фишла чуть сердце не оборвалось, а Федор, подумав, что Янкл опять его обманывает, повторил все свои проклятия... Наконец в четверг под вечер они прибыли к реке. Мужик направился к паромщику Прокопу Баранюку узнать, когда пойдет паром. А пока наш Фишл повернулся лицом к востоку, чтобы прочитать предвечернюю молитву, Федор и Прокоп выпили по чарке водки.

Солнце садилось и заливало красными лучами горы, которые высились над рекой и были кое-где еще покрыты снегом. Местами уже зеленело. Маленькие ручейки, змеившиеся с гор, с шумом впадали в Буг, смешиваясь с водой, только что освободившейся ото льда. Как на ладони виднелись Хашеваты, верхушка церкви в лучах заходящего солнца напоминала зажженную свечу. Обернувшись лицом к Хашеваты и читая молитву, Фишл закрыл глаза и гнал от себя соблазнительные картины: Басшеву в новом шелковом платке, Фройке

с Гемарой, Рейзл с косичкой, натопленную баню с верхней полкой, свежую мацу с вкусной наперченной рыбой и острым хреном, бьющим в нос, пасхальный борщ райского вкуса и много других прекрасных блюд, которые злой дух придумал для того, чтобы соблазнять человека... Но как ни старался Фишл прогнать эти дурные мысли, он не смог с ними справиться. Они лезли в голову, осаждали его, словно мухи, и мешали ему как следует помолиться.

С трудом дочитав молитву, Фишл отправился к Прокопу потолковать относительно парома. Он объяснял паромщику и по-украински и по-еврейски, какой это праздник — пасха у евреев, и что значит суббота в канун пасхи, и что он пропал, если, не дай бог, сегодня не переедет Буг, потому что дома его ждут жена и дети (при этом Фишл так глубоко вздохнул, что сердце у него чуть не оборвалось), и что если, не приведи господь, он вовремя не окажется дома, то восемь дней подряд не сможет ни есть, ни пить. Одним словом, хоть бросайся живым в реку (Фишл отвернулся, чтобы скрыть свои слезы).

Прокоп Баранюк понял, в каком положении оказался Фишл, и ответил, что знает, какой завтра у него праздник. Он даже знает, добавил Прокоп, как этот праздник называется, что в пасху положено евреям пить вино и крепкую водку. Знает Прокоп и то, что в «Хаманово ухо» * евреи тоже пьют водку, а в какой-то праздник евреям надо обязательно быть пьяными. Но название этого праздника он забыл...

— Добре и гарно, — перебил его Фишл плачущим голосом, — но что же будет с наступающим праздником? Если, не дай бог, завтра... не ровен час!..

Прокоп ему не ответил. Он только показал рукой на Буг, словно говоря: «На, смотри, что происходит».

Тут Фишл поднял глаза и увидел вдруг то, чего никогда не видел, услышал вдруг то, чего уши его никогда не слыхали, ибо меламед Фишл, говоря откровенно, никогда не вглядывался в природу, а если на что-нибудь и обращал внимание, то только так, случайно, на бегу, когда спешил из хедера в синагогу или из синагоги в хедер.

Красивый синий Буг в обрамлении высоких гор, шум змееподобных ручейков, скатывающихся с гор, гул ледяных глыб, которые налезали друг на друга, трещали и ломались, огненный закат солнца, горящая маковка

церкви, свежий, здоровый воздух и ощущение близости дома, куда пока невозможно было попасть, — все это воодушевило Фишла и унесло его, как на крыльях, в новый мир; и вообразил он, что пройти Буг так же легко, как выкурить сигарку, стоит богу только сотворить чудо...

Такие примерно мысли кружились в голове мела-меда и уносили его далеко от берега реки куда-то ввысь... Задумался Фишл о бытии вселенной и божьем промысле, о величии природы и творце мира... И не заметил он наступления ночи и появления звездного неба и прохладного ветерка, который прокрался под его сюртук и талескотн...

4

Тяжелую ночь пережил меламед Фишл у паромщика Прокопа в избушке. Не повториться бы ей никогда! Наступило утро с дружеской улыбкой светлого, веселого солнца. Настал чудесный день со сладкой теплотой, превратившей остаток снега в кашу, а кашу в воду. Вода же со всех сторон бежала в Буг, который стал прозрачным, светло-голубым и высоким. Лишь изредка можно было видеть громадные льдины. Напоминая страшных зверей, белых слонов, неслись они как угорелые, спешили, боялись куда-то опоздать. Фишл прочитал утреннюю молитву, позавтракал последним куском хлеба, оказавшимся у него в котомке от талеса, и вышел к реке выяснить, что слышно насчет парома. Когда же Прокоп сообщил ему, что паром можно будет пустить не раньше воскресенья и то во второй половине дня, Фишл чуть не сошел с ума.

Он обеими руками схватился за голову и разразился по адресу Прокопа по-украински и по-еврейски бранью. Как же так, ведь Прокоп заверил его, что сегодня можно будет переправиться на пароме, на что паромщик хладнокровно возразил: перевезти, мол, он его обещал (что правда, то правда), но откуда тот взял, что именно на пароме. Переправить он может его хоть сейчас, если Фишл согласен, на лодке, в корыте, и обойдется это ему не меньше полтинника.

— Нехай буде лодка, нехай буде корыто, только бы не праздновать, не дай бог, пасху где-то на улице, — сказал Фишл и готов был немедленно уплатить не то

что полтинник, но целых два рубля. Он готов был даже пуститься вплавь ради святой пасхи.

Фишл неотступно следовал за Прокопом, умоляя его скорее достать лодку или корыто. Ему так хотелось оказаться на той стороне Буга, в Хашчеватах, где Басшева, Фройке и Рейзл ждут не дождутся его. Возможно, стоят они на том берегу Буга, на горе, видят его, зовут, но он их не видит и не слышит, потому что река разлилась, стала очень широкой, шире, чем когда бы то ни было.

Солнце высоко стояло в голубом прозрачном небе, когда Прокоп велел Фишлу прыгать в корыто. Услышав эти слова, Фишл весь задрожал, не зная, что ему делать. За всю свою жизнь ему ни разу не приходилось плавать в корыте, за всю свою жизнь он ни разу не катался на лодке: он был уверен, что лодка непременно накренится, перевернется, и все кончено!

— Прыгай в корыто! — сказал ему еще раз Прокоп, взмахом руки подогнал лодку к берегу и взял из рук Фишла сверток.

Меламед Фишл проворно подобрал полы сюртука и завертелся на одном месте. Как быть? Прыгать ли ему в лодку? С одной стороны — суббота, канун пасхи, Басшева, Фройке, Рейзл, баня, сейдер, король... С другой — смертельная опасность, самоубийство, только одно неверное движение — и конец!..

Фишл, подобрав полы, продолжал топтаться на месте. Он суетился до тех пор, пока Прокоп не крикнул, что плюнет на него и сам переедет на тот берег в Хашчеваты.

Услышав дорогое ему слово «Ха-ще-ва-ты», Фишл вспомнил родных, набрался смелости и ввалился в корыто. Я говорю «ввалился», ибо, когда он поставил ногу в лодку, она накренилась, и Фишл, теряя равновесие, едва устоял на ногах. Он попытался выскочить из нее, но пошатнулся и упал ничком на дно лодки. Прошло несколько минут, прежде чем он очнулся. Лицо его побледнело, руки и ноги тряслись, а сердце выстукивало: тик-тик-так! тик-тик-так!

Как у себя дома на стуле, сидит Прокоп на корме корыта, спокойно загребает веслом то с одной, то с другой стороны, а лодочка бойко скользит по зеркаль-

ной воде. У Фишла кружится голова, он еле сидит. Сидит ли он? Нет, он висит, висит в воздухе. Стоит ему не так повернуться или не так нагнуться, как бултых в воду, и нет Фишла!..

При этой мысли приходит ему на память библейский стих: «И погрузились они, как свинец, в великих водах». Волосы у Фишла становятся дыбом: неужели ему суждена такая смерть, без похорон? Почему, владыка небесный? И он дает обет... Какой обет он налагает на себя? Дать деньги на благотворительные дела. Но ведь денег у него нет. Он бедняк из бедняков. И Фишл дает богу слово, что благополучное возвращение домой обяжет его денно и нощно изучать Талмуд так усердно, чтобы за год проштудировать все его шестьдесят три трактата...

Фишлу хочется узнать, далеко ли до того берега. Но, как назло, сидит он лицом к Прокопу и спиной к Хашеватам. Спросить бы у Прокопа, да боязно слово вымолвить. Так и кажется ему, что от одного звука лодка качнется, и конец! К счастью, заговорил сам Прокоп. «Нет хуже, чем плавать во время ледохода. Нельзя, — говорит он, — лодку направить прямо к берегу, надо мудрить, крутиться, вертеться, иногда даже возвращаться».

— Вот плывет большая льдина, прямо на нас.

Так говорит Прокоп, указывая на большую глыбу, которая с плеском проносится мимо них. Фишл такого никогда не слышал и не видел. Только теперь он начинает понимать, какое это опасное плавание. Он отдал бы все, лишь бы поскорее добраться до того берега или благополучно вернуться назад.

— Гляди, гляди!.. — показывает ему рукой на что-то Прокоп.

Фишл робко поднимает глаза, он боится пошевелиться, смотрит, смотрит и ничего не видит: кругом вода, вода и только вода.

— Вот идет на нас большая льдина, надо скорее проскочить, обратно уже хода нет.

Прокоп размашисто загребает веслами, лодочка скользит, словно рыба в воде, а Фишл холодеет от страха. Он хочет что-то спросить, но не решается. И опять слышен голос Прокопа:

— Если не проскочим, будет плохо.

Фишл не может больше молчать.

— Что значит плохо? — переспрашивает он Прокопа.

— Плохо, — отвечает Прокоп, — это значит, что мы пропадем.

— Пропадем?

— Пропадем!

— К примеру, что значит пропадем? — переспрашивает Фишл.

— Пропадем означает, что нас сотрет.

— Сотрет?

— Сотрет!

Фишл не понимает точного значения этих слов, но чувствует, что дохнуло «потусторонним миром».

Он покрывается холодным потом. И опять приходят ему на память слова Библии: «И погрузились они, как свинец, в великих водах»...

Чтобы успокоить Фишла, Прокоп начинает рассказывать ему историю, которая произошла в прошлом году в это же самое время: «Буг хотя и был раскован, но паром еще нельзя было пустить. И появился человек, акцизный чиновник из Умани. Славный малый, обещал уплатить целый карбованец, если перевезу его. Только мы отплыли, а нам навстречу целая громадина. Взял я направо, но оказался между льдинами, хотел на них взобраться — не вышло, бац в воду, и поминай как звали! Счастье, что я умею плавать, но чиновнику из Умани — капут».

— Пропап карбованец! — со вздохом заключил Прокоп свою историю, от которой у Фишла пересохло во рту и душа ушла в пятки.

6

В середине реки Прокоп притормозил, внимательно посмотрел на плещущие воды Буга, положил весла, достал из внутреннего кармана бутылку, сделал пару глотков, снова запрятал ее в карман и закусил какой-то овощью, объяснив при этом Фишлу, что без этих глотков «горькой» он плохо себя чувствует на воде... Затем Прокоп вытер рот, взял весла и сказал.

— А теперь треба тикаты!

Куда удирать? От чего удирать? Этого Фишл не понимал и боялся спросить, но почувствовал, что смерть

близка. Став на колени, Прокоп начал грести изо всех сил, а Фишлу он посоветовал:

— Рабин, лягай на спид!

Фишл сразу понял, что ему велят лечь на дно. Долго упрашивать его не надо было. Издали он увидел, как надвигается целая туча льдин. Он закрыл глаза, упал лицом на дно лодки и, дрожа, как овечка, тихо шептал молитву: «Слушай, Израиль!» Затем он прочитал предсмертную молитву, прощаясь с жизнью. И тут же представил себе, что лежит на дне Буга и вот-вот подплывет к нему большущая рыба и проглотит его, как пророка Иону*, когда тот бежал в Фарсис. Фишл вспомнил молитву пророка и задушевым грустным голосом запел ее: «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня... Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня...»

Поет и плачет меламед Фишл, обливаясь слезами, жаль ему Басшевы, которая овдовеет, и детей, которые осиротеют...

Прокоп чувствует себя на реке, как на суше, как у себя дома. Налегая на весла, он напевает свою песенку:

Ой вы, галки!

Ой вы, чернокрылые!

Чер-но-кры-ы-ы-лые!

Молитва Фишла сливается с песней Прокопа, и по Бугу разносится странное пение, какой-то дуэт, который Буг за все годы своего существования слышит впервые...

«Чего он так боится смерти, этот еврей? — подумал Прокоп Баранюк, после того как обошел большую льдину. — Кажется, такой махонький еврей, бедный, оборванный, не отдал бы за него даже этого корыта, а так дорожит своей жизнью».

Он еще раз достал бутылку из внутреннего кармана, опять сделал два-три глотка и закусил черным перцем.

Прокоп толкнул его сапогом. Фишл вздрогнул. Прокопа одолел смех. Но Фишл не слышит, он молится, читает по себе кадиш...

— Вставай, глупый рабин, вже приихалы! Мы вже в Хашчеватах! — крикнул Прокоп Баранюк своему пассажиру, меламеру Фишлу, тормоша его так, словно тот заснул.

Фишл поднял голову, осмотрелся и устался на Прокопа своими покрасневшими от слез глазами.



— Ха-ще-ва-ты?

— Хашеваты! Давай, рабин, пивкарбованца!

Фишл вылезает из корыта и убеждается, что он уже дома. Что ему делать: побежать в город или пуститься в пляс? Или прежде всего поблагодарить бога, который спас его от грозной опасности? Фишл отдает Прокопу полтинник, хватает котомку и бежит галопом домой. Останавливается на секунду, поворачивается лицом к паромщику и кричит:

— Слухай, Прокопе-сердце, приходи ко мне завтра на чарку пейзаховки, на праздничную рыбу! Чуешь? Непременно!

— А як же! Хиба ж я такой дурень? — отвечает ему Прокоп Баранюк, облизываясь, предвкушая пасхальную

водку, которую он завтра отведаёт, и праздничную рыбу, которой он закусит. — Пейсахова горилка, жидовская рыба? Добре, рабин, добре!

* * *

Когда меламед Фишл пришел домой, Басшева с надвинутым на глаза платком, краснея, как мак, спросила его:

— Как ты поживаешь?

А он ей в ответ:

— А как поживаешь ты?

Затем она спросила:

— Почему так поздно?..

— Нам надо бога благодарить, прямо-таки чудо...

И больше ни слова. Не стал он ей рассказывать о том, что приключилось с ним в пути, времени не было. Ему не хватило времени даже на то, чтобы проверить успехи Фройке и выдать Рейзл подарок. Это он отложил на потом...

Фишл хотел успеть в баню, и успел. А когда вернулся из бани, он тоже ничего не рассказал. Фишл отложил свой рассказ на другое время, на после сейдера. Он только многократно повторял:

— Чудо небесное!.. Хвала богу!.. Слава всевышнему!..

И, захватив с собой Фройке, Фишл ушел в синагогу.

АМАН И ЕГО ДОЧЕРИ

1

Почему его звали Аманом — не знаю, но так его звали все.

Может быть, он отличался злым нравом? Никто, однако, от него зла никогда не видал.

Может быть, он имел десять сыновей? Но у него были две дочери и ни одного сына.

Может быть, жену его звали Зереш? Но, во-первых, у евреев и имени такого нет, во-вторых, с тех пор как я помню Амана, жены у него не было.

Почему же его прозвали у нас в Касриловке таким неприглядным именем?

Но мало ли какое имя могут присвоить человеку у нас в Касриловке?

Вот, к примеру, у нас есть человек — кажется, он еще жив! — по прозвищу «Терах».

А что вы скажете о прозвище «Геенна»? О прозвище «Сутолока»? А как вам понравится имя «Телка»? А «Смерть»? «Холера»? «Нечистая сила»?

Была у нас одна женщина, которую звали Эти-Пети, и еще одна, которую звали Цено-Урено, а еще была у нас женщина, которая носила имя Хане-Соре-Фейга — овчинщикова дочь.

Короче говоря, нарекли его Мордехаем, а прозвали «Аманом». Это был высокий, сухощавый человек с большими черными глазами, длинным носом и короткой седоватой бородкой, которую он неустанно, по волоску, выщипывал, никак не давал ей расти; щеки у него

обвисали, длинная шея была вся в морщинах, нижняя губа выдавалась вперед. Прямой, как палка, казалось, он смотрел на всех сверху вниз, говорил мало, никогда не смеялся и был всегда задумчив.

Он вел дела с помещиками, а с касриловскими евреями ни в какие сношения не вступал, разве лишь в тех случаях, когда требовалось от него какое-нибудь пожертвование; спокойно, не говоря ни слова, не торгуясь, бывало, спросит: «Сколько?» — вынет деньги и даст.

Также и две его дочери, весьма красивые девушки, ни с кем не общались; всегда сидели дома, никого у себя не принимали, даже от собственной прислуги скрывались. В городе их звали «аманшами», считали такими же злюками, как и их отец, Аман этот.

Жили они «не по-людски», то есть не так, как все касриловские евреи; у них был отдельный, огороженный забором двор с садом и собака во дворе.

Каждый раз, когда мне случалось проходить мимо этого двора, меня охватывал страх. Не перед собакой, — все знали, что она на цепи, — имя Аман приводило меня в трепет.

Этим именем меня пугали в раннем детстве: «Вот я сейчас позову Амана!», «Сейчас отдам тебя Аману!..» После, когда я начал ходить в хедер, мне показали и двор Амана, и его самого, и каждый раз, когда мне доводилось его видеть, я в страхе удирал.

Однажды, возвращаясь из хедера и заметив Амана недалеко от нашего двора, я побежал обратно и вернулся лишь тогда, когда его уже и след простыл.

В другой раз я шел вечером в синагогу, погруженный в мысли о пуговицах, которые я проиграл мальчишкам в хедере, о комментариях к Пятикнижию, которых я не выучил, и о плетке учителя, которой мне не миновать. Вдруг смотрю — «И пришел Аман!». Он идет мне навстречу, вот мы уже поравнялись. Я закричал не своим голосом и пустился со всех ног бежать, пока не упал. Меня подняли еле живого от страха.

— Что с тобой стряслось? Господь с тобой!

— Я его видел! Он стоял около меня...

— Кого ты видел? Кто стоял?

— Аман... Аман...

— Какой Аман? Ах, Аман? Ну и что из этого, глупый ты мальчик? Медведь он, что ли? Съест он тебя?

Фу, стыдно! Человека испугался! А еще учишь Пятикнижие с комментариями...

Так я в первый раз узнал, что Аман человек и что его нечего бояться.

2

Хедер давно остался уже позади для меня и для моего товарища. Прекратили мы даже изучение Талмуда в синагоге. Другое учение нас привлекало, нового ребе мы нашли и новых товарищей. Новые надежды увлекали нас.

«Гаскола»*, так называлось новое учение, учитель, так назывался новый ребе, гимназия, университет, медицина — вот чем были заняты наши мысли.

Книги, книги, книги — вот чему мы поклонялись, вот что было для нас всего заманчивей, вот что составляло смысл нашей жизни!

Книги в Касриловке? Откуда взяться в Касриловке книгам? Все книги, которые были у знакомых, мы уже успели проглотить. Оставалась только касриловская библиотека, которой нам хватало на один зуб.

Книги, книги, книги! Наш ум требовал пищи: книг, книг и книг!

Однажды, в одно прекрасное утро, учитель поведал нам секрет, и нам открылся клад — два огромных шкафа, наполненных книгами. И у кого? Представьте себе, у Амана!

С тех пор мы стали частыми гостями в его доме. Мы брали там книги, относили их и брали другие. У Амана были книги и книги, неисчерпаемое богатство!

Вот как завязалось наше знакомство. И как же восхищал нас Аман, когда мы сошлись с ним поближе!

Прежде всего нас поразило то, что он решительно все знает. О чем бы вы с ним ни заговорили, он был в курсе дела; какую книгу бы вы ни назвали, он ее читал.

Потом он нас поразил как человек.

Станный, очень странный человек был этот Аман! Совсем не злой, совсем не сердитый, не надутый; наоборот, он был очень простым, мягким, доброжелательным человеком, всегда готовым оказать услугу, пойти, куда бы вы его ни попросили, сделать, чего бы вы ни пожелали.

Дома он держался совсем просто. Сам кормил кошку, следил, чтобы собака была сыта, птицами занимался сам, выделял прислуге, что нужно было для кухни, и никто не слышал, чтобы он когда-нибудь повысил голос. Станный, удивительно странный человек был этот Аман!

— Почему его прозвали Аманом? — из любопытства спросил я как-то своих. И получил в ответ:

— Потому что он Аман.

Я попытался возразить:

— Ну, какой он Аман? По-моему, ничего похожего.

На это мне ответили:

— Ты рассуждаешь, как ребенок. Он законченный Аман! Человек овдовел добрых пятнадцать лет тому назад и до сих пор не женится. Этого тебе не достаточно? У человека две дочери, и красивые дочери, а он неизвестно чего ждет и не выдает их замуж. Достаточно? Человек за всю свою жизнь ни разу не улыбнулся. Этого тебе тоже мало?

Я начал еще внимательней присматриваться к Аману. Правда, веселое выражение трудно было заметить на его лице, улыбку тем более. Он всегда был задумчив, всегда серьезен; серьезен во время разговора, серьезен во время занятий, серьезен, когда кормил кошку или поил птиц, когда распоряжался кухней или прислуга отчитывалась перед ним в расходах.

Прямой, как палка, с выщипанной бородкой, с морщинистой шеей и выпяченной нижней губой, и всегда серьезный, никогда не улыбнется, — ну конечно же, Аман, настоящий Аман! И все же простой, доброжелательный, умный, обаятельный человек!

— Ну какой же он Аман?

Так, недоумевая, спрашивали мы друг друга, — я и мой товарищ.

Ответ на этот вопрос мы получили самым неожиданным образом.

3

Я думаю, вы без лишних слов догадаетесь, что, посещая так часто Амана, мы раньше или позже должны были познакомиться с его дочерьми, с «аманшами».

Но что значит познакомиться? Отец ведь держал их чуть не под замком.

Видеть их было невозможно. Они обычно сидели в своей комнате, к отцу никогда не заходили. Кроме книг, ничто в доме, видно, их не занимало. Как же можно было с ними познакомиться?

Но вот мы пришли однажды к Аману и не застали его дома. Отлучился по какому-то делу.

Мы прошли в его комнату, туда, где хранились книжные сокровища, и увидели там двух девушек, одна другой краше. Они сидели и читали. Одна — высокая, изящная, черноглазая и черноволосая; вторая — маленькая, кругленькая, с живыми, умными серыми глазами и подстриженными волосами.

Это были «аманши», дочери Амана.

Считаю излишним описывать, как состоялось наше знакомство, как мы разговорились и о чем. Этот предмет как резина, его можно растягивать без конца: писать, писать и писать.

Но, сколько ни пиши, конец все же должен быть, нужно добраться до сути.

А суть дела в том, что мы оба влюбились.

Мой товарищ — в старшую, высокую и черноволосую, а я — в младшую, сероглазую.

Наша любовь была подлинной, горячей, отчаянной любовью. Мы оба влюбились так, как только могут влюбиться два касриловских паренька, которым достаточно было очутиться рядом с девушкой, чтобы у них вспыхнули щеки; для которых возлюбленная только та, которую поведешь к венцу; которым известен был один только вид любви — любовь из «Песни Песней», любовь — святыня, святая святых.

Мы с товарищем открылись друг другу, поведали свою святую тайну, и счастливая пора детства навсегда покинула нас.

Сон бежал наших глаз, мы потеряли аппетит, и не только к еде, но и к науке, к книгам.

Учиться мы, конечно, не бросили. Мы по-прежнему готовились в университет. Но все уже было по-другому: пропало рвение, не стало прежнего пыла.

С тех пор мы начали искать предлога, чтобы приходить к Аману именно в то время, когда он отсутствовал. Мы бывали счастливы, когда нам удавалось перекинуться хотя бы несколькими словами с девушками, с этими возвышенными, благородными созданиями.

Таковыми они представлялись нам, потому что говорили они мало, а только смотрели, все смотрели на нас. Каждый их взгляд зажигал наши сердца, поражал нас, как ружейный выстрел, как небесная молния.

Стоило только Аману позвонить у дверей, девушки тотчас же скрывались в свою комнату и уже не показывались до следующего нашего прихода.

Так продолжалось до тех пор, пока не пришло нам время ехать сдавать экзамены.

4

К этой поездке мы с товарищем несколько лет подряд готовились, как к празднику.

Сколько горя, сколько забот она нам стоила! Сколько битв нам пришлось выдержать! Сколько слез мы пролили, пока добились, чтобы нам разрешили учиться, пока услышали долгожданные слова, что нас повезут в большой город на экзамены!

А когда пришло время, мы оба растерялись, мы не знали, как нам быть.

Уехать, не поговорив с девушками? Ни слова не сказав им о нашей святой тайне! Но как с ними поговорить? Как решиться на объяснение с такими возвышенными, благородными созданиями.

И мы с товарищем условились высказаться в письменной форме, излить наши чувства на бумаге.

И мы излили наши чувства на бумаге.

Что мы писали, не могу вспомнить. А если бы и вспомнил, то не рассказал бы вам, потому что вы бы этого не поняли и смеялись.

Нам же было не до смеха, вовсе нет.

Мы плакали.

Мы дали друг другу прочитать наши письма и оба плакали, плакали от души, настоящими горячими слезами.

Вдоволь наплакавшись, мы через прислугу с большим трудом передали наши красноречивые письма девушкам, а на следующий день, когда мы в обычное время, то есть когда Амана не было дома, явились к ним, та же прислуга встретила нас со странной улыбкой. Она ввела нас в комнату Амана и велела подождать, пока барышни вернуться из сада.

И мы уселись ждать у открытого окна, пока барышни вернутся из сада.

Это было в начале лета, и на всем вокруг было разлито сияние. Солнце радостно смотрело из своей обители, с чистого голубого неба; из сада, единственного еврейского сада в Касриловке, доносилось благоухание вишневых деревьев в цвету, и в воздухе, словно маленькие живые белые мушки, весело кружили маленькие белые цветочки; что-то жужжало, пищало, множество птиц щебетало в саду, единственном еврейском саду в Касриловке.

Дверь отворилась, и в комнату вошли наши возвышенные, благородные создания.

Мы с товарищем вскочили, готовые выслушать ответ на наши грустные послания, на наши невинные слезы.

Но едва лишь возвышенные, благородные создания увидели нас, они переглянулись, а потом разразились смехом прямо нам в лицо и скрылись в своей комнате.

Мы с товарищем остолбенели, глядя друг на друга, не в силах слово сказать.

К счастью, в комнату вошла прислуга. И вошла она с таким видом, будто хотела сказать: «Что вы стоите как истуканы? Убирайтесь подобру-поздорову!..»

Мы поняли, что нам нужно уходить, — не уходить, а бежать, бежать куда глаза глядят! И мы бежали, мы бежали из этого дома так, словно кто-то гнался за нами по пятам, словно целая свора злых собак нас преследовала, и нам все слышался смех девушек, он не переставал звенеть у нас в ушах.

А солнце сияло, и вишня цвела, и птички чирикали и щебетали по-прежнему, а мы с товарищем бежали, бежали и нас преследовал смех, он все не переставал звенеть у нас в ушах.

Так мы получили ответ на вопрос, почему отца звали Аманом, а дочерей — «аманшами».

ПРАЗДНИК ТОРЫ

Зарисовка

Что у трезвого на уме,
то у пьяного на языке.

Народная поговорка

1

— Честный человек, тихий, мухи не обидит, — так отзывались о нем в Касриловке, и таким он и в самом деле был.

— Вы не смотрите, что он такой тихоня, как будто двух слов не может связать, в тихом омуте черти водятся! — говорил о нем его хозяин, владелец довольно приличного магазина, реб Лейбке, который пользовался неограниченным кредитом и гордился своими знатными родственниками.

— Горе мне с этим растяпой, господи помилуй, рассказывать тошно, врагу такого не пожелаешь... — говорила его жена Кейле-Бейля. В молодости у нее был роман с Мотлом Шпрайзом, учителем для девочек, а потом она засиделась в девушках, и ее с большим трудом удалось выдать замуж за приказчика Зорах-Боруха. У Зорах-Боруха она была второй женой. Чтобы отомстить ему за детей от первой жены, она что ни год рожала ребенка.

— Ничего, могу себе позволить, чтобы *моих* детей нянчили, — говорила она мужу, а он и в ус не дул, его никогда и дома-то не бывало.

Приказчик Зорах-Борух (в Касриловке его никто иначе и не называл) весь день проводил в магазине,

с раннего утра до поздней ночи, обед ему приносили туда же, но поесть ему редко удавалось. Стоило Зорах-Боруху поднести ложку ко рту, как в магазин, будто на зло, являлись покупатели.

Он уже наперед знал, что раз он помыл руки и произнес первые слова предобеденной молитвы, немедленно привалит счастье — ага, вот они, покупатели, два мужика и одна еврейка. Мужики, входя в магазин, задирают головы и смотрят на полки, а еврейка, заметив, что Зорах-Борух собрался обедать, бочком пытается прошмыгнуть обратно в дверь, с лицом праведницы:

— Ешьте, ешьте, реб Зорах, я подожду.

Но не таков Зорах-Борух, чтобы упустить покупателей.

— А чего пожелаете? — давась куском, спрашивает он женщину и тут же поворачивается к мужикам: — А шо, дядьки, скажете доброго?

Женщина, разумеется, желает того, чего в магазине нет, а мужики признаются, что зашли просто так, посмотреть. И чтобы окончательно отвести от себя подозрение в том, что они, не дай бог, собирались что-то купить, они продолжают стоять еще несколько минут, задрав головы, а потом тихонько выходят из магазина. Но Зорах-Борух не любит, когда покупатели уходят ни с чем. Он устремляется за мужиками, тащит их обратно.

— Эй, чоловиче, перевернись, я щось маю тоби казати!

Покупатели, однако, не дают себя уговорить и уходят бог их знает куда. Тем временем и женщина успевает выскользнуть из рук Зорах-Боруха и заходит в другой магазин.

Зорах-Борух от огорчения теряет аппетит. А тут еще появляется хозяин и подсыпает перцу.

— Кто здесь был? — спрашивает реб Лейбке.

— Кому здесь быть? — отвечает Зорах-Борух вопросом на вопрос, глотая неразжеванными целые куски. — Покупатели были.

— Покупатели? Что же они купили?

— Купили... Хворобу они купили.

— Что же ты говоришь «покупатели»?

— А как мне говорить?

— Покупателем называется тот, на котором можно кое-что заработать.

— А я разве не хочу, чтобы можно было кое-что заработать?

— Ты хочешь заработать? Спасибо и за это...

Хозяин и его человек недовольны друг другом, но оба сдерживаются: хозяин прекрасно знает, что жаловаться ему, собственно, не на что, а человек отмалчивается из почтения к хозяину, как бы тот его ни задел.

Но вот, позвякивая ключами, является хозяйка, и все начинается сызнова:

— Кто здесь был?

— Откуда мне знать? Вот его спроси!

— Кто здесь был? — позвякивая ключами, спрашивает хозяйка приказчика.

Приказчик, проглотив последний непрожеванный кусок, встает, стряхивает крошки с бороды и смотрит на хозяйку.

— Что ты на меня так смотришь? Я спрашиваю тебя, кто здесь был?

— Кому здесь быть? — тем же манером, что и прежде, отвечает Зорах-Борух. — Покупатели были.

— Покупатели? Что же они купили?

— Купили... Хворобу они купили.

— Что же ты говоришь «покупатели»?

— А как мне говорить?

— Покупателем называется тот, который дает заработать деньги.

— Заработать деньги? Я не меньше вашего хочу, чтобы дали заработать деньги.

— В самом деле?!

Последние слова произносятся таким тоном и столько яду в них вкладывается, что Зорах-Боруху и обед не впрок. Он счастлив, когда в магазин является какой-нибудь дьявол и велит показать товар, хотя и хозяин с хозяйкой и приказчик, а тем более сам этот покупатель прекрасно знают, что он горе-покупатель, *ничего* он не купит.

— Так это, значит, ваша последняя цена? Хорошо. Завтра, бог даст, снова загляну.

— Завтра с болячкой! — произносит вслед покупателю Зорах-Борух и получает нахлобучку от хозяина, дабы впредь держал язык за зубами и не говорил за спиной покупателя таких слов; хозяйка же, позвякивая ключами, подливает масла в огонь:

— Что ему от того, что покупатель сюда больше носа не покажет? У него, что ли, голова болит из-за векселя, по которому завтра надо платить?

Зорах-Борух молчит. Он только смотрит на хозяйку одним глазом, и глаз этот говорит без слов: «Платить по векселю? У кого же еще, как не у меня, голова болит из-за векселя?»

Все трое прекрасно отдают себе отчет в том, у кого болит голова, когда приходит время платить по векселю, и поэтому они некоторое время молчат. Молчанье прерывает не кто иной, как Зорах-Борух. Он вскакивает, будто его обожгла крапива.

— Да, чуть не забыл... Нужно сбегать к священнику, может, денег даст... Обещал сегодня дать. А если не даст, то я и не знаю, как мы уплатим по векселю.

Зорах-Борух берет свою палку и отправляется к священнику. В дверях он сталкивается с хозяйкой, которая ворчит, позвякивая ключами.

— Чуть не забыл... Что ему? Столько крови стоит...

В душе все трое знают, на ком держится магазин, кому приходится солоно из-за плохих дел, кто высунув язык гоняется за займом, на кого падает забота об оплате векселя, и все трое уверены, что так оно и должно, что иначе и быть не может.

2

Как ни плохо Зорах-Боруху у хозяев, дома, когда он возвращается поздно ночью из магазина, ему во сто крат хуже. В комнате неуютно; пищат малыши, самовар дымит и никак не хочет закипеть, Кейле-Бейля же, наоборот, кипит вовсю, в ней бурлит, как в котле, она рвет и мечет, почему зря ругает детей, мужа:

— Едоки! Полон дом едоков! У людей дети как дети — кто оспой болеет, кто ногу себе сломает, а этих и пуля не берет.

Кейле-Бейле грех так говорить, она и сама знает, что грех. Нет такой болезни, нет такой напасти, такого злосчастья, которое миновало бы ее дом. А чуть ребенок заболит — родной или не родной — Кейле-Бейля места себе не находит, тотчас же бежит за врачом, ночей не спит, не забывая при этом пилить и точить мужа:

— Какой из тебя отец? Хорош отец, преданный! Ребенок точно раскаленная сковорода, весь горит, а ему хоть бы что! Без души человек!

А Зорах-Борух молчит, ни слова не скажет в ответ, будто не о нем речь. Зорах-Борух доволен, если ему удастся поесть, а потом пластом повалиться на кровать и заснуть, потому что рано утром, когда сам бог еще спит, он должен быть в магазине, чтобы просмотреть книги. Утреннюю молитву он произносит наспех, так же впопыхах проглатывает стакан цикория с бубликом и бежит занять у кого-нибудь деньги до окончания ярмарки. А хозяин дуется, а хозяйка ворчит, а жена ругается, осыпает его самыми страшными проклятиями — и так весь год, круглый год.

Только один день в неделю — какое счастье, что есть суббота на свете! — Зорах-Борух может отдохнуть. И тогда только он чувствует, до чего разбит, живого места нет, точно лошадь, да простится мне это сравнение, которая тогда только начинает отфыркиваться и поводить боками, когда с нее снимают узду. В субботу голова приказчика Зорах-Боруха свободна от забот, он сбрасывает с себя ярмо, ничего не хочет знать ни о магазине, ни о хозяине с хозяйкой, ни о священнике, ни о покупателях; для него не существует прихода-расходной книги, долгов, векселей, барышей — ничего! Нет над ним господина, не признает он старшего над собой, и жена ему не указ. Один только бог да святая суббота существуют для Зорах-Боруха. И он отдыхает, спит в свое удовольствие, отсыпается за всю неделю. Он надевает субботний кафтан, и субботнюю шапку, и субботние сапоги со скрипом и отправляется в синагогу. Один только раз в неделю он имеет возможность выспаться, один только раз в неделю он имеет возможность поесть по-человечески, и он отдыхает. Зорах-Борух отдыхает душой; Зорах-Борух отдыхает телом. И он благодарит и прославляет всевышнего за славный подарок, который он преподнес своему народу, за милую, сладостную, святую субботу. А еще сладостнее, еще милее субботы — праздники. «Какая пасха может сравниться с еврейской? — думает приказчик Зорах-Борух и чуть ли не самому себе завидует, что родился евреем. — Кто еще может похвастать такими веселыми праздниками, как праздник кущей, например, или же гейшанорабо, шмини-ацерес*, а тем более праздник

торы? Шутка ли сказать, праздник торы! В праздник торы евреи веселятся! В праздник торы евреи выпивают! В праздник торы евреи напиваются!»

Так размышляет приказчик Зорах-Борух и, как мессии, ждет не дождется веселого праздника торы.

Мессия так и не приходит, а веселый праздник приходит каждый год. И Зорах-Борух чувствует себя как бы заново рожденным; его и не узнать. Обычно тихий, озабоченный, пришибленный, он, как будто очнувшись от сна, вдруг становится живым, веселым, приглашает к себе людей на кидеш и сам принимает приглашения на кидеш, собственными руками достает кугл из печи и водку пьет, как воду. Ведь праздник торы на земле! В этот день евреи, взявшись за руки, пляшут посередине улицы.

Гай-да!
Дри-да-да!
Рамтеройдада!

Проходящие мимо мужики останавливаются посмотреть, как пляшут и дурачатся евреи.

— Оце гарно, коли вже жид да напився!..

Приказчик Зорах-Борух пьет напропалую, за весь год напивается, пьет до тех пор, пока не теряет облик человеческий, чуть собственное имя не забывает, и тогда в нем просыпается злость. Он начинает рваться к своим хозяевам, чтоб хоть раз отыгаться на них, всю правду высказать им в глаза, — что на уме, то на языке, — хоть раз душу отвести!

— Я им покажу, черт их побери! — кричит Зорах-Борух.

Но к хозяевам его не пускают. Кейле-Бейля, призвав на помощь старших детей, крепко держит его за руки, а он вырывается, кидается во все стороны, дерется и кричит как безумный:

— Пустите меня! Пустите меня! Я им покажу, черт бы их побрал!..

Кейле-Бейля боится, как бы муж и в самом деле не побежал к хозяевам и не набросился на них: ведь от тогда лишится службы. Поэтому она его изо всех сил удерживает, связывает ему руки за спиной полотенцем, бросает его на кровать, своего растяпу, и запирает дверь. Трудно представить себе, что это он, Зорах-Борух, буйствует, тот самый тихий Зорах-Борух, который

и мухи не обидит, вдруг бьет посуду, лезет в драку и кричит благим матом:

— Пустите меня! Пустите меня! Чтоб его черт побрал!..

Зорах-Борух буйствует до тех пор, пока не начинает заливаться слезами, плакать, как дитя. Он вдруг вспоминает об отце, который умер двадцать с лишним лет назад, ведь какой у него был отец, какой отец!.. И он рыдает, бедный сирота, горько плачет до тех пор, пока не засыпает.

На следующий день чуть свет, когда сам бог еще спит, приказчик Зорах-Борух уже в магазине; он просматривает книги, потом наскоро произносит молитву, проглатывает свой стакан цикория с бубликом и бежит занять деньги до окончания ярмарки. А хозяин дует на него, а хозяйка ворчит, позвякивая ключами, а дома жена ругается, осыпает его самыми страшными проклятиями, и так весь год, круглый год, пока опять не наступит праздник торы.

ВРАКИ

- Вы, кажется, едете в Коломею?
- Откуда вы знаете, что в Коломею?
- Я слышал, как вы говорили с кондуктором. Сами будете из Коломеи или только едете в Коломею?
- Сам оттуда. А что такое?
- Ничего. Просто так спрашиваю. Приличный город эта Коломея?
- Что значит «приличный»? Такой же, как все города в Галиции. Приличный городок, очень даже приличный!..
- Много ли у вас почтенных людей, богачей, — вот что я имел в виду.
- Разные есть люди: есть богачи, есть и бедняки. Бедняков, разумеется, больше, чем богачей.
- Так же, как у нас. На одного богача чуть ли не тысяча бедняков, не сглазить бы. У вас в Колонее как будто живет один богач, Финкельштейн.
- Есть богач Финкельштейн. А что такое, вы его знаете?
- Знать я его не знаю, но много слышал о нем. Его не реб Шае зовут?
- Реб Шае, а что?
- Ничего. Просто так спрашиваю. Он и в самом деле такой богач, как о нем говорят, этот реб Шае?
- Кто его знает. Денег его я не считал. Почему вы так им интересуетесь? В кредите нуждается?
- Нет. Просто так интересуюсь. У него, говорят, дочь?
- У него три дочери. Так вот вы о чем! Сколько, вам сказали, он дает приданого?

— Дело не в приданом. Меня больше интересует самый дом, какой дом у этого реб Шае Финкельштейна? Какие порядки в этом доме?

— Какие там могут быть порядки? Дом как дом. Известно, еврейский дом, весьма приличный, очень приличный, можно сказать, дом хасидский! Говорят, правда, что по части благочестия там в последнее время... Но это враки!

— Что враки?

— Что бы ни говорили, все враки. Коломея, должны вы знать, это город врунов.

— Именно поэтому любопытно знать, что, к примеру, говорят о его доме.

— Говорят, что там уже не то, что прежде. Прежде, например, там в пасху употребляли особую мацу *. Сам ездил два раза в год к цадику *. А теперь... Теперь совсем другое...

— Только и всего?

— Что же вы хотели? Чтобы Шае сбрил бороду и пейсы и ел свинину на виду у всех?

— Вы сказали «говорят». Вот я и подумал, бог весть что говорят. Меня человек интересует. Приличный ли он человек, этот Шае Финкельштейн, порядочный ли? Вот что я имел в виду.

— Что значит «порядочный»? Человек как человек. Приличный человек, ничего не скажешь, весьма приличный человек! Хотя у нас, правда, говорят, что он немножко... Но это враки!

— Что враки?

— Все, что про него говорят, враки; в Коломее любят наговаривать друг на друга, такой уж это город! Но я не хочу повторять эти враки, не люблю злословия...

— Раз вы сами сказали, что враки, значит, это уже не злословие.

— Говорят, что он немного... крутит.

— Крутит? Все немного крутят. А вы не крутите?

— Ну, он не так крутит. Про него, понимаете ли, говорят... Но это враки!

— Что же, собственно, про него говорят?

— Я же вам сказал — вздор, враки!

— Вот мне и любопытно послушать эти враки!

— Говорят, что он уже трижды объявлял себя несостоятельным. Но это враки. Мне известно только про один раз.

— Только и всего? Где вы видели купца, которому ни разу не приходилось объявлять себя банкротом? Купец торгует до тех пор, пока не проторгуется. Если купец умер не банкротом, то это значит, он умер раньше времени. Что? Разве не так?

— Банкротство банкротству рознь. Про него нехорошо говорят, будто он схоронил свои денежки и показал всему миру дулю. Вы понимаете?

— Видно, неглупый человек. Ну, и это все?

— Чего вы еще хотели? Чтобы он резал людей? Уголовщиной занимался? У нас, правда, рассказывают о нем совсем некрасивую историю... Но это враки!

— А именно, какую историю?

— Историю с помещиком... Небывальщину!

— Что за история с помещиком?

— Помешик... Векселя какие-то... Чего только Коломея не выдумает! Враки! Я точно знаю, что это враки!

— Раз вы говорите — враки, то ваш рассказ никак ему не может повредить.

— Говорят, что у него были дела с одним помещиком, с весьма крупным помещиком, он вошел к этому помещику в доверие, был у него в большом почете. А когда помещик умер, он и предъявил якобы его вексель. И в городе поднялся шум: откуда взялись векселя, когда всем известно, что помещик этот никогда в жизни не подписывал подобных бумаг? Коломея, должны вы знать, это такой город... Здесь ничего не скроешь...

— Ну?

— Ну-ну! Вот и пришлось ему расхлебывать кашу...

— Только и всего? У каждого еврея своя каша. Видели вы когда-нибудь еврея, которому не приходилось бы расхлебывать кашу?

— Этому, однако, не одну кашу пришлось расхлебывать, а целых три.

— Целых три? Что же ему еще пришлось расхлебывать?

— Случилась у него, говорят, история с мельницей. Но это уж определенно враки!

— Мельница, наверно, погорела, и про него говорили, что он сам произнес молитву: «Благословен сотворивший огненные светила»*, потому что мельница была старой и он ее неплохо застраховал, чтобы получить денежки и поставить новую.

— Откуда вы всё это знаете?

— Знать-то я ничего не знаю, но представляю себе, что так именно все и произошло.

— То есть так поговаривают у нас в Коломее, но это враки. Готов поклясться, что враки.

— А по мне, хоть бы и правда. Какую еще кашу, говорите вы, ему пришлось расхлебывать?

— Я ничего не говорю. Город говорит. Но это уж совсем сплетни, клевета, чистойшей воды навет!

— Навет? Фальшивые деньги, что ли?

— Еще хуже!

— Что может быть хуже фальшивомонетчика?

— Право, неловко рассказывать, что способна придумать Коломей. Пустые людишки... Бездельники... А может быть, это было специально подстроено, для вымогательства. Маленькое местечко, понимаете ли, у богача всегда найдутся враги...

— Тогда, наверно, шашни с прислугой?..

— Откуда вы знаете? Уже успели рассказать?

— Рассказывать мне не рассказывали, но я догадываюсь: эта история, наверно, влетела ему в копеечку...

— Пожелаю себе столько заработать хоть раз в неделю с вами вместе, поверьте, я и вам не враг, — во сколько ему это обошлось, хотя он тут, конечно, ни сном ни духом не виноват. Маленькое местечко, понимаете ли, а тут богач, ему везет, вот и завидуют... Просто завидуют!

— Возможно. А дети у него хорошие? Приличные? Три дочери, кажется, вы сказали?

— Три. Две замужних и одна девушка. Приличные дети, очень приличные. О старшей, правда, говорят... Но это враки!

— А что о ней говорят?

— Я же вам сказал: все сплошь враки!

— Знаю, что враки, но любопытно, какие враки?

— Если вам вздумается выслушать все враки в Коломее, вам трех дней и трех ночей не хватит... Про старшую говорят, что она носит собственные волосы. Но тут я лично могу поручиться, что это враки. Она вовсе не такая образованная, чтобы выставлять напоказ собственные волосы. А про вторую дочь говорят, будто она еще девушкой... Но мало ли что в Коломее могут выдумать! Враки!

— Любопытно, что у вас в Коломее могут выдумать?

— Я же вам говорил, что Коломея славится своими врунами и клеветниками, Коломея — город длинных языков. Вы и сами знаете, когда в маленьком местечке девушка гуляет одна-одинешенька темной ночью по улице с молодым человеком, то начинаются разговоры: с какой стати девушке разгуливать ночью по Коломее совершенно одной, да еще с провизором?

— Только и всего?

— Чего вы еще хотели? Чтобы она удрала со своим провизором как раз в день всепрощения в Черновцы, подобно младшей, которая, говорят, выкинула номер?

— А какой номер выкинула младшая?

— Не стоит, право, повторять все глупости, которые говорят у нас в Коломее. Я не люблю рассказывать небылицы.

— Вы уже рассказали достаточно небылиц, почему бы вам и эту не рассказать?

— Я не от себя рассказываю, уважаемый, я вам только чужие враки передаю. Я вообще не понимаю, чего вы так допытываетесь о каждом в отдельности, будто прокурор. Вы, сдается мне, из тех людей, которым лишь бы обо всем дознаться у ближнего, подкопаться, жилы вытянуть, сами-то вы и словом не обмолвитесь... Прямо скажу вам, уж не обижайтесь, мне кажется, что вы русский еврей, а русские евреи имеют дурную привычку залезать с сапогами в душу, видать, любят посплетничать. Кстати, вот и Коломея... Пора братья за узлы... Разрешите!



НОВОСТЕЙ НИКАКИХ...

Два поздравительных письма к Новому году:

- 1. От портного из Америки — другу на родину.*
- 2. От портного с родины — другу в Америку.*

1

Май дир фрэнт Исролик!¹

Да будет предначертан новый счастливый год тебе, жене твоей и детям! Дай бог, чтобы вы и весь наш народ были ол райт², аминь!

Нас очень огорчает, что ты не пишешь нам писем. Потому что с тех пор, как начались у вас все эти революции, конститушон и погромы, мы тут ужасно расстроены, престо головы потеряли. Если то, что пишут наши газеты, не блеф, то ведь у вас уже, наверное, половину народа уложили! Каждый день слышишь о вас какую-нибудь новую сенсейши. Вчера я читал телеграмму, будто мистера Крушевана * — президента Четвертой думы — повесили... Напиши мне, правда ли это.

¹ Дорогой мой друг Исролик! (англ.)

² В порядке (англ.).

И еще напиши мне про твой бизнес: работаешь ли ты в мастерской, или ты сам себе босс?¹ И как поживает твоя Хане-Рикл? И что поделявает Гершл? И как живет мой кузен Липе? И Иосл-Генех? И Бенце со своей Рохл? И Златка? И Мотл? И что с остальными портными? И думаешь ли ты перебираться в Америку? Обо всем напиши мне подробно в своем письме.

А о себе — что тебе писать, дорогой мой друг? И я, и жена, и дети мои — ол райт. Все мы, слава богу, «делаем здесь жизнь»*. Работаем как проклятые, но жизнь налаживаем. Денег не копим, но занимаем две комнаты с кухней. Целый день работаем, а вечером выходим на прогулку, или на митинг социалистов или сионистов, или в еврейский театр. Всю жизнь горе мыкаем, но зато мы свободны. Я могу быть членом какого угодно общества. А если пожелаю, приму гражданство и могу быть допущен к выборам.

Одно только нам здесь покоя не дает — родина! Ох, как мы тоскуем по родине! Моя Дженни (ее уже больше не называют Блюмой) житья мне не дает! Требуется, чтоб мы поехали в Россию — покойников наших навещать. Посмотрел бы ты на мою Дженни — ее не узнать. Леди — в шляпе и перчатках. Посылаю тебе фотографию моей Дженни и всей семьи. Как тебе нравится мой старший бой?² Это — Мотл. Теперь его называют Майк. У него все в порядке: работает на фабрике и зарабатывает от десяти до двенадцати долларов в неделю. Если бы не играл в карты, он был бы и вовсе ол райт. Второй, Джек, раньше был на работе. Теперь он немного подучился английскому языку и служит бухгалтером в парикмахерской. Третий байстриук — Бенджамен — служит в трактире. Жалования не получает, но приносит домой иной раз шесть, а иной раз и восемь долларов. Четвертый бойчик, который в шапочке, хороший сорванец: ходить в школу не желает, день и ночь болтается на улице и играет в мяч. Дочери мои тоже ол райт. Работают в мастерских и прикапливают деньги. Беда только, что их в глаза не видишь. Гуляют — когда, где и с кем вздумается. Америка — свободная страна. Здесь никому не укажешь, даже собственной

¹ Хозяин (англ.).

² Мальчик (англ.).

дочери. Вот, к примеру, старшая моя дочь — ее звали Хая, теперь у нее другое имя — Френсис... Ох, и натерпелся же я с ней! Влюбилась и без моего ведома вышла замуж за какого-то лоботряса из тех, что путаются с ворами. Он удрал из какого-то исправительного заведения, а ей наговорил, будто он известный фабрикант готового платья и торгует домами. В конце концов оказалось, что он троеженец: у него всего-навсего три неразведенных жены! Натерпелся я немало, пока избавился от него! Сейчас она вышла замуж за лоточника и живет ол райт. Остальные дочери мои замуж еще не вышли, а если и выйдут, — меня не спросят. Америка — свободная страна, каждый делает свой бизнес, как ему нравится, и все тут! Ну вот, дорогой мой друг, написал я тебе обо всем, что у меня делается, и прошу тебя, ради бога, обязательно напиши мне немедленно так же подробно обо всем, что у тебя. Сердечно кланяюсь каждому в отдельности и еще раз желаю вам счастливого и благополучного года. Гуд бай!

*От меня, твоего лучшего друга
Джейкоба (в прошлом Янкла).*

2

Дорогой друг Янкл!

Твое поздравление я получил как раз накануне Нового года. Благодарю за милое письмо и желаю тебе также доброго и счастливого года. Дай бог свидеться в радости. Аминь!

Теперь я хочу ответить на твое письмо. Чудной ты все-таки человек! Уж если выбрался один раз за два года написать поздравительное письмо, то писал бы хоть по-человечески! Кто это обязан понимать такие слова, как «блеф», «ол райт», «сенсейшн» и тому подобное? Зачем ты просишь, чтобы тебе писали и писали? О чем я могу тебе писать? Новостей никаких. Сейчас у нас, слава богу, все благополучно. Богачам живется хорошо, как всегда, а бедняки мрут с голоду, как везде. Мы, ремесленники, сидим без работы. Об одном только мы можем сейчас не беспокоиться — о погроме. Погрота мы вообще больше не боимся, потому что он уже был, а дважды одно и то же только в Кишиневе могло

случиться. Погром, правда, произошел у нас с опозданием, но зато мы имели погром по всем правилам. Словом, много писать я не могу и не хочу, да и не о чем, — могу только сообщить тебе, дорогой Янкл, одно: я жив! Трижды смотрел смерти в глаза, но — чепуха! Как говорит дамский портной Геце, — помнишь его? — «Кто погибнет в бурю, а кто в чуму», — ежели суждено мучиться, так господь бог и умереть не даст...». Болела у меня душа только за жену и детей. Сам послал их на погибель... Забрались они честь честью к одному доброму человечку на чердак и пролежали там в большом почете два дня и две ночи — не евши, не пивши, не спавши... И лишь на третий день, когда уже нечего было грабить и некого было бить, у нас, слава богу, стало благополучно. Тогда потихоньку слезли с чердаков. Из нашего семейства, слава богу, никто не пострадал, если не считать Липе, которого убили вместе с обоими сыновьями — Нойахом и Мейлахом — чудесными мастерами, и Мойше-Герша, которого с почестями сбросили с чердака, да еще Перл-Двойре, которую нашли уже потом у них же в погребке мертвой с крошечным младенцем (Рейзеле) у груди... Так что кругом, считая маленьких детей, из нашего семейства убито всего-навсего семь человек... Но, как говорит Геце: «И то благо! Могло быть и хуже, а хорошему конца-краю нет!» Ты спрашиваешь о Гершле? Не беспокойся. Он уже больше полугода как сидит один-одинешенек, без всякого дела, в тюрьме. За что? Наверное, за то, что в синагоге смотрел, куда не положено... Его, говорят, собираются щедро наградить: либо повесят, либо расстреляют, — уж это как ему посчастливится, потому что во всем, как говорит Геце, нужна удача... Вот, к примеру, Иосл, сын Генеха, умер еще до того, как его доставили в тюрьму... А больше у нас новостей никаких. Ну, а о Нехемье, сыне столяра, ты даже не спрашиваешь? Помнишь его? Был как будто никудышным парнем, не правда ли? «Лейб-дрейб-обдирик» его называли. Нынче он, как граф, отлеживается в Петропавловской крепости. Вот кого действительно жаль, так это Златку. Она, говорят, тронулась от всех этих бед... Шутка ли, потерять за одну неделю двоих детей! А сын Авром-Мойши уже, наверное, в Америке. Увидишь его, кланяйся и скажи, что отец у него молодец: умер, не дождавшись конституции! А наш Мотл вообще пропал,

никто не знает, где он... Многие у нас таким образом исчезли... Одни бежали, другие убиты, третьи по тюрьмам отдыхают, гуляют по сибирским снегам, работают, прикованные к тачке... И все им нипочем! Заупрямился народ: раз навсегда — конституцию, и никаких гвоздей! С нашим братом, рабочим человеком, шутки плохи... Как Геце говорит: «Ни яда твоего, ни меда твоего не надо...» — то есть: «Не зовись моим дядькой и не шей мне сапог!» Удивительный человек этот Геце! Одного сына на войне уложили, другой сидит, сам он тоже бедствует на славу, а как дойдет до острого словца, — ему сам черт не брат! А больше писать не о чем, новостей нет. Все, слава богу, благополучно, все мы совершенно здоровы, только что моя Хане-Рикл жалуется, бедная, на сердце... Удивительно ли, сколько страхов натерпишься от одних экспроприаций! Ты, наверное, не знаешь даже, с чем это едят? Сейчас опишу тебе. Являются к тебе в дом с готовенькой бомбой, начиненной отнюдь не пасхальной мукой, а порохом и гвоздями, и говорят тебе: «Руки вверх!» (Геце называет это: «Возденье длани!») Потом расстегивают на тебе кафтан, забирают все, что имеешь, — и жалуйся господу богу! Недавно заявили ко мне двое молодцов, произнесли свой стих и забрали машину. А еще была у меня корова, так та сама подохла. Броха моя сейчас еще беднее, чем раньше, да и Алтеру до богача далековато... А Лейзера недавно выслали из-за паспорта. Поделом, — кто виноват? Пусть не будет дураком. А Мендл и вовсе отличился: взял да и помер, — кто говорит, что от чухотки, а кто — от голода... А я думаю, что и от того и от другого... Сын Биньомина в солдатах, и о холере у нас сильно поговаривают... Этого еще не хватало! А больше писать не о чем, новостей никаких. А что твоя Блюма, или, как ее там теперь называют, Дженни, хочет приехать навестить покойников, то я считаю, что сейчас не время, Янкл! Отложите это до будущего года, даст бог у нас потише станет, люди перестанут резать друг друга, тогда приедете... Пойдем вместе на кладбище: там, слава тебе господи, немало наших родственников прибавилось, не говоря о знакомых. Еще и сейчас что ни день — прибавляются!

Больше новостей нет. Будь здоров и кланяйся сердечно каждому в отдельности. В Америку я не собираюсь. Не нравится мне твоя Америка! Страна, в

которой газета называется «пейпер», в которой Блюма превращается в Дженни, а жених оказывается троеженцем, — из такой страны, прости меня, бежать надо! Из твоего письма я вижу, что будь у нас настоящая конституция, как мы понимаем, — нам бы никакой Америки не надо было! Тогда бы у нас была «Америка» получше, чем у вас... Не горюй, Янкл, — такой бы кусок золота мне и такую бы болячку Крушевану, какую конституцию мы еще, даст бог, будем иметь!..

Да пошлет нам господь счастливый год — нам здесь, а вам у себя!

Твой друг Исроэл.



ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ПАСХА

Действительная история, которая приключилась на белом свете

1

Всемирно известный немецкий город Нюрнберг издревле населен евреями. И не обычными, а благочестивыми евреями.

Нюрнбергские евреи знамениты тем, что они никогда не копались в вопросах, причастных к богу, не философствовали, не размышляли и не спорили о божьем провидении. Одним словом, они были правоверными евреями. Правда, их еврейство сводилось только

к соблюдению трех обрядов, восходящих к праотцу Аврааму, а может быть, к первочеловеку Адаму. Они соблюдали йорцайт*, бармицве и пасху.

Эти три вероисповедные обязанности, по мнению нюрнбергских евреев, могут сохранить еврейский народ на веки вечные. Не думайте, что они это, упаси бог, высосали из пальца. Нет, они это неоднократно слышали от раввина, доктора и проповедника, которого они содержат с таким же почетом, как католики, не будь рядом помянуто, римского папу.

Нюрнбергская еврейская община именует своего раввина, доктора и проповедника, «рабби», «наш рабби», и она глубоко убеждена, что второго такого знатока еврейства не было и не будет. Правда, в синагогальных проповедях, провозглашаемых им в праздники, попадают такие древнееврейские слова, что воскресни автор молитвенника, и он бы их не понял... Однако нюрнбергские евреи рассказывают о своем раввине, докторе и проповеднике, прямо-таки чудеса. Они, к примеру, хвастают, будто он за свои двадцать лет проповеднической деятельности ни разу ни в чем не ошибался: в праздники всегда читал одни и те же проповеди, приводил одни и те же стихи и притчи из Библии и одинаково их толковал. Авторитет раввина, доктора и проповедника, настолько велик, что без предварительного его согласия ни один йорцайт, бармицве и праздник в Нюрнберге не справляют. И хотя каждый еврей-нюрнбержец имеет дома еврейский календарь, все же, когда наступают праздники, он календарю не доверяет, идет к «рабби» и спрашивает его: «Когда же у нас файертаг?»¹ А что творится с приближением пасхи?

Пасху, заверяю вас, празднуют в Нюрнберге с большей помпезностью и блеском, чем в любом другом городе, в котором проживают евреи. Нюрнбергские еврейки — честь и хвала им — такие благодетельные, что, посещая в пасху театр, пользуются «пасхальным» билетом*. Даже нюрнбергские евреи, которые не очень строго соблюдают все религиозные предписания, и те приходя к рабби с вопросом: можно ли пить в пасху мюнхенское пиво и закусывать пражской ветчиной?

После такого предварительного знакомства с евреями

¹ Ф а й е р т а г — праздник (нем.).

ми из Нюрнберга мы можем прямо приступить к нашей истории, которая приключилась в 1908 году, или, согласно еврейскому календарю, в 5668 году* со дня сотворения мира.

2

Нюрнбергская община все производит сама, за исключением еврейской литературы. Когда-то ее закупали в Лондоне или в Варшаве. Но за последнее время все изменилось.

С тех пор как начались у нас войны, революции, конституции, погромы и тому подобные ужасы, волны эмиграции стали выбрасывать на нюрнбергский берег различных людей. Среди них одного книгоношу по имени Пинхас Пинкус.

Это был невысокого роста человек, подвижный, разноглазый: один глаз маленький, другой — большой. Когда Пинхас Пинкус разговаривал, казалось, что его маленький глаз спрашивал у большого: «Ну?», а большой отвечал: «Ну-ну!» Первое время он среди своих немецких братьев страдал, голодал и мучился, пока вновь не приобрел свою старую профессию книгоноши. Ограбленный, босый и голый, он оставил свою родную страну и с большим трудом добрался до свободного города, до Нюрнберга, где погромы ему не угрожали, но зато его здесь ожидала голодная смерть, ибо попрошайничество в этом городе даже среди соплеменников было запрещено. Первое время он разгуливал по Нюрнбергу, осматривал город и его людей, его небо и землю. Кажется, такие же дома и люди, такое же небо, такая же земля. Но какое спокойствие! Никто не боится камня сверху, пули спереди или ножа сзади. Счастливые люди! Благословенный город!.. Но каждый человек обязан что-то делать, а наш бедный эмигрант Пинхас Пинкус не смог в этой свободной стране найти себе хоть какую-нибудь работу. И повинен в этом был не он сам, а язык, то есть он не понимал их языка, а они не понимали его наречия.

Однако чем дольше он здесь жил, тем больше город в его глазах терял свое обаяние. И все из-за желудка. Желудок — это злой дух, сатана. Когда желудку приходит время принимать пищу, то ему не до политики и философии. «Ты помнишь меня или забыл? —

так пристаёт голодный желудок. — По мне, ты можешь побираться, воровать, грабить, но дай мне то, что полагается, на остальное наплевать!..» Беда, однако, в том, что побирушкой надо родиться. Чтобы ходить с протянутой рукой, надо иметь душу нищего или бродяги. И наш герой долго слонялся по нюрнбергским улицам, пока однажды не отважился остановить первого встречного. И не для того, упаси бог, чтобы просить милостыню, а просто, чтобы излить душу. Пинхас Пинкус обратился к первому встреченному им немцу со словами:

— Не обижайтесь, мой дорогой господин немец. Я, можно сказать, чужеземец и не понимаю вашего языка. Я сбежал от конституции, лежу, понимаете, лицом в грязи. Поверьте, я не затруднил бы вас, если бы, как сказано в Священном писании, «вода не дошла бы до горла». Не милостыню прошу я. Упаси бог! Нет, я ищу работу, любую работенку, дело какое-нибудь, чтобы не умереть с голоду, прошу рахмим¹, то есть сжальтесь...

Немец выслушал его до конца и сказал, что о такой улице он ничего не знает, извинился и пошел своей дорогой. Второй немец тоже выслушал его и, не проронив ни слова, ушел. Третий немец рассердился, что у него отнимают драгоценное время, и отругал «зачумленное семечко». Четвертый немец не стал его слушать и пригрозил, что позовет шуцмана².

После этого наш герой резко изменил свое мнение о немцах и их свободной стране и возненавидел их лютой ненавистью.

3

Во сто крат больше Пинхас Пинкус возненавидел нюрнбергских евреев и их раввина, доктора и проповедника, который требовал у него объяснения, почему он бедняк, плохо одет и не разговаривает по-немецки.

Пинхас Пинкус дерзко возразил ему:

— Господин король! На ваши вопросы я отвечу по порядку. Вы правы, я действительно бедняк и хожу оборванцем. Всевышний, правда, хотел меня одарить деньгами, но я ему сказал: ты лучше отдай их Мендельсону*, он ведь выкрест и лишен удела в царстве

¹ Ра х м и м — милосердие (*древнееврейск.*).

² Ш у ц м а н — полицейский (*нем.*).

небесном. Что касается моей еврейской речи, от которой вас с души воротит, то я хотел бы видеть вас в моем положении: с вашим немецким языком где-нибудь у нас — в Москве или Бердичеве. Вот тогда бы вы узнали, какого бога мы имеем.

Нашему герою посчастливилось, так как раввин из всего сказанного понял только несколько слов: деньги, Мендельсон, Москва. И нюрнбергский «рабби» отчитал его за то, что он вмешивается в русскую политику и критикует Мендельсона, поддерживающего Москву финансами. «В этом ваше несчастье, — толковал раввин бедному эмигранту, — что вы лезете туда, куда вам не положено. Потому вас и бьют и изгоняют, а нам, немецким евреям, приходится здесь из-за вас стыдом и срамом умыться». И еще много подобных и умных слов исторгли уста раввина, доктора и проповедника, но все напрасно, ибо Пинхас ничего в них не понял...

После неоднократных оскорблений Пинхас добился от нюрнбергской общины небольшого займа для закупки «печатного слова», авось это даст ему какой-нибудь заработок.

И был день. На имя Пинхаса прибыла посылка с разными книгами: молитвенниками, Библиями, «Сказаниями о пасхе» и еврейскими календарями. Не зря он прожил некоторое время среди нюрнбергских братьев. Одно он усвоил: из всей еврейской литературы календари здесь — товар первой руки. Потому в первой посылке было много календарей. Распродав свой товар в течение одного дня, он выписал еще одну посылку с календарями, и их он немедленно превратил в наличные деньги.

С тех пор наш Пинхас Пинкус пошел в гору, то есть начал ходить от городка к городку с книгами за плечами, больше всего с календарями бердичевского, виленского и варшавского изданий. Однако главным местом продажи оставался Нюрнберг. Здесь не было еврея без календаря, ибо еврей-нюрнбержец, покупая календарь, полагал, что этим он трижды творит добро. Во-первых, он приносит в дом еврейскую книгу. Во-вторых, способствует распространению еврейской литературы. В-третьих, обогащает бедного еврея.

А бедный еврей преуспевал. В первом году он реализовал десятки календарей, во втором — сотни, в третьем собирался продать тысячи. Может быть, и больше.

Кто знает? Обидно, что товар свой он должен за наличные выписывать из России. Разумеется, лучше было бы, если можно было бы его печатать здесь, на месте. И наш продавец календарей Пинхас Пинкус задумал комбинацию, интересный план, чертовски гениальный план.

4

Однажды в погожий день наш экспортер календарей Пинхас Пинкус после сытного обеда в еврейском ресторане прочищал зубы. Его мозг активно работал, и разношерстные глаза его заговорили. Чтобы разузнать, о чем же думал Пинхас, мы предоставляем слово его глазам (допустим на минуту, что глаза умеют разговаривать):

— Надо выписать большую партию календарей к году тарсах... *

«Во сколько это обойдется?» — подумал маленький.

— Целое состояние! — ответил большой.

— Грех божий! — воскликнул маленький.

— Нарушение божьей заповеди «не истребляй!», — негодовал большой.

— Хорошо бы достать для них старые календари, — решил маленький.

— Со времен Тераха *, лишь бы календари, — подсказал большой.

— Нюрнбергские знатоки, — усмехнулся маленький.

— Выдающиеся ученые, большие головы, острые умы, — шутил большой.

— Но даты будут искажены, — заволновался маленький.

— Право, не беда, — успокоил большой.

— Так им и надо! — решил маленький.

— Черт с ними! — выругался большой.

— Все равно жрут трэфное. Одним словом, немцы! — совсем успокоился маленький.

— Фрицы! — хихикнул большой.

— А сколько крови моей они выпили, пока я выбрался на дорогу, — сердито сказал маленький.

— Пусть мор их возьмет! — заключил большой.

И Пинхас Пинкус позвал кельнера и распорядился: «Эй, ты, немец из немцев, подай мне горшочек сметаны!» Это означало, что он просит кружку пива.

Осушив кружку, наш продавец календарей составил

домой письмо, точную копию которого мы здесь приводим:

«...И дальше пишу я вам, мой дорогой друг, будьте так добры и запакуйте возможно больше старых календарей, лучше года тармах *, здесь на них большой спрос. Немцы покупают старые марки и старые календари. Они, конечно, платят за них гроши, но все же это лучше, чем вашим календарям сгнить у вас на чердаке или чтобы мыши их грызли. Когда вы упакуете старые календари, будьте добры их взвесить и по весу выслать наложным платежом. Смотрите же, запакуйте, ради бога, все старые календари, столько, сколько у вас есть, больше всего года тармах. Я это делаю почти только для вас, ибо знаю, что у вас валяются старые календари, а потому хочу вам дать заработать. Другому я не пишу, только вам, потому что дорожу вашей дружбой. Помните же, ради бога, побольше старых календарей, и я приветствую вашу жену и ваших детей. С почтением *Пинхас Пинкус*».

Запечатав письмо, он еще раз позвал официанта: «Слушай, немец из немцев, еще горшочек сметаны!..»

Осушив вторую кружку пива, наш календарный комбинатор написал еще одно письмо, к другому книго-торговцу:

«...Во-вторых, пишу я вам, что я здесь выцарапал одного немца, покупателя старых календарей, только года тармах. Если они у вас имеются, пошлите их мне немедленно. Считайте только вес бумаги, я ведь тоже должен что-то заработать. И пишу только вам, потому что я знаю, что только у вас имеются старые календари. Я очень занят, потому пишу кратко... Ваш *Пинхас Пинкус*».

И еще одно письмо он отправил в совсем другой город:

«...Во-вторых, пишу я вам, что я в этом году могу купить у вас календари только с одним условием: к каждому новому календарю года тарсах вы должны мне приложить три старых календаря года тармах бесплатно. Потому что я нашел несколько немцев, изучающих погоду по старым календарям прошедших лет. Просьба к вам выслать мне все старые календари года тармах, то есть в приложении к трем старым календарям один новый по принятой цене.

От меня, друга вашего *Пинхаса Пинкуса*».

Вот такие письма были отправлены в разные города еще к нескольким книготорговцам. Наш календарный король Пинхас Пинкус расплатился с кельнером, нагруженный книгами и покинул ресторан как человек, который задумал важное дело.

5

Прошедший год, 5667-й, был для нюрнбергских евреев прибыльным годом. У всех, от первого фабриканта до последнего ремесленника, были удачные дела. Все, от большого комиссионера до маленького домовладельца, заработали много денег. Все радовались и были довольны, что маленький «польский еврей» зарабатывает у них деньги календарями на год тарсах...

И нюрнбергское еврейское население стало жить в текущем году тарсах (5668) по календарю тармах (5648), справляли поминки, праздновали бармице и зажигали ханукальные свечи, ели гоменташа * в пурим, а главное, начали готовиться к святой пасхе и печь мацу согласно датам старого календаря. Справляли первый сейдер, затем в следующий вечер справляли второй сейдер, и так прошла бы пасха, а может быть, даже и куши, если бы не приключилась такая история (у всех писателей во всем мире должна же приключиться история).

Вот какое случилось происшествие.

Один аптекарь должен был поехать из Нюрнберга в Берлин за товаром. На третий день пасхи он приехал в Берлин, голодный с дороги, как волк. Читатель, вероятно, помнит, что еврей-нюрнбержец, будь он даже аптекарем, или дантистом, или хуже того, в пасху ни за какие миллионы не будет есть хлеба. Весь год он может жрать свинину, раки и любое другое тrefное блюдо, но как только начинается святая пасха, немецкий еврей становится крайне набожным. Он скорее умрет с голоду, чем притронется к хлебу в пасху. Вы можете это назвать фанатизмом, но изменить это вам не удастся.

Итак, прибыв в Берлин, наш аптекарь прежде всего пошел искать еврейский ресторан. На Фридрихштрассе он увидел слово «кошерное» и очень обрадовался. Вошел в ресторан и не успел сесть за столик и посмотреть меню с пасхальными блюдами, как из-под земли вырос перед

ним официант, здоровый парень с напомаженными волосами и колючими усами а-ля Вильгельм Второй. Официант держал в руках тарелку, а на тарелке, представьте себе, гоменташ.

Наш аптекарь чуть в обморок не упал. Что это значит? Кошерная пасха и пирог с маком! Если бы аптекарь не был смертельно голоден, он подумал бы, что это сон. Официант заметил, что гость странно на него смотрит, погладил свои усы а-ля Вильгельм Второй и с дружеской улыбкой сказал ему:

— Праздник, праздничное блюдо! Кошерное к празднику пурим!..

Наш аптекарь еще больше растерялся. Блюдо для праздника пурим? Как это понять?

Официант ушел, и на его месте уже стоял хозяин ресторана, элегантно одетый немец с очень милой улыбкой на толстых губах. Между хозяином и гостем завязался очень интересный разговор, из которого мы передаем самое важное. Хозяин ресторана поздравил гостя с праздником пурим, а гость хотел убедить хозяина в том, что сегодня действительно праздник, но не пурим, а пасха. Вначале хозяин думал, что гость просто весельчак и веселится по случаю праздника пурим, потому он очень вежливо захохотал. Гостю хихиканье хозяина не понравилось, и разговор принял серьезный оборот. Гости из ресторана пытались вмешаться в громкий и напряженный диалог. Это задело нашего аптекаря. Можно, сказал он, конечно, быть евреем и есть хлеб в пасху, но зачем вмешиваться в чужие разговоры? Это не по немецкому этикету... Один джентльмен с красивыми бакенбардами, чуть седовласый, язвительно спросил у аптекаря: «Откуда вы, господин?» А когда узнал, что господин из Нюрнберга, издал странный протяжный звук «а-а-а» и наклонился над тарелкой...

Если бы наш нюрнбергский герой не был так голоден, он джентльмена с бакенбардами угостил бы как следует за это «а-а-а». Во-первых, он предъявил бы ему свою визитную карточку «доктора фармакологии в Нюрнберге», затем он потребовал бы от джентльмена с бакенбардами предъявить свою визитную карточку... Что дальше было бы, не знаю, я ведь не ясновидец. Как было в действительности, об этом расскажу. А было вот что: нюрнбергский провизор ушел обиженный в другой ресторан, тоже

еврейский, но и там была та же картина: тот же пирог с маком и тот же «кошерный» обед в честь праздника пурим. Окончилась вся история тем, что наш аптекарь ушел в обыкновенный ресторан и заказал обыкновенный обед «согласно меню». Он подумал: «Раз можно есть не пасхальное, так хорошо бы и не кошерное!..»

6

Одно из наиболее полезных открытий в наш век — это телефон. Благодаря телефону весь Нюрнберг в течение получаса узнал, что столица Германии Берлин опоздала с празднованием еврейской пасхи почти на месяц. В Нюрнберге уже четвертый день пасхи, а в Берлине только празднуют пурим! Нюрнбергская община так переполошилась, что хотела узнать, что скажет «наш рабби». И они ушли к раввину, доктору и проповеднику, и застали его в тот момент, когда тот сидел за столом и писал телеграмму в Берлин своему коллеге, тоже раввину, тоже доктору и тоже проповеднику. Он просил коллегу немедленно протелеграфировать, какой же нынче праздник в Берлине. В тот же день раввин получил точный ответ из Берлина: пурим... По телефону раввин известил весь город и просил каждого в отдельности посмотреть в календарь и проверить дату. Нюрнбержцы стали изучать календарь с такой страстью, будто хотели узнать, когда наступит конец света.

От правды уйти нельзя. Нюрнберг очень хороший город, и его еврейские жители очень порядочные люди. Но одно к другому не имеет отношения. Ученых людей, разбирающихся в календаре, там нет. Единственный ученый, который понимает еврейское слово, это человек с прославленным именем, Матиас Дрейфус.

Мы предупреждаем читателя, чтобы он не ошибся и не подумал, будто этот Матиас Дрейфус брат нашего всемирно известного мученика майора Альфреда Дрейфуса *. Нет, нюрнбергский Матиас Дрейфус — шамес хоральной синагоги и резник. Почему у него такое имя — не спрашивайте. В этом же Нюрнберге проживает бедный еврей, зарабатывающий себе на жизнь пением заупокойных молитв, и он носит имя — Натаниел Ротшильд. Или есть в Нюрнберге сапожник, калека к тому

же, и ему не стыдно называться — Генрих Гейне *. И парикмахер здесь есть, у которого на вывеске нарисована женщина в рыжем парике, а под рисунком большими буквами написано — Людвиг Берне *. Еще не хватало бы чистильщика сапог по имени Барух Спиноза... Но возвращаемся к нашему Матиасу Дрейфусу, к шамесу хоральной синагоги.

Когда Матиас Дрейфус услышал историю, которую аптекарь привез с собой из Берлина, он начал рыться в календаре, как полагается ученому, шамесу и резнику, которого к тому же зовут Дрейфус. Он долго копался, пока не докопался. По его счету, черт побери, этот год — високосный! Доказательство: Фридрих Шпильгаген, хотя он христианин, но играет у евреев по праздникам в хоральной синагоге на органе, так вот он говорит, что у них тоже этот год високосный!

С этим важным обоснованием ученый Дрейфус направился к раввину, к доктору и проповеднику. Они оба сели исследовать календарь сызнова, и тут началась катастрофа. Оба узрели, что их календарь не тарсах (5668 года), а тармах (5648 года), то есть календарь двадцатилетней давности!..

Автор этих правдивых строк благодарит читателя за то, что он выслушал эту историю почти до конца. Писатель доверяет фантазии читателя и дает ему возможность представить себе, что творилось в Нюрнберге, когда евреи узнали от самого раввина, что они заблаговременно отпраздновали пасху и что им придется вновь ее праздновать. Слова — как, к примеру, срам, позор, стыд, разочарование, возмущение, ошеломление, злоба и прочие — банальны, самое верное слово было бы, кажется, смятение... Подумайте, целое полугодие город прожил по календарю двадцатилетней давности! Отмечал праздники не в урочное время, ел мацу тогда, когда все евреи избивали Амана, устраивал бармицве и поминки не в срок. И кому он этим обязан? Какому-то еврею, недотепа, эмигранту. «Ох, этот польский еврей, — говорили нюрнбержцы, — пусть он только появится в Нюрнберге со своей котомкой книг, сухим от нас он не уйдет».

А тем временем «польский еврей», наш книгоноша Пинхас Пинкус, вместе с другими людьми, выброшенными из жизни, уже находился на огромном пароходе,

который медленно и шумно отплыл от Гамбурга и направился к берегам Нью-Йорка. Денег, которые ему удалось выколлотить «у немцев», ему хватило только на билет, который дает право добраться до «золотой страны», открытой Колумбом для того, чтобы бедные евреи всего мира, гонимые и преследуемые, ограбленные и растоптанные, могли с большим трудом, но зато с честью зарабатывать себе на кусок хлеба...

Пожелаем ему счастливого пути и веселой пасхи.



ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Юношеский роман

Первая часть

БУЗЯ

1

Бузя — сокращенное имя: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. Она старше меня на год или на два, а обоим нам нет и двадцати. Теперь потрудитесь посчитать, сколько лет мне и сколько Бузе. Но я думаю, что это не важно. Лучше я расскажу вам вкратце ее биографию.

Мой старший брат Бенья жил в деревне, арендовал мельницу. Он отлично стрелял из ружья, ездил верхом

и плавал, как рыба. Однажды летом он купался в реке и утонул. На нем сбылась поговорка: «Все хорошие пловцы тонут».

Он оставил нам мельницу, пару лошадок, молодую вдову и ребенка. От мельницы мы отказались, лошадей продали, молодая вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко, а ребенка привезли к нам.

Это и была Бузя.

2

Что отец мой любит Бузю, как родное дитя, а мать моя дрожит над нею, как над единственной дочерью, — это легко понять. В ней они нашли утеху после тяжкого потрясения. Но я? Когда я прихожу из хедера и не застаю Бузи, почему у меня кусок застревает в горле? А стоит Бузе показаться — и сразу светло становится во всем доме. А когда Бузя говорит со мною, я опускаю глаза. А когда Бузя смеется надо мной, я плачу. А когда Бузя...

3

Я с нетерпением поджидал, когда придет милый, славный праздник пасхи. Я буду свободен. Буду играть с Бузей в орехи, бегать по двору, мчаться с горы вниз, к речке. Там я покажу ей, как пускают «уточек» по воде. Когда я говорю ей об этом, она не верит мне, смеется. Бузя вообще не верит ни единому моему слову. Она, правда, ничего мне не говорит, но она смеется. А я не люблю, когда надо мной смеются. Бузя не верит, что я могу вскарабкаться на самое высокое дерево (стоит мне только захотеть!). Бузя не верит, что я умею стрелять (было бы только из чего!). Вот пусть наступит пасха, милая, славная пасха, когда можно будет играть на улице, на вольном воздухе, не на виду у родителей, — я ей покажу такие штуки, что она ахнет от удивления.

4

Наступил милый, славный праздник пасхи.

Нас обоих нарядили к празднику во все новое. Все, что надето на нас, блестит, сияет, шуршит. Я гляжу на

Бузю и вспоминаю «Песнь Песней», которую я перед пасхой учил в хедере. Вспоминаю строфу за строфой:

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои как два голубя, волосы подобны козочкам, спускающимся с горы, зубки — белоснежные ягнята, вышедшие из реки, один к одному, словно одна мать их родила. Алая лента — уста твои, и речь твоя слаще меда».

Скажите мне, почему, глядя на Бузю, невольно вспоминаешь «Песнь Песней»? Почему, когда учишь «Песнь Песней», на ум приходит Бузя?

5

Чудесный предпасхальный день. Ясный, теплый день.
— Пойдем, Шимек?

Так спрашивает меня Бузя, и я чувствую, что весь горю. Мать не пожалела нам орехов. У нас полные карманы орехов. Но она взяла с нас слово, что мы до трапезы не будем их есть. Играть — сколько душе угодно. Мы отправляемся, орехи гремят в кармане. На улице хорошо. На улице славно. Солнце уже где-то далеко на небе, спускается вниз за городом. Кругом широкая, вольная, мягкая даль. Местами на горке, что за синагогой, пробивается травка, зеленая, свежая, трепещущая. Со свистом и щебетаньем проносится над нашими головами ровная ниточка маленьких ласточек, и снова я вспоминаю «Песнь Песней»: «Травка показалась на земле, наступило время соловья, и ранний голос певца весны уже слышен в наших местах». Я чувствую себя странно легким, мне кажется, у меня выросли крылья: вот я поднимусь ввысь и полечу.

6

Из города доносится приглушенный шум. Суета, беготня, галдеж. Канун пасхи! Чудесный предпасхальный день. Ясный, теплый день.

Весь мир в моих глазах предстал сейчас в новом облике. Наш двор — замок. Наш дом — дворец. Я — принц. Бузя — принцесса. Бревна, что свалены возле нашего дома, — это кедры и буки, которые упоминаются в

«Песни Песней». Кошка, которая лежит у дверей и греется на солнце, — одна из «полевых ланей», про которых упоминается в «Песни Песней». Гора, что за синагогой, — это гора Ливанская, которая упоминается в «Песни Песней». Женщины и девушки, которые сейчас на дворе моют, гладят, чистят к пасхе, — дочери иерусалимские, что упоминаются в «Песни Песней». Всё, всё из «Песни Песней».

Иду, засунув руки в карманы, потряхиваю орешками. Орехи гремят. Бузя идет рядом со мною. Я не могу идти медленно, меня тянет ввысь. Мне хочется лететь, парить, нестись, подобно орлу. Я бросился бежать. Бузя бежит за мной. Я прыгаю по сложенным бревнам, с бревна на бревно, Бузя прыгает за мной. Я вверх — она вверх, я вниз — она вниз. Кто скорее устанет? Я угадал.

— До каких же это пор? — спрашивает меня Бузя, и я отвечаю ей словами из «Песни Песней»:

— «Пока не погаснет светило дня и не исчезнут тени с земли». Та-та-та! Ты устала, а я нет!

7

Я счастлив, что Бузя не умеет того, что я умею. И в то же время мне жалко ее. Сердце мое сжимается от жалости. Мне кажется, что она грустна. У Бузи всегда так: весела, весела, а вдруг забьется в уголок и плачет тихонько. Как бы ее тогда ни утешала мать, как бы ее ни ласкал отец — ничего не поможет. Бузе нужно поплакать. О ком она плачет? Об отце ли, что так рано умер? Или о матери, которая вышла замуж, уехала и забыла о ней? Ах, эта мать! Когда при Бузе вспоминают о матери, она меняется в лице. Она не уважает своей матери, она не скажет дурного слова о ней, но она ее не уважает. Я это знаю наверное. Я не переносу, когда Бузя грустна. Я сажусь рядом с нею на бревнах и стараюсь рассеять ее грустные мысли.

8

Я держу руки в карманах, громыхаю орехами и говорю ей:

— Угадай, что мог бы я сделать, если бы захотел?

— А что мог бы ты сделать?

— Захочу, и все твои орехи перейдут ко мне.

— Ты их выиграешь у меня?

— Нет, я и не подумаю играть.

— Что же, ты их силой отберешь?

— Нет, они сами ко мне перейдут.

Она поднимает на меня свои большие глаза, прекрасные голубые глаза из «Песни Песней».

Я говорю ей:

— Ты, наверно, думаешь, что я шучу? Я знаю, глупенькая, такой заговор. Скажу слово такое...

Она еще шире раскрывает глаза. Я чувствую себя великим героем, я объясняю ей, как большой, как герой:

— Мы, мальчики, все умеем. У меня в хедере есть товарищ, Шайка-слепой (он слепой на один глаз), он все знает. Нет такой вещи в мире, которой Шайка не знал бы, даже кабалу*. А ты знаешь, что такое кабала?

Нет, откуда ей знать? Я чувствую себя на седьмом небе, оттого что могу ей прочесть лекцию о кабале.

— Кабала, глупенькая, это такая вещь, которая может пригодиться. С помощью кабалы я могу устроить так, чтобы я тебя видел, а ты меня — нет. С помощью кабалы я могу добывать вино из камня и золото из стены. С помощью кабалы я могу устроить так, чтобы мы оба, вот как сидим здесь, поднялись бы ввысь до самых облаков, даже выше облаков!..

9

Подняться с Бузей с помощью кабалы ввысь до самых облаков и даже выше облаков и улететь с ней далеко-далеко за океан — это было одним из заветнейших моих мечтаний. Там, за океаном, начинается страна карликов, потомков богатырей времен царя Давида. А карлики ведь очень славные человечки. Питаются они одними сладостями и миндальным молоком, по целым дням играют на маленьких свирелях, пляшут и водят хороводы, ничего не боятся и очень гостеприимны. Заедет к ним кто-либо из «наших», они его кормят, и поят, и дарят ему лучшие одежды и множество золотой и серебряной утвари, а перед отъездом набивают ему

полные карманы алмазов и брильянтов, которые валяются у них, как у нас, скажем, мусор на улицах.

— Как мусор на улицах? Неужели? — спрашивает меня однажды Бузя, когда я ей рассказываю о карликах.

— Ты не веришь?

— А ты веришь?

— А почему бы нет?

— Где ты слышал об этом?

— Как это где? В хедере.

— А! В хедере...

Все ниже и ниже опускается солнце и окаймляет небо багряной полосой чистейшего золота. Золото отражается в глазах Бузи — они купаются в золоте.

10

Мне очень хочется, чтобы Бузя пришла в восторг от могущества Шайки и от тех фокусов, что я могу сделать с помощью кабалы. Но Бузя и не думает восторгаться. Наоборот, мне кажется, она смеется. А иначе — почему же она показывает мне свои жемчужные зубки? Меня это начинает сердить, и я говорю ей:

— Ты, может, не веришь мне?

Бузя смеется.

— Ты, может, думаешь, что я хвастаю? Что я сочиняю?

Бузя смеется еще громче. А! Если так, я ее прочту! Уж я знаю чем. Я говорю:

— Как жаль, что ты не знаешь, что такое кабала. Знай ты, что такое кабала, ты не смеялась бы. С помощью кабалы я могу, если захочу, привести сюда твою мать. Да, да. И если ты будешь очень просить, я приведу ее к тебе сегодня же ночью, верхом на палке.

Разом обрывается смех. Облачко пронеслось по ее прекрасному, светлому личику. И мне кажется, будто солнце внезапно скрылось. Нет солнца. День ушел. Боюсь, что я слишком увлекся. Не надо было затрагивать больное место — мать. Я жалею об этом. Надо загладить свою вину. Надо с ней помириться. Я придвигаюсь к Бузе поближе; она отворачивается от меня; хочу взять ее за руку, хочу сказать ей словами «Песни Песней»: «Оглянись, оглянись, Суламифь».

— Обернись ко мне, Бузя!..

Вдруг слышу голос из дома:

— Шимек! Шимек!

Шимек — это я. Это мать зовет меня идти с отцом в синагогу.

11

Отправиться с отцом в ночь под пасху в синагогу — есть ли большая радость! Уж одно это чего стоит, что ты одет с головы до ног во все новенькое и тебе есть чем похвастать перед товарищами! Или взять молитвы! Первая пасхальная «Вечерняя»! Первое праздничное «Да святится»! Ах, сколько удовольствий милостивый бог уготовил для нашего народа!

— Шимек! Шимек!

Матери моей некогда. «Иду, иду, уже иду! Мне только два слова сказать Бузе, всего лишь два слова...»

И я говорю ей свои два слова. Я сознаюсь ей в том, что сказанное мною только что — неправда. Заставить с помощью кабалы кого-либо летать — невозможно. Сам полететь — это я могу, и это я ей покажу. Вот только пройдут праздники, и я сделаю первую пробу. На ее глазах я поднимусь вверх, вот с этого самого места, где бревна лежат, и в одну минуту буду выше облака. Оттуда я возьму вправо, туда — видишь! Там кончается все и начинается Ледовитый океан.

12

Бузя внимательно слушает. Солнце посылает свои последние лучи, целует на прощание землю.

— А что такое Ледовитый океан? — спрашивает Бузя.

— Не знаешь, что такое Ледовитый океан? Ледовитый океан — это застывшее море. Вода там густая, как студень, и соленая, как селедочный рассол. Корабли по тому морю не ходят, а люди, которые туда попадают, обратно уже никогда не возвращаются.

Бузя смотрит на меня широко раскрытыми глазами.

— Зачем тебе идти туда?

— Разве я пойду, глупенькая? Я ведь лечу. Лечу по поднебесью, как орел. В несколько минут я ведь

снова на суше. А там начинаются двенадцать высоких гор, которые пышут огнем; на двенадцатую гору, у самой вершины, я спущусь, пройду пешком семь миль и доберусь до дремучего леса. Иду все лесом да лесом, пока не приду к маленькому ручейку. Ручеек переплыву и отсчитаю семь раз по семь. Тогда предстанет передо мной древний старичок с длинной бородой и спросит меня: «Скажи, чего ты желаешь?» И я скажу ему: «Отведи меня к царевне».

— К какой царевне? — спрашивает меня Бузя, и мне кажется, что она испугалась.

— Царевна — это прекрасная принцесса, которую украли из-под венца, околдовали и посадили в хрустальный замок, вот уже семь лет...

— А тебе-то что до нее?

— Как это, что мне до нее? Ведь я должен ее освободить.

— Ты должен ее освободить?

— А кто же?

— Не надо летать так далеко. Послушай меня, не надо...

13

Бузя берет меня за руку, и я чувствую, что ее маленькая белая ручка холодна.

Я смотрю ей в глаза и вижу, как в них отражается золотое солнце, которое прощается с днем, с первым ясным, теплым предпасхальным днем. Мало-помалу день умирает. Точно свеча, гаснет солнце. Шум, стоявший весь день, молкнет. На улице уж не видать ни живой души. В окнах домов показываются огоньки праздничных свечей. Странная торжественная тишина окружает нас, меня и Бузю, и мы чувствуем себя крепко слившимися с этой праздничной тишиной.

— Шимек! Шимек!

14

Уже в третий раз мать напоминает, что мне пора в синагогу. Да разве я сам не знаю, что мне пора в синагогу. Посижу еще минуту, одну минуту, не больше. Но Бузя услышала, что меня зовут, она вырывает руку, поднимается и торопят меня:

— Шимек, это тебя зовут, тебя! Иди, иди, пора уже! Иди, иди!

Я собираюсь уходить. День улетел. Погасло солнце. Золото превратилось в кровь. Ветерок подул, легкий, прохладный. Бузя торопит меня — иди!

Я бросаю на нее последний взгляд. Совсем не та Бузя. Иной вид, иную прелесть приобрела она в моих глазах в этот зачарованный вечер. «Заколдованная принцесса», — проносится у меня в голове. Но Бузя не дает мне долго думать. Она торопит меня, торопит меня. Я иду и оглядываюсь на заколдованную принцессу, которая целиком слилась с этим волшебным пасхальным вечером. И я остаиваюсь, зачарованный. Но она машет мне рукой: «Иди, иди!» И мне кажется, я слышу ее голос, она говорит мне словами «Песни Песней»: «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических...»

Вторая часть

ЗА ЗЕЛЕНЬЮ

1

— Скорее, Бузя, скорее! — говорю я Бузе в канун праздника швуэс, беру ее за руку, и мы быстро взбираемся на гору. — День не ждет, глупенькая. Нам надо пройти вон какую гору, а за горой еще речка. Через речку положено несколько бревен — это мостик. Река течет, лягушки квакают, бревна под ногами качаются, и лишь там, за мостиком, начинается настоящий рай, Бузя! Там начинаются мои владения.

— Твои владения?

— Нет, левада. Большой луг, который тянется, тянется без конца, без краю, покрытый зеленым ковром, расшитый желтыми ромашками, красными цветочками расцвеченный. И какие там запахи, тончайшие в мире благоухания! И деревья там есть у меня: и нет им числа, высокие, ветвистые деревья. Там есть у меня горка, на которой я сижу. Хочу — сяду, захочу — скажу волшебное слово и полечу, подобно орлу, выше тучи, над полями, лесами, через моря и пустыни, пока не перелечу за Черные горы.

— А оттуда? — перебивает меня Бузя. — Ты прой-
дешь пешком семь миль и придешь к ручейку...

— Нет, к дремучему лесу... Раньше я иду все лесом
да лесом и лишь потом приду к ручейку...

— Ручеек переплывешь и отсчитаешь семь раз по
семь...

— Предстанет предо мной древний старичок с длин-
ной бородой.

— Он спросит тебя: «Скажи, чего ты желаешь?»

— И я скажу ему: «Отведи меня к царевне...»

Бузя вырывает свою руку из моей и мчится вниз
с горы. Я бегу за ней.

— Бузя, чего ты так бежишь?

Бузя не отвечает, Бузя сердита. Она не любит ца-
ревны. Все сказки она любит, только не про царевну...

2

Кто такая Бузя — вы, должно быть, помните. Я вам
уже однажды рассказывал о ней. Но если вы забыли,
я повторю еще раз.

У меня был старший брат Бенья. Он утонул. Он
оставил водяную мельницу, молодую вдову, пару ло-
шадок и ребенка. От мельницы мы отказались. Лоша-
док продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то
далеко. А ребенка забрали к нам.

Это и была Бузя.

Ха-ха-ха! Все думают, что мы с Бузей брат и сестра:
моего отца она зовет отцом. Мою мать — матерью.
И мы живем, словно брат и сестра, и любим друг друга,
как брат и сестра.

Как брат и сестра? Почему же Бузя меня сты-
дится?

Однажды произошло у нас вот что. Мы остались
одни, совершенно одни во всем доме. Дело было перед
вечером, уже стемнело. Отец ушел в синагогу читать
поминальную молитву по покойному брату Бене, а
мать пошла куда-то за спичками. Мы с Бузей забра-
лись в уголок, и я рассказывал ей сказки. Прекрасные
сказки из хедера, сказки из «Тысячи и одной ночи».
Она придвинулась ко мне совсем близко. Ее рука в
моей руке.

— Говори, Шимек, говори!

Тихо спускается ночь. Медленно взбираются по стенам тени, дрожат, ползут по земле и расплываются. Мы едва видим друг друга, но я чувствую — ее ручка дрожит, слышу — сердечко стучит, вижу — глазки блещут в темноте. Вдруг она вырывает свою руку из моей. «Что такое, Бузя?» — «Нельзя». — «Чего нельзя?» — «Нельзя нам держаться за руки». — «Почему? Кто тебе сказал?» — «Сама знаю». — «Разве мы чужие? Разве мы не брат и сестра?» — «Ах, если бы мы были брат и сестра!» — тихо говорит Бузя, и в ее словах мне слышится отзвук «Песни Песней»: «О, если бы ты был брат мой!»

Вечно вот так: когда я говорю о Бузе, мне вспоминается «Песнь Песней».

3

На чем мы остановились? Канун швуэс. Мы мчимся с горы. Впереди Бузя, за нею я. Бузя сердится на меня за царевну. Все сказки она любит, только не про царевну. Не беспокойтесь, однако, гнев Бузи длится недолго. Вот она уже снова смотрит на меня своими большими, ясными, задумчивыми глазами. Она отбрасывает волосы назад и говорит мне:

— Шимек! Ой, Шимек! Посмотри-ка, посмотри! Небо-то какое! Посмотри, как чудесно кругом!

— Я вижу, глупенькая, конечно, вижу! Вижу небо, чувствую теплый ветерок, слышу, как птички поют, и щебечут, и носятся над нашей головой. Это наше небо, наш ветерок, наши птички — все наше, наше, наше! Дай свою руку, Бузя!

Нет, она не дает мне руки, она стыдится. Почему Бузя стыдится меня? Отчего она покраснела?

— Там, — говорит мне Бузя и убегает вперед, — там, когда будем за мостиком.

И мне кажется, она говорит словами Суламифи из «Песни Песней»: «Приди, возлюбленный! Выйдем в поле, побудем в селах! Ранним утром пойдем в виноградники. Посмотрим, распустились ли виноградные лозы, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки?»

И вот мы у мостика.

Река течет, лягушки квакают, бревна качаются, и Бузя дрожит.

— Ах, Бузя, какая ты... чего ты боишься, глупенькая? Держись за меня, или давай я тебя обниму. Я тебя, а ты меня. Видишь? Вот так.

Мостик кончился.

И так, обнявшись, мы идем вдвоем, одни по этому раю. Бузя держится за меня крепко-крепко. Она молчит. Но мне кажется, она говорит словами «Песни Песней: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне...»

Левада обширна, она тянется без конца, без краю, зеленым ковром покрыта, желтыми ромашками расшита, красными цветочками расцветена. И какие здесь запахи слышатся — тончайшие в мире бальзамы! И мы идем, обнявшись, одни по этому раю.

— Шимек! — говорит мне Бузя, смотрит мне прямо в глаза и придвигается ко мне еще ближе. — Когда же мы будем рвать зелень для праздника?

— День еще велик, глупенькая! — говорю я ей и весь пылаю. Я не знаю, на что мне раньше глядеть: на голубой купол неба, или на зеленый ковер широкого луга, или туда, на край света, где небо сливается с землей? Или на светлое личико Бузи глядеть, в ее милые большие глаза, которые кажутся мне глубокими, как небо, и задумчивыми, как ночь? Ее глаза всегда задумчивы. Глубокая печаль затаилась в них. Тихой грустью подернуты они. Я знаю ее печаль, мне знакома ее грусть. Великое горе затаила она в груди — обиду на мать, которая вышла замуж за чужого человека и уехала от нее навсегда, навеки, — будто никогда у нее и не было матери. Моя мать — ее мать, мой отец — ее отец. И они любят ее, как родное дитя, дрожат над нею, потворствуют всем ее прихотям. Нет у них ничего слишком дорогого для Бузи. Бузя сказала, что хочет пойти со мною нарвать зелени на праздник (это я ее натолкнул на эту мысль). Отец посмотрел поверх своих серебряных очков, погладил серебряные нити своей серебряной бороды и спросил у матери: «Как ты думаешь?» И вот начинается разговор между родителями о нашей прогулке за город.

Отец. Как ты думаешь?

Мать. А ты как думаешь?

Отец. Отпустить их погулять?

Мать. Отчего б и не отпустить?

Отец. Гм... Разве я говорю?

Мать. А что же ты говоришь?

Отец. Я лишь спрашиваю: стоит ли их отпускать?

Мать. Отчего бы им не пойти?

И так дальше. Я знаю, в чем тут заминка: раз двадцать напоминает мне отец, а за ним и мать, что там есть мостик, а под мостиком — вода, речка, речка, речка...

5

Мы, я и Бузя, давно уже забыли про мостик, про воду, про речку... Мы мчимся по широкому, вольному лугу, под широким, вольным небом. Мы бежим по зеленому лугу, падаем, кувыркаемся в душистой траве. Встаем, падаем, кувыркаемся снова и снова. А зелень для праздника мы еще и не начинали рвать.

Я веду Бузю вдоль и поперек луга, расхваливаю перед ней свои владения:

— Видишь вот эти деревья? Видишь этот песочек? Видишь эту горку?

— И все это твое? — говорит мне Бузя, и глаза ее смеются.

Мне досадно, что она смеется. Вечно она смеется надо мной. Я надулся и отворачиваюсь. Бузя догадывается, что я сержусь. Она заходит спереди, заглядывает мне в глаза, берет меня за руку и говорит мне: «Шимек!» Обида исчезает, и все забыто. Я беру ее за руку и веду к моей горке, туда, где я сижу каждый год. Хочу — сижу, хочу — скажу колдовское слово и лечу, как орел, выше тучи, над полями и лесами, через моря и пустыни...

6

Там, на горке, сидим мы, я и Бузя (зелень к празднику мы все еще не нарвали), и рассказываем сказки.

То есть я рассказываю, а она слушает. Я рассказываю ей о том, что будет когда-то с нами, когда я буду большой, и она большая, и я ее засватаю... Мы тогда

поднимемся, с помощью колдовского слова, выше тучи и облетим весь мир. Прежде всего мы полетим в те земли, где побывал Александр Македонский*. Потом мы полетим в святую землю, побываем там на всех горах бальзамических, во всех виноградниках, набьем карманы рожками, винными ягодами, финиками, оливами и улетим оттуда еще дальше, дальше. И везде мы выкинем какую-нибудь штуку, потому что никто ведь нас не увидит...

— Никто нас не увидит? — спрашивает Бузя и хватает меня за руку.

— Никто, никто! Мы всех будем видеть, а нас никто не увидит!

— В таком случае, Шимек, у меня к тебе просьба...

— Просьба?

— Небольшая просьба...

Я заранее знаю ее просьбу. Она хочет, чтобы мы полетели туда, где живет ее мать, и проучили бы ее отчима...

— Отчего бы и нет? — говорю я ей. — С большим удовольствием! Можешь на меня положиться, глупенькая. Я их так проучу, что они запомнят!

— Не их, а его, одного его, — просит меня Бузя.

Но я не так-то легко соглашаюсь на это. Меня если рассердишь, то уж держись! Как это я прошу ей такую штуку? Подумать только, что женщина может себе позволить — выйти замуж за чужого, уехать бог весть куда и бросить ребенка, даже письма не написать! Разве так можно? Слыхано ли такое злодейство?

7

Напрасно я так погорячился. Я уже раскаиваюсь, совесть меня грызет, как собака. Но пропало. Бузя закрыла лицо обеими руками. Она плачет. Я бы сам себя в куски изорвал! Зачем было берeditь ее рану? Зачем я задел ее мать? И глубоко в душе я всячески ругаю себя: «Дурак! Осел! Олух! Баранья голова! Болтун!» Я придвигаюсь к ней, беру ее за руку: «Бузя! Бузя!» Мне хочется сказать ей словами «Песни Песней»: «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой...»

Вдруг... Откуда же взялись здесь отец и мать?

Серебряные очки отца сверкают издали. Серебряные нити его серебряной бороды распустились по ветру. А мать издали машет нам платком. Мы оба, я и Бузя, сидим оторопелые. Зачем приплелись сюда отец с матерью? Они пришли нас проведать, не случилось ли с нами чего. Мало ли какое несчастье может случиться?.. Мостик, вода, речка, речка, речка.

Чудные люди — мои родители!

— А где ваша зелень?

— Какая зелень?

— Зелень, что вы обещали нарвать к празднику?

Мы оба, я и Бузя, переглядываемся. Я понимаю ее взгляд. Мне кажется я слышу, как она говорит словами «Песни Песней»:

«О, если бы ты был брат мой! Почему ты мне не брат?..»

.....
— Ладно уж, зелень к празднику мы как-нибудь достанем, — говорит с улыбкой отец, и серебряные нити его бороды поблескивают в светлых лучах золотого солнца. — Слава тебе господи, дети здоровы, и с ними ничего не приключилось.

— Слава тебе господи! — отвечает мать и вытирает платком красное, вспотевшее лицо свое. И оба довольны. Улыбка расплывается на их лицах.

Чудные люди — мои родители!

Третья часть

В ЭТУ НОЧЬ

1

«Дорогому сыну нашему имярек...

Посылаю тебе 00 рублей и прошу тебя, сын мой, окажи нам милость и приезжай на пасху. Стыдно мне перед людьми на старости лет. Один-единственный сын — и того не можем повидать. И мать также молит

тебя непременно приехать на пасху. И еще могу сообщить тебе, что Бузю надо поздравить. Она стала невестой. С божьей помощью, в субботу после швуэс свадьба.

Твой отец...»

Это пишет мне отец — впервые так ясно. В первый раз с тех пор, как мы разошлись. А разошлись мы с отцом тихо, без ссоры. Я восстал против его заветов. Не хотел идти по его стопам. Я пошел своей дорогой, уехал учиться. Раньше он сердился, говорил, что никогда не простит мне, разве на смертном одре. Потом он простил меня. Потом он стал посылать деньги: «Посылаю тебе 00 рублей, а также шлет тебе сердечный привет мать». Короткие, сухие письма. Мои письма к нему также были сухие, короткие: «Твое письмо и 00 рублей получил, шлю сердечный привет матери».

Холодны, мертвенно холодны были наши письма. До того ли мне было в том мире мечтаний, в котором я жил? Но теперь письмо отца меня разбудило. Сознаюсь, что не столько жалобы отца, что ему стыдно перед людьми, и не столько просьбы и мольбы матери, ничто меня не тронуло так (сознаюсь чистосердечно), как эти несколько слов: «И еще могу сообщить тебе, что Бузю надо поздравить...»

Бузя — та Бузя, равной которой нет нигде, разве только в «Песни Песней». Та Бузя, с которой так неразрывно связаны мое детство и юность. Та Бузя, которая была заколдованной царевной всех моих чудесных сказок, прекраснейшей принцессой моих золотых мечтаний, — эта Бузя теперь невеста? Чья-то невеста — не моя?!

2

Кто такая Бузя? Ах, вы не знаете, кто такая Бузя? Вы забыли? Я должен еще раз рассказать вам вкратце ее биографию, теми же словами, которыми я рассказывал когда-то, много лет тому назад.

У меня был старший брат Бенья. Он утонул. Он оставил мельницу, молодую вдову, пару лошадок и ребенка. Мельницу мы бросили, лошадок продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко, а ребенка мы забрали в наш дом. Это и была Бузя.

И красива Бузя, как прекрасная Суламифь из «Песни Песней». Всякий раз, когда я видел Бузю, я невольно вспоминал Суламифь из «Песни Песней». И всякий раз, когда я в хедере учил «Песнь Песней», перед моими глазами вставала Бузя.

Имя ее сокращенное: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. С нею вместе я рос. Моего отца она зовет отцом, мою мать она зовет матерью. Все думали, что мы брат и сестра. И мы любили друг друга, как брат и сестра.

Как брат и сестра, мы, бывало, заберемся в уголок, и там я ей рассказывал сказки, слышанные в хедере от моего товарища Шайки, который знал все, даже кабалу. С помощью кабалы, говорил я ей, я могу делать фокусы: добывать вино из камня и золото из стены. С помощью кабалы, говорил я ей, я могу устроить так, чтоб мы оба поднялись до тучи и даже выше тучи. Ах, как она любила слушать мои сказки! Только одну сказку Бузя не любила слушать: о царевне, о принцессе, которую заколдовали, украли из-под венца и посадили в хрустальный дворец на семь лет, а я лечу ее выручать... Все любила слушать Бузя, кроме сказки о заколдованной принцессе, которую я должен лететь выручать. «Не надо лететь так далеко, послушайся меня, не надо!» — так говорила мне Бузя, уставившись на меня своими прекрасными голубыми глазами из «Песни Песней».

Это и была Бузя.

Теперь мне пишут, что ее надо поздравить. Она стала невестой. Чьей-то невестой, не моей!

Я сел к столу и ответил отцу письмом:

«Моему достопочтенному отцу имярек...

Твое письмо и 00 рублей я получил. Через несколько дней, как только улажу свои дела, я приеду. На первый день пасхи или на второй — но приеду наверное. Привет сердечный маме. А Бузе — мои поздравления, желаю ей счастья...

От меня, твой сын...»

Это неправда. Мне не надо было улаживать никаких дел, мне не надо было «ждать несколько дней». В тот же день, когда я получил от отца письмо и ответил ему

письмом, я помчался домой и примчался как раз в канун пасхи. В теплый, ясный предпасхальный день.

Я нашел свой городок точно таким же, каким я его оставил когда-то, много лет тому назад. Все здесь по-старому, не изменилось ничего. Те же дома, те же люди. Та же предпасхальная ширь, и тот же предпасхальный шум.

Одного только не стало: «Песни Песней». Нет, все кругом уже не пахнет «Песнью Песней», как когда-то, много лет тому назад. Наш двор уже не виноградник царя Соломона, что в «Песни Песней». Бревна и доски, которые лежат возле нашего дома, уже больше не кедры и буки. Кошка, которая лежит у дверей и греется на солнце, уже больше не полевая лань, про которую упоминается в «Песни Песней». Гора, что за синагогой, уже не гора Ливанская. Женщины и девушки, которые стоят во дворе, моют, гладят и чистят к пасхе, уже больше не дщери иерусалимские, о которых говорится в «Песни Песней»... Куда девался мой юный, свежий, ясный и светлый благоухающий мир, мой мир из «Песни Песней»?..

4

Я нашел наш дом точно таким же, каким я оставил его много лет тому назад. Все осталось по-старому, не изменилось нисколько. Отец — такой же, как был. Но его серебряная борода серебрится еще больше. На широком белом лбу прибавилось несколько морщинок. Повидимому, от забот.

И мать — такая же, как была, только румяное лицо ее немного пожелтело. И еще мне кажется — она стала ниже ростом. А может, мне так показалось, потому что она немного ссутулилась, пригнулась к земле? И глаза ее покраснели, как будто припухли. Неужто от слез?..

О чем плакала моя мать? О ком? Обо мне, ее единственном сыне, который не захотел слушаться отца, восстал против его заветов, не захотел идти по его стопам, а пошел собственной дорогой, поехал учиться и так долго не был дома? Или Бузю оплакивает мать, Бузю, которая выходит замуж? Через неделю после швуэс свадьба.

Ах, Бузя! И она ни капли не изменилась. Не изменилась нисколько. Только выросла. Выросла и стала

прекрасна. Еще прекраснее, чем когда-то, Высокая и стройная, статная, голубые глаза из «Песни Песней». Только более задумчивые, чем когда-то, задумчивые, углубленные, озабоченные прекрасные голубые глаза из «Песни Песней». И улыбка на губах. И мила, и приветлива, и любезна, и тиха, как голубица, скромна и тиха.

Когда я гляжу на Бузю, я вспоминаю ту Бузю из милого прошлого. Я вспоминаю ее новые праздничные платья, которые мать сшила ей тогда на пасху. Вспоминаю ее новые праздничные башмачки, которые отец ей купил тогда на пасху. И когда я вспоминаю о былой Бузе, мне невольно вновь приходит на память давно забытая «Песнь Песней», строфа за строфой: «Глаза твои как два голубя, волосы подобны козочкам, спускающимся с гор, зубки — белоснежные ягнята, вышедшие из реки, один в один, словно одна мать их родила. Алая лента — уста твои, и речь твоя слаще меда».

Я смотрю на Бузю, и вновь все становится как в «Песни Песней», как когда-то, много лет тому назад.

5

— Бузя, тебя можно поздравить?

Она не слышит. Почему она опустила глаза? Почему покраснели ее щечки? Нет. Я должен ее поздравить.

— Поздравляю тебя, Бузя!

— Спасибо.

И больше ничего. Спросить ее невозможно. Поговорить с ней негде. Не дает отец. Не дает мать. Не дают родственники, вся родня, соседи, которые пришли повидаться со мной. Один уходит, другой приходит. Все стоят вокруг меня. Все оглядывают меня, как медведя, как странного пришельца из другого мира. Все хотят меня видеть и слышать, — как я поживаю и что поделываю, — сколько лет не видались!

— Расскажи же нам что-нибудь новенькое. Что видал, что слышал?

И я рассказываю им, что видел и слышал, и смотрю в это время на Бузю. Я ишу ее глаза и встречаюсь с ее глазами. С ее большими, глубокими, озабоченными, прекрасными голубыми глазами из «Песни Песней». Но ее глаза немые, как ее губы, как она сама. Ничего не го-

ворят мне ее глаза. Решительно ничего. И мне приходит на ум, как в былые годы, «Песнь Песней», строфа за строфой. «Сад запертый — сестра моя, невеста. Сад запертый, источник запечатанный».

6

И буря разрастается у меня в груди, и огонь пылает в моем сердце, гнев — не против других, а против самого себя. На себя негодную и на те мечты, глупые, детские, золотые мечты, ради которых я покинул отцовский дом. Ради них я забыл о Бузе. Ради них я пожертвовал частью своей жизни, проиграл свое счастье, проиграл, проиграл навеки!

Проиграл? Нет. Не может быть! Не может быть! Ведь вот я приехал. Приехал вовремя... Только бы мне остаться с Бузей наедине. Только бы сказать ей два-три слова. Но где мне сказать Бузе эти два-три слова, когда кругом столько людей? И они окружают меня со всех сторон. Все оглядывают меня, как медведя, как пришельца из другого мира. Все хотят меня видеть и слышать, — как я поживаю и что поделяваю, — сколько лет не видались!

Внимательнее всех слушает меня отец. Он сидит над старым фолиантом, как всегда, морщит свой широкий лоб, как всегда, и смотрит на меня поверх своих серебряных очков, гладит серебряные волосы своей серебряной бороды. Но мне кажется, что он смотрит на меня не так, как всегда. Нет, это не тот взгляд, не тот. Я чувствую это. Он оскорблен. Я восстал против его заветов, не захотел идти по его стопам, пошел своей дорогой.

Мать также стоит возле меня, бросила кухню, предпраздничные хлопоты и слушает меня со слезами на глазах. Кончиком передника она украдкой вытирает слезы, хотя лицо ее улыбается; и она слушает, как я рассказываю, и она смотрит на меня и глотает, глотает каждое мое слово.

Бузя также сидит против меня, сложив руки на груди, и слушает меня, как и все. Как и все, она смотрит на меня. Как и все, она глотает каждое мое слово. Я смотрю на Бузю. Я читаю в ее глазах и ничего не могу прочитать. Ничего.

— Да рассказывай же, чего ты замолчал? — говорит мне отец.

— Оставь ты его в покое! — спохватывается мать. — Мальчик устал, мальчик голоден. А он: рассказывай да рассказывай! Рассказывай да рассказывай!

7

Понемногу народ начинает расходиться, и мы остаемся одни: отец, мать, я и Бузя. Мать уходит в кухню и скоро возвращается с красивой пасхальной тарелкой, знакомой тарелкой, расписанной большими зелеными листьями.

— Ты закусил бы, Шимек! До трапезы еще далеко, — говорит мне мать с любовью и душевной теплотой.

Бузя подымается, идет своим тихим, спокойным шагом и приносит мой прибор — знакомый пасхальный прибор. Все это мне знакомо. Все здесь осталось по-старому, не изменилось нисколько. Та же тарелка с большими зелеными листьями, та же вилка и нож с белой костяной ручкой. Тот же чудесный запах пасхального гусиного жира. Тот же сладостный вкус пасхальной поджаренной мацы.

Все здесь по-старому. Не изменилось нисколько...

Но тогда, в канун пасхи, мы оба ели, я и Бузя... Из одной тарелки, помнится мне, мы ели. Вот из этой самой пасхальной, красиво разрисованной тарелки, расписанной зелеными листьями. И орехов дала нам мать тогда, помнится мне. Полные карманы орехов. И мы взялись тогда за руки, помнится мне, я и Бузя, и мы полетели, помнится мне, как орлы. Я мчусь — она за мной. Я через колоду — она за мной. Я вверх — она вверх; я вниз — она вниз.

«Шимек! До каких же пор бежать, Шимек? — говорит мне Бузя. А я отвечаю ей словами «Песни Песней»: «Пока не погаснет светило дня и не исчезнут тени с земли...»

8

Это было когда-то, много лет тому назад. Теперь Бузя выросла, стала большая. И я вырос, стал большой. И невестой она стала, Бузя, чьей-то невестой, не моей...

Я хочу остаться с Бузей наедине. Только бы сказать ей несколько слов. Хочу услышать ее голос. Словами «Песни Песней» я хочу сказать ей: «Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой...» И мне кажется, ее глаза ответят мне словами «Песни Песней»: «Пойдем, дорогой мой, выйдем в поле, не здесь, в поле... в поле... Там я тебе скажу. Там я тебе расскажу. Там мы будем говорить. Там...»

Я выглядываю в окно на улицу. Ах, как хорошо, как чудесно там! Совсем как в «Песне Песней»! Жаль только, день уже на исходе. Низко-низко опускается солнце и окрашивает небо в багрянец и золото. Золото отсвечивает в глазах Бузи. Глаза ее купаются в золоте. Скоро и дню конец. Не успею даже словечком перемолвиться с Бузей. Весь день ушел на пустую болтовню с отцом, с матерью, с родней — о том, что я слышал, о том, что я видел... Я встаю, поглядываю в окно на улицу и мимоходом говорю Бузе:

— Не пойти ли нам погулять? Так долго дома не был. Хотелось бы поглядеть на наш двор, посмотреть город...

9

Но что это с Бузей? Лицо ее вспыхнуло, оно горит огнем. Как солнечный шар перед самым закатом, так покраснела она. Она кидает взгляд на отца. Видимо, она хочет знать, что скажет отец. А отец смотрит на мать поверх своих серебряных очков. Он поглаживает серебряные нити своей серебряной бороды и говорит просто так, не обращаясь ни к кому:

— Солнце садится. Пора уже одеваться, скоро и в синагогу идти. Свечи пора зажигать. Как ты полагаешь?

Нет, сегодня мне, видно, не обменяться с Бузей ни словом.

Мы идем одеваться. От матери уже пахнет праздником. Она надела свое праздничное шелковое платье. Ее белые руки блестят: ни у кого нет таких белых красивых рук, как у моей матери. Вот скоро она будет зажигать свечи. Своими белыми руками она закроет глаза и будет тихо-тихо плакать, как когда-то. Последний луч заходящего солнца будет играть на ее красивых, благородных белых руках. Ни у кого нет таких красивых, благородных белых рук, как у моей матери.



Но что с Бузей? Лицо ее погасло, как солнце перед закатом, как уходящий день. Красива она, однако, и прелестна, как никогда. И глубоко печальны ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней». И задумчивы ее глаза.

О чем думает теперь Бузя? О милом госте, которого она так долго ждала и который примчался так неожиданно после долгой отлучки в родной дом? Или о своей матери, которая вторично вышла замуж, и уехала куда-то далеко, и забыла, что у нее есть дочь, которую зовут Бузя? Или о своем женихе думает Бузя, которого отец и мать, конечно, навязали ей против ее воли? Или о свадьбе, которая должна состояться через неделю после швуэс, с человеком, которого она не знает и не ведает, кто он и что он... А может быть, наоборот, может быть, я ошибаюсь? Может, она ведет счет дням — от пасхи до швуэс, потому что это ее избранник, потому что он ей мил, он ей дорог? Он поведет ее под венец, и ему подарит она свое сердце и любовь. А мне? Мне она, увы, всего только сестра. Была сестрой и осталась сестрой... И мне кажется, она смотрит на меня с состраданием и с досадой и говорит мне, как говорила когда-то, словами «Песни Песней»: «О, если бы ты был брат мой! Ах, почему ты не брат мне?!» Что мне ей ответить на это? Я уж знаю, что я ей отвечу. Только бы удалось сказать ей несколько слов. Несколько слов.

Нет. Сегодня мне с Бузей не обменяться ни единым словечком, ни полсловом. Вот она встает, идет тихими, легкими шагами к шкафу, приносит матери свечи в серебряных подсвечниках. Старые, знакомые высокие серебряные подсвечники. Эти серебряные подсвечники занимали когда-то почетное место в моих золотых мечтаниях о заколдованной царевне в хрустальном дворце. Эти золотые мечты, и эти серебряные подсвечники со свечами, и красивые, белые благородные руки матери, и прекрасные голубые глаза Бузи из «Песни Песней», и последние золотые лучи заходящего солнца — разве все это не переплелось крепко-накрепко, не связалось в нечто единое?..

— Ну, — говорит мне отец, глядя в окно и намекая на то, что нам пора одеваться и идти в синагогу.

Мы одеваемся, я и отец, и уходим в синагогу.

Наша синагога, наша старая-престарая синагога тоже не изменилась, не изменилась нисколько. Только стены чуть почернели. Чуть сгорбился аналой, несколько постарела трибуна для чтения торы, да и притвор со святинами потерял свой былой блеск.

Как маленькое святилище выглядела когда-то в моих глазах наша синагога. Ах! Куда девались былая краса и блеск нашей старой синагоги? Где те ангелы, которые витали здесь под разрисованным потолком в канун субботы и во все праздники, когда я бывал здесь?

И прихожане тоже мало изменились. Только чуть постарели. Черные бороды поседели. Плечи согнулись. Атласные праздничные кафтаны посеклись. Виднеются белые нитки, желтые полосы. Кантор Мейлах и теперь поет так же красиво, как когда-то, много лет тому назад. Только голос у него чуть приглушен. А в молитве у него слышится новый тон: в ней больше плача, чем пения, больше жалобы, чем мольбы. А наш раввин? Старый раввин? Тот вовсе не изменился. Был бел как снег и остался таким же белым. Одна только мелочь: руки у него теперь трясутся, да и весь он трясется. Должно быть, от старости. Служка Азриел, мужчина без признака бороды, был бы тем же, что и когда-то, если бы не зубы. Он потерял все зубы, и со своими впалыми щеками он скорее похож теперь на женщину, чем на мужчину. Однако он и теперь еще может стукнуть рукой по столу, когда дело дойдет до молитвы «Восемнадцать благословений»!.. Правда, удар уже не тот, что когда-то. Когда-то, много лет тому назад, можно было оглохнуть от его удара; теперь уже не то. Видно, не стало былой силы. А был когда-то богатырской силы человек.

Здесь, помнится, много лет тому назад мне было хорошо, безгранично хорошо. Здесь, в этом маленьком святилище, моя детская душа когда-то витала вместе с ангелами высоко под разрисованным куполом. Здесь, в этом маленьком храме, я много лет тому назад молился горячо и торжественно вместе с моим отцом и всеми прихожанами.

И вот я вновь в нашей старой-старой синагоге. И я молюсь вместе со старыми, давнишними прихожанами. И я, как когда-то в детские годы, слушаю того же кантора,

который поет тем же голосом, что и когда-то. И весь народ горячо и торжественно молится напевно, как в старые, былые годы. И я молюсь вместе со всем народом. Но мои мысли далеки от молитвы. Я листаю свой молитвенник, страницу за страницей, и — я неповинен в том — открывается мне «Песнь Песней», глава IV: «О, ты прекрасна, подруга моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими...» Я хотел бы молиться наравне со всеми, как молился когда-то, но не дается мне молитва. Я листаю свой молитвенник, страницу за страницей, и — я неповинен в том — опять открывается «Песнь Песней», глава V: «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста...»

И далее: «Нарвал мирры моей, с ароматами моими; поел сотов моих с медом моим, напился вина моего...»

Что это я говорю? Что я болтаю? Сад не мой. Я не буду рвать мирры, не буду обонять ароматов, не отведаю меда, не буду пить вина. Бузя не моя невеста. Бузя чья-то невеста. Чья-то, не моя!.. Ад бушует во мне. Гнев мой не против Бузи, не против кого-то. Нет. Против самого себя. Как мог я допустить, чтобы у меня отобрали Бузю и отдали другому? Не писала ли она мне писем, не намекала ли, что «надеется в скором времени свидеться»?.. Не откладывал ли я свои ответы ей от праздника к празднику, пока она наконец не прекратила писать мне?..

12

— С праздником! Это мой сын.

Так отец представляет меня после молитвы прихожанам, которые оглядывают меня со всех сторон, здороваются со мной и принимают приветствия, как должное.

— Это мой сын...

— Это ваш сын? Здравствуй...

В словах отца «это мой сын» есть много оттенков: и радость, и гордость, и обида. Можно их истолковать как угодно. «Видите? Это мой сын!..» Или: «Представьте себе, это мой сын!»

Я понимаю его. Он оскорблен. Я восстал против его заветов. Я не пошел по его стопам. Я пошел собственной дорогой и прежде срока состарил его. Нет, он еще не простил меня. Он не говорит этого. Ему и незачем мне это говорить. Я сам это чувствую. Об этом говорят его глаза, которые смотрят сквозь серебряные очки прямо

мне в душу. Об этом говорит его тихий вздох, который время от времени вырывается из его старой, слабой груди... Мы идем вдвоем из синагоги домой и молчим. Мы вышли позже всех. Ночь распростерла свои крылья под небом, и тень ее опустилась на землю. Тихая, теплая, торжественная пасхальная ночь. Ночь, полная тайн и загадок. Ночь, полная чудес. Торжественность этой ночи разлилась в воздухе, она глядит из глубины темно-синего неба. О ней тихо шепчутся звезды вверху. Исход из Египта слышится в эту ночь.

Быстрыми шагами иду я домой этой ночью. Отец с трудом поспевает за мной. Как тень, следует он за мной. «Чего ты так мчишься?» — спрашивает он меня, с трудом переводя дыхание.

Ах, отец, отец! Разве ты не видишь, что я подобен серне или оленю на горах бальзамических!.. Много, слишком много времени уходит, отец, долгод, слишком долгод мой путь теперь, когда Бузя стала невестой. Чьей-то невестой. Чьей-то, не моей!.. Я подобен серне или оленю на горах бальзамических.

Так хотел бы я ответить отцу словами «Песни Песней», и я не чую земли под ногами. Я шагаю быстро в эту ночь. А отец еле поспевает за мной. Как тень, следует он за мной в эту ночь...

13

С тем же праздничным приветствием, с каким мы приходили в эту ночь домой когда-то, много лет тому назад, вошли мы и сейчас — я и отец.

Тем же ответным приветствием, которым мать и Бузя встречали нас в эту ночь когда-то, много лет тому назад, они нас встретили и теперь.

Мать, «королева», одета в свое королевское шелковое платье, а «принцесса», Бузя, — в свое белоснежное платье, — та же картина, что и когда-то, много лет тому назад, ничто не изменилось, нисколько, все здесь по-старому.

Как и много лет тому назад, в эту ночь наш дом полон очарования. Какая-то несбыточная красота, волшебная, таинственная красота снизошла на наш дом в эту ночь. Священный праздничный блеск разлился по всему нашему дому в эту ночь. Белые скатерти на столе бле-

стоят, как белый нетронутый снег. Мамины свечи торжественно поблескивают в серебряных подсвечниках. Приветливо поглядывает на нас пасхальное вино из бутылок. Ах, с каким наивным благочестием смотрит с разубранного блюда маца! И как мило улыбается прегорький пасхальный хрен и сложно приготовленный харойсес с соленой водой. Торжественно и гордо стоит «королевский» престол, пасхальное ложе. На лице «королевы» сияет благодать, как всегда в эту ночь. А «принцесса» (Бузя) вся, с головы до ног, как из «Песни Песней». Нет, что я говорю, — она сама — «Песнь Песней»!

Жалко только, что «принца» посадили так далеко от «принцессы». Когда-то, мне помнится, они сидели не так. «Принц» задавал отцу, так помнится мне, четыре традиционных вопроса, а «принцесса» крала у «его величества» из-под подушки традиционный опреснок *. Ах! Как мы тогда смеялись! Когда-то, бывало, после трапезы, когда «король» снимал уже с себя свое белое одеяние, а «королева» — свое королевское шелковое платье, мы, я и Бузя, сидели, бывало, вдвоем в уголке, играли в орешки, которыми нас оделила мать, или я рассказывал ей сказку, одну из волшебных сказок, слышанных в хедере от моего товарища Шайки, который все знал. Сказку о заколдованной принцессе, которая сидела в хрустальном дворце семь лет подряд и ждала, чтобы кто-нибудь, с помощью колдовского слова, поднялся выше тучи, полетел над горами и долами, над реками и пустынями и выручил, освободил бы ее.

14

Но все это было давным-давно, много лет тому назад, а теперь «царевна» выросла, стала большая, и «царевич» вырос большой. И усадили их за столом так безжалостно, что они не могут даже хорошенько видеть друг друга. Представьте себе: по правую руку «его величества» — «царевич», по левую руку «ее величества» — «царевна»! И мы читаем пасхальное сказание, я и отец, громко, как когда-то, много лет тому назад, нараспев, страницу за страницей. А мать и Бузя тихонько повторяют вслед за нами, страницу за страницей. И вот мы доходим до «Песни Песней». И мы читаем с отцом «Песнь Песней», как когда-то, много лет назад, особым напевом. Строфа за строфой. А мама и Бузя тихо повторяют за

нами строфу за строфой. Но вот «король», утомленный от долгого чтения истории исхода евреев из Египта, охмелевший от выпитых бокалов, начинает понемногу дремать; подремлет с минуту, проснется и снова громко поет «Песнь Песней»: «Многие воды не могут потушить любовь...», а я подхватываю тем же напевом: «...и реки не зальют ее». Чтение идет у нас все тише и тише, пока «его величество» не засыпает уже по-настоящему. «Королева» трогает его за рукав белого одеяния. С милой деликатностью она будит его и отправляет спать, — а мы с Бузей можем тем временем перекинуться несколькими словами. Я встаю из-за стола и подхожу близко к ней, мы стоим друг против друга — в первый раз так близко в эту ночь. Я показываю ей на чудесную, прекрасную ночь. «В такую ночь, — говорю я, — хорошо погулять...» Она поняла меня и, чуть заметно улыбаясь, ответила мне вопросом: «В такую ночь?..» И мне кажется, она смеется надо мной. Так она смеялась надо мной когда-то, много лет тому назад, — мне это досадно. Я говорю ей: «Бузя, нам надо поговорить, о многом надо поговорить». — «О многом поговорить?» — повторяет она мои слова, и мне кажется, она смеется надо мной... Я говорю: «А может быть, я ошибаюсь? Может быть, нам не о чем теперь говорить?..»

Это сказано было с такой горечью, что Бузя перестает улыбаться, и лицо ее становится серьезным. «Завтра, — говорит она мне, — завтра поговорим...» И радостно становится мне. Радостно, хорошо и весело. Завтра! Завтра уж поговорим! Завтра! Завтра! Я подхожу к ней еще ближе и чувствую благоухание ее волос, благоухание ее платья. Милое, прелестное благоухание.

И мне приходят на ум слова «Песни Песней»: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста! Мед и молоко под языком твоим. И благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!»

Остальное мы говорим уже так, без слов, больше глазами. Глазами...

— Бузя, покойной ночи, — говорю я ей тихо. Мне трудно расстаться с ней. Ох как трудно!

— Покойной ночи, — отвечает мне Бузя, стоя неподвижно на месте, и с глубокой тоской смотрит на меня

своими прекрасными голубыми глазами из «Песни Песней».

Я снова желаю ей покойной ночи. И она снова отвечает мне тем же. Приходит мать и уводит меня в мою комнату. Там она разглаживает своими прекрасными белыми руками белое покрывало моей постели, и губы ее шепчут: «Спи спокойно, дитя мое, спи спокойно...»

В этих немногих словах излилось все то море любви, что скопилось у матери за годы, когда меня не было дома. Я готов припасть к ней, расцеловать ее красивые белые руки. Но я этого недостоин. Нет, я этого недостоин, я знаю... Тихо желаю ей покойной ночи и остаюсь один, один-одинешенек в эту ночь.

16

...Один-одинешенек в эту ночь. В эту тихую, мягкую, теплую ночь ранней весны.

Я раскрываю окно, выглядываю из него, смотрю на темно-голубое небо, на сверкающие брильянты-звезды, и спрашиваю самого себя: «Неужели? Неужели?»

Неужели я проиграл свое счастье, проиграл навеки?

Неужели я сам, своими собственными руками, сжег свой чудесный дворец и выпустил прекрасную волшебную царевну, которую я когда-то заколдовал?.. Неужели? Неужели? А может быть, нет? Может быть, я прибыл вовремя? «Я пришел в свой виноградник, сестра моя, невеста...»

И я сижу еще долго у раскрытого окна в эту ночь. И я делюсь своими тайнами с этой тихой, теплой и мягкой ранней весенней ночью, которая и сама полна, удивительно полна тайн и загадок...

И в эту ночь я узнал нечто новое для меня.

Что я люблю Бузю.

Что я люблю ее той священной, пламенной, адской любовью, которая так прекрасно описана в «Песни Песней». Огромные пламенные буквы вспыхивают, не знаю откуда, и витают перед моими глазами; слова из только что прочитанной «Песни Песней», буква за буквой: «Горька, как смерть, любовь. Жестока, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные. Пламень божий».

И я сижу в эту ночь у раскрытого окна и вопрошаю у этой ночи тайн и загадок, прошу раскрыть мне тайну:

«Неужели? Неужели?» Но она молчит, эта ночь тайн и загадок. Тайна остается для меня тайной. До завтра.

«Завтра, — так обещала мне Бузя, — мы будем говорить...» Только минула бы уж эта ночь. Только бы промчалась эта ночь.

Эта ночь... Эта ночь...

Четвертая часть

СУББОТА ПОСЛЕ ШВУЭС

1

И был вечер, и было утро.

Прекрасное, свежее утро, какое бывает иногда в начале лета, между пасхой и швуэс.

В это утро я проснулся первым в доме. День только рождался. Наш маленький сонный городок лишь начинал пробуждаться от сладкого сна. Ясное, теплое, ласкающее солнце готовилось выйти из своего шатра и пуститься по своей великой небесной дороге в этот ранний летний день, между пасхой и швуэс. Легкий, прохладный ночной ветерок еще носился по свету и еле-еле, словно крылом ангела, касался тихо прсыпающейея земли.

Когда я проснулся, первой моей мыслью было: Бузя. Снова Бузя?

Да, снова Бузя. Снова и опять Бузя. Все мои мысли настолько прикованы к Бузе, что мне не надоест говорить вам о ней еще и еще раз. Еще и еще раз передать вам ее биографию вкратце. Тот, кто слышал меня, вероятно, простит. Кто еще не слышал, тому это нужно услышать: он должен знать, кто была Бузя.

2

У меня был брат Бенья. Он утонул в реке. Он оставил сироту, по имени Бузя. Ее имя сокращенное: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. И прекрасна она была, как Суламифь из «Песни Песней». И мы росли вместе, как брат и сестра.

И мы любили друг друга, как брат и сестра. Вот кто была Бузя.

Промчались годы. Я оставил свой дом против воли отца и матери. Я восстал против их заветов, не захотел идти по их стопам, пошел своей собственной дорогой, уехал учиться. Вот однажды перед пасхой получаю письмо от отца с поздравлением: Бузя стала невестой, в субботу после швуэс свадьба, и меня просят приехать домой. Я ответил поздравлением и примчался на пасху домой.

И я нашел Бузю выросшей и красивой, еще красивее, чем она была. И в памяти моей проснулась бывшая Бузя. Суламифь из «Песни Песней». Буря разрослась у меня в груди, и гневный огонь запыхал в моем сердце. Гнев не на кого-нибудь, а на самого себя. На себя и на свои детские золотые глупые мечтания, ради которых я покинул отца и мать, восстал против их заветов, уехал учиться и таким образом проиграл свое счастье. Допустил, чтобы Бузя стала невестой, чьей-то — не моей!..

С раннего детства Бузя была мне мила и дорога — это верно, но, когда я приехал домой и увидел Бузю, я понял, что люблю ее.

Что я люблю ее той святой, пламенной, сжигающей любовью, которая так прекрасно описана в «Песни Песней»: «Сильна, как смерть, любовь, жестока, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные. Пламень божий».

3

Я ошибся. Я не встал первым в то утро. Моя мать поднялась раньше меня. Она уже одета. Она уже занята чаем, завтраком.

— Отец еще спит. Девочка тоже спит (так зовут у нас Бузю). Что ты будешь пить, Шимек?

Мне все равно. Что она мне даст, то и буду пить. Мать наливает мне чаю и подает мне его своими прекрасными белыми руками. Ни у кого нет таких красивых белых рук, как у моей матери. Она садится против меня и говорит со мной тихо, чтоб отец не услышал. Она говорит об отце. Он стареет, не молодеет. Стареет, слабеет и кашляет. Кашляет большей частью по утрам, когда просыпается. А иногда, случается, и ночью, — проснется и прокашляет целую ночь, а иногда и днем. Она просит

его зайти к врачу — он не хочет. Упрямец. Его упрямство ведь не переносимо! Упаси бог, она не жалуется на него. Так просто, пришлось к слову, она и сказала...

Так мать тихонько жалуется мне на отца. И о Бузе мать рассказывает мне тихим голосом, а глаза у нее сияют. Она наливает еще чаю и спрашивает, как мне понравилась Бузя. Правда ведь, выросла, слава богу, как деревце. Сохрани ее бог от дурного глаза. В субботу после швуэс свадьба, по воле божьей, в субботу после швуэс. Хорошая партия, удачный жених, приличная семья, почтенный, богатый дом. Дом — полная чаша...

— Однако, — продолжает мать свой рассказ, — сколько же, однако, пришлось ее уламывать, пока убедили дать согласие на смотрины. Теперь, слава богу, довольна! А переписка какая! Почти каждый день. (Лицо матери сияет. Глаза у матери блестят.) А чуть письмо запоздает — беда, да и только!.. Это теперь. Но раньше? Чуть душу из нее не вытянули, пока выжали это слово «да»... Бузя тоже порядочная упрямица. Такая уж семья. Коли заупрямится!.. Упаси бог, никого я не упрекаю. Но так уж, пришлось к слову...

4

«Кто она, глядящая, как заря? Прекрасная, как луна? Светлая, как солнце?»

Это вышла из своей комнаты Бузя.

Вглядываюсь в Бузю — я поклялся бы, она либо плакала, либо не спала эту ночь!

Моя мать права: как стройное деревце, выросла Бузя. Как роза, расцвела она. Ее глаза, ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней» в это утро подернуты нежною дымкою. И все лицо ее в это утро покрыто грустной тенью.

Бузя вся — тайна для меня. Скорбная тайна. Многое хотел бы я узнать. Почему Бузя не спала в эту ночь? Я хотел бы знать, кого она видела во сне: меня — милого гостя, которого она так долго ждала и который примчался так неожиданно, или другого видела она во сне? Другого — того, кого отец и мать навязали ей против ее воли?

«Сад запертый — сестра моя, невеста, сад запертый, запечатанный источник...»

Бузя — тайна для меня. Скорбная тайна. Несколько раз за день меняется у нее настроение, как погода в летний облачный день: то тепло, то прохладно, то солнце выглянет из-за облаков, — и кругом все становится прекрасно. Но вот надвигается новая туча — и снова кругом все грустно и сумрачно.

Не проходит и дня, чтоб Бузя не получила письма от «кого-то». Не проходит и дня, чтобы не отвечала «кому-то».

Я знаю отлично, кто этот «кто-то», и я ее не спрашиваю. Я не говорю больше с Бузей о «нем». Я считаю, что «он» здесь лишний, навязанный. Но Бузя сама говорит о «нем». Не слишком ли много говорит она о «нем»? В те считанные минуты, когда мы остаемся с ней наедине, Бузя говорит мне о «нем» и хвалит его. Расхваливает его изо всех сил.

Не слишком ли много хвалит она его?

Она говорит мне:

— Хочешь знать, кто он? (Она опускает глаза.) Он благородный. О! Очень благородный. Он славный. Но... (Она подымает глаза на меня и смеется.) Ему далеко до тебя... Где ему до тебя!..

Что хочет Бузя этим сказать? Она хочет меня задобрить? Или она подшучивает надо мной?

Нет, она не хочет меня задобрить, она не подшучивает надо мной. Она изливает свое сердце...

Это ясно, как дважды два.

После чая мать и Бузя ушли в кухню хлопотать о завтраке, а мы с отцом встали на молитву. Я быстро отделался. А отец, закутавшись в талес, еще стоял лицом к стене и славил бога своего. Вдруг вошла Бузя, одетая, с зонтиком в руке, и говорит мне:

— Пойдем.

— Куда?

— За город, погуляем немного. Чудесный день. Прекрасный день.

Отец поворачивает к ней голову, смотрит поверх своих серебряных очков. А Бузя натягивает перчатки на руки и говорит:

— Ненадолго, отец, ненадолго. Мы скоро придем домой! Мать знает, что мы идем. Идем, Шимек! Ты идешь?

Дивная музыка, прекраснейшая симфония не звучала

бы так чарующе, как эти слова прозвучали в моих ушах. В них слышался отзвук «Песни Песней»: «Пойдем, друг, выйдем в поле, побудем в селах! Ранним утром пойдем в виноградники. Посмотрим, распустились ли виноградные лозы, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки?..»

Вне себя от радости, я отправляюсь с Бузей и не чувю земли под ногами. Что это с Бузей? В первый раз с тех пор, как я дома, случилось такое, чтоб Бузя позвала меня гулять. Что это с Бузей?

6

Бузя права. Прекрасный день. Чудесный день.

Почувствовать очарование такого летнего дня в нашем маленьком, бедном городке можно, лишь выбравшись из его узких улочек на вольный прекрасный мир. Земля облеклась в свою зеленую мантию, разукрасилась всем великолепием своих многокрасочных полевых цветов. Она окаймлена здесь серебристой речонкой — с одной стороны, и низкорослой, но густою рощей — с другой. Серебристый ручеек кажется серебряною каймой нового талеса из голубой шерсти. Густая роща похожа на пышную шевелюру кудрявых волос; время от времени ветер колеблет ее.

На Бузе было голубое платье, легкое, как дым, прозрачное, как воздух, как небо. Зонтик с кружевами зеленого цвета и белые ажурные перчатки на руках. Многоцветной она была, многоцветной, как поле.

В последний раз, говорит мне Бузя, она отпросилась у матери... В последний раз она хочет распротиться с городом, с околицей, с кладбищем, с мельницами, с речкой, с мостиком. Ради этого последнего раза мать ей уступила. Невесте надо уступать, ха-ха... Невеста всегда добьется... Как ты думаешь, Шимек?

Шимек ничего не думает. Шимек слушает. Мне кажется, Бузя сегодня излишне весела. Неестественно весела. И смеется она как будто принужденно. А может быть, мне только кажется?

— Помнишь, Бузя, когда мы тут были?

Я напоминаю ей, когда мы тут были. Давно-давно. Много лет тому назад это было. Мы пошли вдвоем нарвать зелени на праздник — помнит ли она? Тогда

мы тоже шли этой самой дорогой, мимо этих же мельниц, через эту речку, по этому самому мостику.

— Но по-иному гуляли мы тогда, Бузя. Тогда мы бежали, как юные серны, прыгали, как олени на горах бальзамических. А теперь?

— А теперь? — говорит Бузя и наклоняется, чтобы сорвать цветок.

— Теперь мы идем спокойно, как подобает таким порядочным людям, как мы... Помнишь, Бузя, когда мы тут были в последний раз?

— В канун праздника швуэс это было, — отвечает Бузя и дарит мне букет душистых цветов.

— Это мне, Бузя?

— Это тебе, Шимек, — говорит мне Бузя и смотрит своими прекрасными голубыми глазами из «Песни Песней». И взгляд этот проникает мне прямо в душу.

7

Мы уже далеко за городом. Мы уже на мостике. Там я подаю ей руку (в первый раз с тех пор, как я приехал домой). Мы идем оба, рука об руку, по мостику. Бревна качаются. Вода бежит под нашими ногами, переливается и падает вниз, тихо поплескивая, легко шумя, так, что я даже слышу «тик-так» Бузиноgo сердца, которое так близко, так близко около меня (в первый раз с тех пор, как я приехал домой).

Мне кажется, Бузя наклоняется ко мне все ближе и ближе, я чувствую знакомое благоухание ее красивых волос, я ощущаю нежность и теплоту ее чудесной руки, теплоту ее тела. И мне кажется, я слышу из ее уст слова «Песни Песней»: «Я принадлежу возлюбленному моему, и мне — возлюбленный мой.» И солнце, и небо, и поле, и речка, и лес приобретают новый блеск, новую прелесть в моих глазах. Жаль, очень жаль, что мостик так короток! Минута — и мы уже прошли мостик, мы уже на леваде. Минута — и гладкая, нежная рука Бузи выскользнула из моей руки, — и солнце, и небо, и поле, и речка, и лес потеряли весь свой прежний блеск и прелесть в моих глазах.

— Странное дело, — говорит мне Бузя, и ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней» в это мгновение глубоки, как небо, и задумчивы, как ночь, — стран-

ное дело: всякий раз, когда я перехожу или переезжаю через реку, какая бы река ни была, я вижу своего отца — и всякий раз...

Я перебиваю ее:

— Ты говоришь глупости, Бузя.

Бузя думает с минуту, потом говорит мне:

— Глупости? Ха-ха-ха, ты прав. Я говорю глупости, потому что я глупенькая. Я глупая девушка, правда ведь, глупая девушка? Скажи правду, Шимек. Правду скажи мне, ха-ха-ха!

Бузя смеется, запрокидывает голову и показывает свои красивые зубы. На сияющем солнце лицо ее сияет, и все краски поля отсвечивают в ее глазах, в ее прекрасных голубых глазах из «Песни Песней».

8

Напрасно! Я не могу убедить ее, что она далеко не так глупа, что она вовсе не глупа. Она знает, говорит она мне, она знает, что есть люди глупее ее. Она знает. Но по сравнению со мной она глупенькая. Представьте себе — она верит снам.

— Правда, Шимек, ты не веришь? А я верю. Вот вчера лишь мне приснился отец, пришел из загробного мира, одетый, веселый, живой, с тростью в руке. И говорит со мной так приветливо, так ласково и вертит тросточкой: «Я пришел на свадьбу к тебе, дочь моя...» Ну, что ты скажешь, Шимек?

— Бузя, не надо верить снам. Сны — это чепуха.

— Чепуха, говоришь ты?

Бузя стоит минуту задумавшись, бросается бежать по многоцветному полю и останавливается.

Как цветок, как яркий, многокрасочный цветок выглядит Бузя на этом многоцветном поле, которое простирается вокруг нас без конца, без края. Желтыми ромашками оно расшито. Красными цветочками оно расцвечено. Синий купол неба над головой Бузи. Серебристая речка у ног ее. Со всех сторон несутся нам навстречу одуряющие пряные запахи бальзамов и трав. Я заколдован, я опьянен.

Как заколдованная, стоит и Бузя посреди многоцветного поля и смотрит на меня, задумавшись, задумавшись, как лес.

О чем думает теперь Бузя? Что говорят ее глаза, ее прекрасные голубые задумчивые глаза из «Песни Песней»?

«Я лилия Саронская, роза долин...»

Вот что говорят мне ее глаза. И мне кажется, что никогда, никогда еще Бузя не напоминала так Суламифь из «Песни Песней», как в эту минуту.



Как цветок выглядит Бузя, лилия Саронская. Как цветущая роза выглядит Бузя, роза долин, в этом широком многоцветном поле, что простирается вокруг нас без конца и без края. Желтыми ромашками оно расшито. Красными цветочками расцвечено. Голубой небесный купол над головой Бузи. Серебристая речка у ног ее. Со всех сторон несутся нам навстречу пряные, одуряющие, как бальзам, запахи трав. Я околдован, я опьянен.

Бузя идет. Я — за ней. Легко и быстро идет Бузя. Легко, как серна, как лань полевая, несется она по многоцветному полю, что простирается без конца и без края. И на сияющем солнце лицо ее сияет, все цвета поля отсвечивают в ее глазах, в ее прекрасных голубых задумчивых глазах из «Песни Песней».

Никогда, никогда еще Бузя не напоминала так Суламифь из «Песни Песней», как в этот день.

— Узнаешь это поле, Бузя?

— Когда-то оно принадлежало тебе...

— А горка?

— Твоя горка. Когда-то все это было твое. Все, все твое, — говорит мне Бузя с легкой усмешкой на красивых губах.

Мне кажется, что она смеется надо мной так, как смеялась когда-то, много лет назад.

— Сядем?

— Сядем.

Я усаживаюсь на горке и устраиваю место для Бузи. Бузя садится против меня.

— Вот тут, Бузя, помнишь, я тебе когда-то рассказывал, как я...

Бузя прерывает меня:

— Как ты поднимешься с помощью колдовского слова и полетишь, как орел, к туче, выше тучи, над полями, над лесами, через горы, через воды, через моря и пустыни, и прилетишь туда, через Черные горы, к хрустальному дворцу. Там сидит твоя заколдованная царевна вот уже семь лет и ждет, чтобы ты над нею смиловался и прилетел, с помощью колдовского слова выручил ее, освободил — ха-ха-ха!

Нет. Бузя сегодня странно весела. Неестественно весела. Она смеется принужденно. Довольно. Всему свое время. Пора сказать ей несколько серьезных, точных, ясных слов. Пора уже раскрыть перед ней свое сердце, обнажить свою душу... И я кончаю свою мысль словами «Песни Песней»: «Пока погаснет светило дня и не исчезнут тени с земли...»

10

За все время, что я дома, я не высказал Бузе и десятой и сотой доли того, что я излил перед нею здесь, в это утро. Я открыл ей свое сердце, обнажил свою душу. Рассказал ей всю правду, — что меня сюда привело...

Если бы не письмо отца с поздравлением, если бы не три слова: «Суббота после швуэс», — меня не видела бы сейчас эта речка, что бежит там внизу по склону, и эта роща, что зеленеет тут недалеко...

И я клянусь ей этой речкой, что течет по склону, и той рощей, что зеленеет тут невдалеке, и этим голубым покрывалом неба, что над нашей головой, и золотым багряным солнцем, которое отсвечивает в ее глазах, и всем, что прекрасно, и чисто, и свято, — что я приехал сюда только ради нее, только ради нее, потому что... я люблю ее — наконец это слово сорвалось!

— Потому что я люблю тебя, Бузя, слышишь; я люблю тебя той святой, пылающей, адской любовью, которая описана в «Песни Песней»: «Сильна, как смерть, любовь, жестока, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные...» Что с тобой, Бузя! Ты плачешь? Бог с тобой!..

Бузя плакала.

Бузя плакала — и весь мир облекся в печаль. Солнце перестало сиять. Речка перестала течь, роща — зеленеть, бабочки — летать, птички — петь.

Бузя плакала. Она спрятала лицо в руках. Плечи ее вздрагивали, и она плакала все сильнее и сильнее...

Так плачет малое дитя, когда почувствует, что потеряло родителей.

Так плачет любящая мать над ребенком, которого у нее отбирают.

Так плачет девушка, оплакивающая своего возлюбленного, отвернувшегося от нее.

Так плачет человек над своей жизнью, выскользнувшей из-под его ног.

Напрасны были мои утешения. Ни к чему были все эпитеты из «Песни Песней», ни к чему были мои речи. Бузя не хочет знать утешений. Бузя не желает слушать моих слов. Слишком поздно, говорит она, слишком поздно я вспомнил о ней... Слишком поздно я вспомнил, что есть какая-то Бузя на свете. Бузя, у которой есть сердце, тоскующее сердце, и душа, рвущаяся отсюда в другой мир... Помнишь ли ты, говорит она, те письма, что я тебе писала? Но, перебивает она сама себя, где тебе помнить о таких глупостях? Разве она не понимает? Это она, собственно, должна была давно предвидеть, — что наши пути разошлись. Что она мне не ровня. Куда ей до меня?.. Она наивная, провинциальная девушка, куда ей до меня?.. Теперь она понимает, что это было с ее стороны глупостью, что она мне морочила голову своими детскими письмами, своими глупыми намеками, будто бы родители тоскуют по мне... Нет! Ей надо было самой понять, что она мне не ровня... Куда ей до меня — бедной провинциальной девушке!.. Она сама должна была понять, что уж если я не послушался отца-матери, восстал против их заветов, не пошел по их стопам, а избрал свою собственную дорогу, значит, я, уж конечно, пойду далеко, взберусь высоко, так далеко и так высоко, что оттуда никого не увижу и никого знать не пожелаю.

— Никого, кроме тебя, Бузя!

— Нет, никого! Никого! Никого! Не видеть никого, не слышать никого, забыть всех...

— Всех, но не тебя, Бузя!

— Нет, всех! Всех! Всех!

12

Бузя перестала плакать — и все ожило. Солнце начало сиять, как раньше. Речка начала течь, роща — зеленеть, бабочки — летать, птички — петь.

Бузя перестала плакать, сухими стали ее глаза, ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней». И высохли слезы ее, как капли росы на жарком солнце.

И вдруг она стала оправдываться в своих слезах. Теперь она видит, какая она глупенькая. К чему был ее плач? Чего ей плакать? Чего ей не хватает? Другие девушки на ее месте сочли бы себя счастливыми. Счастливейшими из счастливых!.. И огонек загорелся в глазах у нее, в ее прекрасных голубых глазах из «Песни Песней». Никогда еще я не видел этого огонька в глазах Бузи. И красные пятна выступили на ее щечках, на ее красивых розовых щечках. Я никогда еще не видел, чтобы Бузя так гневалась, так пылала, как она пылала в эту минуту. Я хочу ее взять за руку и сказать ей словами «Песни Песней»:

«О, ты прекрасна, подруга моя, ты прекрасна, Бузя, когда щечки твои пламенеют и глаза твои пышут огнем...»

Напрасные речи! Бузя не слышит моей «Песни Песней». У Бузи своя «Песнь Песней». Она не переставая хвалит «кого-то», хвалит его изо всех сил. Она говорит мне:

— Друг мой бел и румян — суженый мой прекрасен и мил. Отличен от тьмы других — прекраснее многих-многих иных. Он, может быть, не столь учен, как иные, зато он добр. Зато он мне предан. Зато он любит меня. Почитал бы ты письма, которые он мне пишет, почитал бы ты письма!

— Пленила сердце мое ты, сестра моя, невеста, — продолжаю я, будто не слышу, что она мне говорит, — мое сердце ты пленила, сестра моя, невеста!..

А она:

— Уста его сладость, и весь он прелесть — почитал бы ты его письма, которые он мне пишет, почитал бы ты его письма!..

Слова эти она произносит странным тоном. Станный у нее голос.

Этот голос — так кажется мне — хочет пересилить другой голос, внутренний голос.

Для меня это ясно, как дважды два.

13

Быстро и неожиданно вскакивает Бузя с душистой травы, отряхивается, выпрямляется во весь рост, закидывает руки за голову, останавливается и смотрит на меня сверху вниз, гордая и прекрасная, величественно-прекрасная, — прекраснее, чем всегда, кажется она мне в эту минуту.

Боюсь сказать, но мне кажется, — если я назову Бузю истинной Суламифью, это будет честь и хвала для Суламифи из «Песни Песней».

Неужели на этом окончен наш разговор? Я поднимаюсь вслед за Бузей и подхожу к ней:

— Оглянись, оглянись, Суламифь, вернись ко мне, Бузя! — говорю я ей языком «Песни Песней» и беру ее за руку. — Вернись ко мне, Бузя, вернись ко мне, еще не поздно... Еще одно слово, одно только слово должен я тебе сказать.

Напрасно, напрасно! Бузя не хочет больше слушать.

— Довольно, — говорит она, — наговорились. Достаточно наговорили друг другу, может быть, больше, чем надо... Довольно, довольно. Уже поздно. Смотри, как поздно уже! — говорит мне Бузя, и показывает рукою на небо, и показывает мне на солнце, которое обливает ее сверху донизу своими мягкими, нежными золотыми лучами. И Бузя, лилия Саронская, Бузя, роза долин, приобретает новый блеск, багряно-золотой блеск многоцветного поля, что простирается вокруг нас без конца и без края. — Домой, домой! — говорит мне Бузя, и торопится уходить, и торопит меня. — Домой, домой! Пора уже, Шимек, пора. Отец и мать подумают бог весть что. Домой, домой!

В ее последних словах — «домой, домой» — мне слышится знакомый отзвук давних лет, слова «Песни Песней».

«Беги, друг мой, беги, милый, и будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических».



Проходят дни, бегут недели. Пришел милый, славный праздник швуэс. Пришла и первая суббота после швуэс. Прошла первая суббота после швуэс, и еще суббота, и еще суббота — а я все еще гость в своем городке.

Что я тут делаю? Ничего. Решительно ничего. Родители думают, что я, блудный сын, каюсь в былом, в том, что я восстал против их заветов, не захотел идти по их стопам. И они рады, бесконечно рады.

А я? Что я делаю здесь? Что мне надобно здесь? Ничего, решительно ничего. Каждый день я выхожу

один на прогулку, за город, туда — за мельницы, за реку, через мост. Туда — к тому многоцветному полю, что простирается без конца и без краю и окаймлено серебристою речкой с одной стороны и низкорослой, но густою рощей — с другой. Серебристая речка кажется серебряною каймой нового талеса из голубой шерсти. Густая роща похожа на пышную шевелюру кудрявых волос, время от времени ветер колеблет ее.

Там сижу я один на горке. На той горке, на которой мы лишь недавно сидели вдвоем, я и Бузя, лилия Саронская, роза долин.

На той горке, по которой мы когда-то, много лет тому назад, вдвоем, я и Бузя, мчались, как юные серны, и скакали, как лани на горах бальзамических. Там, на том месте, где таятся мои лучшие воспоминания о навеки утерянном юношестве, о моем навеки утерянном счастье, я могу сидеть долгие часы и оплакивать и вспоминать незабываемую Суламифь моего романа.

15

А что стало с Суламифью моего романа? Что с Бузей? Каков эпилог? Каков конец?

Не принуждайте меня рассказывать конец моего романа. Конец — пусть самый наилучший — это печальный аккорд. Начало, самое печальное начало, лучше самого радостного конца. Мне поэтому куда легче и куда приятнее снова рассказать вам эту историю с самого начала. Еще, и еще раз, и еще хоть сто раз. И теми же словами, что и раньше:

— У меня был брат Бенья, он утонул в реке. Он оставил сиротку, ее звали Бузей. Сокращенное Эстер-Либа, Либузя, Бузя. И красива она была, Бузя, как Суламифь из «Песни Песней». Мы росли, я и Бузя, как брат и сестра. И мы любили друг друга, я и Бузя, как брат и сестра.

И так далее.

Начало, самое печальное начало, лучше самого радостного конца. Пусть будет начало концом, эпилогом моего невыдуманного, истинного, скорбного романа, который я позволил себе увенчать этим именем: «Песнь Песней».

БЛИНЧИКИ

Роман посвящается празднику швуэс

Глава первая

*Таинственный господин в цилиндре
и с дождевым зонтиком*

По одной из тихих улиц города N. утром в первый день праздника швуэс катил экипаж, в котором сидел элегантный господин в цилиндре. Лицо его скрывал дождевой зонтик, хотя на небе не было ни облачка. Подъехав к одному из самых больших и красивых каменных зданий, господин вышел из экипажа, огляделся по сторонам и быстро расплатился с кучером, махнув ему рукой. Это должно было означать: «Ты мне больше не нужен, можешь ехать дальше». Экипаж уехал, а господин повернул обратно, отсчитал три дома, и возле старого дома с черными закоптелыми стенами, номер 21в, остановился. Он вынул из кармана изящную беленькую книжечку в переплете из слоновой кости и тихонько прочитал:

— Номер двадцать один «вэ», во дворе, третий этаж, налево.

Позвонив у ворот, вступил он в большой четырехугольный, как ящик, двор, принялся рассматривать стены, окна, двери и увидел белую дощечку с черными буквами «кошер».

— Да, это здесь! — сказал господин, обращаясь к самому себе. В его глазах вспыхнул огонек, а на губах

появилась довольная улыбка человека, который нашел то, что искал. Быстрыми шагами взобрался он на третий этаж и увидел три двери: одну прямо перед собой, другую справа, третью слева. На левой двери он снова увидел надпись «кошер». Немного отдышавшись, он нажал наконец на кнопку звонка.

Здесь мы должны немного остановиться и объяснить читателю, кто этот загадочный господин, почему он ехал с такой таинственностью, почему он отсчитал три дома, вернувшись обратно, и почему он так обрадовался, когда увидел слово «кошер». Мои дорогие друзья! Это не Шерлок Холмс, это герой нашего романа — Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер, Шпак и К^о».

Глава вторая

*Герой говорит о танцах, о кушаньях
и тому подобных земных делах*

Я не могу вам сказать, чем именно занимается фирма «Бибер, Шпак и К^о». Я знаю только, что Маркус Бибер, представитель этой фирмы, — здоровенный дитина, редкий красавец, богатый купец и милый человек. Он еще холост.

Но пускай шадхены особенно не радуются: Маркус Бибер дал себе слово никогда не жениться.

Говорят, что в молодости Маркус Бибер был изящным кавалером, назывался «красавчиком» и был знаменит своим умением танцевать. У барышень считалось большой честью танцевать с «красавчиком». Все девушки любят танцевать с красивыми кавалерами. Отчего же нет? Это совсем не грешно. А с кем же им танцевать? Мы с вами уже слишком стары для этого. Кроме того, мы уже давно женаты и уже забыли язык танцев. А язык танцев — это особый язык, которым нужно уметь пользоваться. Наш герой, Маркус Бибер, мог танцевать целый час подряд и не переставая сыпать красивыми фразами, как цветами: «Раз-два-три, вы легче перышка...», «Раз-два-три, ваша талия — это мечта...»

Ах, для вас это китайская грамота? Да, надо уметь обходиться с дамами, надо знать, как держать себя с ними и как разговаривать. Я знаю это по собственному опыту. Однажды представили меня самым красивым

дамам и барышням города как писателя и юмориста. Цветник дам окружал меня со всех сторон, всем хотелось что-нибудь услышать от меня. Я завел разговор... о литературе. Сначала мои дамы очень мило мне улыбались. Спустя немного я заметил, что они закрывают ручкой рот, чтоб никто не видел, как они зевают. Кончилось это тем, что я остался один, как Робинзон Крузо на острове. А мои дамы сбились в уголке вокруг какого-то красивого стройного молодого человека и так заразительно и звонко смеялись, что одно удовольствие было их слушать. Я попросил познакомиться меня с этим молодым человеком. Нас познакомили. Его имя было Маркус Бибер («красавчик»).

Но теперь, увы, это уже не тот Маркус Бибер, что прежде. Он уже не «красавчик». То есть он и сейчас еще недурен, изящно одет, тщательно выбрит и изрядно надушен; всегда имеет при себе маленькую щеточку для усов и зеркальце, чтоб изредка взглянуть в него. В его зеленом галстуке красная булавка и на пальце сверкает брильянт. Все это было бы хорошо, если б не белая тарелочка на макушке, которая день ото дня делается все больше; если б не этот животик, который становится все выше и выше; если б он сам не чувствовал себя с каждым днем все более и более отяжелевшим. Да, совсем не то, что было... Что уж говорить о дамах, барынях, танцах? Отстаньте! Ему хочется покоя. Он любит поесть повкуснее, вздремнуть после обеда. Хорошо есть и крепко спать — что вы думаете? — это не такая уж малость. Я не знаю, какую философию исповедует мой герой. Возможно, он своим умом дошел до сознания, что жизнь человеческая коротка, что мир устроен глупо, что чашечка черного кофе и гаванская сигара после хорошего обеда — хорошее дело и способствует пищеварению... Хорошо тому, кто приходит к этой идее вовремя, пока желудок еще варит и сон не заставляет себя долго ждать. Вы можете даже сказать, что это буржуазные предрассудки, что это мысли человека, приверженного ко всему суетному, но вы не можете отрицать того, что это все-таки идея.

Я доволен, что у меня вырвалось слово «суетный». Это слово подходит к нашему герою. Маркус Бибер — суетный человек в полном смысле этого слова, суетный поклонник тщеты мирской. Он придерживается того взгляда, что не все люди одинаковы. Есть люди, которые

отрешаются от всего мирского, — это их дело. Бибер же, когда приезжает на новое место, прежде всего снимает себе номер в лучшем отеле и сейчас же начинает подумывать, что бы такое съесть. В то время как другие пассажиры бегают: одни — смотреть город, другие — по делам, Бибера вы, наверное, найдете или с вилкой в руке в буфете, у бутылок и закусок, или с белой салфеткой за воротником у столика в ресторане. Он углублен в меню, изучает список блюд.

Таким образом, вы уже несколько знакомы с моим героем. Теперь время познакомиться нам также и с героиней.

Глава третья

Героиня романа

Она еще совсем молодая женщина, и фамилия ее Файн. Она содержит гостиницу. У нее двое мальчиков, которые учатся в гимназии, старушка-мать в серебряных очках, всегда склоненная над большим молитвенником, и сестренка, которая помогает ей в деле. Кто хоть раз останавливался в гостинице у мадам Файн, только раз переночевал, съел только один завтрак или только два слова сказал с мадам Файн, — уже ни в какую другую гостиницу не пойдет. А когда он уедет, то долго-долго будет хранить в памяти ее лицо, ее глаза, весь ее облик и все ее движения. Ее невозможно забыть. Когда вы видите ее в первый раз, вам кажется, что она вам знакома, что вы ее где-то когда-то видели. Когда вы говорите с ней и глядите ей в глаза, вам приходят на память светлые образы Пятикнижия, какими они являлись вам когда-то в вашем чистом детском воображении. И у вас возникает претензия к творцу вселенной:

«Что тебе, господи, стоило, чтобы все женщины, которых ты сотворил, были похожи, например, на мадам Файн? Твоя скромная земля выглядела бы тогда совсем иначе. Душа радовалась бы, глядя на свет божий...»

Да, радовалась бы. Это радость — говорить с мадам Файн, глядеть в ее глаза, слушать ее голос, видеть ее руки. Ах, ее руки! К чему бы ни прикоснулись ее зо-

лотые руки, все блестит, все сверкает! Все оживает под ее руками. Где бы она ни появилась, становится светло. Наденет она платье, оно поет на ней. Когда она проходит по комнате, стены улыбаются. Все, что вокруг нее, живет, цветет, радуется.

Вот это наша героиня, хозяйка гостиницы и еврейского ресторана, который находится на одной из тихих улиц большого города N., в доме № 21в, во дворе, третий этаж, налево.

Теперь, полагаю я, моему читателю станут ясны многие вопросы, и мы может продолжать наш роман.

Глава четвертая

Рыба по-еврейски, блинчики с творогом и молодой человек в тесном воротничке

Когда наш герой находился еще по эту сторону дверей, до него донесся вкусный запах рыбы, еврейской рыбы, которая имеет свойство давать знать о себе на версту вокруг. Она хвастает перед всем светом: «Внимание! Я — фаршированная рыба, не то что какая-нибудь другая рыба; меня едят евреи, потому что я начинена пряностями и наперчена».

Открыв дверь, наш герой попал в большой, светлый, чистый зал. Белые стены его убраны зеленью. Длинный стол покрыт белой скатертью, украшен цветами. Вокруг стола сидит много евреев в шапках и без шапок, с бородами и без бород; такие, которые говорят по-еврейски, и такие, которые говорят по-русски, и такие, которые говорят по-немецки, то есть не совсем по-немецки, но больше чем наполовину, почти по-немецки. Сняв пальто и положив цилиндр, наш герой сел за стол на никем еще не занятый стул. Против него сидел субъект с красным лицом, с красным галстуком и тесным воротником. Воротник, видимо, так жмет ему горло, что он задыхается. У него глаза лезут на лоб, но он виду не подает. Он предпочитает испытывать муки ада и тихонько терпеть, нежели сбросить воротник и снять такой красивый галстук. Заняв свое место, Маркус Бибер поклонился, как того требует этикет, своему визави, то есть молодому человеку в тесном воротничке. Таким образом, они как будто несколько познакомились.

Маркус Бибер дает ему понять, что он первый раз в этом... в этом еврейском ресторане. Он остановился в «Гранд-отеле», и сюда его потянуло по случаю праздника швуэс. Вернее, не столько по случаю праздника, сколько по случаю праздничных блинчиков, которые обычно едят на швуэс, хе-хе.

— Хе-хе! — вторит ему молодой человек в тесном воротничке, еще больше багровеет и смотрит Биберу прямо в глаза.

За рыбой наш герой становится еще более разговорчивым:

— Великолепная, отличная рыба! Я давно уже не ел такой рыбы. Фаршированная рыба имеет совсем особый вкус. Пусть здравствуют евреи и еврейские блюда! Я, как вы видите, не такой уж правоверный еврей, но кошерные блюда я уважаю. Что уж говорить о праздниках. В праздники я ем только кошерное. Я не отдам кусочка еврейской рыбы за все маринады и майонезы в мире, и, между нами говоря, я не променяю еврейское жаркое на двадцать бифштеков, ромштексов, розбратов и ростбифов. Не будем лукавить: что может быть вкуснее шейки по-еврейски, начиненной мукой? Или бабки с куриными печенками? Или почек, пересыпанных крошками теста? Или чего не хватает, например, еврейскому бульону с хворостом, или лапшой, или вдруг даже с вареничками? А? Что?

Молодой человек в тесном воротничке молчит. Что может он сказать? Горе ему, он едва переводит дыхание. И Бибер снова возвращается к еврейской рыбе, говорит все громче, потому что все говорят, вся публика говорит о рыбе, не может нахвалиться рыбой. Гости превозносят рыбу и хозяйку, мадам Файн.

— Если хочешь поесть вкусной рыбы, то только у мадам Файн, — говорит человек с толстыми губами.

— Если хочешь есть с удовольствием, то нужно питаться у мадам Файн, — поддерживает его еврей, который отчаянно потеет.

— Я уже около четырех лет питаюсь у мадам Файн, — говорит молодой человек, у которого во время еды шляпа болтается на голове.

Одним словом, со всех концов стола только и слышится: «Файн», «Файн» и «Файн». А вот и она, мадам Файн.

Глава пятая

Да здравствуют блинчики!

Мадам Файн вошла с целой свитой: с одной стороны старая мать, с другой — молоденькая сестренка, а позади — маленькие гимназистки. Все они одеты по-праздничному, все выглядят по-праздничному и нагружены блюдами с горячими блинчиками, аромат которых разносится по всему залу. Можно было подумать, что луч солнца вдруг ворвался сюда в комнату и улыбкой лег на все лица. Все, как один, встали и приветствуют мадам Файн.

А мадам Файн? Мягко, просто и дружелюбно, тепло, как родной человек, как сестра, подходит она к каждому из гостей. Для каждого в отдельности у нее найдутся такие слова, от которых становится радостней на сердце и теплей на душе. Ее глаза улыбаются — и все улыбаются, и все вокруг нее смеется и радуется.

Наш герой, как это уже известно читателям, большой поклонник еврейских блюд, на сей раз взял на прицел хозяйку блинчиков и не мог оторвать от нее глаз. Он не понимает, почему вдруг сделалось так светло в комнате. И откуда повеяло на него вдруг такой теплотой и радостью? Они, кажется, не сказали друг другу ни единого слова, он только встал, а она подарила его взглядом, одним только взглядом своих милых светлых улыбающихся глаз, и он почувствовал, как что-то проснулось в его душе, что-то необычное, чего он до сих пор никогда не испытывал и чего даже назвать не может.

— Да здравствуют блинчики! — обращается он к своему визави и чувствует, что не это он хотел сказать. Он уже больше не смотрит на молодого человека в тесном воротничке и на его идиотские глаза. Он ест блинчики и не спускает глаз с мадам Файн, в то же время продолжает говорить: — Нравится вам, например, хозяйка? Сказали б вы когда-нибудь в жизни, что это хозяйка гостиницы, ресторана? Разве она не выглядит как графиня? Как королева? А? Что вы скажете?

Но молодой человек в тесном воротничке молчит. Он еще больше багровеет и даже начинает потеть. А наш герой дает себе слово, что не будь он Бибер, если он не познакомится поближе с мадам Файн. И сегодня же.

Глава шестая

*Герой меняет свой номер в «Гранд-отеле»
на номер в доме 21в, третий этаж, налево*

Я думаю, никому не покажется странным, что мой герой, Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер, Шпак и К^о», сейчас же после швуэс переехал из «Гранд-отеля» в дом номер 21в, третий этаж, налево. Конечно, в «Гранд-отеле» более роскошно, больше шика — о чем толковать? Но зато он еще никогда нигде не чувствовал себя так хорошо, так уютно, как здесь, среди хороших людей! Маркус Бибер очень скоро узнал, как зовут двух маленьких гимназистиков. Одного зовут Герцл, другого — Миша. Он заводит с ними дружбу. Играет с ними в «козу и волка» и в «ладошки». С сестренкой мадам Файн он тоже подружился. И даже для старой матери в серебряных очках, которая все сидит над толстым молитвенником, он находит нужные слова!

— Бабуня, вы все еще молитесь?

— Я уж и за детей и за внуков молюсь.

— Если так, то помолитесь, бабуня, и за меня.

«Бабуня» поднимает на него серебряные очки и ничего не отвечает на его шутку.

Словом, наш герой настолько сроднился, освоился с этой семьей, что ему совсем не хочется уезжать отсюда. А из дому его засыпают письмами, чтоб он скорей возвращался: дела призывают его. Дела? Какие дела могут его оторвать от этого места, где он наконец нашел свой истинный идеал? Как и когда это в нем созрело, он сам не знает. Вот так, само собой созрело. Сколько невест ему сватали! Сколько девушек за ним бегали?! Видно, суждено бедной одинокой женщине с двумя детьми, с маленькой сестренкой и старой матерью такое счастье! Детей он запишет к себе в паспорт и даст им свою фамилию: Бибер. Сестренку он выдаст замуж, а «бабуня» пускай себе сидит и молится на здоровье.

Так размышляет наш герой и видит в своем воображении, как бедная женщина будет поражена, когда он, Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер, Шпак и К^о», скажет ей, что он согласен дать ей свое имя и разделить с ней свое состояние! «Я надеюсь, что вы говорите все это серьезно?» — скажет она, и все лицо ее,

что белей молока, вспыхнет румянцем, а ее прекрасные глаза зажгутся новым огнем!.. А пока он предлагает ей пойти с ним в театр. Почему же нет? Мадам Файн ему очень благодарна. Однако она должна ему сказать, что без детей она не может пойти; она уже давно обещала им пойти с ними в театр. А если дети пойдут в театр, то придется взять и сестренку тоже... Конечно! Он иначе и не думал! И Маркус Бибер берет ложу и идет с мадам Файн, ее детьми и сестренкой в театр.

Глава седьмая

Немножко телеграфной литературы

Сидя в ложе с мадам Файн и ее сестрой, Бибер думал: откуда у этой женщины такое умение держать себя и такая обходительность? Графиня не выглядела бы лучше, чем выглядит эта хозяйка ресторана. Ах, как к ней пойдет имя «мадам Бибер». Когда он привезет ее к себе, в свой город, она затмит своей красотой всех самых красивых дам. Конечно, он никому не расскажет, что она когда-то содержала гостиницу и ресторан... Он скажет, что она аристократического происхождения, что она приходится дальней родственницей самим Поляковым, что у нее в Москве дядя-миллионер и два брата — инженера в Петербурге...

Эти мечты уносят нашего героя так далеко, что он сам начинает верить в этих петербургских инженеров. Он уже подрядился вместе с ними строить новую ветку железной дороги, а если не хватит денег, придется взять за бока дядю-миллионера. Ничего, вексель фирмы «Бибер, Шпак и К^о» чего-нибудь да стоит...

— Что вы говорите, мадам Файн?

Что ей сказать? Она ему очень благодарна за ложу. Она очень благодарна не так за себя, как за детей. Она давно обещала им пойти с ними в театр. Спокойной ночи, господин Бибер!

— Спокойной ночи, мадам Файн! Спокойной ночи, Герцл! Спокойной ночи, Мишенька! Завтра увидимся. Спокойной ночи!

И Маркус Бибер поднимается к себе в комнату и чувствует, что ему хочется петь, что ему хочется танце-

вать. Но он не поет и не танцует. Он ходит взад и вперед по комнате и места себе не находит. Он простить себе не может, зачем до сих пор словом не обмолвился с мадам Файн ни о своих планах, ни о своих чувствах. Уже несколько дней, как он собирается с ней поговорить и никак не может. Не может! Он не находит слов, не знает, каким языком говорить с ней. Старый танцевальный лексикон здесь неуместен. Договориться о таком важном предмете может только человек опытный, вот как, например, его старший компаньон Шпак. Старый волк знает толк: Шпак уже своих детей пережил, он лучше всех провернет это дело. Кроме того, надо сообщить домой, что он собирается совершить такой серьезный шаг в жизни. Пусть старая мать тоже порадует. (У Бибера богатая мать, которая является главой фирмы, а он, Маркус, ее единственный наследник.) Наш герой решает написать домой и просить компаньона, чтоб он поскорей приехал. И, не долго думая, он берет лист бумаги, садится за стол и...

Тут должны мы прервать наше повествование и сказать несколько серьезных слов. Наш герой, не в укор ему будь сказано, в искусстве писать не так был силен. То есть он, не дай бог, не какой-нибудь невежда, который не умеет пера держать в руках. Просто он больше привык писать деловые бумаги: счета, векселя и тому подобные произведения. Во всяком случае, ему не приходилось писать писем, где нужно выразить столько мыслей и такие чувства, которые трудно выразить на бумаге. Не лучше ли будет вызвать компаньона телеграммой?

И полетели депеши из одного города в другой, от одного компаньона к другому, от Бибера к Шпаку и от Шпака к Биберу. Любопытно будет познакомить нашего читателя с этой телеграфной литературой.

1. От Бибера Шпаку:

«Приезжайте. Серьезное дело. Бибер».

2. От Шпака Биберу:

«Телеграфируйте, какое дело. Шпак».

3. От Бибера Шпаку:

«Приедете — увидите. Бибер».

4. От Шпака Биберу:

«Ехать невозможно. Телеграфируйте, какой залог. Шпак».

5. От Бибера к Шпаку:
«Никакого залога. Приезжайте. Бибер».
6. От Шпака Биберу:
«Буду курьерским. Шпак».
- И Шпак приехал курьерским поездом.

Глава восьмая

*Где читатель познакомится
с новым персонажем — со Шпаком*

Насколько Маркус Бибер суетный, настолько его старший компаньон, Шпак, далек от всего мирского со всеми его радостями и удовольствиями. Шпак продал душу дьяволу и предался делам. Он не ест, не пьет, не спит, для него существует только дело, дело и дело. Если б жена и дети не следили за ним, не бежали за ним, насильно заставляя его поест, он истаял бы, как свеча. Он и так выглядит ужасно, Маленький, тщедушный, сгорбленный, он постоянно мигает глазами, или шмыгает носом, или передергивает плечами. Мысли у него скачут, дела летят, да и сам он тоже куда-то несется. А говорит он так быстро, что ему приходится несколько раз повторять сказанное. Он всегда зол, не зная, почему и на кого. Он кидается и бросается из стороны в сторону и плюется — может вполне сойти за сумасшедшего. Но по существу он не плохой человек: не любит почестей, не переносит чужих слез и ничего на свете не боится, кроме кошки и грома. Вот он весь — наш новый персонаж.

Шпак сошел с поезда, имея позади бессонную ночь. Он поругался с извозчиком, бросался, кидался из стороны в сторону, плевался и в конце концов заплатил в два раза дороже. Нисколько не отдохнув, не умывшись, не поев, он тут же отошел с Бибером в сторону.

— Что это за дело? Скорее, когда уходит курьерский поезд? Когда? Который сейчас час, скорее?

— Погодите. Прежде всего давайте закусим, — просит его Бибер.

Шпак сердится, ни о чем не желает слушать: или дело, или он сейчас же уезжает домой. От Шпака всего можно ожидать. Шпаку можно верить! Наконец они

уселись, и Бибер рассказал своему компаньону со всеми подробностями всю историю, как он остановился в «Гранд-отеле», как наступил праздник швуэс, как он стал искать еврейский ресторан, где можно получить блинчики с творогом, и так далее, и так далее... Он не пропустил ничего, даже маленькой сестренки, старой матери с молитвенником, двоих детей — Герцла и Мишу, ложи в театре... Все время, пока младший компаньон рассказывал, старший компаньон сидел как на горячих угольях, мигал глазами, шмыгал носом, передергивал плечами и только гнал и гнал: «Скорее, скорее!» — пока Бибер дошел наконец до самого главного и почувствовал, что у него с души камень свалился.

Разве я в состоянии вам передать, что произошло, когда Шпак понял суть всей истории?

Его младший компаньон, Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер, Шпак и К^о», хочет жениться на какой-то рестораторше, потому что она хороша лицом и умеет готовить блинчики?.. Другой на месте Шпака разразился бы хохотом, призвал бы все казни египетские на головы своих врагов и послал бы своего компаньона к черту. Но нет, Шпак не такой человек, он не смеется. Вот уже более двадцати пяти лет никто не видел, чтобы Шпак смеялся. Шпак обеими руками схватился за голову и, не говоря ни слова, начал бегать взад и вперед по комнате. Только спустя немного он начал говорить — нет, не говорить, но извергать огонь, метать молнии. Он клялся, что если бы располагал временем, то взял бы его, Бибера, значит, и повел бы к доктору. Но так как у него времени нет, дела его не отпускают, он плюнет и уедет домой, а он, Бибер, значит, пусть остается здесь, и пусть он сгорит со своими ресторанами, рестораторшами и блинчиками. Пускай все пойдет прахом, все дела к черту, в преисподнюю.

Шпак даже расстегнул воротник, а галстук забросил на шкаф, — так возмущен он был своим компаньоном. А его компаньон что сделал? Ничего. Сидел и молчал. Бибер его знает. Он знает, что Шпаку нужно дать вволю покипятиться, покричать, а потом можно с ним сделать что хочешь.

— Уже? — спрашивает его Бибер. — А теперь давайте спустимся в ресторан и перекусим.

И оба представителя фирмы «Бибер, Шпак и К^о» спускаются в ресторан. Они садятся за столик. Бибер представляет мадам Файн своего старшего компаньона, господина Шпака. И тут совершилось чудо.

Глава девятая

*События развиваются, и на сцене
появляется новое действующее лицо*

Вы верите в колдовство? Приходится иногда верить и в колдовство! Потому что иначе не объяснить того, что произошло со Шпаком. Куда девался его гнев, его раздражение! Совсем не тот Шпак! Тише, он даже перестал мигать глазами! Часа два он сидел за столом с мадам Файн, говорил с ней обо всем на свете и совершенно не заметил, как время пролетело. А когда он поднялся наверх, то по привычке походил быстрыми шагами взад и вперед по комнате, потом остановился против Бибера, поднял голову к потолку и, заложив руки за воротник, скороговоркой, повторяя три раза каждое слово, сказал:

— Ты должен без дальних проволочек, должен ты без проволочек вызвать мать телеграммой, должен вызвать.

Бибер возражает. Что он — мальчик? Молоденький жених, которому мама поможет выбрать невесту? Но Шпака нелегко переспорить. Что касается дела, так уж пожалуйста! Дело он понимает лучше. И летит дипломатическая телеграмма к мадам Бибер:

«Дело требует вашего присутствия. Приезжайте. Шпак».

В ответ на эту телеграмму тут же пришла другая телеграмма:

«Что случилось? Телеграфируйте здоровье Маркуса. Беспокоюсь».

Снова летит телеграмма:

«Маркус совершенно здоров. Приезжайте. Шпак».

В ответ опять телеграмма:

«Выезжаю курьерским».

Ни жива ни мертва приезжает госпожа Бибер, мать нашего героя, еще довольно красивая женщина, с ридикулем в руке. Она падает сыну на грудь, благодарит

бога, что застала «Маркусеньку» живого. Если она не умерла в дороге от одних только черных мыслей, значит, она, бог даст, будет долго жить!

Глава десятая

*Все три действующих лица принимают
за свою дипломатическую работу*

Шпак хоть и сухой человек, все же он более дипломатичен, чем Бибер. Он не рассказал госпоже Бибер о романе Бибера, он умолчал обо всей этой истории. Он только свел обеих женщин внизу, в зале, — и все. И конечно, им уже нелегко было расстаться. Старая госпожа Бибер говорила про себя: «Подумать только! Если б мне бог послал такую невестку, чего бы я еще могла желать?» Можно легко представить себе слезы, которые навернулись ей на глаза, когда Шпак дипломатично изложил ей, в чем тут дело, и когда «Маркусенька» сам открыл ей тайну, сказав, что он смертельно влюблен в мадам Файн и только ждет, что она, мать, скажет... Старая госпожа Бибер снова упала сыну на грудь и возблагодарила бога за то, что дождала до того отрадного дня, которого она так долго ждала, довольно долго... Правда, партия не столь завидная. Но станут они об этом думать?! Сейчас другая жизнь пошла... Дай бог, чтоб они были счастливы!

— Аминь! — отзывается Шпак. — Теперь осталось одно, одно теперь осталось: надо поговорить, надо с ней поговорить насчет этого дела, именно сейчас и именно Маркусу, который это час, который час?..

Сказанное Шпаком нужно было понимать так: со старым холостяком нельзя тянуть! Нельзя мешкать! И все три действующих лица посмотрели друг на друга и без слов поняли друг друга.

Было уже довольно поздно, когда наши три персонажа, оба компаньона и старая госпожа Бибер с большим ридикулем, спустились в ресторан поесть. Там же госпожа Бибер должна была поговорить с мадам Файн о том самом...

В зале нет никого. Только в углу, как всегда, сидит над своим толстым молитвенником старая мать в серебряных очках. Оба компаньона садятся за стол, а гос-

пожа Бибер подсаживается к старушке, начинает с ней разговор о всяких домашних делах, о хозяйстве, о всяких пустяках. Затем она переходит на тему о детях, старается насколько возможно выведать у старухи о достоинствах ее дочери и не забывает в то же время перечислить достоинства своего сына, своего единственного сына. Все скажут, что нет второго такого на свете. Добряк и широкая натура. Если ему что-нибудь придется по душе — он все отдаст. Счастлива будет та, которая соединит с ним свою судьбу, — только птичьего молока ей не будет хватать!..

Старуха над толстым молитвенником по-настоящему не понимает, для чего эта женщина ни с того ни с сего так превозносит своего сына, но все же она поднимает на нее свои серебряные очки и выслушивает до конца, то есть до тех пор, пока мадам Бибер сама себя не прерывает и, оглянувшись вокруг, не говорит:

— Где ваша дочь?

Старуха снимает серебряные очки.

— Она нужна вам? Я пойду позову ее. Она у себя, готовит с детьми уроки.

— Нет, нет. Зачем я буду вас беспокоить? Я лучше сама зайду к ней на минутку. Скажите мне только, как к ней пройти!

И госпожа Бибер берет свой ридикюль и идет к мадам Файн.

Оставим на время женщин и вернемся к нашим мужчинам. Мужчины важнее: все-таки представители сильного пола!

Глава одиннадцатая

*Появляется знакомое лицо,
и наши два компаньона потрясены*

Наши два компаньона, Бибер и Шпак, оба представителя фирмы «Бибер, Шпак и К^о», в это время сидели за столом в приподнятом, праздничном настроении и толковали о делах. То есть говорил, собственно, только Шпак, потому что Шпак, когда говорит о делах, то не только он говорит и все его двести сорок восемь членов *, но с ним вместе говорят и стены. Шпак любит дела не потому, что он так жаден до денег. Деньги — отчего же

нет? Он не возражает против денег! Кто же это не любит денег? Но главное у него — дело! Дело для Шпака то же, что для шахматиста — шахматы, для пьяницы — водка или, прошу прощения, для гуляки — красивые девушки...

Шпак влюблен в дело — и только! В то время как Шпак замороженно говорит о деле, в зал входит человек и вежливо кланяется обоим компаньонам.

Наш герой, Маркус Бибер, поднимает глаза и смотрит на вошедшего. Ба, да это его бывший визави, молодой человек в тесном воротничке. Как он попал сюда? И так поздно ночью? Молодой человек в тесном воротничке, видя, что ему очень удивляются, смущенный останавливается. Он вспотел, он красен как рак, а глаза его вот-вот выскочат! Из сострадания Бибер просит его сесть и представляется ему:

— Мы, кажется, знакомы, Маркус Бибер. А это мой компаньон, Шпак.

Молодой человек в тесном воротничке снова вежливо кланяется и, в свою очередь, представляется компаньонам:

— Файн.

— Файн?

— Файн.

— Вы не в родстве с мадам Файн?

Молодой человек с тесным воротничком не выказывает и тени улыбки. Он смотрит прямо в лицо Биберу двумя круглыми телячьими глазами.

— Мадам Файн — моя жена, это значит, что я — ее муж.

Как почувствовал себя наш герой, когда он услышал эту новость, кажется, читатель сам понимает. Если жена Лота превратилась в соляной столб*, то Бибер превратился в камень. Совсем иначе выглядел его компаньон. Шпак вдруг начал сильно играть глазами, шмыгать носом, подергивать плечами, плевать и брызгать слюной; он стал пересаживаться с одного стула на другой. Огонь запылал в душе Шпака, и страшная ненависть к молодому человеку с тесным воротничком зажглась в его сердце. Если б ему позволили, он повесил бы его вот здесь, посреди зала, на люстре. А бедный, ни в чем не повинный молодой человек садится против обоих компаньонов и смотрит на них виноватыми глазами.

Сейчас оставим мужчин и полюбопытствуем, что делается там, на женской половине.

Последняя глава

*Колесо фортуны странно повернулось
и привело к концу романа*

Когда госпожа Бибер с ридикулем в руке пришла к мадам Файн, она нашла ее сидящей за книгой вместе со своими мальчиками. Госпожа Бибер на мгновение останавливается на пороге. Не помешает ли она? Мадам Файн встает. Она не ждала такой гостьи. Она просит сесть. Не хочет ли госпожа Бибер чаю? Нет, госпожа Бибер благодарит, благодарит за чай. Ах, какие у нее прелестные, милые дети! Такие дети — благословение божие. Ее же бог наказал — не дал ей нескольких детей. У нее только один ребенок, единственный сын. Маркус — это ее единственное утешение, свет ее очей. Один сын, но зато удачный. Как он ей нравится?

— Кто?

— Маркус, мой сын.

— Господин Бибер? А! Очень-очень порядочный человек. И милый человек. Мои дети влюблены в господина Бибера. Господин Бибер их слишком балует. Как-то взял их в театр...

— В театр? Ха-ха! Это пустяки. Вы еще его не знаете. Он добряк и широкая натура. Если ему кто понравится, он тому душу отдаст. Да поможет ему бог за его доброе сердце. Он заслуживает любви. Счастлива будет та, которая соединит с ним свою судьбу. Разве только птичьего молока!.. Его доброте, преданности и душевности нет конца! Я мать, и кто еще так знает свое дитя, как мать? Вот я здесь еще и одного дня не прожила, а я могу вам сказать, слышите вы, что его сердце, его душа и он весь, весь принадлежит вам.

— Мне?

— Вам, вам, мое дитя. Я понимаю вас, я вхожу в ваше положение. Я чувствую, что происходит в вашем сердце, и меня не удивляет, что вы покраснели...

— Мадам Бибер...

— Вы не должны оправдываться. Я вас отлично понимаю. Я тоже женщина. Я тоже была молода и красива. Меня тоже когда-то любили. Вы не должны меня стесняться. Я мать, я ему предана и хочу видеть его счастливым. Я знаю, что с вами он найдет настоящее счастье, и ни я, ни он сам не желаем лучшего.

— Мадам Бибер! Бог с вами...

— Пусть бог будет со всеми нами, дитя мое! Не называй меня мадам Бибер, зови меня мамой, потому что я тебе мать, как и ему. Вы мои дети, я ваша мать. Если ты согласна, поди ко мне, поцелуемся, и пусть сегодня же вечером бьют тарелки...

Мадам Файн встает, но вместо того чтобы подойти к госпоже Бибер, она отступает назад. Ее глаза горят гневом, но лицо улыбается. Она хватается обоих своих детей за руки, как будто кто-то хочет их у нее отнять...

— Мадам! Вы говорите глупости! У меня есть муж!

— А? Что? Вы?.. У вас есть муж?

— Пусть он живет сто двадцать лет...

— Где? Кто?

— Кто? Он при деле, он бухгалтер...

Госпожа Бибер поднялась было, но опять села. Она открывает ридикюль, закрывает его, снова и снова открывает, не зная зачем.

Ее обдало холодным потом.

В отдельном купе первого класса сидят три человека. Поезд летит. Стучат колеса. Пассажиры молчат. Пожилая, еще красивая дама, с ридикюлем в руке и подушечкой под головой, закрыла глаза и притворяется спящей. Против нее высохшее, как мумия, существо склонилось над кучей счетов. Оно мигает глазами, шмыгает носом, дергает плечами, как будто считает, и тихо с самим собой разговаривает. Повернувшись к окну, заложив руки за спину, стоит элегантный господин — третий пассажир. Он смотрит, как проносятся дома, деревья, леса, поля... Мимо, мимо — и исчезают.

«Вот так бегут, уносятся дни и годы, — думает он, — лучшие молодые годы».

ДОКТОРА́

Диалог

— Простите, вы не знаете, где живет доктор Файнфинкелькраут?

— А? Как вы сказали? Файнфинфайн...

— Файнфинкелькраут.

— Файнфинкелькраут? Так и говорите. Файнфинкелькраут... Знакомая фамилия... Вам нужно именно к нему или вас устроит и другой доктор? У нас этого добра в избытке. Вот здесь напротив тоже живет доктор, даже два доктора: один настоящий доктор, другой зубной. И вон там, совсем рядом, в третьем доме отсюда, живет доктор, вполне приличный доктор, хоть и молоденький еще совсем, молоко на губах не обсохло, но это ничего, практика у него довольно приличная. У всех наших докторов приличная практика, потому что народ, понимаете ли, хворает, не сглазить бы... Как, вы сказали, зовут его, вашего доктора? Финфайнфин...

— Файнфинкелькраут. Он мне не для себя нужен...

— А для жены? Тогда идите прямо туда, видите? Там живет женский доктор, доктор-акушер, значит. Искусный, говорят, доктор и только по женским болезням... Специалист, ничего не скажешь. Теперь уже всюду так заведено: что ни болезнь, то специальность; живот — одна специальность, печенка-селезенка — другая специальность, глаза — специальность, нервы — специальность и для детей — свой доктор... И лечение теперь тоже не то, что прежде. Прежде были лекарства, пилюли всякие, порошки, горькие травы; теперь пошла мода на машины, на втирания какие-то, на массажи и ванны, да, на обыкновенные ванны, — доктора теперь стали банщиками, и это для них, пожалуй, самое выгодное занятие...

Какая у него специальность, у этого доктора, о котором вы спрашиваете? Кто он такой? Еврей?

— Конечно, еврей. Не христианин же! Вы ведь слышите... Файнфинкелькраут...

— Файнфинкелькраут, вы сказали? Ну да, понимаете, еврей. Раз Файнфинкелькраут — значит, еврей. У нас все доктора по большей части евреи. Хотя сами-то евреи предпочитают обращаться к доктору-христианину; еврей любит, чтобы и адвокат был христианином, и хозяин магазина, и учитель. Еврей за христианина душу отдаст... Как, значит, вы сказали, зовут его, вашего доктора? Файфер?

— Не Файфер, а Файнфинкелькраут. Он мне совсем по другому делу нужен...

— Ага, по поводу призыва, значит, посоветоваться хотите? Понимаю... Что? Не то? Ну, тогда, значит, сватовство. Правда, угадал? Еще бы! А что же еще? Если не призыв, и не болезнь, и даже жена не больна, так остается только сватовство... Если так, то этот ваш, как его, нужен вам, как пятое колесо телеге. Я вам укажу гораздо лучшего доктора. Все зависит от противной стороны, сколько там собираются дать. Чем больше практика, тем больше требуется приданого. А если даже и нет практики, все равно доктор всегда в цене. Самого последнего студентку, раз он попал в университет, вы по нынешним временам не купите меньше, чем за пять-шесть тысяч. Тем более готового доктора, пусть он будет последний из последних! Вы мне скажите только точно, чего хочет противная сторона.

— Да нет, ничего похожего, совсем не то. Вы ошибаетесь...

— Меня вы не переспорите! Вы только послушайте, что я вам говорю. Если только противная сторона в состоянии хорошо уплатить, это будет то, что вам надо. Ведь какой доктор! Ну, прямо профессор! На все руки мастер: он и по животам, и по нервам, и по зубам, и детей лечит, и операции делает... Что касается женщин, то они самого высокого мнения о нем, потому что он парень хоть куда, рослый, понимаете ли, — одним словом, мужчина! К тому же он еще и сионист, и язычок у него — огонь! Не доктор, а игрушка, говорю вам, чего же больше?

— Да нет, я же вам сказал, что мне...

— А? Так и говорите! Что же вы мне сказки рассказываете? Видите вот тот белый каменный домик?

— Да, а что? Там живет Файнфинкелькраут?

— Там живет не Файнфинкелькраут, там живет Меер Толочинов. Богач. Когда-то был превеликим потомственным бедняком, а теперь дай бог нам с вами столько, не в ущерб ему. Так вот у него доченька, безобразная, как смерть. Но когда бог помогает человеку, то лицо нетрудно и скрасить, только бы деньги, каких-нибудь десять — пятнадцать тысяч карбованцев, и можно разрешить себе взять доктора из самого Киева. То есть окончил он в Киеве, а сам он уманский, родом, значит, из Умани...

— Зачем вы мне все это рассказываете?

— А затем, что вы спрашиваете о...

— О докторе Файнфинкелькрауте? Не затем я спрашивал о нем, чтоб сосватать ему невесту, доктор Файнфинкелькраут, видите ли...

— Так бы и сказали! А я думал, что вы... Если так, то послушайте, дайте-ка ваше ухо... Для этого у меня тоже есть специалист, новенький, прямо с иголочки. Недавно открыл кабинет... Наследство поймал, несколько тысяч карбованцев, вот он и сообразил и все деньги ухлопал на машину, сам поехал за ней за границу. Практики у него пока еще нет, но такая бы мне забота о деньгах на субботу, как ему о практике! Будет у него практика, не беспокойтесь, у всех врачей по этим болезням богатейшая практика. Специалисты же... Пстойте, чего вы так торопитесь? Чего вы удираете? Я еще не кончил. Могу предложить вам еще несколько докторов...

— Но помилуйте, на что мне сдались ваши доктора? Что вы ко мне пристали? Не нужны мне доктора, мне нет дела ни до призыва, ни до невест, ни до специалистов всяких. Я всего лишь приказчик, и доктор Файнфинкелькраут мне нужен совсем по другому делу: нам следует получить с него за дрова... За всю зиму...

— За дрова? Черт возьми! Поймал чужого человека и морочит ему голову! Какой-то Финкелькраут ему понадобился! А может быть, у человека времени нет? Может быть, человек ищет, где бы ему заработать какой-нибудь карбованец, — ведь суббота на носу! Я, однако, сразу по лицу вашему узнал, что вы имеете отношение к дровам, дал бы мне так бог счастья на старости лет! Уж эти мне деревянные люди — тьфу!..

КАРТЫ

История старого вольнодумца, рассказанная в честь хануки

В наше время карты — дело обычное.

Где только теперь не играют в карты? *Когда* только не играют в карты? *И кто* только в наши дни не играет в карты?

А в старину, можете себе представить, у нас играли в карты только один раз в году — на хануку.

То есть, если хотите знать, можно было в те времена и среди года перекинуться в картишки. Будь здоров! Но как? В полной тайне! За семью замками!

Это можно было зимой в хедере, в сумерки, между предвечерней и вечерней молитвами, когда ребе уходил в синагогу и грелся там у печки, с видом знатока толкуя простому люду Талмуд, в котором, кстати, и сам был не силен; или летом в темном сарае, у светлой щелочки в дверях; или, подкупив шамеса Гецла, горбатого, вечно кашляющего человека, можно было забраться в женскую синагогу, надлежащим образом перевернуть, прошу прощения, стендер * и — валяй в старший козырь, или в тридцать одно, или в «тертел-мертел».

Риве-Лея, старостиха, — да будет благословенна память ее, она давно уже в лучшем мире, — однажды нашла у себя в стендере такую вещь, что чуть в обморок не упала. Кто это мог ей подложить в стендер такую вещь?

Она бросилась на улицу, побежала по городу и, можете себе представить, принялась кричать:

— Караул! Люди добрые, спасите! Караул! Несчастье! Навет! Идите со мной, и вы увидите!

Где несчастье, что за навет, никак нельзя было добиться.

— Идите, идите со мной, я вам покажу!

И вот так она, можете себе представить, собрала вокруг себя народ, не сглазить бы, начиная с раввина и дайена *, резника и кантора и кончая почтеннейшими людьми города.

Совершенно ясно, что когда увидели Риве-Лею, старостику, с раввином и дайеном, с резником и кантором, а с ними еще отцов города, то и простой народ устремился посмотреть, что такое случилось. Женщины, молодые люди, мальчишки — все хотели знать, что там. И все пошли за Риве-Леей в синагогу! Впереди Риве-Лея, за ней — народ.

Страх, можете себе представить, охватил всех. Люди думали, что, наверное, произошло большое несчастье: или нашли повешенного, или, спаси господь, кровавый навет, или еще напасть какая-нибудь!..

Ни живы ни мертвы взобрались все наверх, в женскую синагогу. Риве-Лея впереди, раввин с дайеном, с резником и кантором — за ней, а позади все остальные, весь остальной народ.

— Где? Где? — спрашивали все у Риве-Леи, старостики, и прислушивались, не услышат ли крика младенца, всматривались, не увидят ли висящего человека и нет ли, не приведи господь, где-нибудь следов крови, которые враги нарочно оставили, чтобы накликать беду на евреев.

И можете себе представить, как были все огорошены, когда вместо живого младенца, вместо повешенного, вместо следов крови увидели у старостики Риве-Леи в стендере попа с черным крестом! И не одного попа, но целых двух попов с двумя крестами: один поп сверху, другой — снизу...

Все наклонились и заглядывали к Риве-Лее в стендер: сначала раввин, дайен, резник и кантор, за ними почтеннейшие евреи города, а потом уже весь прочий люд, один за другим. Взглянут — и бежать. Прикоснуться к *этой* руками охотника не нашлось. Отважился один только Велвл Рамшевич, зять кантора.

Велвл Рамшевич, как только взглянул, прямо-таки просиял. Он рассмеялся и радостно воскликнул: «Да ничего это! Чепуха! Это же король трефовый!»

— Что это значит — король трефовый?

— Это такая карта. Есть такая игра, называется карты!

— Как же попала она, эта карта, в женскую синагогу, к Риве-Лее, старостихе, в стендер? Это первое. А во-вторых, откуда тебе, зятю кантора, знать, что это карта, и что называется она король трефовый, и что есть игра такая, называется карты?

Бедняга Велвл понял, что он здорово попался. Он краснел и бледнел, можете себе представить, лепетал что-то несвязное, вертелся и так и этак, пока...

Но не это хотел я вам рассказать. Это особая история, которую мы отложим на другой раз. Это не более как вступление, как принято говорить. Это своего рода предисловие к нашей истории о «картах». Я только хотел вам показать, как мало известны были тогда евреям карты, как запретны они были и как нужно было с ними прятаться.

Одна только была счастливая неделя в году, когда можно было играть в карты свободно, совершенно открыто.

Это была неделя праздника хануки.

А уж если речь идет об «открыто», то мы не стеснялись... Мы собирались — целая компания молодых людей — и отправлялись играть в карты к Велвлу Рамшевичу. Он уже и тогда был забубенная головушка. Он снял бороду и пейсы именно в дни «сефире»*, открыто курил в субботу, обязательно выйдя на крыльцо, ел свиную колбасу непременно в «постные дни»*. И знай наших!

А жена его, Хаеле, дочка кантора, не долго думая, сняла парик и осталась в своих собственных рыжих волосах, посыпала пудрой свое рябое лицо, и с утра до вечера хи-хи-хи да ха-ха-ха с молодыми людьми, показывает всем свои черные зубы.

«Молитвенный дом» — так назывался у нас дом Рамшевича — был открыт для всех молодых людей в городе. Там можно было почитать газету, светскую книгу, в субботу выкурить папиросу, в пост оскверниться колбасой. Но самое главное — там можно было побаловаться картишками.

Хозяева любили карты — и муж и жена. Она еще больше, чем он. Она прямо-таки пылала страстью к картам. Поговаривали, что они на картах подрабатывают. Ибо Хаеле постоянно выигрывала. Карта к ней шла, да и только! У нее всегда были козыри. Постоянно у нее

лучшие карты, каждый раз ее карта бьет, и ничего не скажешь!

Вы можете себе представить, что такое зятек на харчах у родителей жены? Так я должен вам сказать, что благодаря ей, благодаря этой Хаеле с рыжими волосами и рябым лицом, не один такой зятек спускал все женино приданое, да еще и жемчуг в придачу, да еще и тестя своего доводил до банкротства.

С одним таким зятком Хаеле однажды целую зиму играла в «оке» и довела его до того, что он развелся с женой — картинкой, красавицей — и перешел к ней на квартиру... В городе поднялся вопль! Что вам сказать? Светопреставление!..

Но это еще тоже не главное в нашей истории с «картами». Я только описал вам то место, где случилась эта история. Это значит, что история, которую я хочу вам рассказать, произошла-таки в этом самом «молитвенном доме», о котором я рассказывал, в доме Рамшевичей. И случилось это в первый день праздника хануки.

Итак, можете себе представить, сидели мы в первый день хануки в «молитвенном доме» и играли в нашу святую еврейскую игру — в «оке».

Играли мы там, да будет вам известно, партиями. Одна партия сыграла — другая садилась играть. И обычай был такой: одни играли утром, другие — днем, а третьи — вечером. И с каждой компанией играл один из Рамшевичей — иногда муж, иногда жена, а иногда оба. Ночью, если он спал, она играла. А иногда, можете себе представить, случалось, что они целую ночь, а иногда и две и три ночи оба не спали, оба играли. Разве только между одним коном и другим они на полчаса уходили, чтобы прилечь и вздремнуть накоротке...

Прилечь и вздремнуть мог и каждый из гостей. Кто раньше захватит местечко, тот и соснет.

Точно так же было и с едой. На столе, можете себе представить, всегда было разных сортов соленое, была нарезана колбаса, всегда стоял графинчик с рюмками, и — алчущий да насытится.

Понятно, что все это было за счет игроков. С каждого кона снимались «чаевые» для прислуги, хотя в «молитвенном доме» не было никакой прислуги. Рамшевичи не нуждались в прислугах. В этом доме не готовили, постелей не стелили, комнат не подметали. На это не было времени. Для чего же тогда прислуга? Однако

Рамшевичи не пропускали ни одного кона, чтобы не снять «чаевые». Все знали, что эти деньги идут на квартирную плату, на дрова, на карты и закуску. Что ж, живые люди! Живому человеку жить нужно!.. Таким образом, пить и есть, можете себе представить, мы могли там сколько душе угодно...

То же и с папиросами: целые ящики с папиросами — и кури, сделай милость. Больше всех курили сами Рамшевичи — он и она; она еще больше, чем он. Я не могу себе представить Хаеле Рамшевич без папиросы во рту. Напудренное рябое лицо Хаеле, с растрепанными рыжими волосами, с невыспавшимися припухшими глазами; в комнате накурено, хоть топор вешай; неумолчный гам — вот как, можете себе представить, выглядел «молитвенный дом» в праздник хануки, когда можно открыто играть в карты и не нужно прятаться и бояться недоброго глаза...

Я в тот день был в третьей партии, то есть в той компании, которая села играть вечером в первый день хануки и не вставала из-за стола до следующего вечера, пока не зажгли третью ханукальную свечку, и даже немного позже...

Благословлял ханукальные свечи, упаси боже, не хозяин, Велвл Рамшевич, но один из гостей — Эля Рафальский, молодой человек, картинка, зять у тестя на содержании, влюбленный в картишки, но зато строгий блюститель религиозных еврейских обрядов. А у Рамшевичей был славный обычай — их не интересовал ваш образ мыслей: вы можете быть вольнодумцем, и, наоборот, вы можете быть трижды святым, — была бы только у вас монета и играли бы вы в «оке». И если есть место еще для одного игрока — то отчего же нет, милости просим, с превеликим удовольствием!

Столько болячек моим врагам, а мне счастливых лет, сколько раз мы играли с людьми, можете себе представить, пять дней и пять ночей подряд, расходились и не знали, кто они, что они, откуда они явились и куда девались потом. Играть в карты — это ведь не обручиться! Можно прекрасно играть в «оке» «в темную» и не знать родословной своего партнера.

Итак, мы сидели и играли в «оке», так сильно углубленные в свою работу, что совсем не заметили, как вошли два человека, но такого необычного вида, что, как только мы услышали их «с праздником» и подняли на

них глаза, мы все оцепенели, у нас отнялись язык и руки.

Вы хотите, конечно, знать, что это за субъекты такие, что их можно было так испугаться. Я вам их сейчас по возможности опишу.

Один — высокий, тонкий, длинный, в шелковом длиннополом сюртуке, вьющиеся узкие, длинные до пояса пейсы, на голове штраймл *, а усы и борода такие страшные, что если столкнешься с таким субъектом в темном переулке, душа в пятки уйдет.

Второй, наоборот, низенький и толстый. Тоже с длинными пейсами и тоже со странной бородой и усами. Но этот не так страшен, как первый. В одной руке у толстого был фонарь, в другой — большой платок с деньгами.

Заметив, что мы их как будто испугались, высокий и длинный, с вьющимися пейсами, улыбнулся в усы и еще раз сказал:

— С добрым праздником вас, милые евреи. Мы пришли поздравить вас с праздником хануки.

При этом он бросил взгляд на ханукальные свечи, затем на столик с картами и испустил глубокий вздох. Вслед за ним второй, толстый, тоже вздохнул. Оба искали глазами местечка присесть.

Хозяин, Велвл Рамшевич, вспомнил наконец, что надо быть вежливым. Он стремительно поднялся с места, поздоровался с вошедшими и указал им, где сесть. А за ним и все мы сочли нужным поздороваться с ними, с каждым в отдельности: кто — пожимая руку, а кто — просто кивком головы.

Усевшись, они снова переглянулись и глубоко вздохнули. А хозяин счел нужным спросить у них: как звать, откуда, и что, и как — как это принято.

Отвечал первый, длинный и тонкий, языком, можете себе представить, совершенно елейным. Очень медленно, с приторно сладкой улыбкой из-под страшных усов он произнес считанных несколько слов. Казалось, он не говорит, а творит молитву и при этом что-то обсасывает.

— Я, мои милые люди, внук Баалшема *. Я всю жизнь скитаюсь по белу свету, собираю деньги на ешибот. Собираю здесь и за рубежом, там, в стране наших предков, — ох-ох-ох! А это мой габе *, который сопровождает меня, — указал он глазами на толстого. И оба глубоко вздохнули.

— Всю жизнь мы отдали за ешибот, божья тора чтобы, упаси господи, не была забыта — ох-ох-ох! Жертуйте, евреи, сколько душа ваша пожелает... «Кто много, кто мало...» — разразился стихом внук Баалшема, закатив глаза. А толстый поддержал его:

— Кто больше дает, тому бог пошлет. — Он закатил глаза и со звоном бросил платок с деньгами на стол. Платок развязался, и оттуда выглянула масса серебряных и также золотых монет.

Говорят, деньга деньгу зовет. Так как в платке было много серебряных и золотых монет, нам неудобно было отказаться, и каждый из нас немного положил в платок. В это время у каждого промелькнула мысль (я знаю наверное, что у каждого пробежала эта мысль!): «Ах, если б мне этот платок с деньгами! Какой спектакль я сыграл бы за этим столом!...»

У нашей хозяйки, Хаеле Рамшевич, можете себе представить, даже глаза загорелись. Это заметили все, даже внук Баалшема со своим габе. Они не торопились, однако, убрать платок со стола. Они сидели оба, опустив руки, и как-то странно разглядывали карты, которые были разбросаны по столу. Похоже было на то, что они видят карты первый раз в жизни.

— Извините, пожалуйста, я хочу вас спросить, мы не мешаем вам? — так заговорил внук Баалшема со своей елейной речью и слащавой улыбочкой. Он показал мизинцем на разбросанные карты. — Это что такое, вот это?

— Карты, — отвечают ему оба разом, хозяин и хозяйка. Они переглядываются с нами, словно говоря: «Есть еще, видно, на свете такие дикари, которые не знают, что такое карты...»

Внук Баалшема закрыл один глаз, сморщил лоб и нос, повернул лицо к габе и произнес с легким вздохом:

— Кнарты?..

— Кнарты! — ответил ему габе, тоже слегка вздохнув.

— Не кнарты, а карты! — рискнула поправить их Хаеле Рамшевич, не спуская глаз с платка с деньгами.

Ни внук Баалшема, ни габе, разумеется, ничего не ответили хозяйке и даже не подарили ее взглядом своих мягких, улыбающихся, умных глаз. Такие евреи, можете себе представить, не смотрят на женщин.



— Скажите же мне, пожалуйста, я вас прошу, если мы не мешаем вам, — снова обратился внук Баалшема к хозяину, — что такое кнарты? И зачем они нужны? То есть я хочу сказать: что с ними делают?

— Играют, — отвечает ему Рамшевич. — Когда приходит праздник хануки, играют в карты.

Внук Баалшема опять закрыл один глаз, снова медленно повернул лицо к габе и проронил с легким вздохом:

— В праздник хануки у них играют в кнарты. Ох-ох-ох!

— В кнарты! — повторил габе с таким же вздохом.

— Что же это такое? — снова обратился внук Баалшема к хозяину со своей медлительной елейной речью. — Как это играют в кнарты? Для чего играют?

— Ради денег, — отвечает ему Рамшевич и смотрит на нас и на платок с деньгами.

Ответ «ради денег», видимо, показался двум гостям совершенно диким и ни с чем не сообразным, потому что они оба одновременно повернулись друг к другу и скорчили такую гримасу, что все присутствующие, которые до сих пор только тихонько посмеивались, не могли больше выдержать и разразились громким смехом.

— Что тут смешного? — заступилась за них хозяйка и закурила, чтоб скрыть улыбку. А хозяин, Велвл Рамшевич, пришел ей на помощь и объяснил этим евреям коротко и ясно смысл карточной игры: карты — забава, чтобы провести время, и также средство добыть деньги. Короче: карты — это дело. Такое же дело, как всякое другое.

Так выпалил Велвл, зять кантора, взялся за карты и строго посмотрел на окружающих. Всем своим видом он хотел показать этим докучливым евреям, что все поглощены делом, что время дорого, что им пора уже перестать морочить людям голову и они могут идти подброду.

Но этим евреям, казалось, и в голову не приходило встать и уйти. Наоборот, они еще больше, можете себе представить, придвинулись к столу и смотрели, как хозяин сдает карты, такими глазами, как будто ожидали, что вот-вот выскочит из карт невесть какое чудо!

— Если мы вам не помешаем, — обратился к нам ко всем внук Баалшема со своей елейной речью и сладенькой улыбочкой.

— Вы хотите посмотреть, как играют в карты? — поддержал его Велвл Рамшевич. — Смотрите. Вы нам ничего не испортите. Ну, ребята, за работу! Время не ждет! Чей ход?

И картеж пошел, как прежде, даже с еще бóльшим оживлением, с еще бóльшим жаром и, как это называется, «с душой».

Наши два гостя только смотрели нам в глаза, прислушивались к нашей речи и заглядывали в карты ко всем. Каждый раз, когда мы осторожно, понемножку, можете себе представить, заглядывали в свои карты, наши два еврея тоже, согнувшись в три погибели, загля-

дывали снизу вверх или сверху вниз вместе с нами. При этом они так уморительно гримасничали, что можно было околоть со смеху, если бы, к счастью, каждый из нас не был так захвачен игрой.

А карты, можете себе представить, имеют такую силу, что разве только землетрясение может оторвать от них.

Я боюсь, что я был единственным, кто, как говорится, смотрел в оба. От времени до времени я поглядывал на этих двух евреев. Больше чем наверное, что мы казались им чудаками, которые занимаются странным делом, говорят странным языком и ведут себя, как дикари: сидят без шапок, курят папиросы, обмениваются бумажками, бросают деньги в тарелку и говорят между собой на таком языке, который может показаться турецким. Потому что кто это, можете себе представить, обязан понимать, что такое «пас», «квенц», «шраге», «виза», «нарош», «парни», «девки», «валет», «королева», «король», «туз» и тому подобные слова, которые относятся к карточному языку?

Могу поклясться, что мы все уже почти не помнили о наших гостях, как вдруг кто-то хлопнул белой рукой по лежавшей на столе колоде карт и сказал:

— Тише, люди! Мы поняли, мы уловили смысл игры! Это искушение, бесовское искушение! Спаси нас господь! Сделайте одолжение, разрешите нам тоже играть! Ах, неотвязное искушение! Ах, грешны мы, грешны, да прости нас господь! Пожалуйста, дайте и нам поиграть. Мы тоже хотим вкусить этой игры, хотим узнать, что такое кнарты!

Это были слова внука Баалшема. Произнесены они были чуть не со слезами на глазах, таким дрожащим голосом, с таким чувством и с таким жалобным видом, что положительно сердце разрывалось, глядя на него. К этому нужно прибавить еще, можете себе представить, платок с серебром и золотом... Каждому хотелось (я убежден, что каждому!), чтобы этот платок с серебром и золотом перешел к нему... У нашей Хаеле даже глаза вспыхнули и щечки зарделись. Она обратилась к мужу, который как будто оцепенел, и ко всем нам:

— Люди просят... Что вам стоит? Дадим им карты ради праздника! Ради хануки! — добавила она обрадованно, довольная, по-видимому, тем, что вспомнила о празднике хануки. А глаза ее, можете себе представить, все время неотрывно смотрели на платок... Но внук

Баалшема пока подвинул платок к себе и принялся трепетными руками извлекать оттуда монету за монетой. Он набрал кучку денег, вернее, две кучки; положил одну себе, другую — габе. При этом он громко оправдывался перед самим собой:

— Ничего! С нами бог! Одно из двух: если мы выиграем, тогда будет больше денег на ешибот... Если же мы, не дай бог, проиграем, бог простит нас. «Он эрех апаим»¹, — добавил он по-древнееврейски, подняв очи горе.

Габе подхватил его слова и, тоже закатив глаза, добавил по-древнееврейски:

— Бог наш эрех апаим, многомилостивый и истинный.

Все то, что я вам рассказываю, произошло так неожиданно, что ни у кого из нас, можете себе представить, не было времени задуматься, и все казалось нам совершенно естественным. К тому же мысли у всех нас, должен признаться, были прикованы к платку, а глаза — к кучкам денег...

Оставалось только решить: кто будет играть? Так как прибавилось два игрока, возник вопрос; кто из нас должен выбыть? Никому из нас, можете себе представить, не хотелось выйти из компании и потерять возможность играть с внуком Баалшема, который принес с собой такой платок... И началась перепалка: «Иди ты», «Иди ты, почему я?», «Почему не ты?»

Первой жертвой был зятюшка-цаца, о котором я вам раньше говорил, Эля Рафальский, тот самый, который благословлял ханукальные свечи за всех нас. На него пал жребий, потому что так хотела Хаеле Рамшевич. Она считала, что он должен идти домой: уже поздно, его тесть и теща будут в претензии, будут скандалы. Ну их к дьяволу!

Но так говорилось только для виду. На самом же деле всем был известен секрет, что Эля проигрался в пух, что в кармане у него свистит, а давать взаймы ему никто не хочет: посреди игры не дают взаймы.

От одного игрока избавились. А что делать с другим? Надо бросать жребий, тянуть узелки, как это в таких случаях делается... Но зачем буду я вас долго мучить? Мы крепко взяли в оборот наших двух евреев и

¹ Многогерпеливый (древнееврейск.).

начали помаленечку да полегонечку их обыгрывать. В платке у них монет делалось все меньше, а у нас — все больше. Новоиспеченные игроки были совершенно опьянены игрой и пылали, как соломенная стреха. Дошло уже до того, что платок вот-вот опорожнится до дна и от их состояния останется одно воспоминание... Мы стали уже задумываться: что будет, если они останутся без единой копейки, без единого гроша? Что скажут в городе? Что скажут люди?..

Но карты, можете себе представить, имеют такое свойство, что вот вы повергнуты в прах, вот-вот, кажется, вас вынесут, завернутого в саван, как вдруг блеснет счастье — и пойдет вам такая карта, что вы и сами не понимаете, каким образом и откуда. Нашим гостям вдруг стало везти, как говорится, хоть в колокола звони. Особенно с той минуты, как Баалшем стал сам сдавать карты.

— Надо взять царство дьявола в свои руки. Это последняя ставка, — сказал он, сдавая карты сначала медленно, с большим напряжением, неопытной дрожащей рукой, с каким-то рассеянным блуждающим взором.

Это смешило нас необыкновенно. Но чем дальше, тем быстрее сдавал он карты, все быстрее, и, наконец, дошло до того, можете себе представить, что у него все в руках горело. И везло ему невероятно. Если у вас хорошая карта, у него лучше; если у вас короли — у него тузы; если у вас тузы — у него «нарош»! А если вы испугались — «квенц», — то у него «шраге».

— Господа!.. — вскочил из-за стола внук Баалшема уже на рассвете. Он выпрямился и стал укладывать весь выигрыш уже не в платок, а во все карманы, закатывая глаза и слегка вздыхая.

А габе вслед за ним, тоже закатывая глаза и тоже вздыхая, закончил стихом:

— «...близится время утренней молитвы». День настал. Пора в синагогу...

Сонные, одуревшие, голодные и убитые, злые друг на друга, как это бывает после проигрыша, мы некоторое время еще оставались сидеть как истуканы. Потом вдруг все поднялись и бросились к столу — к водке и закуске. Бросились все, кроме наших двух гостей, которые уже готовы были пуститься в путь и только искали глазами дверь... Но хозяин, Велвл Рамшевич вскочил и, раскинув руки, преградил гостям дорогу:

— Нет, так не выйдете! Вы не уйдете из моего дома, пока с нами не закусите!..

Более страшной мести наш Велвл не мог придумать. Наши гости, можете себе представить, растерялись, стали озираться кругом и смотрели друг на друга такими глазами, как если бы им предложили опорожнить карманы и вернуть весь выигрыш. Первым отозвался внук Баалшема со своей елейной речью и приторной улыбочкой:

— Мы, конечно, очень вам благодарны. Гостеприимство — один из величайших заветов в Священном писании... Но вы не должны забывать того, что мы такие евреи, которые не всякую пищу едят...

Это уже всех нас возмутило: «Ах, так?! Не всякую пищу вы едите? Вы сомневаетесь, кошерная ли у нас пища? А в карты играть — это вам можно?.. Никакой бог вам не поможет. Если вы попробовали, что такое «оке» и банчок, то теперь вы должны отведать и наших яств».

Наши два еврея стояли бледные как смерть и смотрели друг на друга странными глазами. Затем внук Баалшема испустил глубокий вздох, почти стон, и, закатив глаза, сказал нам:

— Впрочем, вы правы: во-первых, мы у евреев... К еврею нельзя относиться с недоверием... Во-вторых, если даже, упаси боже, не так строго кошерно, так одно из двух... бог велик! «Если бы пытали Хананью, Мишоеля и Азарью, то поклонились они идолу» *, — заключил свою речь внук Баалшема и с добродетельным видом направился к столу, где хозяйка уже готовила селедку, кильки и колбасу.

— Лехаим ¹, евреи! Лехаим! — снова вздохнув, сказал внук Баалшема. Он едва пригубил и принялся дрожащими руками за закуску — сначала за кильки с селедкой, затем за колбасу. То же сделал и габе. И оба они, бедняги, то и дело вздыхали, чуть не давились каждым куском. А когда они закусили, Велвл решил насладиться местью до конца, без всякой жалости; как настоящий злодей, он сказал им:

— А знаете ли вы, что вы ели настоящую трэфную колбасу из с...?

Велвл больше ничего добавить не мог, потому что оба еврея схватились за голову, стремглав бросились к две-

¹ За ваше здоровье (*древнееврейск.*).

рям и, можете себе представить, унеслись, как буйный ветер, даже не простившись.

Удовлетворение мезтью было так велико, что мы почти забыли, как в эту ночь потеряли все свои деньги. Мы схватились за бока и, можете себе представить, принялись хохотать... Мы хохотали, хохотали и снова принимались хохотать... Как вдруг услышали нечеловеческий крик:

— Боже мой! Гром меня порази! Смотрите-ка, смотрите! Я этого не вынесу!

Это был голос Хаеле Рамшевич. Мы совсем не заметили, что она, перекусив, принялась за обычную свою работу. Она собирала использованные карты, чтобы продать их лавочнику или обменять на новые. Разбирая карты, она обратила внимание на то, что слишком много попадается ей тузов, по шесть-семь тузов в одной колоде!..

Мы все бросились к картам и, можете себе представить, открыли целый клад тузов, королей и других крупных карт. А просто крапленых карт было без счета...

Мы не стали уже расходиться по домам, а отправились по всем синагогам и молельням разыскивать наших «гостей». Мы прислушивались, приглядывались, принюхивались, спрашивали о внуке Баалшема и о его габе. Но, как и следовало ожидать, никто не слышал и никто не видел ни внука, ни его пособника.

Тогда нас осенила мысль пойти на вокзал. На вокзале мы смотрели, смотрели, высматривали, три раза прошли взад и вперед по всем вагонам — нет внука, нет габе. Как сквозь землю провалились!

Уже после третьего звонка, после последнего свистка паровоза мы услышали из одного вагона знакомый голос:

— Кнарты!!

Мы бросились в ту сторону и стали искать глазами. Из открытого окна вагона второго класса смотрели на нас две фигуры — одна длинная и тонкая, другая — короткая и толстая. У обоих были бритые лица. На них были куцые пиджачки, а на головах — маленькие кепки. И все же эти лица показались нам знакомыми. Не столько лица, сколько глаза — мягкие, улыбающиеся, воровские глаза. Первым узнал их зятюшка-цаца, Эля

Рафальский. Как только он увидел их улыбающиеся лица, он прямо указал на них пальцем.

— Вот они! — не своим голосом закричал он. — Вот они, эти два еврея с кнартами. Они!

Но поезд уже тронулся. Колеса завертелись, и, проезжая мимо нас, наши ночные гости снова подарили нас взглядом своих мягких, улыбающихся, плутовских глаз. А Эле Рафальскому за его выкрик они издали преподнесли особый подарок — комбинацию из двух с половиной пальцев...

ТРИ КАЛЕНДАРЯ

*Как известный Толмачев стал антисемитом.
Рассказ одесского разносчика еврейских газет,
продающего из-под полы «интересные открытки» из Парижа.
Рассказ передан его собственными словами*

— Вы спрашиваете, как это я, еврей, отец семейства, торгую этакой пакостью, запретным товаром — «интересными открытками» из Парижа? За это я должен быть благодарен только ему, нашему Толмачеву, чтоб ему погибель! Теперь, когда уже прошло столько лет и Толмачев уже не Толмачев, а Одесса опять Одесса, можно рассказать всю правду о том, как наш Толмачев стал таким антисемитом. Боюсь, что я вот, каким вы меня видите, порядочно в этом виноват, а может быть, и целиком во всем виновен.

Ах, вас «удивляет», какое отношение имею я, разносчик еврейских газет, продающий из-под полы «интересные открытки» из Парижа, к генералу Толмачеву? И «вообще», что у меня общего с генералами? Ну, так вот, понимаете ли, каждый «вагит»¹ имеет свои «дагит»², а еврей есть еврей... Если у вас есть время, я расскажу вам кое-что интересное.

Это было совсем как сейчас, в полупраздник кушей, здесь же, в Одессе, порядочно лет тому назад. Одесса была «вообще» Одессой, о Толмачеве ничего не слыхали, и еврей мог беспрепятственно бегать по улицам и продавать молитвенники и всякие иные книжки. Такого

¹ Почему (нем.).

² Потому (нем.).

«обилия» еврейских газет еще не было, некого и нечего было бояться и незачем было промышлять контрабандными открытками из Парижа.

И вот расхаживаю я со своим товаром — всякими молитвенниками и календарями на круглый год — по Ланжеронской и Екатерининской, возле «Фанкони», где шатаются все биржевики и маклеры и «вообще» всякие евреи, и высматриваю, не пошлет ли мне бог какой-нибудь заработок. Расхаживаю, значит, вот такой, каким вы меня видите, по тротуару у кафетерия Фанкони, где обычно наши биржевики ботинки рвут, и думаю про себя: где добыть покупателей на оставшиеся календари? Прошел уже Новый год, Судный день, скоро совсем незаметно уйдут и кущи, а я все еще не распродал свои остатки, и бог знает, продам ли их, потому что это такой товар, что если уж он останется после праздников, то его смело можно подарить иноверцу. К чему, например, «простроченный»¹ еврейский календарь? А у меня после Нового года остались целых три «простроченных» календаря. Было у меня их сто штук, и я их растыкал вот здесь же на улице; наделил главным образом биржевиков. «Вообще» биржевик не «ай-яй-яй» какой еврей, он не очень уважает еврейский молитвенник, но еврейский календарь на круглый год — это даже для биржевика иной раз товар. Надо ведь знать, когда придет пасха, когда читать поминальную молитву и по покойнику. Еврей есть еврей.

Останавливаюсь возле «Фанкони» и разглядываю биржевиков, которые снуют мимо меня взад и вперед, — я знаю их всех как облупленных, — и размышляю: кому же предложить мои остатки, когда я всех уже «обеспечил» календарями на круглый год? Стою так размышляю и вдруг вижу, за столом у Фанкони, поближе к улице, сидит генерал в эполетах и помешивает ложечкой кофе, а подле него стоит «красная шапочка», из тех, что бегают на посылках. Генерал что-то наказывает ему, говорит еще и еще раз, а «красная шапочка» на все отвечает: «Слушаюсь, ваше превосходительство!» Думаю: «Что такое может наказывать ему генерал?» — пододвигаюсь к генеральскому столику поближе, а сам смотрю в сторону. Слышу, генерал говорит «красной шапочке» ясно, четко, разжевывает каждое слово и кладет прямо в рот:

¹ Искаженное от слова «просроченный».



— Помни, что тебе говорят! Отправляйся ко мне домой, на Херсонскую, номер три, и скажи генеральше, что сегодня у нас обедает граф Мусин-Пушкин. Помни же, — повторяет он, — и не забудь: Херсонская, номер три, граф Мусин-Пушкин!

«Красная шапочка» стоит перед ним, вытянувшись в струнку, и только повторяет:

— Слушаюсь!

Когда посыльный направился к выходу, генерал снова крикнул вслед:

— Помни — Херсонская, номер три, граф Мусин-Пушкин!

Генерал уже собрался пить свой кофе, как вдруг заметил меня, а я стоял совсем близко и заглядывал ему в чашку, боже сохрани, безо всякого умысла, но «вообще», просто так. И тогда он, сверля меня глазами, крикнул:

— Тебе чего надо?

Это значит, что я тут делаю? Думаю: чего мне надо, ты мне не дашь. Стоп, а может быть?! Что я здесь теряю? И я вот, какой ни на есть, сказанул:

— Ваше превосходительство, купите у меня календарь!

Он уставился на меня.

— Какой календарь?

— Еврейский календарь.

Он глянул на меня, как на сумасшедшего, и спросил:

— Зачем мне еврейский календарь?

— Зачем он вам нужен, я не знаю, но мне это нужно.

Идут праздники! Осталось всего три календаря. Купите, ваше превосходительство?

Говорю, а сам думаю: «Вот будет замечательно, если дело пойдет на лад и генерал прикажет себе подать еврейский календарь на круглый год!»

Ну, так оно и было. Не успел я вымолвить: «Ваше превосходительство», — как их превосходительство гаркнул мне: «Пошел вон!»

Вся кровь застыла у меня в жилах, и я, как вы видите меня, схватил свою пачку и собрался уже сделать «налево, кругом!», как вдруг слышу: «Ступай сюда!» Генерал, стало быть, опять зовет. Ничего не поделаешь, возвращаюсь к нему. Генерал приказывает мне подать календарь. Достаю календарь. Он спрашивает: «Сколько стоит твой календарь?» Говорю ему, сколько стоит календарь. Он берет календарь и платит мне за календарь, не торгуясь, не проронив ни слова, ни-ни.

Как вам правится этот генерал? Разве жалко, если за такого генерала подохнут три биржевика?

«Итак, думаю, почин есть!» Беру свою пачку и отправляюсь восвояси. Почин — дело хорошее, но что дальше делать? Где взять еще двух генералов, чтобы сбыть оставшийся товар — последние два календаря? И тут я пожалел: почему не предложил ему сразу два календаря? Разве не подобает генералу иметь два календаря на круглый год? Вы спросите: что он будет делать с двумя еврейскими календарями? А что он будет делать с одним еврейским календарем?

Размышляю вот этак, и вдруг в голову приходит новая идея: вспомнилось, как генерал вот здесь, недавно, несколько раз наказывал посыльному: «Генеральше... Херсонская, номер три... Граф Мусин-Пушкин...» Честное слово, здесь можно сбыть еще один календарь!

«Только не будь идиотом, Абрам Маркович (так зовут меня по отцу, Меер-Аншлу), и «куй железо» — лови покупателя!» — так сказал я себе и, не долго думая,

зашагал с Екатерининской на Дерибасовскую, с Дерибасовской на Преображенскую, с Преображенской на Садовую, а оттуда прямо через Елизаветинскую на Херсонскую. Заявился на Херсонскую и давай искать номер три. Есть такой номер, честное слово! Да еще какой дом — каменный, двухэтажный особняк! Замечательно! Что же дальше делать? Надо потянуть за звонок и спросить генеральшу. Подхожу и звоню, а сам думаю: будет интересно, если выйдет солдат да еще с собакой, покажет мне дорогу, а к тому ж натравит на меня пса. Только этого мне не доставало!

А было так. Прошла минута, другая, третья. Стою и стою — никто «не является». Думаю: должно же случиться, на мое несчастье, что дома никого нет! А может, звонок испорчен? Надо еще раз попробовать! И я давай снова звонить — раз, другой, третий. Раскрылась дверь, и из нее выскочила прислуга со щеткой в руке:

— Что надо?

Я хотел было дать стрекача, но собрался с духом и заявил:

— Мне нужна генеральша. Лично нужна!

Посмотрела она на меня и, наверно, подумала: это еще что за наказание?! А потом — хлоп дверью перед самым носом. Хоть бы слово вымолвила! Вот так встреча! Может, она снова «явится»? А вдруг вышлет солдат с собакой? У меня даже явилась охота отступить. Но раз я уже здесь и позвонил — пропало, некуда деваться!

И вот не прошло и полминуты, как открылась дверь и появилась барыня, молодая, красивая, кровь с молоком. Чтобы это была генеральша? Но для этого она слишком молода. Чтобы это была генеральская дочь? Но для этого он слишком молод. А время меж тем идет, и она спрашивает:

— Что надо?

Думаю, что же мне дальше делать? Сказать ей: «Ваше превосходительство»? Хорошо, если это генеральша! А если вдруг это не генеральша, за что ей следует «превосходительство»? Додумался обойтись вовсе без «превосходительства». Начинаю прямо с дела.

— Так и так, — говорю ей. — Генерал купил у меня численник, календарь, значит, и просил, то есть приказал, отнести его домой, на Херсонскую, номер три. Здесь мне заплатят. Но если вы не верите, генерал велел сказать

для признака, что сегодня здесь обедает граф Пусин-Мушкин.

— Не Пусин-Мушкин, а Мусин-Пушкин, — смеется генеральша.

«Ну, думаю, раз ты смеешься, значит, ты из тех барынь!» — отвечаю ей:

— Для меня все равно — хоть Пусин-Мушкин, хоть Мушкин-Пушкин. Лишь бы знак правильный, — и подаю ей календарь.

Она берет его, рассматривает со всех сторон и спрашивает, сколько стоит этот календарь. Отвечаю, сколько стоит календарь. Она забирает календарь, платит мне за него и, улыбаясь, прощается со мной. Это значит: добрый день!

Как вам нравится эта барыня? Не барыня, а золото! За нее уж могут подохнуть не три биржевика, а целых тридцать.

Итак, избавился от залежи, остался один календарь. Можно отправиться домой обедать.

Пообедал, отдохнул немного, и начинает меня снова червь грызть: верно, избавился почти от всей залежи, остался только один календарь. Но хочется избавиться и от последнего. Кому нужен старый календарь, «простроченный»? Да, надо его сбыть! Но как от него избавиться, если большая часть биржевиков уже «обеспечена» календарями?! Надо пройти по городу еще раз.

И, не долго думая, забираю свой узелок и давай шагать, просто так, «вообще». А так как я уже привык к Ланжеронской и Екатерининской, ноги сами несут меня туда, где биржевики ботинки бьют. Куда же еще идти? Может, все-таки господь пошлет покупателя, — ведь всего один календарь!

Шатаюсь взад и вперед, как маятник, наблюдаю за биржевиками, как они шмыгают, точно затравленные мыши, добывая свой рублик, — каждый ищет какой-нибудь заработок.

Расхаживая вот так, я между прочим замечаю у Фанкони опять какого-то генерала и снова в эполетах. «Ну, думаю, вот был бы номер, если бы бог послал мне нового генерала, чтобы сбыть последний календарь!» И тут я начинаю подумывать: «А жаль, что у меня только один календарь! Да, если генералы начнут покупать еврейские календари, то уж могут подохнуть все биржевики со всей их биржей!»

Приглядываюсь получше и узнаю вдруг своего генерала. Я его, понимаете ли, сразу узнал. Но и он, по-видимому, узнал меня. Откуда это видно? Я заметил, как он вскочил со стула и ткнул пальцем прямо в меня.

Плохо! Что делать? Не хватает мне связаться с генералом! И я давай тут же двигать ногами. Но как двигать! Я уже наперед рассчитал, что таким ходом я в две минуты буду на третьей улице.

И вот что было дальше. Не прошло и полминуты, как я услышал за собой погоню: кто-то мчится сзади и кричит, чтобы я остановился. Кто это может быть? Неужели сам генерал? Вот так генерал! И ведь посмотрите, что творится! Человек продал лишний календарь на круглый год — и началось светопреставление. Генералы бегут за ним следом!.. Плохо! Что же делать? Припустить сильней? А вдруг он свистнет и набегут городовые? Не хватало еще, чтобы меня арестовали! Остановиться? А вдруг он спохватился насчет второго календаря! Ведь генеральшу-то я обманул. Ладно, притворюсь, что ничего не знаю, я не я. Буду идти, как иду, ни бежать, ни плестись, как человек, занятый своим делом. А если нагонит и спросит, чего бегу, скажу, что это у меня такая походка.

Ну вот, он меня и нагнал. Скверно ведь, правда? Но послушайте, что может бог сделать. Раз нагнал — ничего не поделаешь, остановился. Оглядываюсь. Какой там генерал! Ничего подобного. Никакого генерала! Это человек из тех, что подают у Фанкони кофе. Под мышкой у него салфетка, и он поминутно оттирает ею пот со лба.

— Тьфу, чтоб тебя! — заявил он, когда мы остановились. — Чего ты скачешь, как дикий козел? Пошли со мной, тебя генерал завет!

— Какой генерал? — спрашиваю. — И откуда видно, что он зовет именно меня?

— Что значит, откуда видно? Я ведь не оглох. Он сказал: «Вон он идет, еврей с книжками. Беги и приведи его сюда!»

«Коли так, думаю, несчастье еще не велико. Ангел смерти миновал меня. Можно еще что-то придумать». В тот же миг в голове у меня мелькнула совершенно новая комбинация: «Стоп, может, бог сотворит чудо, и я прикончу здесь третий, самый последний мой календарь?»

Не долго думая, я хлопнул себя рукою по лбу и даже сплюнул.

— Так и говори! — вскрикнул я. — Что ж ты сразу мне не сказал, что это тот генерал, с книжками?.. Странный генерал! С самого утра торгуется со мной из-за книжки. Измучил всего. Стоит она один рубль, а он дает полтинник. Уж я отдавал ему за семьдесят пять, за семьдесят, за шестьдесят копеек, чтобы все кончить. А он уперся — полтина и полтина! Если б это была не последняя книжка, накажи меня бог, не уступил бы и полушки. Но раз она последняя, вот видишь, давай сюда полтину и неси ему книжку!

.
.

Кто был этот генерал, как его зовут, я и по сей день не знаю. Но «полагать полагаю», что это не кто иной, как Толмачев. Иначе откуда бы взялась у него такая дикая злоба, такая ненависть к евреям «вообще» и особенно к еврейским разносчикам? Свой гнев он излил главным образом на нас, газетчиков и книгонош. Мы до сих пор не смеем носа высунуть на улицу с еврейской книжкой или с газетой, и их приходится продавать из-под полы, как какую-нибудь контрабанду или что-то краденое. Моим врагам и вашим врагам иметь бы так свой нос, как можно иметь заработок и жить с продажи еврейских газет из-под полы. Приходится приторговывать «интересными открытками» из Парижа, поштучно или пакетами. Это теперь мой главный предмет дохода. Газеты я держу так просто, «вообще», «интересные открытки» здесь лучше идут. На них среди биржевиков гораздо больше охотников, чем на еврейские газеты. Ох-хо-хо!

Я знаю, что это «паскудство» и что бог накажет меня. Но что же делать? Еврей ищет какой-нибудь заработок, детки кушать просят... Нет, наверно, бог простит! Вынужден будет простить, а? Куда же ему деться? А ведь надвигаются гейшанорабо? Как вы думаете, простит?.. Чтоб оно свалилось ему на голову! Я говорю о нашем Толмачеве. Если б не он, — чтоб на него погибель! — я бы до сих пор торговал молитвенничками и календарями на круглый год, не носился бы с этой пакостью... Послушайте, а может, вы на них охотник? Совершенно новая партия! Только что из Парижа!..

ЯИЧНИЦА БОГАЧА

— Право, Гинда! Последние штаны продать, лишь бы богачом стать!

— Ты о чем?

— У богача был. Видел, яичницу ему подали. Райский вкус, что и говорить...

— Брось, что тут особенного? Яичница как яичница.

— Пальчики оближешь, что и говорить...

— А ты ел?

— Ел? При чем тут я?

— Откуда же ты знаешь?..

— А разве не видно? Издали посмотреть — и то удовольствие! Тает во рту, как масло...

— Известное дело, богачи, чего им не хватает?

— Разве лишь головной боли! Хотел бы я видеть, Гинда... Гм... Гм... А не сделаешь ли ты хоть раз яичницу?

— В самом деле?.. Губа не дура...

— Почему бы и нет? Ведь раз в жизни...

— С ума спятил, что ли?

— Гм... гм... Под ложечкой сосет... Сделай мне яичницу! Ну-ка, Гинда!

— Вот напасть! А из чего ее делают, ты знаешь?

— Что ты! Откуда мне знать?

— Вот и не говорил бы... Во-первых, они, богачи эти, масла не жалеют.

— Пусть без масла, лишь бы яичница!

— Вот так так! А молоко?

— Пусть без молока, лишь бы яичница!

— Хорошо. Ну, а яйца? Какая яичница без яиц?

— Яйца? Почему «яйца»? Разбей одно яйцо и сделай из него яичницу.

— Допустим, но где его взять? Было одно яйцо, так половину желтка я пустила в фарш, а часть белка — в тесто...

— Ну-ну, если только ты захочешь, то найдешь, из чего сделать яичницу...

— Из чего же? Из скорлупы, что ли? Ведь всего пол-яйца осталось...

— Откуда мне знать? Ты ведь хозяйка!

— Хозяйка, ну и что же? Разве немного муки добавить?

— Пусть с мукой, лишь бы яичница?

— Умница! А где ее взять, эту муку?

— Ну, одну горсточку, неужели не наскребешь?

— Не наскребешь... Может быть, гречневой?

— Пусть с гречневой, лишь бы яичница!

— Вот так так! А может, с лучком?

— Пусть с лучком, лишь бы яичница!

— Совсем забыла! Лука нет, чеснок только есть.

— Пусть с чесночком, лишь бы яичница!

— Хороша яичница! А чем смазать сковороду?

— Чем хочешь смажь, лишь бы яичница!

— Яичница на мою голову! Приспичило! У богача увидел! А если богач отрежет себе нос, так и ты туда же? Обезьяна! Яичница вдруг, ну, ну! Иди же, мой руки! Готова твоя яичница!

— Уже готова яичница? Вот так Гинда, люблю тебя за это... Пусть богачи не думают, что только они могут есть яичницу! Благородное кушанье... Чесноком пахнет — объедение! Славно, Гинда! Я был бы не прочь каждый день есть яичницу... Знаешь, Гинда, что я тебе скажу? Гм... Гм... Твоя яичница что-то не того... Вроде кисловатая она, клейкая какая-то, и соли как будто не хватает... Гм... Гм... Уж ты не обижайся, Гинда... Да не накажет меня бог... С души воротит, тьфу! Черт их знает, этих богачей, чем они только тешатся...

П Р И М Е Ч А Н И Я

Произведения, входящие в третий том, создавались Шолом-Алейхемом, за исключением «Ножика», в первом десятилетии XX века. Большинство из них было опубликовано в периодических еврейских изданиях, а затем собрано писателем в циклы и издано отдельными сборниками («Железнодорожные рассказы» и «Рассказы для детей»). Рассказы «Мошкеле Вор», «Аман и его дочери», «Карты», «Блинчики», «Враки» печатались при жизни автора только в газетах.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РАССКАЗЫ

Записки коммивояжера

В варшавской газете «Ди найе велт» («Новый мир») в течение 1909 года была напечатана серия новелл под названием «Железнодорожные истории»: «Конкуренты», «Самый счастливый человек в Кодне», «Станция Барановичи», «Принят», «Человек из Буэнос-Айреса», «Могилы предков», «Праздношатающийся», «Чудо в седьмой день кушей», «Быть бы свадьбе, да музыки не нашлось». Задумав сборник повестей, объединенных одной темой, Шолом-Алейхем 12 сентября 1909 года писал совершавшему путешествие по Белоруссии другу, журналисту Н. Заблудовскому: «Поскольку вы знаете, я теперь вроде путешественника, коммивояжера по всем местам, где обитают евреи... Так вот, быть может, вы смогли бы проделать следующее: прислали бы мне материал (сырье) из Гомеля, из Витебска, из Белостока — откуда хотите, но такой материал, который мог бы послужить мне для моих «Железнодорожных историй». Тут должны быть типы, встречи, события, происшествия, злоключения, удачи, разные случаи, любовные истории, свадьбы, разводы, вещие сны, банкротства, празднества, — упаси боже, похороны, — одним словом, все, что видите и слышите или услышите в пути, в гостинице, где хотите. Одно только хочу подчеркнуть: никаких вымыслов, только факты и факты! Жизнь богата фактами, полна курьезов, кругом множество несчастий, море слез, которым, пройдя через мою призму, не миновать обернуться смехом, они станут яствами в моем вкусе...»

Просьбу писателя Заблудовский не выполнил. Однако Шолом-Алейхем не расстался со своим замыслом и для задуманного цикла

в 1910 году написал: «Талескотн», «Шестьдесят шесть», «Неудачник», а в 1911-м — «На-кося — выкуси!».

По инициативе прогрессивных еврейских писателей и друзей Шолом-Алейхема, в связи с двадцатипятилетием его творчества в 1908 году был создан Юбилейный комитет для выкупа его произведений у частных издателей. Комитет подготовил четырнадцатитомное юбилейное Собрание сочинений, которое издавалось варшавским «Прогрессом» на протяжении 1908—1914 годов.

Шолом-Алейхем озаглавил восьмой том: «Железнодорожные рассказы (записки коммивояжера)», включив в его состав «Железнодорожные истории» и в исправленном виде рассказы «Гимназия», «С призыва», «Третьим классом», «Суждено несчастье», «Нельзя быть добрым!» и «Погорелец», написанные в 1902—1903 годы. Том открывался небольшим словом автора «К читателям», а рассказы были пронумерованы.

По времени написания и по характеру персонажей новеллы этого цикла примыкают к серии рассказов «Неунывающие» и «В маленьком мире маленьких людей», помещенных во втором томе настоящего издания, и отражают художественное и идейное развитие Шолом-Алейхема в годы первой русской революции и столыпинской реакции. Его внимание и в эти годы приковано к положению еврейских народных масс в условиях социального и национального гнета царской России, но отношение писателя к изображаемому материалу изменяется. Он уже не только добродушно улыбается, защищая свой народ от горя и страданий, но и негодует, едко высмеивает уродливые явления в жизни народных масс. Ему ненавистны деградирующая мораль мелкого собственника, одержимого стремлением к личному обогащению («Человек из Буэнос-Айреса»), грабеж «заботливых» толстосумов («Нельзя быть добрым!»), аморализм и нигилизм реакционной литературы эпохи «безвременья» («Могилы предков»).

Ценность произведений цикла заключается, помимо всего прочего, и в том, что они в известной мере вводят в лабораторию творчества Шолом-Алейхема, знакомят с процессом кристаллизации его прогрессивных идейных позиций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Впервые опубликовано в восьмом томе Собрания сочинений, Варшава, 1912.

Стр. 7. *...где евреям жить запрещено.* — Согласно царскому указу, евреям было запрещено проживать вне двадцати пяти губерний юга России, вне так называемой «черты оседлости».

Жаргон — пренебрежительное название языка идиш.

Стр. 8. ...как *Аман трещотки*. — В весенний праздник пурим в синагогах читают библейскую книгу «Эсфирь» и при произношении имени ярого врага еврейского народа Амана топают ногами и трещат трещоткой.

Меламед — учитель еврейской начальной религиозной школы (хедера).

Батлен — человек не от мира сего, занимающийся только изучением Талмуда и других религиозных книг.

РАССКАЗ № 1

«Конкуренты»

Впервые опубликовано в газете «Ди найе велт» («Новый мир»), Варшава, 1909.

РАССКАЗ № 2

Самый счастливый человек в Кодяе

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 17. *Куци* — древний осенний праздник жатвы. Впоследствии справлялся в память о легендарном сорокалетнем странствовании евреев после исхода из Египта по пустыне и о проживании ими в шалашах (кущах).

Стр. 20. *Пятидесятница* (швуэс) — древний земледельческий праздник, отмечался на пятидесятый день после пасхи (отсюда его русское название), «когда серп появлялся на жатве». В более поздние времена справлялся в память о легендарном вручении торы пророку Моисею на горе Синае.

Стр. 22. *И зажарить цыпленка на коровьем масле... стричь бороду, ходить с непокрытой головой*. — Признак вольнодумства, так как перечисленные действия запрещены иудейской религией.

Реб — в смысле: господин. Произносится при обращении к старшему или знатному.

РАССКАЗ № 3

Станция Барановичи

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 27. *Пурикевич В. М.* (1870—1920) — крупный помещик, ярый реакционер-черносотенец, основатель погромного «Союза русского народа» и «Палаты Михаила Архангела».

Азеф Е. Ф. (1870—1918) — известный провокатор.

Стр. 30. *«Габдала»* — молитва, сопровождающая переход от субботы к будням.

РАССКАЗ № 4

Принят

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 39. ...с процентами да с циркулярами. — Имеются в виду циркуляры царского правительства об установлении норм приема евреев в средние и высшие учебные заведения.

РАССКАЗ № 5

Человек из Буэнос-Айреса

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 45. *Кантор* — священнослужитель, читающий нараспев молитвы у аналоя во время синагогального богослужения.

Стр. 46. *Наши предки в Египте*. — Имеется в виду библейская легенда о пребывании древних евреев в плену у египетских фараонов на протяжении 430 лет.

Писем и Рамсес. — Речь идет о городах Питом и Раамсес, которые, согласно Библии, были построены для египетского фараона древнееврейскими рабами.

Стр. 50. *Ешибот* — духовное училище, готовящее раввинов и других служителей иудейского культа.

«*Щит Давида*» (Могендовид) — шестиконечная звезда, символ иудаизма, для правоверных евреев служит талисманом.

РАССКАЗ № 6

Могилы предков

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 54. *Элул* — последний месяц иудейского календаря (соответствует августу — сентябрю), канун религиозных праздников Нового года и Судного дня. По представлению верующих, бог в эти дни определяет судьбы людей на наступающий год. Набожные евреи в течение этого месяца усиленно постятся, чтобы покаянием и смирением умилостивить бога и заставить его предначертать им год добра и счастья.

Стр. 55. *Арце Башес* — искаженное: Арцибашев М. П. (1878—1927) — русский реакционный писатель.

Стр. 56. *Стацил... книгу*. — Имеется в виду роман Арцибашева «Санин», в котором откровенно проповедуются аморализм, сексуальная распущенность и отвращение к общественным идеалам.

Стр. 57. ...с аграрных волнений. — Речь идет о крестьянских выступлениях в 1905—1907 гг.

Стр. 58. «*Слихес*» — сборник предновогодних молитв о всепрощении.

РАССКАЗ № 7

«Праздношатающийся»

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 61. *Поляков Л. С.* — крупный капиталист, был возведен в потомственное дворянство, подрядчик по строительству железных дорог в царской России.

Стр. 62. *Бармицве* (буквально: «Сын заповедей»). — Так называли мальчика, достигшего религиозного совершеннолетия (тринадцати лет), и самый обряд его вступления в число полноправных членов еврейской религиозной общины.

РАССКАЗ № 8

Чудо в седьмой день кушей

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 63. *...после «приговора».* — Согласно иудейской религии, в седьмой день праздника кушей, называемого гейшанорабо, утверждается приговор, который был определен небесным судом в Новый год и Судный день.

Стр. 64. *...отбил гейшанес.* — В гейшанорабо верующие евреи приносят в синагогу пучок веток вербы («гейшанес») и по окончании молитв, в которых часто повторяется слово «Гошана», то есть «Осанна» («Помоги нам!»), бьют им о пол.

Стр. 65. *Кул* — праздничное блюдо, вроде пудинга.

РАССКАЗ № 9

Быть бы свадьбе, да музыки не нашлось

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 72. *...во времена конституции.* — Имеется в виду царская конституция от 17 октября 1905 г.

РАССКАЗ № 10

Талескотн

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1910.

Стр. 77. *Талескотн* (арбеканфес) — четырехугольное полотнище с круглым вырезом в центре и шерстяными кистями (цицес) по углам. Религиозные евреи носят его под верхней одеждой.

Стр. 78. *Талмуд* — многотомный сборник еврейских догматических, религиозно-философских, правовых, моральных и бытовых предписаний; сложился в течение многих веков (IV в. до н. э. — V в. н. э.).

...еврей без шапки ходит... у молодых собственные волосы. — Признаки вольнодумства, так как иудейская религия требует от

мужчин всегда находиться в головных уборах, а от замужних женщин — стричь волосы и носить парик.

...курит по субботам. — Иудейская религия категорически запрещает подобное действие.

Стр. 81. *Филактерии* (тефили) — молитвенная принадлежность, представляющая собой кожаные коробочки, в которых помещены написанные на пергаменте библейские тексты.

Стр. 82. ...*мессия явился*. — Имеется в виду легенда о приходе небесного избавителя, обещанного богом Яхве (Иегова) еврейскому народу.

РАССКАЗ № 11

«Шестьдесят шесть»

Впервые опубликовано в «Дер момент» («Момент»), Варшава, 1910.

Стр. 85. *Толмачев И. Н.* — градоначальник Одессы с 1907 по 1911 г. Активный деятель «Союза русского народа», прославился произволом в управлении городом и травлей евреев.

Стр. 87. *Талес* — молитвенное облачение.

Стр. 89. *Ханука* — иудейский праздник, справляется ежегодно в течение восьми дней и месяца кислев (соответствует декабрю) в память освящения иерусалимского храма и освобождения Иудей во II в. до н. э. от греческого владычества.

РАССКАЗ № 12

Гимназия

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксцайтунг» («Еврейская народная газета»), Варшава, 1902.

Стр. 104. ...*имеются две кошки* — игра слов: Кац по-еврейски — кошка.

Стр. 105. *Исав и Иаков* — по Библии, два брата. Иаков — любимец бога, Исав — неугодный богу.

Койрах (Корей) — библейский персонаж, восставший против пророка Моисея. Согласно легенде, был жестоко наказан богом: земля разверзлась и поглотила Корея и его сторонников.

РАССКАЗ № 13

С призыва

Впервые опубликовано в еженедельнике «Дер юд» («Еврей»), Варшава, 1902.

Стр. 109. ...*но зовут его Алтер* — то есть старик. Набожные родители верили, что такое имя способно обеспечить ребенку долголетие.

Казенный раввин — в отличие от духовного раввина, чиновник, который избирался общиной и утверждался губернатором. Казен-

ный раввин вел записи актов гражданского состояния еврейской общины, приводил к присяге солдат-евреев и выполнял другие подобные функции.

Стр. 115. *Егупец*. — Так именуется Киев в произведениях Шолом-Алейхема.

РАССКАЗ № 14

Нельзя быть добрым!

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксайтунг», Варшава, 1903.

Стр. 121. *Шадхен* — посредник при заключении браков у евреев.

РАССКАЗ № 15

Погорелец

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 134. *Талмудтора* — начальная еврейская религиозная школа, которая содержалась на средства общины.

РАССКАЗ № 16

Неудачник

Впервые опубликовано в еженедельнике «Дер штрал» («Луч»), Варшава, 1910.

РАССКАЗ № 17

Суждено несчастье

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксайтунг», Варшава, 1902.

РАССКАЗ № 18

На-кося — выкуси!

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1910.

Стр. 153. *...у меня нет правожительства*. — Имеется в виду свидетельство, которое давало право проживать вне «черты оседлости», то есть вне городов и сел, где евреям разрешено было царским правительством поселаться.

«*Проходное*» — полицейское свидетельство, которое давало право добираться до места жительства без этапирования.

Стр. 154. *Бродский* — киевский крупный капиталист и сахарозаводчик.

РАССКАЗ № 19

Третьим классом

Впервые опубликовано под названием «*Письма с пути*» в «Ди юдише фолксайтунг», Варшава, 1902.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Творчество Шолом-Алейхема тесно связано с произведениями о детях и для детей. Вера детей в победу добра и их любовь к жизни, острота и чистота детского восприятия пленили автора «Неунывающих». С самого начала своей деятельности он увлекся детской темой. Уже в 1886 году он написал повесть «Ножик».

Шолом-Алейхем весьма критически относился к своим юношеским произведениям, не верил в свою писательскую судьбу, пока, — как он отмечает, — не случилась история с «Ножиком», которая «изменила характер моего творчества, как и мою жизнь». Под «историей» Шолом-Алейхем подразумевает доброжелательную рецензию С. Дубнова, которая была опубликована в журнале «Восход» (1887, № 7—8) и предвещала блистательную будущность таланту молодого писателя. Автор «Ножика», по его собственным словам, больше уже не принадлежал ни самому себя, «ни своим домочадцам», а литературе «и той огромной семье, которая называется народ».

Излюбленным «народом» писателя неизменно были самые молодые жители Касриловки: «бедные, разутые и раздетые еврейские дети». Много веселых и грустных новелл посвятил им Шолом-Алейхем. Как и его герой Пейся-переплетчик, у которого в жуткой нищете растут трое детей, писатель провидит то счастливое время, «когда все переменится, как Бебель говорит, и как Карл Маркс говорит, и как все хорошие умные люди говорят. Вот тогда-то, вот тогда все будет по-другому» («Три головки»).

Вселяя веру «в лучшие времена», Шолом-Алейхем своими произведениями расширял кругозор рожденных и выросших в местечковых сырых домах, в тесноте и заброшенности. Своих любимых Копеле, Мотеле, Двойреле писатель учил смеяться и удивляться, открыто и честно жить, возмущаться и негодовать, бороться за свое счастье и счастье своих матерей и отцов («У царя Артаксеркса», «Песеле, дочь ребе», «Жалость ко всему живому», «Юла»).

Шолом-Алейхем на языке идиш написал праздничные детские рассказы «Флажок», «Ханукальные деньги», «Зелень к празднику», «Предпасхальная эмиграция» и «Эсфирь», в которых трогательно рассказал о детских запросах и забавах, о романтике игр и живых дел. Используя элементы фольклора, связанные с религиозными празднествами, он создал гротесковые образы клерикалов, непревзойденные по сатирической насыщенности фигуры меламедов и правоучителей («Скрипка», «Трапеза», «Разбойники»).

Шолом-Алейхем воспитывал в детях высокое чувство интернационального товарищества. Светлая и мужественная дружба подростков Файтла и Федьки сильнее всех предрассудков и предрас-

судков, кровавых наветов и черносотенных измышлений сотских и урядников, губернаторов и их циркуляров («Пасха в деревне»).

Тонкий юмор, занимательность сюжета, показ живых деталей, характеризующих быт, социальные и национальные особенности юных героев, — обеспечили широкий успех «Рассказам для детей». Они многократно печатались на родном языке писателя и выдержали немало изданий на русском языке и других языках народов нашей страны.

Н О Ж И К

Впервые опубликовано в «Ди юдишес фолксблат» («Еврейская народная газета»), СПб. 1887.

Стр. 166. *Пятикнижие* — первые пять книг Ветхого завета в составе Библии, именуемые в иудаизме также Законом или Торой. Авторство этих книг традиция приписывает Моисею.

«*Бык, который боднул корову*» — начальные слова одного из трактатов Талмуда.

Стр. 168. *...завьяловский*. — Фирма Завьялова считалась до Октябрьской революции лучшей в России по изготовлению ножей.

«*Болок*» (Валак) — царь моавитский, а также название одного из разделов Пятикнижия. Пятикнижие состоит из пятидесяти двух недельных разделов, по субботам читают один из них.

Стр. 171. *Ребе* — здесь: учитель хедера.

Стр. 172. *Тора* — учение, содержащееся в Пятикнижии Моисеевом.

Стр. 174. *Меер-чудотворец* — один из законоучителей Талмуда, живший во II в. В его честь в религиозных еврейских домах были специальные кружки, куда бросали мелкие монеты для благотворительных целей.

Ф Л А Ж О К

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1900.

Стр. 179. *Праздник торы* (симхес-тойре) — последний день праздника кушей.

Стр. 181. *Пурим* — весенний иудейский праздник, отмечается, согласно библейской легенде, в честь избавления древних евреев от козней злого Амана, царедворца персидского монарха Артаксеркса (V в. до н. э.).

Стр. 184. *Лаг-боймер* — тридцать третий день со второго дня пасхи, который считается праздником учащихся; дети и юноши освобождаются от занятий, и им разрешается развлекаться разными играми.

Стр. 186. *Моисей и Аарон* — по Библии, два брата; первый — пророк, второй — первосвященник.

Судный день (йом-кипур) — религиозный иудейский праздник, справляющийся на десятый день после Нового года (в сентябре).

Стр. 187. *«Хакофы»* («Гакофес» — «кружения») — синагогальный ритуал в день симхес-тойре; прихожане со свитками торы в руках семь раз обходят вокруг амвона, распевая молитвенные гимны.

ХА НУКАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1900.

Стр. 192. *Ханукальные деньги*. — Имеются в виду небольшие суммы денег, которые выдается детям в ознаменование праздника хануки.

Стр. 196. *«Ашер-йоцер»* — название одной из иудейских молитв.

Стр. 198. *Шиши* (буквально: шестой) — шестое лицо, вызываемое по субботам и праздникам в синагоге для чтения шестого отрывка из недельного раздела Пятикнижия.

Мафтир — последнее лицо, вызываемое для чтения заключительных стихов недельного раздела Пятикнижия и главы из Пророков — второго отдела Ветхого завета. Шиши и мафтир получают только почетные члены общины.

Восемнадцать гилдойн за «ишиши» — цена за право быть вызванным к чтению шестого отрывка недельного раздела Пятикнижия. Хотя цена выражалась в гилдойнах (гульденах), но каждый «гилдойн» по договоренности верующих обозначал определенное количество копеек или рублей.

Стр. 202. *Бадхен* — народный шут.

ЧАСЫ

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1900.

У ЦАРЯ АРТАКСЕРКСА

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 212. *Артаксеркс* — персидский царь, один из главных персонажей библейской книги «Эсфирь». Ее сюжет служит основой для разыгрываемых в пурим скоморохами (пуримшпилерами) веселых пьес на бытовые темы.

Мордехай — по Библии, дядя царицы Эсфири, который надоумил ее просить царя Артаксеркса отменить указ об истреблении евреев. Впоследствии стал первым царским советником.

Вашти (Астынь) — по Библии, жена Артаксеркса, казненная за нежелание явиться на царский пир.

Эсфирь — главная героиня одноименной библейской книги.

Стр. 213. *Аман* — по Библии, всемогущий царедворец, замышлявший истребить еврейский народ.

Иосиф-прекрасный — главный герой народного представления «Продажа Иосифа» на сюжет библейского сказания об одиннадцатом сыне патриарха Иакова.

Стр. 217. *Мемухон* — по Библии, советник Артаксеркса. В народном представлении — царский гонец.

Мондриш — искаженное: Мордехай.

Стр. 219. *Шамес* — служка, или прислужник, синагоги или раввина.

ОМРАЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 227. *Мезуза* — кусок пергамента, на котором написаны библейские стихи. Свернутый свиток помещается в деревянный или металлический футляр и прикрепляется к косяку дверей. Мезуза — магическое средство, способное, как полагают верующие, уберечь от злых духов.

Стр. 232. *...четыре вопроса*. — Имеются в виду вопросы, задаваемые сыном отцу во время пасхальной трапезы по тексту «Сказание о пасхе».

Хомец — мучные изделия из квашеного теста; иудейская религия запрещает употреблять хомец в дни пасхи.

РЯБЧИК

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1901.

МАФУСАЛ

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 252. *Мафусал* — библейский персонаж, олицетворяет долголетие, так как «всех дней» его, по Библии, «было девятьсот шестьдесят девять».

СКРИПКА

Впервые опубликовано в журнале «Ди юдише фамилие» («Еврейская семья»), Варшава, 1902.

Стр. 267. *Тувалкаин*. — По Библии, Тувалкаин — первый кузнец «всех орудий из меди и железа». Безбородько спутал его с Тувалом (Фувалом), который, согласно Библии, играл на разных инструментах.

Стр. 268. *Царь Давид* — библейский царь (XI в. до н. э.), который, по преданию, играл на скрипке.

Паганини Николо (1782—1840) — прославленный итальянский скрипач и композитор.

Стр. 271. *...владели мясной таксой... держали на откуп коробочный сбор*. — Налог на кошерное мясо (дозволенное иудейской ре-

лигией к употреблению), который сдавался царским правительством на откуп.

Стр. 272. ...*солила мясо*. — По Библии, кровь содержит в себе души животных, потому она и была запрещена для еды. Во исполнение библейского предписания набожные евреи за час до приготовления пищи солят и вымачивают мясо.

«*Песнь Песней*» — одна из книг Библии, традиция приписывает ее царю Соломону. Ее тема — пылкая любовь, которая «сильна, как смерть». Главные ее герои — девушка Суламифь и юноша-пастух, который иногда называется женихом-царем.

ЦИТРУС

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксцайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 282. ...*в проекте*. — Так называли контору откупщика коробочного сбора.

Стр. 283. *Эсрог* (цитрус) — сорт лимона. Над эсрогом, если он имеет головку («питем»), произносят молитвы в праздник кущей.

Лулев — магический имитативный обряд, совершаемый в дни праздника кущей. В одной руке держат лулев, состоящий из пальмовой ветви, перевязанной тремя миртовыми и двумя ветками вербы, а в другой руке — эсрог, и ими машут в воздухе, что, по представлению верующих, служит магическим средством для вызова ветра и дождя.

Стр. 285. ...*корфинский* — то есть с острова Корфу, считался самым лучшим.

Стр. 286. «*Бытие*» — название первой книги Библии.

ЗЕЛЕНЬ К ПРАЗДНИКУ

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксцайтунг», Варшава, 1903.

Стр. 293. *Голиаф* — по Библии филистимлянский исполин, убитый Давидом.

Стр. 294. *Хагада* — сборник религиозных сказаний о пасхе.

ЖАЛОСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ

Впервые опубликовано в газете «Дер фрайнд» («Друг»), СПб, 1903.

ПЕСЕЛЕ, ДОЧЬ РЕБЕ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб. 1903.

Стр. 304. *Короткая пятница* — пятница в канун зимнего солнцестояния.

Великая суббота. — Так называют субботу в канун иудейской пасхи.

Стр. 305. *«Поучение отцов»* — один из трактатов Талмуда, в котором сформулированы моральные принципы иудаизма.

...он увидел. — Имеется в виду Гиллель (I в. до н. э.) — богослов и законоучитель, отличался кротостью и человеколюбием.

Стр. 310. *Миньен* — необходимый кворум (десять мужчин старше тринадцати лет) для совершения синагогального богослужения.

Тноим — брачный акт, который составляется до венчания и в котором оговорены материальные условия помолвки.

У Б О Г А Я

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб. 1903.

Стр. 318. *...сидеть «шиве»* — траурный обычай: в течение семи дней после смерти родного человека не выходить из дому, сидеть на полу без обуви и скорбеть по умершему.

Стр. 321. *...поет на манер койгенов.* — По Библии, койген — потомок первосвященника Аарона, жрец. Во время синагогального богослужения в дни больших религиозных праздников койгены благословляют общину, читая особым напевом молитвенные гимны.

Ю Л А

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб. 1903.

Стр. 339. *...я вижу семь коров.* — Имеется в виду библейский рассказ о египетском фараоне, которому приснилось семь коров.

«Кадиш» — заупокойная молитва, которую сын, согласно иудейской религии, должен читать в течение одиннадцати месяцев по умершим родителям. В случае отсутствия сына принято было нанимать для чтения «кадиша» набожного человека.

Ш А Л А Ш — Л У Ч Ш Е Н Е Н А Д О !

Впервые опубликовано в газете «Дер тог» («День»), под названием «Мойше — лучше и не надо», СПб. 1904.

Стр. 344. *...из десяти дней покаяния.* — Так в иудейском календаре называются дни между Новым годом и Судным днем.

Стр. 347. *Грозные дни.* — Так в иудейском календаре именуют Новый год и Судный день; по представлению верующих, в это «грозное» время на небесах предрешаются человеческие судьбы.

«Кидеш» (буквально: освящение) — молитва, которую произ-

носят по субботам и праздникам перед вечерней трапезой над бокалом вина или двумя хлебами.

Рахиль, Авигаил, царица Савская, Эсфирь — женские библейские персонажи, отличившиеся своей красотой.

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Впервые опубликовано в «Дер тог», СПб. 1904.

Стр. 351. ...с великолепным «востоком». — Имеется в виду вышитая или нарисованная картина на библейский сюжет, которую верующие евреи развешивали на восточной стене.

Стр. 355. *Рамбам* — рабби Моше бен Маймон, или Маймонид (1135—1204), — выдающийся еврейский философ и богослов.

«*Кузари*» — религиозно-философский трактат великого еврейского поэта и мыслителя Иегуды Галеви (ок. 1080 — ок. 1142).

Спиноза Бенедикт (1632—1677) — выдающийся философ-материалист.

САМЫЙ МЛАДШИЙ ИЗ КОРОЛЕЙ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб. 1904.

Стр. 366. *Харойсес* — пасхальное блюдо, которое состоит из смеси натертых яблок, орехов, слив, миндаля и вина. Символизирует глину, из которой, согласно библейской легенде, древнееврейские племена воздвигали города в Древнем Египте.

...не было в доме короля. — Пасхальная вечерняя трапеза проводится в определенном порядке, поэтому она называется «сейдером» (сейдер — по-еврейски «порядок»). Сейдер предписывается совершать возлегая, как это делали римские патриции во время пиршеств. Обычно сейдером правит глава семьи, именуемый королем.

Стр. 369. ...приступаю ...ко второму бокалу из четырех. — Во время пасхальной вечера (сейдера) предписано выпить четыре бокала вина.

«*Рабами мы были*» — фраза из сборника «Сказание о пасхе».

Стр. 371. *Тишебов* — девятый день месяца аба (соответствует июлю — августу), день поста и скорби в память разрушения иерусалимского храма.

Г Е Ц Л

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», под названием «История с орехами», СПб. 1904.

Стр. 372. ...во время войны. — Имеется в виду русско-японская война 1904 г.

Стр. 374. *Раши* — рабби Шлойме Ицхаки (1040—1105) — крупный комментатор Библии и Талмуда.

ТРАПЕЗА

Впервые опубликовано в газете «Ди цайт» («Время»), Вильно, 1906.

ТРИ ГОЛОВКИ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб. 1908.

ЧЕТА

Впервые опубликовано в книге «Праздничная библиотека Шолом-Алейхема», под названием «Чета к пасхе», Одесса, 1909.

РАЗБОЙНИКИ

Впервые опубликовано в книге «Праздничная библиотека Шолом-Алейхема», Одесса, 1909.

ЭСФИРЬ

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1910.

ПАСХА В ДЕРЕВНЕ

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1910.

Стр. 432. *Алеф и бейс* — первые две буквы еврейского алфавита.

РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ЦИКЛЫ

Сюжетно-композиционная цельность многих произведений Шолом-Алейхема позволила объединить их в циклы «Менахем-Мендл», «Тевье-молочник», «Железнодорожные рассказы», «Касриловка», «Рассказы для детей», «Неунывающие». Однако немалое количество повестей и рассказов, по различным соображениям, не было включено в циклы. Часть из них помещена в этом разделе под условным названием «Рассказы, не вошедшие в циклы». Все они дополняют галерею образов, собранных в циклах «Рассказы для детей» и «Записках коммивояжера», яркими фигурами и типами различных социальных пластов еврейства первого десятилетия XX века.

ДАЧНАЯ КАБАЛА

Впервые под названием «В Бойберике» опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 446. *Хасид* — приверженец хасидизма, религиозно-мистического движения, возникшего в XVIII в. среди евреев Польши и Украины.

Аристократ. — Имеется в виду светский человек.

Евреям можно здесь жить свободно. — Речь идет о поселениях вне «черты оседлости», где евреям разрешалось проживать.

Стр. 451. *...тарелки бьют...* — Во время помолвки было принято бить посуду.

Стр. 455. *Ребе* — здесь: глава хасидской общины.

Стр. 467. *Трефное* — пища, запрещенная иудейской религией к употреблению.

НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксцайтунг», Варшава, 1903.

МОШКЕЛЕ ВОР

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксцайтунг», Варшава, 1903. В русском переводе печатается впервые.

Стр. 511. *...обладает Самсоновой силой.* — Согласно библейской легенде, Самсон — судья израильский, богатырь, убил голыми руками льва и совершил другие подвиги.

Стр. 519. *...вспомнил Иова.* — Иов — герой одноименной библейской книги, которого бог испытывает, лишая его детей и всего имущества и покрывая его тело проказой. Уверенный в своей праведности, Иов вступает в полемику с богом, упрекая его за несправедливый суд.

Стр. 538. *...учатся трубить в рог.* — Имеется в виду обряд «шофар», то есть библейское предписание в дни праздников и веселья трубить в бараний рог. Церемониал обряда требовал споровки, так как надо было уметь во время богослужения извлекать из рога барана (шофара) в определенном порядке глубокие, продолжительные и басовые звуки.

ДОМОЙ НА ПАСХУ

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксцайтунг», под названием «В канун пасхи через Буг», Варшава, 1903.

Стр. 542. *Нисн* — название седьмого месяца иудейского календаря (соответствует апрелю).

Гемара — здесь: Талмуд.

Стр. 548. *«Хаманова уха».* — Так Прокоп искаженно называет иудейский праздник пурим.

Стр. 553. *...как пророка Иону.* — Имеется в виду библейская легенда о пророке Ионе, который вопреки приказанию бога не захотел зло пророчествовать о городе Ниневии. Желая уйти от наказания, Иона сел на корабль и бежал в Фарсис. Однако его постигло несчастье, он был выброшен в море, и его проглотил кит. Искреннее раскаяние и горячая молитва помогли Ионе. По слову бога, кит изверг его из своей утробы, и Иона снова попал на сушу.

АМАН И ЕГО ДОЧЕРИ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб. 1903.

Стр. 558. «Гаскола» (вернее: гаскала — просвещение) — просветительское движение среди еврейской буржуазной интеллигенции Германии и России в XVIII—XIX вв.

ПРАЗДНИК ТОРЫ

Впервые опубликовано в «Ди юдише фолксцайтунг», Варшава, 1903.

Стр. 567. *Шмини-ацерес* — восьмой день праздника кущей.

ВРАКИ

Впервые опубликовано в «Дос тогблат» («Ежедневная газета»), Львов, 1906.

Стр. 571. *...употребляли особую мацу.* — Имеется в виду маца из муки, тщательно охраняемой от влаги, чтобы не было самопроизвольной закваски.

Цадик — праведник, или ребе, который возглавляет общину хасидов, приверженцев хасидизма.

Стр. 572. *...сам произнес молитву «благословен сотворивший огненные светила».* — То есть сам поджег свою мельницу.

НОВОСТЕЙ НИКАКИХ...

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», под названием «Два поздравительных письма к Новому году», СПб. 1907.

Стр. 575. *Крушеван П. А. (1860—1909)* — крайне правый издатель черносотенной газеты «Бессарабец» и антисемитской газеты «Друг», один из организаторов кишиневского погрома (1903 г.).

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ПАСХА

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб. 1908.

Стр. 582. *Йорцайт* — ежегодный обряд воспоминания усопшего в день его смерти, сопровождаемый зажиганием свечей и чтением поминальной молитвы «кадиш».

...они пользуются «пасхальным» биноклем. — Иудейской религией предписано на пасху пользоваться новой посудой (пасхальной), запрещено в дни этого праздника посещать увеселительные заведения. Автор высмеивает благочестие нюрнбергских евреек, которые, вопреки запрету, посещают театр, но зато пользуются «пасхальными» биноклями.

Стр. 583. *...в 5668 году.* — Праведные евреи ведут счет времени «со дня сотворения мира». Согласно иудейскому календарю, к пер-

вому году нашей эры Земля уже просуществовала 3760 лет, следовательно, в 1908 г. ей было 5668 лет.

Стр. 584. *...отдал их Мендельсану.* — Имеется в виду Моисей Мендельсон (1729—1786) — философ-идеалист, зачинатель еврейского просвещения.

Стр. 586. *Год тарсах* — 5668 г. иудейского календаря, или 1908 г. европейского календаря.

Терах (Фарра) — библейский персонаж, отец патриарха Авраама.

Стр. 587. *Год тармах* — 5648 г. иудейского календаря, или 1888 г. европейского календаря.

Стр. 588. *Гоменташ* — сдобный пирог с маком.

Стр. 590. *Дрейфус* Альфред (1859—1935) — офицер генерального штаба французской армии, еврей по национальности, был заведомо ложно обвинен в шпионаже. Инспирированное реакционной военщиной «дело Дрейфуса» было предметом ожесточенной политической борьбы в 90-х годах XIX в.

Стр. 591. *Гейне* Генрих (1797—1856) — великий немецкий поэт, публицист, критик.

Берне Людвиг (1786—1837) — немецкий писатель, публицист.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Первые две части под названием «Страничка песни песней» и «Еще страничка песни песней» впервые опубликованы в «Дер фрайнд» (Варшава, 1909). Третья часть под названием «Эта пасхальная ночь» впервые опубликована в еженедельнике «Дер американец» («Американец», Нью-Йорк, 1911), четвертая под названием «Суббота после швуэс» — в «Юдишес тагеблат» («Ежедневная еврейская газета», Нью-Йорк, 1911).

Стр. 597. *Кабала* (буквально: предание) — религиозно-мистическое учение, которое возникло среди евреев в VIII в.

Стр. 606. *Александр Македонский* (356—323 гг. до н. э.) — царь Македонии, крупный государственный деятель и полководец древнего мира. Евреи сложили о нем много легенд.

Стр. 620. *...крала... из-под подушки традиционный опреснок.* — Имеется в виду «афикомен», то есть ломтик мацы; он кладется под подушку, на которую опирается главенствующий за пасхальной вечерней трапезой.

БЛИНЧИКИ

Впервые опубликовано в газете «Хайнт» («Сегодня»), Варшава, 1909.

Стр. 651. *...двести сорок восемь членов.* — Согласно Талмуду, человеческий организм состоит из 248 членов.

Стр. 652. ...*жена Лота превратилась в соляной столб*. — Имеется в виду библейская легенда о жене Лота, которая превратилась в соляной столб за неповиновение богу.

ДОКТОРА́

Впервые опубликовано в книге «Дер журналист» («Журналист»), Варшава, 1912.

КАРТЫ

Впервые опубликовано в газете «Хайнт», Варшава, 1913.

Стр. 658. *Стендер* — нечто вроде пюпитра, прихожане держали в нем молитвенники.

Стр. 659. *Дайен* — помощник раввина.

Стр. 660. *Дни «сефире»*. — Так называются сорок девять дней между пасхой и пятидесятницей. В течение этого времени иудейская религия запрещает веселиться, стричься и т. п.

«Постные дни». — Речь идет о запрете употреблять мясную пищу в течение трех недель, от 17 тамуза (соответствует июню — июлю) до 9 аба (соответствует июлю — августу).

Стр. 663. *Штраймл* — обшитая мехом бархатная шапка, которую носят раввины и главы хасидских общин.

Баалшем — аббревиатура слов «баал», «шем», «тов», то есть «обладатель доброго имени». Имеется в виду основатель хасидизма Израиль Бешт (1700—1760).

Габе — староста, прислужник общины или хасидского ребе.

Стр. 670. ...*если бы пытали Хананью, Мишоеля и Азарью, то поклонились они идолу*. — Имеется в виду юноша Азария и его друзья Хананья и Мисаил. По Библии, они были взяты в плен и состояли при дворе вавилонского царя Навуходоносора (VI в. до н. э.). Согласно легенде, они отказались поклониться золотому истукану, который находился в долине Дие. Их отказ был доведен до сведения царя, и он велел бросить юношей в раскаленную печь, однако они остались невредимыми, так как с неба снизошел ангел и предохранил их от действия огня.

ТРИ КАЛЕНДАРЯ

Впервые опубликовано в газете «Хайнт», Варшава, 1913.

ЯИЧНИЦА БОГАЧА

Впервые опубликовано в «Миникес йомтевлат» («Праздничная газета Миникеса»), Нью-Йорк, 1921.

СОДЕРЖАНИЕ

Железнодорожные рассказы

(Записки коммивояжера)

К читателям. Перевод Л. Юдкевича	7
Рассказ № 1. «Конкуренты». Перевод М. Шамбадала . . .	9
Рассказ № 2. Самый счастливый человек в Кодне. Перевод Н. Брука	17
Рассказ № 3. Станция Барановичи. Перевод Л. Юдкевича	27
Рассказ № 4. Принят. Перевод М. Шамбадала	38
Рассказ № 5. Человек из Буэнос-Айреса. Перевод Б. Чер- няка	42
Рассказ № 6. Могилы предков. Перевод Н. Брука	53
Рассказ № 7. «Праздношатающийся». Перевод Л. Юдкевича	60
Рассказ № 8. Чудо в седьмой день кушей. Перевод Л. Юд- кевича	63
Рассказ № 9. Быть бы свадьбе, да музыки не нашлось. Перевод Л. Юдкевича	72
Рассказ № 10. Талескотн. Перевод Л. Юдкевича	77
Рассказ № 11. «Шестьдесят шесть». Перевод И. Масюкова	84
Рассказ № 12. Гимназия. Перевод М. Шамбадала	95
Рассказ № 13. С призыва. Перевод М. Шамбадала	108
Рассказ № 14. Нельзя быть добрым! Перевод М. Шамбадала	118
Рассказ № 15. Погорелец. Перевод М. Шамбадала	127
Рассказ № 16. Неудачник. Перевод Я. Тайца	136
Рассказ № 17. Суждено несчастье. Перевод М. Лещинской	141
Рассказ № 18. На-кося — выкуси! Перевод Л. Юдкевича . .	152
Рассказ № 19. Третьим классом. Перевод Л. Юдкевича . .	157

Рассказы для детей

Ножик. Перевод Б. Плавника	165
Флажок. Перевод Я. Слонима	179
Ханукальные деньги. Перевод Д. Волкенштейна	192
Часы. Перевод Е. Аксельрод	205

У царя Артаксеркса. Перевод Я. Слонима	212
Омраченный праздник. Перевод М. Шамбадала	226
Рябчик. Перевод Р. Рубиной	241
Мафусал. Перевод Л. Юдкевича	252
Скрипка. Перевод Л. Юдкевича	263
Цитрус. Перевод Р. Рубиной	281
Зелень к празднику. Перевод М. Шамбадала	292
Жалость ко всему живому. Перевод М. Шамбадала	299
Песеле, дочь ребе. Перевод Е. Аксельрод	304
Убогая. Перевод Е. Аксельрод	313
Юла. Перевод Е. Аксельрод	324
Шалаш — лучше не надо! Перевод Р. Рубиной	341
Предпасхальная эмиграция. Перевод М. Шамбадала	351
Самый младший из королей. Перевод Р. Рубиной	359
Гецл. Перевод Л. Юдкевича	372
Трапеза. Перевод Л. Юдкевича	381
Три головки. Перевод Е. Аксельрод	390
Чета. Перевод Л. Юдкевича	397
Разбойники. Перевод Д. Волкенштейна	414
Эсфирь. Перевод Д. Волкенштейна	423
Пасха в деревне. Перевод М. Лецинской	429

Рассказы, не вошедшие в циклы

Лето красное

Дачная кабала. Перевод М. Шамбадала	441
На теплые воды. Перевод М. Шамбадала	481
Мошкеле Вор. Перевод М. Дубинского	509
Домой на пасху. Перевод М. Беленького	542
Аман и его дочери. Перевод Р. Рубиной	556
Праздник торы. Перевод Р. Рубиной	563
Враки. Перевод Р. Рубиной	570
Новостей никаких... Перевод М. Шамбадала	575
Заблаговременная пасха. Перевод М. Беленького	581
Песнь Песней. Перевод Д. Волкенштейна	593
Блинчики. Перевод М. Лецинской	637
Докторá. Перевод Р. Рубиной	655
Карты. Перевод М. Лецинской	658
Три календаря. Перевод Л. Юдкевича	673
Яичница богача. Перевод Р. Рубиной	681
Примечания М. Беленького	683

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Собрание сочинений, том 3

Редактор *Г. Фальк*

Художественный редактор

Г. Кудрявцев

Технический редактор

О. Ярославцева

Корректоры

Г. Асланянц и Н. Гористова

Сдано в набор 31/VIII 1971 г.

Подписано к печати 5/1 1972 г.

Бумага типографская № 1.

Формат 84 × 108^{1/2} — 22 печ. л.

36,96 усл. печ. л. 36,09 уч.-изд. л.

Заказ № 1230. Тираж 100 000 экз.

Цена 1 р. 35 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени

Ленинградская типография № 2

имени Евгении Соколовой

Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров СССР

Измайловский проспект, 29